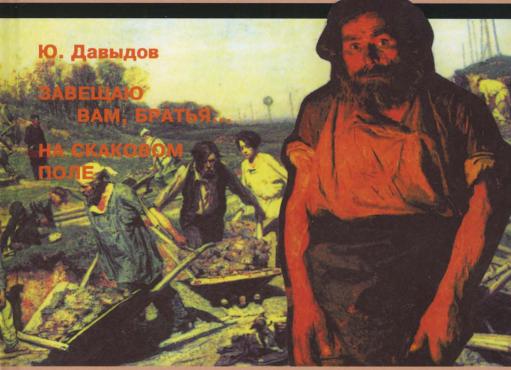
TAJH6//

Bek XIX



HCTOPHH

в романах, повестях и документах

ТАИНЫ ИСТОРИИ

Bex XIX

Ю. Давыдов

ЗАВЕЩАЮ ВАМ, БРАТЬЯ...
НА СКАКОВОМ ПОЛЕ

Исторические повести



MOCKBA «TEPPA» — «TERRA» 1996

Художник И. МАРЕВ

Давыдов Ю. В.

Д13 Завещаю вам, братья...; На Скаковом поле: Исторические повести.— М.: ТЕРРА, 1996. — 528 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).

ISBN 5-300-00516-9

Юрий Владимирович Давыдов — мастер современной исторической прозы. Его документально точные, искренние и увлекательные произведения пользуются заслуженным успехом у российского читателя.

В сборник вошли две выдающиеся повести Давыдова: «Завещаю вам, братья...», рассказывающая о судьбе замечательного народовольца Александра Михайлова, и «На Скаковом поле», посвященная одному из самых ярких революционеров 70-х годов XIX века Дмитрию Лизогубу.

ББК 84Р7

ЗАВЕЩАЮ ВАМ, БРАТЬЯ...

Спору нет, на восьмом десятке не мешкают. И все же я бы не решился приступить к этой истории, если б главные герои были еще живы. Увы... Последней, и совсем недавно, скончалась Анна Илларионна. Да, очень я с ней дружен был, хоть и громадная дистанция в годах.

Я потому и пригласил вас, друзья мои, что и впрямь откладывать нельзя: на ладан дышу. Да и то сказать: люди вы молодые, что там потерять два-три вечера? К тому же на дворе тускло и мокро и ветер со взморья холодный...

Сознаю, рассказ выйдет рассказом постороннего — я не принадлежал к тайному обществу. Однако судьбе было угодно, чтобы я оказывался на скрещении разнородных жизненных линий.

Не люблю предисловий, но — минуту терпения.

Во-первых, позвольте без кокетства — ужасно смешного в людях моего возраста — объявить вот что. На своем
веку я извел бочку чернил и даже знавал успех, но никогда
не выступал из задних рядов пищущей братии. Я это к
тому, чтоб вы не рассчитывали на блеск и глубину, а уж
за достоверность, за искренность ручаюсь. Во-вторых, наперед извините частое выскакивание моего «я»: это неизбежное неудобство. Впрочем, где можно, стушуюсь. И
в-третьих... Понимаете ли, журнального поденщика жизнь
сводит с людьми разных слоев. Я к тому и коренной петербуржец, знавал многих. Так вот, в-третьих-то, я по ходу
дела отмечу, как мне сделалось известным то или иное,
однако не взыщите, не все открою — годы минули, а нельзя-с, рано.

У беллетристов есть манера с порога подцепить читателя какой-нибудь тайной, но тут власть воспоминаний, и Бог с нею, с беллетристикой...

Ясности ради придется взять некоторый «разбег».

Видите ли, больше полувека тому, в сорок первом, кончив курс лицея, я определился в канцелярию Военного министерства и надел сюртук с красным воротом и светлыми пуговицами.

Среди моих сослуживцев были двое, особенно мне близкие. Салтыков, тоже лицеист, но младшего курса... Да-да, будущий Щедрин, он самый... А еще — Илларион Алексеич Ардашев. Добрейшая душа, немного, правда, сумрачная. Мы быстро сошлись: оба пламенели страстью к театру.

В канцелярию я хаживал вяло. Купил на аукционе вот этот письменный стол да и принялся строчить: на первых порах сделался драматургическим писателем. Мне скоро дали понять, что я негож Военному министерству. Спасибо Маслову, однокашниму Пушкина: Маслов меня, как лицейского, пригрел в департаменте разных сборов. И совершенно не обременял занятиями. Так что времени достало и для домашних писаний, и для театра, где мы попрежнему встречались с Ардашевым.

Бывал я и у него дома, в Эртелевом переулке. В особенности зачастил, когда Илларион Алексеич овдовел. У него были дети: сын Платоша и дочь Аннушка. Платон, красавец собой, с младых ногтей поклонялся Марсу. Что ж до Аннушки, до Анны Илларионны, то о ней еще много впереди, а здесь прошу заметить: я знал ее совсем еще крошкой, когда ее в Летний водили, к дедушке Крылову. Ну, а к моменту, от которого поведу рассказ, она, бедняжка, уже успела побывать в тюрьме. По нашему-то размаху и недолго, месяца три, да ведь совсем барышней, двадцати двух от роду.

Невдолге перед тем друг мой Илларион Алексеич умер. Простыл на Сретенье и быстро убрался, а я с этого времени стал его детям factotum¹.

Я многое опущу и многого не трону, а напрямик перейду к одному ноябрьскому дню семьдесят шестого года. Именно в тот день главнокомандующий уезжал из Петербурга в армию. Мне случилось быть на Невском. Толпа кричала «ура». Великий князь мчал в открытой коляске. Он был красив, Николай Николаич Старший...

Последняя наша война, вы помните, конечно, загорелась из-за болгар, измученных Турцией. Ну и эта наша золотая мечта: Босфор с Дарданеллами, Царьград. Брань старинная, еще не однажды ребром встанет.

Я тогда уж года три как сотрудничал у Краевского в «Голосе»: секретарь редакции Владимир Рафаилыч Зотов, вот так-то. «Голос» о ту пору звучал чисто. Мы хотели мирного решения; славянофилы клеймили нас едва ли не изменниками.

¹ Доверенное лицо (лат.).

Возьмем, впрочем, ближе к тем, о которых поведу рассказ. Тут узел: война и нигилизм... Нет, лучше так: война и революционеры. А то ведь каждый на свой салтык это самое слово «нигилизм».

Да, вопрос нешуточный, доложу вам, господа! Война и революционеры — нешуточный вопрос. После-то громом террора заглушило и вроде бы никакой связи. А если вдуматься, то и приметишь: война, друзья мои, она и затихнув много еще годов продолжается. Так сказать, в поступках, в мыслях продолжается.

Я молодым был, когда Севастополь грянул. Герцен с Бакуниным желали поражения. Да, желали, а душа-то? Душа мучилась нашими поражениями. Вот так-то и во время русско-турецкой войны.

Вы когда-нибудь думали о капитальной складке русского революционера? Знаете ли, была она, эта рельефная черта нравственного облика — со-стра-дание... Жгучее и непреходящее сострадание. И не мечтательное, а деятельное, вот в чем суть. Высокое, скорбное чувство, какое-то женственное, как в русских сказках. Здесь, по-моему, исток, ключ ко всему, что происходило в семидесятых-восьмидесятых...

Итак, главнокомандующий, провожаемый кликами «ура», промчался по Невскому. Толпа разредилась. Я решил заглянуть в Эртелев, к моей Аннушке. Знаете ли этот дом, где некогда живал Глинка? Вот туда, но только во флигель, через двор.

Пришел, застал дома.

Есть у меня фотографический портрет Аннушки. Странное и роковое происшествие связано с тем фотографом, который этот портрет сделал... Есть, говорю, фотография, а показывать не стану: главное, характерное не схвачено. О, не была она дурнушкой, что вы! Однако и не красавица. Вся прелесть — в глазах. Словно бы однажды и навсегда завладела ею трудная, очень важная, очень серьезная дума. И напряженная морщинка, тоненькая, вертикальная морщинка вот здесь, над переносьем.

Ну хорошо, пришел.

Анна-то Илларионна, оказывается, и сама только что с Невского. Заметно было, что очень взволнована. Мы еще толком не разговорились, как является молодой человек.

Забыл, как он назвался. В разные времена были разные имена: закон конспирации. Но чтоб уж вас не путать, я сразу и навсегда: Александр Дмитрич Михайлов. Так и запомните: Михайлов, Александр Дмитрич.

Лицо приятное, свежее, с румянцем. Молодой, но степенный. Скромное достоинство и степенность... Анна Илларионна жестом пригласила его не дичиться: дескать, Зотов свой.

Он кивнул и тотчас ей вопрос, как пику: «Ну что ж? Война вот-вот, и вы, значит, решились?!» Анна Илларионна вспыхнула: «Всегда это вы сплеча рубите...»

Этот Михайлов и не улыбнулся, и не сбавил тон.

«Ладно, — говорит, — пусть так. Но вы давеча согласились: царь затевает войну ради идеи, в которую не только не верит, но которая ему чужда. Романовы и свобода... Пусть и болгарская свобода, но Романовы и свобода — разве совместно? Нам за одну мечту о свободе — решетка. А там, за горами, за долами, там болгарам свободу учредят?»

Она ответила: «Как не помочь страждущему солдату?!» Михайлов возразил: «Сестрами милосердия и барыни не прочь, а в деревню, к мужику...» Анна Илларионна быстро, резко скрестила на груди руки: «Война ужасна! Но без нее мы обречены на рутину, застой!» Михайлов глядел исподлобья. Он сказал: «Есть пословица: побежденным — горе. Врет! Победителям — горе. Победа — вот где застой. Все эти лавры лишь новые цепи».

Я не ввязывался, но душой был на стороне Аннушки. Не очень-то он мне приглянулся, этот молодой человек. Я унес впечатление, что он весьма холодный доктринер...

А теперь прошу вас. Вот тетрадь. Тетрадь Анны Илларионны Ардашевой. Прошу читать в очередь и внятно.

Еще два слова. Не удивляйтесь откровенности записей. Они сделаны недавно. Стало быть, друзьям ее уже не грозили кары земные. Не удивляйтесь и тому, что она постоянно возвращается мыслью к Александру Дмитричу: тут отношение особое, сами поймете.

Вот, пожалуй, и все, Читайте. А когда прочтете — продолжу.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Занятия в общине св. Георгия кончились, и я, в числе других, получила право на крахмальную косынку сестры милосердия. Хотелось уехать, уехать поскорее.

Пасха в 1877 году выдалась холодная, но последний день Святой был солнечным, с капелью. На станцию Николаевской дороги сестры явились в форменных серых пальто с капюшонами, а начальница наша — в белом апостольнике, как игуменья. Публики собралось немало. Пришли родственники, студенты, офицеры. Нам натащили корзины с лакомствами. Настроение было серьезное, у многих в глазах стояли слезы.

Александра Дмитриевича я не ждала. Мы были недовольны друг другом. Он тянул в деревню, в народ, а я говорила о страждущих солдатах и страждущих братьях-болгарах. Он утверждал, что рабы не могут освободить рабов, что прежде, чем эмансипировать других, следует эмансипировать самих себя, а мне все это казалось ледяной логикой.

Однажды я бросила ему:

— А может, вы попросту трусите армии?

Он взглянул колюче:

— Бывают обстоятельства, когда требуется мужество для «трусости». — И сухо добавил: — Впрочем, если тешит, считайте, что я праздную труса... — И вдруг ухмыльнулся: — А знаете, побольше бы таких — не было б войн...

Поезд тронулся. Скрылся дебаркадер, скрылся Петербург. Стал слышен лязг цепи, соединяющей вагон с вагоном. Черные тонкие перелески то подступали, то отбегали в сторону. У шлагбаумов мужики держали под уздцы лошадей, испуганно задиравших морды. Шли, как по кругу, тусклые снега.

Всякий раз, пускаясь в путь, совершенно независимо от расположения духа или от времени года, всякий раз в по-

езде, прильнув к окну, я ощущаю безотчетную печаль. Любопытно б спросить иностранцев, испытывают ли они такое там, у себя, или это уж наше, домашнее, русское?

Были ледоходы и разливы, туманы, солнышко, лужи. А вместе с весною, вместе с ледоходами вломилась вторая — после ноябрьской семьдесят шестого года — мобилизация. Говорили, что на призывных участках не замечалось отчаяния, что люди собирались охотно, что крестьяне на своих розвальнях или телегах безвозмездно везли запасных. Готова верить. Но и другое было — то, что высказал на какой-то станции хмурый мужик: «Никто, как Бог, а только много народу п о п о р т я т!»

В Киев мы приехали в сумерках. Из-за неурядиц, вызванных наплывом людей и военного снаряжения, следующего поезда не оказалось. Мы долго ожидали на перроне, разговаривая с офицерами. Уже стемнело, когда нас разместили в Гранд-отеле; там мы и ночевали в последний раз как «цивилизованные люди». Утром объявили, что мы отправимся дальше лишь поздним вечером. Все собрались в Лавру, на Аскольдову могилу и т. п., а я улизнула и пошла куда глаза глядят.

Прошлой осенью, в Питере, тащились мы как-то с Александром Дмитриевичем в Лесное, где имело быть очередное собрание. Дорога на край города и длинная и медленная, вагончик конки потряхивало, лил дождь, и Михайлов, призадумавшись, стал толковать о Киеве, о киевских товарищах, о киевской своей жизни. Редко выдавались подобные минуты, а тут и разговорился.

В Киеве я, пожалуй, и не припоминала подробности его тогдашнего, дорогой в Лесное, рассказа, однако меня не оставляло чувство, будто Александр Дмитриевич каким-то чудом тоже очутился в Киеве, и я его сейчас догоню, окликну. Конечно, я не сомневалась, что Михайлова в Киеве нет, что если он, как собирался, и оставил Питер, то вовсе не ради Киева. Это я все сознавала отчетливо, но, признаюсь, были мгновения, когда он будто бы мне виделся. Я себя с сердцем одергивала, однако опять ловила на ожидании, притом любуясь и каштанами, и садами, и кручами, и уличной жизнью, ранней, но уже бойкой жизнью, в которой так и сквозило какое-то лукавое добродушие.

Бродя по Киеву, я, право, не припоминала его рассказ, а теперь пишу, не боясь ошибок, точно бы вчера слышала.

Он явился в Киев за год с небольшим до того, как я впервые увидела Крещатик. На душе у него было скверно. Его изгнали из Технологического института и выслали из Петербурга за студенческую историю, весьма незначительную; вдобавок он и не участвовал в ней толком, а встрял, повинуясь чувству, всегда в нем живому и сильному, — чувству товарищества. «Выехать в двадцать четыре часа на казенный счет и никаких-с пререканий!» — услышал Михайлов из уст официально-учтивого голубого мундира и действительно выехал под надзором унтера с медным шишаком на каске, что и означало «на казенный счет».

Иногородних технологов, выключенных из списков, «возвращали на родину». Александр Дмитриевич родился в путивльском захолустье. Путивль по его определению, походил на «флакон с египетской тьмою». Конечно, хорошо полюбоваться Сеймом или погулять на холме, где некогда плакала Ярославна, но жить — тоска смертная, а после Петербурга все равно что и не жить, а разве только дышать.

Путивльский дом оказался пуст: отец-землемер, как всегда, скитался по деревням, а матушка, сестры и младший брат — тот, что теперь архитектор, — все они зимовали в Киеве. Помыкавшись в своих палестинах, где на него, как на замешанного в «историю», поглядывали искоса, Михайлов взял да и махнул, ни у кого не спрашиваясь, на днепровский берег.

Впоследствии, при обстоятельствах мучительных, я узнала семью Михайловых. Мне не трудно представить, как она приняла возвращение сына, «не оправдавшего надежд». Не поручусь, что Александр Дмитриевич не увидел слез, но уж попреков он не услышал.

Но сердце тяготил камень. На отцовские двести рублей серебром в год, на доходец с хуторка близ Путивля не так-то просто, даже при относительной провинциальной дешевизне, взрастить детей, а тут еще прибавился едок. А главное, едок без определенной будущности.

Все это не могло не удручать Александра Дмитриевича. Заботливый сын и старший брат, он серьезно относился к семейным обязанностям. Знаю, что его всегда точила мысль о невозможности помогать семье.

Он, однако, не напрасно устремился в Киев. Работой радикальной мысли Киев не уступал Петербургу, а в некотором отношении, хотя бы бунтарским темпераментом, даже превосходил. Именно в Киеве Михайлов впервые внимательно пригляделся к тем людям, которые народ «возлюбили паче себя».

Тогдашние социалисты делились на последователей Лаврова и последователей Бакунина, это известно. Михайлов вникал в теории, в практику. «Было на что посмотреть, — говорил он, — было что наблюдать». Своим оживлением, своим брожением (конечно, речь об интеллигенции, радикальной и оппозиционной) Киев поразил Александра Дмитриевича. Но он не примкнул ни к одной из групп: партионное дробление казалось ему важным недостатком; следовало думать о сосредоточении сил. Это сосредоточение всегда занимало его мысли...

Долго я бродила по городу, тепло было и тихо, пахло сыростью, но не затхлой, как в П¹ гере, а свежей, приятной; долго сидела над Днепром, сидела, пригретая вешним солнцем, мечтала и замечталась, а о чем и сама не знаю; чудилось хорошее, светлое, доброе, но что именно, опятьтаки не умею выразить.

2

В грязном Кишиневе, набитом войсками, нас поместили в здании гимназии. Мы еще не успели дух перевесть, как стало известно, что здесь ждут государя с наследником.

Мы знали, что приезд Александра II и будущего Александра III знаменует начало войны; мы знали, что на смотру объявят манифест и тотчас войска двинутся навстречу сражениям, то есть навстречу смертям и увечьям. Все это мы знали и понимали, однако настроение царило праздничное. И мы разделяли его — мы, сестры милосердия, студенты-медики, присланные Москвой и Петербургом, уполномоченные Красного Креста, врачи в черных сюртуках, то есть люди, самая профессия которых должна была бы, кажется, отвращать от походов и кампаний. Да, мы тоже нетерпеливо ожидали пронзительных звуков рожков, исполняющих генерал-марш.

И вот войска начали выходить на Скаковое поле. Мы, не парадирующие, а, по-здешнему, по-армейскому, «клеенки», штатские, расположились с таким расчетом, чтобы все получше разглядеть.

День занимался плохо, падал дождь вперемешку со снегом. Люди мокли и переминались; офицеры тревожились, каковы при такой погоде будут «стойка и вид». Время шло, высочайших особ не было. Очевидно, генералы усердия ради вывели полки раньше срока.

Часов уже в десять, точно бы электрический толчок: «Едут! Едут!» Все оборотились в сторону дороги. А там,

словно бы и не по дороге, а как бы над нею, стелилась, приближаясь, огромная птица.

Потом мы различили конвойных казаков в алых бешметах, улан и лейб-гусаров. За ними покачивался большой экипаж, запряженный четверкой вороных. Дальше и далеко тянулся хвост карет, составлявших то, что называлось императорской главной квартирой.

Царский экипаж остановился. Государь вышел, к нему подвели каракового коня...

Ребенком я жила на даче близ Павловска. Император ежедневно ездил из Царского Села в Павловск в сопровождении берейтора и черного сеттера; я даже кличку помню — Милорд. Мальчики и девочки в модных тогда красных рубашках «гарибальдийках» поджидали государя и бежали следом. Бывало, он придерживал лошадь, одаривал нас конфектами или, склонившись, щекотал кончиком хлыста, а мы, замерев, любовались игрою бриллиантов на коротком кнутовище слоновой кости; государь, улыбаясь, сказал нам однажды, что драгоценный хлыст — подарок королевы Виктории...

Конечно, теперь, в Кишиневе, я смотрела на этого человека без тени умиления. Я уже знала, что и его отец забавлялся с детьми или просил военного министра назначить пенсион старому солдату, фонарщику Екатерининского парка. Конечно, я давно поняла, что можно одной рукой нежить детей, а другой утверждать жесточайший приговор. И все-таки и те давние, ребяческие впечатления, и впечатления, вынесенные с театра военных действий, как бы мешали мне отождествить этого ласкового, приятного человека (именно этого человека, а не вообще царя, монарха) с чудовищем, загубившим многих из тех, кто был и остался мне дорог.

Я всегда испытывала неприязнь ко всему казарменному, офицерскому, щегольски-армейскому, как к машинальной, нерассуждающей силе, противостоящей народу. Милитаристское увлечение брата Платона было предметом моих насмешек. Однако в ненастный кишиневский день, будто уже повитый пороховым дымом, я была взволнована и растрогана.

Нет, не голосом преосвященного, возвестившего манифест о войне с Турцией, не хоровым пением «С нами Бог, разумейте языци и покоряйтесь...». Нет, не этим, а минутой, когда после диакона, приглашавшего к молитве, после команды: «Батальоны, на колена!» — вся геометрическая, огромная солдатская масса с обнаженными головами начала ряд за рядом клониться, как колосья под ветром, и вот уж

весь плац, от края до края, опустился на колени. Высоко и плотно переплеснули батальонные знамена, и тотчас зашелестела над Скаковым полем тысячеустая молитва.

Поэт видел рабскую Россию, она молилась за царя. Я видела мужицкую, солдатскую Россию, она молилась за себя. Не жизнью вообще, как высшим благом, дорожит солдат, калечество мужику страшнее смерти: «Куда я теперь? На паперть? Какой из меня кормилец?!» Молились не за царя, не об одолении супостата, о другом: да свершится воля Твоя, или пореши намертво, или помилуй без изъяну.

Трубачи собственного его величества конвоя протрубили «хавалерийский поход», и лейб-казаки с лейб-гусарами, открывая церемониальный марш, проследовали красивым аллюром. Глядя на них, я совершенно не подумала про Карла Федоровича, приятеля брата Платона. Между тем Кох, наверное, был среди конвойных офицеров. Впрочем. я не подумала даже о том, что брат Платон может участвовать в кишиневском смотре. Правда, последнее его письмо я получила из Одессы, но теперь войска Одесского военного округа, кажется, квартировали в окрестностях Кишинева.

Широкая, пестрая, движущаяся панорама захватила меня. И этот мерный топот множества людей со штыками; и офицеры, по-походному, без орденов, берущие саблей «на караул»; и это согласное тяжелое колыхание тускло-медных пушек на ярко-зеленых лафетах; и кавалеристы в своих синих и голубых мундирах, расшитых желтыми и белыми шнурами. А главное, пехота со скатанными шинелями, с ранцами и мешками провизии, в заляпанных грязью сапотах, с лопатами и кирками, торчащими на боку, пехота, вид которой внятно говорил, что здесь, на Скаковом поле, не парадный, церемониальный марш, а нечто глубоко-серьезное и бесповоротное: «Мы свое дело сделаем».

3

Бархатные воротники из Генерального штаба изобразили Балканскую войну, как стратеги. Те, что носили нарукавную повязку с надписью «Корреспондент», изобразили ее, как журналисты. Мои записи просто ворох впечатлений.

Вскоре после высочайшего смотра войска двинулись к границе. Погода переменилась к лучшему. Люди шли бодро, песельники не ленились.

Близ границы песни умолкли. Шлагбаум был поднят, чиновник пограничной стражи в жалком мундирчике стоял

смирнехонько, путь был свободен, а люди... люди медлили. Солдаты, как один, без команды нагибались за горстью земли и, увязав мокрый комок в тряпицу, прятали за пазухой, снимали шапки и крестились.

Боже, сколько мы наслышались и в Петербурге и в Кишиневе о том, что «все предусмотрено» и «все подготовлено». До берегов Дуная предполагался форсированный марш при полном комфорте: продовольственные склады, ломящиеся от припасов; бесперебойная замена павших лошадей; повсеместно исправные мосты; приемные пункты для отставших и заболевших; готовые к услугам почтовые учреждения с телеграфными аппаратами... Короче, нас уверяли, что «все предусмотрено», «все готово» к стройному шествию вослед белому полотнищу с восьмиконечным голубым крестом — стягу нашего главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Старшего.

Добро бы на все это поддались мы, штатские, так нет, и офицеры. Старые и опытные, которые помнили Севастополь или видели Туркестан, хмурились, но либо помалкивали, либо рассказывали молодым о захватывающих ощущениях, которые испытываешь в бою.

Похмелье настигло скоро.

В продовольственных складах хлеб был плесневелый, затхлый, с зеленью; из каравая вырежешь ломоть, и только; вино было разбавлено до такой степени, что уж лучше было бы пить чистую воду; мосты и гати снес или разворотил паводок; квартирьеры куда-то исчезали, никто не знал, где и как размещаться; солдатам, выбившимся из сил, недоставало подвод; обозы вязли в грязи по ступицы. Прибавьте желудочные болезни, прибавьте простуды вследствие переходов через реки вброд или вплавь на лошадях...

А как обстояло дело медицинское, милосердное? Совсем иначе, нежели в прекрасно переплетенных отчетах, всеподданнейше посвященных государыне императрице. Просто диву даешься, перелистывая меловую бумагу этих отчетов, эти таблицы, чертежи, выкладки: вот уж поистине бумага все терпит!

О, Россия! «Входящие», «исходящие», паникадила, наполненные чернилами. Один лишь наш дивизионный лазарет за один лишь семьдесят седьмой год изготовил 12 тысяч «исходящих». Врачи, изнуренные ампутациями и зондированиями, изнывавшие от холода или зноя, обречены были еще и каторге делопроизводства.

Помню, наш хирург на позициях около Плевны в лютую стужу получил очередную порцию запросов из Воентирования в портим запросов и в портим запросов

но-медицинского управления, вольго но расположенного далеко в тылу. Сжав зубы, он нацарапал огрызком карандаша: «Непременно отвечу после того, как мы оттаем — я и мой пузырек с чернилами».

Незадолго до войны какие-то изобретательные головушки сбыли армии новые госпитальные линейки. Они приятно поражали обилием металлической снасти — винтов, гаек, цепей и цепочек. Свежекрашеные, расположенные в ряд, с грозно задранными толстыми оглоблями, ковчеги производили внушительное впечатление. Правда, шутники предлагали заранее столковаться с турецкими генералами, дабы те позволили нашей армии двигаться только по шоссейным дорогам, а то, мол, не ровен час, и эти «крейсеры» рассыплются на проселках.

И точно, госпитальные фуры, огромные рыдваны, уже на первых верстах стали терять металлическую снасть и ломаться.

Дальше — хуже. Каждой линейке полагалась четверка лошадей, и лошадей нагнали больше комплекта. Но каких? Разнесчастных одров, бельмистых, а то и вовсе слепых. Как же таким было превозмочь жирную, вязкую, разлившуюся до горизонта весеннюю распутицу? Где им было взять балканские крутизны? Где им было волочить «крейсер», даже и с выносной парой?

Подстать лазаретным лошадям лазаретная прислуга из стариков-запасных. Фельдфебели пытались учить их «посвоему», а в ответ на заступничество сестер милосердия сокрушенно вздыхали:

— Эх, да я об них все руки обколотил! С этаким народом никакого маневра!

Должна сказать, что оно вроде бы и впрямь «никакого маневра». При всем нашем терпении и снисходительности мы, сестры милосердия, нередко приходили в отчаяние от их драк, пьянства, краж, грубого, даже жестокого обращения с ранеными («А тут, барышня, война, — твердили они с каменным упорством, — тут растабарывать неколи, не у тещи...»).

От самых низших перейду к самым высшим.

Некоторое время, накануне форсировании Дуная, госпиталь наш располагался рядом с главной квартирой, то есть обок с центром всего громадного и сложного военного предприятия.

В главной квартире задавались роскошные обеды и ужины. Полковая музыка гремела увертюру из «Карла Смелого», пели солдаты-песельники или румынские цыгане. В

глазах рябило от множества «фазанов» — так армейские офицеры окрестили пестромундирную челядь великого князя Николая Николаевича.

И все ж в первый период войны не мне одной, а многим, если не всем, главная квартира казалась действительно распорядительным центром, где все знают и обо всем ведают, где наперед и умно все рассчитывают и прикидывают. Ведь чем же иным могли быть заняты эти генералы в лакированных ботфортах и с нагайками через плечо?

Разочарование, торькое и злое, ждало впереди, там, на Еалканах, не об этом я, хоть и бегло, еще напишу, а теперь вот что, по-моему, достойно печального внимания. Я про загадку, для меня не разрешимую.

Генералов, лишенных военного дарования, водилось не меньше, чем «фазанов». Оставляю и тех и других в стороне, как предмет бесспорно неинтересный, очевидный и обыденный. Но были и такие генералы, которые достойно выказали себя во все месяцы кампании.

Имя Тотлебена прославилось еще на севастопольских редутах; его появление на плевненских позициях было встречено общим ликованием; авторитет его стоял высоко, неколебимо; ему верили, на него надеялись все солдаты, независимо от рода оружия.

Гурко иные попрекали за чрезмерную растрату людей. Если это и верно, то нужно прибавить — он и себя ни на волос не щадил. Солдаты любили «Гуркина-енерала».

Ганецкий, командир гренадерского корпуса, был спокойный храбрец. Ему сдался Осман-паша, самый талантливый из турецких полководцев. Ганецкий тоже пользовался душевным расположением, особенно нижних чинов.

Наконец, Дрентельн. Командуя тыловыми войсками, он, кажется, в боях не был, но положил уйму сил на обеспечение действующего войска. И хотя обеспечение шло из рук вон, люди, заслуживающие доверия, никогда не винили лично Дрентельна. Напротив, отмечали его разительное несходство с тыловыми наживалами и жуирами. Он был спартанец и пробавлялся солдатской кашей.

Любопытный штрих. Любопытный как раз потому, что речь о Дрентельне... И в Румынии, а потом и в Турции среди военных потихоньку-полегоньку распространялись нелегальные издания (я еще об этом напишу). Дрентельну доложили однажды о «возмутительных проявлениях», и он, будущий глава политического сыска и политических преследований, отвечал: «Пустяки, не стоит внимания». А

между тем было известно, что сам государь требовал пресечь «возмутительные проявления»...

Война кончилась победой. Однако победу — это не секрет — купили потоками крови, горами пушечного мяса. Офицеры, хоть малость способные размышлять, уже там, на Балканах, полагали, что война обнаружила гнилость нашего домашнего устройства. Офицеры высказывались весьма откровенно. Однако не злорадно, а с горечью. Уверена, генералы, названные выше, думали так же и то же, что и обыкновенные офицеры. А может, и отчетливее.

Вернувшись с поля боя, эти генералы заняли опять-таки посты важные, не только военные, но и государственные. Какая сила подвигла их удерживать и поддерживать именно гнилость домашнего устройства, а вернее, неустройства? И Тотлебена, назначенного новороссийским генерал-губернатором, явившего самую черную жестокость. И «Гуркинаенерала», бывшего одно время петербургским генерал-губернатором, а потом неистовым палачом Польши. И Дрентельна, принявшего Третье отделение, обратившегося в обер-шпиона. И храбреца Ганецкого, который на войне брал вражеские крепости, а потом морил узников Петропавловской крепости.

Было бы наивным ожидать от них перехода «в стан погибающих за великое дело любви». Но ведь и они сознавали (исключая, может быть, «крепостника» Ганецкого, которого годы спустя я встретила у собора со шпилем и архангелом), не могли не сознавать необходимость хотя бы гомеопатического лечения наших внутренних болезней.

Допускаю неверие в успех врачевания. Пусть так. Но почему хотя бы не отошли в сторону? Вряд ли прельщались новыми лаврами — хватало боевых. Тогда, может, не достало мужества отказаться от постов, предложенных с высоты трона?

Понимаю, мужество на редутах не тождественно мужеству во дворцовой зале; первое встречается значительно чаще второго. Опять-таки «но»: они прекрасно знали, что следствием отказа не будет ни Нерчинск, ни каземат, ибо был пример сравнительно недавний: генерал Обручев отказался участвовать в подавлении Польши; он не хотел обагрять свои руки в братоубийственной войне. И что же? Обручев остался в прежнем чине и остался в Петербурге.

Помню, пыталась занять своим недоумением Александра Дмитриевича. Насмешливо округлив глаза, Михайлов ответил:

— Эти ваши превосходительства не способны подняться выше точки зрения заурядного пристава. Впрочем, все приставы заурядны...

Нет, увольте, это не ответ, не разгадка. А где они, в чем — не знаю.

4

О, как я была уверена в своей сноровке и как я позорно потерялась...

Да, была уверена: ведь практическому исполнению обязанностей сестры милосердия я обучалась под зорким наблюдением деликатного и вместе неукоснительно строгого автора «Военной гигиены» доктора медицины Кедрина. (Кстати сказать, Дмитрий Васильевич, кажется, находился в родстве или свойстве с присяжным поверенным Кедриным, о котором я еще буду говорить, если закончу свои записки.)

Николаевский госпиталь на Слоновой улице, в ту пору окраинной, я не выбирала. Могли направить и в Морской госпиталь, и в Александровскую или Обуховскую больницы, а вот направили в Николаевский. Это случайное обстоятельство позволило мне сыграть небольшую роль в предприятии, которое наделало шуму летом семьдесят шестого года.

Дело в том, что напротив госпиталя, через улицу, за высоким забором пряталось узкое зданьице тюремной больницы для военных арестантов, заболевших во время следствия. В эту больницу и перевели из Петропавловской крепости известного и у нас и за границей князя П. А. Кропоткина.

Александр Дмитриевич, Марк Натансон и другие народники (в ходу еще не было «землеволец») решили устроить ему побег, спасти от каземата, куда Кропоткина непременно вернули бы после больницы.

В подготовке к побегу участвовали многие. Мне поручили «режим ворот»: я должна была определить, когда, в какие часы и по какой причине отворяются больничные ворота, ведущие на довольно широкий двор.

Палата Николаевского госпиталя, находившаяся на моем попечении в дни визитаций доктора Кедрина, выходила окнами на эти самые ворота, да и весь двор был оттуда как па ладони. Наблюдательный пункт оказался и удобным и безопасным.

Из окон я нередко видела П. А. Кропоткина. Обряженный в долгополый халат зеленой фланели, он медленно прогуливался по двору.

Я не была посвящена в общий план, не знала и назначенного срока, зато оказалась очевидцем побега.

В последний день июня или в первый июльский я, как обычно, закончила в четыре часа и вышла из госпиталя. Машинально отметила, что ворота тюремной больницы распахнуты; с удивлением уловила бравурные звуки скрипки, доносившиеся из какого-то невзрачного домика; приметила и щегольские дрожки с неподвижным кучером и небрежно развалившимся господином в военной фуражке. В ту же минуту в глазах у меня ярко, почти ослепительно, вспыхнуло.

Никакой вспышки, конечно, не было, мне померещилось, но померещилось не беспричинно: наискось к воротам бежал Кропоткин, а за ним, почти настигая, мчался кара-

ульный с ружьем наперевес.

Когда и как беглец очутился в дрожках, я эловно бы и не видела, хотя, несомненно, видела. Вороной рванулся, все исчезло... А вокруг уже толпились зеваки. Все без толку гомонили. Мое лицо, наверное, выдало бы меня, вздумай кто-нибудь обратить на меня внимание. Я пошла к вагону конки. К кондукторам подскочил бледный караульный офицер: «Выпрягай! Выпрягай!» Но кондукторы отказались дать ему лошадей...

Так вот, в питерском госпитале я усердно практиковала, но, когда на берегу Дуная, в Зимнице, у первого моего, так сказать, настоящего раненого внезапно открылось кровотечение, я позорно потерялась и бросилась, как дуреха, будить доктора. А доктором был у нас тогда Орест Эдуардович Веймар тот самый господин в военной фуражке, который увез кн. Кропоткина на своей молниеносной пролетке.

Орест Эдуардович принадлежал к тем, о ком обычно не без зависти говорят: «Все при нем». Он был молод, собою корош, богат. Не достигнув и тридцати, Веймар пользовался врачебной известностью, уважением коллег и серьезной практикой. Блестящий и остроумный, он дружил с литераторами. Наш кумир Глеб Иванович Успенский был ему близким приятелем. Жил Веймар нараспашку, весело, а бывало, отличался и совершенно мушкетерскими похождениями.

Короче, он слыл «славным малым». Но все дело-то в том, что Орест Эдуардович щедро тратил свою душу и свои средства не у Донона или Бореля. Достаточная иллюстрация — побег Кропоткина; впоследствии у Веймара скрывалась Верочка Засулич.

На театре военных действий Орест Эдуардович, не в пример многим знаменитостям, не отсиживался в главной

квартире, а работал в самых опасных местах, на перевязочных пунктах. За переход Балкан зимою семьдесят седьмого года его наградили орденом, а потом он удостоился и высочайшего подарка — портрета императрицы, украшенного бриллиантами. Но все это не спасло, однако, Ореста Эдуардовича от жандармского возмездии — несколько лет назад Веймар погиб в Восточной Сибири...

В ту ночь, когда матросу Лопатину сделалось худо, а я потеряла голову, на выручку явился Орест Эдуардович. Вид у него был свежий, словно бы минуту назад он не покоился глубоким сном, а готовился к очередной визитации. Быстро и как бы даже мельком осъидетельствовал раненого, быстро, изящно, словно играючи, наложил эсмарховский бинт. Переконфуженная и восхищенная, я проводила его. В дверях он блеснул улыбкой и пропел вполголоса: «Мадам, я вам сказать обязан, я не герой, я не герой...»

Дата форсирования Дуная хранилась в секрете, но военные секреты, даже и не сообразишь как, «выпархивают». Мы, конечно, понимали, что нам предстоит, однако до времени жили с бивачной беспечностью.

Но вот вечером тринадцатого июня после пробития зори все затихло будто бы по-иному, не так, как вчера или третьего дня. А в полночь словно бы сползла с места темная, мохнатая, чудовищная сороконожка: полки двинулись безмолвно, кавалерия мягко пришлепывала по толстой пыли.

Донеслась пальба. Значит, турки заметили наших. Пальба нарастала. Меня окатило дрожью. Где-то мрачно прошумело, потом резко треснуло — разорвалась граната. Мы поспешно разошлись по госпитальным помещениям. Признаюсь, я приняла двойную дозу нервных капель.

Говорили, что форсирование обошлось без больших жертв. Может, и так, но меня поразил наплыв увечных: везут и везут, несут и несут. Совсем немного времени минет, я увижу тысячи несчастных, распростертых на голой земле, услышу стон, зубовный скрежет: «Сестри-и-ица...», увижу и услышу, но уже, слава Богу, не испытаю того чувства, какое испытала в то утро.

Искромсанное, очень белое, неприятно белое человеческое тело, обожженная кожа, кровь с ее сырым, острым запахом — они будто багром вытягивали со дна души отвращение, какую-то безотчетную самозащиту, желание отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши. Правда, это отвратительное чувство было быстро побеждено суровой необходимостью немедленно исполнять свои обязанности.

Есть короткое слово: «надо». У нас оно обладает могуществом. Надо перейти балканские пропасти — перешли; надо замерзать на Шипке — замерзали; надо одолевать турку «заикающимися» ружьями и неразрывающимися снарядами — одолевали; надо терпеть голод — терпели...

Власть этого русского «надо» постоянно ощущалась во всем, что делал Александр Дмитриевич. В московском предместье поздней осенью семьдесят девятого года копали галерею, чтобы заложить под рельсами железной дороги мину и взорвать царский поезд. Михайлов работал в галерее. Позже он говорил: «Слыхали россказни о заживо погребенных? В подкопе я восчувствовал, что оно такое. Склизкая глиняная толща, и черви, и вода каплет, и эта физическая тяжесть. Все так и плющит: грудь, череп, руки и ноги. Но я сам себе твердил: раз надо, значит, надо».

В солдатском «надо» есть покорность; «надо» Михайлова заряжалось силой убеждения, как лейденская банка электричеством. Но при всем различии этих «надо» есть и коренное — дедовское, мужицкое. Кто-то из наших, не помню кто, говорил, что дед Александра Дмитриевича был отставным николаевским солдатом.

Я знала отца Михайлова. Мы познакомились в Петербурге после ареста Александра Дмитриевича. Отцу Михайлова было тогда лет семьдесят. Выходит, родился он в годину наполеонова нашествия. Следовательно, дед нашего Александра Дмитриевича никак не мог быть отставным николаевским солдатом, а был солдатом времен Суворова и Кутузова.

Между прочим, я не умею объяснить ошибку, допущенную самим Александром Дмитриевичем в автобиографической заметке. Я перечитала ее совсем недавно в одном нелегальном издании. Михайлов почему-то указывал, что отец его учился в Лесном институте.

В Петербурге, стараясь коть немного отвлечь и рассеять удрученного горем старика, я завела разговор о давно минувшем. Отец Михайлова никогда в Лесном институте даже и не числился; он кончил «курс наук» в батальоне кантонистов и стал топографом.

А с материнской стороны, как мне рассказывала — тоже после ареста Александра Дмитриевича — его кузина, Катя Вербицкая, были запорожские удальцы полковники, храбрые и стойкие. «И от них, — уверяла Катя, — некоторым в нашей фамилии передается способность всецело поглощаться одной идеей...»

Какие бы госпитальные заботы ни одолевали, я мучилась ожиданием известий от Александра Дмитриевича. Я

почему-то вбила себе в голову, что если не получу их на левом берегу Дуная, то уж на правом, за Дунаем, и вовсе не дождусь.

Я первая написала ему. Написала из Кишинева, потом из Бухареста, наконец, как ни крепилась, написала из Зимницы. Полевую почту все бранили. Она и вправду заслуживала нареканий, однако кое-как, через пень колоду, а пробиралась к нам. Да и я получила письма от Владимира Рафаиловича Зотова; в первое мгновение, получив эти дорогие мне письма, я испытала досаду и раздражение: я ждала других...

Нет, я и мысли не допускала, что с Александром Дмитриевичем стряслась какая-нибудь беда. Все беды, казалось мне, отныне прыключаются у нас и с нами, на театре военных действий, а там, в мирной России, какие там беды.

Спустя годы, когда жизнь, в сущности, прожита, потому что ничего не ждешь и ни на что не надеешься, спустя годы можешь улыбнуться тогдашним тереаниям.

Да, своим девическим подозрениям, пусть и не лишенным оснований, можно улыбнуться сквозь дымку отошедшего времени. Но не улыбнешься, даже грустно не улыбнешься страданиям Ольги Натансон.

Как сейчас, вижу ее, смуглую, стройную, с голубыми глазами; она была, кажется, обрусевшей шведкой. Ей пришлось вынести больше того и сверх того, что «положено» женщине, однажды и навсегда ступившей на дорогу революции.

Еще совсем молоденькой она добровольно отправилась в ссылку за Марком Натансоном, талантливым апостолом народничества. Они обвенчались. У них было двое детишек. Судьбина нелегальной заставила Ольгу отправить малюток к родителям. Дети внезапно заболели и умерли почти одновременно. Ольга скрывала свое горе. Один Бог знает, чего это ей стоило. Никогда не могла она избавиться от гнетущей мысли, что малютки выздоровели бы, будь материнский уход, материнская ласка.

Я встречала Ольгу на квартире Веры Фигнер, где бывали и Лизогуб, и Осинский, и Александр Дмитриевич; встречала в доме на Бассейной (рядом с домом Краевского, где тогда уже жил В. Р. Зотов, да и от нашей квартиры, в Эртелевом переулке, неподалеку). Там, на Бассейной, заседали «распорядители» общества «Земля и Воля».

Марк Натансон по праву считается одним из учредителей общества, Ольгу следует признать сердцем «Земли и Воли», суровым сердцем, недаром ее называли «наша генеральша».

Ольгу все чуть побаивались. А мы, лица женского пола, правду молвить, немножечко недолюбливали. Но, разумеется, и наши сердца облились кровью, когда Натансон попала в крепость. В каторгу она не ушла, а ушла из жизни, сожженная скоротечной чахоткой.

Ольга Александровна и Александр Дмитриевич были самыми яркими, даже самыми яростными сторонниками оргализации. Однако я с той прозорливостью, какая свойственна известногу состоянию, угадала, что глубокая привязанность Александра Дмитриевича к Ольге Натансон отнюдь не исчерпывается совпадением практических партионных взглядов. И, угадав, ощутила «отклик» вдвойне мучительный, ибо я вдобавок казнилась своей ревностью, как позором, недостойным нигилистки.

Надо сказать, одновременно и без колебаний я уверовала в нравственную невозможность для Александра Дмитриевича и Ольги Натансон перейти, как говорится, границы. Она была предана мужу. Не так, как осуждавшаяся нами «рабыня» Татьяна Ларина, а с последней искренностью. А Михайлов чуть ли не с гимназической восторженностью относился к Марку Андреевичу.

Меня-то не обманывали насмешки Михайлова над всяческими «телячьими нежностями». Люди, мало знавшие Михайлова, даже подозревали его в грубоватом цинизме. Между тем, мальчишески боясь фальши, он как бы затенял собственное рыцарски-нежное отношение к товарищам.

Да, я верила в невозможность «перехода границ» для таких натур, как Александр Дмитриевич и Ольга Натансон, но все это, увы, не избавляло меня от позора, недостойного нигилистки.

В Зимнице я не дождалась от него никаких известий.

5

Война разгоралась пуще. Госпитальные будни (если позволительно назвать буднями сплошной кошмар) забирали все мои силы, физические и нравственные. Я думаю, лазарет близ позиций страшнее самих позиций.

Там, на позициях, в длинных шеренгах идущих в атаку, в этих хрупких линиях, то и дело как бы прогибающихся под напором естественного страха, там люди сцеплены друг с другом, там действует и пример коман-

дира, и пример товарица, и еще владеет мысль, что если всем погибать, стало быть, и тебе погибать, чем ты лучше других. Под огнем, в атаке орудует громадная коса общей смерти, и твое крохотное «я» поглощено артельной участью.

Не то в госпитале.

Раненый, увечный оказывается один на один со смертью. И она орудует в тишине, с глазу на глаз. И если под огнем либо вправду отупеешь и оглушен настолько, что пренебрегаешь смертью, либо истинно храбр, то есть умеешь скрыть страх перед смертью, то здесь, в лазарете, иное. Тут лишь ты да она, твоя смерть...

Помню один вечер; это уж после войны, в восьмидесятом году. Александр Дмитриевич жил в доме Фредерикса, на Лиговке. Мы встретились в сквере. Оба не спешили: нас нигде не ждали — случай редкий; решили попросту пофланировать, погулять, как фланируют и гуляют молодые люди, — это ведь потребность молодости.

Недавно отошел ладожский лед. Петербург, как всегда после ледохода, казался огромнее. Уже смеркалось, и сумерки тоже казались просторными и чистыми. Мы шагали молча. Было хорошо и немножко грустно. Такая легкая, как дымок, грусть; она по-моему, непременная спутница полноты счастья.

Потом разговорились. О чем-то, должно быть, незначащем, пустяковом; и опять-таки в самой этой пустяковости присутствовала именно полнота счастья.

Я хоть сейчас укажу тот угловой дом. В первом этаже, уже освещенном, мальчик плющил нос на оконном стекле, медленным пальцем выписывал кривули... Александр Дмитриевич вдруг заговорил о смерти. Не элегически, не мрачно, не философски. И не с беспечностью молодости. Нет, очень спокойно, очень деловито.

Он говорил о смерти тех, кто повторяет латинское: «Умрем за нашу царицу!» (в данном случае «царицей не Наука, а Свобода). Он говорил, что и нам не избежать мучительной борьбы с могучим инстинктом самосохранения, но каждый из нас обязан подавить его на воле, чтобы в каземате, на эшафоте душа была готова и оставалась лишь телесная материальная борьба.

Я часто думаю об этом теперь, когда Александра Дмитриевича давно нет на земле, и мне кажется, что за его деловитым спокойствием стояло представление о смерти, как о таинстве. Ибо сказано: «Чтобы и жизнь открылась в смерти плоти...»

И все-таки в готовность «вкусить смерть» я не верю. На войне многие умирали стоически. Не равнодушно, не покорно, а именно стоически. Но душа, бедкая сиротеющая душа, билась и трепетала во мгле тоски, для которой в языке нашем нет слова страшнее и нет слова проще, чем тоска смертная. В госпитальных бараках последняя материальная, телесная борьба была обыденностью, но к темному, сухому шелесту этой тоски привыкнуть было невозможно.

А к остальному, пожалуй, привыкаешь.

И к тому, что раненые — прикрытые шинелишками, коржавыми от пота и крови, они кажутся обрубками — разражаются воплями, проклятьями, грубой площадной бранью. И к гнойным поражениям, над которыми даже задубелый военный лекарь не в силах склониться без крепкой сигары в зубах, а ты не разогнешься, пока не очистишь, не промоешь, не перебяжешь. И к каторге операционной, когда доктор, без мундира, с закатанными рукавами рубахи, в жилете и кожаном переднике, залитом кровью, как на бойне, выходит, шатаясь и садится, уронив голову и руки, а ты продолжаешь сновать, как челнок, кипятить инструмент, таскать тазы с теплой водой, сносить в сторонку ампутированные руки и ноги.

Захоронение ампутированных конечностей поднимает жуткое, знобящее чувство. Могильная яма, священник в облачении, с паникадилом. В яму вываливают из рогожек почерневшее, скрюченное, крошечное. Человек-то еще жив, а «часть» его уже погребают...

6

Александр II посещал госпитали. Он утешал раненых, крестил, целовал. Лицо его собиралось тяжелыми, нездоровыми складками. Я видела не раз, как он плакал, склонившись над увечным солдатиком. В те минуты он не был самодержцем, властелином, императором, владыкой, а был старым человеком, потрясенным видом страдающего.

Это свое впечатление я высказала впоследствии Александру Дмитриевичу. Глаза Михайлова заблестели мрачно. Он процедил: «Эх, и крепко сидят барские сантименты!»

Но дело не в сентиментальности. Для солдат посещение царя всегда было моментом навечно памятным. Говорю как о непреложном факте, хотя очень хотелось бы подметить иное, если и не совсем противоположное, то пусть бы и в малой дозе иное. Но тут наблюдалась патриархальная, детская, наивная доверчивость и надежды, какие еще долго не избыть нашему народу. Солдат мог ругательски ругать (и ругал) и своего полкового командира, и генералов, кого угодно, включая великих князей, да только не государя. В солдатском представлении царь не был причастен к несчастьям, которые выпали на солдатскую долю. Напротив, царь был единственной надежей. Недосягаемой, почти неземной, но единственной.

Я не разделяла до конца убеждения товарищей в том, что физическое устранение царя непременно вызовет всероссийский бунт, инсуррекцию, революцию, ибо была свидетельницей преданности и восторга, неизменно возникавших при появлении государя не только в госпитальном бараке, но где-нибудь на дороге, перед каким-нибудь полком, идущим на смерть и сознающим, что его ведут на смерть.

Вот от этого-то и нельзя было отмахиваться. А вовсе не «барские сантименты»...

При госпитальных визитах государя сопровождали свитские. Кстати сказать, среди прочих генерал-адъютантов находился и Мезенцев, шеф жандармов. В его бледной физиономии не было ничего инквизиторского, а была, скорее, некая двойственность — и бонвиван и святоша. Удивительно, меньше года минуло, и я, прогуливаясь по Питеру с Александром Дмитриевичем или с Кравчинским, «показывала» им Мезенцева, удостоверяла его личность, чтоб не вышло ошибки...

Однажды в царской свите оказался некий полковникартиллерист с флигедь-адъютантским жгутом на мундире. Обладатель бородки а la Hаполеон III, он, казалось, выпорхнул из гостиной. Кто-то, обращаясь к нему, произнес: «Послушайте, князь», и у меня не осталось никаких сомнений — столичная штучка.

Государь, задержавшись у койки одного из раненых, подозвал полковника:

Мещерский, а этот не твой ли?

Его сиятельство поспешно выдвинулся вперед и, несмотря на тесноту и неудобство, очутился слева от государя, ибо ведь это так принято — держаться по левую руку от важной особы.

— Да, ваше величество, — ответил князь.

Государь кивнул и двинулся дальше, увлекая за собою свитских, а князь сел в ногах раненого, о чем-то расспрашивая и машинально оправляя одеяло.

Потом Мещерский подошел ко мне и с поклоном представился. Я тоже назвалась.

- Позвольте, позвольте... Вы Ардашева? По батюшке — Илларионовна?
 - Я подтвердила.
- В таком случае, с живостью воскликнул князь, я имею удовольствие служить с вашим родственником!

В тот же день я обняла брата Платона. Разминулись и в Кишиневе, и в Зимнице, разминулись бы и теперь, когда бы не Эммануил Николаевич Мещерский.

Он приезжал по приказанию государя всего на несколько часов. Не знаю, зачем и для чего, вполне вероятно, по некоторым, так сказать, семейным делам: Мещерский приходился государю словно бы родственником, будучи женат на сестре той особы, которая... Впрочем, об этом в своем месте.

Итак, Эммануил Николаевич свел меня с братом Платоном. Платон служил под командой князя Мещерского в первой батарее 14-й артиллерийской бригады. Бригада входила в состав 14-й пехотной дивизии, начальником которой был поныне здравствующий генерал Драгомиров.

Брат внешне не переменился, не исхудал, не осунулся, разве что загорел. Увы, я должна попрекнуть природу в несправедливости; во всяком случае, со мною она обошлась несправедливо, потому что я вышла в нашего покойного батюшку, а брат удался в нашу мамулю. Ну и получился братец на славу, а сестричка так себе.

Платон был красавец. Он это знал и этим пользовался, легко покоряя сердца слабого пола. Он был на три года старше меня; девочкой я любовалась братом, но потом меня стали раздражать его манеры записного сердцееда.

Не изменившись внешне, брат как будто несколько изменился внутренне. Начать с того, что он, хотя и не без гордости, объявил о своем производстве в штабс-капитаны и о Станиславе с мечами и бантом, но упоминание было «скользящим», а гордость приглушенной, словно бы мерцало Платону: «А-а, полноте, все это, в сущности, пустяки...» В этой задумчивой сдержанности было нечто новое, непетербургское.

Дивизия Драгомирова первой форсировала Дунай и первой оказалась лицом к лицу с неприятелем.

— Понимаешь ли, — рассказывал Платон, — под ложечкой-то екало. И во всем теле предательская слабость. Похоже... Нет, ей-Богу, будто кадетом накануне экзамена, не смейся. А потом нарастает напряжение, тяжелое и вместе ко-

пючее — окаянное ожидание кусочка свинца, предназначенного тебе, именно тебе, а не кому-то другому. А вперемежку с этим — злоба. Эдакое непостижимое чувство озлобления... — Он помолчал, покурил и продолжил: — А знаешь ли, у меня с приятелем... это еще в первые дни было... у меня со штабс-капитаном Пестовым завязались однажды «кошкимышки». Стреляли с левой стороны, так и пришлепывало, так и жужжало. И вот, представь, каждый из нас норовил прикрыться другим, то есть идти с правой стороны. Мы оба, черт возьми, отлично понимаем и стыдимся, а вот никак, хоть убей, не умеем совладать с собою. Когда стрельба кончилась, мы переглянулись да и покатились со смеху... Вот тут и пойми! Но возникает и другое, совсем другое. Я вот о чем. Ты знаешь, у меня в приятелях никогда недостатка не было, я приятелей люблю... Но тут другое, тут, видишь ли, теплое, прямо-таки родственное всех-то тебе жаль, все тебе близки. Славно, Аня... И не только к своему брату офицеру, нет, и к святой серой скотинке. Заметь, «святой» — это наш Прагомиров добавил. Признаюсь, бываю крут, вгорячах чего не случится. А ведь прощают. Солдат, он одного не прощает — мелочного педантства. А нас-то, вот таких, как я, все больше на мелочное педантство натаскивали...

Зашла речь о князе Мещерском. Я сказала, что первое мое впечатление было далеко не в пользу его сиятельства. Платон рассмеялся.

— В бригаде тоже... Ты заметила, как он изъясняется по-русски? Точно бы и не русский. Ему по-французски легче... Назначили его недавно, в прошлом ноябре. Все на него косились, прозвали: «Палерояль». А теперь только и слышишь: «О, настоящий русский человек!» Нам каждому поверкой — дело, огонь, позиция. А там-то Эммануил Николаевич не просто храбр, а поразительно храбр. Будто и не гремит, не жужжит вокруг. Да и не это главное... Храбрецов не занимать стать. Нет, он молодцом дело делает, наперед обо всем заботится, обо всем успеет подумать. Духами прыскается? Э, возьми Скобелева, на что генерал, на что воин, а франт из франтов: непременно это он в белом как снег мундире, рыжие бакенбарды волосок к волоску, будто сейчас от куафера...

Оказывается, Мещерский находился в службе с восемнадцати лет. (Когда я его увидела, ему было далеко за тридцать, а может, и все сорок.) Начал он унтером на Кавказе, и там, в кавказских битвах, удостоился самой подлинной из наград — знака Военного ордена. Потом долгие годы был военным агентом в разных миссиях и посольствах. Платон говорил, что Мещерский — обладатель иностранных крестов, а в годину франко-прусской войны получил золотую саблю за храбрость.

Знакомство с Э. Н. Мещерским принадлежит к самым светлым моим воспоминаниям о войне, бедной светлыми воспоминаниями. А знакомство наше не оборвалось первой встречей, потому что я добилась перевода в лазарет, приданный драгомировской дивизии.

Кто был на войне, помнит разительное несходстьо госпиталей Красного Креста и лазаретов военного ведомства. Они отличались почти так же, как великолепные, но немногочисленные санитарные поезда, снаряженные императрицей или на пожертвования городов, отличались от многочисленных «телячых» и прочих эшелонов для эвакуации. (Эти слова — «телячий» вагон, «эвакуация», «эшелон» — я впервые услышала на войне.)

Попасть в госпиталь Красного Креста было мечтою всех раненых, мечтою, увы, редко осуществляющейся, ибо при всем старании Красный Крест не мог принять громадного числа «желающих». Госпитали Красного Креста были богаче, лучше, чище лазаретов военного ведомства. Последние вечно мыкались, как приживалки. Да еще и подвергались беспардонному интендантскому грабежу. (От него, впрочем, не было спасу и боевым действующим частям.) Я бы упекла в нерчинские рудники того мудреца, который отпускал для дивизионного лазарета четыре фунта гигроскопической ваты на четыре месяца! Вы только влумайтесь: по фунтику на месяц! Да одна настоящая перевязка возьмет куда больше. Или вдруг раскошелятся и пришлют несколько пудов рыбьего жира вместо... хлороформа. Или гуляет дизентерия, а ты не допросишься опиума. И так далее и тому подобное. Конечно, Красный Крест, как мог и где мог, выручал казенные лазареты, да ведь на всех не напасешься. Короче, в казенных лазаретах такая была мука и для больных и для медиков, что слов не хватает.

7

Батарею Мещерского... Я не запамятовала — первая батарея 14-й артиллерийской бригады, — но я называю ее батареей Мещерского, ибо так, только так, а не номером именовали ее солдаты, что справедливо считалось высшей степенью солдатского признания и солдатской признательности... Так вот, батарею князя Мещерского, а стало быть,

и самого Эммануила Николаевича и брата Платона, бывшего на батарее старшим офицером, я нагнала в канун выступления к вершинам горы Св. Николая.

Гора Св. Николая — это, собственно, три главы, три седловины. Дивизионный лазарет расположился за третьей, а за первой поместился перевязочный пункт.

Бои завязались без промедления. Сломив великодушие старшего врача, я отправилась на перевязочный пункт, поблизости от батареи Мещерского, в лесок, где находились лишь санитары и болгары-добровольцы, вызвавшиеся помогать.

На Шипкинском перевале, на горе Св. Николая, и научилась различать какофонию огня. Если картечь, то будто зашаркает веник по мостовой. Бомба басит и повизгивает, а потом, приблизясь, вдруг и взвоет. А пули... Говорили, что опытный военный различает пение пуль еще в полете: какая перевернулась, а какая с изъяном, со свищем. Я знаю только, что удар пули звучит каждый раз по-разному. Если в скалу, в камень, то звук тупой и твердый, будто классная дама пристукнула об стол карандашом. Если в каменистую землю, то слышишь шорох, будто на крахмальную скатерть просыпала сахарный песок. А если угодила, попала, не промахнулась, тогда словно бы кто-то приложил палец к губам и произнес: «Тсс...»

Ненавижу войну, а должна сознаться — в боевом деле есть темный азарт. Ты вроде забываешь, что оно, это боевое дело, несет смерть, несет страдания тебе подобным. Хуже того, перехватывают безумные минуты, когда мстительная мысль, что несешь смерть и страдания, словно бы обдает сухим пламенем, и тебе это приятно.

Подходишь к расположению батареи Мещерского. У коновязей четверики и шестерики. Рядом орудийные передки, зарядные ящики. Часовой не с ружьем, как у пехотных, а с обнаженной саблей. Слышишь грохот, крики, чуешь кислую вонь порохового дыма.

А вот и сама батарея.

Унтер-наводчик вспрыгивает на орудийный хобот, упирается прищуренным глазом в целик, ерзает вправо, влево и слабо, даже как бы капризно, помахивает кистью руки — указывает, куда подавать. Потом наводчик уступает место офицеру, а сам стоит рядом с видом скромным и достойным, как человек, хорошо исполнивший свой долг.

Офицер с биноклем, быстро оценив точность наводки, бойко кричит: «Пли!» И вот уж прислуга отскакивает в сторону. Пушка рявкает, приседает и откатывается, звеня

и лязгая. Артиллеристы, вытянув шеи, медленно сгибаясь, чтоб не застил дым, следят, где разорвется. Раздаются возгласы: «Чистая отделка!», «Важно!», «В середку угодила!»

Но война отнюдь не ажитация, когда артиллерийский офицер при сабле и пистолете командует: «Пли!», или генерал, махнув перчаткой, молодецки приказывает: «Музыка, вперед! Развернуть знамя!» Война — ломовая работа. Полк окапывается, вгрызаясь в камень. Батарейные заняты утолщением брустверов. Укрепления требуют ежедневных исправлений. Надо добыть лесной материал — колья, брусья. Надо волочить их на позиции, волочить под выстрелами. Наступают холода, туманы, дожди — необходимы землянки... Бессонные ночи, арестантская зябкость траншей, грязное белье. Лихорадка, дизентерия, мириады вшей, вонь неубранных трупов, вонь испражнений...

Иногда вечерами я заглядывала на огонек к брату Платону и кн. Мещерскому. Эммануил Николаевич, немало повидавший на своем веку, был занимательный рассказчик. В его рассказах открывалась жизнь придворная и дипломатическая. А мы сидели у огня, кто набросив полушубок, кто пальто или шинель, сидели посреди скал, траншей, брустверов, окруженные туманом, тьмой, сыростью, неизвестностью, и с жадностью слушали князя.

Мещерский, пощипывая бородку, говорил о прусском короле, теперешнем германском императоре, о том, как он, Мещерский, ни за что ни про что получил датский офицерский крест и нидерландский офицерский крест, как ездил в Швецию и каков был некий генерал Леббеф, с которым дружил наш рассказчик.

Все это должно было бы здесь, на театре военных действий, представляться донельзя мишурным, пустым, никчемным, а между тем, повторяю, мы слушали с жадностью. Не оттого ли, что все, рассказанное князем, было бесконечно далеким? Не потому ли, что всем нам хотелось забвения, пусть и краткого?

В ночь на пятое сентября я была на биваке, у брата Платона. Только что пришла долгожданная почта, как всегда, разворошила в душах минувшее, невоенное, домашнее, и на биваке там и здесь возникали те особенные доверительные беседы, которые бывают только у военных вблизи неприятеля или у заключенных на долгом этапном пути.

Эммануил Николаевич, тихо светясь, говорил о жене и детях. Летом они жили в Царском Селе, зимою — в Петербурге. Жена нашего полковника была урожденной кн. Долгорукой. Она была из тех княжон, что не располагают

приданым, ни недвижимым, ни банковским. (Впрочем, таким же был и Эммануил Наколаевич). Женился он вскоре после того, как Мария Михайловна вышла из Смольного. Эммануил Николаевич показал миниатюру, изображавшую довольно миловидную блондинку. И вдруг, поскучнев, попросил меня и Платона похоронить его вместе с этой миниатюрой, а медальон с локоном, висевший у него на груди, возвратить Марии Михайловне.

Словом, разговор принял печальный оборот, и, если бы он случился неделею, даже несколькими днями прежде, я бы его вряд ли упомнила, но все дело в том, что происходил он в ночь на пятое сентября.

В эту ночь наступила тишина. Совершенная и удивительная тишина, когда слышишь шорох тумана. И по мере приближения рассвета она не только не нарушалась, а становилась еще глубже и полнее. Мне дали провожатого, и я отправилась в лес, на перевязочный пункт.

Спустя часа полтора турецкая гвардия начала общий штурм горы Св. Николая. Взвизгивая «алла! алла!», турки бешено ворвались в наши передовые ложементы и обрушились на батарею Мещерского.

В самом начале сражения Эммануил Николаевич был убит. Пуля попала в сердце, он не мучился и мгновения. Но солдаты все-таки принесли полковника на перевязочный пункт. Я накрыла его лицо платком. Солдаты постояли, перекрестились, надели шапки и ушли назад, на батарею.

Есть странность, которую испытывают, очевидно, лишь на войне: убьют человека тебе близкого, а ты поначалу не ощущаешь никакого потрясения, разве что тупое недоумение, да и то недолгое. И лишь потом, минет время, заноет, заболит, затоскует сердце.

8

Транспорт — это десятки, сотни повозок. Похожие на громадные сундуки без крышек, с трухлявой подстилкой, гадкой и дворовому псу, с немазаными осями, они издавали невыносимый, бесконечно долгий скрип, который, мешаясь со стонами, наполнял окрестности характерным гулом.

Транспорт приближается к госпиталю. Госпиталь переполнен. Мест нет, медикаментов нет, махорки нет, носилки заняты, самовары распаялись, кипятка нет; хирургический инструмент давно затупился, зазубрился. Доктор, в замызганном платье, небритый, измученный, хрипло осведомляется: «Сколько всех?» Услышав ответ, он с минуту только сопит.

Дождь, ветер, тучи. Из бараков шибает карболкой, испражнениями дизентериков. Не знаешь, который день недели. Куришь, куришь. (Многие, почти все сестры милосердия, я в их числе, пристрастились к табаку.) Впрочем, одно чувство есть: раздражения. И против раненых, и против коллег, и против этого дождя, этих туч, против всего на свете.

В одну из таких минут я увидела щуплого, с жиденькой бородкой человека, одетого в брезентовую епанчу и брезентовые шаровары, заправленные в сапоги. Он орудовал широкой лопатой. То был студент, по фамилии, кажется, Маляревский. После войны, в Петербурге, я спрашивала о нем, но так ничего и не узнала; возможно, он не был питерским студентом.

Маляревский спасал и госпитали и целые городки, переполненные войсками и ранеными, от повальных эпидемий: он добровольно занимался уборкой нечистот. Администрация не давала ему ни подвод, ни рабочих рук, Красный Крест ссужал грошами, но Маляревский как-то изворачивался. И я утверждаю, что поступок Маляревского был поистине героическим, хотя со мною наверняка не согласятся чиновники наградного стола главной квартиры...

Я оказалась в гужевом санитарном транспорте, а затем и в санитарном эшелоне после того, как уполномоченный Красного Креста, посетивший Шипкинский перевал, нашел, что сестру милосердия Ардашеву пора забрать из лазарета 14-й пехотной дивизии.

Я согласилась сразу, согласилась с радостью! Правда, совесть оскалила остренькие зубки, но я сказала этому грызуну: «Послушай, вернусь, ей-Богу, вернусь, а сейчас уволь, нет сил, ни телесных, ни душевных». Впоследствии я вернулась на Шипку, это правда. Но, умасливая свою совесть, я ни на волос не верила, что вернусь, это тоже правда.

В начале кампании, двигаясь к Дунаю, наши полки обтекали Бухарест, едва затрагивая окраины. Теперь, доставив раненых в Бранкованский госпиталь, я могла осмотреться. Впрочем, «осмотреться» — звучит как из записок вольного путешественника, лучше сказать — я о з и р а л а с ь.

Было странно видеть собственное отражение в зеркальных стеклах магазинов, фиакры, запряженные свежими и холеными лошадьми, а не загнанными или запаленными,

видеть людей чистых и улыбчивых, а не сумрачно сосредоточенных, слышать речь о каких-то сбыденных предметах, ступать по ровной мостовой, меняющей твою походку, вдыхать приятный запах кофейни или глядеть на Дымбовицу, которую не надо форсировать, а можно спокойно перейти по одному из мостов.

При мне в Бухарест вступил полк гвардии, призванной на театр военных действий в качестве панацеи от плевненских и прочих неудач. Какой именно полк, не помню, кажется, гренадеры.

Офицеры рассыпались по городу, эдакие свеженькие, беспечные. Я испытывала неприязнь, даже, пожалуй, легкое злорадство: «Э, погодите-ка, соколы, хлебнете лиха».

Ну, а пока эти сабельки бренчали на улице, слушали повсеместно в Румынии распространенный романсик «Ісһ bin der kleine Postilon¹.» — или, входя в кафешантан, весело осведомлялись у старшего в чине: «Разрешите остаться?»

По-иному вели себя офицеры, командированные по каким-либо делам с театра военных действий. В их кутеже была забубенная торопливость. Они пили жадно, будто задыхаясь, нахлобучивали свои фуражки на случайных подружек, стаскивали с плеч походные сюртуки и оставались в одних сорочках.

Бухарестские дни запечатлелись бы в памяти вот только такими чертами, если бы я не встретила Розу Боград, а она не свела меня с Анной Корба.

Михайлов утверждал, что в целой толпе барышень и женщин нетрудно отыскать участниц революционного дела. Это очень просто, говорил Александр Дмитриевич, стоит только внимательно присмотреться. У наших, объяснял он, другая походка, жесты, движения — энергия, бодрость, особенная эластичность. А все прочие — квелые (он так и сказал: «квелые»), не ходят, а семенят; и главное, у наших одухотворенность, а у тех кисейная экзальтация и жеманство.

Михайлов был наблюдателен, равномерно приметлив и к квартирным хозяйкам, и к кучерам, и к топографии местности или города, и к товарищам, и к недругам. То было врожденное чутье, хотя Александр Дмитриевич и настаивал, что подобное чутье может и должен выпестовать в самом себе каждый нелегальный.

Вот и в этом случае, общее схватил он верно. Однако всех в одни скобки не заключишь. Вздумай Александр Дмитриевич применить свой «закон» к сестрам милосердия

¹ «Я маленький почтальон (нем.)

на театре военных действий, он бы чуть ли не каждую причислил к революци энеркам — обстоятельства, род деятельности придали им как раз те внешние признаки, о которых он говорил.

Принадлежала ли Роза Боград к типическим фигурам — не припоминаю. (Зато помню, как задело меня ее сочувственное: «Ох, и переменилась ты!») Не скажу, была ли она уже тогда женою Плеханова с которым теперь в эмиграции, но, несомненно, они знали друг друга, как оба знали и Александра Дмитриевича, и меня: мы были, что называется, одного круга.

Увидев Розу Боград, я ощутила, как давно оставила Россию. Минули месяцы, а мне казалось — годы. Есть свойство времени тюремного: быстролетность и вместе неимоверная протяженность. Тоже, как ни странно, на войне.

Об Александре Дмитриевиче Роза только и могла сообщить, что он, как и Жорж Плеханов, где-то на Волге, скорее всего в окрестностях Самары или Саратова. Признаться, я готова была сто раз переспрашивать и сто раз выслушивать все о том же.

Розина комната при старинном госпитале была обыкновенная, даже бедненькая, но разве не блаженство, когда можешь затворить дверь и остаться наедине с собою? Не блаженство ль разуться и ощутить под ногами не острый холод каменистой земли, а чистые половицы? И не блаженство ли пить чай, слушая вполуха неотвязный шум вечернего дождя и зная, что тебя не позовут в темень и непогоду?

Ничего-то мне не хотелось, а только вот так сидеть у этого стола, покрытого скатертью, за столом с чаем, конфектами и печеньем — настоящее пиршество, — сидеть, подперев щеку ладонью, и не прихлебывать чай, торопясь и обжигаясь, а пить мелкими-мелкими «домашними» глот-ками...

Поздним вечером постучали. Вошла молодая женщина. Роза нас познакомила. Анна Корба, сестра милосердия Благовещенской общины, служила в санитарном поезде, доставлявшем раненых из Бухареста к русской границе.

Дочь статского генерала и супруга инженера Корба, швейцарского подданного, Нюта в ту пору была легальной. Но ее симпатии и антипатии уже определились. Минул сравнительно краткий срок, и она, разорвав с мужем, сделалась нелегальной, заняла выдающееся место в партии. Она пылала таким вдохновением, что у нас говаривали: мы действуем, Нюта священнодействует.

Александр Дмитриевич питал к ней глубокую приязнь. Это давало повод подозревать экстраординарные отношения. Может быть, я еще расскажу...

Я уже писала, что Михайлов чрезвычайно ценил товарищество. Друзья составляли организацию; организация состояла из друзей. Тут была слитность. Но именно Нюте, именно Анне Павловне Корба он открывал такое, чего не открывал и Желябову, уж на что они были близки.

В начале восьмидесятого года Нюта жила неподалеку от Сенной площади, на Подьяческой. У нее хранилась часть «небесной канцелярии», часть паспортного стола «Народной воли», и Михайлов, постоянно озабоченный благонадежным устройством нелегальных, часто наведывался к Нюте...

Было уже за полночь, когда Роза извлекла из чемодана нелегальную литературу. Я удивилась. Это было странное удивление. Война поглотила меня и оглушила, и мне представлялось, что и там, вне театра военных действий, тоже все поглощены войной. А тут — литература, нелегальные издания, нечто из другого мира. И вот — удивление, чувство очнувшегося человека, который не вмиг смекает, где он и что он.

Я должна была бы, кажется, ощутить жажду печатной строки, нетерпение к революционным новшествам. И опять-таки странность! Не апатия, совсем не то, а такое внезапное сознание растраты собственного нервного капитала, что я не нашла в себе охоты к чтению. И лишь на другое утро, когда Роза с Нютой отправились на склад Красного Креста, на громадном дворе которого, заваленном ящиками и тюками, постоянно кипела работа, лишь тогда я принялась за чтение.

Запрещенной, недозволенной была эта литература только для нас и у нас, только для русских и в России, но не в Румынии и не в Турции. Ярмо русского деспотизма давило тяжелее даже ярма турецкого, а уж последнее в целом свете рекомендовалось варварским.

В Румынии расейские жандармы пытались пресечь распространение революционной литературы. Казалось бы, чего проще, если взять в расчет союзничество, а сверх того и присутствие в слабосильной стране русской армии? И однако, «голубым» указали на дверь, заявив, что подобные запрещения про тиворечили бы конституционным установлениям. (Тут было над чем призадуматься нам, социалистам, в ту пору отрицателям конституций!)

В пределах Турецкой империи «предерзостные книжонки» тоже никто под полу не прятал. В Сан-Стефано, например, их получал каждый посетитель ресторации Боске, популярной у наших офицеров.

Одно плохо, а главное, непоправимо: эмигранты, издатели, и поставщики нелегального, не посылали ничего, предназначенного армейской публике. Правда, солдатская масса, насколько знаю, чуралась печатного слова (исключая Евангелия, особенно в госпиталях), чуралась и спешила предоставить «по начальстьу», то есть поступала так же или почти так, как и деревенские простолюдины. Это верно. Но следовало бы адресоваться к офицерам, писать о той роли, которую и может и должна сыграть вооруженная сила в коренном обновлении России. Уверена, семена падали бы на благодатную почву; может, еще более благодатную, чем молодое, необстрелянное офицерство, из которого чуть позже рекоутировались наши подпольные военные кружки. Однако никто не заботился ковать железо, когда оно было не горячим, а прямо-таки раскаленным.

Несмотря на явное нежелание румынских властей потворствовать русской жандармерии, мы соблюли некоторую конспирацию, начиняя мой багаж «преступной» литературой.

Я бралась доставить ее на родину в своем санитарном эшелоне. Военные поезда не подвергались таможенному досмотру, однако не следовало наводить «голубых» на след. Тем паче что «хвост» вполне мог увязаться за мною и там, в России, обнаружить наши связи.

Как сестре милосердия, мне полагался бесплатный провоз до трех с половиной пудов багажа. Мое имущество не тянуло и полпуда, и я «по праву» хотела загрузиться нелегальным.

Роза отправилась в какую-то кофейню, куда вечерами наведывался эмигрант, болгарский революционер Любен Каравелов. Вернувшись из кофейни, она сообщила, что Каравелов охотно согласился припасти необходимую нам литературу и что мы получим ее из рук в руки, не привлекая стороннего внимания.

Помню улицу Мошилор, в конце ее — дом; на пороге встретил нас высокий, худой, сутулый, темноглазый человек в просторной синей блузе. В лице, широколобом, с желтизною, мне почудилось отдаленное сходство с татарским типом, и на минуту мелькнул Владимир Рафаилович Зотов, хотя борода у Каравелова, не в пример зотовской, росла пышно.

(В Петербурге я рассказала о своем впечатлении В. Р. Зотову. Владимир Рафаилович, смеясь, заметил, что у него от предков татар «уцелела» разве что реденькая бороденка.

а когда бороду он брил, то даже сам Лафатер не «учуял» бы в нем татарской крови. Что до Каравелова, то Зотов, оказывается, во времена оны состоял с ним в переписке: Каравелов, живший тогда в Сербии, искал заработка и хотел сотрудничать в русских газетах.)

На другой день я перебралась в военно-санитарный поезд. Он состоял из вагонов, которые начальство, со свойственным ему остроумием, называло «приспособленными». Если они и были приспособленными, то для скота, в них скот и возили. Вагоны не сообщались друг с другом, как пассажирские, и врач не появлялся до очередной остановки. Да к тому же всем — и раненым и персоналу — доставалось от крутого произвола начальника транспорта, взбалмошного и пьяного ротмистра.

На границе мы получили депешу, согласно которой эшелон следовал в Саратов, где эвакуированных ждали палаты и бараки земской больницы.

В Саратов! Пусть и две почти тысячи верст, но ведь в Саратов, на Волгу! Я и надеялась, и не надеялась увидеть Александра Дмитриевича. Надеялась, потому что приключаются чудеса. Не надеялась, потому что чудес не бывает.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Вы спрашиваете: что дальше? Продолжение есть, оно будет. Но теперь позвольте мне. А то ведь какая диспозиция получилась? Вас, читаючи, занесло с Анной Илларионной в конец семьдесят седьмого года. А ваш покорный слуга Зотов остался со своим героем в метелях семьдесят шестого. Надобно соединить нитку...

Я говорил, что впервые увидел Михайлова в Эртелевом, у Анны Ардашевой, это в канун ее отъезда было. Особенного впечатления молодой человек на меня не сделал, и я нисколько не держал на уме, что мы еще встретимся. Не то чтобы не хотел его видеть... Отчего? Занятно молодых наблюдать... Нет, просто какая могла случиться докука у него ко мне, а у меня к нему?

Однако случилась. И весьма неожиданная.

Видите ли, Аннушка, чтоб меня, ветхого человека, поднять в глазах своего друга, Анна-то Илларионна возьми да и похвастай моей библиотекой. Вот, дескать, обладатель истинных сокровищ. Оно и верно — обладатель. Сами изволите видеть. А это еще не все, в других комнатах — до потолка. Тут и наследственное, от батюшки, тут и благоприобретенное. Уж на что Благосветлов... (А тот, который поставил «Русское слово» и «Дело».) Уж на что знаток и ценитель, не плоше Лескова, а и Благосветлов, бывало, позавидует: «Библиотека у вас, Владимир Рафаилыч, единственная!»

Скажете: какого черта — ваша библиотека и ваш нигилист? Да и я, я тоже руками развел (мысленно, мысленно), когда он постучался ко мне и сказал об этом. И ведь вправду, они все больше жили сердцем, нежели мыслью. Это, пожалуй, верно, но сейчас о другом.

Сейчас я внимания прошу, потому что никаких бомб, никаких подкопов. Сюжетами этими многое заслонилось. Нет, хочу, чтоб услышали музыку, которая в его душе звучала, постоянно звучала, хотя и под сурдинку... Впрочем, тороплюсь.

Так вот, он-то, Александр Дмитрич, как раз ради книг и явился. Ради каких? Нипочем не угадаете. Представьте: староверы, раскол!

Ну да, да, да — раскол. Опять-таки: а с какого боку тут я — Владимир Рафаилыч Зотов, православного вероисповедания?

До времени у нас об расколе только и знали, что по романам батюшки моего и романам Масальского, который так ловко строил интригу. Занявшись расколом, отец мой копил кое-какие бумаги, а я — сборники Кельсиева, нелегальное «Общее вече».

Разумеется, Александр Дмитрич обо всем этом не ведал. Он попросту намотал на ус хвастовство Анны Илларионны. Зачем, с какой целью? Он бы, понятно, и в Публичной отыскал, ну, скажем, Аввакумово «Житие», или Субботина, московского, этот его трактат о расколе как орудии враждебных России партий, или, наконец, «Братское слово»... Или вот еще: Ливанова очерки, хотя и мерзейшие, но с фактами, с фактами... Отыскал бы, конечно. Но примите в расчет образ жизни: день-деньской на ногах, глядишь — девять вечера, затворились двери Публичной. А ежели бы книгу на ночь, ежели бы с книгой в полночь, за полночь? Вот он и пришел.

Мне первое на ум: не желаете ли, говорю, книжку многострадального Щапова? (Был такой историк, очень его радикалы уважали.) Благодарит, улыбаясь. Я сказал ему про сборники Кельсиева, про «Общее вече». Он рот разинул. А мне, библиофилу, приятно. Однако, говорю, эти я на руки не дам. Увольте, не дам. Эти, говорю, нынче ни у одного книгопродавца не сыщешь. Понимаю, отвечает, и опять улыбается этой своей приветливой улыбкой, очень, говорит, понимаю, а как быть? Ну, как быть-с? Желаете, присаживайтесь, листайте себе на здоровье.

Не помню, кстати иль некстати, из одного тщеславия, но я ему про Герцена... Стойте, господа, тут все связано. Этот вот Кельсиев был Герцену одно время сотрудником, а листы «Общего веча» выдавали в свет при «Колоколе». Я и брякни, что газета газетой, а я и Герцена знавал. Тут он, Александр-то Дмитрич, даже как будто и растерялся. В глазах, вижу, мольба и вопрос.

Я по себе, господа, знаю. Бывало, сойдутся у батюшки... Мы тогда жительствовали у Львиного мостика, в казенном доме театральной дирекции, где батюшка служил... Да, бывало, сойдутся. Вино, разговоры, воспоминания. Слышишь: «Государыня изволили...», «А Гаврила Романыч входит...» Слышишь такое — душа мрет. Не от того мрет, чего уж там такое изволила государыня, а от того, что вот этот самый человек, эти вот самые глаза глядели на Екатерину, на Державина...

Должно быть, у Михайлова подобное возникло, когда я о Герцене заикнулся. Не велика моя «причастность» к Герцену, но знавал Александра Иваныча. Знавал!

Сильно я эдак-то в объезд беру. Но, во-первых, Герцен, знаете ли, такая неисчерпаемость, а, во-вторых... Вовторых, тут и линия наших отношений с Михайловым. Сдается, «причастность» к лондонскому изгнаннику подняла мой кредит в глазах Михайлова. И что самое-то странное, даже смешно, ей-Богу... Я ему рассказываю про Герцена, а самому приятно, лестно, даже вроде бы горжусь. А я ведь отчетливо сознавал, что внимание не к моей персоне, а как отраженный свет. Ну, а все равно приятно.

Я видел Герцена: счастливые билеты доставались трижды. Впервые — в сороковых; он приезжал из Москвы, посетил Краевского...

Нет, до «Голоса» еще вечность была; я тогда редактировал «Литературную газету». Краевского я хорошо знал. Он женат был на Анне Яковлевне, урожденной Брянской, удивительная была Дездемона, да-с... Брянский, актер Александринского, жил в нашем доме, его дочери, Анна и Авдотья, на глазах росли. Так что я будущую Краевскую еще до Краевского знал.

Ну вот, у Краевских в сорок шестом я и познакомился с Герценом. Помню, долгополый сюртук — московский покрой; да и весь Александр Иваныч был, так сказать, московского покроя.

Если бы вы только слышали, как он говорил! Я не о том, что говорил, а именно о голосе, о звучании голоса... У нас, коренных петербуржцев, согласитесь, есть эдакая снисходительность: э, Москва-матушка, большая деревня... Я тоже так. В одном отдаю решительное предпочтение — красоте, прелести московской дикции. Тут уж наш Санкт-Петербург нишкни. В нашем твердом, быстром говоре нет ни отзвуков благовеста, ни отсветов солнца на маковках... А у них — есть. Вот у Герцена-то как раз и была прелестная московская дикция. Голос плавный, льющийся, заслушаешься.

Но слушать — трудно. Это не парадокс: трудно от быстрого полета мысли. Будто гонишься, весь в напряжении, и не поспеваешь, а рядом так и полыхают молнии, так и полыхают... И еще: после Герцена, как он уйдет, у тебя с другими людьми разговор не вяжется. Чувствуешь, нужно «приспособиться», потому что после Герцена всякая иная беседа — колченогая, неказистая.

Теперь — дальше. Текли годы. Александр Иваныч был за границей. Император Николай Павлыч опустил шлагбаум, нас всех — под караул, каждому — свой будочник. «Ох, времени тому!» — как встарь вздыхали... Звука «Герцен» боялись хуже мора. Нынче и не понять, как переменился смысл самого слова: «эмиграция». Вернее, в ту пору говаривали «экспатриация»... При Николае-то как измена, синонимом измены воспринималось, да-да. Ну, в лучшем случае как несчастье. А Герцен доказал право на политическую эмиграцию — моральное право, если ты сознаешь себя гражданином.

Ну-с, жили мы под Николаем. Потом, в шестидесятых, пожимали плечами: Господи, да как это мы дышали? И все до точки списываешь на счет всепоглощающего страха. Верно: «и бысть страх велий». Однако все и вся на страх-то свалить — не слукавить ли? Дескать, что тут рядить, все мы люди, все мы человеки. А нет, не только страх, не-е-ет! Было еще одно обстоятельство. На него все тот же Герцен указал: резкое понижение нравственного уровня образованного общества...

Я вспоминаю чувства при известии о кончине Николая Павлыча. Поверите ли, первым было — недоумение. Почему? Да ведь Николай-то Павлыч, грозный царь наш, был,

есть и будет. Вот какое гипнотическое состояние: есть и будет, едва ль не во веки веков. Всех нас переживет и детей наших, а то и внуков тоже. И вдруг — преставился, почил в бозе!

Надо было жить в то время, чтобы попять: ей-Богу, парить захотелось. Окна настежь! Свет, воздух! Распахни объятия, христосуйся, Светлое Воскресение право.

Многих потянуло в Европу, ездить стали, шлагбаумы поднялись, а будочники головушки повесили. Собрался и я. Надумал заграничные письма писать для «Сына Отечества», хотя сотрудничал в «Отечественных записках» — критическим отделом заведовал. Но главной-то целью, меккой, как и для многих, стоял туманный Альбион, Лондон.

Прямого сообщения через Берлин не было, только еще строилась железная дорога от Кенигсберга до нашей границы. Пришлось часть пути проделать морем, будь оно неладно. (Мой старший — офицером флота, вокруг света плавал; спрашиваю: «Как это ты, Рафаил, такую каторгу терпишь?» Смеется...)

В Лондоне — «знакомые все лица»: Краевский, писатели. Все жаждут видеть Герцена. Да, забыл сказать: в тот самый год на всю Россию загремел «Колокол»... Александр Иваныч пригласил к себе всех нас. Одному Некрасову отказал. Была, кажется, какая-то претензия к Некрасову — за Огарева или жену Огарева, в точности не помню.

Жил Герцен в Путнее. Это от Лондона поездом минут двадцать. Занимал дом, двухэтажный, с садом; в саду зелень нежная и вместе крепкая, как повсеместно в Англии.

Герцен, вижу, мало переменился. Та же подвижность, льющийся голос московского тембра. Ну, несколько статью плотнее. И, может быть, больше открылся лоб, великолепных очертаний лоб у него был. Да, вот еще: как бы впервые расслышал его смех — открытый, искренний, так смеются очень честные люди.

Он радовался нам. Не тому, что мы явились на поклон: позвольте, дескать, засвидетельствовать... Нет, ни тени литературного генеральства. Он радовался русским, землякам. И в этой радости уже таилась глубокая тоска, эмигрантская, от которой защемило мое сердце при следующей встрече, десять лет спустя.

Мне случалось чревоугодничать на многих литературных обедах. Юбилейных и дружеских, городских, загородных, на всяких. Но такого, как в Путнее, не случалось ни раньше, ни позже: необыкновенное настроение покоряющего и общего дружества. Думаю, было сходство с лицейски-

ми годовщинами. Не нашими, не моего выпуска, а первого, пушкинского.

Вот говорят: «пишушая братия», «братья писатели». А я вам по секрету: братия — да, братья — нет. Тут каждый стражником собственного «я». И тяжба самолюбий, то явная, то скрытая. Тут местничество: кто второй, а кто сельмой. Поют добро, а сами недобры. Литератору надобно душевное здоровье. Не только, чтобы выстоять посередь всяческой скверны. Не только. А и затем, чтоб не зачумиться своим тщеславием. А тут еще, смотришь, нечаянно пригреет славой... Именно нечаянно, что чаще всего и бывает... Я думаю, знаменитостей следует жалеть. Да ведь поживи они подольше и — что же? Нечаянная слава истаяла, нету, шабаш. Каково это, а? Сетуй не сетуй на новые поколения, а саднит горечь. А ежели нас взять, которые второго иль третьего разбора? Нам, незнаменитым, надо пережить... лучше сказать — надо изжить бесславие. Всю жизнь изживать. И ничего-то тебя иное не вызволит, одна скромность. Но не казовая, а нутряная. Смиренная скромность нужна. А если есть она — истинное счастье работать...

Отвлекаясь Герценом, я, кажется, и от Герцена отвлекся? Так вот, у него, в Путнее, когда все мы там собрались, никаких этих самых самолюбий, местничества, тяжб. Улетучилось, стушевалось, веяло заветным, поистине братское было душевное расположение.

А последующие дни — прогулки по Лондону, и Александр Иваныч — наш любезный поводырь. Где мы хаживали — об этом не стану. Одним, впрочем, прихвастну: я Диккенса слушал. Публичное чтение было, Диккенса читали, а эпизоды читал сам автор. Вот какое везение, господа!.. А теперь напоследок по секрету шепну... Вам сборник «Русская запрещенная поэзия» знакомый? Да, да, герценовского издания. Так вот, господа, — моя лепта. Я тогда ему-то, Герцену, и привез. И Пушкина, и Рылеева, и Кюхельбекера, и Дениса Давыдова — все у нас, в России, запрещенное. Привез! И не скрою, горжусь!

В ваши лета вздыхают: «Ах, Париж! О, Париж!» Оно так, Франция прельщает: святые камни, святые воспоминания, этот неповторимый галльский аромат. Да, бесспорно. Но Англия, но Лондон... Помилуйте, я вовсе не англоман. Есть худое, есть и отвратительное. Но есть и капитальное, крепкое, как цемент: сознание значимости, ценности каждой личности, какого б веса ни была. Неколебимая убежденность: закон для всех писан. Положим, и в наших

палестинах провозглашена законность. Я сам ее практический поборник, котя бы уже по одному тому, что не раз был очередным присяжным заседателем в окружном суде... Да, законность провозглашена, с николаевским временем никакого сравнения, согласен. Но огласитесь и вы, что гдето в глубине души каждый из нас отнюдь не думает, что закон для всех писан. А вот тут-то и есть пакость, что мы так не думаем. У них же это кровное, в порах, не вытравишь. Не согласны? Эх, не будем пикироваться, ей-ей, когда-нибудь молвите: «Зотов, покойник, прав был, царствие ему небесное».

Ладно, обойдем сию материю. «Полно тово, и так далеко забрел, на первое пора воротиться». И верно, забрел. Только... вот они, годы... Где я свернул, откуда убрел? Не соображу...

А-а, покорнейше благодарю. Так вот, Михайлов мой, Александр Дмитрич, он, стало быть, припал к моим книжным полкам. И двинулся строгим маршрутом, ни вправо, ни влево, а подавай ему раскол, древлее благочестие. Особенно «Общее вече» приглянулось, так и вонзился. Газету — прибавлением к «Колоколу» — Кельсиев составлял, тогдашний соратник Герцена. Потом-то Кельсиев отрекся, на другую сторону передался, несчастнейший был человек. Но это позже, а тогда он при Герцене «Общее вече» составлял.

Тут вся соль и вся приманка для моего нигилиста книгочея, знаете ли, в чем крылись? В идее соединения раскола и революции!

Коня и лань в одну телегу? Я наперед прошу: держитесь, пожалуйста, на той поверхности, на какой мы тогда жили. А то ведь, извините, задним умом крепки. Невелика проницательность, если она, в сущности, и не ваша. Вас время подняло, и притом, заметьте, без всяких ваших усилий. Время и горький опыт тех, кто сошел под вечны своды.

Терпеть не могу приват-доцентов: откушают утренний кофе, встряхнут манжетами и ну разить минувшее критическим оружием нынешней выделки. Вот, скажем, военному историку, тому ведь в голову не придет бранить лучников за то, что не пользовались пушками. А невоенный историк, эдакий приват-доцент, вершит в кабинете: это было неоправданно, а это было вредно... Терпеть не могу всезнаек, за которых уже потрудилась старуха история. Не мудрость, а мелкое глубокомыслие. Нет, ты бы, сударь, слился душою с деятелем минувшего, поварился в

котле тогдашних страстей, потерзался мильоном тогдашних терзаний, а уж после, уж потом хмурил бровь...

Э, нет, я не сержусь, я «отсердился», на Михайлова и его друзей в том числе, но об этом поговорим... Так вот, идея-то была соединить раскольников с революцией.

Наш раскольник в силу вещей заведомым протестантом казался. Все тот же Аввакум (его реченья любил Александр Дмитрич) говорил: «А власти, яко козлы, пырскать стали на меня». Староверов-то на Руси сколько? Миллионы. И на всех «пырскают власти». Как тут было не призадуматься?

Но должен вам сказать, что я сам-то не задумывался. Ну, заглядывал вот сюда, на огонек, Александр Дмитрич, читал или с собою уносил, а мне и невдомек, что он там замышляет.

А весною... Выходит, это уже в семьдесят седьмом... Да, весною он вдруг и запропал. Нет и нет. У Анны Илларионны справиться? И ее нет, на войну уехала.

Ну, кто он мне? Почти как в стихотворении Полонского: кто он мне? не брат, не сын. А вот представьте: растревожило отсутствие. Знаете это ожидание, когда востришь уши — не послышатся ли шаги?..

2

Летом решил я вон из Петербурга. Поеду, думаю, вниз по Волге-матушке, давно собирался. Прочищу-ка усталую грудь, благо первый том сверстан... Я тогда начал выдавать в свет «Историю всемирной литературы». Материалы прикапливал лет тридцать. Теперь — вот они, видите? — четыре тома плотной печати, монблан, Маврикий Осипыч Вольф издал. Не хвастаю, а единственный у нас труд. Пусть популярный, но единственный: представлена деятельность человека в мире творческой фантазии...

Поехал на Волгу. Как да что, нужды нет. Прошу сразу в Саратов, там я остановился. И вот почему: адвокат Борщов сообщил — есть-де в Саратове удивительный старичок ста двадцати от роду. Ого, думаю, действительно старинушка. А меня очень занимала гильотина, то есть эпоха террора... Впрочем, погодите.

Вот смотрю — Саратов. Волга уже и тогда мелела, едва-едва привалили к пристани. Сошел на берег. У графа Соллогуба в «Тарантасе» отменная формула российского града: застава — кабак — забор — забор — кабак — застава... (Кстати сказать, мы с графом Владимиром

Александровичем в «четыре руки» написали либретто для первой оперы Рубинштейна.) Ну-с, заборы, заборы, заборы... Тянет тухлой рыбой, навозом, дрянью. И пыль, у-ук какая пыль. А из острога та-акие рожи — мороз по спине.

Я взял номер в гостинице «Москва». Зимою там цыгане, дым коромыслом, а летом, когда я, актеры бедовали, жалуясь на упадок интереса публики. Актеры были молодые, талантливые; и Андреев-Бурлак, неподражаемый Аркашка из «Леса» Островского, а сверх того даровитый беллетрист; и Давыдов Владимир, да-да, теперешняя наша петербургская знаменитость; он мне, между прочим, там-то, в Саратове, сказал, что был занят в моей пьесе «Дочь Карла Смелого», в роли Ганса Доорена...

Ну корошо. Взял номер, переоделся, спросил самовар. Передохнув, отправился к Борщову. Знакомство наше было свежее: весною Павел Григорьич выступал в Петербурге защитником на политическом процессе. А постоянно жил в Саратове, присяжным поверенным служил.

Иду себе на Приютскую улицу, платком обмахиваюсь. Вижу: пленных ведут. Фески, шаровары, народ прочный, но, конечно, уже не кровь с молоком, отощали, грязные, бороды всклокоченные.

Толпа глазеет на «турку». Какие-то барыни, чиновницы должно быть, кукиши строят, кричат; лавочники каменья кватают, грозятся и тоже пыжатся. А простые мужики и бабы суют «турке» кто пятак, кто краюху.

Я это к тому, что мещанин непременно великого патриота корчит. Лакейский патриотизм. А мужик, он жалостлив к «несчастным», он уживается с сотнями народностей. Говорили, что крестьяне брали наемных работников из пленных турок и не было случая, чтоб обижали.

Со мною обок торчал в толпе мужик. Дюжий, а вздыхал по-бабьи: «Эх, бяда, братцы, бяда-а-а-а-а...» Я — ему: «Послушай, любезный, да ведь и нашим богатырям, поди, не сладко, а?» — «А по мне, барин, никаких таких богатырей и нету вовсе». — «Как так, — говорю, — нету? А кто Дунай одолел?» — «Солдатики, барин, одолели. А богатырито, — смеется, — богатырито в Питере: на мосту они, видал? На мосту лошадей под уздцы держат: чугунные». Я тоже рассмеялся. Потом свое: а все, мол, и нашим у них не сладко. «Ка-акое, — говорит, — сладко, коли от хозяйства живьем оторвали?!» Махнул рукой и подался прочь...

Пришел к Борщову. Дом с садом. Мы под яблонями устроились. Хорошо... Я ему передал свой давешний диалог в толпе. Павел Григорьич по роду своих занятий часто с

мужиками дело имел. Ну и, естественно, наслушался рассуждений о войне. Равнодушия, конечно, не было. Какое равнодушие, если чуть не с каждого двора забрили лоб... Павел Григорьич обладал актерским даром. Он мне в лицах представил, я поначалу смеялся, потом загрустил.

Невежество в деревнях поразительное. Толкезали, что «англичанка» под землею соорудила «чугунку» и гонит по ней к басурманам оружие и чарч. А тут еще знай поглядывай, как бы другой, третий в нашу державу не «вчепился». Что до целей войны, то царь наш ничего не желает, креме как пособить единоверцам. Однако в этом пункте случалось слышать иное мнение, не часто, но случалось: «Э, батюшка, за проливы дерутся, за проливы...» Вот соседство: и невежество, и проницательность.

Наконец зашла речь про старца француза. Я вам говорил, что ради него-то и задержался в Саратове. Жил он на Грошевой улице, звали его Савена. Сто двадцать от роду — уже само собою, но дело не в годах, а что в те годы улеглось и втиснулось. Биография для Дюма. Француз был из осьмнадцатого века, из версалей, из-под плащей Людовиков! Отец потерял голову на гильотине. Сын участвовал во всех кампаниях Наполеона. Начал египетской, кончил московской: его пленили на Березине. И вот он с двенадцатого года и застрял в России. Вы только подумайте — с двенадпатого!

В Саратове снискивал хлеб насущный студенческой методой: уроки давал. Благо митрофанов везде с избытком. Французскому учил; наверное, смесь французского с саратовским получалась.

Бодр он, как истый галл, уверял Борщов. Ум и память твердые, на печи не лежит — лавры Вальтера Скотта спать не дают. Что такое? Да он, Савена, оказывается, пишет на своей Грошевой улице «Историю Наполеона», пишет и сам иллюстрации готовит.

Для меня корень был не во всех обстоятельствах столь удивительной судьбы, а в одном обстоятельстве. Очень оно меня занимало, да и теперь занимает. Тут вопрос из эпохи гильотины, террора. Прошу заметить: меня не внешняя сторона привлекала, не факты, не осуждение или оправдание террора, нет, другое хотелось постичь. Как и почему от этого самого террора сами робеспьеры и гибнут? Ученые трактаты, пыль архивная — это одно. А тут вдруг — в Саратове живой свидетель. И не то чтобы он в ту эпоху манную кашу ел, нет, какое там, он тогда в самый возраст вошел.

Старец был уникум. Ничего сладкого, любезного, егозящего, ничего из того, что мы французам приписываем. Напротив, суров и сдержан, говорил с оттяжкой, вдумчиво. Кожа да кости, волосы обесцвечены временем, но в глазах — блеск.

Я не ждал от Савена академического решения «проклятых вопросов». Я все академическое в сторону, ученые сочинения побоку. Мне хотелось ощутить запах эпохи террора; не разбирать, кто прав, кто виноват, а вникнуть, как бездна призывает бездну. Мне хотелось уловить жест эпохи, ее походку, вкус. Это не мелочи. А если и мелочи, то такие, которые составляют ткань времени, но они-то как раз и исчезают вместе со временем. Остаются бумаги: декреты, депеши, газеты... Мне, повторяю, другое было нужно. А тут — очевидец! И памятливый, зоркий.

И потом, это уже позже, вот здесь, у меня на Бассейной, когда у нас с Михайловым заваривались споры о природе власти, о терроре, о праве на кровь, этот старик Савена тенью вставал...

Между тем, будучи в Саратове, я наведывался к Павлу Григорьичу Борщову. Он знал бездну, отлично рассказывал, думаю, в нем погиб хороший литератор.

Так вот, представьте, иду это я однажды к Борщову на Приютскую. Пыль садилась вместе с солнцем, вокруг багровело. Иду. И вдруг: Михайлов! Да-да, Александр Дмитрич собственной персоной. Вид у него, доложу вам, был совершенно невозможный: обтерханный пиджачишко, сапожонки всмятку, картуз жеваный. Не то малый с баржи, не то из керосинового склада.

Должен сказать, что и после безумного лета семьдесят четвертого года радикалы не оставили «хождение в народ». На мой взгляд, какое-то миссионерство. Они будто высаживались с корабля прогресса на дикий берег. Они шли с фонарем социализма в руках, а дикари норовили слопать праведников. Надо заметить, Александр Дмитрич хоть и не был лишен юмора, а морщился от подобных сравнений. Впрочем, признавал, что «меньшой брат» подчас волок пропагатора «в расправу.

В тот год, о котором речь, в семьдесят седьмом, в год военный, социалисты устремились на Волгу. Если разом оглядеть всех, кто невдолге съединился в партию «Народной воли», то непременно у них за спиною увидишь Волгу. Там, да еще на Дону, бунтовской дух чуяли. Им стеньки разины, емельки пугачи мерещились. Вот и слетались. «За Волгой, ночью, вкруг огней...»

Но, в отличие от прошлого, они теперь не бродили с места на место, а как бы вкрапливались в народную гущу. Способы были разные: кузницы и швальни, писарь с чернильницей или учитель с указкой. Разные способы. Одни угнездились окрест Самары, другие — окрест Саратова.

А тут, в Саратове, был у них пособником как раз Павел Григорьич Борщов. Он им должности подыскивал, ходатаем выступал, нужные бумаги выправлял. Вот, скажем, члены присутствия по крестьянским делам, они по теории не должны мешаться в мирское самоуправление. Да ведь кто не знает, теория одно, практика другое. Члены присутствия и не вмешиваются, а только «рекомендуют». Ну, например, рекомендуют такого-то волостным писарем. А эта рекомендия, по сути, приказ.

Но вот о чем ни тогда, ни позже я не знал, да и не узнал бы, когда б не случай, это уж совсем недавно... Был там один нотариус. Я его у Борщова, несомненно, видел, но облик смутен. Стерт, как «кудрявчик», целковый времен Петра Великого. Как его звали? Почему-то мелькает: «отчич», «дедич», смешно. Не то Прабабкин, не то Праотцов.

Он, видите ли, вхож был к начальнику губернских жандармов. Понимаете? К начальнику губернского жандармского управления. От этого Прабабкина-Праотцова польза выходила существенная. А потому выходила, что этого желал... сам полковник. Отнюдь не из сочувствия радикалам, а потому, что за своих собственных детей страшился. Дети были взрослые, полковник-то и страшился, как бы не поддались поветрию. Сверх того у полковника на ближней дистанции вставал пенсион. И уж так хотелось без хлопот и огорчений дотянуть. Вот и сладилась некая цепочка. Едва, значит, нападут на след, а полковник тотчас и шепнет Прабабкину-Праотцову: дескать, не откажи, голубчик, утихомирь молодцов. Нотариус, рад служить, тотчас к Борщову, к Павлу Григорьичу, а тот — по «инстанции». Вот какой телеграф работал.

Но все-таки — это уже после моего отъезда из Саратова, на другой, кажется, год — пошли, пошли аресты. Может, полковник-благодетель дотянул-таки до пенсиона и явилась новая метла. Очень может быть, а в точности не скажу.

Итак, иду я к Борщову, а встречаю Михайлова. Вижу, и он меня на прицел взял. Однако виду не подает. Ну, думаю, ты, сударь, молчишь, и я промолчу. Не оборачиваюсь. А чувствую, затылком, кожей чувствую, что и он за мною следует. Не догоняет, но и не отстает. Черт знает

почему, а меня это начало раздражать. Вот это напряжение кожи раздражать начало.

Подхожу к дому, где Борщов. За воротами кто-то фальцетом кличет: «Мань, а Мань, ступай скотину убирать!» Рядом, у ворот, на лавке — гармонист. Сидит мешком, как без костей, и попискивает, попискивает. И это тоже раздражило меня.

В ту минуту Александр Дмитрич, прибавив шагу, поравнялся. Поравнялся и вроде б сигнал подал — не то моргнул, не то кивнул, я не понял, к чему и зачем, что мне делать. А он как ни в чем не бывало косолапит мимо.

Ишь, думаю, и косолапишь-то нарочито... Тут-то мое раздражение и обернулось недобрым к нему чувством. Ах ты, картузик, гуляешь-прохлаждаешься, а барышня-то где, а?! Это я Анну Илларионну вспомнил. Горько, обидно за нее стало. Но не только ее, а и своего вспомнил.

Я вскользь называл Рафаила, моряка моего, Рафаила Владимировича. В ту пору был он в Сибири. Э, нет, не спешите. Был он вовсе не во глубине руд, отнюдь не там, он ведь, Рафаил-то мой, не терпел «завиральных идей красного цвета» — эдак сам говаривал. Нет, носил он мундир, до конца жизни служил. А тогда служил в Сибири, на Амуре, в Сибирской флотилии. И оттуда, из мирной дали, — рапорт за рапортом: на Черное море просился, на Дунай, на театр военных действий.

Оба они в ту минуту мне и мелькнули, Анна Илларионна и Рафаил, в ту самую минуту, когда Михайлов «сигналил». И такая досада взяла, такое раздражение, что и к Борщову расхотелось. Да Павел Григорьич в окно увидал, окликнул. Неудобно. Я зашел. О том о сем, время бежит, совсем свечерело. Мне убираться пора, а я — странная штука — медлю, словно чего-то ожидаю. Сам не понимаю, чего, однако медлю.

И вообразите — дождался. Входит кухарка, подает хозяину записку. А меня как осенило: что-то, думаю, меня касающееся. Оно и точно, меня, меня... И опять-таки странность: совсем вот недавно озлился на Михайлова, а теперь будто от сердца отлегло, даже обрадовался...

Саратовский променад на Большой Сергиевской. Вернее, в Барыкинском вокзале, купец Барыкин содержал: большой такой сад, аллеи, разноцветные фонарики. Ну-с, оркестр, ресторация; там, сям беседки, террасы к Волге.

В барыкинский сад я и препожаловал на другой день, вечерком. Явился, как на павловскую дачу Краевского, мо-

его издателя, то есть в сюртуке и черном галстуке. Саратовский бомонд зевал и шаркал. Пахло духами местного разлива. И эдак еще прогрессом пованивало — дальней нефтью, слабой окалиной.

Как было велено, двинулся боковой, нижней аллеей, по-над Волгой. Смешно сказать, я чувствовал себя ужасным конспиратором, едва ль не карбонарием.

Александр Дмитрич поджидал меня, как барышню, в беседке. Мы молча быстро и крепко пожали друг другу руки. Гляжу на него: не затрапезен, как давеча, но, однако, скромнее скромного. Я в своем сюртуке и галстуке — совершеннейший франт. Он огладил себя ладонями, пояснил, чуть улыбнувшись: «Иначе нельзя. По нашей вере, Владимир Рафаилыч, в каждой пестринке сидит бесинка». Или еще так: «рубака пестра — антихристова душа».

«А-а, — сказал я не без некоторого удивления, — вон что: древлее благочестие?» — и машинально предложил папиросу. Он не взял: «Опять нельзя. Хозяйка строгая, в два счета табашника выставит».

Он осведомился, какими судьбами. Я ответил, не задавая встречного вопроса. Он еще о чем-то, но рассеянно, из вежливости. Вышла пауза. Я чувствовал, чего он ждет, но первым не хотел. Но только, если б он не спросил, я обиделся бы, рассердился. И он спросил.

Господи, чем я мог его обрадовать? Последнее письмо Анны Илларионны давно было, с тех-то пор пропасть дунайской воды утекло... Мы оба пригорюнились. Я думаю, нет, уверен, знаю: то были мгновения нашей особой близости, личной, интимной. А такие мгновения, вопреки сущности мгновений, не исчезают бесследно.

Спустились к Волге, пошли берегом. Моя безгласность, то, что я не выспрашивал, не задавал вопросов, а главное — минуты молчаливого душевного сближения, они-то, надо полагать, и растворили уста Александра Дмитрича. Мы шли у самой воды, узенькой тропкой, я слушал, не перебивая.

Тут бы мне и потешить вас косыми лучами заходящего солнца, что-нибудь там о плеске, запахах разнотравья; щегольнуть бы наблюдательностью, тонким знанием родной природы. И прибавить бы неизменный «реквизит» — несколько фраз о музыке в барыкинском саду, о «чарующих» звуках, которые лились оттуда, сверху. Я, однако, изложу голую суть. Выйдет, наверное, как с кафедры. Но «лекция» необходима.

Думаю, не призабыли, что до отъезда на Волгу Михайлов «по книгам бродил»? Да, усердно и много бродил. И вот какого свойства свершалась в нем мыслительная работа. (Я бегло, схемой.)

Раскольники есть хранители народного духа, а народный дух есть протест. Века чиновничьей муштры не оборвали главную струну, звучит она, трепещет. И основная тема раскола в том, что Русью завладел антихрист: выпросил сатана у Бога Русь и окрасил ее кровью мучеников... Вы вслушайтесь: выпросил и окрасил кровью. Не чуется ли громадная глубина? И не здесь ли смысл таких судеб, как у героя моего рассказа?

Раскол, знаете ли, ветвист. Если обозревать ветви и сучки этого старого, кряжистого, раскидистого древа, то сидеть нам до второго пришествия. А нам бы соблюсти михайловскую линию, которая пролегла тогда в пристальном рассмотрении крамольного элемента раскола. Именно крамольного!

Антихрист завладел Русью. По твердому разумению раскольника, дух богомерзкий воплотился во «властодержцах». Власть и есть антихрист. Раскольники не молятся за царя, отметают вмешательство государя в дела веры. Весьма рельефно изъясняются: «Как архиерею неприлично входить в распоряжение войском, так и государю не следует касаться веры». И ничего не возразишь: архиерею, оно и точно нечего соваться в стратегию, а?

У нас вот, у тех, кто лишь по расколу скользнул, у нас какое впечатление? Мы видим две стороны, они выпирают. Сколь ни ужасен кромешный фанатизм, все эти самосожжения и прочее, как ни стынет от них в жилах, а ведь это — пассивное сопротивление. Это раз. А вторая сторона, быощая в глаза, — это какая-то окаменелая приверженность к букве преданий, к букве веры. Однако если глубже, если внимательнее... Темные скрижали раскола нет-нет да и озарялись ярким светом. Я о том, что история раскола знает и «открытую брань» с антихристом, знает «творящих брань». Были примеры, были.

Что до окаменелости, так сказать, теории, то она, конечно, была и есть. Но не сплошь. Вот послушайте, каково сказано: «Писание — меч обоюдоострый; все еретики писанием изуродывались». Понимаете ли, куда клонят? Или еще: «Вера Христова присно юнеет». «Ю неет» — вкусно сказано, а? И здесь уж... Чувствуете? Да-да, справедливо

изволите замечать! Совершенно справедливо: рационализм, именно рационализм. Пусть и религиозный. Выходит, известное допущение свободы исследования.

Да, забыл. Хотя и бел того ясно, но подчеркну: отрицание церковной иерархии. Они, знаете ли, как рекут: «Церковь не в бревнах, а в ребрах». То есть что это? А то, что мерилом правды объявляется твое сердце, твоя совесть...

К Михайлову возвращаюсь, к Александру Дмитричу. Душа его на многое в расколе отозвалась. Вы скажете: человек практический, заговорщик, ну и приметил горючий материал. Верно, натура практическая. Он и на Волгу-го, в Саратов, в уезды подался, чтоб раскол узнать не книжно, не из вторых рук (кстати, подчас нечистых), а воочию. Так верно. Но позвольте, я о душе продолжу. Я это неспроста; душа аукнулась с расколом. А разум, а практика это еще речь впереди.

Как хотите, а я угадывал в нем сродство с Аввакумом. Давно известно: велика и обильна Россиюшка. Одним тоща: характерами. А тут — характер, какой характер! «Никого не боюся; ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни диавола самого!» Характер: иди и сразись; кровь твоя прольется, но это будет праведная кровь. Слышите — упираю: т в о я кровь. Вот суть: твоя кровь прольется. Это запомните, потому что вскоре о ч у ж о й крови вопрос встал...

Да, характер редкостный. Поныне здравствующий Спасович... Вам имя, конечно, знакомое? Он, он! Король адвокатуры, ума палата. Владимир Данилыч чуть ли не на всех политических процессах выступал, насмотрелся на революционеров. Так вот, ни одного, понимаете ли, решительно ни одного, даже Желябова, не ставил вровень с Александром Дмитричем. И как раз по силе характера, по чистейшей без пылинки, преданности идее.

В Саратов, на Волгу Михайлов отправился, повторяю, затем, чтобы изучить возможного союзника. Сам признавал: поначалу сомневался, удастся ли. Он знал: раскольники — великие конспираторы, народ недоверчивый, вечно настороже. Как сойтись, как своим сделаться?

В Саратов он явился еще до Благовещенья. Грязь невылазная: ни конному, ни пешему. Какие тут разъезды по деревням? И Михайлов прилепился у какого-то сапожника, в семье сапожника, в углу, за ситцевой занавеской.

Вы, конечно, наслышаны о ходебщиках в народ. Безоглядный альтруизм, не требующий ни похвал, ни наград. Все так, так. Но вообразите, каково образованному человеку в роли простолюдина. Вот бы вас сейчас да вдруг из этой

комнаты, чистой, светлой, теплой, вот бы сейчас — в избу. О нет, не чайку попить да лясы поточить с мужичком, нет, на житье бы, а? И чтоб исподнее в занозистой костре. И чтоб обувка пудовая, в навозе. И чтоб, извините, отхожее место на дворе. А вода для питья не пропущена через винтергальтеровский фильтр, как у меня на кухне. А вонь, а брань, а насекомые? Извольте-ка телесно, кожей ощутить! Я вам не идею «хождения», не политическую или нравственную сущность, я другое хочу оттенить: мелкую, вседневную, грубую обыденность...

Не утверждаю, что Александр Дмитрич в малолетстве на золоте едал. Однако был ведь и просторный родительский дом с большой залой; был хутор, там и зайчишку потравить с собачкой Дианкой, а ежели на Петра и Павла, в сенокос, тоже хорошо, как Левину у графа Лев Николачича, в полное, значит, ощущение жизни.

Стало быть, первые впечатления бытия у Александра Дмитрича совсем розовые. Но вот он покидает гнездышко, матушку с батюшкой, Путивль с утками, петухами, каштанами, все это он покидает и — в древний, преславный Новгород-Северск едет, в гимназию.

Школьное ученье мы в наших беседах как-то не тронули. А жаль. Потому жаль, что зарницы, то есть многое из будущего, уже в классах возникают.

Да, не пришлось мне с ним о гимназии толковать. Мир, однако, тесен. Барон Дистерло... Сейчас поймете.

Так вот, этот Дистерло тоже учился в Новгород-Северске. Потом, универсантом, слушал курс на юридическом. Михайлов, сдается, не дружил с ним. Но здесь, в Петербурге, провинциалу каждый земляк, каждый однокашник — праздник. Наконец, для легальной переписки на случай оказии годился и Дистерло.

Я об этом знать не знал, да мне, собственно, без надобности. Но вот однажды... Это уж после смерти Александра Дмитрича... Однажды кланяется мне в редакции такой белесенький, сухопаренький, чистенький. Оказывается, барон, служа в сенате, на досуге кропает критические статьи. Я с редакционной машинальностью спрашиваю: «Какие, позвольте полюбопытствовать?» Он тотчас — пожалуйста, вот, вот и вот-с...

Должен признать, пером владел. А направление было скверное. Этот Дистерло выгодный, ко времени ракурс избрал: бранить литературу шестидесятых годов. (Я имею в виду настоящую литературу, вы меня понимаете.) Словом, юрист этот принадлежал к тем мужам, которые корень зла

усматривают в правдивом изображении жизни человеческой.

На дворе тогда сильно подмораживало, я говорю о политической погоде. В открытую с ним объясняться я поостерегся. Однако морщусь. Он было несколько смутился, но крылья не опустил. Воздвигая доказательства, сослался на пример сверстников, загубленных-де литературой.

Вы, конечно, догадываетесь: он назвал Михайлова. А другой, кто другой — никогда не догадаетесь... Кибальчич! Так, так, он самый: изобретатель метательных снарядов, которыми и свершилось происшествие первого марта. Именно тот Кибальчич, который кончил на эшафоте вместе с Желябовым и Перовской.

Вот как нити сплетаются, господа. И Александр Дмитрич, и Кибальчич, и этот Дистерло — одной гимназии! Разумеется, я встрепенулся. Барон трепет мой отнес на счет убедительности собственных построений. Я не перечил, а просил подробностей: они, мол, убедительнее голых рассуждений.

Про Михайлова он вот что... Впрочем, сперва о Кибальчиче, а потом — к Александру Дмитричу. Нет, я и сам могу немножко. Я Кибальчича встречал, видел. Но я, понятно, не знал, что этот корректный человек и есть главный техник «Народной воли».

Я не знал, что Кибальчич — Кибальчич, я знал «Самойлова»: это псевдоним. Он сотрудничал в журнале «Слово». Я иногда заходил в редакцию, заставал и «Самойлова». На нем нельзя было не остановить взгляда: лицо той особенной бледности, которую в старину называли «интересной». И скромность. Не робость или конфузливость, а достойная скромность. В нем не было бойкости, никакого неряшества, от него веяло добротным европеизмом. Помнится, он был молчалив. Если не ошибаюсь, он писал еще и для «Мысли» Оболенского...

А барон Дистерло знавал Кибальчича гимназистом. Два поступка придали его имени ореол. Так сказать, всегимназический ореол. Кибальчич публично, в присутствии соучеников, изобличил ментора во взяточничестве. Ментора звали — Безменов. Вот вам опять нити: спустя какое-то время сей Безменов сделался... свояком Михайлова: женился на его младшей сестре. (Анна Илларионна была знакома с семьей Безменовых.) А потом другое: Кибальчич вступился на улице за мужичонку да и наградил затрещинами не то городового, не то, бери выше, квартального. Правдолюбца — опять в карцер. Однако не выгнали: учился блистательно.

А главное, к чему и вел Дистерло, памятуя свою «критическую» задачу, главное-то в том, что Кибальчич был устроителем тайной гимназической библиотеки. Школяры в складчину раздобылись Чернышевским, Добролюбовым, «Колоколом». В этом деле рядом с Кибальчичем подвизался Михайлов.

Когда Дистерло заговорил об Александре Дмитриче, в голосе барона зазвучало сожаление. Искреннейшее притом, да-да. Если б, заявил он, Михайлов не объелся революционной белены, непременно бы вышел в государственные мужи крупного калибра.

Вообще получалась некая двойственность. Барон презирал, ненавидел «красные идеи». А вот носитель этих идей, скажем Михайлов, не вызывал в бароне ни ненависти, ни раздражения. Говоря об Александре Дмитриче, Дистерло был очень серьезен, я бы сказал, печально-серьезен.

Он, этот Дистерло, не был Михайлову панегиристом, но верно обозначил черты юношеского облика. И что кардинальное? Власть идеала. Где-то там, в захолустье, в давно захиревшем Новгород-Северске, среди луж и обшарпанных стен, там где-то ходит, бродит гимназист и формулирует смысл жизни. О, не улыбайтесь! Он формулирует, этот путивльский медвежонок: жизнь дана не для твоего счастья, а для облегчения несчастья других...

Однокашники, они себе знай дурака валяли, они по ночам, крадучись, бранные афишки на дверях классного наставника лепили, а тут — смысл жизни, счастье и несчастье!

Надо отдать должное, Дистерло метко подметил «пружины» своего приятеля-неприятеля. В чем меткость, спросите? А в том, что отмел честолюбие и самолюбие. Нет, не они фундаментом, а — самоуважение. Ничего на свете так не трепетал, как падения в собственных глазах. И ничего ему не было гаже потери самоуважения.

Еще черта: потребность покровительствовать слабым. Э, нет, не благодушие, не просто щедрость сильного, хотя и это, конечно, было. Но доминантой — принцип: оборони слабого. Он водил дружбу с теми, кто беззащитен. И не делал различия по племенному признаку. У них в гимназии учились и еврейские мальчики. Мягко молвить, относились к ним худо, отравляли-таки существование. А Михайлов, оказывается, неизменно выступал драбантом, охранителем. Впрочем, улыбался Дистерло, ему-де не так уж и дорого обходилось заступничество — ловок был, бес, кулаком гвоздил превосходно...

Я слушал Дистерло, слушал и думал: отчего все-таки один делается Михайловым, а другой — Дистерло? Вот говорят: обстоятельства, среда и прочее. А тут и почва одна, и условия одни, солнышко одно, а стезя разная. Задача, по-моему, со многими неизвестными. Может, и вовсе тупик. Я полагаю, есть таинственный закон, распределительный, что ли. Такой-то, скажем, процент консерваторов, а такой-то — бунтующих. А? Как полагаете? Нет, право, таинственный закон соотношения темпераментов, чаклонностей, талантов. Не то чтобы спрос и предложение, а высшая гармония, чтоб не заглохла нива жизни...

Уф, господа, как в буран попал, совсем с пути сбился. Начал-то я с того, как приходилось ходебщикам в народ. Не о том, что им грозило от властей, а каково приходилось в повседневности.

Александр Дмитрич, повторяю, ни в детстве, ни в юности на золоте не едал. Однако и не в хлеву рос. Были у него потребности культурного человека, элементарные гигиенические привычки. А тут приезжает он в Саратов — и поселяется в углу, за ситцевой занавеской, обок с сапожным товаром, драными бахилами, вонючими сапожищами.

Усмехаетесь, господа? Мол, люди этого разряда внимания не обращали. А я отвечу: рахметовское ложе «из принципа» — это одно, а грязь и мерзость — совсем иное. Телесные ощущения, они с принципами мало считаются. Нутко вообразите себя в условиях, где дневал и ночевал ходебщик в народ?..

Однако продолжаю. Стало быть, мерк летний вечер, и там, наверху, оркестр музыки играл вальсы, а рядом лежала волжская вода, и я слушал Михайлова.

Жил он в Саратове, выдавал себя приказчиком по хлебной части из Москвы. Война, известно, приглушила торговлю, начались затруднения с куплей-продажей; тут-то многим приказчикам — пожалуйте расчет и на все четыре. Почему бы такому и не повычить на матушке на Волге?

На дворе весна все шире. Дни росли. Михайлов — спозаранку из дому. Знакомился, приглядывался. В трактирах тянул с блюдца, сахарок посасывал; на базарах меж возов толкался; на пристани с людьми о том о сем, воблой об каблук или о причальную тумбу, а сам все выспрашивает о ближних уездах — что да как.

Саратов весьма подходил для изучения раскольников. Там, знаете, любые согласия встретишь. И поморское, и филипповское, федосеевское, спасовское. И странническое, самое Михайлову желанное. Странники, так сказать, пар-

тия бегунов, или, по-тамошнему, подпольное вероучение. Сдается, Михайлов немало от них перенял по части конспиративной, заговорщицкой. Я еще к этому ворочусь.

Михайлов не прижился у сапожника. Хозяин-то, пролетарий, был горластым запивохой, жену чем ни попадя колотил. Скандалы, крик, слезы — не велика радость. И желание уединения. Вот, судари мои, еще одна потребность культурного человека. Мы и не примечаем, оттого что нам ничего не стоит затворить за собою двери...

Сыскал он каморку. Это уж совсем на краю города. Хозяйка была канонического возраста, тихая, опрятная. И тут-то Александру Дмитричу, что называется, повезло. На ловца и зверь бежит.

Перво-наперво зоркий его глаз остановился на цыдулечке в рамке под стеклом. Висела она рядом с образами и была озаглавлена: «Известия новейших времен». Ниже, столбиком, печатными славянскими буквами — афоризмы. По мнению Михайлова, весьма меткие. А главное, клеймившие то, что и ему хотелось клеймить. Да, вот еще: первая их часть — красным, а вторая — черным. Вот так, скажем: «Правда — пропала», «Помощь — оглохла», «Справедливость — из света выехала», «Честность — умирает с голоду», «Добродетель — таскается по миру». Ну и так далее. А внизу, перед тем как «аминь» выставить, резюме. И очень недвусмысленное и Михайлову желанное: «Терпение осталось одно, да и то скоро лопнет».

Хозяюшка была староверкой. Теперь уж Александр Дмитрич сделался домоседом, случайные беседчики ему без надобности. Она тоже присмотрелась. Видит, человек хоть и молодой, а смирный, кроткий, спиртного и табачного не приемлет. Еще пуще обрадовалась старая, обнаружив в жильце внимательного слушателя.

Как «теоретик» старушка не блистала, но Михайлову другое подавай: какие согласия в каком из уездов, как там иль там относятся к «мирским», к православным, что думают о «последних временах».

Я бы соврал, утверждая, что рассказ его меня сильно заинтересовал. Честно говоря, не видел серьезного, игра какая-то... А серьезное тут и присутствовало. И вот в чем оно было.

Громадная мысль жила и крепла в душе Михайлова. Лучше бы даже сказать не «мысль», потому что куце и коротко, а лучше так: особое умонастроение. Я сейчас объясню. И ручаюсь, его же, Михайлова, словами объясню. Уж очень они меня поразили.

Александр Дмитрич не то чтобы помышлял, мечтал и грезил, нет, в его душевной глубине зрела особая религия: народно-революционная. Что сие значит? Народные требования вкупе со старонародными верованиями. То есть это не только использование раскола в революционных целях, не только голая практика, а это нравственная основа. Вот в подобном-то слиянии и прозревал Михайлов живокровную силу.

Он сказал: «И тогда бы мир опять узрел искупление через веру». О, как это было произнесено! Негромко и проникновенно, господа...

И мир опять узреет искупленье через веру... Сокрозенная сущность русского бунтаря. Тут вместе и нерасторжимо — крест и мятеж. Крест как символ искупления, и революция как выражение святого гнева... Это потом, когда бомбы и подкопы, потом я стал думать, что икона и топор несовместны. Потом, спустя время, а тогда меня поразила эта слитность.

Теперь — напоследок — заметьте следующее: Михайлов сказал — «м и р увидит». Не одна, стало быть, Россия, нет, целый мир. Из России увидит мир искупление. Увидит и примет.

Задумайтесь. Становой хребет здесь, капитальная идея: мир обновится, избавится от зол и бед через Россию, посредством России. Искупление Россией, вот что, господа, здесь.

У каждой нации своя партия в оркестре человечества. У каждой своя миссия. А тут совсем иное: не миссия, а мессия. Дистанция неимоверная.

Но вот вопрос вопросов: к добру иль не к добру?

Я стар, и я сомневаюсь. А вы... вы решайте. Вам еще много земных дней отпущено.

4

Случайно ли вышло наше рандеву? И так и эдак. Случайно потому, что после зеленых святок, а может, и раньше, до Троицы, Александр Дмитрич ушел в уезды, по деревням. Ну, а с другой стороны, и не случайно: от времени до времени он наведывался в Саратов.

Ему, конечно, надо было завернуть к адвокату Борщову, вызнать у Павла Григорьича: не натягивает ли тучу из жандармской канцелярии? Однако не только эта причина.

Я уже упоминал: на Волгу отправились многие землевольцы. В Саратове, и главным образом усердием Михай-

лова, завели они конспиративные квартиры. Александр Дмитрич называл их тогда по-раскольничьи: «пристани».

Понятно, тайными убежищами заговорщики испокон века пользовались, но Михайлов всегда отличался сноровкой в приискании таких берлог. У староверов особой «пероды», у бегунов, эти самые «пристани» как содержались? А так, чтобы и ямы под лестницами, и двойные кровли, иногда каморы за двойной стенкой в избе. Есть деревни, где все дома соединены потайными ходами, а последний дом имеет подземный ход в сады, в перелесок, в овраг.

Разумеется, у землевольцев таких «пристаней» не было, но конспиративные квартиры устроили они ловко. Впрочем, и потом, в Петербурге, Александр Дмитрич имел за подобными убежищами самый недреманный надзор.

Так вот, от времени до времени он и наведывался в Саратов, что называется, «проветриться», обменяться мнениями с друзьями, ревизовать конспирацию. В этом пункте он всегда играл первую скрипку.

Про его хождения по весям передам, как слышал от самого Михайлова.

Итак, вообразите-ка нашего героя на дорогах-проселках, вообразите среди полей, в вёдро и дождик. Вот идет он себе да идет. «Корсетка» на нем, то есть коротенький кафтан со сборками назади, а к полудню без «корсетки», в одной рубахе. На затылке картуз, за спиною мешок с пожитками.

Или, смотришь, подсаживается на попутную телегу к какому-нибудь Астаху. Тут и разговор по душам: «Эх, мил человек, у нас в деревне тебе, чай, покажется глухо...» Тут и баском подтянуть можно: «Что ты, да Саша, да приуныла...» А то вдруг стоп: слезет возница, потычет в колесо, выставит диагноз: «Ишь хряпнуло...»

Михайлов приглядывал места будущих поселений. И себе приискивал, и товарищам. Прожег сотни верст — из уезда в уезд, из уезда в уезд. Сотни, не для красного словца, а вправду.

Что такое странствующий рыцарь? А это, судари мои, по определению Санчо, такая штука: только сейчас его избили, а не успеешь оглянуться, как он уже император. Мой рыцарь битым не был, однако впросак попадал.

Ритуал соблюдал в точности. В раскольничьем доме держался как человек свой «по вере»: так и сыпал реченьями из Писания; двуперстием знаменовался, а не щепотью; плат расстелив, бухался разом на оба колена и ну отбрасывать поклоны. Забыл сказать: раскольники нипочем не примут «бритоуса»; не примут, коть ты в ихней теологии двух сэбгк съешь. В Саратове Михайлов был при бороде и усах, чуть рыжеватых, крестьянских, обыкновенных. Потом, в Петербурге, он внешность изменил, подстригался фатовским манером. И усы у него были, как выражаются в Гостином дворе, «хорошо поставлены».

Принимали его у раскольников ласково, «по братии». Однако вышла осечка. Тут вот как обернулось. Был у революционеров уговор не увлекаться пропагаторством, а перво-наперво гнездиться. Но душа-то апостольская — алкала проповедовать. Михайлов и попытался.

Пришел как-то в раскольничью деревню. Там водяную мельницу сдавали в аренду. Александр Дмитрич стал рядиться, а пока суть-дело, жил у мужика в избе.

Мужик попался умный. Он не был наставником, но ум и некоторая начитанность влекли к нему посумерничать не только «братьев», а и «сестер» в этих, знаете, темных платках, повязанных по-скитски, в роспуск.

Человек пришлый, но «по вере», кажись, свой, да еще и чуется в нем знание древнего благочестия, Михайлов любопытен им был.

Он и повел речь в том смысле, что раскольников, оно точно, власти преследуют, но «чепи брячаху» всюду, а не только на раскольниках. Гнетут весь народ, так-то, братья, так-то, сестры... Засим перекинулся к царю. Присные лижут царя, всю душу и слизали. Они-то, царь и присные, источник всей муки мученической. А далее — «символ веры»: земли — крестьянам, тем, кто на земле пот льет; равенство перед законом — «да единако нам Бог распростер небо, еще же луна и солнце всем сияют равно»; наконец — самоуправление. И замкнул тезисом: необходимо, братья и сестры, положить душу свою за други своя...

Александр Дмитрич утверждал, что рассуждения эти сделали известное впечатление, но неприятно поражала сдержанность, монашеская какая-то сдержанность. А вернее было б сказать: узость кругозора. Воздыхали: «Время приспе неослабно страдати», «Многими скорбьми подобает внити во царствие небесное».

Прорывалась, правда, и реальная обида на реальную власть, на реальные утеснения. Кто-то даже примолвил, что и вооружиться-де не велик грех. Но, увы, не только общего порыва, но и общего мнения не возникло. «Обсудить, обсудить надо».

Александра Дмитрича бодрила аналогия с революционными кружками. «Поди, поди обличай блудню» — и он опять приступал, и опять.

Однажды на эти посиделки возьми и пожалуй «сам» наставник-руководитель. Пришел, бороду выставил, прищурился: «Как вас звать.? Откуда вы?» Глядел нагло, а говорил тихо и ни разу на «ты».

Завязался диспут: смирение или сопротивление? Оба ссылались на Писание, и тот и другой. Слушатели плотно держали сторону наставника — и привычнее и надежнее. Пришлый-то человек нынче здесь, завтра ветер унес, а наставник, он тебя ежели и не дубьем, то рублем непременно достанет. Впрочем, слышались и голоса в педдержку пропагатора: необходимо, конечно, «оживлять дух смирением», но не следует и лицемерно относиться к учению Спасителя. Ощутилось, словом, шатание.

И тогда смиренномудрый наставник сказал Михайлову: «Если бы я не понимал, как должно, Евангелия, то сейчас бы донес на вас становому». Александр Дмитрич не поспел рта открыть, как вступился Максим, мужик, у которого Михайлов квартировал: «Зачем доносить? Ведь он не за себя хлопочет, а за весь народ».

Тут уж публика, как всегда при «запахе» доносительства, вроде бы заскучала, к домашности ее потянуло, разошлась.

В ту пору полицейские надзиратели регулярно рапортовали губернатору: честь имею донести вашему превосходительству, что по селу такому-то все обстоит благополучно. Михайлову, разумеется, не было резона дожидаться, пока в губернию полетит иная бумага: не все-де благополучно. Он и думать забыл о водяной мельнице, давай Бог ноги...

В конце лета он в Москву ездил, это было необходимо. (Он в Москву, а моя Анна Илларионна — в Саратов, вот и разминулись!) Про московский его визит — я позже, а сейчас продолжим «хождение», минуя московский антракт, чтоб покончить с этим сюжетом.

Ну хорошо. Бродячая жизнь открыла ему глаза на многие стороны народного быта, народных нужд, о которых никогда бы не узнал из книг. Это одно. А есть и другое, опять связанное с расколом.

Мой рыцарь восхищался, помню, одним деревенским стариком. «Я был очарован...» (Слово-то в его лексиконе редчайшее: «очарован».) Так вот, очарован был стариком этим: много-де я видел интеллигентных лиц, а такого никогда не видел...

Было так. Вечерело. Михайлов едва брел — верст сорок отломал. Село близилось, дымом тянуло; с полей возвращались. Поравнялся с ним вот этот старик. Александр Дмитрич справился, есть ли у вас постоялый двор. Старик ответил. Разговорились. На околице старик и приглашает: «Зачем постоялый? Загляни, мил человек, ко мне». А почему такое приглашение? Михайлов-то знал, что в селе живут раскольники-бегуны, дал это понять спутнику. Тот глянул на него сочувственно, вот и пригласил.

Приходят. Бабы на стол собрали. Александр Дмитрич, как полагается, из своей посудины, особняком. А после удалился на двор — молиться... Совсем свечерело, избулуна осветила, все затихло, а он со стариком сидел на лавке, и старик рассказывал про житье-бытье.

Старик долго искал правой веры: «Все веры, мил человек, прошел, а правой-то нету; которые есть, что раскольничья, что никонианская, — лицемерие, обряд без любви к людям, без Бога. И вот, слышь, лет тому двадцать пять объявился у нас старец, да и зачал учить: не по-христиански живете. Надобно, чтоб все общее — и житье, и питье, и жилье, и работа...»

И вот эти-то мужики, и этот, значит, рассказчик — все они бросают свои избы, перебираются со скарбом и домочадцами под общую кровлю, скотину сгуртили — словом, все как по писаному, по говореному. И зажили. Пашут вместе, сеют вместе, вместе жнут. А к вечерней звезде — сойдутся, молятся, беседуют, и все-то у них ладом, все по-хорошему. Жили дружно, рассказывал старик, очень дружно, по закону правды и совести. (Вы понимаете, ч т о для Михайлова подобное свидетельство значило!)

Ну-с, а дальше? А дальше стали матери замечать, что детишки чахнут, хиреют, потому что большую часть времени — в школе. Школу держал тот старик, «учитель жизни», со своими взрослыми дочерью и сыном. А были они, эти воспитатели-пестуны, зело суровы, на малых взирали как на взрослых... (Между нами, я думаю, они делали опыт взращения смиренников для будущей общины. Метода более пагубная, нежели классическая...) И совершенно заморили детей постами, бдениями, молитвами. Матери взбунтовались: не хотим! Возникла трещина. Она все ширилась. Школа распалась, а затем и общее согласие рухнуло.

Александр Дмитрич эту историю так резюмировал: если б не суровый аскетизм старика-учителя, то был бы на земле мир, во человецех благоволение. Получалось, что принцип праведен, да вот случайные обстоятельства все загубили.

Услыхал я про волжскую эту фаланстеру и вспомнил Петрашевского... Несчастный Петрашевский был нашего, одиннадцатого курса. После лицея мы как-то потерялись. Минуло года четыре... нет, пожалуй, все пять, делает он мне визит. По-прежнему глядел сентябрем, сумрачный был.

Корпоративный дух тогда был силен, не в пример нынешнему, это точно. Вы навряд знаете, а Толстой, министр, на что чугунный, а и тот не хотел трогать Салтыкова: однокашник, лицеист! Я это к тому, что Петрашевский, несмотря на долгий перерыв в наших отношениях, тотчас вручил мне свой знаменитый «Словарь», уже запрещенный. Мало того, пригласил на вечера свои по пятницам.

Жил он у матушки, угол Садовой и Покровской площади, так что мне было сподручно посещать «пятницы». (Благо там отменно ужинали; отменные ужины не мешали беседам о положении мужиков-горемык.) Я, однако, посетил одну-единственную «пятницу». Не от испуга, этого не было. Страх пронизал, когда всех арестовали, когда и меня, раба Божьего, под белы руки — да в крепость... А тогда не страх, не испуг, а, так сказать, из бережливости собственного времени. Видите ли, у них там, у Михаила Васильича, за трапезой толковали о социализме. А эта теория всегда казалась мне красивой грезой, и только.

Мой однокашник для будущей фаланстерии избрал свою деревушку — десяток дворов, полсотни душ. В медвежьих новгородских чащах. (Почему-то запало в память: на опушке соснового, корабельного бора...)

Предлог сыскался: староста попросил барского лесу — чинить избы. А барин обрадовался: постой, зачем чинить рухлядь? Берите-ка лесу, сколь хотите, хижины долой, да будет одно общее просторное помещение, а в нем покои для каждой семьи, и общая зала для всех вместе. Стройте, мужики! И хозяйствовать будете вместе. Об утвари, об орудиях не беспокойтесь — барин купит... Гармоническая жизнь мерещилась Михаилу Васильичу. Он наперед ликовал. Искренне, чисто ликовал.

Проходит время. Встречаю Петрашевского на Невском. Дождь, мрак. Бородища, как у Черномора, шляпа нахлобучена, палкой стук-стук. (Борода — прямой по-тогдашнему вызов! Ведь было еще четверть века до новой эры, до высочайшего разрешения чиновникам, да и то не всех ведомств, носить бороды.)

«А-а, здравствуй, — говорю, — здравствуй, Петрашевский! Что не зайдешь? Как твой опыт?» Он сморщился,

будто дичок надкусил: «Вообрази, экие дикари, экие мерзавцы! Сущие звери!» Я — тормозом: «Что такое? Объяснись толком. Неужели посмели отказаться? Он посмотрел на мєня недоуменно: «Да как бы они посмели, если барин приказал?!»

Выходит, мы оба — и я, Фома неверующий, и он, социалист, — оба мы будто лбом в стену: да как это, черт возьми, о н и смели не поверить, что им блага желают, что для них в с е м жертвуют, и ужином на Садовой жертвуют, и карьерой в Министерстве иностранных дел жертвуют, и всем петербургским жертвуют, ничего для себя не требуют и ничего не желают, а о н и не верят. Нет, мужики не посмели отказаться. Возвели фаланстеру. Петрашевский, как обещался, все доставил.

И вот на Невском, стуча палкой, бородой ворочая, говорит: «Вообрази, Зотов! Что они со мною, звери, сделали?» Голос Петрашевского прерывался: «А вот вообрази! Я уснул со сладким сознанием исполненного долга. Просыпаюсь чуть свет, тороплюсь к открытию фаланстерии, а там — черным-черно, головешки мерцают: ночью спалили, дотла спалили...»

Горе было для него, крушение. И вспомнил я об этом потому, что вижу общее в его опыте и у тех раскольников, про которых Александр Дмитрич рассказывал. Пути разные, а крушение общее. Петрашевский, так сказать, учредил фаланстерию свыше, раскольник — уговорил, увлек. А результат один, потому и вспомнил.

Ах, Петрашевский, фантазер, чистая душа... Кстати, вот что. Впрочем, может и не совсем кстати, но к слову. На примере Петрашевского отчетливо виден один штрих, резкий и постыдный: каждого у нас точит страх тайной полиции. Ежели человек в открытую высказывается, мы первым делом вздрагиваем — уж не шпион ли? Вот и Петрашевского подозревали. Он пожелал сделаться членом общества посещения бедных. Я там состоял, он и просил ходатайствовать. Я, разумеется, исполнил. И что думаете? Отказали. Отказали именно из-за подозрений. И опять наша, домашняя черта. Во главе общества был князь Одоевский. Отнюдь не «красный», совершенно положительной репутации, с точки зрения власти. И отказал: тоже опасался агента тайной полиции. Уж ему-то чего было, а нет... Где еще такое встретишь?..

Забредает однажды Александр Дмитрич в другую деревню. Стояла духота перед грозой. Встречается мужичок. Михайлов: «Здорово!» Тот: «Ну, здорово, коли так... Чего

тебе?» — «Да я, брат, может, лавку спроворю...» Мужик поскреб затылок. «Эт-та можнаа-а». И жестом, повсеместно известным, дает сигнал: «Эвон, недалече, сердешный...»

«Сердешный» всегда недалече. А во-вторых, русскому человеку сомнителен человек непьющий. И Михайлов не перечил. Сели в кабаке. Мужик оживился, грудь колесом. «Я-де все могу, я, — говорит, — не гляди, что голытьба, меня все богатеи-стервы у-у-у пужаются, никому от меня спуску». Александр Дмитрич косится — кабатчик, еще какие-то, а мужик и ухом не ведет. Градус в нем играет. «Война, — говорит, -- в раззор разоряет, калек да нищих как из кузова посыпало... — И заскрежетал зубами: — Возмущенье скоро будет, берегись!» Александр Дмитрич тихонько: «Почему так думаешь?» — «А потому, год Пугача наступает». — «Какой год Пугача, дядя?» — «А такой год, тетя, когда бар изведем наскрозь!»

Тут надо прибавить: в этих самых уездах, когда пугачевщина гуляла, Пугачев ловко раскольниками пользовался. Стенька Разин так-то не умел, а Емелька — умел... Короче, Александр Дмитрич обрадовался: чего желал услышать, то и услышал.

А вскоре обрел он наконец место стоянки. Называлось очень мило — Синенькие.

5

В Синеньких погребальный колокол звонил. Панихиду служили по каким-то местным барам. И опять Михайлову имя Пугача прошелестело. Отступая, Емелька повесил тамошних дворян. И вот второе столетие ежегодно служили здесь за упокой души таких-то и таких-то. «У попа дворяне на языке, а у народа Емельян Иваныч на уме. Добро!» — подумал Александр Дмитрич.

Синенькие ему приглянулись: от Саратова верст сорок; хотя, как мужики изъясняются, обыденкой и не обернуться, но и не так далеко. Село — людное, торговое, волжская пристань. А в-третьих, раскольники почти всех согласий.

Зажил в землянке, вырытой у оврага. Землянка о два покоя, для «класса» и для учителя. Большая землянка, с окнами. Окнами в овраг глядела, а там растрепанные кусты, сумрак, черный ручей. Осень кончалась, вот-вот зима ляжет.

Восхищаются святостью служения народу и в народе, а как-то призабывают об осенних дождях, о снегах, непого-

дах, о пустых полях и раскисших дорогах, не думают, что вот из такого оврага подступает да и грызет, грызет ужаснейшая тоска. Небо низкое, тучам нет конца. Великое сиротство...

Думаю, и Александра Дмитрича тоска грызла. Но держался стоически. Другой бы бросил, махнул рукой, а он нет. У него один из принципов: коли нужно, значит, должно. Он, помню, утверждал даже, что сочинял бы стихи, поручи ему партия сочинять. (Слава Богу, не поручала.)

Там, в Синеньких, в землянке он ребятишек учил. Спасовцы, раскольники, его учителем наняли к своим ребятишкам. Учил славянской азбуке, письму учил, читать псалтырь. Семь-восемь часов каждый день. Не даром хлеб ел.

Да штука-то в том, что учитель сам жаждал ученья. Конечно, главное было — проникнуть в мир раскола, в душу раскольников: чем дышат, что думают, на что уповают? А в Синеньких, я говорил, поприще обширнейшее — всякие согласия.

Учил Михайлов ребятишек раскольников-спасовцев, а потому, понятно, и сблизился со спасовским наставником. Человек был местный, из Синеньких. Михайлов его очень хвалил: развит более окружающих, не чужд вопросам нравственным, любитель и знаток духовных книг, дока по части мирских, крестьянских дел.

Школьное свое учительство Александр Дмитрич называл хотя и немудреной ролью, но достаточно утомительной. Ну, а каково приходилось в роли ученика? Каково среди спасовцев не выглядеть белой вороной?

У них, заметьте, аскеза наистрожайшая. Система «табу»: в еде, в одежде, это нельзя, а это грех, то-то запрещается, то-то воспрещается. Даже картофель — «нечистое произрастание».

И вот тут, когда об аскезе, опять примечание. Михайлов мне говорил, что аскеза не мучила его. Умение приспособиться? Этим обладал, в высшей степени обладал. Однако это не все, смею заверить, далеко не все. Сказывалась рахметовская закваска... Впрочем, извините литературную реминисценцию, привычка. И не та реминисценция, которая нужна, а первая, вскочившая в ум. Нет, не то, не то! Скромность, невнимание к комфорту, свойственные русским радикалам? Вот это поближе. (Между нами, подчас это самое невнимание оборачивается просто-напросто разгильдяйством.) Нет, мои милые, скромность скромностью, а у русского-то радикала еще и доподлинная поглощенность

духовным. Это когда внешнее-то скользит, не задевая. Это когда свою поглощенность духовным не замечаешь, как не замечаешь тембра собственного голоса. Это не голая образованность, а миросщущение, трепетное и совестливое...

Александру Дмитричу не аскеза была тягостна, другое. Именно там, в Синеньких, он начал ощущать... Ощущать, а не формулировать, и если я здесь что-то и сформулирую, выйдет грубо, неверно. Надобно сравнение... Вот, скажем, сидите вы в креслах. Пружины под вашей тяжестью сжались, укоротились, как бы сопротивляются вашей тяжести. А коли так, то вот вам и раскол — та же пружина, которая отдает настолько, насколько ее давят. И не больше, и не сильнее! Вот оно и есть — пассивное сопротивление. А егото и недостаточно; недостаточно, когда смотришь на дело с точки зрения революционной. Как раз именно эту «недостаточность» Михайлов и начал сознавать в Синеньких.

Однако оставалось многое, что влекло и обнадеживало. Была некая сила в расколе, очень ему симпатичная.

Как сейчас, вижу Александра Дмитрича вот здесь, в этой вот комнате, как он мне об одном молодом парне рассказывал. Вы скажете — фанатизм, я спорить не стану, но и фанатизм бывает разный.

Так вот, этот парень обрек себя... крестной муке. Да-да, распял себя на кресте. Как ухитрился, не знаю, а только распял и едва не погиб. Его выходили, он объяснил: «Я котел помереть, как Христос, з а людей...»

И тут что-то такое прозвучало в голосе Александра Дмитрича, что я взглянул на него с испугом. А он смутился. И наглухо умолк. Будто ставень захлопнул.

Не поручусь, пришелся ли этот разговор на весну семьдесят девятого. Но в памяти моей как-то совпадает. Именно в ту весну Семирадский выставил «Нерона» своего. В Академии художеств выставил, в той зале, знаете, где верхний свет... Семирадский изобразил Цезаря, возлежащего на носилках, а перед ним — умирающие христиане; умирают за свою правду, за то, во что верят. И вы, конечно, понимаете, какие возникали сопоставления...

Я уже говорил: в Синеньких не одни спасовцы, в Синеньких и другие согласия были. Но самое-то важное в чем? В том, что Александр Дмитрич промыслил добрых знакомцев среди бегунов. И воспринял многое. Практическое воспринял, уверяю вас.

Чувствую, готовы попенять мне: гудишь, мол, Владимир Рафаилыч, в одну дуду — социалист у тебя какой-то полумирянин, полумонах, да и конспирация, выходит, у раско-

ла заимствована... Доля вашей правды: это на счет моей «одной дуды». Но я как раз для того, что эту самую «дуду» упорно не хотят замечать. Очевидно, из боязни как-то принизить русского социалиста.

Что до приемов конспирации... Александр Дмитрич приглядывался, как бегуны пребывали во враждебном им мире. (Они, так сказать, передовая дружина раскола.) И пристально глядел на «механику» внутреннего устройства.

Во-первых, оказалось, что у бегунов существует высший распорядительный центр — «Общая контора». Без ее разрешения ни одна община бегунов решительно ничего не предпримет. Контора коллегиальная, выборная. Теперь... Да, связь между общинами, как и между отдельными странниками, поддерживалась не только шифром, но и своими нарочными. Прибавьте хитроумнейшие «пристани», конспиративные квартиры; я про них упоминал. И это не все...

Где-то у Аввакума есть сценка: приходит к нему раскольник; не помню причину, но он должен был выдавать себя приверженцем православия, однако готов был всячески помогать братьям по вере; вот он и спрашивал: как быть, как поступать? Аввакум, подумав, велел ему «посреде людей таяся жить». Но суть не в эпизоде из давно минувшего, а в том, что такие тайные раскольники действуют и ныне. И успешно! Извольте случай, Александр Дмитрич рассказывал.

В Москве... Да, кажется, в Москве, там одно время власть предержащая нипочем не могла изловить ни души из видных бегунов. Делались строжайшие и секретнейшие распоряжения, все было поставлено на ноги — полиция, частные приставы, сыщики. Но раскольники загодя обо всем знали: они получали в свои руки копии конфиденциальных документов. Документов, которые предназначались лишь высоким официальным лицам.

Это был не случай, а так сказать, постоянное и правильное ведение дела. Александр Дмитрич над этим-то крепко задумался. И кто поручится, что уже тогда не явилась ему мечта о «тайном раскольнике» в среде голубых мундиров? То есть как раз мечта, которая и осуществилась, когда он Клеточникова встретил. Клеточников — это мы с вами позже, а теперь — в Москву, в Москву моя исторья.

Если помните, я говорил, что Александру Дмитричу пришлось на время оставить Саратовскую губернию и податься за восемьсот верст — в первопрестольную.

О московском житье-бытье у нас, в редакции «Голоса», всегда хорошо знали. У нас там господин Мейн был. Этот

Мейн служил в канцелярии генерал-губернатора. Краевский, издатель, вообще-то был скаред, но Мейну платил довольно щедро. Прямая выгода: в «Голосе» многое узнавали и раньше других, и подробнее других. Даже и такое, чего нельзя в печать. Стало быть, рассказ мой о московских происшествиях, не касаясь Александра Дмитрича, источником имеет господина Мейна, дай Бог ему здоровья, если он еще на этом свете.

Из саратовских палестин подался Михайлов в Москву — на призыв: война была в разгаре. Объявили призыв ратников, ополченцев. Александр Дмитрич имел льготу первого разряда. (Кстати, и эта его бумага у меня в полной сохранности, да-с.) Но льготы, когда ополчение, побоку. Куда было являться? В Синеньких, надо полагать, жил он по фальшивому виду. Тут ему не резон. Вовсе не явиться? Полиция заведет розыск. Он и решил предъявить свой подлинный документ в Москве.

Не оттого, однако, что Белокаменная была вдвое ближе Петербурга. Нет, расчет, видите ли, в том, что в Москве еще не развеялся славянский угар, Белокаменная от добровольцев ломилась. Выходило, в Москве — шанс избежать ополчения: авось Москва покроет комплект добровольцами. А прочих, которые по обязанности, тех, глядишь, и отпустят.

Когда и Михайлова впервые встретил, в Эртелевом, у Анны Илларионны, это еще до войны, накануне, он тогда решительно высказался: я-де против войны. Без обиняков — против, и баста.

Хорошо, скажете вы, но как ни толкуй, а две стороны медали. Ты можешь отрицать войну, негодовать можешь на тех, кто ее затевает, указывать на невыгоды и беды народные — это одна сторона. Ну, а другая-то вот: можешь ли ты, лично ты-то можешь ли, сочтешь ли себя вправе избегнуть воинских знамен, коли страна, отечество, Россия и так далее — вот вопрос.

Отечество, честь, доблесть — это с молоком матери. А герой моего романа как бритвой: не желаю в солдаты, не желаю на войну. Каково?! Я тоже морщился, как и вы, господа. А он — свое: «Освобождать угнетенных болгар? Помилуйте, какие из нас освободители? Сами по уши в дерьме и рабстве, а туда же — «свет свободы»... (Между прочим, вот так и раскольники. У них считается, что антихристова власть многих жертв требует, а самая тяжкая — «жертва кровью», воинская повинность...)

Но мы-то с вами скорее и легче поймем измайловца, который застрелился в ночь перед атакой. Не слыхали об

этом? Да, было такое. Молодой гвардейский офицер испугался предстоящей заутра атаки; вернее, испугался, что в час атаки может струсить, взял да и застрелился. Этого гвардейца мы и поймем, и пожалеем, не правда ли? А вот тех, кто напрямик: не хочу на войну... Не есть ли все это... как бы сказать?.. Не есть ли этакое революционное пораженчество просто-напросто личная озабоченность собственной личностью? Не попытка ль под благовидным предлогом, из-за высших, что ли, материй, уберечь свою материю? Нет, честью заверяю, про Александра Дмитрича — ни на миг, ни на волос. Положим, я те п е рь так не думаю, теперь, когда вся его жизнь предо мною. Но гогда... Тогда, каюсь, мелькало.

Я вслух ни звука, но он догадался. И ответил совершенно хладнокровно, от него даже каким-то превосходством повеяло: «Неужели неясно, что я уклоняюсь от войны, вопервых, потому, что не считаю эту войну нужной моему народу. Во-вторых, уклоняюсь еще и потому, что поглощен другим делом. И оно вполне отвечает моим общественным интересам».

Надобно, как Ефрем Сирин, зрити прегрешения свои. А у меня было прегрешение. Даже и не в молодости, а в зрелости: во время Крымской кампании мне к сорока натягивало. И я как будто рвался на севастопольские редуты. Душой рвался... а телом всю войну в Петербурге пребывал. Мне ли Михайлова казнить?

Итак, Александр Дмитрич приехал в Москву, явился на призывной участок. Расчет оказался верен: добровольцев — пропасть. Охотники надеть ополченский кафтан едва ли не всю разверстку покрыли. А после — жеребьевка для тех, кто по обязанности, по закону. Опять удача: Михайлову такой дальний номер достался, что его тотчас отпустили.

В Москве были у него родственники, да он торопился — в свои Синенькие, к своим спасовцам, к своим бегунам. Там и зимовал, учительствуя. Идея «коня и лани», идея соединения раскола с революцией, сидела, видать, крепко. Весною, летом он опять пустился в книжные занятия. Мелькнул в Петербурге. Ни императорская публичная, ни зотовская личная — эти библиотеки, увы, больше не могли утолить его жажду. Он — опять в Москву. И прожил там, кажись, месяца два. Изволите знать, у него были с в я з и; с их помощью добывал он редчайшие сочинения. (Бьюсь об заклад, этот дотошный молодой человек написал бы диссертацию, какая и не снилась профессорам Духовной академии!)

Не сомневаюсь: связи, заведенные среди саратовских раскольников, вели Александра Дмитрича в Лефортово, в лефортовскую часть Москвы. В той стороне — Преображенское. А там богаделенный дом, там, если хотите, сорбонна всероссийской беспоповщины. И настоятелем известный Кочегаров.

Кстати сказать, этот Кочегаров был лет на десять старше меня, а Михайлов называл его «глубоким древним старцем». Из сего заключаю, что я, очевидно. казался Александру Дмитричу коли и не глубоким старцем, то уже наверняка старикашкой. А мне тогда не стукнуло и шестидесяти. Ну да при его-то великолепных годочках — двадцать с небольшим — понятно...

В Преображенском находил он необходимые ему рукописи, книжки. А сверх того — новых знакомцев из мира бегунов и прочих согласий. И тут вот какая паутинка поблескивает. Много позже, когда открылись некоторые подробности истории со взрывом царского поезда... Не поручусь, а так, догадка... Дом, из которого подкоп вели под железную дорогу, дом-то этот где был? В лефортовской части. И приискал его не кто иной, как Александр Дмитрич. Не обращался ль к раскольникам? Не намекал ли: нужна, мол, пристань? Истинной цели, разумеется, не открывал, а намек, может, и был. Но, повторяю, догадка, и только. Впрочем, не лишенная оснований...

В Москве Александр Дмитрич не закопался по ту сторону Яузы, в Преображенском. И не только сидел в библиотеке Румянцевского музея. Нелегальные, они друг друга нюхом отыскивают, чутьем.

Вообще Москва нравилась ему больше Петербурга. На брегах Невы — центр умственный, пульс общественный, это-то он сознавал, да Москва-матушка трогала его провинциальные струны. Говорят, Москва — город русский, а Петербург — нерусский. Не согласен с последним. Петербург, несмотря на сильный чужой элемент, город русский, однако иначе русский, по-другому, не так, как Москва.

А тогдашняя Москва еще хранила затеи милой старины. Господин Мейн — помните, при генерал-губернаторе? — Мейн был наклонен живописать эти затеи. Опусы его не очень-то годились «Голосу», ведь ежедневная газета, но так, сами по себе, дышали известным колоритом.

А праздники на Москве? Я редко-редко в Москву наезжал, последние лет десять и вовсе нет, но праздники на Москве — в памяти сердца. Как что-то из детства. И в этой особенности как раз и есть — Москва, московское, хоть я и не уроженец... Вы замечали? Начнешь про Москву с усмешечкой, а неприметно сползешь в умиление.

Я о праздниках говорю. Ну хоть на Вербную, когда, знаете ли, гулянье на Красной площади. Мириады огней, свечечки, свечечки, дети, толпы. Восторг, тихий восторг. И эдакое чувство любви, равенства. Положим, чувство краткое, можно сказать, мгновенное, но подлинное, обновляющее. И за то великое спасибо.

А первый день мая? Это когда вся Москва — в Сокольники. Пешком, вереницами, группами, экипажи, коляски, стар и млад. В Сокольниках, под деревами — столы, самовары; бабы-самоварницы — груди круглые, щеки с ямочками; чай необыкновенный. Или на святого Гурия... А это знаете что? Это уж какие девицы засиделись, заневестились, они, стало быть, идут себе в Кремль, ко Спасу на бору, свечку поставить, жениха испросить...

А чего я об эдаком? Оно будто ни к селу ни к городу. Да мне вдруг как-то тесно сделалось: все об угрюмом, обреченном, а жизнь-то не умещается, пестрая палитра. Мне Александр Дмитрич однажды признался: «Бьешь, — говорит, — в одну точку, бьешь, как киркой, а вот в неуследимую минуту найдет на тебя печаль, такая беспричинная, или рухнет такое безрассудство, то-то бы вскочил на облучок да и рванул бы вожжи. Эх, лети, рассыпься бубенцами!» Что он такое разумел, не знаю, а важно, что у него, поборника дисциплины воли, и у него бывали порывы...

Раскол теперь в сторону, оставим.

Александр Дмитрич, помню, иронизировал: «Надоело кувыркаться перед иконами. Не поднимешь староверов на новое дело. Долгая история. Он иронизировал, но смею заверить, напускной была ирония. Как бы самооправдание. Положим, оно и впрямь надоело, понять можно: «Чувствуешь такое одиночество, коть вой. И такая затхлость, что задыхаешься». Однако главный-то нерв вот где, здесь он, в этом самом — «долгая история».

Александр Дмитрич упорный был. Упорный и упрямый. Он бы в бараний рог себя скрутил, а «кувыркался» бы. Но тут топоры застучали, эшафоты сколачивали. Тут имя Веры Засулич прогремело. Словом, вихрь поднимался, поворот был. Как высидеть в Синеньких или еще где-то? Иди и умри «за людей». Тотчас встань, иди, а не «кувыркайся». И отсюда оправдание: «Не поднимешь староверов, долгая история».

Честное слово, господа, как славно рассказывать, ни о чем не заботясь. А возьмись-ка за повесть или роман? И-и-и, Боже мой! Как тачку толкаешь. Везешь, проклятую, а она все тяжелее. И вдруг шмякнет по темени: а ведь ужасная дрянь, братец; ступай и удавись. Так нет, не удавишься, а разве что напьешься, только и всего. А потом опять за свое, котя наперед ведомо и про «тачку», и про дрянь». Знаешь, но как приговоренный.

Почему? А? Первым делом, конечно: семья, дети, кормить надо и кормиться надо. Не крылатый ты гений, а поденщик. Вторым делом — живет мысль, что и ты можешь, по мере сил, чувства добрые пробуждать. Но самое сокровенное сладко жжет сердце: ладно, пусть и поденщик, ан вдруг и поденщику дано воспарить? Надеешься, вот что! Десять раз терпишь фиаско, стареешь, седеешь, зубы теряешь, а все ждешь, все надеешься. И толкаешь, везешь очередную «тачку». Шмякает по затылку: «Глупец, оставь свои надежды...» Нет, не можешь, котя уж, кажется, и проклял участь свою. Каково?

А нынче рассказывай, Владимир Рафаилыч, как Бог на душу положит. Славно! И успокоительное сознание: ты вправе уютно умоститься в креслах и рассказывать. Рассказывать, а не писать на продажу. А потому вот оно — письмо. Извольте взглянуть: скрепил Станюкович. Видите? То-то и оно: Литературный фонд отпустил четыреста целковых. Бессрочная ссуда. Праздник! Отсюда и успокоительное сознание...

А прикинешь, сколько за полвека пером намахал — диву даешься. В одном «Голосе» десять лет кряду был секретарем. А это, милые, жизнь навыворот. С утра до пяти пополудни елозишь локтями по редакционной конторке. Отобедаешь дома, два-три часа возьми своих, а свечерело — марш в редакцию и ни на шаг, до глубокой ночи. Корректуру правишь, объявления размечаешь, метранпажа бранишь, с сотрудниками грызешься. И пишешь, пишешь, пишешь: заметки, фельетоны, рецензии.

Первые годы без продыху. Стал просить помощника, Краевский нос воротит. Я толкую, что помощник окупится. Издатель и на экономические выкладки туго клевал. Не кочешь, а вспомнишь, как Салтыков, Михаил Евграфович, определил: ваш-де Краевский — сын Чичикова и Коробочки — съединил лукавство первого с экономической бестолковостью последней... В глаз, прямо в глаз!

А «Голос» делался все громче. Война с турками открылась, тираж перевалил за двадцать тысяч, петербуржцы на улицах тыщи четыре разбирали, это помимо подписчиков. Уже тогда «Голос» располагал сотнями, да-да, сот-ня-ми постоянных корреспондентов в России, да вдобавок несколько десятков в Европе, за океаном, в Азии... Легко вообразить положение секретаря редакции! Проняло и Краевского: нанял мне помощника. Я перевел дух, времени прибавилось.

Однако редакционная конторка оставалась центром. Газета не ждет, в военную пору особенно. Спрос жадный. Официальные известия день ото дня скупее: гром победы не раздавался, вот и причина немоты. А спрос, говорю, жадный, нетерпеливый. Между прочим, и мальчишки-газетчики, они в войну появились. Бывало, высунешь нос на Литейный, а гаврош с пачкой газетных листов кричит: «Купите, наших побили! Купите, наших побили!» И смех и грех.

А там, на театре военных действий, и впрямь нехорошо складывалось. (В тетради Анны Илларионны отмечено, ежели помните.) А дальше — плоше, хуже. Петербург роптал на главную квартиру. Толковали, что пребывание в армии государя и великих князей — помеха, срам.

Было тревожно, смутно, лихорадило. «Плевна», «Шипка» не сходили с языка. Было похоже на севастопольские времена, я сравнить могу — очевидец. Но и разница ощущалась. Не ошибусь, указав, в чем: в отношении к армии. Севастопольцам больнее сострадали, мучительнее. А тут... Тут не то чтобы не сострадали, так нельзя, но звучало, знаете ли, какое-то болезненное злорадство: в Севастополе учили нас, дураков, да ничему, видать, и не выучили; ну, так бей нас теперь хлеще.

Надо сказать, масла подливали раненые офицеры — их и в Петербург тоже везли. Положим, некоторые злобились, нервничали задержкой наград, тогда как всякие там ординарцы великих князей получали за здорово живешь. Положим, так, но это малая доля правды.

И офицеры, и публика сознавали все отчетливее, что причиною не отдельные ведомства, не отдельные лица, а вкупе домашние наши дела. И уже не только радикалы, не одни люди крайних взглядов, но и общество в массе своей мыслило: врачу, исцелися сам; вознамерились освободить сопредельную сторону, а забыли, что прежде не худо самим освободиться, ну, хотя бы от повального воровства.

И вот здесь, в этой самой точке, где «врачу, исцелися сам», тут-то и наметился водораздел. Как исцелиться, какой методой? Прошу вникнуть, ибо очень, очень важно.

Люди, которые на мой салтык, они конституцией грезили. Говорят (и тогда так, и теперь услышишь) э, говорят, что проку в конституциях, в парламентах — великая ложь, великий мираж... Как хотите, не согласен. Но возьмем ближе к таким, как Михайлов, как Александр-то Дмитрич, к ним возьмем и посмотрим.

Когда я с Синенькими, с раскольниками, с саратовскими хождениями кончал, я вам штрихом бросил: поворот возник — казни товарищей, процесс судебный, Засулич... И вот — наметилось иное течение, так сказать, пороховое. Да, верно, рычаг мощный, не спорю. Однако как со счетов войну сбросить? Как не брать в расчет Берлинский конгресс, когда нас в европах-то дипломаты в ремиз ввели, подсидели и обкорнали?

Нет, я не о том, что и война и глупость нашей дипломатии открыли глаза революционерам. Я не о том... Ктото, не помню, кто именно, но из тех, что святее папы, выразился в таком смысле: война и конгресс способствовали распространению крамолы. Это верно.

Однако вот главное: у таких, как Михайлов, у них народилось ощущение, а потом отлилось непреложностью: монархия так обессилена, что достаточно краткого, но энергического натиска, нескольких крепких затрещин — и аминь.

Я не могу утверждать, что революционеры папрямую увязывали эту свою решимость с войной, с ее последствиями. А между тем именно война подсказывала им... Нет, давала как реальность, как очевидность: трон, правительство едва ль не тень, едва ль не фикция.

И отсюда-то, как у Пушкина, в запрещенном: «Твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу...» Вот вспомнилось из Пушкина, а сейчас и мысль: так, да и не так. Сдается, у Пушкина на этой вот «жестокой радости» лежит тень Михайловского замка, отзвук шагов, когда заговорщики шли в Павлову опочивальню. А у тех-то, о которых речь, иное, пожалуй: не верю я в жестоко с ть их радости, их предвкушений. Пусть и парадокс, но эти-то, с бомбами, с динамитом, со снарядами метательными, эти, по мне, не испытывали жестокой радости, предвидя «смерть детей», хоть бы и августейших...

Возвращаюсь «на круги».

Убеждение было: «эх, ребята, бери дружно» — и народится новая Россия. И не одни городские головушки, не одна лишь молодость, но и мужик, осмотрительный мужик, встрепенулся: скоро-де кровь прольется, черный передел

будет, землю делить будут. Слышите: кровь прольется?! (Когда она пролилась, царская-то кровь, когда пролилась, мужчк ужаснулся и проклял, но это уж потому хотя бы, что он имел в виду не царскую кровь, а дворянскую, барскую...) Так вот, и мужик, значит, и общество, и там, за кордоном, тоже ждали. Не одни, стало быть, пылкие души молодых фантазеров чуяли подземный гул.

Но тут вы вправе ухватить меня за фалды: не случись войны, не случилось бы и трагедии на Екатерининском канале? Выходит, не было бы ни «мартистов», ни первого марта?

Останавливаюсь и обтявляю: господа, свидетель Зотов, Владимир Рафаилыч, православного вероисповедания, семидесяти пяти от роду, не знает, не постигает и судить не берется, какая сила правит бегом расчисленных светил. Он только знает, что война была камертоном, что бомба, которая бахнула на Екатерининском канале, начала лет с театра военных действий.

Революционеры не раз объясняли причину своєго перехода от «образа мыслей» к «образу действий». Из этих объяснений проистекало, что эволюция пропагаторства в борьбу за политические права обусловилась гонениями правительства. И вот крайняя фракция прибегла к террору.

Такое было объяснение. Не мое, повторяю, — революционеров. Не однажды так-то заявляли. И печатно, и со скамьи подсудимых. И не фальшивили. Но... Видите ли... Словом, должен признаться, что здесь-то я и спотыкаюсь.

Дело в том, что не только гонения и административный произвол, нет, не только, а и жгучее предвкушение... Вы понимаете? Вот, вот, восторг предвкушения! Колосс-то на глиняных ногах, а может, и на соломенных. После Севастополя пошатнулся, попятился, уступил реформами, но устоял... А теперь сызнова война, пирамиды черепов, как у Верещагина, пирамиды трупов, а если и одолели турку, то «хребтом», «мясом», да и то, что взяли, дипломатия профукала. Кругом недовольство! Кругом негодование! Ореол царя-освободителя блекнет. Грабеж почище севастопольского! И так далее, и тому подобное... А отсюда что? А то, что колосс на ладан дышит, ноги глиняные рассохлись, ноги соломенные скукожились — приналечь дружнее, и шабаш. Вот, понимаете, какое настроение установилось. И возобладало.

Теперь должен вам сказать, отчего я все это выговорил не без затруднений и как бы опасливо. А потому, что не хочу наводить тень на плетень. Опасаюсь, как бы вам не показалось, что такие, как Михайлов, загодя радуясь близости и легкости (пусть и относительной), радуясь, значит, близости победы своей... Ну, короче, опасаюсь умалить цену их жертвы, цену жертвенности.

Однако чувствую: крен у меня на один борт. (Это уж из лексикона сына моего, моряка, царствие ему небесное) Да, крен чувствую: все это у меня война, война, война. Между тем быстротекущая жизнь не умещается даже и в таком громадном и страшном явлении. Ведь одновременно с балканской драмой разыгрывалась на театре жизни и другая — тюремная и судебная.

Видите ли, в то самое время, когда Анна Илларионна доставила раненых в Саратовскую больницу и вернулась на позиции, к увечным своим и страждущим, а Михайлов, так сказать, «в расколе обретался», в это самое время мы здесь, в столице, сумрачно жили пожалуй, даже и угрюмо жили.

Давил нас не только плевненский кошмар, не только призрак Шипки... Вы, милые мои, завидно молоды, от вас далече и боголюбовская история, и «Большой процесс». Далече, и застит все кровавый туман цареубийства. А наши глаза, тогдашних-то петербуржцев, этот туман еще не застил, и не маячили еще перед нами виселицы Семеновского плаца... Может быть, потому-то все и казалось таким крупным, весомым.

Когда Боголюбова, студента, розгами высекли, я вояжировал вниз по Волге, а когда вернулся, гнусная эта история вроде бы и утихла. Там-то, за тюремными стенами, в подполье, у михайловых, саднила душа, не давала покоя, ну, а в обществе... у нас это скоро... уже и не толковали. Аукнулось позже, в январе семьдесят восьмого, когда Засулич, Вера Засулич, этот «бич Божий»... Но до ее выстрела в Трепова три с лишком месяца тянулся «Большой процесс». А выстрел-то прогремел на другой день, как «опустился занавес» в судебной зале.

Он в октябре открылся, до января, чуть не до конца января тянулся, этот процесс — «Большой», или 193-х. Пропагаторов судили. Детей, в сущности, судили, в самой чистой и юной поре. Каждый, исключая монстров, ахал: силы небесные, не ровен час, и мой сын, и моя дочь могли бы вот так-то пропасть ни за что ни про что, за словечко, за книжечку.

Тогда Желеховский прокурорствовал. Желчевик и рогоносец, на весь мир фыркал. У-у, постарался! Ну и, разумеется, Третье отделение государевой канцелярии.

Надо заметить, обвиняемые дожидались суда годами. Годы — взаперти, это вам как? А? Многие хворали, иные

разумом мутились. Можно сказать, за решеткой обреталась молодая Россия — из тридцати семи губерний арестанты были.

И вот — судоговорение на Литейном. Обнаруживается: здесь натяжки, там и вовсе никаких улик. И никакого тебе стройного заговора, а так, с бору по сосенке, хотя этих-то сосенок — бор. А главное, для всех нас, для общества главное-то: законность в небрежении. На ее место — административная длань.

Скажете: эка невидаль на Руси? Но ведь тогда-то, после реформ, после судебной реформы — «милость и правда», закон, закон и еще раз закон. Поманили нас, обольстили, а мы и зачирикали: весна, капель, солнечные зайчики.

И вдруг — оно, конечно, и не вдруг, а так и следовало ожидать, да нам-то чудилось, будто б вдруг, — да, вдруг нате-с: жив курилка, жива администрация, поплевывает на закон и право и все такое прочее. Опять старая погудка и опять на старый лад: нет границ, определяющих политическое преступление, нет препона учреждениям, от которых в зависимости... Выходит, нынче — ты, завтра — я, а послезавтра — он. Я, может, и противник пропагаторов, я, может, решительно не согласен с ними. Ну и что из того? Как мне существовать, ежели, едва проснулся, свербит унизительное чувство полного своего бесправия?

В низших классах на все на эдакое тьфу: «печной горшок ему дороже». А нам, образованным, «горе от ума». Тут все в том было, что от николаевщины отстали, да к европам не пристали... Теперь, думаю, ясно, отчего в дни «Большого процесса» общество негодовало.

Когда говорю «общество», не включаю сановных индюков. Увольте! Сколько их понабивалось у судейских кресел, злобой шибало за версту, гадости разносили по городу: «девки», «мерзавцы», «разврат»...

А пресса? Печати уста запечатали. Мы, в «Голосе», имели стенограммы судебных заседаний, но нет, нишкни! Ну и кормились «сухарями» — известиями из «Правительственного вестника». Разверните любой газетный лист — всюду аккуратно одно и то же, до запятой. И при этом, конечно, свобода тиснения, то есть, как некогда каламбурил великий князь Михаил Палыч, «свобода тиснения — это свобода притеснения».

Негодование, вызванное процессом, еще не отпылало, да и отпылать не могло, ибо происшествие, о котором я сейчас скажу, оно на другой день после судоговорения случилось. Я о том, господа, как в Трепова стреляли.

Градоначальник жил против Адмиралтейства. Это уж потом здесь, на Литейном, и на одной лестнице с Салтыковым, это позже, а тогда — против Адмиралтейства. Там и просителей принимал.

И вот является барышня: подбородочек востренький, губы тонкие, тальма на ней с фестончиками. Является. Генерал — полнеющий, баки, как из проволоки, с проседью — принимает от нее какую-то бумагу, а барышня стреляет, почти в упор стреляет. Трепов закричал, тут, батеньки мои, закричишь. Первым бросается майор... Фамилию не помню, а помню, невдолге перед тем заведовал Домом предварительного заключения, и я потому на это ударяю, что здесь и разгадка.

Я называл имя Боголюбова, студента, которого высекли в Доме предварительного заключения. По приказу Трепова высекли: студент шапку не ломал перед ним.

Двадцать пять розог. Но суть-то не в числе и даже не в том, что розга не роза, а в том, что студент следственный, политический арестант, еще не осужденный, еще не лишенный судом прав, — и телесное наказание! А сверх того — заметьте — вопреки закону, против закона. Вот она, административная десница, безоглядный, генеральский произвол классического образца.

А тюрьма — на защиту товарища. А тюрьма — на защиту достоинства. И началось! Всякое избиение мерзко, а что говорить про избиение людей беззащитных, связанных, запертых, изможденных?! И это не в глуши, не где-то на Сахалине или на Каре, а вот, рукой подать, на Шпалерной, стена в стену с судебными установлениями, с правосудием...

Не думаю, чтоб эти тюремщики были извергами. Тем хуже. Страшнее страшного, ежели и не ирод, а какой-нибудь тютя-губошлеп способен на дикое, скулодробительное вдохновение. Они там, в Доме предварительного, едва ль не упивались яростью. И ежели угодно, это знаете что? А это, позвольте сказать, все тот же бунт, «бессмысленный и беспощадный». У них не только приказ был, но другой мотив, господа, другой: «А-а, сукин сын, скубент, ты грамотный, ты кость белая — ну-тко и умойся соплями! Нашего брата испокон мордовали, а теперь досталась и нам минута!»

Да... Так... Засулич... У нее никаких личных счетов с Треповым, решительно никаких не было. Помнится, порхал слушок: дескать, девица мстила за какого-то возлюбленного. Чепуха! Это в тех мозгах, что напитаны

французятиной из романов старой выделки. Полноте! Оттого и громадное значение, потому-то и потрясающее глечатление, что ничего личного, ни капли.

Когда государь навестил раненого, тот сказал: «Ваше величество, пуля-то вам назначалась, я ее за вас принял». Трепов был прав, и Трепов был неправ. Неправ, ибо Засулич и не помышляла о цареубийстве. Прав, ибо Засулич мстила не генералу по имени Федор Федорыч Трепов, а беззаконию, произволу, попранию личности. За всех мстила, за всех карала. И за нас тоже, за тех, которые к нелегальным не принадлежали. Потому-то и оправдали ее присяжные, потому-то и возликовали стар и млад.

Публика на улицах чуть не обнималась. Конечно, оправдание Засулич, но восторг шире разлился — тут явственно обнаружилось осуждение правительства. И отчуждение от него. И добро бы в студенческих углах, в плешивеньких chambre garnie¹, так нет, и в гостиных, и в кабинетах директоров и вице-директоров разных там департаментов.

Удивительная страна! Вот, скажем, крупный чиновник. Статский или, пожалуй, действительный статский. Со звездою. Казенный выезд, блага, корм. А глядишь, доволен, шельма, что вышняя власть в лужу плюхнулась. Доволен!.. Конечно, тайное вожделение: эх, кабы мне бразды, разве я бы допустил?! Есть оно, тайное вожделение, есть. И прыскает в кулачок.

Что, думаете, эдакий противу порядка? Ни на полмизинца! Он отлично понимает, откуда ему и казенный выезд, и блага, и корм. Очень хорошо понимает, очень ценит, дрожит за них и горло перервет. Но вот, поди ты, премного доволен, коли на самом верху — осел, козел, мартышка да косолапый мишка.

А другое и вовсе непостижимо: мы легко обольщаемся, легко и охотно. Вроде бы и выросли, а все в коротких штанишках. Я вот о чем. И боголюбовская история была, и «Большой процесс» был — наука. Кажется, ясно: произвол на роду написан. Набежит с дубиной и пойдет гвоздить... Так нет, нет! Вдруг выдался пресветлый день: присяжные оправдали Засулич — и тотчас упования, и тотчас обольщения! «Зеленый шум» в головах: дескать, дождались, дескать, отныне и присно. А произвол с верной своей дубиной за углом притаиляся и непременно гукнет, выскочит...

¹ Меблированные комнаты (франи.)

Но и это не все... Царица небесная, чего только не камешано в русской натуре! Было и еще нечто, кроме ликования, кроме подспудного злорадства. Еще нечто. Оно и днесь выказывается, оно и потом будет, и долго будет, может, и до второго пришествия. Знаете ли что? Благо-дар-ность!

Всем, каждому, кажется, не было секретом, что Веру-то Засулич прямо-таки вырвали из лап. Не было секретом. И вопреки рассудку — благодарность. Не высказанная вслух, под сурдинку, но благодарность этому самому правительству. Это плод минувших веков, плод нашего холуйства. Чуть-чуть, на вершок движение вперед, и такое, какое не могло не быть, ибо жизнь подвинула, а мы целуем в плечико, мы кланяемся, мы словно на чай получили. Кстати сказать, мы потому-то и требовали благодарности от болгар, это уж после войны, потому и требовали, что сами привыкли за все благодарить... Согласитесь со мною, нет — воля ваша... А сейчас я «брошу мостик» на другую сторону — к герою моему, к Михайлову, Александру Дмитричу.

Как раз в те дни случилось ему наведаться в Питер. Была какая-то вечеринка — студентки, курсистки.

Михайлов воодушевился, забыл осторожность и речь произнес. А потом прыгнул на стул, в руке кружка и — громогласно: «Здоровье Веры Ивановны Засулич! Ура!»

Тоже общий восторг, общее ликование? И да и нет. Нет, ибо он отнюдь не обольщался. И не он один — многие. (Молодые, а чуяли, лучше нашего чуяли этого-то, который за углом таился, с дубиной.) Для михайловых и выстрел Засулич, и оправдание Засулич, для них это было как бы знамением.

И с этой весны, весны семьдесят восьмого года, можно сказать, открылся крестный путь к весне восемьдесят первого.

Давеча, господа, было у меня такое направление: расскажу, думаю, как Ардашев с войны приехал и как завязалась одна странная история... Ардашев-то кто? Да Анны Илларионны брат, артиллерии капитан...

А странная история, о которой хотел, в ней много загадок, так и остались загадками. Но она имела касательство и к Анне Илларионне и к Михайлову

Об этом-то я и думал речь вести, а нынче, вас дожидаясь, ваял да и перелистал вторую тетрадь моей Аннушки. Перелистал и спохватился: ба-ба-ба, нельзя миновать, никак нельзя!

Вот, извольте.

И прошу, как прежнюю, вслух читать и в очередь.

1

Продолжать эти записки я не хотела: прочитала первую тетрадь и устыдилась. Мысленно видишь минувшее, а пишешь, словно на волглой бумаге, — все ползет, расплывается, какие-то усики пускает. И такая разобрала досада, что я объявила банкротство.

Владимир Рафаилович сказал, что я-де похожа на одну барышню-пианистку: послушала она в Благородном собрании гениального Рубичштейна да и заперла навек свое фортепиано.

Но это из боязни профанировать высокое искусство, — объясняюще добавил Владимир Рафаилович.

Зотовский намек был прозрачнее кисеи: твои тетради, милая, не изящная словесность. Я и сама так считала, но, поняв намек, приобиделась на Владимира Рафаиловича и вовсе уперлась: не буду!

Мой «искуситель» не отступил, а припомнил, как в пятидесятилетнюю годовщину лицея состоял он в юбилейном комитете. Первый, пушкинский, выпуск представлял почтенный старик-адмирал. Моряк рассказывал, как Пушкин советовал ему, в ту пору совсем юному, вести путевой дневник, не заботясь о слоге. И моряк, находясь в океанах, в бурях, исполнил наказ друга.

Опять-таки у Зотова тут был намек, но я лишь пожала плечами: все это мило, да я-то при чем? Помолчав, Владимир Рафаилович взял меня за руку и легонько потянул к себе. Я улыбнулась: в памяти раннего детства есть это движение — так мирил он меня со своей племянницей или приглашал взглянуть на новую игрушку из Пассажа. Я улыбнулась, но тотчас почувствовала, что жест коть и прежний, но как бы «смысл» другой: предвещает чрезвычайное.

Он просил меня подождать и вышел из кабинета. Потом вернулся, пришаркивая войлочными туфлями. Он принес два кожаных портфеля, обыкновенные, департаментские, потертые.

В тот день я узнала историю этих портфелей. Отныне и мои тетради по мере заполнения будут там. И будут они храниться в этой старой квартире, в старом этом доме, который известен как дом Краевского, как дом, где жил и скончался Некрасов... И портфели завещаны мне. Завещаны хранителем, а теперь и хозяином Владимиром Рафаиловичем Зотовым.

Я словно бы впервые увидела его — высокого, сухощавого, согбенного, неизменно деликатного и доброжелательного; пепельные легкие волосы длинно подстрижены; и эта его манера — сняв очки, медленно тереть глаза кулаком, а потом — висок, но уже одним указательным пальцем.

Горло у меня сжалось. Господи, какой анонимный подвиг год за годом совершал мой старик! Какое доверие питали к нему люди иного поколения, во многом ему чуждого, с ним не схожего. Я знала не одного легального, статского или военного, желавших помочь и помогавших партии, однако вряд ли кто-либо из них рисковал так круто, как Владимир Рафаилович.

Он хранил эти портфели в годину динамитную, эшафотную. И если б пронюхали... Кабинетный деятель, человек и тогда изрядных лет, наживший катар, простудливый, он бы не вынес ни тюрьмы, ни этапного движения. Погиб, непременно бы погиб... А разлука с семьей, с Любовью Ивановной? А разлука с литературой? Ведь она для него не просто образ жизни... А утрата всего привычного, размеренного десятилетиями? И вдруг все это в прах, как и не было, а взамен вонь этапного острога, мрак и где-то там, под елью, последний вздох.

И он понимал это. И, пожалуй, видел в подробностях: воображение, присущее литератору, конечно, делало свое беспощадное дело. И еще он, должно быть, страдал от сознания своей «преступности», как мы не страдали, ибо почти ни у кого из нас не было семьи, не были мы кормильцами, у которых на плечах дом.

Но во имя чего? Во имя какой цели, какого идеала?

Насилие ему претило. Террор он отрицал. Дорога к гармонии, по его мнению, не лежала через кровь; все равно чью кровь, той ли стороны, другой ли стороны. Он и не скрывал своих мыслей ни от меня, ни от Александра Дмитриевича. И если б он увильнул от эт и х портфелей, кто б его осудил? Но нет, не увильнул, принял. (И не продолжил ли тем самым, соединяя нити, свое давнее и славное дело? Ведь не кто иной, а Владимир Рафаилович собрал, сберег и передал для печати Герцену «шкатулку сокровищ» — запрещенные стихи Пушкина, Лермонтова, Рылеева и других!)

А самое удивительное в том, что здесь нет ничего удивительного. Ибо что такое русский интеллигент, подлинный и дельный, как не укрыватель, не защитник тех, кого гонит и преследует русская политическая полиция? И покамест есть такие русские интеллигенты, Россия может блуждать и заблуждаться, но она сберегает душу живу...

Мы долго молчали. Кажется, оба курили. Курили, хотя табак противопоказан Владимиру Рафаиловичу а я в его доме никогда не смела курить, как не посмела б — ах, бессилие «нигилизма»! — и на глазах у своих родителей.

Зотов опять сказал о Пушкине, о моряке, который исполнил наказ друга.

Да, — сказала я Владимиру Рафаиловичу, — это верно.

И он меня понял. Понял, что и у меня есть наказ друга. Александр Дмитриевич говорил: собирайте письма, фотографические портреты, все, что нужно дли биографий погибших; память о них не должна заглохнуть, лики отошедших не должны потускнеть.

То не было суетной жаждой анналов. Нет, живое сердце трепетало рядом с сердцем умолкшим. Когда любящая рука касается могилы, рука эта согревает что-то бесконечно одинокое...

2

Записки мои (в первой тетради) заканчивались отъездом из Румынии в Россию вместе с медиками, назначенными обслуживать военно-санитарный поезд, на котором эвакуировали раненых в Саратов, в Александровскую земскую больницу.

Пространства России! Русские просторы! О них говорят так, словно величина и величине — синонимы. А мне были ненавистны эти долгие-долгие версты.

Часами, а то и сутками изнываешь на разъездах и полустанках. Казалось бы, роздых от тряски, мучившей раненых. Казалось бы, приятно слушать тишину и слышать запах поспевших хлебов. Но нет! Овладевает унынье и раздражение: Господи, сколько еще этих верст, этих часов?!

Наконец поезд трогался. Вспыхивало бодрое чувство движения. Увы, оно быстро гасло, сменяясь томлением качки и тряски. Сбоку плыло солнце, и в муторной плавности то снижалась, то поднималась телеграфная проволока...

Больница оказалась на совесть приготовлена к приему раненых. Как всегда, при расставании с людьми, находившимися некоторое время на твоих руках, была печаль утраты. И не только у нас, сестер милосердия, но и у наших подопечных, хотя они прекрасно понимали, насколько лучше здешние условия.

Град Саратов мне не понравился. Волга-матушка не всколыхнула «святого волнения». «Бесчувствие» объяснялось тем, что мне не удалось отыскать никого из наших. Решительно никого! Еще в Бухаресте и потом, в дороге, я как бы готовила себя к тому, что не разыщу наших, но в глубине души верила, что непременно разыщу. А когда и впрямь получилось так, а не иначе, все померкло.

Мое возвращение на театр военных действий совершилось нескоро. Пришлось задержаться и в Бухаресте и в Зимнице, где недоставало сестер милосердия, так как студентов отозвали в учебные заведения.

Зиму с семьдесят седьмого на семьдесят восьмой я была на театре военных действий, но описывать не буду, потому что в последние годы подобных описаний, в большинстве правдивых, появилось множество.

За Плевну уплатили чудовищную цену. Я слышала, как гвардейский полковник сказал: «Мы только пушечное мясо, которое покорно ждет своей участи».

Турки сопротивлялись геройски. «Ты ему сейчас в рыло, а он знай свое: прет!» — не без восхищения замечали наши солдаты. Но Плевна пала. Ее падение отозвалось надеждой: «Теперича, глядишь, и домой попадем. Ежели самого Османа и все его войско побрали, так и воевать-то, почитай, не с кем».

Отныне даже и среди штаб-офицеров невозможно было встретить убежденных милитаристов. Ненависть к войне завладела всеми, исключая великих князей, да и то, пожалуй, не в полном комплекте. Критика раздавалась в открытую: «Подумать только, в какие руки вверена наша судьба!»

Окончание войны настигло меня у Мраморного моря, в прелестнейшем городке, или местечке, Сан-Стефано, откуда рукой подать до Константинополя.

Замирения ждали, ждали, ворча на проволочки. Но вот оно явилось. Его приняли как нежданную радость. Я говорю о солдатах, об офицерах, о таких, как я; но в главной квартире нашлось достаточно «патриотов», которые страшно досадовали на остановку у стен Константинополя — уж больно близок был локоть...

Где-то там, в высоких сферах, колебались весы европейской политики, ужасно важные «гири», от которых впрямую зависели наши тифозные бараки, наши кишечники, изъязвленные дизентерией, наши гноящиеся раны, наши культи и лубки. А тут, где встали лагерем, на постой, на бивак, тут думали: скоро ль? когда домой? мы-то свое дело сделали, так чего еще-то, а?..

Я вдруг сразу и окончательно обессилела. Как и для рядовых, как и для нижних чинов, все дли меня завершилось, все было кончено. Я подала прошение, я хотела вернуться в Россию.

Но, честно говоря, не потому, что донеслось эхо выстрела Веры Засулич. И не оттого, что в местном ресторане без утайки продавали русскую нелегальную литературу, отпечатанную за границей. Наконец, даже и не по той причине, что торопилась, тоскуя, к своим, оставшимся в Петербурге.

Петербургское, хотя я и не отрекалась, будто утратило долю значения, не было уже, как прежде, главным и непреложным, а просто мечталось о покое, о воле, о том, чтобы не видеть ничего из того, на что насмотрелась. Усталость, телесная и душевная, владела мною, и если б кто-нибудь сказал мне, что в России я встрепенусь, переменюсь и тотчас примусь за старое, я бы отмахнулась.

Спустя почти год или, лучше сказать, спустя почти век, как я оставила Петербург, мне объявили увольнение. Мне выдали денежное содержание на месяц вперед и временное вспоможение, которые обеспечивали на ближайшее будущее материальную устойчивость. Кроме того, советовали, как сестре милосердия, служившей в действующей армии, обратиться в случае надобности за помощью к принцессе Ольденбургской, патронирующей Красный Крест.

Возвращалась я на большом пароходе «Олег» Общества Черноморского пароходства. Это было на Фоминой неделе, в апреле 1878 года.

3

Никогда прежде не приходило в голову, что он до такой степени мой, этот город. Конечно, были заветные уголки, памятные с детства, вроде нашего Эртелева переулка или Лебяжьей канавки, но они существовали как бы отдельно и независимо от всего Петербурга. А сам Петербург, с его канцеляриями, присутствиями, департаментами, конными статуями и конными полицейскими, представлялся какимто спрутом.

Но, как бы там ни было, а замечая в Александре Дмитриевиче равнодущие к Петербургу, я вроде бы даже и обижалась.

Он знал Петербург лучше меня, то есть основательнее. Однако эта основательность была топографической,

прикладной. Он знал улицы и в особенности проходные дворы, помнил «в лицо» множество домов, но знал и помнил, так сказать, практически, как лазутчик на вражеской территории.

Совсем другими глазами смотрел он на Киев или Чернигов, хотя и там не покидала его всегдашняя и такая в нем естественная, словно бы врожденная, настороженность...

Итак, я приехала в Петербург.

Все, что блистало и благоухало в Сан-Стефано, на море, в Одессе, все это разом отодвинулось, заслонилось громадной, пепельной, дождливой массой, пронизанной запахом холодной воды и вялого дыма.

Вдохнув этот сырой воздух, взглянув на эти мглистые контуры, я внезапно и, кажется, впервые осознала свою тайную привязанность к этому городу, который можно проклинать, но нельзя не любить.

Выше, когда писала об окончании войны, я не упомянула о том, что ни 14-ю дивизию, бывшую драгомировскую, ни приданную ей артиллерийскую бригаду, где служил брат Платон, я больше не видела. Но я слышала, что брат мой ранен, ранен не особенно тяжело, что он эвакуирован в наилучшем военно-санитарном поезде, то есть в поезде, снаряженном на счет императрицы. Из этого нетрудно было заключить, что брата Платона повезли в столицу и что он, может быть, попал в Николаевский военный госпиталь, где я некогда постигала ремесло сестры милосердия.

Понятно, я намеревалась навестить брата в первый по приезде день, спросив о месте его пребывания у Владимира Рафаиловича Зотова: он-то, наверняка, был осведомлен.

Извозчик повез меня в Эртелев. Я с особенным удовольствием слушала стук копыт, очень точный, какого, по-моему, нигде нет, кроме как в Петербурге.

В подъезде нашего флигеля мне попался лакей в красной ливрее, но я, очевидно, волновалась и даже не удивилась, хотя красную ливрею носили лакеи дворцовые, а они в нашем дворе отродясь не появлялись.

Дверь была полуотворена, из нашей квартиры доносились голоса, мне незнакомые, кроме одного, несомненно принадлежащего брату Платону.

Я вошла. Брат Платон изумленно распахнул объятия. Обнимая и целуя меня, повторял: «А вот и второй сюрприз, а вот и второй сюрприз...»

Трое офицеров, поспешно вскочивших, улыбаясь, застегивали мундиры. Офицеров этих я не знала, исключая ка-

питана Коха, давнего братнина приятеля. О том, что они и поныне остались приятелями, свидетельствовал стол с остатками пиршества, длившегося, вероятно, далеко за полночь и теперь только что продолженного.

С неделю назад брата выписали из госпиталя. Третьего дня Платон вместе с другими ранеными офицерами представлялся в Зимнем дворце государю.

С восторгом брат Платон рассказывал, как государь обошел всех, с каждым поздоровался. Он был в сюртуке, который носил и на войне. Особенностью сюртука, умилившей брата Платона, были пуговицы: пуговицы с портретами августейших детей. Император благодарил офицеров за службу и выразил надежду, что в его царствование больше уже не прольется драгоценная русская кровь.

А нынче, за минуту до меня, дворцовый камерлакей привез артиллерии капитану Платону Ардашеву пакет с деньгами: на дальнейшее лечение. Это и был, стало быть, сюрприз первый, а я, значит, оказалась вторым...

Я, помнится, отмечала перемену в Платоне, когда мы встретились на театре военных действий. В нем обнаружилась особенная сдержанность; чудилось, что, находясь в огне, он к чему-то прислушался и что-то важное, серьезное расслышал.

Наблюдая его в Петербурге, я была разочарована: он обратился в прежнего офицера столичного калибра. Жизнь его, покамест свободная от службы, текла рассеянно. Попойки и театр-буфф; кафешантан и канканеры вроде известного тогда Фокина; дамы под вуалью, опять вино и опять приятели.

И все-таки в неопрятном существовании моего брата не было прежней, довоенной бесшабашности. Чуялись озлобление, какая-то растерянность.

Худо скрывая раздражение, брат Платон замечал, как его приятели потихоньку-полегоньку примазываются к различным тепленьким должностишкам. Он сетовал на «обмеление» чувства товарищества, и я его понимала.

Действительно, на войне у многих офицеров — молодых, первых трех чинов — свое, личное как бы растворялось в общем «мы». Никто из карьерности не наступал на мозоли сослуживца; под огнем, в общих несчастьях и общих испытаниях возникало это особенное, это молодое благородное братство.

Гроза минула. Военная публика, в орденах и шрамах, постепенно огляделась. И что? А ничего! Возвращайся-ка,

братец, к мизерному бытию мирного времени. Получи оклад обыкновенный вместо усиленного, чолуторного. Экономь на свечах, на дровах и денщиках. Хочешь, живи при казарме, а хочешь, на квартирные деньги найми комнатенку от хозяина.

Теперь, когда пишу настоящие строки, вряд ли многие помнят, что именно в семьдесят восьмом году, в послевоенные лето, осень и зиму, среди офицеров, и опять-таки в первую голову молодых офицеров, прошедших войну, гуляла эпидемия самоубийств. Стрелялись не только в одиночку, но, случалось, и «за компанию». Стрелялись и в армии, квартирующей за границей, и в армии, расположенной в отечестве.

Сказывались нервические потрясения минувшего, внезапная тишина сказывалась; однако главный и определяющий мотив звучал зловеще-монотонно: «От невеселой своей жизни...», «Жить надоело», «Жить скучно...»

Тут ужас в отсутствии какой-либо драмы, любовной или материальной, когда тупик иль пропасть, нет, — «надоело», «скучно», вот, мол, дождь не перестает, табак пересох и опять бриться надо — словом, такая тина, что и в предсмертной записке нечего сказать.

Какая участь постигла бы моего брата, останься он, так сказать, обыкновенным офицером, решать не берусь. Но Платон не остался обыкновенным офицером.

Здесь надо вызвать тень Мещерского.

До войны я не смеялась над фатализмом и фаталистами, наверное, потому только, что никогда и не задумывалась. На войне и после войны тоже не смеялась. Но уже потому, что получила «материал», заставлявший призадуматься.

Со своей просьбой о медальоне князь Эммануил Николаевич обратился к нам, к брату Платону и ко мне, накануне рокового сражения, за несколько часов до гибели, словно бы предчувствуя ее. Этот медальон с локоном жены мы сняли с груди убитого, и мне как бы в безотчетном порыве захотелось оставить медальон у себя, но тут мы переглянулись с Платоном, и вся кровь бросилась мне в голову. Мы оба в одно мгновение поняли, что именно понудило меня сделать это движение, что именно вызвало этот как бы безотчетный порыв: у меня, мол, заветная реликвия окажется в более надежной сохранности, нежели у брата, который как боевой офицер, принявший батарею князя Мещерского... Ну да понятно, о чем речь... Кровь бросилась мне в голову, я прижалась к Пла-

тону, а он бормотал смущенно: «Пусть сс мною... Может, как талисман, а?»

И Платон не расставался с медальоном ни на театре военных действий, ни в военно-санитарном поезде, ни в госпитале. Но в Петербурге надо было расстаться, ибо нельзя было не исполнить последнюю волю Эммануила Николаевича.

Брат говорил, что мы должны вдвоем отправиться к вдове его, Марии Михайловне. Я не спорила, однако и не соглашалась. Почему? Годы прошли, мне бы сейчас сподручно объяснить фаталистическим предчувствием, но это не так. Никаких предчувствий не возникало, роилось непонятное, беспричинное и нехорошее предубеждение к княгине, которая-де посреди светских, аристократических удовольствий и думать позабыла о покойном муже. А между тем я ведь помнила со слов Эммануила Николаевича, что они отнюдь не богаты, да и вообще никаких, решительно никаких поводов для подобного предубеждения у меня не находилось.

Как бы ни было, Платон отправился один.

(Я не очень-то ясно представляю, как мне продолжать. Затруднение в том, что многое и Платону, и мне сделалось известным не сразу. Но если излагать череду и смену неожиданностей, выйдет затейливо и, пожалуй, романически. Затейливость не прельщает, а романическое пугает. Остается писать, как пишешь задним числом, когда все или почти все тебе известно.)

Княгиня Мещерская жила на Английской набережной, в одном из тех барских домов, которые красиво обрамляют Неву и не имеют темных, вонючих въездных ворот, так как флигели и дворы находятся позади и обращены к Галерной улице.

Жила она вместе со старшим братом, князем Долгоруким. На какие средства существовал, служил ли этот Долгорукий, я как-то не упомнила, да и не помню, интересовалась ли.

Мария Михайловна, вдова нашего Мещерского, занимала комнаты первого этажа; совсем недавно там обитала и ее старшая сестра, Екатерина, но она променяла особняк на апартамент в Зимнем.

(Отсюда, от Екатерины Долгорукой, тянется нить к императорской короне, к бельведеру в Петергофе, к ливадийской вилле и прочему. Но пока, стройности ради, продолжу нить младшей Долгорукой, вдовы нашего Мещерского.)

Она была уже не первой молодости — дело шло к тридцати. Однако Марию Михайловну следовало причислить к тому типу женщин, которых называют «прекрасными блондинками». Платон даже «видел», как от ее «золотистых волос исходит лучистое сияние», а когда я вскользь заметила, что «золотистые блондинки» обычно конопатые, он, как в детстве, казнил меня презрительным взглядом — много ты, дескать, понимаешь...

Семейство этих Долгоруких могло похвастать именем, известным в русской истории, но не могло похвастать имениями. Древность рода не избавляет от оскудения.

Генерал Рылеев (о нем впереди) рассказывал брату Платону со слов государя, как он, государь, ехал однажды на юг; на какой-то станции к нему обратилась старушка Долгорукая с жалобой на расстроенное состояние, прибавляя, что дочери, воспитанницы Смольного, останутся, увы, бесприданницами... И захлючила: «Ваше величество, окажите им вашу милость...»

Не уверена в подлинкости эпизода, скорее уверена в его, так сказать, позднейшем происхождении, когда «м и - л о с т ь » действительно была оказана. Но... одной лишь старшей, только Екатерине, а не Марии Михайловне. Последняя так бесприданницей и вышла за нашего Мещерского, тогда уже полковника и флигель-адъютанта, но тоже не «отягощенного» ни родовыми, ни благоприобретенными...

Итак, Платон отправился на Английскую набережную, к вдове своего бывшего батарейного командира. Он застал княгиню в хлопотах: начинался дачный сезон, Мещерская собиралась в Царское; не столько ради лип, озер и цветников, сколько ради сестриных щедрот, а сестра ее, Екатерина, разумеется, следовала в Царское за государем. Саркастически говоря о щедротах, надо справедливости ради отметить, что вдова Мещерского располагала лишь пенсией в тысячу серебром на год, как и все прочие вдовые полковницы.)

Платона поразили (сохраняю собственные его выражения) «святая просветленность» Марии Михайловны, ее «прелестная и покорная грусть», то самое «лучистое сияние золотистых волос», о коем уже говорилось.

Медальон приняла она в ладони, приняла, «будто горлицу», и, обернув тыльной стороной, «надолго приникла губами».

Они сидели в гостиной окнами на Неву. Расспрашивая о муже, о последних днях, о сражении пятого сентября, она

подносила платок к глазам, благодарила Платона и называла себя «вечной его должницей».

Брат уже собирался откланяться, Мещерская взяла с него слово навестить Царское — и тут под окнами загремела карета. Приехала Екатерина Долгорукая. К младшей сестре на минуту заглянула старшая. И с нею мальчик, очень, как говорил Платон, бойкий, в форменном костюмчике казачьего офицера.

Платон был представлен элегантной даме с роскошными каштановыми волосами и со столь же роскошными драгоценностями.

Вдова просила повторить о Мещерском. Платон стал рассказывать. Вдова расплакалась. Екатерина утешала сестру, и притом, как показалось Платону, чуточку раздраженно. Засим она перевела разговор, осведомляясь, где ныне служит господин Ардашев, каковы его дальнейшие намерения и т. д.

Тут-то мой Платоша и брякнул о товарищах-ветеранах, которые преуспели после войны, а он... ах, такой уж он рохля... Я далека от подозрений в корыстной расчетливости. Брат был немножко лукавец, но своим лукавством, искрившимся всегда в дамском обществе, не преследовал грубо практических целей, а как-то ребячески пользовался для возбуждения вящей симпатии.

Не утверждаю, что участь Платона устроилась тотчас, в доме на Английской набережной, где он очень скоро сделался своим, слишком своим человеком, но, во всяком случае, нежданно-негаданно ему была обеспечена протекция Екатерины Долгорукой.

Чем она руководилась? Просто ли симпатией к бравому и пригожему герою Шипки и Плевны? Желанием ли обзавестись преданным и благодарным «мушкетером»? Или, прости Господи, намерением «побаловать» младшую сестрицу? А может, и всем этим вкупе?

Как бы там ни было, Платон, выражаясь языком минувшего века, попал в «случай», в фавор. С того именно, с первого визита на Английскую набережную, и открылся ему путь на другую набережную — Дворцовую.

Никакой внутренней борьбы в нем не происходило. Нет, он загорелся, у него голова пошла кругом. Нечего говорить, я-то была против, я и доказывала, и убеждала, и стыдила... Куда там! Он беспечно смеялся, отмахивался, сердился. «Ужо всем покажу!»

Ему так не терпелось очутиться при дворе, что он не постеснялся искать протекции, не дожидаясь княгининой, у

капитана Коха, а Карл Федорович был уже начальником собственного его императорского величества конвоя.

Вожделения свои Платон открыл и Владимиру Рафаиловичу Зотову; впрочем, без надежды на помощь (да и какую, казалось бы, помощь мог оказать в сем деле наш Владимир Рафаилович, совершенно невесомый в придворной сфере?); Платон ему открылся просто оттого, что такая у нас привычка была с самого раннего детства, была и осталась.

Я полагала, что Владимир Рафаилович примет мою сторону. Он и попытался, но вяло, нерешительно. Не умел отказывать Платону, прощал многое, хоть и ворчал подчас. А тут и вовсе пошел, как говорится, на поводу: пораскинул умом, взял да и замолвил словечко давнему приятелю, сослуживцу по Военному еще министерству (если не ошибаюсь, некоему Кириллину), который занимал важное кресло в министерстве двора.

Вот так и сложился этот роковой «пасьянс», одно к одному.

4

Из предыдущего получается, будто я только Платоном и дышала. Конечно, родственные чувства. Разумеется, благодарность судьбе: брат уцелел, не искалечен. Но отнюдь не жажда крахмального чепчика экономки.

Каюсь, я не спешила отыскать товарищей, даже Александра Дмитриевича. Во мне обнаружилась душевная тупость. Очевидно, следствие долгого, чрезмерного напряжения.

Я много и крепко спала. Кошмары, терзавшие после войны сестер милосердия, меня не посещали. Это уж годы спустя видения войны встали мучительно-ярко, а тогда их не было.

И спала я много, и гуляла много. Так, без цели. Лето было непогожее, и эта пасмурность, эта прохлада были приятны.

В Летнем саду вечерами играл оркестр военной музыки. Вход был бесплатным, публики собиралось много, в особенности нечиновной, левые скамьи у оркестра занимали сплошь студенты и курсистки.

Военная музыка, тогда она была лучше нынешней, исполняла оперные увертюры, вальсы, марши. Рукоплескали музыкантам дружно. В антрактах возникал «клуб»: обмени-

вались новостями, назначали свидания (не только любовные, но и конспиративные), обсуживали «Отечественные записки», толковали о болгарской конституции, не в том смысле, хороша иль нехороша, а в том, что сами-то освободители остались с носом... Шумно было на левых скамьях.

Приходя в Летний, к оркестру, я держалась левой стороны. Однако было мне не совсем ловко: я чувствовала себя переростком, не в своей тарелке, смущалась подчеркнутой уважительности студентов и курсисток, узнававших во мне сестру милосердия.

Узнать было нетрудно: я носила на платье алый эмалевый крест в золотом ободе с надписью: «За попечение о раненых и больных воинах»; то была первая, высшая степень знака отличия Красного Креста.

Однажды на Морской я встретила генерала Драгомирова, бывшего командующего 14-й дивизией, а тогда, по-моему, назначенного в Академию Генерального штаба. Он, конечно, меня не помнил, но, заметив мой крест, поклонился и улыбнулся так, как кланяются и улыбаются соратнику. Я была растрогана.

Но в Летнем саду, в «клубе» возникало иное: хотелось каяться. Так, мол, и так, господа студенты, крест сей жалует государыня; и вот его нацепила, носит и тешится ненавистница династии, «нигилистка»; что вы на это скажете?

Знак отличия Красного Креста могли изъять по суду «в случае проступков, долгу и чести противных». Как раз отсутствие проступков и было для меня противно долгу и чести. Но, повторяю и признаюсь, такое уж «вступило» в душу, что она вовсе не жаждала ни поступков, ни проступков, а хотела ленивых облаков, ленивых дождиков, музыки Летнего сада.

К сожалению, надо было озаботиться и завтрашним днем. Владимир Рафаилович брался поставлять корректуры. Заработок мизерный, а труд муравьиный. Я не отказалась.

На Инженерной, в Главном управлении Российского общества Красного Креста, мне предложили записаться слушательницей Надеждинских врачебных курсов. Предложение было заманчивым, ибо сулило пособие, назначенное избранным участницам войны, пожелавшим продолжать медицинское образование; стипендию эту учредила принцесса Ольденбургская. Кроме того, меня зачислили платной сиделкой — Общество направляло сестер милосердия к состоятельным пациентам.

Курсы возобновлялись осенью; я и взяла неспешные корректуры, хотя кое-какие деньги у меня еще водились.

Помню: непозднее утро, накрапывал дождик. Я расположилась с работой, ощущая себя паинькой. Платона не было. Он теперь все чаще пропадал в Царском. Появляясь, ходил гоголем и ронял, что он уже в знакомстве с генералом Рылеевым, а посему, дескать, все очень-очень хорошо. Платон шутил, что скоро подарит мне платье из серебряной парчи, как у великих княгинь.

Да, в это вот уютное, тихонькое утро принялась я за работу, положив рядом табличку корректорских знаков, составленную для меня Владимиром Рафаиловичем.

И тут прозвенел звонок. Клянусь, еще не отворив дверей, я угадала, кто это... Мгновение мы смотрели глаза в глаза, и я чувствовала, как предательски заливаюсь краской.

Бросилась к самовару, благо еще не остыл, посвистывал; туда-сюда, собрала на стол, чашку ему, чашку себе — и все это суетливо, и все это, стыдясь своей суетливости, и он тоже, кажется, смутился.

Он был с поезда, проездом, из Москвы, полон московскими впечатлениями, стал говорить об этом. А мне — как передышка, чтоб вихрь унять. И я слушала, хоть, наверное, и не все слышала.

История вкратце такова. Через Москву в ссылку гнали киевских студентов. Москвичи-коллеги собрались встретить и проводить киевлян. Натекла публика — универсанты, из Петровской земледельческой, прочая. Шли мирно, полные молодого корпоративного духа. И вдруг — орда мясников, орда лабазников, грязная лава Охотного ряда, извержение первопрестольной: «Бей барских щенков!» На полицию столбняк напал, ни с места. После узнали, что именно полиция и распалила чернь: лупи, ничего не будет, круши, пусти юшку. И вот били! Три часа кряду били, кого ни попадя, лишь бы «морда образованная», не щадили и барышень. Хрип, крик, кровь — истинно московская потеха, как при Иоанне Грозном.

А спустя время опять истинно московская потеха, только на иной лад: надумали судить... избитых. Избитых судить, а не избивавших! Когда остынешь да подумаешь, оторопь берет: каково, однако, государство Российское! Что-то будто и меняется, а на поверку, как из тухлого колодца, мертвечиной несет...

Суд назначили в одной из зал Сухаревой башни (есть такое строение в Белокаменной). А накануне собралась студентская сходка в столовой Технического училища. Александр Дмитриевич узнал, пришел. Там он встретил

наших, Квятковского, это я хэрсшо помню, а еще, кажется, Морозова Николая, ныне исчезнувшего из мира живых и давно, по слухам, изнывающего в крепости.

Публика была взбудоражена: во-первых, к суду тянули ни в чем не повинных, а во-вторых, будто бы замышлялось повторное избиение — избиение тех, кто придет сочувствовать, поддерживать подсудимых. Похоже было на правду: вокруг Сухаревой — торжище, лавки, лабазы не хуже, чем в Охотном, а значит, та же чернь.

Что было делать? Не хотелось, чтоб в другой-то раз «святым кулаком по окаянной шее»... Александр Дмитриевич рассказывал, что боевое настроение публики, решившей защищаться, очень ему пришлось по душе: после Синеньких пахнуло свежим ветром.

Утром пошли. Михайлов запасся полусотней патронов и револьвером. Площадь у Сухаревой башни была пустынной. Ни души, лавки на запоре, во дворах, в подворотнях — кучатся городовые. «Я был как сжатая пружина», — сказал Александр Дмитриевич и улыбнулся этой своей необыкновенной улыбкой, приветливой и простодушной, от которой лицо его, обычно серьезное, даже, пожалуй, пасмурное, юношески светлело. И я улыбнулась: «Небось мурашки бегали?» Он рассмеялся: «Э, вам-то, воительнице, привычно, а нам, рябчикам, боязно».

Александр Дмитриевич, Квятковский, Морозов, еще кто-то явились в судебную залу первыми. Никто не останавливал: розовые времена! Зала, низкая, сумеречная и прохладная, быстро полнилась, а вокруг Сухаревой теснилась, нервничая в ожидании «атаки», студентская толпа.

Дело слушалось долго. Мировой с цепью на груди держался корректно. Наконец прочел приговор — и все изумленно переглянулись: большинство оправдано, нескольких присудили к двум-трем д н я м ареста, и все! Что тут поднялось! Поздравления, объятия, восторг — справедливость торжествовала.

— Вот оно, наше «правосознание», — сердито вздохнул Александр Дмитриевич. — Невиновных оправдали, а мы и запрыгали на одной ножке, черт нас возьми совсем! Блеем: «Бе-е-е» — вместо того, чтобы тотчас требовать осуждения действия чинов полиции... Нет, «гром победы раздавайся», айда пиво пить. Противно, честное слово.

Оп помолчал. Потом прибавил:

— Да и я хорош. Ведь понимал, что упущена возможность, этот чертов мировой всю обедню испортил. Пони-

мал — так нет, и я, дурак, тоже возрадовался, рассиялся, как на именинах.

Многое было для меня неожиданным. И этот револьвер, которым он запасся, и это намерение произвести не просто демонстрацию у Сухаревой башни, а демонстрацию политическую... Что-то важное, поворотное ускользнуло от меня, покамест я обреталась за Дунаем. Похоже, театр военных действий перемещался сюда, в пределы богоспасаемого отечества. Было над чем призадуматься.

Конечно, еще в Сан-Стефано я знала и о выстреле Веры Засулич; и о том, что наши оказали в Одессе вооруженное сопротывление при аресте; и о покушении Валериана Осинского на прокурора, впоследствии мрачно-известного волка Котляревского; а приехав в Петербург, узнала, что в Киеве убили жандармского офицера барона Гейкинга.

Все это мне было известно. Но как бы разрозненно. Я не сознавала тенденции. А теперь сознала, уловила направление, от которого так и шибало порохом.

У Сухаревой башни я б тоже ликовала; я бы не огорчилась тем, что мировой «испортил обедню». Но и то сказать, разве не следовало дать урок властям? Далее. «Смит и вессон» не вязался с ролью пропагандиста. Но опять-таки разве не следовало отбиваться от врага? И не только отбиваться, а и нападать на передовые посты — на прокурора, на жандармского офицера, — как наши донцы на турецкие пикеты?

Но боевое настроение Александра Дмитриевича насторожило меня. Не испугало, тут было другое, котя и близкое. Совсем недавно я видела, что такое эти действующие «смит и вессоны», видела зловеще-быстрый ток живой крови, истерзанную плоть...

За окнами, на дворе, вдруг тяжело и звонко начал падать ливень. И глухо раскатился дальний гром. А я подумала, что вестовая полуденная пушка раньше, когда я была девочкой, стреляла из Адмиралтейства, а теперь — с бастиона Петропавловской.

Михайлов подошел к окну и выставил ладони под прямые и толстые струи дождя. Постоял, покачиваясь на носках, спина у него была широкая, крепкая. Потом он вернулся к столу, отирая руки платком. И сразу заговорил о деле, не терпящем отлагательств. Он говорил так, словно ни на миг не сомневался в моем согласии участвовать в этом спешном и опасном деле. Изложив суть, осведомился:

— А брат ваш? Где он, как?

Я отвечала, что Платон, слава Богу, жив-здоров, что он здесь, в Петербурге, собирается... собирается держать экзамен в академию.

Относительно академии я солгала. Но, видит Бог, сказать правду я не могла и не хотела. Это мое, семейное, никого не касается.

Михайлов взглянул вопросительно. Я похолодела: неужто угадал ложь? Но нет, он о другом молчаливо спрашивал, и тут я отвечала чистую правду: Платон Илларионович Ардашев, к сожалению, не нашего поля ягода.

- Да, жаль, согласился Михайлов. А нет ли у вас подруги где-нибудь на вакациях? Надо ему как-то объяснить ваше отсутствие. Отправилась, дескать, отдохнуть в деревне.
- ...Какие-то причины, мне неведомые, задержали наш отъезд на неделю, и я еще раз встретилась с Александром Дмитриевичем. Оп заглянул ко мне, в Эртелев, после очередного свидания с Зотовым, и мы беседовали не то чтобы дольше давешнего, но обстоятельнее.

Нет, очевидно, нужды напоминать о совершавшемся в ту пору отливе наших сил из деревни в город, о постепенном и партизанском переходе к боевым террорным средствам борьбы.

Не стану утверждать, что я была зорче моих друзей. Но из этакого перехода, естественно, возникал «смит и вессон» со всеми, так сказать, револьверными последствиями. А я слишком хорошо знала, как легко пустить кровь и как трудно остановить кровь. Не абстрактную, словесную, журнальную, а живую, горячую, с ее острым, пугающим запахом. Я это знала слишком хорошо!

Наконец, переход к новым средствам был мне не совсем понятен именно у Михайлова. Ведь недавно его поглощали помыслы о расколе, о некоей революционной религии — и вот отступил в сторону «смит и вессона»?

— В расколе, — отвечал Александр Дмитриевич, там, матушка, чувствуешь себя, как ватой обложенный. И будто глохнешь. Будто нет ничего на свете: ни движения, ни энергии. Ощущаешь себя таким одиноким в каких-нибудь Синеньких таким заброшенным, хоть плачь...

Он улыбался. Я сказала, что это правда, но верхняя, а не глубинная. Он взглянул на меня не без удивления. Его удивление мне польстило: то было признание моей проницательности.

Да, — сказал он уже без улыбки, — что верно, то верно: раскол — сила великая, хоть и косная. Там знаете что

меня в особенности привлекало? А вот это убеждение, что царство русское «повредилось», что власть у антихриста, а настоящая Русь «ушла под землю»... Я понимаю, о чем вы... Разумеется, Христос — воплощение любви. Но и воплощение гнева! Ведь он изгнал торгующих из храма — чем? Разве проповедью, а? Нет, бичом изгнал... И еще вот что, Анна. Вы помните, что дело прочно, когда под ним струится кровь. Ну, вот, вот. Да только чья кровь струится? В том-то и суть: своя. И тут искупление...

Нынешние, праздно болтающие, «оппозиционно» распивая чаи с крыжовенным, осуждают погибших: ай-ай-ай, решились на кровопролитие. Я отказываюсь понимать нынешних «оппозиционных»! Разве они знают душевные страдания тех, кто, погибнув, ушел к своим братьям, покоящимся в лоне матери-земли, к братьям, которым тоже не удалось решить великие вопросы устроения жизни?..

Тогда, перед отъездом в Харьков, Александр Дмитриевич просил меня наведаться в ортопедическую лечебницу на Невском, против Малой Морской. Хозяину лечебницы принадлежал весь дом, в бельэтаже которого размещалось «Центральное депо оружия».

— Мне обещали приобрести отменный механизм, — объяснил Михайлов. — Уж домовладельцу приказчики не всучат какую-нибудь дрянь. Мне ходить, лишь швейцару глаза мозолить, а я не знаю, куплен ли отменный сей механизм. Вот вы и разведайте.

Я согласилась, но прибавила: а почему, мол, мне и не забрать «отменный механизм»?

Михайлов тряхнул головой:

- Э, нет! Еще попадетесь с ним...
- Я-то, коли и попадусь, не окажу сопротивление, а вы, думаю...
- Я? переспросил он серьезно. Непременно, это решено. Бог выдаст съем свинью, это решено.

Я поехала конкой.

Приезжаю.

Ливрейный лакей, из тех, что ужасно важничают, повел меня к барину. Шагов не слышно было — ноги утопали в коврах.

Я увидела мебель красного дерева, картины, вазы с цветами. Роскошь не отдавала нуворишем, но все равно коробила мою нигилистическую натуру.

Из гостиной появился белокурый господин в летнем дневном костюме — светлый пиджак с белыми перламутровыми пуговицами, темные брюки. Господин изволил тотчас

признать бедную посетительницу, протянул руки и продекламировал звучным баритоном:

Мадам, я вам сказать обязан — Я не герой, я не герой, Притом же я любовью связан Совсем с другой!

И мы оба покатились со смеху.

Он был по-прежнему моложав, красив, строен, этот доктор Орест Эдуардович Веймар. Тот самый, что на своем рысаке Варваре похитил из тюремной больницы кн. Кропоткина; тот самый, что выручил меня на первом моем ночном дежурстве в военном госпитале.

Я еще ни о чем но поспела осведомиться, как из гостиной вышел человек, овеянный папиросным дымом, и остановился, глядя на наши веселые физиономии. Орест Эдуардович представил меня своему гостю. Гость назвался, но весьма невнятно. Мне казалось, что я встречала этого человека, и лишь потом сообразила, что прежде-то видела не его самого, а его фотографический портрет.

— Давняя знакомая, — говорил Веймар, пропуская нас в гостиную, — с басурманом сражались. Ты, Глеб Иванович, поспрошай Анну Илларионовну, она тебе многое порасскажет.

И тут-то меня осенило: да это — Успенский. Глеб Иванович! Я совершенно потерялась, разинула рот.

— Ax, — сказал он, — досада-то какая: водку пропустили!

Сказано было добродушно, дружески, но я будто б «споткнулась» об эту шутку и буркнула:

— А я на пью.

Он с комическим недоумением развел руками:

— Эва, «не пью»... Что вы? Что вы?

Я не была обижена или задета, пустое, но мне показалось несовместным — Глеб Иванович Успенский и... и такие плоские шуточки. И я бы, наверное, думала, что лучше не знать «живого» писателя, а читать то, что он пишет, так бы и думала, если бы не те несколько слов, тяжелых, мучительных слов, произнесенных Успенским. Не для меня, даже не для Ореста Эдуардовича, а как бы для самого себя, самому себе...

Приобрел-с, — весело говорил доктор Веймар, подводя меня к креслу и усаживая, — и такой, знаете ли, приобрел, какой и у Османа-паши не водился. Монстр! Гиппопотама разнесет по шерстинке. Не извольте беспокоиться, отличнейший механизм...

— А! — коротко бросил Успенский, глянув на меня быстро и внимательно, машинально прилаживая папиросу — у него была манера вставлять, на докурив, новую папиросу в старую гильзу.

«А!» — бросил он, и я поняла, что Успенский знает, о чем речь.

Впоследствии я несколько раз видела и слушала Глеба Ивановича. Я даже была у него дома, на встрече восемьдесят первого года, когда многие из собравшихся словно бы простились с Глебом Ивановичем.

Пред мысленным взором он весь — с вечной папиросой, высоколобый, застенчивый, редко улыбающийся, с удивительно переменчивыми глазами, то темными, то внезапно голубеющими. Вот он задумывается, глядя вбок и поверх слушателей, точно уходит далеко-далеко, и там, вдали, рассматривает что-то свое, особенное. Вот он возвращается и продолжает, окутываясь дымом, продолжает свои рассказы, вызывающие то гомерический хохот, то слезы...

Да, мне посчастливилось и видеть и слушать Глеба Ивановича, писателя и человека, в котором, убеждена, воплощалась русская совесть, русская скромность, чистота и мука, но первая встреча поразила меня по-особому, потому что именно тогда, у доктора Веймара, в погожий летний день, в светлой красивой гостиной, Успенский, покосившись на револьвер-монстр, принесенный из кабинета Орестом Эдуардовичем, тихо и внятно проговорил:

— Не верю, что это приведет к правде... Не верю, не могу поверить...

А потом, годы спустя, передал осужденной Фигнер коротенькую записочку: «Как я Вам завидуют».

И не верил, и завидовал тем, кто верил.

5

Дважды мне пришлось покидать Петербург и следовать за Александром Дмитриевичем. И оба раза летом. Летом семьдесят восьмого года и летом семьдесят девятого. Поездки эти залегли в памяти друг подле друга, и мне легче писать так, как они запечатлелись, как в чувствах остались. Да ведь в конце концов не хронику пишу.

Начну, как и было, Харьковом.

Разными поездами нас съехалось туда больше десяти человек, и мы рассеялись кто где, браня домовладельцев,

которые драли дороже столичных, не предоставляя, однако, столичных удобств.

С грехом пополам я наняла комнату окнами на грязный двор и ретирадное место. Рядом был Покровский монастырь с большим садом. С возвышенности виднелась речка, а вернее, цепь зеленых лужиц, у края которых вкривь и вкось стояли мыловарни и салотопни. Троицкая ярмарка еще не отошла, и оживление, вызванное многолюдным торжищем, не улеглось.

Из всех наших, кажется, я одна обладала неподложным видом на жительство. Я сказала хозяйке-чиновнице, что намерена приискать занятие по медицинской части, и для отвода глаз заглянула в местное управление Общества Красного Креста, и в лечебницу для приходящих, и в детскую больницу, готовящуюся к открытию; ее устроитель, врач Франковский, любезно предложил мне на выбор несколько должностей.

Но и вправду мое пребывание в Харькове имело цель практически медицинскую. Возможно было кровопролитие. Потребовалась бы первая и спешная помощь товарищам. В назначенный день по сигналу я обязана была дежурить в конспиративном особняке, который наняли, как «супруги», Михайлов и Софья Львовна Перовская. Была еще конспиративная квартира, вроде запасной; там жила нефиктивная пара — Баранников и Ошанина, известная якобинка. Кроме того, наши располагались на постоялом дворе, еще где-то.

Собралась настоящая дружина, и Михайлов распорядился, как заправский военный: создал несколько опорных пунктов, выставил поочередных наблюдателей на станции железной дороги и на «рогатке», где расползались старинные шляхи — Чугуевский и Змиевский.

Прибавьте карты окрестностей и полевой бинокль, купленные еще в Петербурге, в магазине Генерального штаба; прибавьте офицерские мундиры, лошадей, коляску, огнестрельное оружие, в том числа американский многоствольный револьвер, эдакое чудище, способное сразить бегемота. Тот самый, которым мы раздобылись с помощью доктора Веймара.

Необходимо сказать несколько слов, не осуждающих, нет, однако укоризненных. Доктора Веймара осудили в каторгу как раз за снабжение террористов оружием, а между тем наши Оресту Эдуардовичу не открыли, для чего, с какой целью приобретается револьвер-монстр. Конечно, не младенец, догадывался, но впрямую-то ему не говорили. Понятно, конспирация, а все-таки...

Я упомянула наблюдателей, располагавшихся и на станции железной дороги, и на трактах. На станцию должны были привезти, а по трактам должны были отвезти. Отвезти либо в Новобелгородскую тюрьму, что за сорок верст от Харькова, либо за шестьдесят верст, в Новоборисоглебскую.

Обе тюрьмы были старыми. Но в смысле вполне определенном и страшном они были новыми. То были детища генерал-адъютанта Мезенцева, ибо это он, шеф жандармов, учредил централы, то есть центры умерщвления политических каторжан.

Законом не предусматривалось одиночное заключение политических преступников. Законом не предусматривалось лишение свиданий, книг, занятий. Но есть ли закон, коли есть шеф жандармов?

Вечерами, а то и в пустые томительные полудни, когда все замрет и задремлет, бегали мы на конспиративную штаб-квартиру, наперед готовые снести сердитую воркотню Александра Дмитриевича.

На харьковских «посиделках» я пригляделась ко многим. А к Софье Львовне Перовской в первую голову. Личность известная, мученица, свободная Россия поклонится ей низко. Не тем будь помянута, а с немалым была самолюбием, как и будущий друг ее, Желябов Андрей Иванович. У меня с Софьей Львовной никогда близости не возникало; подозреваю, она меня не очень-то жаловала, коть и не выказывала ни враждебности, ни какого-либо раздражения. Ну, да это не важно, пустяки... Была у нее одна черта: абсолютное, совершенно ледяное презрение к властям предержащим. От такого презрения всякая мундирная особь должна была ощущать себя насекомым. Не удостаивала ни гневом, ни ненавистью — презирала.

В Харькове был и Баранников, тезка Михайлова, старинный, с путивльского детства друг его. Баранников мне нравился, но я иронизировала: «в чайльдгарольдовом плаще» — его мрачность, бакенбарды, смуглость казались мне приметами байронизма.

Но вот кто мне решительно не нравился, так это тогдашняя жена Баранникова — Мария Николаевна Ошанина. Никаких раздоров у меня с нею не возникало, но я словно ежилась в ее присутствии. В ней угадывалось нечто от тех генералов, которые не щадят солдат. (Правда, и себя тоже.) Спешу прибавить: революционная репутация Ошаниной как была, так и осталась без пятнышка. Ныне она никнет без дела на чужбине, в Париже. Кажется, на день-два позже нашего приехал из Кнева Валериан Осинский. Его позвал на подмогу Александр Дмитриевич, он и приехал. Тогда, в Харькове, я видела Валериана в последний раз; года не минуло, он прислал предсмертное письмо... Осинский, непоседливый, изящный, экспансивный, был удивительно милым человеком. Чудилось, стеклышки его пенсне на черном шнурочке так и брызжут искорками.

Помню, я спрашивала Михайлова, зачем это генеральному жандарму Мезенцеву понадобились централы; ведь есть у него и Алексеевский равелин, и Карийская каторга за Байкалом.

Александр Дмитриевич отвечал, что, по-видимому, шефу жандармов теперь и питерская бастилия не представляется надежной — столица кишит крамольниками. А Карийская каторга на другом конце земли. Кто знает, может, тамошние начальники по дальности от начальников вышних ударятся в либерализм, да и смягчат режим?

Увы, время показало, что и бастилия осталась бастилией и местные начальники не ударились в либерализм. Но очень вероятно, генерал-адъютант Мезенцев попросту желал ублаготворить государя каким-то особенным новшеством: «Ваше величество, а не учредить ли централы?»

Александр Дмитриевич в оракулы не играл, однако отличался непостижимой осведомленностью. Но странно: тогда его осведомленность меня не поражала. Поражает теперь, когда известно, что Клеточников проник в Третье отделение в семьдесят девятом году. А наш Александр Дмитриевич уже в Харькове располагал сведениями, источник которых не мог не струиться из здания у Цепного моста.

Мы ждали узников, направляемых в централы. И, ожидая, сидя в Харькове, уже з нали, именно от Михайлова, что один из централов, такой-то, полнехонек; стало быть, повезут в другой централ. Мы также знали, что генерал Мезенцев опасается нападения на конвой.

Мы исследовали оба тракта, ведущие к централам. Убедились, что школьная география не обманывает: далеко видать, степь кругом. Да что прикажете, бывают ли без риска подобные предприятия?

Время шло. Известий не поступало. И нет-нет да и обволакивало ощущение, что вот, наверное, ничего и не будет, ничего не произойдет, а так и будут эти тягучие летние дни, эта зацветающая речка Лопань, ласточки над монастырскими крестами, Павловское подворье с нумерами и лавкой, откуда, как в детстве, пахнет теплыми свежими

пряниками, и этот ресторан-пивная, принадлежащий какой-то Марье Ивановне, который сейчас пустовал, а осенью и зимою будто бы пользовался чрезвычайной популярностью у здешних универсантов и профессоров.

Казалось бы, и порожние провинциальные будни, и само это ожидание должны были бы ввергать в дурное расположение духа. А выходило так, что все мы, исключая Перовскую, которая очень нервничала, все мы не только не приуныли, но втайне радовались вынужденному безделью.

И вдруг телеграмма из Петербурга: везут!! Михайлов уверенно назвал имена каторжан: Мышкин и Рогачев, Ковалик и Войнаральский.

Они следовали в арестантском вагоне. К прочим нововведениям генерал-адъютанта Мезенцева надо отнести и появление особых арестантских вагонов, не общих, третьего класса с зарешеченными окнами, как прежде, а с одиночными клетушками для политических.

Узников привезли. Баранников и еще кто-то быстро обнаружили, что троих переправили в почтовую контору, а четвертого поместили отдельно, в тюремном замке.

Как и задумали, наши разделились и выехали на оба тракта. Михайлов с Перовской остались в штаб-квартире, куда явилась и я, а следом Ошанина.

Михайлов сидел у окна, выходившего сразу на несколько улиц. Почему-то он не снимал своего легкого, светлого пальто, так и сидел в пальто и теребил, теребил, теребил свою шапочку в каком-то охотничьем вкусе. Перовская нервно шагала из угла в угол, а я зачем-то следила за ней глазами, раздражаясь этой никчемной «слежкой».

Минул час, другой, еще час... Я вдруг начала ощущать голод, самый прозаический и неуместный голод. Добро бы жажду, это б еще извинительно.

Наконец все решилось, то есть ничего не решилось: то ли жандармы обманули наших, то ли наши обманулись, но так ли, эдак ли, а троих каторжан, Мышкина в их числе, «благополучно» доставили из Харькова в один из централов.

Я взглянула на Михайлова. Он был бледен, однако не подавлен, не уничтожен, и, увидев его таким, я содрогнулась. Как! Провал, жуткая неудача, а он... Я испытала чувство, похожее на недоумение и негодование, какие испытывала, увидев на Шипке какого-нибудь штабного из главной квартиры. Чувство мое (по отношению к Михайлову, разумеется) было несправедливым, оскорбительным, да, слава Богу, ничего он не приметил, поглощенный своими мыслями.

В городе, в тюрьме оставался один Войнаральский.

Как и других каторжан, я не знала Войнаральского. Но имена Мышкина и Рогачева звучали громко и потому, опять-таки несправедливо, спасение Войнаральского представлялось мне делом менее важным. Конечно, я была бы счастлива его избавлением, но, что греха таить, в меньшей степени, нежели избавлением Мышкина или Рогачева.

А между тем Войнаральский, человек, по тогдашним моим меркам, немолодой, ему было за тридцать, тоже представлял крупную фигуру. Один из пионеров хождения в народ, Порфирий Иванович много работал и в Пензе, и в Москве, и в Поволжье. К тому времени, когда его обрекли цечтралу, Войнаральский уже отсидел полных четыре года в Доме предварительного заключения и в Петропавловской крепости, а теперь впереди у него стояла кромешная тьма каторги.

Детство свое он провел в поместье, по-барски, будучи незаконным, но любимым сыном княгини Кугушевой. Сравнительно недавно и совершенно случайно я услышала, что в настоящее время Войнаральский находится в Якутске. Однажды, говоря о нем с Владимиром Рафаиловичем, я в какой-то связи упомянула о матери государственного преступника. Зотов предположил его родство с покойным писателем кн. Кугушевым, автором и доныне читающегося «Корнета Отлетаева»... Но все это а рагт¹.

Утром — был уже первый день июля — четверо наших выехали спасать Войнаральского. Расположились так, чтобы открывались сразу оба тракта: жандармы не могли проскочить незамеченными.

Мы сызнова сошлись у Михайлова. Опять Софья Львовна не могла усидеть, все ходила, ходила, зябко передергивая плечами, а потом вдруг придержала маятник часов: «Не могу слышать, как они стучат...» Тут я заметила, что Ошанина... Ей-Богу, не сразу поняла, что она уснула. Прилегла на кушеточку, аккуратно и ладно прилегла, подогнув ноги и не сбив свою тяжелую светлую косу. И вот — спит.

Мы переглянулись с Александром Дмитриевичем...

На дворе с утра натягивало дождь. Около полудня он брызнул, а потом полил что было силы.

Как раз в ту минуту, когда мы оторвались от окна, не выдерживая ожидания, а Перовская задержалась у окна, опершись на подоконник, в ту самую минуту на улице появился Баранников.

¹ В сторону (франц.).

— Один!! — ахнула Перовская, и мне мелькнуло, что она перекрестилась.

И точно, к нам спешил, почти бежал Баранников — высокий, сухощавый, в распахнутом офицерском пальто. Александр Дмитриевич бросился в прихожую. Задыхающийся, потный Баранников яростно швырнул свою фуражку, и было слышно, как она четко и крепко клюнула козырьком об пол.

Вот коротко, как сложилось.

Наши на тройке отъехали несколько верст и стали караулить. Жандармы, тоже на тройке, на рослых и сильных почтовых, махом вылетели из города. Наши двинулись вперед. Потом подались к обочине и осадили. Жандармы приближались. Улучив минуту, Баранников оставил коляску и шагнул на середку. Бывший юнкер, он был как влитый в форменное платье.

— Стой! — крикнул Баранников. — Куда едешь? Ямщик откинулся, удерживая почтовых, они с разгона

жищик откинулся, удерживая почтовых, они с разгона еще пробежали.

— Куда едешь, спрашиваю?!

Унтер — он помещался напротив Войнаральского, лицом к лицу — отдал честь, отрапортовал... Кто-то из наших выстрелил. Баранников — следом. Унтер закричал, падая вниз лицом, в ноги арестанта, а почтовые шарахнулись, рванули, понесли.

Опять загремели выстрелы. Стреляли по коням. Они — видимо, раненые — мчали, не разбирая дороги, как от волков.

Наши — вдогонку. Не тут-то было. И почтовые оказались резвее, и страх гнал их пуща кнута. Впереди показалась колокольня большого села. Преследовать было немыслимо...

6

Минуя петербургские месяцы, опишу вторую летнюю поездку в провинцию. Харьковская случилась летом семьдесят восьмого, а эта — летом следующего года.

Занятия на моих курсах еще не кончились, но Михайлов поторапливал, и я уехала после дня Бориса и Глеба, когда Неву тяжело колыхал холодный ветер, а шаткая погода не давала определить, что надевать, выходя на улицу.

То ль дело Киев! Теплынь, запах молодой зелени и эта ясность далей с приднепровской кручи. Как хорошо! И

вдруг... вдруг грубая сила, которая коверкает и шелест акаций, и шепот тополей, речные звоны и шорохи.

Город казался военным лагерем. Солдатские пикеты, казаки, ружья, составленные в козлы, ржанье полковых коней, окрики хмурых, озабоченных офицеров. Словно бивачное положение: судили политических; власти опасались эксцессов со стороны революционеров; их боевой пыл уже достаточно выказался именно здесь, в Киеве.

В Харькове каждый из нас горел — спасти, выручить. В Киеве мы не питали подобных надежд. Приходилось делать денежное дело, связанное с лизогубовским наследством. Александр Дмитриевич должен был повидаться с одним товарищем (человеком живым, энергии необычайной, вошедшим впоследствии в Исполнительный комитет «Народной воли») и получить письма к Дриге.

А пишущая эти строки, как и всегда, была, что называется, на выходных ролях. Вообще меня не зачислишь и в третьестепенные. Отмечаю не ради уничижения, которое паче гордости, и даже не затем, чтобы оправдать узость своих записок.

Дело в том, что я довольствовалась третьестепенным. Удерживала не робость, хоть и не утверждаю, что щедро наделена храбростью; доказательством — приступы страха, испытанные мною на войне. Но нет, не робость.

Многие народники не тотчас, а после внутренних бурь осознали необходимость политической борьбы. Я осознала довольно быстро и довольно легко. Приняла и необходимость оружия: поначалу как средства оборонительного, а после и как наступательного. Терроризм именно у нас, в наших русских условиях, — это я разумом понимала. В ту пору иное ни дано было.

Да, разумом понимала, но душа, сердце противились. Я сто раз слыхала: на войне как на войне. Может быть, моя недалекость, моя ограниченность, но я не умела отождествить войну с турками и войну против доморощенных турок.

Впрочем, повторяю, в Киеве не было у нас дел, пахнущих порохом. Я приехала «чиновником для поручений» при Александре Дмитриевиче. И не ради одних мелких поручений, а и для того, чтобы находиться аи courant¹ всех отношений с Дригой: на случай провала Михайлова, или Дриги, или обоих.

Александр Дмитриевич определил меня на краткий «постой» к своим родственникам Безменовым. Павел Петрович

¹ В курсе чего-либо (франц.).

Безменов преподавал географию и историю в реальном училише. Молодая жена его, Клеопатра Дмитриевна, недавно окончила московский Мариинский институт. Жили они, если не ошибаюсь, на Житомирской, в стареньком, без затей, опрятном одноэтажном доме с вишневым садом.

Клеопатра Дмитриевна уступила мне свою комнату. Помню портрет ее, еще институткой, в камлотовом платье. Помню полку с книгами: Некрасов и Решетников, Щедрин и Успенский, Чудинова «История русской женщины», два тома «Физиологии» Монса, Бюхнеровы «Физиологические картины»...

— Это я собрала по Сашиному настоянию, — сказала Клеопатра Дмитриевна, улыбаясь улыбкой, очень похожей на улыбку ее старшего брата. — Он как-то из Петербурга целый список прислал. — Рассмеялась: — Великий аккуратист, против каждого автора нумера выставил — очередность установил. Некрасова означил первым. И разделы означил: беллетристика, история, естественные науки. У меня совсем немного: он около сотни назвал, не меньше... А эти, — прибавила Клеопатра Дмитриевна, — эти уж я сама.

Те, что она «сама», были берлинское издание сочинений Фридриха Фребеля, комплекты журналов «Детский сад», «Воспитание и обучение», еще что-то в этом духе. Оказывается, Клеопатра Дмитриевна надумала устроить детский сад по фребелевской системе и по сему поводу состояла в оживленной переписке с какими-то петербургскими немками.

В отличие от сестры Александра Дмитриевича, такой славной, муж ее, Безменов, был несимпатичен. Увидев Михайлова, он откровенно струхнул. Александр Дмитриевич поспешил успокоить свояка:

— Я уйду, не останусь. А у моей спутницы — все хорошо, бумаги в порядке.

Безменов проглотил слюну. Михайлов, смеясь, прибавил:

- Ну, а в случае чего не робей, Павел Петрович, у нас бо-о-ольшая заручка есть...
 - Это что? Это как? суетливо оживился Безменов.
 - Генерал Антонович. Понял? Вот так-то, брат.

Безменов покачал головой и вздохнул, словно покоряясь судьбе-злодейке. Впрочем, за вечерним чаем нашел на него стих: он разглагольствовал прогрессивно. Речь его была косолапая, сбивчивая, неумелая, совсем не свойственная учителю истории.

Я не скрыла от Михайлова, что мне неприятно, неловко быть Безменову в тягость. И подсластила пилюлю, ведь

как-никак, а родственник Александр Дмитриевича: дескать, я понимаю Безменова — времена на дворе строгие, кому радость во чужом пиру похмелье.

Михайлов поморщился.

— У свояка — глупый харыктер. Знание — грошовое, амбиция — рублевая. Это я еще в гимназии понял: он у нас, в Северском, историю с географией... Но хуже всего: глупый характер. Я и матушке говорил, и Клене говорил, когда он сватался. Но вот, не послушали... — Александр Дмитриевич махнул рукой. — Э, пусть терпит, мы с вами скоро уедем, не сегодня-завтра.

Он отвел глаза и спросил как бы в сторону, какова, по-моему, Кленя. Он пытался скрыть конфузливое желание услышать хорошее, доброе. Я это поняла, и меня это тронуло. И, услышав хорошее, доброе, Александр Дмитриевич так и разлился в улыбке.

— Они у меня, знаете, все такие...

И продолжил:

— Я как-то написал в Путивль родителям... гимназистом написал: есть, мол, разница в наших с вами взглядах, и она, эта самая разница, мешает. Как думаете, умно ли, а? По-моему, глупо. Весьма глупо. Глотнул из одной книжки, глотнул из другой, да и захмелел, да и нос задрал: дескать, куда вам, старые, где уж вам меня понять?! Ребячество! В толк не берешь, что такое семья. А семья-то и есть наиглавнейшее. Кто, как не мои старики, и подвигли меня на служение идее? С детства запали в душу вечерние, тихие рассказы о Страдальце за грехи мира. И многим так-то рассказывают, но многим ли в душу западает? Значит, все от рассказчиков, от их сердца в зависимости. Так начинаешь постигать высшее назначение жизни. Да, поверьте, все от семьи, из семьи. По крайней мере, у меня, со мною. Вот и люблю, благодарен...

Скоро мы «разбогатели»: Александр Дмитриевич получил восемь тысяч. Солидная сумма. Но лишь незначительная часть лизогубовских средств. Однако мы радовались: у наших в Петербурге совсем ничего не было.

Из соображений конспиративных Михайлов уклонился от почтовых операций и встреч с людьми, бравшими на себя обязанности фельдъегерей. Отправкой денег озаботилась пишущая эти строки. Она отродясь не видывала эдакой кучи кредиток! И боялась ошибиться счетом, боялась утерять, а мазуриков боялась пуще филеров. И впервые сознала поговорку: бедняк спит спокойно.

Я отсылала деньги и ценными пакетами, и с оказией. Согласно почтовым правилам, ценные пакеты, засургучив,

надлежало скрепить собственной печатью. Всеведущий Александр Дмитриевич предусмотрел и печать.

Мы оба, не сговариваясь, спешили с отъездом.

Каждый лишний день в Киеве был мучителен. Суд свершился. Четверых ждала смерть, остальных — каторга. Ожидалась конфирмация. Какова она будет, мы понимали. И не чаяли, как поскорее уехать. (Странно, но в Петербурге при подобных обстоятельствах я не испытывала столь непереносимого желания скрыться, исчезнуть, как там, в чужом городе.) Родственники навещали узников, полицейские офицеры-мздоимцы нарушали обет молчания — и тюремные известия распространялись мгновенно.

И вот наших собрали в тюремной конторе. Полицмейстер объявил окончательный, конфирмованный приговор. Некоторым чуть сбавили, большинству оставили в силе. Среди смертников была женщина Софья Лешерн; ее «помиловали» каторгой.

В тюремную контору вызывали всех осужденных, кроме троих: Валериана Осинского, которого я знала и любила, как и Александр Дмитриевич; Людвига Брандтнера и Владимира Свириденко. Троих из общих камер поместили в одиночные. И у каждого в камере встал особый стражник. А стражник внутри камеры, как черный ангел у изголовья больного, вестник смерти...

На другой день уже к вечеру, взяв извозчика, я отправилась на свидание с очередным «фельдъегерем». Эта оказия была предпоследняя. Еще одна, завтрашняя, и я, свободная от тысячных сумм, вольна оставить этот город.

День тихо мерк. Все розовело и словно бы никло. Побрякивали железные щеколды на калитках, был слышен скрип ворот. Ехала я долго, куда-то на окраину, название улицы запамятовала.

Меня поджидал молодой, с вислыми усами человек в вышитой рубашке. Мы обменялись паролем, и молодой человек, не произнеся ни слова, удалился. Удалился както слишком поспешно, я об этом подумала, и эта поспешность меня чуточку покоробила, хотя он и поступил разумно.

Извозчика я отпустила раньше. Оставшись одна, я огляделась. Было так безветренно, что и свечи горели б ровно, нетрепетно.

Я услышала в тишине какой-то стук. Он был то мерный, то перебивчивый. А потом увидела пустырь. Большой, в рытвинах, размытый сумерками. Пахнуло полынью, чабрецом, дичью, как из веков татарского ига.

Опять, но уже ближе был этот стук, то мерный, то перебивчивый стук плотничьих топоров. Я увидела помост и виселицу. Помост казался тяжелым и темным, а виселица была тонкой и черной, как прочерченная тушью на литом золоте заката...

Я вернулась затемно. Безменовых беспокоило мое отсутствие. Клеопатра Дмитриевна обрадовалась, Безменов тоже, но радостью иного свойства, — очевидно, ему вообразилось, как я, арестованная, открываю жандармам место киевского жительства... Ужинать я не стала, кусок бы застрял в горле, и, сославшись на мигрень, вышла в сад.

Я села на скамью. Были луна и безмолвие, и мне опять примерещились ровно оплывающие свечи. Потом послышался стук, но уже ни смешанный, как давеча, а лишь мерный, как метроном, хотя я и сознавала, что отсюда, от Безменовых, не услышишь плотничьи топоры, сознавала и то, что на пустыре, где полынь и лопухи, там давно артельщики пошабашили.

Но шагов-то я не услышала и едва не вскрикнула, когда меня негромко, почти шепотом окликнул Александр Дмитриевич. Он сел рядом. Я сказала, что встретила «фельдъегеря», Михайлов кивнул.

Я больше не слышала топоров, а слышала одно беззвучие теплой, тихой, светлой ночи, но, странно, я была убеждена, что Михайлов слышит, непременно слышит, и еще одно странное убеждение владело мною, что он тоже видел это сооружение на фоне червонного заката, непременно видел, потому что тоже побывал на пустыре, где полынь и лопухи и стук топоров.

Клеопатра Дмитриевна с зажженной лампой в руках вышла на крыльцо. Освещенная женская фигура, горящая лампа — будто встречают кого-то, будто сейчас опустит копыта усталый конь. «Как все это было давным-давно», — почему-то так, именно так, мне подумалось.

- Кленя, тихо позвал Александр Дмитриевич, и она послушно приблизилась, села рядом с нами и поставила лампу у ног.
- Боже мой, молвила она, неужели совершится...
 - Не надо, Кленя, сказал Александр Дмитриевич. Она вздохнула и перекрестилась.

Мошкара вилась у огня, мошкара и ночные бабочки.

Кто-то пел про старого капрала. Как его ведут на расстрел, как он просит получше целить... Про старого капрала кто-то пел в ту светлую киевскую ночь, и у растворенных настежь окон темнели неподвижные фигуры... Некто спел про старого капрала, как вели его на расстрел и как его расстреляли... Казалось, обезлюдела земля, никого, ни единой души, но вместе чувствовалось немое присутствие множества людей. И певи..., и старого капрала, и тех, кто провожал его в эту последнюю ночь, и тех, кто повел его на казнь, и привел, и убил. А ночь все длилась, все длилась, будто невзначай разминулась с рассветом.

— А что Фаня? — спросил Михайлов.

Спросил негромко, но я вздрогнула и прошептала:

— Какая Фаня?

(Фаней звали в семье Михайловых самого младшего, Митрофана, в ту пору еще гимназиста; я это знала, но словно бы начисто позабыла.)

- Фаня? отозвалась Клеопатра Дмитриевна и невпопад ответила: Фаня очень хорошо рисует.
- Да, да, хорошо, хорошо рисует Фаня... A ты помнишь, как он болел дифтеритом?
- Помню, конечно, недоуменно ответила Клеопатра Дмитриевна.

И я тоже недоумевала: «Фаня... дифтерит...»

Александр Дмитриевич слабо повел плечом, словно отстраняя и меня, и мое недоумение, повел плечом и забрал в свою руку сестрину.

— А мне казалось... нет, не казалось, так было: я умирал вместе с Фаней. Умирал физически. И когда Фаня хрипел, я тоже задыхался. Я готов был умереть и за него, и вместе с ним.

Он помолчал, потом произнес упавшим голосом:

— Проклятое бессилье, ничего не можешь сделать.

Пробрезжило, и стало зябко. Пичуга в шиповнике осторожно пробовала голос.

Александр Дмитриевич вздохнул.

— Ну, — сказал он с фальшивой будничностью, — пора. Пора на дилижанс.

Он поднялся, а за ним и Кленя, и они о чем-то заговорили, не знаю, о чем, а меня будто полоснуло чем-то холодным, в зазубринах: он уезжал, а я оставалась в этом городе. О-о, конечно, мне надо передать последнюю толику из тысяч последнему «фельдъегерю». О да, да, конечно. Но он уезжает, как бежит, а я остаюсь в этом городе, остаюсь один на один с этим днем. А между прочим, ничего, решительно ничего не произойдет, если мы приедем в Чернигов на сутки-другие позже.

Он посмотрел на меня. В глазах его мелькнула детская робость, едва ль не просьба о снисхождении. Но может быть, мне почудилось...

Последний киевский день описать не могу. Было что-то огромное и порожнее, необыкновенно долгое, залитое солнцем. Я ловила дальние, но мощные звуки военных труб — полк возвращался с места казни. Я видела, как рысят конные полицейские. В ушах моих застревали чьи-то слова — о казни, о казни, о казни.

Двигались коляски, люди, возы. Мальчишки торговали холодной водой в больших кувшинах. Зычные окрики доносились с одномачтовых днепровских байдаков.

А я кружила, как на привязи, как слепая. Но и не думала о казни, а думала о том, куда бы мне деться из этого громадного, порожнего круга, сплошь, без полоски тени, залитого белым-белым, нестерпимым светом.

И все-таки после полудня, в назначенный час, сама не понимаю как, я очутилась на Соборной площади. Без ошибки и сразу отыскала дом, соседний с пивной. Увидела условный знак на подоконнике — толстенный фолиант в соседстве с барашковой шапкой.

Мне долго не открывали, но я звонила и ждала, не удивляясь и не беспокоясь. Дверь наконец приотворилась, и оттуда вырвалось с присвистом, точно струя пара:

— Не хочу, уходите, обещал, теперь не хочу, уходите... И я ушла, не испытывая даже презрения.

Надо было отправить последние деньги. Для того хотя бы, чтобы там, в Петербурге, не предположили нашего с Михайловым ареста. Но тут-то и отказала «заведенная пружина». Я не то чтобы не умела решить, как мне теперь поступать, а вовсе ничего не решала.

Не знаю, пошла ли я к дилижансу или ночевала у Безменовых и уехала на другое утро. Кажется, последнее. Кажется, именно Безменов, шмыгая носом, путаясь и повторяясь, говорил о белых саванах, об отказе осужденных принять напутствие священника, о запекшихся, искусанных в кровь губах Осинского.

Но может быть, все это я узнала позже, как позже узнала о том, что в ночь перед казнью кто-то пел песенку Беранже о старом капрале, пел по просьбе Валериана, а тюрьма, затаившись, слушала... Валериан надеялся, что будет расстрелян. Не страшась пули, он страшился петли. Его повесили. На петле настоял государь. Так сообщили нам из Киева со слов караульных офицеров.

Казалось бы, не мне добром поминать губернский город Чернигов: там мы с Александром Дмитриевичем потерпели фиаско, там едва не попались, там свели очное знакомство с человеком, который потом оказал жандармам вескую услугу, опознав Александра Дмитриевича... Да, вроде бы и нечего поминать добром Чернигов, но все равно он симпатичен мне больше всех иных провинциальных городов: Десна с ее прозрачно-быстрыми струями, где лунной ночью непременно плещут русалки; обозримые с вала заречные луга, где на закате четко-недвижны силуэты табунов, как из времен Кочубеевых; храмы, кажется, древнейшие на Руси; старинные, в патине, нагретые солнцем пушки у входа в Константиновский сад; тротуары из битого кирпича по сторонам улиц, просторных и ровных...

Впрочем, не тотчас прониклась я черниговским очарованьем: едва передохнув от тряски и духоты почтовой кареты, я уже опять была в пути. Дело в том, что Дриги не оказалось в Чернигове. По справкам, наведенным Александром Дмитриевичем, этого Дригу следовало искать либо в Седневе, либо в другом лизогубовском гнезде, в имении Листвена (не поручусь за точность названия); последнее находилось в тридцати пяти верстах от Чернигова, а Седнев — в двадцати пяти, Михайлов джентльменски пустился в более дальний путь, а я — в Седнев.

Дело было неопасное: ежели Дриго в Седневе, условиться с ним, где и как он встретится с Михайловым.

Я ехала в крестьянской телеге, любуясь лугами, перелесками, хатами, гармонией линий и света. На языке у меня было некрасовское о врачующем просторе, а на душе истома горожанки, услышавшей ласковый зов матери-природы. Неподалеку от дороги вставали курганы. Их было много, я сбилась со счета, перейдя на вторую сотню, и задумалась о мрачных тайнах этих могильных холмов, коегде уже распаханных.

Открылся Седнев — в садах, с парком на горе, при речке, что притоком Десны. Верно, каждому знакомо наивное, детское удивление: и во сне не мерещилось, а вот оказался там-то или там-то. Да и вправду, приходило льмне на ум, когда я встречала в Петербурге Лизогуба, что я приеду в Седнев, в лизогубовскую «столицу»? А в это время, в эту самую минуту он, Дмитрий Андреевич Лизогуб, заключен в Одесскую тюрьму, и ему уже так мало, какие-то недели, жить на земле, где древние курганы, где

купол седневской церкви с фамильной усыпальницей, старинная усадьба, и эти мужики, бабы, ребятишки, эти богадельня и лавки, и сильный запах кожевенного товара, который выделывают чуть лл не в каждом здешнем доме... Так мало остается, какие-тс недели, до августа, и Лизогуб уже никогда не покажется в Седневе в своей коричневой свитке, схваченной красным пояском, в барашковой шапке и яловых сапогах. Ни в Седневе, ни в Чернигове, ни в Киеве, где он когда-то обворожил Михайлова, да и только ли Михайлова...

Высокий он был, гибкий; голубые глаза чуть косили, казалось, что он смущен. Он был застенчив, но как-то спокойно-застенчив; и манеры у него были спокойные, и грассировал он мило, естественно, без нарочитости доморощенных «парижан». В Петербурге, будучи универсантом, он жил, как всякий нуждающийся студент, платил за комнату восемь рублей, столовался в кухмистерских и щеголял в нанковом костюме.

Его, помню, называли «святым революции». Я бы сказала, что он был ее послушником; мне кажется, это больше подходит ко всему его облику. И при этом от него веяло глубокой, подлинной культурой. Не просто осведомленностью, начитанностью, а культурой, не боюсь сказать, тургеневской, во всяком случае, Тургеневу родственной.

Среди социалистов России, думаю, не было тогда человека культурнее Дмитрия Андреевича. Не потому, что в детстве за ним смотрел гувернер-француз, что мальчиком живал он во Франции, и уж, конечно, не оттого, что графиня Гудович, фрейлина императрицы, приходилась ему теткой.

Позже, в Петербурге я однажды беседовала о Лизогубах с Колодкевичем...

Одна тень зовет другую: упомянула Николая Колодкевича — вижу Гесю Гельфман, хозяйку конспиративных квартир, молчаливую, преданную, не знающую устали Гесю, жену Колодкевича; ее взяли вскоре после первого мар-Желябовым СУДИЛИ вместе С И Перовской. отсрочили смертную казнь, потому что она была беременна: роды были ее смертной казнью, она умерла в тюрьме, бедная Геся, о которой писал Гюго, за которую просили царя итальянские женщины... А Николай Колодкевич был из застрельщиков «Народной воли», членом Исполнительного комитета, одним из самых любимых товарищей наших; на скамье подсудимых сидел он рядом с Александром Дмитриевичем и так же, как Александр Дмитриевич, сгинул в Алексеевском равелине...

Так вот, с Колодкевичем случилось мне однажды разговориться о Седневе, о Лизогубах. Он знал их давно, не стороною, не мельком: отец его управлял седневским имением, главной усадьбой богатой лизогубовской фамилии. происходившей от удалых казацких старшин. А мать нашего Лизогуба была из рода Дуниных; кажется, Дуниных-Барковских... Седнево принадлежало дядюшке Дмитрия Андреевича, отставному полковнику, но отец Лизогуба с семьей постоянно жил в Седневе, благо покоев во дворце хватало. Но главное — атмосфера дома, воздух, которым лышал наш Лизогуб: дом был радушно открыт живописцам, музыкантам, литераторам, наезжавшим из Киева, из Петербурга. В Седневе гостевал и Тарас Шевченко. Поныне шумит липа, под сенью которой Кобзарь слагал стихи. И кто знает, может быть, ропот этой липы старался расслышать наш Лизогуб, дожидаясь своего смертного часа в глухой секретной камере Одесской тюрьмы?

Немало воды утекло с тех времен; оглянешься вокруг — нет друзей, смолкли шаги, смолкли голоса; память — прекрасное свойство, но и мучительное. Вдруг повлечет, где некогда бывала, но тотчас тормозом — к чему, зачем? Однако неизъяснимое дело, в Седнев, верю, соберусь, поеду...

Дриги там не оказалось, и надо было спешить в Чернигов. Теперь уж мне не уйти от Дриги, хоть и мешкает рука писать о нем. Испытываю гадливую дрожь, как при виде гнид на койках военных госпиталей.

Одни говорят: не верь первому впечатлению; другие утверждают: первое впечатление не обманывает. Дриго иллюстрирует правоту последнего. Поначалу, однако, не только я, но и Александр Дмитриевич, вопреки столь развитой в нем интуиции, поначалу мы оба противились первому впечатлению. Да, сквозила в этом кряжистом Дриге какая-то нечистая тупость, темное что-то, пошлое. Но мы отводили глаза — дескать, мало ли что, а вот в Киеве аттестовали этого Дригу честным малым. И Лизогуб из-за тюремных стен слал ему нежный привет, называя «милым», так и начинал свои письма: «Милый дед» (дед — была его кличка).

У Вербицких, где меня приютили, я слышала о привязанности улыбчивого, благожелательного Лизогуба к мрачному бирюку Дриге. Казалось, Дмитрий Андреевич относился к нему, как к человеку, чем-то обиженному в детстве и обиду свою не изжившему.

Дриго учился в Черниговской гимназии. Существовал он на крохи со стола дядюшки, генерала Антоновича. (В

описываемое мною время Антонович был попечителем Киевского учебного округа. Вот почему Александр Дмитриевич, утешая струхнувшего свояка Безменова, шутил, что в случае чего у нас-де «бо-оль-шая заручка»). Выйдя из гимназии, Дриго жил уроками; вскоре перебрался он в имение Лизогубов, но не в Седневское, а туда, куда ездил на розыски Александр Дмитриевич. Там-то Дриго и сошелся с нашим Лизогубом, на беду и самого Дмитрия Андреевича, и многих революционеров.

Всякий раз, наведываясь на Черниговщину, Лизогуб непременно встречался с Дригой, появлялся с ним и у Вербицких, и у местных радикалов, и у земцев, среди которых были такие светлые личности, как гласный Петрункевич и статистик Варзар, автор знаменитой «Хитрой механики».

Обаяние Лизогуба, общее к нему расположение светили отражением и на Дригу. Он был всюду вхож; ему случалось при малейшей опасности умыкать на своей тройке нелегальных и прятать в лесной сторожке. Он пользовался безграничным доверием Лизогуба, состоял посредником в переписке и прочем. Дружество его к Лизогубу простиралось до того, что он пенял Дмитрию Андреевичу, не стесняясь присутствием товарищей: «Да что это вы все это им — деньги, деньги, деньги? Право, как дойная корова! А они-то вас совсем не шалят...»

Коротко говоря, Лизогуб ни на йоту не сомневался в Дриге, а тот, как я слышала в доме Вербицких, прямо-таки «обожал» Дмитрия Андреевича.

Кружок Лизогуба, сперва чисто пропагаторский, а потом и бунтарский, представлял сообщество революционеровюжан; Валериан Осинский был ближайшим сподвижником Дмитрия Андреевича. Михайлова влекла к нему не простая симпатия, но единство помыслов. Я имею в виду не общие цели, идеалы, мечты, это само собою, а понимание значения о рганизации. Тогда такое понимание далеко не всем было присуще. По свидетельству Александра Дмитриевича, Лизогуб выступил одним из первых адептов дисциплины, согласованности, принципа строгого централизма, и это было созвучно умонастроению Михайлова. Ведь, в сущности, вся энергия Александра Дмитриевича, все силы его были отданы именно о рганизации.

Я упомянула выше дом Вербицких. Сожалею, не привелось познакомиться с хозяином: Николай Андреевич, словесник и беллетрист, находился где-то в Рязанской губернии — его переместили «за неблагонадежность», как будто «надежность» зависит от географической широты и

долготы... Очное знакомство заменилось заглазным, наслышалась о нем немало. О любви к Вербицкому учеников его, как он приохотил юношей к рефератам, погвященным Белинскому и Добролюбогу, и как рыбалил с ними на Десне, плавнях, или жег костры за Троицким монастырем... И о том, как гордилась черниговская публика; «Наш писатель». В доме были журналы с произведениями Вербицкого. Он печатался еще в «Основе», где сотрудничали и Костомаров и Шевченко; печатался в «Неделе», «Природе и охоте». Гимназисты зачитывали до дыр его очерки, клеймившие гимназических наставников, тех, что министр Толстой спустил с цепи для искоренения «вольномыслия».

Обо всем этом, скромно рдея, поведала мне Фрося, молоденькая племянница Вербицкого, красавица с румянцем во всю щеку и пунцовыми губами, залюбуеться. Но все это, может быть, и не сохранилось бы в памяти, когда б не «исповедь» Михайлова.

Он как-то застал меня с повестью Вербицкого в руках, да вдруг конфузливо прыснул. Я подняла на него глаза и заулыбалась, не знаю, чему, а он, поворошив бороду, об-хватив руками грудь накрест, так, что ладонями прихлопывал по своей спине, признался в давней мальчишеской мистификации.

Оказывается, обличительные очерки Вербицкого глотали и новгород-северские гимназисты. И вот гимназист Михайлов Александр однажды прихвастнул: автор-де не кто иной, как его, Михайлова Александра, близкий родственник: «А очень, господа, просто: моя матушка — урожденная Вербицкая».

— Бухнул, как из купальни в пруд, — улыбаясь и прихлопывая по спине ладонями, «исповедовался» Александр Дмитриевич. — Бухнул, куда денешься — держусь на линии. Приезжаю из Северска домой, на вакаты. Радость, шум, объятия. А потом заскребли кошки: надо бы, думаю, справиться у матушки. А что, ежели и впрямь родственник? Но и робею: а что, ежели и не родственник? Тогда, стало, прямой ты пакостник. Надо вам сказать, в нашей семье первым постулатом было: главное — не потерять самоуважения! Вот я и мыкался: спросить или не спросить?... И все отлынивал. То у нас с Дианкой, собака такая у меня была, майн-ридовский лесной поход. То в Алеево, на хутор наш, подамся, друг у меня там закадычный, хитрющий мужик и умный... И знаете, так ведь и не решился обнаружить истину. Не решился. Потом, понятно, забыл, а вот сейчас и выскочило...

- Эка, говорю, беда, мы в доме Вербицких. Займитесь-ка генеалогией. А вдруг вы и не «пакостник»? Вдруг ваша матушка не просто однофамилица?
 - А конспирация? лукавит он. Нельзя.
 - Отчего «нельзя»? Вы ж не Вербицким значитесь? Рассмеялся:
 - Какое! Безменовым значусь.
 - То есть как Безменовым?!
- А так, такой у меня нынче вид на жительство, сударыня. Нет, слуга покорный, не стану.
 - Опять малодушничаете? А? Как и тогда, в Путивле?
- Угадали, сударыня, в самую точку. Но при случае когда-нибудь, во Питере...

Действительно, «во Питере», на Каменноостровском, постоянно жили Вербицкие, семья дядюшки Александра Дмитриевича; да и теперь еще живы его двоюродные сестры и братья.

Наперед скажу, что вряд ли Александр Дмитриевич занялся своим родословным древом — генеалогией интересовался он, как прошлогодним снегом. А из тогдашней «исповеди» запало: «Главное — не потерять самоуважения» — то была могучая нравственная пружина, до последнего вздоха не ослабевшая в душе его...

Итак, мы были в Чернигове.

Время уходило, а Дриго вел себя более чем странно. Он манкировал своими обязанностями, не исполняя волю Лизогуба, неоднократно подтвержденную из-за тюремной стены: отдать партии наличные, векселя, недвижимое, огромную сумму, сто пятьдесят тысяч. Все нужные бумаги находились у Дриги. А он скользил, увертывался.

Между тем одесское следствие заканчивалось. Мы совершенно не ждали смертного приговора Лизогубу, но в том, что его по суду лишат всех прав состояния, не сомневались. Нельзя было терять и часу, а этот Дриго, повторяю, как будто гнул совсем в другую сторону.

Наконец мы прослышали, что лизогубовский поверенный исподтишка приценяется к весьма богатому имению, желая приобрести его в собственность.

Что делать? Александр Дмитриевич не знал. Я негодовала, и только. Положение было оскорбительное, беспомощное. И эта чудовищная подлость Дриги, который пользовался бессилием «обожаемого» Дмитрия Андреевича.

И эта проклятая медлительность почты. Михайлов телеграфировал (разумеется, шифром) в Одессу; одесские товарищи писали (разумеется, нелегально) заключенному

Лизогубу; Дмитрий Андреевич бился в своей клетке, изыскивая способы сношения с волей; я бегала на почтовую станцию... А Дриго тянул, пропадал где-то, появившись, мямлил о формальностях, нотариусах, гербовых бумагах и т. д.

Когда Александр Дмитриевич жестко и напрямик выставил, что имущество Лизогуба есть «общественная собственностью» и что партия «своих прав не уступит», Дриго побагровел, набычился и выдал себя с головою: он-де не «дойная корова», его-де «на кривой не объедешь», он-де поверенный Лизогуба и претендует на многое.

Никогда я не видела Михайлова в такой ярости.

— Понимаю... Стало быть, подлость? — проговорил он, запинаясь и страшно бледнея. — Стало быть, вы... милостивый государь... предали? Так прикажете понимать? — Он медленно опустил руку в карман.

Дриго смешался, попятился.

Дело происходило в Константиновском саду, в отдалении, публики не было. Я цепенела на скамье, сжимая зонтик.

— Да нет... Вы на поняли... — забормотал Дриго, озираясь. — Но мне, поверьте, необходимо решительное и окончательное слово Дмитрия Андреевича. Это не просто...

Мерзавец, мало ему было прежних писем Лизогуба, ясных и недвусмысленных, и я подумала, что Александр Дмитриевич сию секунду предпримет нечто ужасное, такой он был взбешенный. Но Михайлов ссутулил плечи и отерлоб.

— Ладно, — сказал он, переводя дух, — ладно... Да только зарубите на носу: это уж будет последнее слово.

Наконец было получено письмо Дмитрия Андреевича. Лизогуб называл Михайлова своим вторым «я»: «Аз в нем, и он во мне». Следовательно, все распоряжения Михайлова подлежали неукоснительному исполнению. А далее «милого деда» постигал еще удар: если вы не отдадите моих денег, значит, вы их зажилили (хорошо помню: «зажилили»).

Да, решительное и окончательное слово Лизогуба было произнесено. Но Михайлов не произнес своего последнего слова Дриге: Дриго исчез...

Люди, вкусившие лотос, забывают прошлое. Это мифология. Люди, вкусившие золота, забывают прошлое. Это реальность. Большие тысячи плыли к Дриге; он забыл Лизогуба, забыл порядочность. Мотив вульгарный, но всегда почему-то поражающий.

Предательство, измена... Помню, жалела Гришу Гольденберга: поверил посулам иезуита-прокурора, надеялся, что никого из оговоренных и пальцем не тронут, но убедился, что кругом обманут, и сам наложил на себя руки, повесился в Петропавловской... А Меркулов, Васька Меркулов? Не выдюжила душа одиночного заключения, пустили его на волю — и ну выдавать одного за другим. Простить — никогда, а понять... понять можно. Или Рысаков? Тут страх смерти, необоримый, неподвластный разуму. И это сознавали, стоя на эшафоте, Желябов и Кибальчич: они обменялись с Рысаковым прощальным поцелуем. (Софья Львовна — нет, Перовская уклонилась... Не мне, уцелевшей и благополучной, не то чтобы осудить, но и не мне укорить ту, что погибла на виселице первой изо всех русских женщин, нет, не мне, но какое, однако... Что это? Ведь только она уклонилась от предсмертного поцелуя с полумертвым от ужаса юношей, не Желябов и не Кибальчич — она, Перовская... Величайшая сила презрения? Не знаю, не знаю... Я не очень-то постигаю туманные рассуждения об особенных свойствах женской души. Но что правда, то правда: среди женщин не нашлось ни Гольденберга, ни Дриги, ни Меркулова, ни Рысакова.)

Да, Дриго! Вот где сребреники и только сребреники — алчность звериная. Ведь не голодный бедняга, готовый и ограбить, и убить, и поджечь. И не бродяга, которому негде приклонить голову. У-у, большие плывут тысячи! Хватай, не упусти, а все прочее — гиль! Банальный, извечный мотив, но, понимая, отказываешься понять.

Дриго исчез. Мы терялись в догадках. Так минуло несколько дней. Александр Дмитриевич сбивался с ног, наводя справки. Меня он определил наблюдать за городской квартирой Дриги и, ежели что, хоть в полночь-заполночь, дать знать на постоялый двор, где Александр Дмитриевич ночевал.

Дом Вербицких стоял «ле» — Фросино словцо, означавшее «рядом», — с домом Дриги. Я не упомянула, что все это предместье называлось Лесковица, и отсюда до самого Киевского шоссе тянулся громадный луг. Весною, при разливе Десны, достигавшем десяти верст, луг покрывался половодьем настолько высоким, что к дому Вербицких и Дриги Лизогубу случалось переправляться в лодке. Но теперь полые воды отошли, стояло роскошное луговое разнотравье.

В саду Вербицких удивительный каштан рос: один год цвел с южной стороны, другой год — с северной, и никто не умел объяснить загадочное явление. Вот у этого каштана-уникума и угнездился мой «наблюдательный пункт».

Было бы неправдой сказать, что я увлеченно и прилежно отдалась наблюдениям. Сидя со старыми журналами, где

публиковался Вербицкий, прохаживаясь в саду или любуясь лугом и медленными кучевыми облаками, плывущими над ним, я чувствовала и вялую усталость, и недовольство собою, неудсвлетворенность, а еще, пожалуй, скуку. Я как бы ощущала: что-то значительное, важное, интересное неслышно и плавно проносится мимо меня, а я точно бы погружаюсь в дрему, бесцельно упуская время.

Должна признаться, недовольство, неудовлетьоренность вызывались не вынужденной пассивностью, не жаждой опасности, когда роют подкоп, начиняют динамитом жестянку, похожую на коробку конфект «Ландрин», или погружают итальянский стилет в грудь голубого генерала.

Я вовсе не иронизирую, совсем напротив готова каяться в отсутствии порыва к яркому, недюжинному, слепящему воображение. Я просто отмечаю тогдашнее свое душевное состояние, которое не умела объяснить, как не умели объяснить в Чернигове, отчего каштан Вербицких каждый год цветет по-разному.

Впрочем, теперь, на склоне лет — мне почти сорок, — могу снисходительно-грустно уличить самое себя: Михайлов был тому причиною, Александр Дмитриевич Михайлов, относившийся ко мне с симпатией и заботливостью, но лишь товарищеской...

Как бы ни было, я вовремя обнаружила Дригу. Он подкатил, нагруженный, как дачник, свертками, и приказал извозчику: «Снеси-ка, братец!»

Я бросилась к Александру Дмитриевичу, думая, что вряд ли застану его в этот дневной час на постоялом. К счастью, он, как из-под земли, вывернулся.

Михайлов был озабоченно-мрачен. Увлекая меня назад, к дому Вербицких, резко отбросив жасмин, свисающий над забором, шепнул:

- Дриго арестован.
- Но... я видела... Вот сейчас, только что...
- Видели? Он быстро накручивал на палец прядь бороды, как делал всегда в минуту опасности, поглощенный мгновенными практическими соображениями. Видели? Вот оно что! Ах, подлец...

Мы проскользнули задней калиткой.

— А-а, Фросюшка, здравствуй, голубушка, — беззаботно произнес Михайлов. — Будь добренька, напои молочком: жара-а-а... С погреба, с погреба молочка...

Дриго был арестован.

Дригу выпустили из-под ареста.

Дриго у себя.

И, судя по всему, Дриго весел.

- Кажись, дело пропащее, сумрачно резюмировал Александр Дмитриевич. Остается самим не пропасть... Знаете, Анна, давайте-ка на постоялый, там есть один малый, он вас к утру на станцию доставит.
 - Авы?
- А я... Я-таки попытаюсь, я его к стенке прижму. А вам-то зачем?
 - Ну, увольте. Как хотите, одна не поеду.

Он чуть было не вспылил, но тут к дому Дриги подкатил фаэтончик.

— Пожалуйте, господа! Прошу! — позвал Дриго.

Они там, должно быть, запировали. Донеслись возбужденные голоса, потом песня, причем выделялся довольно красивый тенор.

Вечерело.

Дриго с гостями шумно выбрался на улицу.

— Hy, — поднялся Александр Дмитриевич. — Держитесь поодаль.

Он вышел первым и скоро, со свойственным ему умением надевать шапку-невидимку, затерялся невесть где, хотя и затеряться вроде бы негде было.

А тех-то, «пирующих студентов», я не упускала из виду. Поигрывая тросточками и жестикулируя, они шли к валу над Десной, где черниговский променад, как у нас на стрелке Елагина острова.

На вал уже зажгли керосиновые фонари, свет выхватывал из сумрака старые деревья. За деревьями на мраморных столиках приятно постукивали костяные ложечки любителей мороженого. Знакомые раскланивались, а так как здесь все были знакомы, то светлые шляпы-котелки беспрерывно и словно бы сами собою описывали легкую полудугу.

Я как-то вдруг потеряла моих гуляк. Забеспокоилась, убыстрила шаги... Публика мне мешала... Но вот опять приметила кряжистую фигуру Дриги. Компания рассеялась; рядом с Дригой возвышался на голову Александр Дмитриевич, с заложенными за спину руками и в сдвинутой на затылок белой дворянской фуражке.

Они стали спускаться к Десне. Я тоже.

С реки стекала прохлада. Слышно было, как где-то, за версту, наверное, шлепают плицы...

Было поздно, совсем темно, когда мы с Александром Дмитриевичем направились в город.

Береженые, которых Бог бережет, затворяли ставни и, отвязывая на ночь дворовых псов, звучно роняли цепи.

Огни гасли, пахло древесным углем, залитым водою, и этот запах почему-то казался сизым.

Мы шли на почтовую станцию ради нового свидания с Дригой. Видите ли, у изножья вала, близ Десны негодяй не счел возможным говорить с Александром Дмитриевичем: «Я только-только из-за решетки, и, конечно, о н и следят... Меня нынче полицмейстер пытал — а нет ли, спрашивает, в городе одного приезжего господина, не здешнего, и нет ли, спрашивает, барышни, тоже приезжей?»

Тугой завязался узел. «Кажись, дело пропащее. Как бы и самим не пропасть...» Лизогубовское наследство партии не достанется, это уж было яснее ясного. Ну, а полицмейстер? Пугал ли Дриго, желая прогнать нас из Чернигова, чтоб не досаждали своей докукой или, Боже спаси, не учинили чего? А может, и вправду жандармы «взяли след»? И если взяли, то не по указке ли этого мерзавца? Тугой завязался узел. Но как было не повидать Дригу еще раз? Как было уехать, не исчерпав все до дна?..

Поднималась луна. На площади лежали черные тени пирамидальных тополей. Окна станции были освещены.

Дриго просил дожидаться его в станционном помещении. Но мы предпочли схорониться за тополями — пустька первым явится Дриго.

Прошло около часа. Вдруг несколько дрожек подкатили к станции. Гуськом мелькнули темные фигуры. Послышалось звяканье сабель о чугунные ступени крыльца.

В ту ночь Александр Дмитриевич подрядил на густоялом дворе лихого возницу, и мы полетели что есть Жочи к железной дороге. На душе было скверно. Мы молчали.

Наш кучер, молодой русый малый в пестрядинной рубахе и с шапкой за поясом, тоже молчал, но время от времени оборачивался с видом человека, которого так и подмывает не то разузнать о чем-то, не то рассказать что-то.

Наконец Александр Дмитриевич, выйдя из мрачной задумчивости, протянул ему папиросу, и кучер, будто дождавшись разрешения, тотчас заговорил.

- А вот, ваша милость, мужики-то у нас балабонят: распоряжение вышло... Не слыхали, часом?
- Какое распоряжение? спросил Михайлов и усмехнулся: Уж чего, чего, а распоряжений хватает.
- Э, не, ваша милость, это от самого царя распоряжение дадено. Запрет! Это чтоб у господ землю исполу нипочем не брать. Ни-ни!
 - А как же?

- А так, пуще оживился малый, польщенный заинтересованностью седока. А так, ваша милость, чтоб нанимались поденно: мужикам рупь, а бабам полтина. И ни копейкой меньше, вот так.
 - Гм... Оно будто и недурно?
- Известно! A еще балабонят: ездят-де переодетые начальники...
 - А это зачем?
- То есть как «зачем»? А записывают, чтоб те, которые господа не сполняют, наказание понесли. Стро-о-огое наказание: не балуй! Сказано: сполнить, сполняй.

Не докурив папиросу, кучер бережно загасил ее и спрятал. И продолжал:

- Дак вот незадача какая, ваша милость. Мужики-то стали сполнять... Ну, стали, значит, исполу ни брать. А коли меньше рубля, а бабе меньше полтины от господских ворот поворот. И что думаешь? За это вот за самое да в кутузку, за клин, видишь, заклинивают. Даже одного солдата, ерой, егория имеет, так нет, не посмотрели, что ерой туда, за клин. Это ведь что? Непорядок?..
- Непорядок, повторил Михайлов. Какой уж порядок. А может, парень, и нету указа-то государя, а?

Кучер сплюнул, отер губы рукавом.

— Беспременно есть, да только баре не хотят, ну и супротив царя...

Мы подъехали к железной дороге. Светало, ложилась роса. Михайлов расплатился. Кучер, довольный, пожелал нам счастливого пути и заговорщицки мигнул Александру Дмитриевичу.

- А ты, ваша милость, тоже из этих будешь.
- Из каких?
- A из тех, которые записывают. У меня глаз-то походный, вижу.

И он стал распрягать лошадь, совершенно убежденный в своей проницательности.

8

Есть малость, которая словно бы подтверждает мое возвращение в Петербург: остренький сладковатый душок светильного газа. Ощутила — значит, вернулась.

Летом семьдесят девятого возвращение не обрадовало. Ну, приехала и приехала. Вот Эртелев с угловой кондитерской, вот ворота, вечный Прокофыч, дворник, снимает картуз, а вот и флигель, щербатая штукатурка... Ну, приехала и приехала... Опять владела мной неудовлетворенность, какое-то нервическое состояние. Будто что-то потеряла, а что именно, не разберешь.

С Александром Дмитриевичем мы расстались на полпути и, как всегда на росстани, был у меня страх за него, и печаль, и смущение, а он поднимался, как отчаливал, легко, свободно, уже весь заряженный своим электричеством, своей жаждой деятельности, и уходил, уходил, уходил.

Осенью я поняла, что некоторое время был он в Липецке и Воронеже. Там свершилось важное, решающее, поворотное, давно назревавшее; уже там, можно сказать, приказала долго жить «Земля и Воля», оттуда, собственно, и пошли своими дорогами те группы, что несколько позже стали называться «Народной волей» и «Черным переделом».

Писать об этих событиях не буду. По той причине, по какой не описывала раньше общий ход событий на театре военных действий. Это требует «бархатного воротника» — надо обретаться в Генеральном штабе. А я, как говорила, всегда занимала место незначительное. К тому же липецкий и воронежский съезды, где столь явственно отлилась террорная доктрина, достаточно известны, хотя бы по газетным отчетам о судебных процессах. Моя доля — частности. И я пишу о них, сознавая, что и частности необходимы общей картине.

К таким частностям, правда дурным, но из песни слова не выкинешь, принадлежит история с Дригой. Она разъяснилась быстро благодаря нашему бесценному ангелу-хранителю Клеточникову, служившему в Третьем отделении...

Черниговской ночью на площади, укрывшись в тени тополей близ почтовой станции, мы с Александром Дмитриевичем услышали бряканье жандармских сабель. И всетаки я, в отличие от Александра Дмитриевича, медлила признать Дригу полным мерзавцем. Не то чтобы считала его полуподлецом, но не считала и совершенством подлости, если только позволительно так выразиться.

Он, может и не достиг бы «совершенства», если б не арест. Давно за ним присматривали; как человек близкий Лизогубу, он был на заметке; но, думаю, ему не угрожало ничто особенное — улики отсутствовали... Он уже и руки простер — лизогубовские тысячи плыли, а тут вдруг арест, небо с овчинку.

Не ведаю перипетий игры, которую и жандармы затеяли с Дригой, и Дриго завел с жандармами. Известно, однако, что он очутился между двух огней: кара судебная и кара революционная. И предложил жандармам, как впоследствии Рысаков: «Вы — купцы, я — товар». Его и в Петербург привозили, к начальству нашего ангела-хранителя. Дриго выдавал, называл имена. Его то выпускали на волю, то опять — на казенные харчи.

А почти два года спустя после черьиговских встреч, когда жандармский подполковник и прокурор тщились доказать отставному поручику Поливанову, что он вовсе не поручик и не Поливанов, а давно разыскиваемый важный государственный преступник, два года спустя кряжистый Дриго возник в сумраке тюремного коридора, по когорому нарочно в ту минуту вели Александра Дмитриевича...

Итак, я снова была в Петербурге. Гремели телеги и конки, стучали кровельщики и плотники, а Петербург казался притихшим. Очевидно, в столице такая прорва бездельников, что дачный разъезд «опустощает» город.

Я снова взялась за корректуры, предложенные Владимиром Рафаиловичем. Я нуждалась, конечно, в заработке, но еще в большей мере нуждалась в занятиях, чтобы убить время.

Двукратное путешествие в провинцию — в семьдесят восьмом и в семьдесят девятом — не принесло ничего, кроме горечи: мы не избавили каторжан от централок, мы не выручили лизогубовского наследства.

На литом закате была как вырезана аспидная виселица, назначенная Валериану Осинскому.

В августе кончилась жизнь Лизогуба. «Полоса ль, ты моя полосанька...» — он любил эту песню.

А я жила в Эртелевом переулке, я правила убористые гранки третьего тома зотовской «Истории всемирной литературы», получала гонорар в аккуратной конторе Вольфа и покупала марципаны в душистой кондитерской на углу Эртелева и Бассейной.

Мой брат обитал в другом мире. Капитан и кавалер Платон Илларионович Ардашев пошел в гору: назначенный состоять при генерале Рылееве, коменданте главной императорской квартиры, он оказался в приятной близи к сильным мира.

Государь и двор находились в Царском. Платон звал меня к себе. Я отговаривалась занятостью. Как человек «нигилистический», я не считала себя вправе принять приглашение. Не стану, однако, кривить душой, в моем нежелании крылось и другое, пусть микроскопическое, но оно было: я стеснялась. Стеснительность моя была свойства мелкого, дамского: нет подходящего платья, не знаю, как

держаться... А любопытство щекотало, и я сердилась на себя.

Виделись мы нечасто. Наезжая из Царского, Платон восторженно живописал тамошнюю жизнь: верховые прогулки, когда он сопровождал кн. Долгорукую и кн. Мещерскую, катавшихся на одинаковых фаэтонах-виктория; какие-то юбилеи, торжественные крестины великокняжеского дитяти, полковые празднества преображенцев и большие ропшинские маневры. «Громкие» имена произносил Платон почтительно, но с оттенком светской осведомленности о чем-то таком, чего простые смертные не знают и знать не должны.

Это было смешно. И это было печально.

Я убеждалась, что человек, родной кровно, окончательно чужд мне духовно, и это было печально, мучительно, потому что я все равно его любила, догадываясь, что буду всегда любить, как бы ни завершилась его метаморфоза.

Когда мы встретились в Болгарии... О, тогда брат казался внутренне обновленным, иным, не прежним, не петербургским. Та ночь во дворе турецкой школы, где размещался наш госпиталь. Он был задумчив, сдержан, он говорил о товарищах, о солдатах, о страхе смерти и как они с его другом капитаном играли в «прятки». И во всем, что он говорил, и в том, как он говорил, был другой человек, не прежний забияка и собутыльник.

А теперь?

Я вглядывалась в красивое лицо с черными дугами бровей и темно-синими глазами, вглядывалась в этого статного человека в открытом офицерском сюртуке с манишкой — и думала: куда девался тот Платон, который стал мне очень дорог посреди чудовищного безобразия войны? Где тот Платон, который был на горе Св. Николая, — спокойный, дельный, скромный храбрец?

И все-таки сердце подсказывало: Платон пусть и не такой, каким был на театре военных действий, однако и не тот, каким был прапорщиком армейской артиллерии, гулякой и волокитой. Сердце подсказывало: не прежний, другой. Но какой?

Посреди своих восторгов, адресованных Царскому Селу, Платон, бывало, осечется, призадумается и осторожно-вопросительно взглянет на меня, точно в ожидании. А я долго не могла сообразить, чего он, собственно, хочет, и принималась трунить над мишурой дворцового времяпрепровождения. Он скучнел и тяготился, хотя и не защищал и не защищался.

Прозревать я начала, расслышав наконец лейтмотив его рассказов: Платон кружил на маленькой площадке, словно бы отграниченной двумя именами, именами Екатерины Долгорукой-Юрьевской и Марии Мещерской. Но с этой-то маленькой площадки открывалась обширная, как на императорском театра, сцена, где давали царскосельский «балет» со множеством актеров, и потому, должно быть, глаза мои разбегались, не задерживаясь на фигурах двух сестер, одна из которых и оказалась «музыкальной темой», владевшей моим братом.

Мне претят дворцовые тайны, претит писать о них, я б и читать не стала, попадись такой роман. Но, с одной стороны, тут опять-таки частности общей картины, как и истории с Дригой, а с другой, такая частность, которая, сколь ни странно, соприкоснулась с моей жизнью и внесла неожиданную ноту в наши отношения с Александром Дмитриевичем Михайловым.

Дворцовая тайна (о которой ниже), может, и была секретом полишинеля во дворцах, однако долгое время оставалась неведомой даже тем пронырливым петербуржцам, которые питают неодолимую страсть к таинственным обстоятельствам подобного разбора. Я этой страстью не одержима и никогда бы, наверное, ничего не узнала, если б не брат мой. Добавлю, я была бы счастлива остаться неосведомленной, то есть чтобы Платон ничего не знал, а попросту тянул бы где-нибудь батарейным командиром.

Постараюсь кратко, хотя это и затруднительно, ибо тут подобие цепочки, где звенышки сцеплены.

Когда Платон впервые посетил кн. Мещерскую к ней на минуту приехала сестра вместе с мальчиком в форменном платьице казачьего офицера. Не стесняясь присутствием старших, мальчишка нецеремонно проказничал, а на замечание кн. Мещерской ответил бойко и твердо: «А я с вами, тетя, не говорю!»

Этот мальчик, первенец Юрьевской, был сыном государя. Связь царя с Юрьевской, тогда, повторяю, Долгорукой, началась давно, кажется с институтских балов в Смольном, и была, если верить Платону, обоюдной и подлинной страстью.

А почему бы и не верить? Правда, Александр II был почти на тридцать лет старше, «но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет». Правда, Юрьевская была почти на тридцать лет моложе, но отчего не вспомнить героиню «Полтавы»?

Нет охоты опровергать скептиков, буде они наждутся, всеми наблюдениями, сделанными Платоном не через би-

нокль и не в течение дня. Однако вот еще что. В самом начале романа с Юрьевской Александр Николаевич дал обет жениться на княжне, если он будет свободен. Лет пятнадцать спустя государыня преставилась, и он, едва сорокоуст отчитали, встал с Юрьевской перед аналоем. Но это позже.

А пока приходилось осторожничать. Впрочем, по мере угасания императрицы, император все смелее не щадил порфироносную супругу. Юрьевская оставила Английскую набережную и поселилась в Зимнем дворце. Ей отвели флигель в Царском и виллу в Ливадии. Желая любоваться Юрьевской и на придворных балах, царь назначил ее фрейлиной императрицы. Не сомневаюсь, все это было достаточно жестоким испытанием для больной государыни и, очевидно, приблизило ее смерть.

Сколь бы ни упрочивалось положение Юрьевской, а существовала оппозиция — и великосветская, и в Аничковом, где тогда жил наследник с цесаревной, множество недругов, державших сторону государыни, и не все они поступали лишь своекорыстно.

В этой «внутривидовой борьбе» Юрьевская тоже приискивала союзников. У нее был самый могущественный союзник изо всех мыслимых в империи, но как обойдешься без наперсников, наушников, компаньонки? Первой «богатырской заставой» встали, разумеется, ближайшие родственники: два брата Долгорукие и сестра кн. Мещерская. Потом — невестка Софья Шебеко. И сестра ее, незамужняя Варвара Шебеко, которую я имела честь узнать; она не разлучалась с Юрьевской, заменяя ей секретаря, ее детям — гувернантку. (Кстати: нынешний командир корпуса жандармов — из этих Шебеко.)

А союзники Юрьевской в свою очередь озаботились союзниками, создавая партию, до времени подпольную. Тутто и подвернулся капитан Платон Ардашев. Не Бог весть кто, без связей и веса? Да так. Э, а может, оно и к лучшему? Вообще-то человеческая благодарность — ладья утлая, быстро тонет. Однако и по-другому случается, в особенности вот с такими бедными рыцарями, боевыми офицерами.

Но в случае с Платоном был не один лишь голый практический расчет. Платон, красавец собой, сделал известное впечатление на вдову Мещерскую. И тогда, и теперь я ловлю в себе странное, смешанное чувство. Прежние, довоенные похождения брата не вызывали у меня ничего, кроме легкого раздражения и снисходительной иронии, а здесь явилось что-то схожее с ревностью, как бывает у матерей. Однако и другое: обида за Эммануила Николаевича Ме-

щерского, погибшего на позиции, принявшего смерть грудью. Да, обида, хотя я не могла не понимать, что скорбь преходяща, что мы не в Индии и вдов не сжигают на погребальных кострах вместе с мужьями и что любовь самое свободное чувство, не поддающееся ничьей воле.

Но все дело в том, что любви к Платону у княгини Марии Мещерской я не предполагала. Увлечение — да, любовь — нет, решительно нет. Отчего? Литературные реминисценции? Моя «нигилистическая» закваска? И так и не так. Если бы тут не Платон, не мой брат, я бы допустила мысль о любви какой-то княгини к какому-то бедному офицеру. Но главное и не в этом, а в том, что я, увы, оказалась права...

Но Платон, Платон! То не была влюбленность, то была любовь, первая в жизни несчастного моего брата. Вот этото я и не сразу сознала.

Я помню, как однажды он ворвался ко мне, на рассвете ворвался, поднял с постели; он не кричал, не бегал по комнате, а рухнул на стул, глядел незряче и все повертывал на пальце, будто ввинчивая, отцовский перстень. А я стояла перед ним в одной ночной рубахе и повторяла: «Что?.. Что?..»

Он сказал чужим, незнакомым, но ровным голосом: «К ней сватается Мирский. Святополк-Мирский, князь, старик, и она склонна...» У меня не отлегло от сердца, моя давешняя почти материнская ревность исчезла, его беда была моей бедой, и я тотчас возненавидела этого негодяя Мирского, мне совершенно неизвестного.

Брак с Мирским расстроился. Старик испросил разрешения другого старика — государя, а тот отказал; из каких державных соображений, не знаю, да и неинтересно. Но она была «склонна», и эта ее «склонно сть» постоянно мучила, терзала Платона.

Не так было бы больно и не так тяжело, если бы все последующее я могла объяснить лишь слепотой любящего человека, полетевшего словно с горы. И все-таки эта подлая лига вряд ли приманила бы брата, если бы он не увидел в ней средство настолько вырасти в глазах государя, чтобы заслужить согласие на брак с Мещерской...

Платону отвели казенное помещении в Мошковом переулке, за Мойкой и бесконечной стеной дворцовых конюшен. У подъезда торчал шишак жандарма: в этом доме жил прямой начальник Платона, генерал Рылеев, комендант императорской квартиры.

Брату было жаль покидать меня, да и жаль расставаться с нашим щербатым флигелем, памятным с детства, и в

свободное от дежурств и Мещерской время он приходил в Эртелев. Он ничего не тронул в своих двух комнатах, даже оставил почти весь гардероб, в котором не было статского, зато хранилась старая походная форма, и Платон надевал ее, согласно церемониалу, на ежегодные торжественные обеды в Царском по случаю юбилея форсирования Дуная.

Не сантименты водят моей рукой, а воспоминание о том прозаическом часе, когда я, запасшись нафталином, затея-

ла борьбу с молью.

И вот в братнином шкапу, как раз рядом с его походным глухим артиллерийским сюртуком, я и обнаружила черное, из крепа одеяние с широкими, как у рясы, рукавами. Удивление мое перешло в изумление, когда я заметила на левом рукаве вышитую золотом звезду с лучами, а посреди крест, похожий на орденский и тоже вышитый золотом. Это не все. На груди означались крупные литеры — «Т. Ас. Л.» из серебряной канители.

Недоумевая, теряясь в догадках, я рассматривала нелепый хитон с кабалистическими знаками, да, так ни о чем и не догадавшись, повесила на место.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Извольте припомнить: в тетради Анны Илларионны — мне панегирик: дескать, Зотов хранил портфели!

А ведь никакой особенной доблести. Право, не скромничаю. Рассудите сами: ну, положим, явились «недреманные». Положим, обнаружили. Конечно, скандал! В портфелях-то что, думаете? Представьте, господа, архив — «Земли и воли», «Народной воли». Да, да, да! Бумаги самые разные. И общественные и личные. И даже наисекретнейшие: это где Клеточников, который служил в Третьем отделении, в департаменте полиции, шпионов называет поименно, с адресами, с особыми и неособыми приметами, А сверх документов — печать Исполнительного комитета. Представляете, ежели б нашли... У-у, форс-мажор! И меня, раба Божьего, опять бы эдак вежливо доставили...

Почему говорю: «опять»? А потому, что бывал. Давно, почти полвека тому, еще при государе Николае Палыче, а бывал-с. Это, знаете ли... Я вам, кажется, говорил про знакомство с Петрашевским?

Так вот, когда Михайлу Васильича взяли, широко выбросили сеть — и давай тянуть, авось побольше вытянут. Попал и такой пескарик, как ваш покорный слуга.

Жил я тогда на Морской, неподалеку от Яхт-клуба. Но и там катакомбы были: книги, книги, да еще книги-то на шести языках, и рукописи, и вырезки, и корректуры, и афишки. Жандармский полковник, очень, помню, обходительный господин, прямо-таки остолбенел — конюшни Авгия, а он не Геракл. Пойди-ка попробуй сие не то чтобы постранично, а хоть с полки снять — мафусаилов век. Стали жандармы валить все подряд в мешки. Пыль вздымается, сапоги топочут, полковник на меня косит с немой укоризною.

Помчали на Фонтанку, к Цепному. Я нос повесил. Ничего за собою эдакого не чувствую, зато чувствую, где живу: «Выпорют, и просто...» Дальше — хуже: из Третьего отделения помчали в крепость.

Привозят в Петропавловскую. Там следственная комиссия как на помелах летает. Главным Леонтий Васильевич Дубельт, тогдашний начальник штаба корпуса жандармов, — сухая жердь, физиономия старого филина.

Где-то в моих бумагах погребены его своеручные записочки, к отцу моему адресовался — по театральной части. Ахти нам! Жандармы всем ведают, репертуаром тоже: сей диалог изменить, здесь сценку сократить, там реплику убрать...

Да. Принимается он за меня. И что же? Оказывается, заговорщики, фантазер Петрашевский причислили меня, Зотова Владимира, к тем лицам, кои примкнут к ним после переворота.

Я обомлел. Опять-таки не потому, что чувствовал за собою что-то, зато чувствовал, так сказать, обстоятельства времени и места.

А Дубельт движет брови к переносице, голос у него без модуляций, а что возвещает — плохо слышу, плохо понимаю. Взмолился: помилуйте, вашество, ни сном ни духом...

Держали до сумерек. Однако отпустили, наказав быть в связях разборчивее.

Все это я к тому, что с портфелями-то, где архив революционеров, особенной моей доблести не было. Во-первых, катакомбы книг и рукописей у меня за десятилетия не уменьшились, напротив. Во-вторых, положим, и обнаружили. Но где? В прихожей! А там у меня, вы видели, всяческие папки. Я и развел бы руками: а черт знает, кто позабыл? Ко мне, журналисту, эвон сколь публики шляется, калейдоскоп... И наконец, ежели при грозном Николае

Павлыче, в сорок девятом черном году отпустили, то отпустили б, наверное, и при Александре Николаиче...

Да и как было отказать? Здесь опять не надо курить фимиам, как Анна Илларионна в тетради. Я мзды потребовал: по экземпляру каждого нелегального издания. Корысть была! Прельстился!

А как получилось?

Приходит однажды Ольхин — рыжий и ражий, как викинг. Явился прямиком из судебного присутствия: в адвокатском фраке со значком... Вы уж, конечно, Ольхина не помните? А тогда кто его в Петербурге не знал: известный присяжный поверенный.

Он был мне хорошо знаком. У него на дому, случалось, реферировали разные вопросы — философские, научные. Вот, скажем, кружок при «Отечественных записках» шутливо именовали «Обществом трезвых философов», а тех-то, кто у Ольхина, — «Обществом нетрезвых философов». Но это так, шутя, а пьянства не было. (Тогда вообще интеллигентные люди чурались зеленого змия.) Разве что побренчат на фортепиано. Или там кто-то принесет бутылочку кислятины и засядут в уголку, именуясь «государством в государстве».

Так вот, пришел Ольхин, а с ним еще некто. Этот в гостиной остался, а «викинг» — сюда, в кабинет. По обыкновению, без предисловий — привел-де революционного деятеля, три года тюремного заключения, к тому еще и стихотворец.

Эх, вздыхаю, еще один пиит на мою головушку. Ольхин рассмеялся, как гром прокатил: «Не пугайтесь, тут другое. А стихи его вы, сдается, читали. Я вам сборник подарил, заграничное издание...» — «Это что, — спрашиваю. — «За решеткой», что ли?» Ольхин кивает. «А какие, — говорю, — стихи вашего-то протеже?» — «Да хоть возьмите «Видение в темнице».

Э, думаю, Божья искра, не Бог весть какой яркости, но есть искра... «Хорошо, — говорю, — но какая у него докука, а?» — «Да он вам сам объяснит, я вас оставлю. — И Ольхин, воздев палец, улыбнулся: — А там зачтется!»

Входит юноша, стройненький, пушок на ланитах, в очках и серьезный. Батюшки, думаю, три года заключения! Садитесь, говорю, милый, садитесь.

«Чего, — спрашиваю, — вы и ваши товарищи намерены достичь?» Отвечает: «Республики». — «Эка, — говорю, — замахнулись! Я, — говорю, — может, в душе-то и демократ, но народ наш к республике не готов. Какие ре-

спубликанцы, кто ни «аз», ни «буки»? Из вашей, — говорю, — республики, мигнуть не поспеешь, Бонапарт вылупится. Да и доктрина социализма страшноватая, многих пугает, чревата «гибелью Помпеи», всей цивилизации. Так что, милый, лучше дай нам Бог конституционную монархию».

Юноша рассеянно улыбался (должно быть, думал: «Была охота перекоряться с этим шепелявым грибом») и отвечал в том смысле, что «аз» и «буки» ни очень-то знали и американцы сто лет назад, когда учреждали республику, что бонапартам нечего делать, если общество живет на основах братской любви и труда, а если и вылупятся бонапарты, значит, опять разовьется революционное движение, но легче пойдет... (Отчего «легче», хоть умри, доселе не уяснил.)

Перешли к «архивной теме». Тут-то я и потребовал, чтобы мне доставляли нелегальное, — корысть библиофильская, жадность к новизне во всех ее проявлениях.

Он изредка навещал меня, никогда не сталкиваясь с Михайловым. А потом... Да, нужно вам сказать, что имени я не спрашивал, из деликатности. Не спрашивал ни у Михайлова, ни у Анны Илларионны. Впрочем, она и не подозревала о моем архиве, покамест я не открыл ей... А стихи моего таинственного визитера были мечены литерами: «М. Н.» — дешифруй как хочешь.

Однако имя назову, потому что совсем недавно, в этом вот году, вернулся Ольхин... Судьбина! Один бедовый малый в Дрентельна стрелял. (Был и такой шеф жандармов, губастый, вихрастый, с апоплексической шеей.) А Ольхин укрыл террориста. Это сделалось известным. Александра Александровича из защитника да в обвиняемые. Сослали беднягу! В семьдесят девятом сослали, а нынче у нас девяносто четвертый. Сосчитайте! Российская арифметика, она машистая...

И жену Ольхин потерял, прекрасная была женщина. Выдержала экзамен на сельскую учительницу; увы, недолго учительствовала, заболела и умерла. Между прочим, Варенька Ольхина состояла в свойстве с Феоктистовым — катковское охвостье, уж какой год командует всей разнесчастной русской прессой...

Так вот, в этом, стало быть, году обнялись мы с Ольхиным. Многое вспомнили и многих. Я и спросил: «Кто такой «М. Н.»?» И услышал: «Морозов Николай». То есть это Морозов, осужденный вместе с Михайловым по процессу 20-ти. Стало быть, товарищи.

Не знаю причины, оторвавшей Морозова от архивных портфелей. Эмиграция? Провинция? Сказать не берусь.

Скажу только, что заменил его Александр Дмитрич Михайлов и оставался до конца, до ареста. А после никто не являлся.

Да, Морозова заменил Михайлов. И вышло так, что мы словно бы в другой раз познакомились. Но это уж не был «старовер», «пожиратель» моей библиотеки, а был участник опаснейших дел, которым я не сочувствовал.

2

Опять про записки Анны Илларионны. У нее два лета — семьдесят восьмого и следующее. И оба — в провинции. Но дело-то в том, что один из тех летних сезонов завершился громким происшествием здесь у нас, на Михайловской площади. А другое лето предварило еще более громкое — и тоже в Петербурге, но уже на Дворцовой.

Начну Мезенцевым.

Было это в первых числах августа, накануне Преображенья. Поехал я в пятницу к Мамонову. Рано поехал, хотел за день все своротить, чтобы в субботу на дачу.

Мамонов был из Москвы, редактировал медицинскую газету, потом взлетел — вице-директор медицинского департамента. Не смекну, кому обязан, но доктор Мамонов просил об одолжении: литераторским глазом глянуть его материалы к истории русской медицины. (Он их потом издал.) Не плюй в колодец медицинские светила пригодятся. Это уж житейская мудрость моей супруги; я и поехал.

Приезжаю. Сели за работу. Работалось легко — Мамонов был без авторского самолюбия, то есть человек редчайший. Нам кофий подали, все хорошо. Вдруг шум, поспешное движение, двери настежь. В дверях — жандармский офицер, глаза вразбежку: «Генерала Мезенцева зарезали!» (Так и брякнул: «зарезали».) Мы опрометью вон, к пролетке, она у подъезда стояла.

Я-то, главное, зачем? Мамонов понятно: он врач, он чин, за ним нарочный. А я? Черт знает, вихрь понес. В голове стучит: «Зарезали! В столице! Средь бела дня! Шефа жандармов!»

А по сторонам так и мелькает. Летим Фонтанкой, к углу Пантелеймоновской. Мамонов, откуда прыть, через две ступени, я — за ним; меня не спрашивают — то ли вселенский переполох, то ли за помощника принимают.

Большая, смотрю, зала. Полно публики. Мамонова в комнаты провели. Я перевел дух. Вижу, министры: воен-

ный — Милютин, лицо простое, умное, с твердым подбородком; юстиции — Набоков. Вижу, и Маков тут, товарищ министра внутренних дел, а может, уже и министром был, не скажу. Еще и еще — все первых классов. На лицах смятение. Пожалуй, один Милютин сдержан. Он сказал какому-то генералу: «Сатанинский план, хотят навести террор на всю администрацию». А генерал пробасил: «Исключительные законы нужны, Дмитрий Алексеич. И солонее германских, д2-с!»

Выходит Мамонов, медленно отирает руки полотенцем. Все к нему. «Пульс слаб, но кровотечение остановлено. Надежда, господа, есть. Но рана в область желудка, печень задета, так что... гм...» И пожимает плечами.

Опять все заговорили, задвигались, разбиваясь кучками и смешиваясь. Публику больше занимали обстоятельства покушения, чем жертва.

Мезенцев, оказывается, имел в обыкновении утрешние прогулки. Обыкновение приятное, и с государем сходство. Компаньоном ему был какой-то полковник или подполковник. Этот в штатском, с зонтиком — настоящий петербуржец: на дворе ведро, а он не верит и берет зонтик... Идут, значит, рядом. Мезенцев вспоминает, как четверть века назад он на Черной речке, в Крыму, сражался. Михайловскую площадь почти миновали, вот и Большая Итальянская, это там, знаете, очень хорошая кондитерская была, в доме Кочкурова. Тут-то и осаживает пролетка, запряженная вороным жеребцом. А из пролетки — двое; один, косая сажень, ринулся с кинжалом. Грудь с грудью, не из-за угла, нет. А другой стрелял в полковника, а тот на него с зонтиком. Миг — опять в пролетку, и-и, ух, молнией.

Тот, с кинжалом который, был Кравчинский, отставной офицер, позже эмигрант, писатель. Степняк — слыхали? Не скажу — могучая словесность, но жаром пышет... Второй, который стрелял, Баранников, с мальчишества приятель Александра Дмитрича... Да! А конь вороной, скакун кровный, это тоже знаменитость: Варвар, на нем похитили князя Кропоткина из тюремного госпиталя. Вот они, обстоятельства. Конечно, многое позднее, с годами прояснилось. А тогда, как каруселью, где правда, где враки, не разберешь...

Так вот, очутился я ненароком в доме Мезенцева. Э, думаю, пора и честь знать, надо ретироваться, а то какаято хлестаковщина. Полегоньку к дверям, но тут останавливает Маков — эдак брюшком останавливает. И вид у него: высказаться, не то кондратий хватит. «Извините, — щурится. — Вы-с?» Я назвался. «А-а, наслышан, наслышан.

Это хорошо, это нужно, давно пора прессе...» И за локоть меня увлекает. Увлек и разразился, пальцами от нетерпения прищелкивая.

«Весь, — говорит, — ужас-то в чем? Им (понимать нало, относилось к террористам), им, — говорит, — до ченет! Подавай выдающиеся жертвы. пела Министров подавай! Нет нужды, что я за человек, министр, и баста, вот и мишень — пали, пали! Я сам теперь заведу себе револьвер, с казаками ездить буду... А за что? За что они меня, а? — Он понизил голос, будто поверяя государственную тайну. — Мстят. Да-с, мстят: в сущности, мы проиграли. Вон в газетах-то что пишут, когда войска возвращаются в Петербург? «Вид у людей усталый, но бодрый». Экая чушь, батюшка мой! И знаете ли... знаете ли... В голосе послышалось негодование. — В принципе, в душе я согласен с этим чувством разочарования. Как! По призыву с высоты трона вся Русь пошла на освобождение славян. Апофеоз преданности! Царьград видели — и пшик... А этито, — он сделал жест в сторону, где, очевидно, лежал шеф жандармов, но сказал вовсе не о Мезенцеве, — а эти негодяи, эти убийцы — самозванцы, мнящие себя представителями народа. Они народные чувства эксплуатируют, вот что, сударь мой. И для чего, спрашивается? А я вам скажу: ради личных целей... Ну-с нет, слуга покорный, я теперь, я сегодня револьвером обзаведусь и казаков, казаков потребую, чтоб около, чтоб ни на шаг...»

Я едва сдержал улыбку. И не потому, что Маков говорил смешно и смешное. Нет, мне вспомнилось единственное, что я знал об этом сановнике, именно как о человеке: пуще всего на свете он чурался слабого пола. Не представлялся даже великим княгиням. И, вспомнив, я подумал: а боится он не только женщин, не только.

Следовало что-то отвечать воспаленному оратору. В ушах моих будто сызнова прозвучал бас давешнего генерала, который с Милютиным: дескать, законы нужны похлеще германских. Я и сказал Макову, что вот, мол, Германия войну с Францией не проиграла, а выиграла, но и там, в Германии, стреляют.

Нужно отметить, действительно стреляли. И не в каких-нибудь министров, а в императора. И как раз в то самое лето. Какой-то берлинский бондарь несколько раз кряду пальнул. Неделя минула опять. И попали-таки. Из ружья, крупной дробью. Это уж — доктор Нобилинг. (Немецкая пресса расстаралась на целые страницы, с портретами злоумышленников, прекрасные гравюры, немцы умеют.) Громадные толпы пели у дворца «Nun danket alle Gott». 1

Все это Маков, конечно, знал, как и я. Но моя «параллель» несколько озадачила его. Он колыхнул брюшком: «Э, не-емцы... Кто покушался-то? Сумасшедшие, идиоты... А наши, о-о-о...» — и, тряся рукой, обронил на лацкан пепел сигары.

Я опять едва не улыбнулся: такая опасливая уважительность прозвучала в министерском «о-о-о». Но Маков, как спохватившись, снова указал в сторону, где находился Мезенцев: «Прав Николай Владимирыч, великодушие к революции немыслимо».

Сдается, я отчасти «повинен» в публикации одного адреса. Думаю, не ошибусь, если скажу, что параллель с немцами понудила Макова призадуматься. Но чего было ждать от канцелярского мышления? Ну и переломилась моя параллель в некий зигзаг.

Макову, очевидно, ассоциация на ум вспрыгнула: ежели колбасники кором поют «Возблагодарите», корошо бы и здешним, петербургским, обывателям изъявить эдакое патриотическое, общественное. А как на Руси деется? Известно: указание необходимо, скомандовать надо, и вся недолга.

(Наш брат журналист про дальнейшее, как все это было, вызнал. Тогда корреспондентов даже на придворные балы допускали. Правда, на хоры, но допускали. И они туда шастали задолго до полонеза, которым все дворцовые балы начинались.)

Ну вот, дал Маков и дею градоначальнику. И пошла писать губерния. Мезенцев еще не остыл... Он в тот день к вечеру отошел. Назавтра, в субботу, отпевали его в церкви корпуса жандармов. Где служил, там и отпевали... А «губерния» писала...

Градоначальник, получив и д е ю, призывает городского голову и — как по эскадрону — объявляет: сей же секунд изготовить всеподданнейший адрес! Так, мол, и так, петербургское общество с негодованием узнало... петербургские жители презирают убийц... повергаем к стопам вашего величества выражения своего уверения...

Голова схватился за голову: сей секунд никак нельзя, не соберешь, невозможно, а в понедельник, вашество, очень возможно. Градоначальник побагровел: «В понедельник?!

¹ «Возблагодарите все Господа» (нем.). В честь того, значит, что император Вильгельм уцелел.

Эт-та еще что? Садись!! Бери перо!! Записывай!» — и диктовать, и диктовать.

Вот, господа, как надобно изъявлять патриотизм, общественный гнев, а равно и ликование.

А после правительственное обращение вышло, как бы ответный призыв к обществу: вырвем злс, позорящее русскую землю... Опять-таки департаментская мыслительная работа. Ну что может быть бесцветнее, беспомощнее? Общество приглашают к содействию! А как содействовать, ежели это общество и презирается, и подозревается? Но самое-то примечательное в чем? В том, что у многих улыбка расцвела: смотри, пожалуйста, к нам правительство обратилось... Да, верно и умно кто-то сказал: беда не в том, что страдаем, а в том, что не сознаем, что страдаем.

Прошу еще заметить. Что значит — правительственное обращение? Очевидно, обращение министров. Теперь вопрос: а кто у нас министров знает? И в лицо, и как личности? Имя-фамилию не назовешь, ежели под ним не служишь. А тут — обращение. Кто обращается? Нечто анонимное. Я уж не беру в расчет, что каждым министром крутит дворцовая партия. А просто: не видим мы их и не слышим. Да и невелика беда, впрочем: увидели б ординарнейшее, а услышали банальнейшее — «к стопам припадаем». Давно уши вянут...

Ладно. На устах общества блуждала, говорю, довольная полуулыбка — к нам обратились! Совсем не то — михайловы.

Не стану о брошюре «Смерть за смерть». Ее смысл был ясен: ты, Мезенцев, нас, а мы, Мезенцев, тебя. И верно, заколотого генерала ангелом не наречешь. Одиночное заключение, централы, попранные законы, административная ссылка, виселицы — все это за ним числилось. В канун покушения была казнь в Одессе... Все так, верно. Но, скажите на милость, отчего человек бросает кинжал, хватает перо и берется за брошюру? Очевидно, потребность объясниться. Стало быть, ощущает душевную неувязку...

Хорошо, я не об этой брошюре, о другой — «Правительственная комедия». И там история, которую я сейчас рассказывал, про это самое «общественное негодование» — как его власти сами соорудили. И тут все точки над «и», никаких иллюзий, в отличие от нашего брата, который то младенчески улыбается, то старчески нюнит.

Обе брошюрки принес Александр Дмитрич. Не изменял правилу, заведенному у нас с Морозовым. И пока жив был, доставлял мне нелегальное. И то, что печатала «Земля и воля», и то, что выходило из народовольческой печатни в

Саперном. Вот уж наделала она лиха властям предержащим! Никак не могли обнаружить... Был и такой опасный слушок: дескать, из «Голоса» тоже кое-какие статейки туда поступали — из тех, которые нельзя было цензору показать...

В те дни, после Мезенцева, ну, может, спустя неделю, навестила меня Анна Илларионна. Вижу, не желает, голубушка, ни полсловечка о Мезенцеве. А я тогда ее записок еще не читал, не было еще тех записок. Откуда мне было знать, что она следила за Мезенцевым?

Она его видела на войне, при посещении государем госпиталей, ну и «показывала» шефа жандармов своим друзьям — Александру Дмитричу и Кравчинскому. И в Летнем саду указывала — вот он, и на Михайловской площади в канун покушения. Этого я тогда не знал, а только вижу — не хочет она, избегает.

Очень обрадовалась, когда Рафаил заглянул...

Тяжко вспоминать сына. Есть жестокая «насмешка Бога над землей». Вы молоды, вам ни понять, а только не приведи Господь на старости терять детей. Но вот потекут воспоминанья — отрада. Не тогда мы умерли, когда умерли, а тогда, когда никто в целом свете не может, не умеет мысленно увидеть наш облик. Вот так, во плоти...

Рафа мой, я говорил, был офицером. В ту пору перешел он из Сибирской флотилии в Балтийскую эскадру. Но сидел на берегу — заканчивал минные классы. Курс был такой — управление приборами гальванической стрельбы... Один мой знакомец, тоже моряк, но севастопольских времен, он, знаете ли, утверждал: дескать, после Севастополя, с его чудовищными жертвами, люди никогда не решатся на войну, за ум возьмутся. Куда там! Не видать конца произведениям человеческого гения... Вот и эти самые гальваническая стрельба, мины шестовые, мины самодвижущиеся, кто их разберет...

Он много плавал, мой Рафаил. Чуть не четыре года на «Боярине», парусном корвете. Вокруг света ходил. Стало быть, моряк соленый, а не паркетный, как здешние.

Анна Илларионна, увидев Рафу, оживилась. Рассказчик он был отменный; возьмите хоть кругосветное — уже одиссея. Да и пришел с приятелем.

А тот... Я красивых людей встречал, но этот был редкостный. Правильность черт — еще не красота. А если и она, то хладная, а коли хладная, то и не красота, а кладбищенская поэзия. Но тут черты духовным дышат, мыслью веет, вот она — красота. Глаза большие, серые, взгляд открытый,

смелый, искренний. Говорят: на море смотреть — значит, размышлять. Вот такими глазами, как у него, и смотрят.

Покосился я на Анну Илларионну. Ага, думаю, голубушка, каков твой Михайлов, если рядом с Николаем Евгеньевичем? Ну, то-то! Его звали Николаем Евгеньичем Сухановым. Прошу запомнить: Суханов, Николай Евгеньич...

Сели ужинать. Разумеется, при графинчике — Рафаил весьма жаловал. В доме повешенного не говорят о веревке; в доме литератора непременно говорят о литературе. Рафа напустился на повести «из быта народа» — дескать, надоело жевать сено. Анна Иллариснна оспаривала — дескать, надоело жевать лососину итальен. Суханов, Николай Евгеньич, слушал серьезно, но помалкивал.

Я почему-то был уверен, что он на стороне моей Аннушки. Вышло иначе. Он Рафин натиск не поддержал, но и Анне Илларионне не пособил.

«Извините профана, — сказал без улыбки, — но все эти повести из народного быта — мода. Умиление, вздохи, ну, горечь, а правды-то, огромной и единственной, не найдешь. А есть од на книга — песни, сказания! Вот где правда, и мысли, и чувства. Нищий поет, пахарь, мать у колыбели. А писатели?.. Сонм писателей, извините, должен быть в ладах с теми, кто все решает и вяжет. А историки? Хвалят презренных, палачей выдают за воинов».

Мне не были внове суровые осуждения нашего цеха. Но меня всегда раздражало, когда пишущих — под одну гребенку. «Сонм», черт задери! Бери бумагу и марай, а мы поглядим, каков ты наездник. Однако наивность Николая Евгеньича не раздражила. То была наивность чистой натуры.

Мой пробурчал: «Ну, сел на своего конька. Будет тебе, Николай. Твое здоровье... А самые лучшие книги знаешь какие? Лоции. Я не шучу, лоции. Вот где стиль, точность... А ты, брат, носишь мундир и служи государю своему. За ним служба не пропадает. Твое здоровье».

Суханов поднял глаза. Не на меня, не на Рафаила — на Анну Илларионну. И сказал как бы без связи с прежним: «В Одессе осудили на казнь кого-то из крайних. А молоденькая девушка обратилась к публике на бульваре: ваших братьев вешают, а вы разгуливаете как ни в чем не бывало. Стыдитесь! Ее бросились ловить. Артиллерийский офицер, граф Сиверс, схватил девушку за шиворот. Она, однако, вырвалась и скрылась. Потом был офицерский суд: графа принудили оставить полк».

Анна Илларионна просветлела: «Прекрасно!» Рафаил казался раздосадованным и, пожалуй, смущенным: «Оно,

конечно, нечего было соваться не в свое дело. Но скажу напрямик, судить я бы не стал». Суханов и Анна Илларыонна промолчали. Они промолчали, как сообщники.

Годы спустя... Рафаил уже здесь обитал, в гидрографическом департаменте, а с Сухановым было уже кончено... да, годы спустя Рафаил рассказал мне, как Суханов объяснял каким-то своим кронштадтским друзьям: «Я служил государю до тех пор, пока его интересы не разошлись с интересами народа. А служить моему народу я считаю своим первым и прямым долгом».

Николай Евгеньич посетил меня лишь однажды. Они с Рафой все круче, а потом и вовсе не встречались. Но сыну довелось видеть последний час Николая Евгеньича, это я вам после расскажу.

Что до Анны Илларионны, то она Суханова из виду не выпустила... Э, нет, господа, нет. Я сам, признаться, питал надежду: Николай Евгеньич холост, почему бы и... Помоги, думаю, Господи. Тут было и несколько мстительное чувство к Александру Дмитричу. Я все понимал, хотя Аннушка никогда ни словом... Вот, думаю, натянут тебе нос, сударь мой, Александр Дмитрич, хватишься, ан поздно... Но нет, Суханова она из виду на выпустила, потому что сразу распознала, каков он. Да и трудно было б не распознать.

А далече мы, однако, от Мезенцева-то убрели?

3

Кинжал Кравчинского — это в августе. Пули на Дворцовой — это в апреле. Стало быть, в семьдесят девятом, так выходит.

После убийства Мезенцева полиция, понятно, не знала ни сна, ни отдыха. Там и сям хватали. Александр Дмитриевич терял верных друзей. Он был как глухой. Тяжелая угрюмость сердца, сжатого болью.

Скажешь: «Шли аресты», а вы и вообразите, что окрест все затаилось, от островов до Охты. Ничего похожего! Ну, там квартирная хозяйка, где арест случился, соседи в этажах, сиделец мелочной лавки, эти перешепнутся: «Вчерася гляжу: чегой-то он какой-то не такой? Э-э, думаю, дело нечистое...» И все. Камешек швырнут в Неву — бульк, и нету. Река по-прежнему сплывает в залив.

А Михайлов мне однажды — из апостола: «Помните узников, как бы и вы с ними во узах». Александру Дмитричу не надо было помнить: он не забывал.

Отжили зиму. К весне переламывалось медленно. В марте грянули «варфоломеевские ночи» — так Александр Дмитрич определил тогдашние аресты. Теперь действительно от островов до Охты покатилось. Михайлов говорил: «Совершенно истребительное направление!» Даже в Литовский замок, где уголовные, везли политических. И не одних интеллигентов, эти уж вечные вифлеемские младенцы для всех иродов. Ни только, а и рабочих, мастеровых.

Пасха в тот год была, помнится, в апреле. И вот на второй день Святой... Загадочная штука — воля случая! Вставь в повесть, непременно одернут: тасуешь, мол, колоду, чтоб совпало; белыми нитками шито. И вправду, как ведь получилось?

У Певческого моста поныне коптит небо Жижиленков, родственник моей жены, она урожденная Жижиленкова. Я с этим коллежским советником мало знался — толстокожая посредственность.

На великий пост он простыл. Жена моя тоже недомогала. После светлого воскресенья наказывает: поезжай, мол, с пасхальным визитом. Поехал. На душе хорошо: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Город вылощенный, перезвон, запах нагоревших свечных фитилей.

Я к Певческому мосту всегда так, чтоб Мойкой ехать. Люблю этот сомкнутый строй строений, плавный изгиб. Вот и дом Пушкина... Я, помните, издателя Краевского щипал: такой, сякой, скупердяй и прочее. А ведь надо и то заметить: как Пушкина убили, все промолчали, один Краевский напечатал — «Солнце поэзии русской закатилось...» Да, мимо дома Пушкина. Разве зайдешь поклониться памяти? Там ведь теперь что? Охранное отделение; извините, центральное шпионское депо... Ну, а тогда, когда я ехал к Певческому, не скажу точно, кто жил: может, еще графиня Клейнмихель, а может, уже гофмейстерина Кочубей.

Приезжаю к болезному шурину. Домочадцы: «Ох, батюшка, ах, батюшка...» Прохожу в первую комнату, у него это вроде гостиной, окнами на Дворцовую. Медлю, гляжу себе в окно. Вижу рослую фигуру в теплой шинели, одна рука в кармане, другая — в свободной отмашке.

Кто бы вы думали? Государь.

И — мельком — баба с пасхальным узелком, полицейский обер-офицер, еще кто-то. И вот не то какой-то титулярный, не то учитель, бородка клинышком. В пальто, ворот поднят, зеленый околыш фуражки.

Миг — и по стеклу как палкой. Я отпрянул. И еще выстрел. Я кинулся вон, к выходу, не попадая в рукава, выско-

чил на Дворцовую. Вижу: государь бежит, а тот, в фуражке, за ним и — стреляет, стреляет. Государь бежал зигзагом, подхватив полы шинели и будто на бегу приседая...

Я что хочу отметить? На другой иль третий день был у меня Платон Ардашев, Аннушкин братец. Говорили о давешнем происшествии: все тогда обсуживали и пересуживали. И вот мы о том, как государь бежал зигзагом. Я не ухмылялся: и на четвереньках поползешь, и на брюхе. А Платон Ардашев утверждал: именно так, если по-военному, так и надо было уклоняться от пуль, не имея возможности отстреливаться. И ничего в этом зигзаге не было заячьего, а, напротив, верный расчет...

Да. Так вот, на Дворцовой. Угловым грением я приметил офицера, кинувшегося наперерез преступнику. Не поручусь, но, кажись, террорист навел на офицера револьвер — эдаким міновенным, инстинктивным, защитным движением. Но пальнул-то опять в государя. Ударом шашки — плашмя по спине — офицер сбил с ног террориста. Набежали люди. Потрясенный происшествием, офицер пробормотал не то удивленно, не то с удовлетворением: «Погнулась». То был капитан Кох, приятель Арлашева.

Помню, кто-то из литераторов: Соловьеву-де в минуты покушения внезапно сделалось жаль своей жертвы, он заколебался... Э-э, беллетристика! Я видел, он шел на государя широким, ровным, мерным шагом, как идет человек, знающий, на что он идет.

И последним штрихом: какая-то фурия, лицо перекошенное, капор съехал — вцепилась она Соловьеву в волосы, рвет, тянет, а серьга на ухе прыгает, бъется...

Соловьеву заклешнили локти. Повели. Я тупо смотрел ему вслед. У меня было состояние, которое, наверное, испытывает тот, кто каким-то чудом вывернулся из-под ревущего локомотива. Темное, чудовищное, страшное пронеслось надо мной, обдавая жаром и смрадом.

Я побрел к арке Главного штаба. Мне показалось, я так же вяло переставляю ноги, как Соловьев. Я подражал, невольно подражал.

Близ арки различил человека. Лицо было в крупных, с горошину, каплях пота. Я сознавал, что знаю, хорошо знаю этого человека... Он исчез, словно привидение. И когда исчез, я сообразил, кто он... А на площадь натекала толпа. Ждали, что государь выйдет на балкон.

«Nun danket», как немцы, наши не пели. Редактор мой Бильбасов, известный историк, был на площади с женой,

она — Краевского дочь... Владимир Алексеич говорил, что рядом с ними дожидался выхода государя какой-то малый, мастеровой. Он громко сказал, указывая на балкон: «Если патриот — кричи «vpa», а если социалист — молчи». «И знаете, — смущенно прибавил Бильбасов, — ведь все слышали, а, представьте, никто не возмутился!»

Дома я слег. Ни температуры, ни кашля с насморком. Но я был болен. Я все думал: как это я там, у арки, не признал тотчас Александра Дмитрича? Лицо его не исказилось, только крупные капли пота... Как последние, когда кран завернешь... А я его не признал. Он исчез, а уж тогда-то я и признал, что это был именно Михайлов.

Не волею случая, как я, очутился он на Дворцовой. Скверно мне стало, нехорошо. Не потому, что обманулся в Михайлове, и не потому, что Михайлов меня в чем-то обманул. Тут другое... И не оттого даже, что я террорную доктрину отвергал. Другое... Само безобразие картины: старый человек, с грыжей, одышливый, бежит от стрелка, а Михайлов высматривает: убит иль не убит старик в теплой шинели? Высматривает, покрываясь тяжелыми каплями пота. Безобразным все это было, иначе сказать не умею.

Либерал? Телячий студень? А я и не спорю, я согласен. Но что такое обвинение в либерализме? Кто в меня бросит рифмой: «либералы — обиралы»?

Да, забыл было... Соловьев-то палил из того самого «гиппопотама», за которым — помните? — Анна Илларионна ходила к доктору Веймару. Тот самый револьвер, «американец», который был у них в Харькове, когда хотели отбить каторжан...

Ладно, либерал, согласен. А вина моя в чем? В том, что противлюсь мракобесию, произволу, разухабистому шовинизму, да только не револьвером, не метательным снарядом. Так за что уничижать? За то лишь, что не могу и не хочу палить в старика, бегущего зигзагом?

Между прочим, в программе землевольцев было, сам читал, она у меня хранилась: заводить связи среди либералов с целью эксплуатации их. Меня-то как раз и эксплуатировали.

Но никогда, ни разу не явилась мысль: укажу — вот он, вяжите его. Почему? А не потому ли, что меня «т а м» гражданином не считают? А если не считают, чего я «т у д а » пойду? Я подданный, и только. А не гражданин.

Но это не все. Есть неистребимое омерзение к доносительству. Ты в принципе противник террора а пойди-ка

донеси? Э-э, нет, слуга покорный! Мерзит. Опять потому, что есть «мы» и есть «они». «Мы» — это те, на которых доносят. А «они» те, которым доносят. Рубеж и пропасть.

У этого «мы» широкие крылья, многих обнимают. С Александром Дмитричем я часто не сходился, а лучше сказать, часто расходился, но обоих обнимало это «мы»». И какая уж тут «эксплуатация»?

А самое-то примечательное в наших отношениях не хранение кожаных архивных портфелей, а наши диспуты. Случались такие часы, откровенные и доверительные. Мне кажется, Александр Дмитрич в них нуждался. И не потому, что дискутировал с Владимиром Рафаилычем Зотовым, не семи он пядей во лбу. Оттого нуждался, что в товарищеском круге, где все в согласии, если и спорили, то о частном, практическом. А человеку нужно потрудиться мыслью, потребность есть. А у меня возражения — вот и трудись, одолевай.

Но о терроре не заикались. Какая-то особенная помеха. Нет, не архисекретность; я вовсе не хотел проникать в тайны. Иная была помеха, глубоко, в сердце.

Однако приспел час. Мне кажется, до отъезда Александра Дмитрича с Анной Илларионной в Киев и Чернигов. Тогда уж знали, что Соловьев подсуден Верховному уголовному, ну и двух мнений не возникало — эшафот, виселица.

А ночь накануне покушения скоротали они вдвоем: Соловьев и Михайлов. На квартире у Александра Дмитрича. И какую ночь — пасхальную! Вникните, господа, призадумайтесь и вообразите.

Когда царствие Божие замешкалось где-то за горизонтами, в мареве, Христос предал себя своей участи, обрек себя Голгофе. Страх был перед чашей сей. Он страх одолел. И все на себя взял, ради того, чтоб убыстрить наступление царствия Божиего.

В ночь светлого воскресенья, когда везде огни и радость и этот веселый трезвон, в такую вот ночь сидели в какайто невзрачной петербургской комнатенке Соловьев и Михайлов.

По лицу Соловьева перебегали нервные тени. Вообще скупой на слова, молчаливый, он совсем в себя ушел. Чрезвычайная сосредоточенность владела им.

«Я метель вспомнил, — вдруг сказал Соловьев. — Ужасная метель была. И если б не мужик, пропал бы».

Из давнего ему вспомнилось, довоенного, когда ушел он в народ и работал кузнецом. На пороге войны хозяева сво-

рачивали дело, людей гнали. Соловьев остался без копейки. Бродил с толпой бедолаг в поисках куска хлеба. Зимою, в ознобе, в горячке, тащился по заметенному снегом проселку. Смеркалось, нигде ни луча света, метель. Он упал и не мог подняться. Его спас мимоезжий мужик.

«А ты знаешь, — спросил Соловьев Александра Дмитрича, — знаешь ты легенду о Касьяне-святом и Николеугоднике? Ну, слушай, брат... Один мужик увяз в грязи с возом. Бился, бился — не вытащит. Шел Касьян-святой, поглядел на мужика — и дальше. Не хотел замарать райское облачение. Идет Никола-угодчик, тоже поспешал куда-то по своим заботам. Видит, мужик совсем обессилел. Сейчас засучил рукава, плюнул на ладони, да и приналег, да и выдрал воз из грязи...»

Вот ночь-то какая в канун покушения...

И еще надо вам сказать: не было у Соловьева братской поддержки. То есть, вернее, единодушной поддержки не было. В революционном сообществе резкая брань разгоралась. Спорили: целесообразно или нецелесообразно? Заметьте, не спорили: дозволено или не дозволено? Впрочем, вопрос сей как бы и разрешился молчаливо. Ежели дозволено прокурора или шефа жандармов, отчего не дозволено государя? Все люди, все человеки...

Соловьев все на себя взял. Михайлов, единственный из коротких знакомых его в Петербурге, поддерживал. Соловьев ему первому открыл свой замысел. Но сам Михайлов еще не был готов.

Вот когда он мне это сказал, я... Тяжело продолжать, а нельзя не продолжить... Я и подумал: сам не готов, но готов был высматривать. И в августе, когда Мезенцева, тоже не готов и тоже высматривал. И еще раньше, в Харькове, не ты оружным выехал на тракт. И вот — Соловьев.

Я вам сказал, что был у нас диспут о терроре. А сейчас и сообразил: после он был, а не перед отъездом Михайлова в Киев. Ну, о том, что потом, — это потом, в свой черед.

А тут, вы заметили, получилось у меня так: темными красками — покушение, светлыми — покушавшегося. Выходит, запутался? Выходит, концы с концами не умею? Эх, господа, а кто это умеет?

Впрочем, не оправдание. Да я и не оправдываюсь. А только, ей-ей, очень бы мне нежелательно, чтоб сочли вы меня за одного журнального деятеля. Имя довольно известное, ни имени, ни псевдонима называть не буду, не суть важно.

Он у нас, в «Голосе», высказывался эдак, и весьма пространно высказывался, а в «Русском мире» сам себя эпровергал, и тоже весьма пространно.

Прошу за таковского не принимать. А коли не умею выстроить по ранжиру, стройно, затылок в затылок, так ведь и жизнь-то, она тоже, пожалуй, не умеет.

4

Недели за две до Рождества... Это я все еще в семьдесят девятом году обретаюсь... Да, недели этак за две возникает на Невском огромный парящий ангел, в руках у него маленькие, словно игрушечные, паровозик и вагончики. Ангел парит, парит... А под ним, внизу, далеко означается крохотная железнодорожная станция... Вот какая картина на Невском, в витрине художественной фотографии Дациаро. Аллегория!

Год начинался выстрелами на Дворцовой, а заканчивался взрывом под Москвой. Свинец уступил место динамиту. С позволенья сказать, убойная сила нарастала.

«А ну как и ангел проморгает?» — выражали лица тех, кто останавливался у витрины Дациаро... Долгим эхом отозвался подмосковный взрыв. Не сразу, но определилось новое настроение... Вот говорят: Рим пал под напором варваров. Мысль грубая. В крушении Рима «повинно» и множество причин внутренних... Но я сейчас не о нашем мужицком разорении. Не о стачках. Не о том, что студенты бурлили, а общество раздражали неуклюжие действия администрации. Я не об этом... Я о том, что есть некая психологическая тайна — тайна отношения толпы и владыки.

После Каракозова, после Соловьева — ужас, смятение, негодование. А потом исподволь возникает иное — любопытство, ожидание: кто кого? «Они» царя или царь «их»?! И чем пуще накалялось, тем пуще взвинчивалось: «Неужто опять промахнулись?» Или: «Ну что, скоро?» То есть что именно? «Да то, что носится в воздухе! Чего уж там, ждать надоело...»

А когда в марте восемьдесят первого свершилось, когда носовые платки смочили царской кровью, когда лоскутки да пуговицы царской шинели подобрали у Екатерининского канала, тогда — съежились. И тут опять не какая-то там необразованность иль косность, а тут тоже тайна отношений толпы и владыки...

В ноябре семьдесят девятого промахнулись. Ангел сохранил. Та самая воля случая, какая и в малом, и в большом.

Я вам называл наш московский источник: господин Мейн, чиновник канцелярии генерал-губернатора. Он слал нам в «Голос» подробнейшие отчеты. И такие, что коть сейчас под перо Евгения Сю.

И дом описал в подробностях, мещанский, о два этажа дом на окраине Москвы, в лефортовской части, где столько раскольников. И минную галерею описал, приложил даже чертежик, словно к докладу инженерному начальству. И как в темноте грянуло под полотном Московско-Курской, по которой государь возвращался из Ливадии, так грянуло, что вся Рогожская дрогнула, в дворовых сараях сонные куры забились.

А царь, живой-невредимый, ехал тем временем в Кремль. Его поезд прошел первым, а следом — свитский, с прислугой, и этот свитский взорвали. Ошибка. Случай. Ведь долго следовали в ином порядке: сперва свитский, потом царский. Где-то неподалеку от Москвы, а причину никто не знал, поменяли.

И вот государь невредим. В Кремле сообщают ему о происшествии, у него темнеет в глазах... Словом, как говаривал старый новеллист, жизнь предвосхищает все вымыслы романистов...

Михайлова я не видел с весны. Он уехал на Украину невдолге перед тем, как его друг Соловьев взошел на эшафот. А из Киева — заметьте! — «бежал», по слову Анны Илларионны, в день казни другого своего товарища, Осинского.

Могу понять, что стабунивает духовно неразвитых, духовно незрелых на площадях, где палач, как мясник, разделывается с жертвой. Не могу понять Тургенева, который в Париже на блю дал гильотинную казнь... Не приемлю поверки самообладания видом публичного убийства. Но полон благоговения перед теми, кто идет на плац, чтобы послать — скорбным ли взглядом, горькой ли улыбкой — последнее «прости» осужденному.

Михайлов не ходил. Михайлов исчезал дважды, раз за разом. Я уверен, он не гнал от себя мысль о казнимых. Но я не уверен, не гнал ли его от реальных эшафотов телесный, бренный страх?

Помню, однажды он сказал: «Кто победил страх смерти, тот почти всемогущ!..» Дело не в этом «почти», а в том, победил ли он? Вот вопрос! И может, тайное сознание того,

что не победил, и гнало его из Петербурга, из Киева, от помостов, где Соловьев и Осинский?

А те, что встали на эшафотах, хоть Желябов, они-то победили? Да, внешне. Ну, а в глубине, там, в огненной точке, где-то в мозгу или где-то в сердце?

Есть, правда, и такое... Есть, понимаете ли, не только инстинкт самосохранения, но и инстинкт самоуничтожения. Упоение погибелью, русское упоение. Тут — бездна. Кто не погиб, не знает, а кто погиб, не расскажет...

Да, с весны не видел. Кяев, Чернигов — это вам Анна Илларионна сообщила. Потом были «липецкие воды» и Воронеж — съезды землевольцев. На судебных процессах достаточно говорено, как из «Земли и воли» два течения возникло. Нелегальная пресса тоже немало писала о спорах, раздорах, несогласиях.

Я как-то, это уж позже, спросил Александра Дмитрича: как он отнесся к расколу в своей подпольной среде? И он ответил мне по Аввакуму: «Грызитеся прилежно! Я о том не зазираю. Токмо праведно и чистою совестию разыскивайте истину».

Но Анна Илларионна усмехнулась: «А разрыв с Жоржем?» Он сразу потух. И признался: «Да, нелегко терять такого друга. Нелегко». Это он — о Плеханове.

У меня на Бассейной Александр Дмитрич объявился в декабре, то есть вскоре после московского покушения. Снег порошил, но ветер сметал, и все на дворе было темным, жестким. Об эту пору страшноват наш Петрополь.

Пришел, мы вдруг обнялись, чего прежде не случалось. Должно быть, после столь долгой разлуки и обнялись. Я принес архивные портфели, на ходу пыль сдувал, изрядно запылились.

Он сел вон за тем столиком, у окна, и занялся делом. В такие минуты мы помалкивали. Он что-то посмотрел, что-то положил, что-то писал, наморщивая лоб, задумываясь.

Я тоже был занят: обязательный Александр Дмитрич не забыл очередной номер нелегальной газеты. Конечно, не могу сейчас определить содержание, но памятью библиофила помню типографское изящество.

Отменно печатали, мошенники! И это в подполье, когда нерв напряжен, каждый звук ловит — не идут ли?!? Долго не шли, с ног сбились. Но пришли, взяли на Саперном, от меня недалеко. И все ахнули: в самом что ни на есть центре столицы...

И еще помню библиофильской этой памятью: прекрасная бумага, очень тонкая, но притом и очень плотная, вот так, на ощупь, подушечками пальцев помню.

Я дивился и чистоте печати, и качеству бумаги. Про бумагу мне Александр Дмитрич объяснил: этак не весь тираж, а несколько экземпляров, для избранных. Спрашиваю: «Кто сии?» Отвечает: «Государь, министры...» Оказывается, посылали почтой: дескать, покорнейше просим ознакомиться. Вот, стало быть, и мне на такой бумаге. «Ну, — говорю, — весьма польщен...»

Так вот. Он занялся архивом; я — газетой, искоса поглядывая на него. Мне показалось, что Александр Дмитрич перенес болезнь: лицо осунулось, виски запали.

Он покончил с архивом, замочки на портфелях щелкнули. Как обычно, наступила мешкотная минута. Вопросов я не выставлял. Даже банальнейших: о здоровье, о погоде — всегдашняя боязнь тронуть конспиративное. А черт ведает, где оно кроется, в чем. Может, и в погоде... А он, Александр-то Дмитрич, тоже испытывал неловкость по причине моей неловкости. Ведь не будешь понукать: спрашивай, расспрашивай, и тебе, Рафаилыч, верю.

Обычно осведомлялся: каково мнение о газете? Я отвечал, беседа слаживалась. Но в тот день я задал встречный: про витрину на Невском, у Дациаро.

«Как же, видел, полюбовался, — отвечал он. И прибавил: — А ручки-то у ангела белые-белые, отмороженные. Того и гляди выронит».

Я покачал головой: «Удивительно!» Он спросил: «Что вас удивляет?» — «А замысел, — говорю, — замысел удивляет: больно дерзко». — «С технической стороны, — спрашивает, — или как?» — «Да хотя б и с технической, — отвечаю. — Экие, — говорю, — тотлебены сыскались».

Он посмотрел на меня, я— на него. И тут меня лукавый попутал. Э, думаю, ладно, сейчас это я тебе... Вытащил пачку бумаг Мейна, из Москвы. Полистал и подаю отчет, где чертежник изображен.

Михайлов взглянул, прищурился и опять взглянул. «Ну что, — говорит, — точнехонько изображено, верно».

Меня как пронзило: вот отчего вид нездоровый, вот отчего лицо землистое, виски запавшие, вот оно, вот! Даа-а, поработай в подкопе, под землей поработай, будешь землистым... И тотчас в голове стукнуло: «Каково, однако, он доверяет мне!» И, признаться, не обрадовался, а эдаким меня подленьким страхом просквозило: «Зачем тайны, да еще такие тайны, зачем мне знать их?!»

Александр Дмитрич догадался и вроде бы мне на подмогу — разговор переводит на общее: что, мол, у вас, середь пишущих, о московском происшествии толкуют? А я ему не без раздражения отвечаю в том смысле, что и «свой резон найду — сковородником хвачу».

«О-о-о, — говорит, — позвольте полюбопытствовать?» — «Извольте, — отвечаю, — любопытствуйте». И называю имя: «Березовский». Поляка Березовского называю, который в Париже на государя нашего покушался. Первым был Каракозов, тут, дома, у Летнего сада, а вторым этот Березовский, в Париже.

«Так вот, — говорю, — я об этом самом покушении в свое время Герцену писал, Александру Иванычу Герцену. И ежели желаете знать, то основным тезисом выставил: безумец поляк воображал, что замена одного властителя другим есть изменение традиционного порядка вещей на свете».

Представьте, Михайлов и ухом не повел. «Да, — говорит, — от перемены мест слагаемых... — И спрашивает: — А Герцен что?»

Тут он, негодник, меня в угол загнал. Сейчас объясню. Во-первых, тезис-то тезисом, а писал я и о другом.

Писал, что против Березовского, как и против Каракозова, громче всех и злее вопиют потомки душителей Павла. Семеро одного удавили, имея девяносто семь шансов. А тут — самопожертвование. Есть разница?

Во-вторых, писал: монархи ради династических интересов лишают живота сотни тысяч ни в чем не повинных подданных. И никто, даже беспристрастная история, не считает их преступниками, извергами рода человеческого. А тут одинокий фанатик поднял руку — тотчас: «Неслыханный злодей!»

Вот это я и писал Герцену. Еще в шестьдесят седьмом году писал. Но этого-то я и не сказал Михайлову.

А он — опять: «Ну, а Герцен?» Дескать, что вам Герцен-то отвечал? А он мне, признаюсь, ничего не отвечал...

Между нами... Это уж только в глубокой старости, как я теперь, такие признанья возможны. Герцен до меня не снисходил, не очень-то я его интересовал. Но в молодости, вернее, в зрелости я с этим никак не желал смириться. И суетился, нес дичь, злословил насчет петербургских знакомых, хотел блеснуть... Смешно вспоминать, неприятно. Что? Да нет, не в Лондоне. Это десять лет спустя после Англии — в Женеве. Он был очень невесел. Его точила тоска по России, он был отравлен ядом эмиграции.

Ну да, Герцен мне не отвечал. Однако я знал его мнение: ни малейшей пользы от цареубийства... Простите, господа, сейчас сообразил: это, собственно, мнение бакунинское, но Александр Иваныч солидарен был, это верно. Так вот, ни малейшей пользы. Но коли нашелся человек, доведенный до крайности, и задумал разрубить гордиев узел, то нельзя не уважать такого человека.

Но даже об этом-то, то есть что такого человека уважать можно, я, представьте, тоже не сказал Михайлову.

Нехорошо, нечестно, признаю, но как было, так было.

5

Шурин мой, который у Певческого моста... Я вам рассказывал, как к нему ездил на Пасху, когда Соловьев-то... Каюсь, жениных родственников разве что терплю, а Петра этого Иваныча Жижиленкова, прямо сказать, и вовсе не терплю. Крапивное семя, как и покойный тесть мой.

Я звал Жижиленкова Жи-Жи: претензия у него была светская — рассуждать об иностранной политике и дворцовых сферах, словно он только что от барона Жомини или графа Адлерберга.

Впрочем, и Жи-Жи меня не жаловал. Как! У Зотова квартира в шесть комнат, за одну квартиру восемьсот рубликов в год. Видать, гребет деньгу совковой лопатой. А книг-то, книг! Императорская публичная! И для чего? А затем, чтоб думали: «Академик!»

Наезжая, он всякий раз указывал на мои полки: «Все врут календари», — и осклабливался. Вот бы, думаю, тебя, болвана, в наши домашние спектакли. То-то б роли нашлись хор-рошие. Дома у нас, когда я еще молодым был, чаще всего давали «Горе от ума»; я Чацкого играл, а сестра — Софью.

Спасибо, Жи-Жи нечасто наказывал меня визитами. После Рождества больше месяца не слыхал про календари, которые врут. А в первых числах февраля, слава те Господи, услышал.

Жи-Жи почему-то один глаз прижмуривал, а другой выпучивал — и ну в рассуждения. Тогда как раз Скобелев снаряжался против ахалтекинцев, в закаспийскую, азиатскую сторону, и Жи-Жи очень волновался: какова будет британская реакция?

Перемыв косточки англичанам, Жи-Жи, по обыкновению, занялся дворцовыми «новостями». Тут он и вовсе почи-

тал себя чрезвычайно осведомленным. Во-первых, он брил бороду, как чиновники придворных ведомств. Во-вторых, ежедневно обозревал Дворцовую площадь. И, в-третьих, соседом ему, в полуподвале, жил отставной гренадер — швейцар шинельной, что в Собственном его величества подъезде.

«Великие приуготовления происходят, — сообщал Жи-Жи, растягивая слога. — У Собственного подъезда будет теплый тамбур. Гер-ме-ти-ческий!»

Из дальнейшего оказывалось, что «великие приуготовления» — не только тамбур, а еще и карета с внутренним обогревом. Дело в том, что со дня на день из-за границы ожидалась императрица Мария Александровна. Она давно болела, у нее был катар легких, и вот она возвращалась совершенно безнадежная. Ее везли в особом вагоне. Здесь ее будет ждать особая карета. А войдет она в Зимний особым тамбуром — «гер-ме-ти-чес-ким».

Кто мог догадаться о совсем иных, но тоже «великих приуготовлениях»? О тех, какие производил во дворце совсем неподалеку от Собственного подъезда некий краснодеревец. Может, старик швейцар, главный осведомитель Жи-Жи, может, он и знал краснодеревца, да где было признать в нем «сицилиста»?..

Я видел Марию Александровну не раз. Она не улыбалась, сидела, надменная и замкнутая, в своей царской ложе. Она была изможденной, как слабогрудые женщины, которым приходится часто рожать. У нее было шестеро сыновей и две дочери. (Прибавьте троих детей от Юрьевской, и вы поймете чадолюбие нашего государя.)

Так вот, накануне войны с Турцией императрица пользовалась некоторым влиянием на Александра II. После нет. Она не жила, а доживала. Ее почти никто не видел, кроме камер-юнгфер да секретаря Морица. (Между прочим, милый был человек.)

Единственное, что оставалось по-прежнему, так это протежирование немецким родственникам. Особенную любовь она питала к племяннику. А как не порадеть родному человеку? И порадела: тот сделался князем Болгарским.

Волей-неволей вспомнишь Михайлова. Как он в канун войны корил Анну Илларионну: «Желаете участвовать в романовском пикнике?» Выходило, что русские солдатики гибли под Плевной и мерли на Шипке, дабы немчику-племяннику досталась Болгария.

Вот этот самый князь Болгарский и отец его приехали в Петербург. Назначили фамильный обед. И уже направились во главе с государем в малую столовую... Вся фамилия

направилась, кроме императрицы — большую часть времени она проводила в постели.

Вы знаете, господа, посуда была перебита. Случилось то, чего не случается там, где бдит тайная полиция. Где она бдит, там ежели завтрак, значит, завтракают, обед, значит, обедают. И все аккуратно, без помех. А тут...

Я не хромой бес из романа Лесажа: в чужие дома соглядатаем не проникаю, Но вот рассказ очевидца. Имя вам знакомое: Ардашев. Платон Илларионыч Ардашев, в прошлом артиллерист, а тогда адъютант коменданта главной квартиры его величества.

Не знаю, какие поручения он исполнил. А исполнив, заглянул в дежурную комнату дворцового караула — поболтать с Вольским.

Капитан фон Вольский, лейб-гвардии Финляндского, в тот день начальствовал караулом. Большими приятелями они с Платоном не были, но знавали друг друга на войне. Тут еще Вольский приступил к военным запискам, а Платон ему выдал головой некоего литератора Зотова: дескать, не ленись, брат, пиши, а «мы пособим».

Так вот, заглянул Платон к этому Вольскому. В громадной дежурной комнате было несколько широченных диванов. В мраморном камине пылал огонь. Каминные часы указывали год, месяц, число, часы, минуты, секунды. (Стало быть, указывали: тысяча восемьсот восьмидесятый год, февраль месяц, пятое число, около шести пополудни.) Рядом с часами был звонок. Электрический звонок, соединенный с рабочим кабинетом государя. По сигналу офицер с частью караула обязан был лететь на всех парусах к императору. Звонок, впрочем, всегда молчал. Один только раз, по словам Платона, прозвенел, и, когда дежурный с солдатами вломился в кабинет, государь отшатнулся: «Что это значит?» После объяснилось: царский сеттер ткнул носом в кнопку звонка.

Однако дворцовое дежурство требовало постоянного напряжения. Государь еще в колыбели изощрился в уставах, следил придирчиво. Но в тот вечер офицеры могли немножечко расстегнуться: назначен был фамильный обед.

Все шло своим чередом. Фельдфебель осматривал людей, готовящихся к разводу. Тихонько возник старенький-престаренький казначей, и Вольский вышел с ним — рядом с дежурной комнатой, за решеткой, где особый пост, помещались железные ящики дворцовой казны для текущих нужд; ящики отворял казначей, но в присутствии начальника караула.

Вольский вернулся, весело указал пальцем на потолок: «Там скоро сядут за стол. Пора и нам, господа, отобедать!» Подали обед. Роскошнейший, — заверял меня Ардашев, тонкий гастроном. — Караул на дворцовом довольствии, на каждого офицера — по восемь рублей!»

Кроме Вольского с Платоном и еще двух капитанов явился пятый — казачий офицер, командир ночных конных разъездов вокруг Зимнего. Перекрестились на лампаду. Сели.

И в ту же секунду — грохнуло. Блеск — тьма кромешная. Бесконечные мгновения черного, как сажа, безмолвия. И наконец протяжный долгий грохот, со звоном стекол, скрежетом балок, падением кирпича, градом штукатурки.

Платона швырнуло, ударило головой. Он потерял сознание. Но, очевидно, ненадолго, потому что различил светящуюся точку. Ему почудилось, что она пулей летит ему в лоб, и он зажмурился. А вокруг — крики, стоны, проклятия. «К ружью!» — кричал Вольский. И колокол, колокол взахлеб. Не звоночек каминный, а колокол для вызова всех отдыхающих караульных.

Платон это слышал, но видел только светящуюся точку и не понимал, откуда она, что это такое. Ему даже казалось, что это и не точка, а будто б ружейное дуло, из которого беззвучно стреляют. Как ночью с неприятельской позиции.

(Он убеждал меня, грозясь призвать в свидетели Вольского, что светящаяся точка была не что иное, как лампадка. Она, понимаете ли, как горела, так и горела. Негасимая лампада! Чудо? Все динамитом разнесло, а лампада горит. Конечно, чудо, если только Платоше не примерещилось: ведь у него голову разламывало от боли.)

Он поднялся. В дежурную комнату пробирались солдаты. Они были контужены, в пыли. Кто-то принес факел. И тогда разглядели, что все вокруг в каком-то геологическом разрушении.

В караульне среди кирпича, известки, тяжелых глыб рухнувших сводов корчились, стонали солдаты лейб-гвардии Финляндского полка. Десятеро было убито, около полусотни ранено.

Замелькали еще факелы, еще. Платон увидел широкую, с лентой грудь наследника, парадные мундиры увидел. Платон крикнул: «Что государь?» Ему ответили: «Тише! Жив! Слава Богу, жив». У наследника прерывался голос: «В жизнь мою не забуду этого ужаса...»

С Кирочной, из казарм прибыли два батальона преображенцев. Финляндцы не хотели оставлять постов без раз-

водящего, а тот умирал под обломками. Вместо него отправился Вольский, опираясь на шашку и плечо фельдфебеля.

Взрыв в Зимнем далеко слышался. Жи-Жи был дома. На улице, по его словам, грохнуло один раз, без раската, точно в гигантское дерево вонзилась молния и оно хряст нуло. Жи-Жи побежал на площадь. Народ валил, как из трубы. Фонари метались. Полицейские кричали: «Стой! Не смей подходить!» Жандармы, казаки, пожарные.

Опять, как видите, воля случая! На какие-то несколько минут и без особой причины государь задержался — взрыв застиг его с семейством и гостями не в малой столовой, а у дверей в малую столовую. И второе. Теперь-то мы с вами знаем, кто был виновником «скандала»: Халтурин, краснодеревец, поджег динамит... Он, этот Халтурин, квартировал как раз под главной караульней... Поджечь-то поджег, а дверь за собою не только не запер, а даже и не притворил. Оттого часть взрывной волны ринулась в коридор. А пойди она да всей своей массой кверху? Половину дворца разнеслю бы!

Долгий был риск у Халтурина: надо было накопить и надо было сохранить такую массу динамита. А вот на последнюю каплю натуры у него и не хватило, с этой-то дверью, чтобы ее поплотнее, и не хватило.

На другой день вышла прокламация: Исполнительный комитет «Народной воли» объявлял взрыв в Зимнем дворце своим делом. Впечатление получилось тоже взрывное. Оно понятно: тут вам не глухое предместье, не московская застава с курями и голубями, даже не столичная площадь — дворец, средоточие империи! Пусть опять промахнулись, пусть опять «ангел», как в витрине Дациаро, но, судари мои, если уж во дворец проникли, если уж во дворце угнездились, выходит, спасенья «е м у » нету. И опять ни единой души не изловили. Халтурина когда поймали? Два года с лишним минуло, вот когда!

Но было одно обстоятельство... Такое, знаете ли, обстоятельство... С одной стороны, прокламация Исполнительного комитета, а с другой — пожертвования. Да-да, сбор начался. Нет, не на храм иль часовню, а в пользу пострадавших солдат лейб-гвардии Финляндского. И это без министров-маковых, без градоначальника началось, не то что адрес после Мезенцева.

Вдруг приходит ко мне Анна Илларионна. Говорю «вдруг», потому что не домой, как всегда, а в редакцию, как никогда. И время дневное. Кажется, недавно пушка стукнула. Значит, за полдень. Я только было расположился

у своей конторки. Смотрю: не то чтобы бледная, или дрожит, или слезы на глазах, нет, а, как говорится, каменная. Стоит, рук из муфты не вынимает, молчит.

Мне первое в голову: Михайлова взяли, Александра Дмитрича! Бросил гранки, а дальше не придумаю. Потом — под руку ее и... куда, не знаю. Так, машинально, беру под руку и иду с нею вниз. Она подчинилась, как дитя. Внизу швейцар подал, я шею шарфом. Выходим на улицу. А на дворе ветер, мороз градусов двадцать.

Я хотел было в Эртелев вести, она отрицательно покачала головой и просит: «Поедемте, Владимир Рафаилыч». — «Куда?» — «На Васильевский». — «Это еще зачем, голубушка?» Чувствую, зябну, а тут — ближний свет: «На Васильевский». Но что-то такое было с ней, что я не решился отказать.

Благо быстрый ванька попался. Едем. Неву стали переезжать, ну, думаю, батюшки-светы, унесет ветром в залив. И ноги у меня коченеют, быть простуде. Ах ты, девчонка, девчонка... Во мне строгости никакой, не получается. Но тут постарался: «Куда ты меня везешь?» Она как очнулась: «Разве не слышали, Владимир Рафаилыч? Я извозчику сказала: в девятнадцатую линию». — «Что такое? Объясни, Христа ради!» — «Госпиталь».

Тут я все понял.

Сворачиваем с Большого проспекта. Фасад длиннющий, конца не видать. Казенное строение, какие возводили во времена моего детства, в двадцатых годах.

В приемной пришлось ждать. Солдат-санитар пошел за начальством. Анну Илларионну будто в жар бросило, она распахнула шубку. Я в госпиталях отродясь не бывал. У меня при слове «хирургия» начинает ныть в коленях, от страха ныть. А тут в нос так и шибает что ни на есть хирургическим.

Приходит военный медик — насупленный, в вытянутых двух пальцах погасшая сигара, как позабытая. Взглянув на Анну Илларионну, заметил знак отличия Красного Креста и поклонился. И ко мне: «А вы, позвольте узнать?» Я назвался, подал визитную карточку. «Гм, писатель...»

Мы прошли к раненым гвардейцам. Я не знал, что делать: мне было стыдно. Нет, и жалость, и сострадание, но, главное, стыд, стыд и чувство вины, хоть я и ни в чем как будто не был виноват. Я не смел взглянуть им в глаза. И ничего лучшего не придумал, как раздавать деньги. Они благодарили, но равнодушно.

Анна Илларионна — лицо горело, жест быстрый, точно подменили, — о чем-то говорила с насупленным военным

медиком. Потом подошла ко мне. «Владимир Рафаилыч, извините, обеспокоила вас, сама не пойму... Что-то у меня, — она провела рукой по лбу. — Извините. И спасибо вам, спасибо. Я останусь, надо помочь, я должна остаться... — Она смотрела мимо меня. — Тут есть несколько из гвардейской полуроты, Дунай форсировали. — Глаза у нее были сухие, только морщинка, тоненькая, иголочкой, морщинка над переносьем углубилась. — Тогда, на Дунае, уцелели. И вот, видите...»

И тут окликнули: «Сестрица?! Барышня?!» Удивление, радость были в том оклике. Я выпустил ее руку или она вырвала, устремившись на зов. У меня полились слезы.

Я не понял, почему поднялась суета. Почему санитары, подгибая ноги, побежали между койками, оправляя одеяла и посовывая в стороны табуреты и тазы. И почему насупленный медик каким-то гимназическим движением выбросил свою сигару и пригладил волосы. Оглянулся на меня и, будто оправдываясь, произнес: «Государь». А моя Анна Илларионна, как склонилась над раненым, очевидно над тем, который окликнул, как склонилась, так и не переменяла положения.

Вошел государь. Я прилип к стене. У него было лицо несчастного старого человека, которого позавчера хотели убить, но не убили и которого, наверное, убьют если и не завтра, так послезавтра.

Он взглянул на меня мельком, будто я и стена неразличимы, и двинулся в глубь покоя.

6

Вообразите Исаакий, взлетающий на воздух... Д-да, тыща пудов динамита и — фью-ють! Гранит, железо, мрамор — все вверх тормашками. И пылает университет, там и сям горит. Еще немного — Петербург провалится в преисподнюю. Кое-кто давай Бог ноги из города. Многие спали, как в караульне, не раздеваясь.

Говорят, подобная паника разражается во время вооруженного восстания. На моем веку оно было, на Сенатской площади было, да я тогда под стол пешком ходил. Но после взрыва в Зимнем дворце паника действительно объяла петербуржцев, это так. Я не верил, конечно, в «летящий» Исаакий, однако неизвестное гнетет.

А «известное» тоже не радовало. У нас как? У нас чуть что, первым делом прессу оглоблей огреют. Кажись, куда

дальше гнуть? А нет, всегда возможно. Оно и нетрудно — позвали редакторов, топнули ногой, притопнули другой: не сметь об этом, не сметь о том. Нагнали страху, вроде бы что-то государственное предприняли.

Такие вот денечки наступили после взрыва в Зимнем дворце. Но тут из мрака, из сумятицы, в феврале этом возникает нерусский человек. Кавказский варяг возникает. Я серьезно, ни тени иронии.

Он был не из старой колоды, которую тасовали годами. Ну, кто до войны знал Михаила Тариелыча Лорис-Меликова? Казарма знала, Тифлис знал, горцы знали. Его превосходительство, и только, а генералов на Руси с избытком.

В войну имя его звучало. Ну, не так, как Скобелева или Гурко, но звучало, когда он штурмом взял Карс.

Но генералы перво-наперво друг с дружкой воюют. Ответственность, увы, тяжелее орденов. Охота ответственность избыть, а крестов и звезд прибавить. (Так, впрочем, не в одной военной сфере.) Лорис все пикировался с другим кавказцем — генералом Гейманом. Наконен Лорис такое выдумал, что и железному канцлеру нечасто снится. Берет и письмо пишет, по-французски, приятельское, будто от одного офицера к другому. И посылает курьером туземца. А тот попадает в плен к туркам. Нарочно угодил нарочный? Не знаю, а все-таки, думаю, не заплутался. И вот письмо, обеляющее и восхваляющее генерала Лорис-Меликова, а другого генерала, Геймана. очерняющее и унижающее, письмо это попадает к неприятелю. А там — свой Мак-Гахан... На театре военных действий были иностранные корреспонденты. У нас, скажем, Мак-Гахан (между прочим, он и в «Голосе» сотрудничал), а у них, стало быть, свой Мак-Гахан... Ну и появляется заветное письмецо в «Таймсе». А «Таймс» -это вам ни «Молва», во дворце читают. Вот, господа, каков «полет» хитрости!..

После войны в низовьях Волги открылось чумное поветрие. «Виною» была... чалма. Турецкая чалма. Один-де солдат убил на войне богатого турку, снял с него чалму. Приезжает домой, в деревню, бабе — подарок знатный. Она его шалью приспособила и ну бахвалиться. Все, кто чалму-шаль пощупал, потрогал, — все зачумились и померли... Послали на войну с эпидемией боевого генерала Лорис-Меликова. Тотчас в народе разговор: «Слышь, велят какую-то дикую специю заводить! А где ее возьмешь? Да и денег, чай, стоит, сукина дочь...» — «Специя что, а будет, брат, геенна огненная!»

Это как понимать? Проще простого: дикая специя — дезинфекция, а геенна огненная — гигиена... «Специей» ли, «геенной» ли, а чума поутихла, прекратилась. Известность Лориса, напротив, разгорелась. Про Харьков не буду. Скажу лишь, что там, на своем генерал-губернаторстве, Михаил Тариелыч действовал, можно сказать, мягким манером.

А все это к тому, чтоб вы поняли: не был он из петер-бургской колоды. И не из департаментской чернильницы.

Учреждается Верховная распорядительная комиссия. Граф Лорис — во главе. От разных комиссий, да еще верховных, не приучены мы добра ждать. Первая мысль: новая погудка да на старый лад. И вдруг как форточку распахнули. Как струя свежего воздуха в спертую грудь.

От имени Верховной Лорис обращается к жителям столицы. Верно, бывало и такое. Но так да не так. Тут сразу поворот наметился, а не сотрясение воздусей. У нас всякое бывало, одного не бывало — уверенности в завтрашнем дне. Тут — появилась. Полномочия у Лориса громадные, а он не стращает, не приказывает, он — обращается.

В душе человеческой есть место и для социальной мечтательности. У таких, как Михайлов, разве не было? И очень даже разгоряченная. Отчего и другим, которые не михайловы, не помечтать?! Да и поводы чуть не каждый день.

Граф Лорис приглашает к себе редакторов газет. Почти диктатор, а говорит с журналистами. Не «конский топ», нет, беседа. Да ведь это почти то же, как если б государь зазвал нашего брата в Петергоф...

Редактор мой Бильбасов вернулся от Лориса: «Вот умница! Будем сотрудничать, в унисон с ним будем!» А Бильбасов, надо сказать, не очень-то жаловал вышних сановников, был автором характеристик покрепче царской водки.

Что Бильбасов! Михаила Евграфыча Салтыкова на мякине никто не провел. А и у него будто брови не так насуплены, и он будто помолодел. В руках Лориса, говорит, громадная власть послужит к облегчению общества.

Встречаю Григоровича... (Ваш покорный слуга имел честь быть первым «настоящим» литератором, который приветил Григоровича еще в молодых его летах.) У Григоровича галльские глаза так и блестят: «О-о, Владимир Рафаилыч, у этого Лориса в одном мизинце больше материалу для государственного человека, чем во всех здешних деятелях».

Стали поговаривать о переменах положения ссыльных, о конце произвола, о подчинении Лорису Третьего отделе-

ния... Как бы свет разлился... Вот тут, соседом мне, жил некогда Некрасов. По кончине Николая Алексеича квартиру его занял Яблочков, изобретатель. Поселился и устроил у себя электрические свечи. Воссияли необыкновенно! Под окнами, бывало, толпа. Я выходил и тоже любовался. Знакомое, сто раз виденное преображалось. Снег летит такой легкий, такой веселый, в искрах... Вот что-то подобное заманчивое и возникло с приходом Лориса.

Какое оживление, упования какие! Вчера никли во мраке, на всех отблеск зловещих взрывов, а нынче — «погляди в окно». Опять ездят друг к другу, опять собираются.

Помню воскресные утра у Безобразова. Тоже лицейский, но много меня младше. А я его через Маслова узнал. Я рассказывал, как меня, молодца, выпроводили из военной канцелярии и как Маслов, Пушкина однокашник, пригрел в своем департаменте. Безобразов, тоже лицеист, был ему зятем. Безобразов — само трудолюбие, не знаю человека более усидчивого. Он и в «Голосе» сотрудничал постоянно: поставщик солидных статей, финансовых, экономических. Одно время и в Зимний был вхож: учил царских детей...

У Безобразовых, на Троицкой, в воскресное утро полон дом был, ученые мужи, не пустобрехи. Бывал и другой наш лицейский — Константин Степаныч Веселовский. Больше трех десятилетий нес он крест непременного секретаря Академии наук... Племянницу Константина Степаныча я видел дважды: у себя на даче... и на колеснице, в черном капоре, с доской на груди: «Цареубийца»; я ее рядом с Кибальчичем тогда видел — Софью Перовскую. Да, племянницей приходилась она Веселовскому, по материнской линии. Меня всегда удивляет причудливость ветвей, исходящих от одного корня...

На утренних собраниях у Безобразова не жужжали, как в прочих салонах. Там слушали регулярные сообщения: экономика, право, состояние финансов, промышленности — предметы сухие и серьезные. Все желающие приглашались высказаться. Тон задавал Безобразов. У него и приезжие из губерний не чинились. (Нечто похожее пытался учредить министр Валуев: не вышло. Больно любил себя послушать, басистую «музыку» собственной фразистости. Он и на бумаге любил ее — романы выпекал. И добро бы в столе прятал, нет, — выдавал в свет. И всегда это важничал, как спикер.)

У Безобразова появлялась и моя фигура с покрасневшими от недосыпанья глазами. Приходили и молодые чинов-

ники, прикомандированные к Верховной распорядительной. Их лица носили отпечаток озабоченности, сознания выпавшего жребия. Немножечко смешно было: во всем подража-

ли графу Лорису.

Про Михаила Тариелыча толковали, разумеется, много. И главное, с горячим сочувствием. «Хитрый» произносилось тем тоном, каким произносят: «Пьян, да умен — два угодья в нем». Ядовитое и завистливое валуевское: «ближний болярин», «Мишель Первый» — с негодованием отвергалось. Правда, побаивались, что он знает не Россию, а только русского солдата, но тотчас успокаивались: «С таким гибким умом...»

Вообразите отзыв на выстрел Млодецкого! Лорис едва начал, едва приступил, а тут этот юнец, этот мономан! У подъезда и часовые, и городовые, и казаки верхами. А юнец очертя голову... Выстрел... Пуля вырвала клок шинели, разорвала мундир... Кавказский солдат — так граф часто себя называл — хватает террориста за руку: «Для меня еще пуля не отлита!»

Передавали, что граф противился виселице. Положим, и не совсем так, а может, и совсем не так. Млодецкого казнили сутки спустя... Я не мог бы повторить за наследником: «Вот это энергично!» Но и я, как многие, очень многие, поехал на Мойку, в дом Карамзина, где жил Михаил Тариелыч. Поехал, расписался у швейцара, сказал: «Дай Бог успехов...»

Нет, подумать только! Человек ничего худого не сделал, — не какой-нибудь там Муравьев-вешатель, а ему пулю в спину! Храбрость Млодецкого? Э-э, есть и такая, что хуже простоты, которая, в свою очередь, хуже воровства. Храбрость храбростью, да надо и о России подумать, вот что я вам скажу.

А перед глазами еще стояли у меня и госпитальная палата на Васильевском, и людные похороны солдат-финляндцев. Тех, что были раздавлены каменными глыбами в Зимнем. Понятно мое расположение духа, когда пришел Александр Дмитрич?

Пока он разбирал бумаги, все во мне кипело. Раздражал и шелест бумаг, и наклон головы, аккуратно подстриженной и аккуратно причесанной, и то, что на нем свежие манжеты, и то, что указательный палец легко, без нажима лежал на ручке с пером, и то, что, закидывая ногу на ногу, он поддергивал брюки и мне был виден каблук, сбитый на сторону. В особенности почему-то бесил этот сбитый каблук.

Едва Михайлов отщелкнул замочки портфелей, как я поднялся из-за стола: «Бессмыслица! Чудовищная нелепость!» Он взглянул на меня своими светлыми, внимательными глазами. «Вы еще спрашиваете! — воскликнул я, котя Михайлов и слова не молвил. — Вы еще спрашиваете!»

«Владимир Рафаилыч, — произнес он мягко, — прошу вас, не горячитесь». — «Какое, сударь, «не горячитесь»! Впору зубами скрежетать. Являются геростраты из местечка, и пожалуйста... Где чувство ответственности?!»

Он смотрел на меня; глаза его темнели и суживались.

«Хочу предварить вас: партия не повинна в акте Млодецкого. Партия не имела отношения...» Он говорил несколько запинаясь.

«Ах, вот как! «Не имела»! Позвольте, Александр Дмитрич, я не об этом, — и указал на портфель: дескать, вполне допускаю, что бумагу, направляющую террориста к Лорису, не составили. — Но здесь, но в сердце, здесь-то как?»

Он сделал боковой выпад: «Расправой с Млодецким ваш «обновитель» России показал свои зубы. Его нравственность...»

Я оборвал: «Стойте! Чем кумушек считать...»

У него вздулись желваки, так он сжал зубы. И процедил: «Хорошо, давайте оборотимся. Случай с Млодецким, Лориса — в сторону. Давайте попробуем».

«Давно, — говорю, — пора». Перевел дух и сел, всем своим видом показывая готовность выслушать терпеливо.

«Скажите, Владимир Рафаилыч, вы признаете Миля, Джона Стюарта Миля благородным мыслителем, признаете ли?»

«Э-э... Миля? Допустим. Но прошу без сократических приемов. Излагайте, я слушаю».

«Да это и не прием вовсе. Я не ритор, говорю, как умею... Начну Милем. Он утверждал: гражданин, убивший человека, который поставил себя выше закона, выше права, — такой гражданин совершил акт величайшей добродетели... Может, и не слово в слово, но смысл точен».

«Не-е-ет, батенька Александр Дмитрич, как раз словото в слово, а смысл, простите, несколько иной. Интонация, помню, вопросительная. И Миль прибавил — сие есть серьезнейший вопрос морали. Слышите: серьезнейший и морали! Вы, надеюсь, переросли шальных мальчиков, которые кричали: «Все средства хороши, все дозволено во имя святой цели?»

«Не все средства, Владимир Рафаилыч, далеко не все. Вернее, так: все, кроме тех, что порочат самое идею».

«А убийство вашу идею не порочит?»

«Убийство убийцы? Я сейчас говорю, Владимир Рафаилыч, о главном виновнике. Тысячи и тысячи убитых там, за Дунаем, на его совести. Десятки виселиц в Польше и здесь, в России, на его совести. Сотни замурованных в каземате и замученных в каторге на его совести. И миллионы мужиков с воробыным наделом на его совести... Послушайте, мы были б счастливейшие из смертных, когда б могли оставить его в покое. Мы бы, ликуя, сложили оружие, если б он отказался от власти. Но только не в пользу Аничкова дворца, это дудки. Это и было б, как вы давеча сказали, замена одного другим. Ну нет, ты откажись от барм Мономаха в пользу Учредительного собрания! Свободно избранного, всеми, без изъятия... Неужели, Владимир Рафаилыч, вы так далеки, не знаете и не поняли: да нас насильно толкают к насилию! Ведь это как Божий день. Бросят на раскаленную сковороду и вопят: «Не смей прыгать!» Пихают в глотку кляп и возмущаются: «Чего корчишься?!» Еще Аввакум недоумевал: «Чудо как в сознание не хотят прийти: огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить!»

Я видел, что он сильно взволнован. Некоторые его доводы были мне близки. Те, которые я сам выставил в письме к Герцену. Но «серьезнейший вопрос морали» остался без ответа. Во всяком случае, я не расслышал.

«Послушайте, друг мой, — сказал я ему, и сказал-то, конечно, без следа недавнего раздражения и негодования. — Послушайте, Александр Дмитрич. Вы говорите: толкают к насилию. Но ведь и его тоже. О нет, я не о дворцовых течениях, и сейчас вот о чем... Вы мне из Миля: о человеке, который встал выше закона, выше права. Но тот, о ком у нас речь, он не встал, а самим рождением поставлен. Понимаете разницу? Он с пеленок в совершенно исключительном положении. Эти воспитатели и наставники... Да вот возьмите хотя б Жуковского. Лира чистейшая, добр и чувствителен, а знаете ли вы, что Жуковский был сторонником смертной казни? Да-да, поверьте, так... А эта атмосфера лизоблюдства? А эти рептилии в звездах и лентах, которые только и знают, что подсударивать. Кто не почувствует себя «н а д »? Власть над жизнью и смертью власть страшная. И не тем одним, что властвующий волен казнить. Тут есть, может, и пострашнее. А то, что все условия его бытия внушают ему, что он, творя частное зло, творит общее добро? Он истинно верит! Понимаете — истинно. Вот где ужас. А? Вы не приметили одно место в

«Войне и :мире»? А вот, когда Растопчин натравил толпу на несчастного купца и купца растерзали... Чем Растопчин утешил свою совесть? Я, мол, поступил так ради общего блага! А е м у , о котором у нас речь, ему и не надо утешений: он убежден — и, поверьте, не только он! — в том, что он-то и есть общее благо... А теперь спрошу: виновен иль не виновен?»

Александр Дмитрич сразу ответил: «Виновен».

Я развел руками. У меня оставалось последнее: «И те солдаты виновны?» Он не переспрашивал. Да и как ему было не понять?

У него опустились плечи. Он сплел руки в замок, сунул между колен, сжал колени. Должно быть, сильно сжал, косточки пальцев побелели.

«Это... это — трагедия, Владимир Рафаилыч. И вдвойне жуткая, потому что... — Он дышал сухо и трудно. — Потому вдвойне, что ее нельзя было не предвидеть. Но и нельзя избежать. Среди версальцев были тоже несчастные и подневольные. А коммунары в них стреляли».

Он незряче смотрел в окно. На лице медленно проступали тяжелые, крупные капли пота. Точь-вточь, как тогда, на Дворцовой, в день Соловьева.

«Террориста, — сказал он, опирая лоб на руку, — террориста, Владимир Рафаилыч, преследует видение жертвы. Это нелегко, поверьте. Тут надо самого себя прежде умертвить... Как бы сказать? В том смысле, чтоб не было ничего с л и ш к о м человеческого... Нет, не так... А лучше — вот: надо насквозь огнем прокалиться. И величайшая нежность к братьям. — Он широко повел руками, словно весь свет обнимая. — Вот этой нежностью насквозь и прокалиться, до последней кровинки».

Я вздохнул: как хотите, Александр Дмитрич, писано: «Не может древо зла плод добра творити».

Он встал, отер лицо платком, обеими руками отер, как полотенцем. И опять — из Аввакума: «Бог новое творит и старое поновляет».

С тем и ушел.

7

Когда в Лондон ездил, к Герцену, то всего-навсего Ла-Манш переехал, а едва с душой не простился: не выношу качки. Но была морская поездка, которую я не мог избегать. Вы поймете, если вам случится провожать сыновей в дальнее плавание. От чего, впрочем, избави вас небо. Морские писатели не обошли паруса и ураганы, фрегаты и корабельщиков. Одного нет: родителей моряков, родительских чувств. В тепле, под кровлей настигают приступы тоски, сиротливо, холодно. Пусть сын вон какой, на голову выше, в усах; обнимая, тычешь носом в подбородок, в плечо, а все-таки бормочешь: «Ноги-то сухие? Смотри не простудись!»

Рафаил мой плавал много, долго. Давно пора бы мне привыкнуть. Нет, не привык. И всякий раз ездил в Кронштадт на проводы. Поехал и в мае восьмидесятого. День был с тучами и солнцем, холодный... Я еще помню, как в Кронштадт ездили на пироскафе: длиннющая одинокая труба и пара огромных колес. Берд строил, англичанин. На бердовском самоваре я не катался, а только смотрел на него. Потом появились винтовые, езда убыстрилась.

Да и велико ль расстояние до Кронштадта? Рашьше говаривали: Маркизова лужа. Был такой министр — маркиз де Траверсе, адмирал... Ну, кому лужа, Рафаилу, например, лужа, а мне — море.

Взял место и отбыл с Английской набережной. Публики набралось немало. Так всегда перед началом кампании, когда там, на кронштадтском рейде, разводят пары. Родные ехали, знакомые: дамы, барышни, мужчины.

Я откинулся головой к стене и стал ждать. Хуже не выдумаешь, как эдак прислушиваться — не мутит ли? не подступает ли? И знаешь, что дождешься, коли ждешь, а иначе не можешь. Однако обошлось. Должно быть, потому обошлось, что я последний раз в церкви был недавно, на Николая Мерликийского; свечку ему поставил, покровителю плавающих.

Публика задвигалась, оживилась, повеселела. Стало быть, подъезжаем. Набрался храбрости, полез наверх, на палубу... Какая масса неспокойной воды! Плотная, огромная, враждебная — так я ее физически ощущаю всегда. И зачем столько? И эти жадные волны, вечно готовые глодать человечину.

А корабельные дымы красивы. Городские дымы — нет. Гляньте с Невы на Выборгскую — текут какие-то грязные слюни. А тут другое. В корабельных дымах — мощь, неторопливая уверенность.

Но вот и эти железные гробы повапленные: мокнут, не размокая, темные, угрюмые. Понимаю: военная эскадра, морские ассигнования, флот в готовности и все такое прочее. Понимаю, а не люблю. Ничего красивого...

Встречающие, морские офицеры и чиновники, машут фуражками. Где-то в публике и мой Рафаил... Он уже

капитан-лейтенант, а это, доложу вам, неровня сухопутному капитану... Причалили. Матросы в белых рубахах встали по сторонам трапа, помогают, подают руку. Все торопятся.

Вдруг замечаю на сходнях... Батюшки, да это Аннушка! Что за притча? Третьего дня была, а ни словом, что в Кронштадт намерена... Я рассиялся, едва не окликнул, но Анна Илларионна остановила меня строгим взглядом. Как отодвинула. Гм, так, так... И будто б не одна. Кто сей, который рядом, удалой, добрый молодец? В пиджачном костюме, уже по-летнему, без пальто. И трость в руке. Все как полагается. Но больно широк в кости, в плечах: не петербургской выделки. Не до тебя, не до тебя Анне Илларионне. Ступай себе с Богом...

Рафаил жил на Княжеской, через двор от старинного дома Миниха, где тогда были офицерские минные классы. Рафаил уже готовился съехать с квартиры: он уходил на «Аскольде» в заграничные воды. Да и вообще чуть не все офицеры оставляли Кронштадт на время практических плаваний.

Жил-то на Княжеской, да не по-княжески. Хоть и холостой... его будущей жене еще косички заплетали... Хоть и холостой, а все денег в обрез. Моим субсидиям — всегда решительное «нет». Напротив, огорчался, что в дом не несет.

Рафаил одним в меня пошел — книжник. Впрочем, не легкое чтение, а «тяжелое». Он обдумывал очерк — «Стратегические уроки морской истории». Годы спустя напечатал. Это потом, в береговое, спокойное время, когда служил помощником редактора и редактором «Морского сборника». Стало, моя взяла: хоть и мундирный, а журналист.

Я привез Рафе материнское напутствие. Он скользнул по письму: «А-а, опять инструкция генерал-штаб-доктора? Опять квазимедицинские наставления?» — «Ра-афа», — протянул я с укором, и мы оба понимающе рассмеялись.

В тот день давали традиционный клубный обед, прощальный. Шампанское, суп бофор с пирожками, и жаркое, и рябчики, и соусы, и мороженое, и кофе. Совсем как в Благородном собрании. Эх, думаю, бедняги, бедняги, и без того кошельки тощие. А бедняги — веселы, беспечны: «Кливер поднят — за все уплачено!»

Оглядываю публику. Офицеры перемешались с приезжими петербуржцами. Много молодых лиц. И очень усердно работают столовыми приборами. Не каждый день такое угощение, понимать надо.

Оглядываю публику и замечаю: кто-то мне кланяется с другого конца стола. Ба, Суханов! Николай Евгеньич Суханов, минный офицер, лейтенант... Помните? Ну, ну, тот самый, что приходил однажды с Рафой ко мне, на Бассейную. Он еще эдак весьма сурово распорядился нашей братией — «сонмом писателей»... Я ему тоже поклонился, рукой помахал.

Эге, смекаю, вон оно что — Анна-то Илларионна... Я говорил: были у меня некоторые надежды насчет Николая Евгеньича и Аннушки. Были. Относительно Рафаила и Аннушки ничего не возникало: они, по мне, как брат и сестра... Н-да-с, думаю, и Анна Илларионна изволили в Кронштадт прибыть. Однако... Однако что это она от менято «отреклась», когда на пристани? И почему это нет ее здесь, в офицерском собрании? Да, наконец, не кажется ль тебе, Владимир Рафаилыч, что рядом с Сухановым поместилась миловидная... коть и грустная, бледненькая... но весьма, весьма миловидная шатеночка. Это тебе не кажется ли, а?

Но тут меня отвлек крепкий баритон с хрипотцой. Напротив сидел штаб-офицер. Он был уже довольно-таки красен. Широкое лицо лоснилось, черные глазки светились угольями; зубы ровные, белые. Он что-то такое рассказал, все хохотали. А штаб-офицер хлопнул очередную рюмку водки и преспокойно запил несколькими солидными глотками шампанского. Потом осторожно, кончиками пальцев тронул черные усы, словно пробовал — колются иль не колются? И начал:

«А вот, господа, и другой случай. Я еще в лейтенантах хаживал. А вы, надо полагать, кадетами таскали эти дурацкие круглые лакированные шляпы. Вот новшество-то было! Хорошо, недолго... Так вот, господа. Библиотеку нашу, здешнюю, вы знаете. Не красна изба углами, а красна пирогами. Ан нет, неймется. Один болван изрядного чина надумал: давайте-ка уснастим читальную залу бронзовыми бюстами. И чьими? Как полагаете? Бюстами в с е х ... От Рюрика до наших дней. Ну, в с е х , понимаете? Открылась подписка, кто сколь может. Суют и мне подписной лист. А меня черт догадал — взял да и начертал: «Библиотека нуждается в хороших книгах; в бронзовых головах Россия недостатка не чувствует».

Мы так и покатились. А штаб-офицер прежним манером: рюмка — бокал — усы.

«Э, господа, стоп машина. Проходит день, проходит третий, я и думать позабыл. Адмирал Бутаков, Григорий

Иваныч, кейфовать не давал: тангенсы-котангенсы... Вдруг снег на голову: явиться под шпиль!

Еду, являюсь в Адмиралтейство. Оказывается, с а м требует. Тогда Морским министерством управлял вице-адмирал Николай Карлыч Краббе. Адъютант доложил да и юркнул куда-то, крыса адмиралтейская. Сижу полчаса, сижу час.

Наконец дверь настежь, я во фрунт — и остолбенел: с а м предо мною... нагишом. В чем мать родила. В одних туфлях. А я трезвый, ни-ни, ни маковой росинки. Чур меня, чур!..

Голый Краббе глянул, как рысь: «Вы что это?!» — и прибавил в три дека, по-боцмански. Заходил туда-сюда, по ляжкам себя хлопает, как в бане, и выкрикивает: «А вот и я либерал! А вот и я либерал!»

Потом руки скрестил на груди, пуп большой, круглый. И понес: «У меня в Кронштадте хоть на головах стой, а либералов не потерплю!!» Я не знаю, куда глаза девать. Взял да и уставился... Извините, господа, что было делать? Он тотчас сник. Кивнул: «Ступайте».

Боже, что поднялось! Я смеялся до слез, это уж, знаете, когда челюсть выворачивает.

Должен вам сказать, Краббе на подобные штуки вполне был способен. Страшнейший самодур! Но и добряк: своих, флотских, в обиду не давал. Каковы, однако, похабные представления о либерализме?

Вечером в собрании дали бал. Я хотел в Петербург, но Рафаил просил ночевать у него и уехать на завтра. Танцевать он не любил, мы остались дома. Пили чай и разговаривали.

В те майские дни в петербургском Военно-окружном суде был процесс. Государственных преступников судили, в их числе — доктора Ореста Веймара; это о нем так симпатично отзывается в своих тетрадях Анна Илларионна.

Отчеты наш «Голос» печатал из номера в номер. Кстати сказать, генерал Черевин, известный пьяница... Он тогда исполнял обязанности шефа жандармов. Этот Черевин приехал на вечернее заседание в изрядном подпитии. И дозволил себе выходки в духе упомянутого Краббе. И с точно таким набором соленых словечек; до них вообще охотник русский начальственный человек... И нарвался на такой отпор подсудимых, что вынужден был ретироваться. Об этом, разумеется, в «Голосе» ни строки: циркуляр Министерства внутренних дел запрещал «всякие неуместные подробности», а паче — «тенденциозные выходки» обвиняемых...

«Веймар? Доктор Веймар? — переспросил Рафаил. — Лечебница на Невском, что ли? Кажется, в том доме я покупал кортик... Н-да, Веймар... Не понимаю! Неужели ему не было ясно, что его дело именно лечебница? Что за блажь устраивать всеобщее благоденствие? Вот, папа, образец: озабочен судьбами абстрактного человечества, а конкретный человек остается без медицинской помощи... России нужны механики, врачи, агрономы. И не нужны говоруны, динамитных дел мастера. И ты заметь, кто они? Да все наперечет недоучки. Своего малого дела не знают, а все и вся готовы переиначить!»

Я отвечал, что надо сердцем понять даже заблуждающихся, что они действительно не пестовались в серьезной школе философии и истории, но что это люди большого темперамента, чистых помыслов.

Он вспыхнул: «Скажите пожалуйста, «чистые помыслы»! Чистые помыслы глупцов не стоят выеденного яйца. Эти покушения на государя? Я уж не говорю о мерзости нападений из-за угла... Есть, папа, на кораблях, на корабельных рострах эдакие громадные фигуры: Нептун, витязь, еще что-нибудь. И вот вообрази: приходит такой с «темпераментом». Смотрит на корабль. Замечает, конечно, фигуру на носу, впереди — она золоченая, она сияет. Смотрит и — ничтоже сумнящеся: а вот я ее сейчас опрокину, спихну, и амба... Спрашивается, зачем? А затем, говорит этот, с «темпераментом», затем, чтобы корабль пошел иным курсом. Ему и невдомек, какие силы движут кораблем. Он, как под гипнозом, только и видит что золоченую фигуру... Э-э-э, нет, голубчик! Изволь-ка сперва изучить течения, ветры, действие паровой машины, девиацию компаса... Изволь постигнуть! А постигнешь, тогда, может быть... и фигуру на рострах не тронешь».

Мысль о «течениях», о «паровой машине», о движущих силах — в этом было что-то, я бы сказал, не совсем русское, европейское было, что-то от германцев, от социал-демократов. Я полюбопытствовал: а что, Рафа, ваши-то, кронштадтские, неужто изучают?

«Наши?» — Рафа призадумался, но тут в прихожей позвонили. Вестовой отворил, послышался голос: «Барин дома?» То был Суханов.

Николай Евгеньич извинился, что не подошел ко мне в клубе. А вы, спрашиваю, почем узнали, что я не уехал? Да потому, говорит, что не было вас на пристани... Что-то мелькнуло в его глазах. Не то настороженность, не то досада. Я опять подумал об Анне Илларионне. Я уже не

сомневался, что она виделась нынче с Николаем Евгеньичем. И он проводил ее к последнему пароходу. Не сомневался.

Николай Евгеньич пришел с той грустной, бледненькой, которая сидела рядом с ним на клубном обеде. Она подала руку: «Ольга Евгеньевна Зотова». Суханов улыбнулся: «Моя сестра, а ваша — однофамилица».

Зотовых на Руси, конечно, не раз-два и обчелся. А мы, из которых я, мы во дворянстве совсем недавние. Отца моего с потомством записали в родословную книгу Петербургской губернии: в третью часть записали. Сами понимаете, не столбовые. Но и — снимите шляпы! — я, так сказать, царской крови. Пусть и малость, а на бахчисарайском престоле прадед сидел. «Безмолвно раболепный двор вкруг хана грозного теснился...»

А потому и сидел недолго, что явились екатерининские орлы — пришлось бежать в Балаклаву. Там стоял наготове парусный корабль. Но дед мой, тогда мальчонка, был захвачен русскими. И вместе с матерью отправлен в Петербург. По дороге она умерла, Заремой звали, из Абхазии она... Крестницей деду была государыня Екатерина Алексеевна. Он и Павлу приглянулся, дед мой: хоть и мал ростом, да силач неимоверный; Павел определил его дворцовым гренадером.

У меня семейные записки хранятся. Но они отрывочны, незакончены, и мне иногда думалось, что есть на свете родственники, которых я не знаю. Может, у деда брат был единокровный? Навряд Зарема одного родила. А может, братец сводный? Навряд Заремой ограничился хан. И этот вот брат или эти братья тоже, глядишь, Зотовыми стали. Ну, уж как там, не знаю, а стали... Думал я об этом мельком, в последний раз незадолго до поездки в Кронштадт, когда письмо получил от Маркевича.

Я это к тому, чтоб поняли, отчего у меня с Ольгой Евгеньевной, сестрой Суханова, почему именно такой разговор завязался. Замысловато получалось: приехал в Кронштадт, пришел Суханов, лейтенант, а с ним сестра, в замужестве Зотова.

Я ей объясняю: так, мол, и так. Она улыбается... Очень она хорошо улыбается, улыбка в тихой гармонии с грустным бледненьким личиком... «Муж мой, Михаил Львович Зотов, он, — говорит, — крымский, из Судака, а сейчас в Симферополе».

Ах ты Боже ты мой, крымский... «А свекор ваш, — спрашиваю, — он откуда родом?» (А у самого на уме пись-

мо Маркевича.) «Свекор, — отвечает, — тоже крымский; теперь тяжел на подъем, в акцизных бумагах закопался, а молодым не то было; полагал, что следует жить трудами рук своих — крестьянствовал, сад держал, рыбачил».

(Одно к одному ложилось. И опять это письмо от Мар-

кевича.)

«А вы, — спрашиваю, — вы, Ольга Евгеньевна, роман такой читывали — «Берег моря»?» Смеется: «Еще б не читать! В журнале «Дело» печатался, правда?» — «Правда, — киваю. — Но чему смеетесь?» — «А свекор мой очень гордился: это, мол, про меня! А роман-то из рук вон...»

И верно, не шедевр. Впрочем, тут другое. Я про Маркевича. Видите ли, этот Маркевич, лет десять, еще в шестидесятых, служил в Крыму: директор гимназии, директор народных училищ. В ту пору он и познакомился с Зотовым, будущим свекром Ольги Евгеньевны. А потом стал сотрудничать в «Голосе». Статья его об адвокатах имела шумный успех, «Софисты девятнадцатого века» называлась. В редакции «Голоса» он, Маркевич-то, и познакомился с другим Зотовым, то есть с вашим покорным слугой.

А в то время, когда я с Ольгой Евгеньевной беседовал, Маркевич жил в деревне, Щигровского, кажется, уезда, а Вольф, издатель, печатал его роман «Берег моря»; отдельное издание после журнального.

Автор вдруг присылает мне письмо. Вроде бы возобновление знакомства. Образом мыслей мы не были схожи, в одной стае не числились. Зачем написал? А черт его знает; так, на всякий случай — столичный все-таки журналист, секретарь «Голоса» и по критической части подвизается. Вот и написал. Эдакая авторская осмотрительность. А сочинение, повторяю, не из блестящих. Персонажи блеклые: татары, двое русских. И для колорита — масса татарских словечек, даже, помнится, песня татарская.

А в письме своем Маркевич писал: обстоятельства взяты из жизни вашего, Владимир Рафаилыч, однофамильца, поныне здравствующего в Симферополе.

Замечаете, господа, какие узелки? Да если б я роман сочинял, получше Евгения Маркевича управился. Но коль у меня не роман, то и должен объявить: доселе не знаю, в родстве ли с крымскими Зотовыми. А впрочем, не зарекаюсь, может быть, и в родстве.

Рафа с Николаем Евгеньевичем тем временем свой разговор вели; у Маркевича в книге словеса татарские, а у этих на языке — голландские, английские: Петр, учредив флот, открыл шлюзы терминам.

У нас с Ольгой Евгеньевной — отдельный разговор. И надо сказать, очень задушевный. Я люблю таких, как она, какой-то жалостливой любовью... Каких — «таких»? А вот как Ольга Евгеньевна, с неустроенной, по-российски неустроенной жизнью. Муж ее сидел в тюрьме. В «родной», Симферопольской. Сидел «за связи». Известно, «связи» — уже преступление. Ты, может, и не такой-сякой, да с таким-сяким чай пил — бац, бац, бац в двери: собирайся... Да, муж в тюрьме, а Ольга Евгеньевна с мальчиком у брата, на его, стало быть, лейтенантском достатке.

«Отец наш, — говорила, — врачом в Риге. Вот и я надеюсь. Учусь на Надеждинских курсах. Скоро избавлю брата от лишних забот. Трудно Николаю Евгеньичу...»

Надеждинские курсы? «Так вы, — спрашиваю, — должно быть, Анну Илларионну Ардашеву знаете?» Спросил и поймал в ее глазах тот же промельк настороженности и досады на себя — как давеча у Суханова.

«Ардашева? Анна Илларионна? — Зотова будто припоминала. — Да... Кажется, знаю... Но не очень, издали, знакомством не назовешь, шапочное».

Опять, чувствую, в стену лбом уперся. Но уже соображаю, где собака зарыта.

Время было позднее. Улица затихла. В прихожей всхрапывал вестовой. Мы еще поговорили, вместе, вчетвером. Стали прощаться, а мне не хотелось, чтобы они уходили. Какие, думал, славные, какие русские, прелесть.

Ни Суханова, ни сестру его больше не встречал. А Рафаилу моему пришлось увидеть последний час Николая Евгеньича. В Кронштадте, два года спустя.

Рафаил уже служил в Петербурге, в гидрографическом департаменте; квартиру нанял в Офицерской; там и теперь вдова его, внук мой и внучка. Служил он в Петербурге, но часто по службе пропадал в Кронштадте.

А Николай Евгеньич проломил в жизни иную дорогу. Он был с Михайловым. Их и судили одним судом. Николай Евгеньич произнес речь, очень спокойную, полную досто-инства: и никогда бы не стал террористом, если бы не ужасное положение русского народа; я никогда бы не стал террористом, если бы не видел в Сибири оборванных и голодных ссыльных, лишенных всякой умственной деятельности; я никогда бы не стал террористом, если б в России мог жить тот, кто не желает делать карьеру, а стремится облегчить участь мужика и работника...

Государь повелел: «В поучение всему Балтийскому флоту...» Была ранняя весна, холодно. И высокое, высокое не-

бо. Рафаил увидел Суханова, когда Николая Евгеньича вели к «позорному столбу». Глаза их встретились. И Рафа... Вы знаете, как он мыслил о «завиральных идеях»; я говорил вам, что он раздружился с давним своим другом... Но вот увидел, как тот идет к «позорному столбу». В старой солдатской шинелишке. И Рафа сдернул фуражку, поклонился ему низким поклоном.

Перед столбом широким полукругом стояли взводы. От всех флотских экипажей: «В поучение Балтийскому флоту». При каждом взводе — барабанщики. Контр-адмирал — главным распорядителем. А поодаль — толпа: офицеры, матросы, чиновники, лабазники, мастеровые. Женщин не было...

Суханов пристально смотрел на небо. Высокое было небо и бледное... Подошли с балахоном. Николай Евгеньич протянул руки, помогая служителям.

Ему завязали глаза. Он что-то сказал матросу, матрос поправил повязку.

Ударили барабаны. Двенадцать нижних чинов взяли на прицел. Унтер сделал знак, прозвучал залп.

Одиннадцать пуль — в грудь, одна пуля — в лоб. Никто не промахнулся.

8

Есть болезнь, тяжелая, знаете, болезнь. Иногда накатывает эпидемией, а иногда и черт знает отчего, у каждого по своему.

Конечно, важно, так сказать, предрасположение. Ну, скажем, в пятьдесят седьмом году я не заболел. После смерти императора Николая по воцарении Александра Николаича — нет, не заболел.

Вы уже слушали, как Герцен принимал в Лондоне нас, петербургских литераторов... Возвратился я к родным осинам. По возвращении, хоть и не столь часто, как в молодости, посещал театры. Кассиры оставляли за мной всегда одно и то же кресло в четвертом ряду. А крайнее кресло этого ряда принадлежало Третьему отделению. И это кресло регулярно, как и я свое, занимал голубой штаб-офицер.

Звали его — Иван Андреич Нордстрем. Чрезвычайно обходительный человек был. Мы познакомились, как знакомятся завсегдатаи-театралы. Познакомились, но беседовали подчас о предметах которые... После императора Николая потеплело; казалось, шпоры чинов Третьего отде-

ления стали звенеть мягче и тише. Вот мы и беседовали с Иваном Андреичем о материях не только театральных.

Однажды Нордстрем любезно предупреждает: дескать, у «н и х » осведомлены о моем визите к лондопскому пропагандисту, издателю «Колокола».

Я храбро отвечал, что, уезжая за границу, не подписывался в том, что, ежели встречу кого-либо из русских, зажму рот, зажму уши да и кинусь прочь.

«Так-то оно так, — добродушно молвил Иван Андреич, — однако советую принять меры на случай, когда будет сделан допрос по сему предмету».

Э, думаю, в сорок девятом году, при императоре Николае, в крепость возили и допрашивали, да и то Бог миловал. А теперь-то что? Да прах их возьми, чего тревожиться.

Минуло недели три. Опять мы в театре. И он рассказал следующее. Посол в Лондоне (забыл, кто тогда представлял государя в Англии) прислал в Петербург список лиц, посещавших Герцена. Шеф жандармов доложил государю. Государь стоял у камина. «Не дело русского посла заниматься такими донесениями», — сказал император и бросил бумагу в огонь.

Выслушав Нордстрема, я восхитился: поступок, достойный скрижалей! Я ни на йоту не иронизировал, я искренне. А чем, собственно, восхитился? А тем, что не усмотрено преступления во встрече писателей с писателем. Правда, тот был красным. «Колокол» издавал, эмигрант, но пишущие встретились с пишущим, размен мыслями. Мыслями, а не бомбами. И вот за подобное я не отправлен в равелин. И этим-то и восхищен и умилен...

Я уже говорил: портфели революционеров принял без опаски. И самих революционеров — Морозова, Михайлова — тоже принимал, не опасаясь, хотя вроде бы на дворе морозило и мысль опять почти приравнивали к бомбе. Но ведь что ни говори, а народилась на свет Божий долгожданная законность. Пусть и попирают, но есть. И реформы, и уставы, и присяжные... Нет, тут не мужество, когда портфели принял, когда Михайлова принимал, а надежда на невозможность «повторения пройденного»...

Но вот динамитом запахло. Боком, как примериваясь, двинулся к рампе Фролов — палач, исполнитель приговоров. А присяжных — в статисты или вовсе долой. Студеным потянуло ветром... Казалось, должно было меня ознобить. Не так ли? Нет, оставался спокоен. Э, думаю, есть мезенцевы, есть дрентельны, но нет ведь ни Бенкендорфа, ни Дубельта. Бенкендорф с Дубельтом исчерпали

всю дьяеольщину; каким-то там мезенцевым-дрентельнам крохи достались; да почему бы, наконец, не предполагать, что и они не хотят «повторения пройденного»?

А болезнь моя таилась в крови. Приступ настиг под утро. Ночь минула в обычных беспокойствах с выпуском «Голоса»; стало быть, минула спокойно. Я сразу уснул, мне ничего не снилось. И вдруг я мгновенно очнулся. В доме было тихо. Никто не звонил в парадную дверь. Да мне и не мерещились ни шаги, ни звонки. Но это-то и было самое худшее. Отчетливо сознавая, что в квартире нет посторонних, я отчетливо сознавал, что в се равно кто-то присутствует. Вот это-то и было хуже всего.

Понимаете ли, не предчувствие — чувство. Не предположение — уверенность. Доводы рассудка нейдут на ум. Они бессильны, кроме одного: как можно требовать разумного от действительности, если действительно неразумное?

Не сознаешь унизительности своего ужаса. Потому что ужас-то не рядом, не под окнами, где светает, ужас в тебе, в твоих жилах. И вот сидишь, спустив на пол голые ноги, в ночной рубахе сидишь. Нет, не похолодевший, не в жару. И сердце стучит ровно. Но словно бы опустело, совсем полое. И стучит как бы лишь с разгона, вот-вот остановится. А ты опять-таки будто и не замечаешь. Ничего физического, телесного не замечаешь...

Ужас, однако, не бесконечен. Он медленно сменяется тоской. Ах, как ты хорошо, как покойно ты жил. У тебя была семья, любимые занятия были, книги были... (Обо всем думаешь так, словно ничего уже и нет, все утрачено.) В конце концов, даже Жи-Жи не плох, даже он, Жижиленков... Все было хорошо, покойно... Так зачем? Зачем? Ты ведь давно знаешь, что ход вещей есть ход вещей, что мир таков, каков есть, что сама несообразность жизни, очевидно, определяется некоей высшей гармонией... Разве тебе мало искусства? Ты мал и нищ в искусстве, но ты — «царь, живи один...»

Боже мой, какая тоска... Встаешь, умываешься, целуешь жену, завтракаешь — все машинально. Потом садишься к столу, заваленному бумагами, книгами, и приливает странное, двойственное блаженство, словно возвращаешься к друзьям, но уже готов сказать: «Прощайте, друзья...» Так же медленно, как смена давешнего ужаса... да, вот так же медленно тоска уступает место обычному досадливому удивлению: ах, как этот абзац неловок!

И начинаешь перебелять, мельчишь на полях, тянешь красную карандашную черту... Какая отрада! Век бы шур-

шать, как мышка. Я никого ке трогаю, подите прочь. Оставьте мне кчиги, мои бумаги. И эту отцовскую чернильницу. Ее крышка золоченой бронзы весома, рука ощутив ее тяжесть, не заспешит рысью по бумаге...

Но бьет час, надобно идти в редакцию. Потягиваешься, пьешь чай. И вдруг как выныриваешь: да в чем, собственно, дело? Чего ты? Пустое! Нервы! Будет! Стыдись!.. И лишь далеко и тоненько дребезжит: не-е-е-ет, не пусто-о-о-ое...

Все неизменно в редакции. Швейцар, принимая пальто, легко проведет ладонью по твоей спине, по лопаткам — это он удаляет невидимые пылинки, а вместе и ласково отсылает тебя наверх. Рассыльный вскакивает и кланяется: его лошадиная, небритая физиономия, как всегда, выражает неудовольствие. А вот и раздражительный метранпаж со своими докуками. Устойчиво пахнет гуммиарабиком, калошами, гранками. И по-прежнему Кирилл с Мефодием глядят тихо, благожелательно: в редакции и в типографии были иконы Кирилла и Мефодия...

Начинают являться сотрудники. Все — ко мне. Редактор приезжает поздно, да и не охотник Василий Алексеич до подробностей. Ну, все и ко мне... Подслеповатый Введенский, шумливый Загуляев. Загуляев политический отдел вел, а потом начудил романом. Исторический роман, прости Господи. Загуляевы, они как? Десять книжек прочтут — одиннадцатую напишут. И штришки, и старинный оборотец, а стариной и не веет...

Да, Введенский, Загуляев, третий, пятый... И внезапно обожжет: Господи, царица небесная, кто из них твой погубитель?! Кто?.. Опять одернешь себя: пустое! стыдись! совестно подозревать порядочных людей! Но нет, встрепенулась твоя болезнь... Покамест еще не утрешние ужас и тоска, а этот гнусный трепет, когда сам себе противен. И уже знаешь, что все повторится, что будешь сядеть в ночной рубахе, замечая и не замечая, как опустело твое сердце.

Теперешняя наука обнаружила разных мельчайших возбудителей страшных болезней. Вот и во мне гнездилась эдакая палочка. Ни доктора Коха, а Николая Палкина. Но скажите на милость, много ль я выстрадал? Всего-навсего день в крепости. Другие в тюрьмах, в ссылках долгие годы — и ничего. Так ведь то другие, из тех, которых сжигали на высоких кострах. А я... я не той породы. Сорок девятый год, крепость, допросы, и вроде бы их позабыл, да они-то оказывается, словно бы сами меня не забывали...

Посреди такого ужаса, тоски и трепета и застал меня однажды Александр Дмитрич. Конечно, не его вина. Никто меня не приневоливал. А если в корень, то и без его архивных портфелей, без его посещений меня все-таки настигало бы то, что настигало.

Нет, Михайлова я не винил. Однако, едва он вошел, как я... Уверяю вас, совершенно невольно... Я быстро и воровато выглянул из окна. И отпрянул. Должно быть, у меня было жалкое лицо.

Александр Дмитрич смотрел на меня вопросительно. О, я бы дорого дал, чтобы он смотрел подозрительно, хоть с тенью подозрения! Дорого дал, потому что тут бы, наверное, и признался во всем: да, да, милостивый государь, вот так-то и так-то и ничего со мной не поделаешь!

Но нет, он лишь молча вопрошал. И, не дождавшись моего слова, сказал: «Когда я к вам, Владимир Рафаилыч, я семь раз отмерю. — Он кивнул на окно: — Там — чисто».

Я, нежданно для себя, рассмеялся: «Шпионина, он тоже душу имеет...» В голосе Александра Дмитрича было столько спокойствия, что у меня отлегло. И вспомнилось: «Ш п и - о н и н а ».

А это было вот что. Покойный Некрасов посещал водолечебницу на Адмиралтейской площади. (Впрочем, тогда уж бульвар устроили; клумбы пышные, а деревья как шпицрутены.) Николая Алексеича всегда жена сопровождала. После лечебницы сядут они на скамье в сквере передохнуть. В этот час государь совершал свою прогулку. А в Адмиралтействе квартировали филеры. «Мы с Зиной привыкли их видеть выходящими на службу, — рассказывал Некрасов. — Как-то выходит один, а следом супружница с ребеночком на руках. Агент помолился в сторону Иссакия, потом поцеловал супружницу, а ребеночка перекрестил. Зина растрогалась: «Ведь вот, шпионина, а душу в себе имеет человечью».

Александр Дмитрич усмехнулся и повторил: «Шпионина», — видно, понравилось. «А я, — говорит, — на том бульваре другую особь видывал. На Исаакий не молился, а двум дамам кадил, об руку с ним шли. Седой, высокий, усы тоже седые. Свежий старик. Котелок, пальто с иголочки. Некая французская знаменитость. Да-да, Владимир Рафаилыч, свои-то филеры лядащенькие, ну, вот и милости просим — европейский аршин. Не ради черновой работы, этот тебе не станет танцевать на ветру, нет, наставником его выписали прямо из Парижа: наших доморощенных учить.

Говорят, старается, шельма. Велел на запасные фуражки раскошелиться и на пальто двойного покроя. Юркнул в подворотню, вскочил в подъезд, пальтишко вывернул, шапчонку переменил — извольте-с, я не я... Ловко?»

«Ну, — отвечаю, — в прекрасной Франции по сей части продувные бестии. При Луи Наполеоне — ого как изощрились. А «ваш», — говорю, — щеголь с двойными пальто, он, видать, времен Клода».

Александр Дмитрич чрезвычайно заинтересовался.

Позже, когда «пьеса» была сыграна, Анна Илларионна объяснила, что Михайлов был большим... Как бы это сказать? Словом, он пристально изучал Третье отделение. Любую мелочную подробность. Некоторое время Александр Дмитрич жил поблизости от меня, нанял комнату на Литейном, в доме Николаевского... Это там, где теперь цветочный магазин и провизор сидит... А как раз напротив половину второго этажа занимал какой-то крупный чиновник Третьего отделения. К нему на доклад шастали по утрам уличные соглядатаи. Александр Дмитрич часами наблюдал из окна — терпеливо, настойчиво, цепко... Анна Илларионна утверждала, что он из толпы на Невском умел выудить, «шпионину» — вон, мол, тот...

Наконец, это он, именно он, Михайлов, вел дела с Клеточниковым. У меня, то есть не у меня, а в портфелях, которые у меня, лежат тетради — сообщения Клеточникова: все о «шпионинах». Только не уличных, наружных, а, так сказать, внутренних, домашних...

Позвольте несколько в сторону. Впрочем, не думаю, что в сторону, потому что, упомянув Клеточникова, совершенно необходимо отчеркнуть одно обстоятельство. Я говорю о громадной заслуге моего героя перед своими товарищами...

Клеточникова я никогда не встречал. То есть, может, и встречал где-нибудь на Литейном или Пантелеймоновской, это вполне вероятно, он ведь в службу-то ежедневно направлялся, но такие «встречи» не в счет.

Анна Илларионна его и в глаза не видела. Да что там моя Аннушка, коли этого Клеточникова даже из вожаков «Народной Воли» отнюдь не все удостоились лицезреть.

Но представьте: его видела, слышала, и притом зная, что это — именно Клеточников, что это — именно тот, что служил в тайной полиции... Кто? Сто лет гадайте, нипочем не отгадаете! Клеопатра Безменова, сестра Михайлова, у которой моя Аннушка в Киеве останавливалась. Да, да, Клеопатра Безменова, урожденная Михайлова!

Как так? Почему? Каким образом? Однако... Эх, господа, беллетрист во мне очнулся. Не хотел спускать с цепи беллетристику, да велико искушение. И посему не обессудьте, объясню в конце моего рассказа...

Коротко сказать, Клеточников два года гнездился в самой гуще, где «шпионина» роилась. Невозможно переоценить вес и значение его тихой и вместе безумно-отважной деятельности для всего подпольного братства. Истинный спаситель! Равного в этом смысле не найти, судьба редчайшая.

Правда, нечто схожее, не в такой, конечно, степени, но случалось. Про то нынче, может, два иль три человека помнят... Вам имя Глинки что-нибудь значит? Э, нет, не Михайлы Иваныча, музыканта нашего кто забудет... Нет, литератора Глинки?

Да-а, вот наша участь: век пиши — и в Лету бух, никто и не вспомнит... Глинка умер в тот год, когда Михайлова арестовали, стало быть, в восьмидесятом. Умер едва ли не столетним. Во всяком случае, не ошибусь, — за девяносто перевалило, это верно. Я его знавал стариком — во время Крымской войны и позже он здесь жил, в Петербурге. Уже и в ту пору был он чуждым гостем средь новых поколений; общий закон, все ему покорны, кто до глубокой старости тянет. Но дело не в этом...

Видите ли, Глинка, Федор Николаич, молодым обретался в стане будущих декабристов. Можно сказать, один из учредителей «Союза благоденствия». А служебно состоял при санкт-петербургском генерал-губернаторе, в канцелярии. И как раз в круге его обязанностей было наблюдение за крамолой. Голову на отсечение не дам, но слыхал: Глинка кое-что делал схожее с тем, что делал Клеточников. Однако размах последнего — ни в какое сравнение с первым! Да и по длительности во времени тоже не сравнишь.

Я наперед оценку выставил: громадная была заслуга Александра Дмитрича. Попробуем сообразить обстоятельства.

Первое вот что. Если ты задумал водворить своего человека в шпионское гноище, тот должен быть чист как слеза. (Разумеется, по жандармской мерке чист.) Революционер или даже малость причастный — негоже, ибо находятся, могут находиться в поле зрения «голубых».

Второе. Допустим, чистехонький человек найден. Ну и что? Вы берете его под локоток и — за ушко: «Моп cher, ступай ты Пантелеймоновскую, к Цепному, будешь сообщать нам...» И так далее, в таком примерно духе... Да он

зыркнет на вас диким глазом и шарахнется прочь. А то и хуже; засеменит с доносцем в зубах.

Теперь третье. Хорошо, отыскали вы не токмо чистого, но и наклонного вам содействовать. Опять-таки вопрос: готов ли он сей секунд леэть в пасть акулы? Согласитесь, задача! Прикиньте на минуту к своей персоне. Вот вы, именно вы, а не кто-то другой, если б вам эдакий предмет? А? По сущей совести, как? Я, например, ни под каким соусом! И страшно и мерзко.

В чиновники Третьего отделения сподобиться непросто. Барашком в бумажке не проймешь, не обойдешься. Но это, так сказать, практическая сторона. Как такую шахматную партию разыграть, Михайлов быстро и ясно расчислил. Есть всепроникающее «средствие» — протекцией называется, а этот Клеточников пользовался особым благорасположением какой-то вдовой штаб-офицерши, полковницы кажется. А та была не то в родстве, не то в кумовстве с влиятельным жеребчиком известного ведомства. Тут-то и сквозила лазейка. Понятно, игольное ушко, но все-таки. И получилось, как Михайлов расчислил.

Однако поначалу его иная забота мучила. Круче и сложнее практической. Повторяю, речь шла о человеке не шибко революционном. Да и вообще госпожа Безменова, сестра Александра Дмитрича, она просто была поражена, глядя на Клеточникова: такой слабенький, волосики дымчатые, близорукенький, голосок негромкий... И это простенькое: «Кле-точ-ников». Гм, клеточник... Клеточник — птичьи клетки мастерит...

Оно правда, не всяк тот герой, у кого грудь колесом, а усы пиками. Это так, верно, а только очень не вязались геройство... и Клеточников. А Михайлов уловил, угадал, учуял такое подспудное, чего он, Клеточников, сам за собою не ведал. Пробудил и возжег долгое, ровное пламя. Говорят, Клеточников прямо-таки влюбился в Михайлова, боготворил. Пусть так, но одной влюбленности недостало бы. И надо было быть Михайловым, и надо было быть, согласитесь, Клеточниковым, чтоб сделать то, что они сделали. Ведь тут не вспышка, не мгновение, — нет, долгое и тяжкое подвижничество.

Да, а тетради покойного Клеточникова доселе у меня, в тех самых портфелях. Жаль, не знал я в ту пору о таких связях Александра Дмитрича. Я это к тому, что иной раз приступала ко мне эта боязнь шпионов. Знал бы, глядишь, и не дрожал. А впрочем... Впрочем, наверное, все-таки дро-

жал: где и Александру-то Дмитричу со своим Клеточниковым углядеть за всем летучим роем?

Так вот, в тот день, когда Михайлов застал меня в приступе моего позорного страха, в тот день, когда я заговорил с ним о записках француза Клода, Александр Дмитрич очень заинтересовался. А меня так и свербило желанием мазнуть дегтем по воротам тайной полиции.

И тут во французской прессе подвернулись мне записки Клода. Потом отдельной книгой в Париже издали — публика падка до всего, что к полиции относится.

Клод был начальником полиции уголовной, а не политической; однако — малый осведомленный — он и про тайную немало карт раскрыл. Карты битые, времен битого Луи Наполеона. Десятилетней давности, но речь-то об империи.

Записки Клода лежали на столе. Мысль была: а что, ежели перевести, компиляцию сотворить да и напечатать? (Впоследствии в «Историческом вестнике» напечатал). «Откровения» Клода привлекли Александра Дмитрича. Пусть и французская, но тайная полиция, а он, Михайлов-то, повторяю, был «Народной волей» как бы приставлен особым наблюдателем за Третьим отделением.

Извольте, говорю, хоть сейчас вкратце доложу. Ну и принялся заглядывать в эти самые Клодовы записки: как нанимают агентов подстрекателей, как перлюстрируют, как его величеству народные чествования устраивают и все такое прочее.

Александр Дмитрич — весь внимание. И что-то вдруг особенное почудилось мне в его глазах, едва упомянул я про то, что Луи Наполеон учредил сверх всего еще и личную тайную полицию.

Да-да, представьте, мало такой, обыкновенной, что ли, он личную завел. И вот это, мне показалось, особенно насторожило моего гостя.

Почему? Я в толк взять не мог. И вам сейчас объяснять не стану. Потерпите, господа. Прочтете третью тетрадь. Анны Илларионовны — сообразите. А пока недоумевайте, как я тогда недоумевал...

Хорошо. Теперь что ж? Да! Как раз в ту пору слух шелестел: дескать, граф Лорис-Меликов намерен упразднить Третье отделение! Александр Дмитрич смеялся: волку случается надевать овечью шкуру.

А между тем в августе того года... Стало быть, восьмидесятого... В августе, господа, свершилось: Третье отделение приказало долго жить! Я как-то пытался передать вам чувства от кончины императора Николая: летать захотелось! Примерно так и в августе. Подумайте сами — кошмар, всепроникающий кошмар исчез. Будь ты скептиком, а воспримешь, полной грудью хлебнешь.

Один мой приятель... Я упреждал, некоторые имена, как и некоторые обстоятельства, не открою, и не спрашивайте. Ну-с один, стало быть, приятель мой доверительно беседовал с графом Лорисом. Это уже после убийства государя, после отставки Михаила Тариелыча. В Ницце, поздней осенью восемьдесят первого.

Вот там среди роз, в огорчительном для него покое, у синя моря он доверительно рассказывал моему приятелю об этом самом упразднении.

«Я, — говорил Михаил Тариелыч, — давно подумывал, еще когда в Харькове генерал-губернаторствовал. Гнусное учреждение! Выше министров, выше комитета министров. Слово шефа жандармов все решало. Я был свидетелем, как в комитете министров придут к согласию, а шеф жандармов Дрентельн, оказывается, иного мнения. Ну и все перерешается.

Когда я пришел, сразу стал искать союзников. Вижу, никто не верит, что возможно. Даже его высочество цесаревич не верил, хотя на себе испытывал гнет шпионской опеки.

А знаете ли, кто верил? Княгиня Юрьевская. У нее, положим, были давние счеты с Третьим отделением. Это еще когда она не была Юрьевской, а была Долгорукой. Шеф жандармов пытался устранить «эту девчонку». Разумеется, в угоду императрице. Но как бы там ни было, а Екатерина Михайловна была за меня. И надо отдать ей полную справедливость: она подготовила почву. Однажды сообщает: «Теперь ваша очередь, я все сделала».

В августе, третьего числа, был мой доклад. Государь выслушал очередные дела, надо откланиваться. А я — ему: «Ваше величество, у меня есть еще один вопрос...» — «Что такое? Говори!» — «Ваше величество, упраздните пост вице-императора». — «Что такое? О чем ты?» А я — ему: «Вам, государь, угодно так шутить на мой счет. Но об этом не шутя пишут в Европе и толкуют у нас. Положение ненормальное. Я стал между министрами и вами. Я их по рукам вяжу, совсем ущемил. Притом, ваше величество, давно пора объединить полицию явную и тайную. Они должны идти к одной цели, в одной упряжке». И пошел, и пошел развивать давною свою идею: Третье отделение долой, обратить оное в департамент Министерства внутренних дел. И министерству подчинить корпус жандармов.

«Уважьте, — говорю, — ваше величество, осчастливьте...» На другой день — соответствующий доклад у государя. Утвердил! Я принял Министерство внутренних дел».

Вы, конечно, смекнули: граф Лорис мыслил как администратор: положение в империи в деле полицейском — лебедь тянет в облака, щука — в воду; надобно устранить разнобой. А мы, которые вне администрации... нет, лучше сказать, под администрацией... мы одно видели: упразднили, нет больше Третьего отделения. Есть, правда, департамент. Но он нам представлялся просто одним из многих департаментов.

Опять-таки разница и дистанция между такими, как я, грешный, и такими воителями, как Александр Дмитрич. «Нет, — толкует, — пока престол и корона, ни черта лысого не дождешься». Эх, думаю, милый ты мой, не гони чудо-тройку, лучше медленно, чем конвульсии: в медленном — созревание, от конвульсий, вызванных бомбой, извините, выкидыш.

Я верил в постепенные, медленные перемены, а он — нет. Вот тут и разница, тут и дистанция, не говоря о прочем. Хотя отчего бы и об этом прочем не сказать?

9

Погоды у нас постоянно непостоянные, а наше северное лето — карикатура южных зим. Но и мы пользуемся виледжиатурой 1 .

Дачный кейф не по мне, я шалею. Эти прогулки с соседями, дамы под зонтиками... Что-то надо говорить, кого-то надо слушать. Приглашают к ужину. Как и нам не пригласить? Сидишь и маешься, а у тебя рукопись на столе сиротеет. И комары! О проклятое племя...

Однако не все худо. Подняться нараньи — хорошо. За полночь у лампы — хорошо. Не расслабляющая ванна с облаткой «Катэн», были такие, якобы спасали от ревматизма... Нет, покой равновесия, когда труд движется плавно. Городскую гиль — фу-у-у — как сдуло. Все эти крупные столкновения мелких самолюбий; сто раз зарекаешься и все встреваешь... А тут остаешься наедине с собой, с деревьями, кустами, дымом очага. Сливаешься со всем, что окрест, — и эти осины, ели и облака, и скрип качелей.

Ах, если б круглый год. Ах, если б не журнальная и газетная поденщина. Без мышьей беготни, без этого вечно-

¹ Villeggiatura — отдых на даче (итал)

го «некогда». И никаких новостей, толков, слухов. А вот эта светлая полоса от лампы на дощатом крашеном полу и уютный шум поезда там, за ельником.

Мечты, мечты! А сам знаешь, черт возьми, что навсегда отравлен керосинным душком свежих гранок. Знаешь, что осенью неудержимо повлечет домой, на Бассейную, и на Троицкую, к Безобразовым, и на какой-нибудь юбилейный обедик у Бореля... Но — это осенью. А пока поднимаешься, когда роса и туман, и потом допоздна у лампы — кусты уже не вразбивку, не каждый по себе, а фиолетовым общим пятном.

Мы жили в Левашове, по Финляндской дороге. Я купил «приют убогого чухонца», чуть не весь гонорарий за первый том «Истории литературы» ухлопал. А тогда, в восьмидесятом году, заканчивал третий, предпоследний: словесность французская, румынская, славянская.

Уезжая из Петербурга, повидался с Анной Илларионной. О Кронштадте — ни звука. Словно и не встретились на пристани. Скрытность Александра Дмитрича — это я признавал натуральным. Но Аннушка? Скажите на милость... какая заговорщица!

Э, нет, не то чтобы не принимал ее всерьез. Но вот она меня... А я не мог и пикнуть о портфелях. Я про них сказал ей много позже, когда Александра Дмитрича не было на свете, а ко мне годами никто не являлся.

Короче, я был задет и даже приобиделся. Однако ворчливо взял с нее слово приехать в Левашово. Прибавил, что приглашаю, буде заблагорассудится, с друзьями. И еще что-то в том смысле, что ее друзья — публика мне не чуждая. Она меня обняла и поцеловала, как в детстве, девчушкой, ну и я, конечно, тотчас размяк.

Минул месяц моей виледжиатуры, и она приехала. На Ильин день приехала. И не одна. С нею был Александр Дмитрич, были еще двое — мужчина и женщина. В мужчине я сразу признал молодца с окладистой бородой, которого видел на кронштадтской пристани. А женщину, очень молодую, хрупкую, интеллигентную, с выпуклым чистым лбом, эту я никогда прежде не видел.

Понятно, они назвались какими-то именами-отчествами, не помню какими. (Я наперед вам заявил, что нет охоты интриговать, заманивать, а потому — вот имена подлинные: Андрей Иваныч Желябов и Софья Львовна Перовская.)

Тот Ильин день памятен мне. Никаких чудовищных гроз, не загорелось нигде и молнией никого не поразило.

Илья хоть и раскатывал в своей колеснице, но где-то далеко, за горизонтом; тучи хоть и набухали, но проходили стороной.

День этот остался со мною навсегда. Я и сейчас радуюсь, что был он в моей жизни. Из того, что я намерен сейчас рассказать, вы вряд ли уясните, почему он так мне светел. Но лучше сперва расскажу... О, не ждите каких-либо приключений или ужасных тайн.

Они приехали из душного, пыльного города, и никаких у них дел ко мне не было. Мы ходили к озерам, в осиновую рощу имения Левашова, сидели на пнях, на траве валялись. Полями вернулись домой, обедали. А вечером нам долго насвистывал самовар. Вот и все.

Жены моей не было, она отправилась в Парголово, к старинной приятельнице. И хорошо сделала, а то... Видите ль, слово «социализм» режет ухо Любовь Иванны: «Как! Не будет прислуги — все равны!!!!»

Давно мне хотелось услышать живое от живых людей. Не прочесть, а именно услышать. Вот так, как в Саратове, от старого старика Савена. Помните? Но мы-то с ним толковали о прошлом, о Франции. А теперь я сам был, так сказать, современником робеспьеров и дантонов. И хотел услышать не о прошлом — о будущем. И не о Франции — о России.

Повторяю, прочесть прочел кое-что. А живого слова, чтоб в глаза глядя, еще не слыхивал. Морозов не в счет. Когда Ольхин, присяжный поверенный, представил мне серьезного юношу с пушком и в очках... ну, разве Морозов мне ответил? «Республику учредим» — и только, весь ответ. А с Александром Дмитричем как-то не приходилось. Ну, однажды сказал об отречении Александра II, об избрании Учредительного собрания. Опять, согласитесь, туманно...

Не подумайте, пожалуйста, что при виде молодой компании я сразу и решил — вот он, час. Ничего подобного. Я и не намеревался. Но вышло-то именно так.

Молодые люди, убежав из города, они ведь тоже оторвались от суеты и новостей. Пусть и другого свойства, не таких, как я. Но ушли, уехали. И может, в душе у них возникло это чувство освобожденности, когда новым взором видишь молчаливую жизнь. Молчаливую и полную высокого смысла. Я думаю, так оно было.

Неприкаянно и нервно жили они в городе. Это страшное напряжение, это ожидание ареста, недавний политический процесс, выпуск нелегального, ночные встречи... А тут — поле, лес, медленные облака, дальний гром. И эта потреб-

ность в мечтаниях. Ведь есть она даже у самых прозаических натур. Какой-нибудь мильонщик-железнодорожник, какой-нибудь биржевой маклер и те могут размечтаться не только о подрядах или курсе акций.

Теперь прошу в обыденность.

Надо вам сказать, поставщиком моего двора был один финляндец. Дважды в неделю дюжий Тойво привозил на своей повозке свежие припасы: зелень, молоко, парную говядину. Брал по-божески, доставлял час в час. Но вот чтото у него стряслось: повозка ли поломалась, по хозяйству ли, не знаю. И приехал он с большим опозданием. Жены, повторяю, не было; кухарка наша держала бразды.

Еще маркиз де Кюстин, будучи в России, отметил склонность малых сих к деспотизму: фельдъегерь лупил станционного смотрителя, тот — ямщика, ямщик — лошадь. Каждый, поелику возможно, деспот... Наша Аграфена баба была смирная, незлобивая, но, сознав свою «ролю», напустилась на Тойво. А тот, дюжий и белесый, виновато переминался с ноги на ногу. Аграфена машет руками, топает ногами, того и гляди ухват схватит.

В разгар баталии явились гости. Здороваясь с ними, я проводил взглядом Тойво, шагавшего рядом с повозкой: «Печальный пасынок...»

Скажите: вы когда-нибудь пытались поймать изначальность какой-либо мысли в голове вашей? Исток уловить пытались ли? Отчего принимает такое направление, а не иное?

Нет, смотрите. Кухарка разбранила финляндца. Он удаляется со своей повозкой, кобыла дергает хвостом... О чем бы, кажется, подумать? Об Аграфене? О деспотизме, который дремлет и в простой душе? Или о бедняге, которому досталось на орехи?.. Так нет! Мысль явилась, никогда прежде и не возникала: а что, думаю, мои робеспьеры и дантоны, вот эти молодые люди, что, думаю, они, поборники свободы, предпримут для «пасынков»?

То есть о чем я? Не Тойво, даже и не великое княжество Финляндское, а вообще пасынки... Никогда я не размышлял об окраинах империи, хотя и читывал умного Самарина.

Вот о чем подумал и о чем спросил. Отнесся ко всем, ни к кому в частности. Мне ответил Желябов: «Да, право нерусских, штыком пригвожденных к русскому царству, — отделиться».

Ответить-то ответил, да я почувствовал, что задел слабую струну. Не в том смысле, как говорят, желая указать

нечто излюбленное. Как раз напротив! Слабая была струна — неуверенного звучания, вот что.

И Михайлов, Александр Дмитрич, подтвердил мою догадку. «Право, конечно, должно быть дано. Но только не сразу. Сперва нужен дружный, соединенный натиск, а после — право. Когда победа, когда твердая победа».

«Извините, Владимир Рафаилыч, вопрос не сегодняшний и даже не завтрашний...» Я посмотрел на Перовскую. В глазах ее была досада. Она прибавила: «Исключая многострадальную Польшу. Польше право на самоопределение — немедленно. А вообще-то так еще далеко, так далеко, что и обсуживать не стоит».

Я рассмеялся. Ладно, «будем петь мы и веселиться», пойдем за ворота. А сам думаю: нет, братцы нигилисты, не понимаете вы в этом, как и я, либералишка, не понимаю... То-то и оно.

Вышли со двора. Проселок вел к лесу. Небо большое, облака, поле... И разговору, мыслям дан толчок. И надо изгладить неприятную заминку с этими «пасынками». Значения-то не придавали, а все ж досадно: ветхий человек, я то есть, да вдруг и обнаружил уголок, где у них сумерки.

Снова — Желябов, в голосе не то укоризна, не то докторальность: «Вы о тунгусах, о финнах... Это вопрос. Но лишь один из многих. Мы вовсе не отрицаем, что еще много следует поработать мыслью».

«О-о, — говорю, — это уж верно. Умри — лучше не скажешь. На голом отрицании голым и останешься. У человека, — говорю, — есть потребность в положительном идеале. — «Разумеется, есть», — отвечают. «Хорошо, очень хорошо, господа, но в таком случае в чем сей идеал?»

Александр Дмитрич весело прищурился: «Ишь, Владимир Рафаилыч, ему инженерный прожект подавай: тут мост, а там туннель устроим». — «Э, — говорю. — Александр Дмитрич, давно замечаю у вас беззаботность по части теорий...»

Михайлов был благодушно настроен: «Теории, теории... Есть еще и логика фактов, то есть сама жизнь, Владимир Рафаилыч».

Вижу — и Желябов с Перовской, и Аннушка моя, — вижу, все готовы вступиться за Александра Дмитрича: «Вы его не знаете!», «Вы Дворника не знаете!»

«Дворник»... Я, кажется, ни разу не называл его Дворником? Не нравится, не любил и не люблю. Что это еще за Дворник? Ничего в нем дворницкого не замечал... А какой резон был окрестить Александра Дмитрича — Двор-

ник? Мне Анна Илларионна потом объясняла: особая роль в организации — неусыпное рвение к чистоте и порядку. И как бы наблюдатель за всеми «жильцами». Чтоб, значит, держались в рамках тайного, конспиративного благочиния. Понимаю, но не принимаю. Грубо. Да и к тому, именно «дворниками» министр Валуев изволил бранить нашу редакцию, редакцию «Голоса»: эти «дворники-грамотеи».

«Нет, — отвечаю, — я Александра Дмитрича знаю. Про родовспомогательный инструмент, например, знаю: (Это я разумел террорную доктрину.) Но, положим, дитя народилось. Положим, Учредительное собрание приняло дитятю. А дальше? Впрочем, — говорю, — я в свое время знавал Петра Лаврыча...»

И опять, как в тот раз, когда и Михайлову назвал имена Герцена и Петрашевского — радостные, наивные: как? где? когда? неужто Лаврова знавали? Автора «Исторических писем»? Издателя «Вперед»?

(И замечаю, как у моей Аннушки горделивая улыбка возникает — это она мною гордилась.)

А мне опять-таки лестно. Лестно и немножечко... ну, грустно, что ли, так скажем. Если я самого Лаврова знавал, то какой я для них, молодых-то моих гостей, какой я для них старикашечка? Ведь Лавров эмигрировал, когда все они — и Александр Дмитрич, и Желябов с Перовской, — все они еще зелеными были.

«Да-с, — говорю, — имел удовольствие. Давно, лет двадцать тому. Во-первых, в Шахматном клубе встречались, в доме Елисеева, на Мойке. Публика? Да как вам сказать, в одно слово не уместишь... И Валуев, вот только что недобром помянул, бо-ольшой англоман, вития. И хитрый лис Комовский, еще пушкинской поры лицеист, тогда, дай Бог памяти, кем-то по ведомству императрицы Марии. И ученый генерал Михайловский-Данилевский, историк... И, представьте, Чернышевский захаживал... И вот, стало быть, Лавров, будущий знаменитый автор знаменитых «Исторических писем». Внушительная фигура, глаза серо-голубые, выпуклые, не то удивленные, не то близорукие. Руки красивые, нежные; на мизинце — рубиновый перстень.

Играть с ним было трудно. Куда мне, щелкоперу? Ведь Петр Лаврыч, он для вас философ, политический писатель, а ведь к тому и великий дока в чистой математике. Остроградскому не уступал. Потягайся с таким. Память — феномен, логика — таран!

Сядет, уставится на фигуры и ну своим мизинцем-то с перстнем рыжие усы пушить. Усы неровные, нехоленые.

Пушит, «Лавриноха», пушит, «рыжая собака», — эдак его юнкера честили: он читал им математику, боялись его юнкерки... Пушит, пушит, да и распушит тебя, не поспеешь оглянуться. И рассмеется сочным смехом, широко рассмеется: дескать, мат, сударь, уж не сбессудьте...

Клуб Шахматный закрыли — не терпят, чтоб люди сходились приватно, даже и благонамеренные: ой-ой, общественное мнение проклюнется! А впрочем, и не вполне благонамеренных хватало. Сентенцию нашему клубу такую вынесли: «В нем происходили и из него исходили неосновательные суждения». В том самом, шестьдесят втором, позакрывали все воскресные школы и читальни; вон уж когда упования наши получили громкий щелчок по носу...

Но мы-то с Петром Лаврычем встречались не только в доме Елисеева. Я помогал Краевскому издавать «Энциклопедический словарь», помощником редактора был, а Лавров, он у нас вел философский отдел. Тем и обратил на себя внимание «голубых»: «наиопаснейший революционер»! У меня письма его хранятся. Так, ничего особенного, деловые, а все ж — «наиопаснейшего». И книги он у меня брал. (Как позднее, много позднее Александр Дмитрич, я говорил.)

Отрадно, когда слушают тебя не из почтения к сединам. Еще отраднее, когда для младых ушей минувшее не тлен и прах. Не секрет: юнцы подчас небрежничают прошлым. Поверьте, это не стариковская воркотня. Кажись, не лукавая мудрость: без вчерашнего нет нынешнего, как без нынешнего нет завтрашнего. Истина простая, да не всякому вдомек... Молодости многое простительно? Согласен. Только не высокомерие к прошлому. Каждый имеет право на глупость, но зачем злоупотреблять этим правом?..

Да, вспомнился мне Петр Лаврыч. И тут-то, признаться, неожиданно для меня и возгорелся разговор об идеале. Не то чтобы мои молодые люди молились на Лаврова, не здесь суть, а в том, что выдалась минута, общее и согласное движение в душах — и полет мечты. На больших крыльях полет. Вдохновение истинное. Это уж когда «слезами обольюсь»... И понимаете ли, даже я, старый воробей, был захвачен и покорен. Потом, в другие дни, у своей вечерней лампы, в одиночестве, потом словно бы и огляделся с «холодным вниманьем», но тогда... Ах эти дальние, медленные тучи, простор и синее с голубым. И эти вдохновенные, славные, молодые лица... И какая громадная картина возникала — во всю ширь, дух захватывало...

Мужицкая община, от края до края России нашей, цветущий, сильный мир земледельцев — фундаментом, и не в

одном хозяйственном значении, а и в нравственном, как мир совести, где мужик выпрямляется духом; грязный шлях с колупаевыми и разуваевыми остался в стороне, его минули, почти не задев. Дым кочегарок, лязг железа музыка для хозяина-работника. Несть эллина, несть иудея, а есть сообщество тружеников. О, никакой складчины подушек и корыт, этой наивности в духе Роберта Оуэна. Совместный труд не тотчас, а постепенно, без того, чтоб декретом. Русский мужик сам понимает: большая семья крепче. А плоды усилий — делить. По потребностям каждого — это да, это так, но только и в расчет брать твои личные усилия. Община решит по справедливости. не пол одну гребенку... Свободные федерации свободных общин вот Россия будущего. И никаких лейб-гвардии полков, а территориальная армия. И в народе, от мала до велика, не только желание, но и умение, потребность и умение пристально следить за ходом всех дел в государстве. И воля народа всегда и везде, во всяком установлении. Помню совершенно отчетливо: «народоправление». Это Михайлов произнес, Александр Дмитрич. И тотчас добавил: «Поначалу власть берут революционеры, затем, по обстоятельстьам, устанавливают народоправление».

Но и это «по обстоятельствам», но и оно, говорю вам, не остановило моего внимания — все застила громадная, прямо-таки величественная картина.

Боюсь, вышло у меня и сбивчиво и неполно, хуже того, сухо, книжно, доктринерно. А ведь там у нас, в Левашове, когда мы холмами к Токсову шли и обратно, там ничего книжного не было. Вот в чем соль! Были полет, мечта, вдохновение.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Тетрадь третья. О, давнее, школьное: выведешь — «Анна Ардашева», а ниже крупнее — «Сочинение». И в тупике, и не знаешь, с чего начать.

Владимир Рафаилович говорит, что в помощь мне письма. Они есть, эти письма, вернее, копии, моим почерком, мною копированные. Письма были по-французски, на сероголубой, в рубчик бумаге с монограммой и короной, красиво оттиснутыми.

Я видела женщину, которой адресовались эти узкие серо-голубые письма с неизменным обращением: «Madame».

Ее дочь, малютка четырех лет, заболела брюшным тифом. Понадобилась ученая сиделка, сестра милосердия. Казалось, чего проще, когда твоя дочь — государева дочь? Однако тонкие обстоятельства затрудняли Юрьевскую-Долгорукую.

Она еще не была светлейшей, не была Юрьевской и, котя уже жила в Зимнем дворце, таилась в каких-то почти секретных апартаментах. В то время как раз ожидали из-за границы государыню, больную, умирающую. Дворцовое «общественное» мнение негодовало на Долгорукую. Княжна боялась дать повод к лишним пересудам. «Пригласить сестру милосердия? А! Но она расскажет... Расскажет!» Короче, нужна была такая сиделка, чтоб не «рассказала».

Император хотел писать принцессе Ольденбургской, покровительнице Общества Красного Креста. Но Платон шепнул обо мне генералу Рылееву, своему начальнику, а тот доложил государю.

Платон примчался в Эртелев:

— Скорее! Скорее!

Я была задета: вот еще новости! почему посмел решать за меня?

Он надулся:

— Как! Хотел порадеть родной сестрице. Нельзя всю жизнь таскаться по трущобам и пользовать нищих. Милосердие не отличает высших и низших, ты просто обязана, как это сделала бы на твоем месте любая другая. Да, наконец, в каком я теперь положении?..

Пришлось ехать во дворец. Брат провел меня через какую-то боковую, маленькую, таинственную дверь. Я увидела коридоры, слабо освещенные газовыми светильниками, старых слуг в седых висячих бакенбардах, какие-то лестницы, переходы. И вот сильно натопленная комната с японской ширмочкой, за которой лежала больная малютка. Ее няня, мадемуазель Шебеко, встретила меня настороженно и нелюбезно; у нее было лицо злюки.

Когда читаешь о дворе, о большом свете у новейших беллетристов, то сколь бы они ни старались, а все выходит, словно в щелку подсмотрели, в замочную скважину. Как прислуга, когда у хозяев званый вечер.

У меня нет охоты описывать свои «придворные дни». Скажу только, что видела и говорила с княжной Долгору-кой, будущей морганатической супругой императора, с той, которую недруги называли Екатериной Третьей. Надо при-

знать, она была хороша — цветущая, в меру полная, светлая шатенка, причесанная просто и изящно. Говорили мы, разумеется, о больной, о лекарствах, об уходе за девочкой.

Видела я и тетку больной девочки, княгиню Мещер-

скую.

Княгиня Мещерская была ко мне подчеркнуто ласкова. А я пыталась определить, чем это она полонила Эммануила Николаевича, нашего погибшего полковника, а потом и моего брата Платона.

Мария Михайловна не уступала Екатерине Михайловне: рост и стать для полонеза с конногвардейцем, волосы прекрасного золотистого оттенка. Но побей меня Бог, если она не принадлежала к юркой породе наушниц и сплетниц, тех, которым товарки в институтах и пансионах задают трепку, а они все равно ябедничают...

Не странно ли: я выхаживала маленькую больную в те самые дни, когда Халтурин заканчивал свои рискованные приготовления; и дежурила у постельки за японской ширмочкой в те долгие вечера, когда неподалеку от дворца Желябов поджидал Халтурина и осведомлялся — скоро ли?

Об этом происшествии, определившем, после нелегкого разговора с Александром Дмитриевичем, мое положение в организации, напишу несколько ниже. Однако и то, к чему перейду сейчас, тоже связано с событием пятого февраля восьмидесятого года.

Платон во время взрыва находился в офицерской комнате главной караульни и получил контузию в голову. Его отвезли в Мошков переулок, на казенную квартиру. Поздним вечером ко мне, в Эртелев, явился мингрелец из государева конвоя. Кавказца прислал капитан Кох, приятель брата. Карл Федорович извещал о случившемся и просит приехать к брату.

Извозчики не показывались. Я отправилась пешком. Сыпал сухой снег. На Литейном еще были огни, а дальше все реже. В изгибе Пантелеймоновской, из ворот штаба корпуса жандармов скользнули, визгнув полозьями, несколько санных упряжек. Инженерный замок встал громадно и призрачно. С Марсова поля плавно и плотно неслась широкая снеговая завеса. От придворных конюшен грубо, но приятно тянуло лошадьми, и этот запах, мешаясь с метелью, веял дальней дорогой, бубенчатой тройкой...

Я застала у Платона человека лет пятидесяти с лицом неумным, но добрым. Комендант императорской главной квартиры генерал Рылеев смахивал скорее на какого-нибудь начальника провинциального гарнизона, нежели на

воспитанника Пажеского корпуса, преображенца и генерал-адъютанта. В нем не угадывался военный сановник, который вот уже пятнадцать лет не отходил от императора. (Если Александр II надеялся на преданность Рылеева, то не ошибся. После смерти государя безутешный Рылеев удалился от дел. Говорят, он и поныне, вот уж десяток лет, ежедневно ездит в крепость, ко гробу своего благодетеля.)

Генерал только что вернулся из дворца и, не заходя к себе, навестил «бедного Платошу».

— Какое гнусное преступление, — вздохнул Рылеев. — Надо благодарить Господа за новую милость и чудо. Печальные времена, матушка, печальные... Ну-с, теперь вы с Платошей, и я спокоен. Ничего, за битого двух небитых дают. А ведь тоже Господня милость: на войне уцелел и нынче уцелел.

Генерал опять вздохнул, перекрестился и пожелал доброй ночи.

Платону было худо. Он лежал вытянувшись, плашмя, смежив веки. Он послушно принял снотворное и скоро забылся. Я зажгла ночничок, посидела рядом и вышла в соседнюю комнату, служившую Платону чем-то вроде кабинета.

Я смутно представляла круг братниных обязанностей, но домашних письменных занятий у него, по-моему, не было. Однако я увидела письменный стол с серебряным слоном-чернильницей и оплывшими свечами. На этажерке красного дерева были брошены как ни попадя «Военно-технический указатель», книжки «Артиллерийского журнала», номера «Русского инвалида» и «Гражданина». У стены стоял низенький диванчик.

Платону услуживал молодой солдат. С робкой улыбкой деревенского увальня он подал мне чай, принес постельное белье казенного образца.

Я села в кресло у стола. Спать не хотелось: физическая усталь не одолевала нервного напряжения.

Я ничего не знала о халтуринском рукомесле в Зимнем дворце. Взрыв был мне неожиданностью. Он воскрешал в памяти оранжевый блеск вполнеба, долгий гул порохового склада в осажденной Плевне.

Громкость события была очевидна. Если револьверный выстрел тоже был пропагандой, то какой же пропагандой надо счесть динамитный раскат в чертогах русского царя?!

Много позднее я слышала: «Народная воля» создала силу из бессилия». Увы, это сказано слишком хорошо, ибо не

только mot¹, но и правда. Косность массы — отсюда бессилие заступников и должников народа.

Однако многие ли смогут из бессилия создать силу? Самим создать, самим и опереться на нее. Вот как натуры, подобные Александру Дмитриевичу, — они были сами себе опорой. О нет, Михайлов был счастлив товарищами и счастлив в товариществе. Но их дорога не была усеяна розами — отсюда необходимость внутренней опоры на самого себя.

Да, силу из бессилия... Александру II, напротив, не достало сил для бессилия. У него не хватило мужества для трусости. Конституцию полагал он династическим бессилием, династической трусостью... Впрочем, такие соображения возникают потом, после, когда огненный факел начертал копотью: «Finita²».

А в ту февральскую ночь, в ночь после взрыва... О чем думала, что чувствовала? Повторяю, сознавала громадность происшествия. Но была кровь... Кровь несчастных солдат лейб-гвардии Финляндского полка.

Я едва не захватила взрыв, я «разминулась» с ним на день иль два, потому что дочка княгини Долгорукой, девочка за японской ширмочкой, выздоровела.

Я сидела в кресле, позвякивая связкой ключиков, вставленных в ящик письменного стола. Потом так, без цели потянула ключики, ящик выдвинулся. Перочинный ножик, початая палочка шоколада, янтарный мундштучок... Мне котелось курить, я взяла янтарь и опять потянула ящик — нет ли папирос? И взгляд упал на серо-голубой листок, узенький, с монограммой и короной листок, исписанный мелко-мелко, ровными строчками, и я сразу поняла, что это не почерк Платона.

Уверяю, я не намеревалась читать, хотя уже и прочла: «Маdame!» — но дальше я вовсе не хотела читать. И не потому лишь, что заглядывать в чужие бумаги неприлично, а потому, что далеко была мыслью, нашаривала папиросы. Но глаз как зацепился за слова: «Возник новый план злодеяния».

И... вот письмо.

«Мадам!

Я имел честь получить Ваш любезный, обнадеживающий ответ, переданный через мадемуазель Шебеко и нашего коллегу, облеченного полной доверенностью Лиги.

¹ «Словечко», находчивая реплика (франц.).

² Finita la commedia — представление окончено (итал.).

Клятва, связывающая меня, препятствует разъяснению многих положений. Однако некоторая осведомленность о тех глубоких и высоких чувствах, которые Вы питаете к Его Величеству, а также невозможность бесконтрольного обращения к императору дозволяют мне в нынешние опасные времена прибегнуть к милостивой посреднице, без колебаний полагаясь на ее скромность.

Итак, перехожу к сути дела.

Общество, пребывая в безмятежной дремоте, лишь прислушивается к глухим толчкам адского мира нигилистов, революционеров, социалистов — этих российских санкюлотов.

А между тем этот мир раздается вширь и бурлит на всю Россию. Он подобен нарастающему приливу. Его не остановил Трепов; он поглотил Мезенцева; он угрожает и другим особам.

Эти гнусные проявления, мадам, казалось, должны были пробудить определенную часть общества, но все ограничилось возгласами «о, Боже», словечками «говорят, что» и незначительными мерами.

Но когда прилив нарастает, угрожая затопить престол, когда эта шайка предается разработке дьявольских планов покушений на жизнь Его Величества и посылает Соловьева с револьвером в руках, общество обязано во гневе пробудиться.

Увы! Оно остается безоружным, лишенным средств сопротивления. Меры полиции — это сплошной вред, ибо полиция — институт, где каждый только отбывает свою повседневную обязанность.

Что же делать? Как предупредить мятеж, революцию? Радикальная перемена или тупое выжидание?

И вот, мадам, в эту годину кризиса нашлось тринадцать человек, которые не впали в общую одурь и решились спасти того, кто слишком хорош для народа, не знающего признательности.

Я имею честь, мадам, принадлежать к этим тринадцати. Мы объединились против выродков рода человеческого. Мы поклялись, что никто и никогда не узнает наших имен. Мы торжественно обязались трудиться не покладая рук, дабы парализовать и уничтожить Зло, образовать железный круг, ограждающий Его Величество, и умереть вместе с Его Величеством, если Ему суждено погибнуть.

12 августа 1879 года мы основали Лигу, род ассоциации, управляемой тайно и неизвестной полиции, которой, впрочем, и без того многое остается неизвестным. Название нашей Лиги — Тайная Антисоциалистическая Лига (Т. Ас. Л.);

наш девиз — «Бог и Царь»; наш герб — звезда с лучами и крестом в центре.

При желании, мадам, вы могли бы составить представление, коть и смутное, о нашей Лиге, вспомнив общества франкмасонов.

Ныне у нас насчитывается около 200 агентов. Число их непрерывно растет во всех уголках России. Отмечу, мадам, что четверть наших агентов находится среди революционеров.

Сила ничего не может поделать с неуловимыми. Лига не прибегает к силе, но тем не менее споспешествует падению социалистов. Осторожность, с которой мы работаем, иногда мешает полиции задерживать лица, достойные виселицы. Мы предпочитаем действовать медленно, но верно.

Поэтому, мадам, Лига не присваивает себе права жизни и смерти, придерживаясь законов, установленных Его Величеством. Однако у нас есть «Черный кабинет», предназначенный для криминальных дел. И все ж подчеркиваю: мы хотим творить добро, не марая рук в крови.

Скажу, мадам, что ни Вы и никто иной в нашем круге не представляет ужасы нигилистской бездны. Чтобы понять, что там происходит, надо спуститься в жерло вулкана, готового исторгнуть пламя.

Спешу уверить Вас в своем уважении и в том, что моя жизнь преданного подданного принадлежит Вам и Его Величеству.

Великий Лигёр Б. М. Л.

P.S.

Будьте добры передать ответ через человека, который принесет это письмо, сказав: «Qui».

Мне стало тяжело и душно, будто меня с головой накрыли кислым овчинным тулупом.

2

Владимир Рафаилович, надо полагать, был немало озадачен, когда я столбенела в его редакционном кабинете, не объясняя, что мне нужно. Да я вправду, каким канатом потянуло меня в редакцию «Голоса»?

Две ночи и день провела и у брата, в Мошковом. Приезжал обязательный Кох. Старательно, вдумчиво, словно

^{1 «}Да» (франц.).

боясь упустить еще и еще подробности, капитан повествовал о взрыве в Зимнем дворце.

Казалось, капитан испытывал некоторое мрачное удовлетворение. Наверное, в глубине души он считал, что взрыв во дворцовых покоях как бы снижал его, Коха, ответственность за прошлогодние выстрелы Соловьева. Ежели вы, господа, не разглядели злоумышленника, который так долго гнездился у вас под боком, да еще рядышком с дворцовым жандармом, то что там корить человека, коему приходится охранять государя среди уличной суеты или на площадях?!

О солдатах, убитых и раненых, я уже слыхала. Но обстоятельность капитана. Ах, эта педантичность...

Я видывала и передовые перевязочные пункты, и полковые лазареты-«околотки», и смрадные вагоны эвакуационных поездов. Но даже тот, для кого война — мерзость, преступление, гнусность и зверство, даже тот видит в жертвах войны неизбежное. А теперь, за мерным и твердым голосом Коха, для меня вставало иное. Совсем иное! Непереносимое и мучительное. Не потому, что в душе мгновенно, остро и больно возникло сострадание: это было мне знакомо и даже, пожалуй, привычно. Непереносимое и мучительное было в этом убийстве и калечестве ни в чем не повинных людей, называвшихся лейб-гвардейцами, убийстве и калечестве, которое принесли им люди, готовые, я могла в том поручиться, да, готовые хоть сейчас сложить свои головы за мужиков, но только не лейб-гвардейцев или просто армейцев.

И все эти доводы: нельзя, как ни печально, обойтись без жертв; подневольные хранители венчанного злодея стоят на пути, трагические столкновения есть и будут; пока армия оплот произвола... Все эти доводы, о которых я знала и без прокламации Исполнительного комитета, не имели для миня никакого значения.

Значение имела только кровь. Не слово, которое пишут чернилами или типографскими литерами, нет, минуту назад живая и вот умирающая кровь, венозная или артериальная, выпущенная из жил, из рваного мяса. Она, и только она, имела значение.

Но было еще и письмо, прочитанное ночью, тайком, письмо, от которого волосы дыбом, и нельзя было говорить с Платоном об этом ужасном, странном письме неизвестного происхождения; нельзя было спрашивать не только потому, что брат страдал от контузии, не только поэтому.

Я понимала, что никто не сумеет мне помочь. И все-та-ки я кинулась к Владимиру Рафаиловичу. Почему? Зачем?

Не знаю. Что-то давнее, наивное, беспомощное, детское. Так, наверное... Мы с ним поехали на Васильевский остров, и я осталась в госпитале Финляндского полка.

На моих руках кончился старик Свириденков, разводящий дворцового караула. Он узнал меня: я ухаживала за ним в окслотке, там, на чужой стороне. Вот мы и встретились два года спустя, на своей стороне. Он умер так, что я не уловила его последнего вздоха: словно задумался, сосредоточенный и суровый.

И в госпитале, где предсмертный хрип перемежался отходной, которую читал полковой батюшка, и потом в долгой многолюдной процессии, провожавшей на кладбище убитых и умерших от ран солдат, под это шарканье сотен ног на мерзлом снегу, осторожное покашливание и нестройное, то возникавшее, то утихавшее пение «Святый Боже» в сознании моем разворачивалась строгая и печальная решимость уйти из фракции террористов.

Но куда?

Два месяца оставалось до экзаменов в Надеждинских врачебных курсах. (В апреле я получила наконец право самостоятельно практиковать.) Стало быть, уйти в медицину? Нет, не в беспечальное житье, а приняв обязанности в одной из лечебниц для бедных, учрежденных городской думой. Но и такой уход — уход в то, что теперь называют «малыми делами», — был нравственно невозможен. Он выглядел бы отступничеством, больше того — изменой.

Однако стан погибающих не ограничивался «Народной волей», хотя она и вобрала в себя очень многих из прежних народников-землевольцев. Существовал «Черный передел», отрицавший террорную доктрину. В «Черном переделе» был Жорж, Георгий Плеханов... Но тут вставала препона, не имевшая решительно никаких объяснений ни в теориях, ни в уставах или программах. Тут обнаруживался мотив сугубо личный.

Об уходе своем или, лучше сказать, переходе я думала и решала, мысленно сторонясь Александра Дмитриевича. Я не видела его с середины января, и я не бросилась к нему после взрыва в Зимнем дворце. Я не хотела, я бунтовала: не дамся решать за меня!

Но ведь он-то, именно он, Александр Дмитриевич Михайлов, он находился в той фракции «стана погибающих за великое дело любви», которую я намеревалась оставить.

«Находился»? Как хило, слабо, как бледно сказано! Он был в организации, она была в нем. Поразительная слитность. Других примеров не знаю. Знала преданных, верных,

убежденных, стойких. Но сквозил просвет, пусть тонкий, как волос, но просвет между своей личностью и той совокупностью личностей, которая и составляла организацию.

Умудренные опытами жизни, русские крестьяне видят в мужицком миру олицетворение общественной совести, высоких побуждений: «Мир — велик человек! Каждый порознь не может попасть в рай, а мира, деревни нельзя не пустить».

Вот так и Александр Дмитриевич в его отношении к организации... И опять — «отношение»: как это блекло. Нет, любовь не к отвлеченному, абстрактному, а к совершенно реальному, как бы и не к совокупности личностей, а к новой Личности, возникшей из совокупности: «Мир — велик человек!»

А я... я собиралась отколоться от этого «мира». И не боязнь Александра Дмитриевича, не боязнь его властного влияния (а оно было, нечего скрывать) нет, иное чувство понуждало меня сторониться.

Если сказать, что то было нежелание причинить боль человеку, которым я дорожила по-особому, совсем не так, как другими, если это сказать, то не выйдет ли, во-первых, навязывания Александру Дмитриевичу некоей детскости, а во-вторых, не покажется ли желанием преувеличить собственный вес в глазах Александра Дмитриевича? И все-таки именно нежелание причинить ему боль удерживало меня от объяснений.

Однако объяснение было неизбежным. Хотя бы о том, что мысль об уходе или переходе во мне возникала. Не могла я утаить это желание! Утаить и остаться — нет, невозможно.

Мысль об уходе возникала? Едва я подумала об этом в прошедшем времени, словно о чем-то, что было, но минуло, меня точно ударило: значит, ты допускаешь, что можешь и остаться? Ты не приемлешь террорную доктрину, террорные средства, но останешься — будь честна с собою — лишь потому, что есть террорист по имени Михайлов?

О-о, в таком случае, мадемуазель Ардашева, тебе цена пятиалтынный! И далека ли ты, нигилистка, от какой-нибудь барышни-смолянки? Да, да, не гневайся, матушка. Орхидеи из Смольного всегда обо-жа-ют царствующего. Каким бы ни было его царствование, одно знают — обожание.

Кто-то из прежних беллетристов, не помню кто, а повесть называлась «Монастырка», в детстве читанная, очень мило воспел институток. Да и у Гоголя они симпатичные. Так и ты, что ли, ждешь эдакой жалостливой симпатии?

Не дождешься. От Михайлова первого и не дождешься. Он при тебе говорил однажды, что только порок и слабость просят снисхождения, что есть скрытый эгоизм в расчете на снисхождение, которое унизительно, как для того, кто его ждет, так и для того, кто его оказывает.

И еще одно. Не определишь, вторичное ли. Потому не определишь, что все шло вперемешку, а не в тетради по линейке.

Я говорю о письме, прочитанном ночью, в Мошковом. Ужас был не в том, что чужая тайна. Что за домашние мерки! В мои руки попало конфиденциальное письмо заклятого врага. Вот и все. Даже в ту ночь, когда сделалось душно, когда ошеломила причастность Платона, я нашла силы переписать весь текст. Этого мало. Я переписывала по-русски, хотя будто и машинально. Но и в самой машинальности крылось намерение... Я не для себя переписывала. А потом... потом — опять: мой брат, мой Платон, какой стыд, какой ужас. Я брата любила, я очень любила Платона, и я знала, что он не мерзавец.

Была минута, когда я с вдохновенной радостью отвергла подлинности Антисоциалистической лиги. Господи, да это маскарад, фейерверк! Светские интриганы обо-жа-ют костюмированные балы. Вот и братец мой, дурачок, играет в игрушки: этот шутовской хитон в его гардеробе, хитон с кабалистическими знаками! Лоботрясы несчастные...

И такая была минута, но искрой, быстро угасла.

А Михайлов что-то не приходил в Эртелев. Он не давал мне новых поручений ни по закупке бумаги для типографии, ни по добыче кислоты для динамитной мастерской (я часто действовала по этой части, надевая платье сестры милосердия), не посылал с прокламациями или номерами «Народной воли», не просил встретить Н. Н. на Николаевской станции и принять маленький чемоданчик, каковой и доставить по такому-то адресу... Меня словно позабыли в моем флигельке, хотя я аккуратно выставляла на подоконнике знак безопасности — бронзовый, еще дедушкин канделябр в стиле Людовика XVI.

После наших поездок в Харьков и особенно в Чернигов я убедилась в его осмотрительности, всечасной осторожности, интуиции, чутье. Я уверовала в счастливую звезду Михайлова и не особенно тревожилась.

Однако теперь, прочтя в этом проклятом письме об агентах Лиги, «работающих» среди револционеров, я не

могла не тревожиться. Правда, в том письме я прочла, что Лига не торопится выдачей полиции лиц, «достойных виселицы», но это не меняло дела.

У меня был адрес одной конспиративной квартиры в Кузнечной. Хозяина не назову, ибо он здравствует и поныне; готя тетради мои предназначаются заветному портфелю, я не вправе упоминать этого человека... Адрес его дал мне Александр Дмитриевич: «На крайний случай, Анна!»

На условный звонок мне отворил Л. (Обозначу так). В комнате я увидела Николая Алексеевича Саблина. Мы были знакомы, но мало. Его привлекали еще по «Большому процессу», по делу 193-х. С той поры он скрывался, вел, как сам сказал, заячью жизнь. Родом, кажется, москвич, он редко показывался в Петербурге. После раскола «Земли и воли» Саблин тянул к чернопередельцам, но я ничуть не удивилась, увидев его в нашей народовольческой квартире. Разойдясь во взглядах и поделив партионные средства, старые народники не только не порывали дружеских связей, но подчас союзничали во всякого рода технических делах.

Саблина, однако, привели сюда не технические заботы. Он, оказывается, тоже «уловил» Александра Дмитриевича. Пригласил меня дожидаться вместе; улыбаясь, показал на стол с закуской и бутылкой вина:

— От Дворника может влететь. Надеюсь, управимся до него? С вашей-то помощью, а?

Саблин был элегантен не хрупкой, комнатной элегантностью, а какой-то крепкой, ладной. Пронзительно синеглазый, по-актерски бритый, он и напоминал актера. Он был весельчак или хотел им казаться, и это ему удавалось. Но сейчас, хотя и улыбался, хотя и принес вино, он отнюдь не глядел любителем выпить и повалять дурака.

Николай Алексеевич бросил на меня внимательный взгляд, налил вино, и мы пригубили — «за встречу».

— А я вот, — сказал Саблин, — исповедуюсь... — Душевные невзгоды-с. Если не возражаете, продолжу? Стих нашел...

И продолжил:

— Да, устал. Устал от этой заячьей жизни. Слоняюсь как неприкаянный: от брата, он в «Русских ведомостях», в ресторанчик на Петровке, где богема, а из этого тухлого «Палермо» — к брату... Одна радость: Глеб Иваныч Успенский приедет... — Саблин посмотрел на меня, потом на Л. и покачал головой, точно сам себя осуждая. — Хорошо бы, конечно, в деревню податься. Да беда: о чем я с мужиком

толковать стану? Совсем «обгорожанился», в крестьянстве ни бе ни ме.

- Но ты остаешься чернопередельцем? спросил Л.
- Гм... По названию, что ли... Ну, скажи на милость, какая правильная деятельность возможна в деревне, ежели репрессии лавиной? Ну, а за «Хитрую механику», за брошюрку в Сибирь? Не глупо ли, а? В деревне тьматьмущая, там бы прежде школы завести, а меня, ей-ей, не влечет культуртрегенство.
 - Что ты решил? спросил Л.

Саблин помолчал, собирая и распуская морщины на лбу.

- Что решил... Знаете, как в струе кислорода горит? Вот так и сгореть.
 - Постой, Николай Алексеич, ты что это?
- Эх, братцы мои, надо к сильным приставать. Хоть какую-нибудь пользу принесешь, а то ведь, право, лишний человек.

Я слушала все напряженней.

— Но вы, — сказала я, — вы не верите в террор?

Он взглянул на меня строго, совсем как бы и не по-саблински. Он будто колебался, говорить иль не говорить, но ответил без долгих слов:

- Нет, не верю.

Откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.

— Не верю, — повторил негромко и твердо.

Я не сводила с него глаз.

- Ну, а в революцию тоже не верите?
- В революцию верю. Очень верю, Анна Илларионовна. Да только не в завтрашнюю и не послезавтрашнюю. Она невозможна, пока не созреет.
- Стало быть, встрял Л., вот так, как ты: сел да и ручки сложил?

Саблин усмехнулся.

— На мой счет ты, брат, прав. Покамест прав...

А если серьезно, то нынче России, знаете ли, кто необходим? Сеятели! Да-да, сеятели впрок. Как вот лес разводят. У них там, в европах: дед разводит, и не для себя, не для детей даже — для внуков. Это что? Расчет просто? Может, и расчет, да только и огромная культурная выдержка, вот что, господа. Нынче всех важнее — простой учитель. Вот так-то. Да-с, простой учитель, а не мы... Мы-то кто? Мечтатели, идеалисты! Если угодно, страстные художники новой жизни.

— Ну, так бери букварь и ступай, — сказал Л.

Саблин выпил один, никому не наливая, будто и позабыл про нас. И опять откинулся на спинку стула, но тотчас вскочил и быстро прошелся из угла в угол.

- А то-то и дело, что не могу...

Это «не могу» прозвучало почти страдальчески. Лицо Саблина не исказилось, нет, но на лице его словно бы появилось то, что называется маской Гиппократа. Он вдруг напомнил мне полковника Мещерского. Ни единой черты схожей, а напомнил, и я подумала: «Его убьют, непременно убьют...»

— Цеплялся было за мысль о личном благополучии, — сказал Саблин с горькой иронией. — Опять не могу, плюнул бы сам на себя. Не-ет, струя кислорода и сгореть. Последняя карта у террористов. И если она будет бита...

Он словно бы отступил в сумрак и задумался.

Мы с Л. молчали.

- И тогда? спросил наконец Л.
- Тогда? Тогда на много лет все замрет. И постепенню, как, знаете, жизнь из пучины морей, постепенно опять возникнут споры о теории, кружки разные, потуги либералов сторговаться с правительством... Вот так, думаю, будет.
 - Николай Алексеич...

Я будто позвала его, не обратилась, а именно позвала, и, наверное, что-то такое было в моем голосе, потому что Саблин вдруг улыбнулся мне, широко и легко улыбнулся.

- А не нытиком сделаться, а? И не стреляться. А коли и застрелиться, так чтоб хоть малый, а толк.
 - И вы...

Он не дал мне досказать.

- Я к ним пойду.
- Не верите, а идете?
- Иного нет. А так-то что? Так оно и никчемушно.

(Минул год. Произошло первое марта. На Тележной улице жандармы брали конспиративную квартиру. И мужчина средних лет, как писали газеты, — оказавшийся государственным преступником Саблиным, застрелился...)

Он шел к «Народной воле», а я уходила от «Народной воли». Он уходил от «Черного передел», а я шла к «Черному переделу». «Сеятели впрок нужны... Не могу», — сказал он. А я? Я разве могла? Но послушай, сказала я себе, ты вчера только, нет, ты еще час назад излагала, что и можешь, и должна?

Я встала.

— Куда вы? — удивился Л.

А Саблин не удивился.

— Она к ним.

Л. не понял. Я поняла.

Они проводили меня в прихожую. Я просила передать Александру Дмитриевичу, что жду его у себя завтра, непременно жду, очень нужно, совершенно безотлагательно.

3

Шапку, бороду, каракулевый воротник, лацканы пальто — все запорошило крупными хлопьями. И снегом пахло от Александра Дмитриевича. Должно быть, он быстро шел — лицо горело. И должно быть, очень ему были по душе и эта шибкая ходьба, и снежные хлопья, и ветер, и конка. Он, наверное, хорошо, крепко себя чувствовал, физически хорошо, телесно крепко, радовался снегу, ветру, начавшемуся дню.

А я ощутила утреннюю нервическую вялость, душное, комнатное, дряблое. Я стала отворять форточки.

Он давал мне адрес Л. «на крайний случай», и мой давешний визит в Кузнечную, вероятно, казался ему странным, потому что какие уж «крайние случаи» могли приключиться с легальной Ардашевой, не связанной прямо и тесно с делами, по-настоящему опасными. А раз так, кой черт эта Ардашева заявилась к Л. поздним вечером? Уж не порывы ли сердца?

Такую вот «логику» я мысленно навязывала Александру Диитриевичу, пока отворяла форточки, а он отирал бороду и лицо. Предполагая такую «логику», я сама была алогична, потому что почти хотела, чтобы он подумал о «порывах сердца».

А Михайлов уже сидел верхом на стуле, как студент в курительной комнате, и уже извлек из кармана записную книжечку, словно готовясь изложить очередное поручение.

И эта прозаическая готовность укрепила меня в сейчашних мыслях: ну, понятно, его сиятельство в совершенной убежденности на счет моего вчерашнего посещения конспиративной квартиры. Того и гляди сделает выговор.

- Постойте, сказала я, указывая на записную книжечку.
- А я ничего, ответил он. Я так, для себя... У вас тут, в соседнем доме, в крайнем подъезде отворили черный ход. Раньше-то был заколочен, а теперь пожалуйста. А во дворе там стена низенькая, так что очень

удобно. Вы это запомните: не ровен час, и пригодится. Не вам, так другому...

— Ишь ты, успели заметить? «В соседнем доме...» Я

тут век живу, а не знала.

— Давно заметил. А нынче проверил... А заметил-то давно, еще в канун войны, когда вы в славянофильском кокошнике щеголяли. — Он рассмеялся. — Бывало, вас послушаешь, так на квас и бросает. Или ботвиньи возжаждешь.

Я не удержала улыбки.

— Буря промчалась? — спросил он.

— Нет, Александр Дмитрич, не промчалась...

И странно: я стала говорить, спокойно и ровно, будто читая, о солдатской крови, о госпитале на Васильевском острове, о похоронах... Я не следила за выражением его лица, глаз, а говорила, будто самой себе повторяя, и он не перебивал. Высказала все, что накопилось, — о террорной доктрине, о террорной практике, о своем намерении тоже.

И ушам не поверила:

— Я рад, Анна, очень рад тому, что вы сейчас... Да-да, рад! Это тот ребеночек, о котором Достоевский: можно ли пожертвовать?..

Мне, право, не приходил на ум обжигающий вопрос романиста: дозволено ли пожертвовать одним-единственным ребенком ради всеобщей, всечеловеческой гармонии? (То есть, может, и возникал этот вопрос, да не в такой грозной наготе.)

Но Александр Дмитриевич ударил, что называется, по шляпке гвоздя. Я не имела в виду какого-нибудь Мезенцева или «старого одышливого человека», как Владимир Рафаилович называл Александра II. Нет, я именно о «ребенке», о взрослом ребенке, о «сером» мужике в лейб-гвардейском мундире, о том неизвестном мне полицейском стражнике, который умер от ран, причиненных нашими выстрелами близ Харькова, на тракте.

— Вот и говорю, что рад, — продолжал Александр Дмитриевич. Он уже спрятал свою книжечку, он уже не сидел верхом на стуле, а сидел у стола. Руки положил на стол, сплел пальцы в замок. — Да, рад, — продолжал он, — потому что нельзя нашему брату не болеть мыслью и совестью... Глеб Иваныч Успенский думает, что болезнь эта — повальная на Руси. Не так, к сожалению. А нам-то и впрямь нельзя... Ни вам, ни мне, ни одному из наших не обойтись... «Бей направо и налево» — это прочь. Переросли. И решительно не возьмем Раскольникова. Да и что он?

Так, уродливая тень... Красивое стройное дерево бывает, тень бросит — уродина уродиной. Но тень не дерево, зачем путать? Мы годы положили, стараясь мирно, вы и без меня знаете. И годы, и прекраснейшие души отдали. И не мы виновники кровопролития.

- Все это так, Александр Дмитрич. Есть воля обстоятельств, есть нечто, от нас независящее, есть, цель святая. Все так. Да скажите вы мне, куда уйти от крови караульных солдат? Нет, скажите: куда мне, Анне Ардашевой, деться от крови одного Свириденкова?
 - Какого Свириденкова?

Я объяснила: старый солдат, на войне встречала, разводящим был в день взрыва в Зимнем дворце. И прибавила:

— Вот вам и старый капрал из песни. Только не расстреляли, а мы с вами убили. Ну и куда мне теперь от этого деться? Не пятому, не десятому — нет, мне, мне?!

Глаза его, обыкновенно немного влажные, с влажным блеском, темно-серые, в ту минуту показались мне будто бы изнутри осущенными и словно бы иного оттенка, неуловимого, но иного. Он не смотрел так, как смотрит человек, погрузившийся в свои мысли, не отдалился, а, напротив, точно бы вплотную приблизился.

— Куда деться? — проговорил он изменившимся, но очень ясным голосом. — Некуда деться! На себя берешь. Потому берешь, что сполна заплатишь. Это там, у романиста, «необыкновенные люди», а мы люди обыкновенные и заплатим сполна. И за Свириденкова тоже. Неумолимые обстоятельства, неизбежность — это все «чур, чур меня». Ими не отчураешься... Да мы уже и платим, с процентами платим. — Он помолчал. — Ирония мирового духа, по слову мудреца. — Да, так-то: цель выбираем свободно, а путь лежит в царстве необходимости. Сполна на себя возьмем, а за расплатой дело не станет. Сказано: кровь оскверняет землю. Но ведь и сказано: земля очищается от пролитой крови — кровью пролившего ее.

Он вышел на кухню. Фыркнул кран: должно быть, Михайлов пил из-под крана, хотя здесь, на столе, светлел графин, светлел стакан.

Александр Дмитриевич вернулся в комнату. На лице его не осталось и следа давешней уличной свежести. Не осунулся, не побледнел — пожух.

Я обняла и поцеловала его, он ответил мне поцелуем. Смущения не было, котя было впервые; ни смущения, ни неловкости, ни робости — глубокая, торжественная серьезность.

— У нас, Анна, к тебе дело, — сказал он.

Я не ослышалась, а Михайлов не обмолвился: с этого дня мы были на «ты». И в этом тоже была глубокая, торжественная серьезность.

Он объяснил, какое дело. Именно то, что мне нужно. Ах, если б начать и развернуть! Начать, главное, начать...

- Когда можно?
- Сегодня. Я условился.
- Вот спасибо. Спасибо, что меня не забыли.
- Как забыть? улыбнулся Михайлов. Хоть ты и сухопутная, а все военная косточка, кавалерист-девица... Что с тобою?

«Военная косточка». Мне душно стало, как в ту ночь, в Мошковом, у Платона. А Михайлов, испуганный, недоумевающий, подал мне стакан воды. Я отвела его участливую руку...

Он прочел это письмо. Прочел, перечитал. Потом захватил бороду в кулак и так, словно у него неют зубы, принялся молча ходить по комнате.

— Слушай, волнуясь, — сказал он, садясь рядом и беря меня за руки, — слушай, Анна... Ты представь: вдруг бы мне открылась возможность попасть в Третье отделение?.. Да нет, нет, Господи ты Боже мой, не так, как обычно... Служить! Представляешь, на службу! Ну, там каким-нибудь чиновником. А? Понимаешь?

Я в ту пору ничего не знала о Клеточникове, канцеляристе Третьего отделения, нашем ревностном ангеле-хранителе. Ничего я не знала, а Михайлов не мог, разумеется, открыть то, что ведали лишь в Исполнительном комитете, да и то не все.

- И ты б не задумываясь?
- Еще бы! воскликнул Михайлов. Да ни минуты бы!
 - И я бы, Александр Дмитрич, тоже.
 - Ну вот! Вот видишь...
 - Уволь, не вижу,

Он осекся; он все понял.

Э, нет, подумала я, нет, ты не молчи, ты сейчас вот и признай грубость, жестокость, нечаевщину этого проекта обратить меня в домашнего соглядатая, в домашнего перлюстратора. Мне, Анне Ардашевой, следить за Платоном Ардашевым?! Называй двойственностью, называй чрезмерным индивидуализмом, эгоизмом, а не хочу, не желаю, не буду.

И как топором замахнулась.

— Послушай, мы были в Києве, у твоих Безменовых. Как бы ты поступил, если б тебе предложили за Клеопатрой Дмитриевной подсматривать?

Я знала наперед: ему не защититься. Он только что говорил: «Надо все на себя взять». Но все ли? И я опять как топор занесла:

- У ишутинцев, в шестидесятых годах, у них в организации, я слыхала, был некто из очень состоятельных наследников. Так этот самый некто хотел отца своего отравить и, получив наследство, отдать деньги революционерам.
- Аналогии... пробормотал Михайлов. Аналогии не доказательство...
- У меня хоть аналогии, сказала я, а с этим примером, насчет Третьего отделения, и аналогии нет.
- Но скажи... Но позволь спросить: важно ли, нужно ли нам, для всех нас, для твоих и моих товарищей, нужно ль проникнуть в тайны Лиги, в тайны лигистов?
 - Нужно. Согласна, нужно и важно.
 - Отлично. Кто может проникнуть, кроме тебя?
 - Некому, понимаю.
 - И вот... Ты не желаешь?
 - Мерзко.

Он развел руками. Я никогда не видела его таким беспомощным. Он опять забрал бороду в кулак, точно зубы ныли, и опять принялся молча ходить.

Потом тронул мое плечо.

— Мне студент вспомнился, — сказал он мягко. — А тот, которого ты хотела разыскать. Меня-то еще просила навести справки...

Я сообразила, о чем он: про того студента, который взялся вывозить нечистоты; это еще на театре военных действий было, я писала в первой своей тетради.

- Да, сказала я, вот это и впрямь аналогия. И все же...
- Но ты сочла возможным и прочесть и переписать. Он взглядом указал на лист бумаги, лежавший на столе.
 - Безотчетное движение, Александр Дмитрич.
- А я полагаю, очень даже «отчетное». И благородное, не о себе думала.
- Пусть, сказала я, но где ответ? Как бы ты поступил? Я про Кленю, про Клеопатру...

Стоя, опершись обеими руками на стол, он склонил голову.

— Да, нелегко б пришлось, чего там. Вилять не буду: мерзко и тяжко. Но как не вывезти нечистоты, если эпидемия грозит? Я не сдавалась. Он снова взял со стола бумагу, снова пробежал глазами. Прочел вслух:

- «Четверть наших агентов находится среди революционеров». И будто у себя спросил: Это сколько?
 - Врет, сказала я, какие там полсотни...
- А если вдесятеро меньше, тебе спокойнье? А если и один?

Я молчала. Потом вспыхнула: условна мораль или безусловна? Нынче поступился, а завтра: «Отца отравлю!»

Михайлов трудно вздохнул.

- Видишь ли... Позиция у меня действительно шаткая.
 Я ведь не Филарет Дроздов.
 - Кто, кто?
 - А это еще при Николае, митрополит московский.
- Филарет «Катехизис» составил. Пятую заповедь «расширил», а шестую «сузил».
 - То есть?
- Где чти отца и матерь, прибавил «и власть», а из шестой, где «не убий», изъял войну и смертную казнь. Я не Филарет, и у меня язык не повернется...
- А если у меня «повернется»? Одобришь? С радостью одобришь?
 - Без радости, Анна.

Мы ходили в замкнутом, железном кругу.

Мне показалось... Очень смутно, едва-едва, тенью, но мне показалось, что он будто б несколько сожалеет о своем давешнем: «А у нас, Анна, к тебе дело».

О, я и не предполагала, какие сомнения будут отныне изводить меня.

4

С Александринским театром рядом, в доме семь, были меблированные комнаты, опрятный и сравнительно недорогой приют женской молодежи, консерваторок и курсисток.

К Александринскому, в меблирашки, я направилась с нетерпеливым желанием поскорее приступить к делу.

Оно, это дело, по-настоящему радовало и бодрило меня, отвечало моим помыслам, но сверх того мне казалось, что оно поглотит, как губка, то, другое, связанное с Платоном и тайной Лигой, поглотит, и вся как-то там увянет, захиреет, предастся забвению. И хотя я сознавала, что так быть не может, а все ж надеялась на какое-то избавление и ждала его от Александра Дмитриевича. Ведь он сказал:

«Подумаем...» Опять-таки я знала: думай не думай, а, кроме меня, некому развязывать этот вчезапно возникший, на мою беду, узел; знала, конечно, но ведь он сказал: «Подумаем...»

Было пять пополудни. Огни еще не зажглись. У нас в Петербурге, особенно в феврале, сумерки не текут легко и плавно, а точно бы давят, сплющивают, как, наверное, нигде в целом свете.

Александр Дмитриевич наказал: «Спросишь Зотову, Ольгу Евгеньевну Зотову». А мне и не пришло в голову, что я знаю некую Зотову, записавшуюся на Надеждинские врачебные курсы; да, собственно, я и не знала ее толком, а лишь мельком видела и слышала: «Новенькая. Из Крыма.»

Мне отворил мальчишечка — худенький, бледненький, черненький. Ничуть не робея, сообщил, что мама вышла на минуту, а дядя Коля скоро приедет, а я должна сесть у окна и глядеть, как воробьи клюют крошки, которые он, Андрюша, только что высыпал через форточку. Все это было сказано с той серьезностью, какая бывает у болезненных детей, привычных к постельному режиму и одиноким размышлениям.

- Как ты в форточку-то? А горло?
- Я надел шапку, шарф и варежку, обстоятельно объяснил мальчишечка.
 - А пальтецо?
- У меня нет «пальтецо», у меня есть пальто, но я его не надевал, высовывал только руку.
- Ишь ты, рассмеялась я, какой ты, однако, солидный.

Воробьи у него были «крещеные».

- Вот этот, видите? Это Попрошайкин. Стучит, стучит, стучит, пока не дам крошек. А вот господин Мазурик: у всех ворует; боком, боком и украдет. А вон тот, с краю, видите? Его зовут Ко-Ко, он сейчас засмеется...
 - Разве воробьи смеются?
- Да, этот воробей смеется, серьезно и тоненько говорил мальчишечка. Он, как мой дядя Коля, смеется: голову поднимет, носик поднимет и смеется.
 - Это какой дядя Коля? Который скоро приедет?
- Нет, он в Симферополе. Другой дядя Коля приедет. Он мне шапку обещал.
 - Да у тебя есть шапка.
- Извините, я не так сказал. Не шапку, а фуражку. Матросскую фуражку.

- О, это замечательно, правда?
- Нет, не замечательно, потому что их бьют.
- Кого «бьют»?
- Матросов. Разве вы не знаете?
- А ты-то откуда знаешь? Кто их бьет?
- Дядя Коля говорит. Офицеры бьют, вот кто.
- А он матрос?
- Нет, лейтенант.
- И он тоже бьет?

Мальчишечка ответил еще тише и еще тоньше:

- А вы нехорошая, тетя. Вы плохая.

И он решительно отодвинулся от меня. Я пыталась возобновить диалог. Не тут-то было, Андрюша молчал, и я чувствовала неловкость от этого осуждающего и даже как будто презрительного молчания маленького, худенького, тонкоголосого мальчонки.

Потом, когда я стала часто бывать у Ольги Евгеньевны, Андрюша, пожалуй, несколько смягчился, но все равно его расположением я не пользовалась, и, правду сказать, меня это огорчало.

(Отец Андрюши содержался тогда в Симферопольской тюрьме или уже был сослан в административном порядке. А симферопольский дядя Коля, Николай Зотов, которого я никогда не видела и который, очевидно, смеялся, запрокидывая голову, этот Зотов недавно, в конце восьмидесятых годов, казнен: он участвовал в восстании якутских ссыльных...)

Пришли они вместе, встретившись на лестнице: Ольга Евгеньевна, бледненькая и тихоголосая, как и ее мальчишечка, Александр Дмитриевич и «дядя Коля» с обещанной матросской фуражкой.

Мы обменялись с ним улыбками, и это не ускользнуло от Александра Дмитриевича.

 О-о, да вы знакомы? — В голосе Михайлова слышалась легкая досада.

Я знала, что сие значило: он был недоволен собою; всякий раз, обнаружив какое-либо обстоятельство, пусть и мелкое, но которое, как ему представлялось, он обязан был заранее знать и брать в расчет, Александр Дмитриевич и досадовал, и сердился на себя.

- Да, знакомы, весело отвечал Суханов, у нас общие знакомые... Впрочем, если не ошибаюсь, милейший старик вам больше, нежели просто знакомый? добавил он, приветливо глядя на меня.
- А я догадываюсь, сын его, Рафаил, для вас-то, Николай Евгеньич, не более чем просто знакомый и сослуживец?

Суханов как бы поскучнел.

— Мы очень дружили, но потом... Боюсь, Рафаил Зотов сделается для меня всего лишь однофамильцем сестриного мужа.

Во все время нашего разговора Александр Дмитриевич не проронил ни слова, устраивая вместе с сестрой Суханова скромное застолье. Ясно было, что вряд ли стоит развивать «зотовскую тему» и что Михайлов совершенно не желает признавать свое знакомство с «милейшим стариком».

Андрюша не спускал глаз с бескозырной фуражки, на черной ленте которой мерцало — «Чародейка». Ольга Евгеньевна чувствовала, что Андрюша стесняет взрослых и они медлят серьезным разговором. Она попросила сынишку поскорее отужинать, спуститься этажом ниже, к Ванюше, и показать соседу эту фуражечку.

- Только скажи ему, Андрюша, что «Чародейка» корабль, дяди Колин корабль...
- A то Ванюша подумает, что это сказка такая, добавил мальчишечка.

И все рассмеялись.

Николай Евгеньевич ласково взял двумя пальцами ухо племянника.

— Надеюсь, китоловом будет...

Ольга Евгеньевна грустно улыбнулась.

— Это что? — без особого интереса осведомился Александр Дмитриевич. — Добыча, что ли?

Старая история, господа, но со смыслом. Так сказать, показанье барометра... Это, знаете, в военных училищах тогда кружки возникли. И у нас в Морском училище тоже. Был у нас воспитанник Луцкий, Владимир Луцкий... Давно пропал, исчез. Я б дорого дал, чтоб узнать и помочь... Так вот, Луцкий кружок создал. И я встрял. Было нас, незрелых радикалов, душ двадцать. Нет, больше — около тридцати. Ну-с, Чернышевский, Флеровский, Лассаль — вот чтение, вот предмет диспутов. А ярыми нашими противниками — балбесы «бутылочной компании», отчаянные кутилы. Они нам шпиона подсунули — Хлопов такой у нас был: круглая посредственность, но все пыжился казаться и умным, и проницательным. Гордился родственником жандармский генерал. А яблочко от яблони, сами знаете... Этот-то Хлопов и донес. Нас — в карцеры. Училище гудит: они-де хотели царскую фамилию вырезать... Сидим в карцерах. Все двери — в общую комнату. Там старик сторож, серьга в ухе, чуть ли не нахимовский боцман. В восемь-девять вечера офицер обходил владенья свои. И — тихо. Тутто, по старинному обыкновению, устраивался в складчину товарищеский ужин. Само собой, львиную долю получал боцман с серьгой. Зато отворил двери, и все мы, как из куля, вываливались из карцеров в комнату.

Поначалу, сгоряча никакой испуг нас не брал. Куда-а-а там! Будущее рисовалось романтическое: для прочтения приговора повезут в Кронштадт, на фрегат, как возили моряков-декабристов, а потом пойдем в каторгу... Однако день, другой — нас допрашивают, настроение переменилось, дух упал.

Вот тут-то меня и осенило. У нас тогда по рукам ходила интереснейшая книга про северные края: китобойный промысел, сокровища темных, холодных морей, полярное сияние. А что, думаю, не объявить ли наш кружок обществом будущих китобоев? На очередном ужине докладываю: давайте-ка, братцы, одного держаться — дескать, решили создать корпорацию китобоев и после училища заняться промыслом. Общий восторг, общая поддержка. Быть по сему.

Уловка, разумеется, пренаивная, но удалась вполне. Дело-то в том, что дознанием занимались морские офицеры, а не «голубые». А нашим-то дядькам-черноморам не с руки выносить сор из избы, самих по головкам не погладят. Очень они возрадовались: ах вы китобои эдакие, шельмышалунишки и так далее. Словом, спрятали дело в долгий ящик. Вот так-то. — И, улыбнувшись племяннику, Суханов спросил: — Ну, китобой, готов?

Андрюша встал, шаркнул ножкой, поблагодарил маму и только потом ответил тоненько:

- Я китов не буду бить; они добрые.
- Почему добрые?
- А потому что большие.

И тихонечко ушел.

- Н-да-с, весело оборотился Михайлов к Николаю Евгеньевичу, а вы, однако, ловко придумали с этими китобоями. Эвон с какого времени «государственный преступник»!
- Это не так, возразил Суханов. У меня после нашей истории всякий интерес к политике пропал. И почему, хотите ли знать? А потому, что пришлось лгать.
- Кому? Начальству? Михайлов улыбался. Офицерикам в роли прокуроров?
 - Да, сдержанно ответил Суханов.

Михайлов рассмеялся.

— Совсем по-детски, а лучше сказать: по-кадетски.

Я видела — Суханову неприятны слова Михайлова. Помоему, Александру Дмитриевичу изменил такт. Суханов был из тех, кому ложь вообще претит. Даже «ложь во спасение».

— И вовсе не по-кадетски, — вступилась я.

Михайлов быстро обронил:

— «Старинный спор славян между собою...» — И перевел взгляд на Суханова: — А Желябов с Перовской уверяют, что вы совершеннейший политик. Да и я, грешным делом, так полагаю.

(И Перовская, и Желябов, будучи крымскими, знавали «таврических» Зотовых, знали и Ольгу Евгеньевну, а с братом ее сошлись уже здесь, в Петербурге.)

- Политика... Суханов покачал головой. О, я бы с наслаждением занялся наукой. Меня физика влечет. Я б в университет пошел... И знаете, может быть, мне это удастся... Не-ет, я бы политику за борт, если бы...
- То-то и оно «если бы»... Не вы один, Николай Евгеньевич. Это «если бы» вот где у нас сидит, и Михайлов похлопал себя по шее. Я не уверен, рождаются ли политиками... И он как бы вдруг повернул разговор спросил, не сохранились ли у Суханова связи с бывшими «китоловами»?

В этом «повороте» был Михайлов — быка за рога, практические рельсы: надежные люди, кто с кем в дружбе, на кого и в каких пределах можно рассчитывать и т. д.

В тот памятный вечер началось для меня желанное дело, о котором утром сообщил Михайлов и которое я продолжала и после его ареста, и после первого марта, уже без Михайлова, без Желябова.

Дело было пропагаторское. Но может быть... Нет, наверное, оно бы не было для меня столь желанным и столь захватывающим, когда б пропагаторство не поручили мне именно в военной среде.

В первой тетради, где у меня театр военных действий, я писала, что мы, народники, поглощенные Россией деревенской, отчасти городской, мы как бы забывали Россию казарм, плацев, гарнизонов, округов. На театр военных действий, пусть и тонюсенькой струйкой, просачивалось нелегальное, но прямого обращения к военным людям не было.

Смешно видеть во мне, третьестепенной, апостола нового направления пропагаторства. Я знала о студенческих кружках и о рабочих, знала, что Исполнительный комитет намерен множить их, сколачивать филиалы в предместьях

Петербурга и не только Петербурга, да так оно и было несколько позже, и все это меня радовало, сказать честно, больше выстрелов Соловьева или динамитного подвига Халтурина.

Да, знала и представляла, но идея работы в войсках, в военной среде так и не явилась. Все для меня заслонялось кровью, солдатской кровью, пролитой дворцовым взрывом.

А тут приходит Михайлов и говорит о подготовительной деятельности партии, об инструкции Исполнительного комитета, которая тогда, весною восьмидесятого года, начала обсуживаться в нашей среде, говорит о разделе, озаглавленном: «Войско», об огромном значении армии, о том, что надо обратить пристальное внимание на офицерство, и т. д.

Слышу, принимаю с восторгом, как воскресение принимаю. Но — хочу оттенить — поразила меня не прозорливость стратегов, не прозорливость, скажем, Михайлова или Желябова или кого-то третьего. Для меня прежде всего и раньше всего была тут единственная возможность уменьшить кровопролитие.

Господи, думала и, вот она, единственная возможность, единственное средство: чем больше военной публики проникнется идеалами социализма, тем меньше жертв. И теперь, и в будущем. Не партионная, даже не вообще революционная целесообразность меня захватила и покорила, а возможность, так сказать, уменьшить число лейбгвардии финляндцев, таких, как несчастный Свириденков.

Правда, инструкция Исполнительного комитета не возлагала особых надежд на нижних чинов, а уповала на популярных офицеров, но я на войне видела — командир, любимец роты или батареи, всегда повлияет на подчиненных.

Правда и то, что Николай Евгеньевич даже и «популярных офицеров» не брался тотчас, с порога «определять в революцию».

- Хулят многое, говорил он, порицают правительство. Но позвольте отчеркнуть: правительство никогда не отождествляют с царем. Да и само-то недовольство похоже на брюзжание. Определенности нет, ясности нет... И вот что еще. Военные традиции исключают... Ну, так, что ли: исключают тайное убийство. Нечто рыцарственное. Он усмехнулся. Хотя, как известно, эпоха рыцарства полнехонька тайными убийствами. Но, как бы ни было, офицера коробит тайное уничтожение врага.
- Да к этому их и не приглашают, хмуро заметил Михайлов. Он помолчал, глядя в сторону, и сказал: На-

прасно полагать, что невоенным сей способ по душе, по свойствам натуры.

- Я не о том, поспешно и словно извиняясь проговорил Суханов. Я не о том, помилуйте... Поначалу надо «слить» правительство и царя, доказать они заодно. И главное: Россия и царь не тождественны. И тут большая, упорная ломка сознаний нужна.
- А по-моему, сказала я, по-моему, вообще следовало бы начинать с другого конца: поднимать нравственный, умственный уровень, выяснять долг перед народом, цели революции...

Суханов не спорил. А Михайлов все-таки добавил:

— Согласен. Да и ты согласись: наиболее сознательных т е п е р ь принимать в партию.

Я пожала плечами: дескать, если таковые наличествуют.

- А ты вот осмотрись, приглядись, твое дело.
- Ну что ж, улыбнулся Николай Евгеньевич, милости просим в Кронштадт. Оля переедет ко мне с Андрюшкой, вот вы и навещайте, вполне удобно...

Коренная петербуржская, и в Кронштадте не бывала. Да, пожалуй, и большинство петербуржцев не бывали в Кронштадте, разве что смотрели издали, из Петергофа или с Лисьего носа.

Кронштадт не место для прогулок. Он невзрачен, от него веет казенным, уставным. Он повит и туманом, и моросью, и дымом. В Кронштадте жить зябко.

Первое, что мне там бросилось в глаза, — это необыкновенное товарищество. Положим, и у сухопутных офицеров развита корпоративность. Но, во-первых, я сужу лишь по театру военных действий, а во-вторых, послевоенное дружество, хотя бы в кругу моего брата Платона, быстро разъедалось карьерными соображениями.

Во всяком случае, если бы Платону пришлось принимать на хлеба свою сестру, сильно сомневаюсь, чтобы ктонибудь из его приятелей взял на свое имя деньги в ссудо-сберегательной кассе. А для Суханова, когда Ольга переехала к нему в Кронштадт, на Большую Екатерининскую, моряки взяли несколько сот рублей.

Вторая моя замета: моряки оказались отнюдь не такими запивохами, которыми их рисует молва; да и сами они, кажется, не прочь прихвастнуть питейной лихостью. Между тем в доме Суханова, где офицеры сходились во множестве и часто, там не бражничали.

И еще одно: любовь к серьезному чтению. Не берусь судить о старших офицерах — общество Николая Евгенье-

вича составляли одногодки и погодки, — но у этих-то лейтенантов и мичманов она обнаруживалась без труда. Разумеется, морское дело с его техническими новинками того требовало, однако интересы были значительно шире.

Словом, публика пришлась мне по сердцу. Было в ней свежее душевное здоровье. И не было фанаберии, рисовки. Не стану опять-таки называть имена, обозначая отдельных людей с их характерами и особенностями: многие поныне здравствуют, а многие из этих многих, может, и лихом поминают свое тогдашнее умонастроение.

Суханов был прав: правительство порицали, Военное и Морское министерство тоже — поглощают треть государственного бюджета, народные кровные денежки. Суханов был прав: царя не трогали. Его имя не упоминалось, и в этом умолчании явственно ощущались почтительность, нечто сыновнее, с молоком матери переданное. «Ясности нет», — точно определял Николай Евгеньевич.

Если народ, русский народ признавался великим, могучим, достойным лучшей участи, то про мужиков в форменном платье можно было услышать и такую, с позволения сказать, формулу: «Конечно, с командой следует обращаться хорошо, по справедливости. А только, извините, насчет чувств матроса — это фантазия. У матроса, поверьте, и понятия другие, и чувства другие, чем у вас».

И все-таки с такой публикой, как товарищи Николая Евгеньевича, отрадно было заниматься пропагаторством. И не потому лишь, что почва благодатная, а еще и оттого, что жила неколебимая уверенность: убедившись, с дороги не сойдут.

(Теперь я понимаю, что всех мерила по Суханову. А во многом сходстве таилось и громадное несходство: таких, как Николай Евгеньевич, на монетном дворе не чеканят.)

Итак, я бывала в Кронштадте. А в мае, перед началом навигации, воспользовавшись всеобщим кронштадтским «разгулом», ездила к морякам с Андреем Ивановичем Желябовым.

Вот кто был прирожденным пропагатором: как слушали Желябова, не слушали, а внимали! Не в обиду будь сказано Александру Дмитриевичу, он бы так не сумел.

А я и не скрыла, и сказала, и у Михайлова, кажется, даже сентиментальная слеза навернулась. «У, большой человек мира сего, — произнес Александр Дмитриевич с нежностью, — не обидел Бог талантами!»

К моим кронштадтским паломничествам он не терял пристального интереса. И все домогался: кого из моряков

следует, не мешкая, приобщить к партии?.. В сущности, я молчаливо держалась линии, о которой говорил Саблин на конспиративной квартире в Кузнечной: «Нужны сеятели впрок». А Михайлов зорко высматривал: нет ли зрелого колоса?..

Весною моряки ушли в плавание. Для Николая Евгеньевича оно было последним. Осенью его мечта осуществилась: Суханова прикомандировали к Гвардейскому экипажу, расположенному в столице, и разрешили слушать университетские лекции из физики. Он оставил Кронштадт и поселился вместе с Ольгой и племянником в Петербурге, на Николаевской улице.

Он-то Кронштадт оставил, да его не оставили кронштадтские: у Суханова была наша, военная, народовольческая штаб-квартира. Михайлов редко показывался на Николаевской, Желябов с Перовской — часто. Мой «недруг» Андрюшечка не слезал с колен своего бородатого, плечистого тезки, и я замечала, какими глазами смотрел Андрей Иванович на серьезненького и легкого, как перышко, мальчишечку. Я и не знала, что где-то на юге живет другой Андрюща, сын Желябова...

5

Платон выздоровел. Иногда разыгрывалась мигрень, но в общем отделался счастливо, если не обращать внимания на странность: Платон стал мнителен, как салопница.

Брат и стеснялся, и трунил, однако нет-нет да и подступал ко мне за разного рода медицинскими справками. Какой болезни он опасался? Диагностировать затруднительно.

Брат просил не оставлять его на ночь в казенной квартире. Я осторожно сослалась на привычку к своему месту. Он обиженно повторил просьбу.

Я отнекивалась не из кошачьей привязанности к Эртелевому переулку. Меня страшил квадратный кабинетик, письменный стол со связкой звенящих ключиков.

Михайлов не заводил речь о Лиге и лигистах, о письмах к «мадам». Он счел за лучшее предоставить меня самой себе. И, кажется, интересовался лишь кронштадтским пропагаторством. Но стоило заикнуться о том, что, пожалуй, было бы хорошо в интересах дела обосноваться в Кронштадте, как Михайлов обеспокоился.

— Стало быть, умываем ручки?

Я вспыхнула:

- Еще не запачкала, чего умывать!
- Так, так... Дворянский кодекс.
- Осмелюсь доложить, эти вот ручки...

Он понял, но не уступил.

Между прочим, Анна Павловна Корба тоже, знаешь ли.

Я покраснела. Не потому, что мне вроде бы указали на место, а потому что было произнесено: «Анна Павловна Корба...»

Да, она тоже работала сестрой милосердия; правда, ей не пришлось ездить дальше Бухареста (я мельком упоминала о нашей встрече с нею и Розой Боград-Плехановой), но тут дело было не в этом.

В Петербурге я видела на сходках Анну Павловну. Она порвала с мужем, инженером-швейцарцем, перешла на нелегальное положение, все мосты сожгла. Не скажу, была ли Корба уже тогда членом Исполнительного комитета, но, во всяком случае, сразу заняла видное положение в организации. Но опять-таки не в этом дело.

Не могу трогать струну совершенно интимную, котя давно она умолкла, давно отдрожала. Но только вот что: не следовало Александру Дмитриевичу язвить меня упоминанием об Анне Павловне. Не следовало заставлять краснеть при этом имени, я тут со всем запуталась, а кому это приятно, кого не унизит...

(А потом, когда Михайлов ушел, я с непоследовательностью человека, не желающего утрачивать надежду, подумала, что Александр Дмитриевич достаточно деликатен и проницателен, чтобы... Словом, подумала, что он не стал бы упоминать об Анне Павловне, если бы их связывали какие-то экстраординарные отношения, а коли таковые и возникли, то разве лишь у нее, но не у него.)

Покраснев, я ответила что-то не совсем вразумительное: дескать, Анна Корба — это Анна Корба, а Анна Ардашева — это Анна Ардашева.

— Не понимаю, — пожал плечами Михайлов, — отказываюсь понимать. И это в такое время, когда наших близких друзей...

Конечно, он имел в виду судебный процесс над Ольгой Натансон, над доктором Веймаром, о котором я часто и с болью вспоминала, над Малиновской, Ковалик... В те майские дни их судил военно-окружной суд.

— Надеюсь, мне еще не отказывают в сочувствии к подсудимым?

- У тебя... У тебя невозможный тон, Анна.
- Но Лига-то здесь ни при чем, Александр Дмитрич.
- В чем «ни при чем»?
- В арестах Оли, Веймара и других.
- Пусть... Впрочем, не определю, где кончается полиция и где начинается эта Лига. Но пусть. Однако как можно спать спокойно, коли в том письме об агентах в нашей среде? Он опять пожал плечами. Не понимаю.

Если б он знал, как «спокойно» я сплю у Платона, в этой казенной квартире. Если б он знал, как меня тянет словно бы по карнизу скользнуть, точно бы свеситься над обрывом. Ничего он не знал...

Между тем брат, несмотря на свою медицинскую озабоченность, уже исполнял адъютантские обязанности или пропадал у кн. Мещерской на Английской набережной.

Платон был переполнен дворцовыми новостями, толками и пересудами. Послушать его, так вот уж где «кипенье». Но слушала я терпеливо. Александр Дмитриевич убедил не отмахиваться небрежно. Он напомнил, как я некогда определяла, в каких случаях и в какое время отворяют ворота тюремного госпиталя, где содержался кн. П. А. Кропоткин. А теперь, утверждал Михайлов, из вороха дребедени, составляющей жизнь придворной сволочи, можно извлечь кое-что полезное. Ну, скажем, исподволь установить повторяющиеся маршруты царских выездов. Не случайные, а более или менее постоянные. Да и мало ли еще что?!

Не приходилось гадать, куда клонит Александр Дмитриевич. Член Распорядительной комиссии, ядра Исполнительного комитета, Михайлов многое наперед копил и приберегал.

Еще не было наших наблюдателей, которые едва ли не тщательнее самого капитана Коха следили за низкой, новомодной, сине-черной каретой с зеркальными окнами, а Михайлов уже хотел прикинуть маршруты царских разъездов.

Нынче, перебирая копии лигистских писем, я была изумлена одним обстоятельством, на которое прежде не обратила внимания, а Михайлов, оказывается, тотчас выставил мысленное «запомни».

В первом из обнаруженных мною лигистских посланий к Юрьевской упоминался манеж и близлежащие к нему здания, опасные как пункты, где возможно нападение на царя. Спустя некоторое время Михайлов осматривал полуподвал на Малой Садовой в доме графя Менгдена. И вско-

ре началось устройство минной галереи — именно на пути κ манежу.

Да, нечего было зевать и потягиваться, а надо было памятливо слушать Платона, хотя брат и городил массу вздора.

Он был из юрьевской партии, находился, можно сказать, в центре всего, что вихрилось и ползало вокруг «Ека-

терины Третьей».

Ползало, например, такое: некий-де старец лет двести назад предрекал безвременную кончину тому из Романовых, кто женится на Долгорукой.

А вихрилось, например, такое: Долгорукая-Юрьевская во всем потакает Лорису, всячески упрочивает положение графа, дабы установился конституционный образ правления...

О, эта пресловутая «конституция», этот обольстительный мираж. Он затуманил немало голов и тогда, и много позже; да, кажется, и поныне о нем вздыхают.

Я не о том, что Лорис намеревался присобачить жалкую заплату на вшивом и ветхом кафтане нашей государственности. Я о тех, кто костил народовольцев: едва, мол, повеляло подснежниками, как михайловы-желябовы поспешили покончить с царем. И — «психологический» пассаж: потому и поспешили, что свое реноме спасали — куда б они делись, озари отечество солнце лорис-меликовской конституции!

Чего больше в подобных суждениях: заднего ума или незадней глупости? Во-первых, михайловы-желябовы ни в грош не ставили конституцию, высочайше дарованную. Вовторых, предполагать в титанической подготовке 1 марта тщеславие революционеров — значит поверять их духовную-глубину собственной духовной мелкостью. И, в-третьих, таковые порицания обнаруживают в порицателях либо короткую память, либо длинное невежество.

Я как-то видела одного писателя. Побежками, враскачку он передвигался по зотовскому кабинету, неряшливо и никчемно хватая все, что ни подворачивалось под руку, — карандаши, книги, пепельницу. И говорил, говорил, говорил, не давая вставить слово: «Да поймите, поймите, ведь тут что было? А ничего тут, у этих Михайловых, у этих Желябовых, ничего и не было, кроме страха ореол утерять, а куш не сорвать! Да, да, да! Неужели не понимаете? Лорис бы ввел конституцию — из «Народной воли» пшик. Что дальше делать? Куда со своим героизмом, со своим честолюбием деваться? А? Понимаете? Все просто, все очень, очень просто!»

Писатель говорил с безоглядной самоуверенностью, нет, не наглой, а как бы простодушно-доверительной. Он говорил о прожектах Лорис-Меликова так, словно читал их, словно вникал в них. Пожалуй, он искренне думал, что углядел нечто, от других ускользнувшее. И ему это льстило, он раскачивался и дергался, он открывал «ларчики», такой безыскусный, такой прозорливый.

Диалектик я никудышный, возражения и доказательства выскакивают позже, на лестнице. Но тут коряво тронули боль мою, и я с холодным бешенством спросила: известно ли ему, что было в России, что было с Россией — о, нет, не «вообще» в те годы, а точно и конкретно — летом, осенью, зимою восьмидесятого? Писатель фыркнул, да и припустился в другую сторону — не то о Байроне, не то о Будде...

Восьмидесятый год был голодный, неурожайный, бедственный; год крестьянского недовольства. Все, казалось, назрело. Это-то и понуждало торопиться! Ведь бомба в государя мыслилась не только возмездием, а гулким, на всю Россию, сигналом восстания, повсеместного переворота. Не оправдалось? Но, помилуйте, причем здесь тщеславие, честолюбие?..

Что до моего брата, то его не особенно трогали «конституционные веяния». «Весьма возможно, — сочувственно улыбался Платон, — весьма возможно, княгине Екатерине Михайловне хочется каких-то конституционных установлений. Бедная женщина думает лишь о том, что они избавят любимого от посягательств динамитчиков. Но государь, — и Платон грозил пальцем, — государь не допустит, не согласится: конституция — конец династии, а конец династии — конец России...» Я кивала на Францию, на Англию, которым «конец» не пришел. «Россия без царя во главе, что человек без царя в голове», — как каблуками отщелкивал Платон, и вся недолга.

Лорис-Меликова Платон находил смелым, добрым, преданным Юрьевской, однако недостаточно энергичным. «Граф Михаил Тариелович не из тех, кого можно назвать железным». А в ответ на вопрос, кто именно «железный», Платон лишь многозначительно присвистнул.

Порой меня удивляла его открытость. Предел был, вот хотя б в этом присвисте, но и открытость была. Между тем Платон, разумеется, не забыл мой (пусть и давний, и краткий) арест. Да и радикализм не был ему секретом. Но арест относил он на счет жандармской тупости, в каковой убеждены даже те, кто столь же убеж-

дены и в ее государственной необходимости. В радикализме моем видел он преходящую болезнь, почти неизбежную в наше время.

Платону, как и мне, было свойственно чувство кровной родственности, в детстве еще усиленное нашим сиротством. Чувство это позволяла ему особую открытость со мною. А мне не позволяло перейти тот рубеж, на переходе которого настаивал, так ли, эдак ли, но настаивал Александр Дмитриевич.

Уверенность Платона в сестринской преданности была глубоко безотчетной. Мои поджатые губы: прельстился адъкотантским шнуром; бригадных товарищей променял на паркетных шаркунов — все это его царапало, но не колебало эту уверенность. Ну, точно так, как мой радикализм не уменьшал его привязанности и его любви ко мне.

Платон искренне полагал, чти его карьера, хотя и не одобряется мною, все-таки втайне меня радует, не может не радовать и что я под сурдинку горжусь братом. Отсюда всегдашняя открытость. Кому, как не Анне, «выплеснуть» свои заботы и свои надежды?

А надежды в быстром взлете и, стало быть, в близости брачных уз с Мещерской, эти надежды пуще разгорелись в последних числах мая.

- Печальное известие, Аня! произнес он, блестя глазами и таким тоном, словно говорил: «Поздравляю!»
 - И принялся расхаживать широким шагом.
- Она в семь утра умерла, никого не было. Жаль, конечно, но уж так настрадалась, что и смерть желанна. В половине десятого государь из Царского, а в десять наследник с Елагина... Государь недолго пробыл у покойной. Скоро вышел и принял Милютина. Как обычно, как всегда: доклад военного министра. Какое присутствие духа!
 - Еще бы, буркнула я, дождался.
 - Ну-у-у, Аня. Его можно понять.
 - Особенно ваших можно понять.

Платон коротко, нервно рассмеялся.

Надо было знать, как волей-неволей знала я, «подводные течения», чтобы в тихой, неприметной смерти императрицы тотчас увидеть поворот к аналою для Юрьевской, праздник для ее присных.

А этикет блюли. Панихиды и дежурства у гроба. Перенесение усопшей в крепость, в фамильную усыпальницу, — длинная процессия сквозь дождь и бурю; Нева в тот день поднялась, кое-где вышла из берегов. Потом, в крепости, опять панихиды и опять дежурства.

В женитьбе государя на Юрьевской Платон не сомневался. Так оно и получилось какое-то время спустя. Обряд свершился почти секретно, в присутствии самых «ближних бояр». Платон околачивался неподалеку от Царскосельского дворца.

Несмотря на секретность, весть о венчании распространилась в городе.

Не помню куда, я ехала на извозчике.

- А что, барышня, верно говорят: царя отчитывать будут?
 - Отчитывать?
- А в Казанском соборе. За то, что женился в другой раз.
 - Не слыхала...

Извозчик шмыгнул носом.

— Да и то сказать. Ну, померла хозяйка, дом сирота, как не жениться...

Вот он, «глас Божий.»

Но вообще-то смерть императрицы и прочее прошли малоприметно, как и всяческие рождения-кончины в августейшем доме.

Я, однако, сознавала, что лигисты отныне раскуражатся: они ставили карту на «мадам-посредницу», на Юрьевскую.

Суетливое возбуждение Платона претило до крайности. Его цинизм поразил меня, хотя какое мне было дело до бывшей немецкой принцессы, подарившей России чуть не десяток великих князей и княгинь.

...Военный суд вынес жестокие каторжные приговоры нашим товарищам — доктору Веймару, Оле Натансон и другим. Конечно, глупо было ждать мягких сентенций от судей в мундирах гвардейских полковников, но я будто надеялась.

В этой надежде таились самообман, уловка — я оттягивала «грехопадение». А Михайлов по-прежнему молчал. Он, конечно, не хуже моего понимал, что Антисоциалистическая лига отныне пустится во все тяжкие. Но — молчал. Его молчание казнило сильнее прежних ожесточенных споров: я усмотрела в этом молчании самое ужасное — подозрение в отступничестве.

Боже мой, у него могут возникнуть... Нет, уже возникли ужаснейшие подозрения! Меня как огнем охватило. Да, да, возникли, не могли не возникнуть. Ведь уже был момент, когда я пошатнулась, хотела отойти в сторону... И это его: «Не понимаю, отказываюсь понимать» — зазвуча-

ло в моих ушах по-другому: «О, понимаю, хорошо понимаю!»

Пишу не ради самооправдания. Но... но, может быть, и ради него. Может быть, для того лишь, чтоб хоть этой тетради объяснить причины появления на ее страницах некоторых отрывков из депеш к «мадам». Тех, которые я украдкой, в постыдном трепете читала на серо-голубых узких листках с монограммой и печатью: «БОГ И ЦАРЬ». Тех писем «великого лигера», которые Платон передавал княгине Мещерской, мадемуазель Шебеко или самой Юрьевской.

«Малам!

Я не желал бы докучать Вам разными безделицами, но, ведая о Вашем интересе к Лиге, не могу не сообщать о наиболее значительных событиях.

Мы с удовлетворением отмечаем расширение нашего общества и его усиление. Нас теперь поддерживают лица, об участии коих мы всегда мечтали, в частности два великих князя вступили и действуют под развевающимися знаменами нашей доблестной Лиги. Просто диву даешься, какой размах приняло общество, основанное всего лишь тринаднатью человеками.

На генеральном собрании Лиги много говорилось о Лорисе в порядке решения вопроса, союзник он или нет. Однако предложение о его привлечении было отвергнуто. Хотя среди нас есть и его близкие друзья и один член Верховной распорядительной комиссии, мы не относим графа к числу людей, которых следует называть железными, из коих и состоит наша Лига.

Общие собрания Лиги бывают довольно часто и обходятся без особых церемоний. Но большие ассамблеи устраиваются дважды в год. Вот как они происходят.

Великий лигер, два высших лигера и младшие лигеры, деятельные члены, депутаты, секретари канцелярий, агенты собираются в зале, где служится молебен. На каждом из нас черные уставные одежды. Лица закрыты, ибо, по законам Лиги, никто не должен знать, кто именно является его непосредственным начальником, дабы избежать уколов самолюбия и предупредить измены. После молебна происходят различные церемонии.

Именно здесь я имел честь сообщить ассамблее милостивейшее слово Его Величества. В ответ, как знак нижайшего почтения и признательности, все черные фигуры, склонившись, пели гимн «Боже, царя храни». Затем, по обычаю, члены административной части Лиги проследовала в «Черный кабинет», и двери были закрыты.

Все, что решается в «Черном кабинете», неотменимо — скорее Нева потечет в Ладогу, чем не будет исполнен при-каз, здесь данный.

Вот, мадам, пример наших церемоний, которые напоминают общества, известите в истории, и которые не могут быть иными в Лиге, члены которой сказаны клятвой».

«Малам!

Об этом деле я не хотел заранее извещать Вас, дабы понапрасну не ужасать. Оно возникло в связи с новыми преступными планами, которые были намечены к исполнению во время похоронной церемонии по случаю кончины Ее Величества, поелику обстановка была весьма подходящей. Ценою большого риска Лиге удалось этот план расстроить.

Но революционный Исполнительный комитет внял подозрениям на счет многих его членов, однако мое вмешательство устранило опасность, а меры, принятые мною, расширили наши возможности.

Состоялись два сборища Исполнительного комитета. Обсуждались важные вопросы, разрабатывались новые планы. Все это обычно, но слова опасны, ибо они переходят в дело.

Исполнительный комитет располагает 24 членами. Именно сия группа осуществляет наиболее гнусные и ужасные злодеяния, именно она затеяла все покушения на жизнь Его Величества.

Кроме того, имеется много социалистов одиночек, рассеянных по пятеркам или десяткам в различных слоях общества. Однако наиболее опасные и решительные те, которые примыкают к Исполнительному комитету и действуют, как солдаты в бою, сплочённо и безостановочно, не считаясь с препятствиями. Количество их, согласно донесениям, превышает 900 душ и, возможно, доходит до полутора тысяч. Цифры неточные, ибо агенты Лиги каждую минуту открывают новых индивидуумов или, по крайней мере, тех, кого можно подозревать в преступной деятельности».

«Малам!

Я только что имел честь получить Ваш любезный ответ. Прошу Вас в случае спешной надобности передавать Ваши пожелания через известного Вам человека, являющегося моим, выражаясь воинским языком, адъютантом.

Снаряд, о котором я упоминал, прибыл из-за границы с ярлыком фирмы швейных машин. Ящики хранились в магазине. Никто не подозревал об их содержимом. Об этом сообщили санкт-петербургскому лигеру агенты 1133 и 134. Проработав всю ночь, наши люди изъяли ящики с частями снаряда.

Между тем лигеры Киева и Москвы сообщили нам, что террористы собрались в Петербурге. Например, часть из них прибыла в личине торговцев кожей и шерстью. Все они посланы для покушения на священную жизнь Его Величества.

В момент, когда я пишу Вам, не получив притом права непосредственного обращения к Его Величеству, я хочу заверить от лица Лиги, что мы сделаем все возможное и все невозможное в видах предотвращения несчастья».

Не поручусь, что в мои руки попали в с е письма Антисоциалистической лиги к светлейшей патронессе. Скорее, какая-то доля. И вовсе не видела я ответов Юрьевской, котя они, наверное, посылались через того же адъютанта, которому было бы лучше остаться обыкновенным артиллерийским офицером.

По прошествии десяти лет не умею в тех письмах отделить зерен от плевел, лишь замечу, что эта подлейшая Лига во многом предвосхитила не менее подлую «Священную дружину», возникшую по воцарении Александра III. А может быть, последняя была продолжением первой?

6

О, как жаждал Александр Дмитриевич проникнуть в тайны Антисоциалистической лиги! И как нужны, как важны были эти письма...

Но Платон, как и в прошлое лето, был редким гостем. Ну, еще бы! Общий смотр войскам Красносельского лагеря... Ропшинские маневры... Обед по такому иль иному случаю... Неизменные кавалькады из Царского в Павловск...

Чужая жизнь и чуждая, как у антиподов. Да и Бог бы с ней совсем, но вот Платон-то наезжал редко, и лигисты словно истаяли. Однако они существовали! А тут ни единой щелки...

В августе брат явился лишь на день.

— Аня! Государь отправляется в Ливадию. Княгине Юрьевской приготовлены комнаты покойной императри-

цы... Между нами, наследник ужасно будет недоволен: оскорбление памяти матери! Ну, да узнает задним числом: только что вернулся — плавал на яхте по Балтийскому морю, теперь в Царском, а уж потом, в октябре. пожалует в Ливадию. Тогда и узнает... По секрету, Аня: вчера государь призвал наследника и цесаревну. И знаешь зачем? Государь объявил, что женился на княгине. Понимаешь, это еще никому из Фамилии в открытую не объявлялось... Да, Анечка, еду в Ливадию! И, вообрази, в императорском поезде, потому что генерал без меня не может и часу. Да и не в этом дело! А дело-то, Аня, вот какое: княгиня, стало быть, в комнатах императрицы, а свою виллу отдала сестре и братьям. И Мари уже там! Хорошо, как хорошо, Анечка... Жаль, нельзя и тебе. Ну ничего! Ужо в будущем году... Нет, вот увидишь! Теперь, когда княгиня Екатерина Михайловна... Да, в Крым! Кипарисы, горы, море — прелесть... Ну, давай, сестра, простимся.

Присели на диван, улыбаясь друг другу; дохнуло чем-то из детства, как бывает от елки, когда она, морозная, медленно оттаивает в комнате. Расцеловались крепко, трижды... И он уехал, дурашка. Такой легкий, такой влюбленный, прозвенел шпорами и уехал...

А потом, осенью, телеграмма и письмо. Сперва телеграмма, следом письмо. Я заперлась и никуда не выходила, будто ноги отнялись. И это странное, неизведанное ощущение грузности тела. И отупение, бессмыслица. Я поминутно брала в руки телеграмму капитана Коха. Только телеграмму, а длинного, обстоятельного письма капитана Коха я не перечитывала, не могла.

Михайлова тогда в Петербурге не было, и хорошо, что не было. Тяжелое, темное чувство испытывала я к Михайлову: если бы не он, я бы не поджидала, таясь, лигистских писем, а старалась вытащить брата из трясины, если бы не он, я вытащила бы брата, спасла и от этой развратной Мари Мещерской, и от этого глупого генерала Рылеева, и Платон не поехал бы в Ливадию, и Платон... А Михайлова прожжет одна, только одна мысль: «Люк захлопнулся, тайна Лиги ускользнула!» Только об этом и подумает. И ни секунды об участи Платона. Впрочем, выскажет вежливое, вялое соболезнование... Тяжелое, темное чувство испытывала я к Михайлову, без вины виноватила.

И, как всегда в минуты непоправимые, единственный, кто был в этом мраке, Владимир Рафаилович. Но даже и к нему не сразу собралась, а все сидела взаперти, как в

келье. Потом пришел за мной рассыльный из «Голоса», плинный, небритый и будто в обиде на весь белый свет.

Далеким-далеким казался Ильин день, когда мы ездили в Левашово, к Зотовым. Порывистым, молодым, будто в свежем ветре, помнился тот день с лиловеющим небом и нестрашным громом.

Зотовы уже давно перебрались в город. И мой старый друг, как годы и годы, как всю жизнь, сутулился за домашним письменным столом или за редакционной конторкой с чернильными пятнами.

Владимир Рафаилович расплакался. Он всплескивал руками и не отирал слез. И я тоже заплакала, первый раз после телеграммы, после письма.

Мы поехали на Смоленское кладбище. Дали попику на помин души. Потом стояли у могилы моих родителей. Моросило. Было слышно, как у ворот застучали и разбрызгали грязь похоронные дроги.

Я стояла и думала о том, что оградку надо обновить, что Владимир Рафаилович напрасно сложил зонтик, что корошо бы мне поменять подкладку на пальто, давно пора. (Мне кажется, кладбище, место вечного упокоения, мешает мыслям о вечном, в отличие, например, от широкой медленной реки или горных вершин.)

Я не смотрела на Владимира Рафаиловича, но ощутила, как ощущаещь свет, кроткую улыбку, с которой он произнес:

— Ну и смеялись мы...

Он взял меня под руку. Обходя лужи, ступая по зачерневшим уже и липким листьям, мы тихо двинулись к воротам; Владимир Рафаилович, все так же кротко улыбаясь, рассказывал случай сорокалетней давности. Ничем не примечательный, пустяковый, а мне умилительно было слушать про древнюю старушенцию в театральном зале и про то, как отец и Владимир Рафаилович, тогда молодые, покатывались со смеху.

— Сидит матушка да преспокойненько чулок вяжет. Мы с отцом твоим и на сцену не глядим: все на нее. А она знай спицами так и сяк. В патетических местах чулком слезу оботрет; в комических — отложит и ну разольется. Мы с Илларион Алексеичем за бока хватаемся, едва антракта дождались... Старушечка, видать, давненько на театр не хаживала, да и прозевала перемены. Прежде-то что? Во времена ее цветения публика была патриархальнейшая, в домашнем простодушно являлась, дамы непременно с рукодельем... Да-а-а, сердечная старина, не торопились жить, не торопились...

Мы вышли из кладбищенских ворот. Темные, приземистые домики казались напитанными влагой, как осенние грибы. Большие, «провинциальные» лужи зябко вздрагивали. Моросило.

Но что это? О, мягкая, неведомая психиатрам, власть врачующих пустяков. Казалось, что уж такое услышала от Владимира Рафаиловича? Так, ничего примечательного, в иных бы обстоятельствах мимо ушей, а вот, словно бы шепот столетних лип...

Минуло еще какое-то время. Я практиковала в лечебнице для бедных, что помещалась тогда в Малой Садовой, напротив доходного дома Менгдена. Засиживалась допоздна, до тех пор, пока в приемной никого не оставалось, а служитель-сторож сердито стучал сапогами: «И какого рожна докторица не убирается восвояси».

Ждала ли я Александра Дмитриевича? Я уже готова была видеть его, говорить с ним. И не только о пропагаторстве в военной среде. Но и об участи Платона. Тяжелое, темное чувство заглохло. Однако прежнего радостного волнения я не ощущала.

Увы, приходится опять тронуть интимную струну. Не знаю, так иль не так было, а только я полагала, что объезд южных губерний совершался не в одиночестве, а вместе с Нютой, с Анной Павловной Корба.

Михайлов оставил Петербург в середине лета. Когда, точно не помню, но прежде Платона. В южных губерниях, в Киеве и Одессе, он действовал на том поприще, что и в столице: собирал, сплачивал, вдохновлял. Строитель-каменщик: «Централизация и дисциплина воли».

Теперь, годы спустя, часто думается: как он был терпелив со мною! Ведь я-то, словно норовистая пристяжная, все выбивалась из централизации, а дисциплины воли мне явно недоставало. Должно быть, подчас я сильно раздражала Александра Дмитриевича.

Однако, сдается, есть необходимость и в «норовистых пристяжных». Тут не всегда барственное «не желают» и не всегда интеллигентская безалаберность. А может, без таких вот, выбивающихся из централизации, живое обращается в фетиш? А тот или иной, да и, наконец, все мы скопом делаемся лишь орудиями, лишь средством для всегдашнего «надо» и всегдашнего «для того, чтобы...»

Не обо мне речь, но кто знает, и не об Анне ли Ардашевой думал Александр Дмитриевич в тюремных стенах, когда писал «Завещаю вам, братья...»? Итак, он оставил Петербург в середине лета, а вернулся глубокой осенью. Уже и мороз кусался, и снежная крупка порошила.

— Здравствуй, Анна!

Он всегда выглядел старше своих лет, а сейчас ему можно было дать больше тридцати. Борода подстрижена. И руку-то пожал с полупоклоном почти изящным.

— Ах, — сказала я, — хорош для живописца!

Михайлов улыбнулся, но улыбка как бы остановилась, увяла.

- Живописец не нужен, а вот фотограф... Впрочем, после. И он взглянул на меня выжидательно.
- Садись, пригласила я и сразу подала ему ливадийский конверт с черной каймой, поймав в себе давешнее тяжелое, темное и враждебное чувство.

Я хотела видеть его глаза после прочтения письма, извещавшего о гибели моего брата. Было какое-то больное желание убедиться в своих предположениях. Но у меня не достало сил, я вышла из комнаты. И сказала себе, что вышла просто затем, чтобы избавить Михайлова от фальшивых соболезнований.

Капитан Кох писал, как говорил, то есть обстоятельно и педантично. Я это письмо не трогала; прочла и больше не прикасалась. Но сейчас, в кухне, бесцельно перетирая чистую тарелку, я как бы перечитывала его.

Черными казенными чернилами капитан Кох выстраивал длинные-длинные строчки: о том, что он, благоразумный Карл Федорович, горячо убеждал Платона не пускаться в море на баркасе, потому что даже греки, знатоки черноморские, опасливо качали головой; да, убеждал и просил именем старого друга, но беда в том, что Платон побился об заклад с князем Долгоруким, братом княгини Мещерской, и это в присутствии самой княгини Марии Михайловны; Платон поклялся, что, несмотря ни на что, выйдет в море, уйдет за горизонт; все собрались на скале, о которую разбивались могучие волны, а Платон, кое-как поставив парус, уходил все дальше, а море и небо темнели все больше, разыгрывалась буря...

— Анна, — осторожно позвал Александр Дмитриевич.

Я помедлила и вернулась. Должно быть, лицо у меня было замкнутое, отстраненное. Он стоял посреди комнаты, нагнув голову, глядя на меня исподлобья.

— Перестань, — сказал он тихо и строго. — Перестань. — И взял мою руку. — У меня тоже есть брат. И есть сестры, которым я — брат.

Мы помолчали, сели, он не отпускал мою руку.

— Слушай, — проговорил он негромко, строго, сосредоточенно, — я знаю, что такое братья, сестры. У нас младший, когда маленький, в пеленках, я, мальчишка, подбегал и прислушивался: дышит ли? И вдруг чудилось: нет! И я помню этот холодный ужас... Братья, сестры... Я поборник принципа: мы не вправе допускать какие-либо личные мотивы, соображения. И меня, кажется, нельзя попрекнуть в нарушении... Но вот я, как на духу: случись что, источило б горем, голову б потерял...

Наверное, пальцы мои заледенели, потому что Александр Дмитриевич принялся оглаживать и растирать мою ладонь, и тут у меня подступили слезы, и это уже не была скорбь о Платоне, как тогда, у Владимира Рафаиловича, это уж другое было.

— Ты знаешь, — говорил Александр Дмитриевич, — я нынешним летом был рядом с Путивлем. Нарочно ездил, котя и торопился в Одессу, там меня ждали. Да, вот видишь, меня ждали, а я не туда поехал. Безумно хотелось к своим. Чувствую, не могу, непереносимо, хоть убей. А в городишке разве появишься? Назначил свидание в лесу, как тать... Лес у нас верстах в восьми, огромный, бывший монастырский. Отец с мамой приехали на линейке, брат мой, Феня, — за кучера. Вот и повстречались... Какое это, в сущности, несчастье — нелегальная жизнь. Святое — семья, а не можешь, как любой и всякий может... Умирать буду, увижу Спасчанский лес и как они, мои старики, и брат мой — шея длинная, голос ломается, — как они стояли и смотрели мне вслед. Я раз сто оглянулся, махал — поезжайте, а они ни с места.

Лицо его оставалось неподвижным, но оно изменилось, тихо, без какой-то там мимики изменилось — на нем, нет, даже как бы сквозь него, проступила глубоко затаенная, не сейчас прихлынувшая, печаль.

— Ну, да что там, — произнес он, словно спохватываясь. — А каково, скажи, молодой матери... Вот где боль, где всего больней... Ты взгляни, Анна.

То были записочки из тюрьмы от Софьи Ивановой, взятой зимою, в январе, в Саперном, при разгроме нашей типографии.

Соня была мне ровесницей. Прехорошенькая, с ярко блестящими синими глазами, с румянцем. В записках просила озаботиться судьбой сынишки; писала о приговорах, о том, что двое, осужденные на смерть, сумеют показать, как должно умирать за идею.

Она была в числе шестнадцати осужденных. Типографы, когда жандармы напали, отстреливались. Но перед военным судом предстали не только типографы с Саперного. На виселицу осудили Квятковского, члена Исполнительного комитета, и Андрея Преснякова, агента Исполнительного комитета; Андрея я знала — резкий, решительный, мрачноватый.

Их повесили за крепостными стенами, подальше от глаз. Почему? Страх народной Немезиды, страх народного недовольства, уровень которого сильно повысился в восьмидесятом году и которое не берут в расчет те, кто спустя годы попрекает народовольцев в торопливости.

(Мне говорил Владимир Рафаилович, со слов очевидца, какого-то свитского генерала, что наши поразительно держались на эшафоте: причастились, поцеловались, поклонились солдатам.)

- А Сонюшку в каторгу, продолжал Александр Дмитриевич. Как она там, год за годом, ночами, без сна, точно слепая, как она там о своем дитяти... Не-е-ет, вот оно, горе-то, такое не выплачешь... А Ольги нет... Он остановился и повторил с недоумением и как бы недоверчиво: Нет Ольги. Ольги Натансон нет на свете.
 - В крепости?
- На поруки отдали, ироды, когда никакой надежды: последний градус чахотки. Он сильно, прерывисто вздохнул. Какие люди уходят, Анна. И какие пустые слова: «Этого следовало ожидать»... Я не фаталист. Верю в строгую последовательность всего, что совершается. А случай, а случайности, они тоже заключены в оболочку этой последовательности. Да много ль проку, когда вот уходит Ольга, а в какой-то норе Соня Иванова...

Была неуследимая минута: я вдруг перестала его слышать. Не слушать, а слышать. Как в глухом бреду, все пошло вперемешку, без связи: Платон, захлебнувшийся в последнем крике, сдвинутые вплотную брови Преснякова, и хрупкая смуглая Ольга, и гимназист с длинной шеей, там, на лесной дороге, и Сонечка Иванова с ребенком на руках.

«Раскольники, — донесся голос Михайлова, и я опять уже слышала, о чем он говорит, — для них жизнь первоучителей служит образцом подражании, они хранят и переписывают житийные биографии: «да не забвению предано будет дело Божие»...

Тогда-то мы и условились о фотографических портретах. Надо было заказать кабинетные. И числом побольше. В каком-либо из фотографических заведений на Невском.

- Но сперва, сказал Михайлов, закажи свой собственный портрет.
 - Это зачем?
- Пойдешь получать свой и заодно получишь те. Так безопасней.

И еще была просьба: необходимы респираторы. «Могут понадобиться», — сказал Михайлов. Респираторы? Эдакие маски, несколько защищающие дыхательные пути при работе среди дурных запахов?

И уже в прихожей, уже в пальто, он будто вспомнил:

— А этот-то капитан?

Я сразу поняла, почему Михайлов помешкал и почему отвел глаза. Так, так, подумалось мне, практический Дворник остается практическим Дворником. С респираторами я не понимала, а вот «для чего» Кох, капитан Кох — это я сразу смекнула.

— А этот самый Кох, — ответила я, — начальником конвоя. У государя.

Вот как! — Александр Дмитриевич быстро накручивал на палец прядь бороды. — Гм, он что ж, бывает, а?

- У нас бывал, отрезала я, у меня не будет.
- Ну, ну, проговорил Михайлов несколько смущенно. И прибавил: Так, стало быть, фотографии и респираторы...

Помню, на исходе ноября, вечером холодным и черным, когда лечебница опустела и сторож застучал своими сапожищами, выпроваживая припозднившуюся докторицу, я отдала респираторы Михайлову.

Я не догадывалась, что он лишь пересек Малую Садовую и вошел в дом Менгдена, в полуподвал, где совсем недавно появилась ярко намалеванная вывеска сырной лавки. Да и как мне было догадаться, что сей магазин спустя малое время будет известен всему Петербургу? Именно там уже сооружали подземную минную галерею, перерезая путь царю — по этой Малой Садовой он езживал в манеж. А респираторы действительно понадобились: наши наткнулись на канализационную трубу и повредили ее, зловоние разлилось страшное, и респираторы несколько помогли землекопам.

Забирая респираторы, Александр Дмитриевич сказал мне, что он уже заказал фотографии казненных и чтобы я туда заглянула.

Я так и сделала. Много позже, уже перед Рождеством, я получала свою фотографию и видела этого фотографа, благообразного, даже сладенького. Свою фотографию, так

сказать за ненадобностью, я подарила Владимиру Рафаиловичу. Да, а-то получила эту ненужную кабинетную карточку...

Наверное, в тот черный холодный вечер, когда Александр Дмитриевич ушел с респираторами, а я побрела домой, в Эртелев, в тот вечер, наверное, я и заболела. Несколько дней перемогалась, а потом слегла — ангина.

Он был у меня в среду. Не ошибаюсь — в среду. А я в жару, с температурой. Он ушел и вернулся — принес снеди, соорудил яичницу, заставил меня есть, убрал посуду. И обещал навестить:

- Буду у фотографа, оттуда к тебе. Не скучай, Аня. В субботу, рано еще было, пришла... Анна Павловна Корба. Ни здороваясь, не раздеваясь, проговорила шепотом:
 - Что вы наделали?!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

И больше — ни строчки. Я напоминал, она отвечала: «Да-да, непременно, Владимир Рафаилыч». Тяжело было продолжать, но она бы, думаю, превозмогла себя. Увы, не пришлось. Горько мне, но поступила так, как суждено было Анне Ардашевой... Про это после, а теперь позвольте оттуда, где она умолкла.

Обидно мне за Аннушку, жизнь обделила ее. Ну, скажите на милость, отчего было Александру Дмитричу не ответить на любовь Анны Илларионны? Другая любовь была у Михайлова.

Положим, Корба не знала, что Анна Илларионна больна, что она не в силах подняться с постели. Хорошо, не знала. Да ведь зато знала, что Михайлова в этой фотографии схватили! Стало быть, пошла бы вместо него Анна Илларионна и... Это-то Корба хорошо, очень хорошо понимала. О-о, конечно, получилась бы, простите, двойная выгода: в Исполнительном комитете сохранился бы Михайлов, а любящая женщина не потеряла бы любящего мужчину.

Однако, поняв, в чем дело, поняв, что Анна Илларионна больна, Корба смутилась, потерялась. Тотчас все и рассказала Ардашевой.

Вы помните: фотографии казненных. Александр Дмитрич считал святым долгом... Ведь и портфели, которые у меня, они тоже для того, чтобы «не забвению предано было». Так и фотографии.

И суть даже не в том, что цену уплатил смертную. Суть в том, что у него не порывами, не вспышками, а постоянно, всегда. Вообразите-ка: вот он за полночь валится, как сноп, на кровать; ноги гудят, измучен телесно и нервно; чуть свет — встал; темень на дворе, дождь ли, стужа, будни, праздники — отдыха нет. Неостановимая гонка. И непрестанное напряжение, ибо гибель наступает на пятки, успевай поворачиваться. А у него на сердце вот они — получены письма тюремные, подчас от изножья эшафота. И, усталый, не поспев толком утолить голод, он сюда, на Бассейную. Нет, не забывал ни тех, кого уж нет, ни тех, которые далече.

Так вот, фотографии казненных.

Много неясного, загадочного, никто теперь не отгадает. Александр Дмитрич приходит к фотографу. Отдает две

фотографические карточки. Говорит: родственники, мол, — и просит: пожалуйста, побольше экземпляров, а то семейство большое, каждому изволь, чтоб без обиды.

Фотограф этот, когда заказчик удалился, глядит на оригиналы. Да-с, глядит, и глаза у фотографа на лоб: спаси и помилуй, хороши «родственнички» казненные злодеи!

Вы понимаете, господа? Волшебник с черной накидкой, маэстро этот, он, видите ли, у з н а л казненных. Выходит, з н а л? Но как? Откуда? И тут нам заявляют: да, видел, да, знал, да, запомнил. А все потому, что фотография получала казенные заказы. Маэстро сей приглашался иногда в департамент полиции — снимать на карточки государственных преступников.

А дальше такой пассаж. Фотограф смекает, что заказчик-то из этих из самых, а вовсе не родственник. А коли и родственник — разберутся. Кому надо, тот и разберется. И фотограф зовет тех, кои разбираются. А следом приходит Михайлов — и капкан защелкивается.

Обстоятельства ареста Михайлова рассказала моей Аннушке не кто иная, как Анна Павловна Корба. Я ни на миг не допускаю, что о на исказила эти обстоятельства. Не могу, не желаю бросить даже тень от тени на женщину, которая нынче, когда мы тут с вами сидим, отбывает двадцатилетнюю каторгу. Но дорого бы дал: откуда она-то, сама Корба, откуда все это узнала? Кто сообщил?

Вот тут и неясное. Фотограф исповедовался, что ли? Признавался народовольцам, что ли? Хорошо: пусть известил Клеточников, он ведь тогда еще на воле был. Но если «ангел-хранитель» знал этого фотографа как посетителя «голубых», почему «ангел» не забил тревогу? Наконец, почему Михайлов направился именно к этому фотографу? На Невском, поди, дюжина фотографических заведений была, и этот самый не из лучших. А Михайлов именно туда. А может, кто-то его направил? Эдак ненароком кто-то обронил: дескать, хорошо бы такому-то заказать...

Однако погодите. Есть нечто более таинственное.

Александр Дмитрич, оказывается заходил получать заказ дважды. Заметьте: дважды! Именно здесь-то и спрятан ключ. Но спрятан глубоко, в бездонном колодце.

Итак, дважды.

В первый раз — эта, видимо, после Эртелева, после посещения Анны Илларионны. Не скрою, я благодарил, Бога за ее тогдашнюю ангину... Так вот, прямиком из Эртелева — к фотографу. И будто заподозрил неладное. То ли от швейцара шибало филером, то ли жена фотографа какой-то грозный знак подала.

Во всяком случае, опять прошу заметить: Александр Дмитрич о б е щ а л товарищам больше не показываться у этого фотографа: «Не беспокойтесь, я не дурак...»

Как он поступает?

Обращается к студентам. Наверняка не к первым встречным, а из студенческого подполья. Студенты отказываются. Значит, Александр Дмитрич не скрыл своих опасений. И они отказались. Очевидно, трусость молодых людей (вполне, по-моему, извинительная) больно задела Александра Дмитрича.

А деться некуда: самому нельзя, он убежден, что нельзя, а другие не идут. Замкнутый круг: ни начала, ни конца.

И вот — самое непостижимое.

Если нагая, строгая целесообразность, тогда бесспорно: нельзя ради фотографий мертвецов, пусть и дорогих, а нельзя ради фотографических изображений отдавать жизнь. Так иль не так, спрашиваю? Разумеется, так, если нагая, строгая целесообразность.

А на поверку?

Последняя пятница ноября. Михайлов идет по Невскому. День краткий, низенький, хмурый. Движется толпа, движутся экипажи, движутся конки. Он идет по Невскому. Машинально насторожен, привычно зорок. Назубок знает проходные дворы. Знает «в личность» многих шпионов.

Идет... И вдруг — вот она! — фотография. Неведомая, необъяснимая сила тянет Михайлова к западне, в западню.

Он входит.

«Пожалуйте, сударь. Одну секундочку, одну секундочку», — фотограф перебирает пакеты с готовыми заказами.

Александр Дмитрич ждет. Сознает ли он, что уже попался? Нащупывает ли в кармане «бульдог»?

«Извольте-с, сударь. Рады служить».

Он получает заказ. Идет к выходу. И...

Он пытался ускользнуть, даже и ускользнул, но его опять схватили.

Примечательно: Михайлов не оказал вооруженного сопротивления, он не стрелял. Может, забыл оружие, не обнаружил в кармане «бульдога»? Не похоже и странно. А может, страшился вооруженного сопротивления — отягчающая вина? Но и без того «бед» хватало, а где семь бед, там один ответ. Опять-таки странно.

Однако главное в том, что Александр Дмитрич точно в омут кинулся. Как! Удивительная интуиция. Феноменальное, «индейское» чувство опасности. Громадная дисциплина воли. Страж организации: он стоял, как на часах, подобно молодому Игнатию Лойола у образа девы Марии. Да, вот так-то. И вдруг эта минута — самоубийственный шаг. Буквально ш а г: с улицы до дверей.

Я говорю «минута». Но какая — ослепившая или ослепительная?

Нынче модно все замки психологией отмыкать. О, каакой простор беллетристу! И за руку не схватят: никто на свете не знает, как на самом-то деле было. Согласен: подлинный беллетрист всегда верен правде натуры своего героя. Да штука в том, что здесь как раз все свойства характера вверх тормашками, вот что.

Остается лишь предполагать...

Ну, скажем, так: устойчивость, равновесие, в высшей степени ему свойственные, были поколеблены, он не оловянный: открытая рана вследствие недавней гибели близких людей; рана, которую растравила трусость студентов. Невозможность выбраться из замкнутого круга, а только разорвать его очертя голову: «Эх, где наша не пропадала». Если так — минута ослепившая.

А я, признаться, к иному наклонен.

Вспомните: Александр Дмитрич всегда как-то оказывался на пядь от непосредственного, бесповоротного. Ну, коть московский подкоп, когда царский поезд... Он в подкопе работал? Работал! А взрывал другой. Мезенцева выслежи-

вал? А с кинжалом другой. В Харькове был? А на тракт, каторжан отбивать, не он выехал. И последнее: полуподвал на Малой Садовой, в доме Менгдена, где устроили сырную лавку, он этот полуподвал, так сказать, санкционировал, а взрывать будущую мину — опять не он.

А тут, черт дери, всего-навсего фотография. Осторожность, расчет властно требуют: обойди, шагай дальше! А нечто — вихрем: доколе?! И бьет в голову, вместе с волной крови бьет непереносимость утраты достоинства, самоуважения... И если так, вот она — минута ослепительная!

Простите, не понял? А-а, говорите: «Неразумно». Гм, «неразумно»... Да, да, конечно. А только, как хотите, не выкажи он этой неразумности, ей-Богу, чего-то очень важного, очень существенного в нем бы недоставало.

2

Я не задаюсь праздным вопросом об ответственности за годы и души, убитые в тюрьмах. Ильин день в Левашове, на даче, помню. Когда Желябов или Михайлов, кто-то из них, пусть и не очень твердо, а все-таки и не туманно: «Да, весьма возможно, что и после социального переворота понадобятся карательные меры».

А коли о тюрьмах, то вот вопрос: отчего обыденное сознание равнодушно? Сознайтесь: часто ль думаете, часто ль вспоминаете? Тюремный мир огромен и страшен, а для нас-то вроде бы и не существует, хотя прекрасно знаем, что он существует.

Зачем далеко ходить? Вон, на Фонтанке, — департамент полиции; на Шпалерной — Дом предварительного заключения, а на острове — своя бастилия. Вы как-нибудь при случае поглядите внимательно на прохожих. Что на челе? А ничего, кроме вседневной докуки. Омрачатся не больше двух-трех. А дюжины дюжин глазом не моргнут. И отнюдь не злодеи, даже не сухари. И нищего не гонят, и детишек любят, и не подличают...

Вот где-нибудь в Германии, путешественником, увидишь подземелья или башню с зарешеченными оконцами или, скажем, в Париже, на площади Бастилии, где давно нет Бастилии, — смотришь, и разыгрывается воображение. Не странно ли: в прошлое перебегаешь проворнее, нежели удерживаешься на этой вот минуте. Отчетливее, явственнее возникают тени давно умерших узников, нежели узник, которого знаешь во плоти и который еще жив. Я это к тому, чтоб передать тогдашнее состояние при мыслях об Александре Дмитриче. Не мог представить: н и к о г д а не переступит порог моего дома. Никогда не сядет вон за тем столиком, а я ни принесу ему из прихожей кожаные портфели. Никогда на скрестим шпаги — прок ли от террора иль худо от террора, готова ль народная Россия к выборам Учредительного собрания или ей полвека еще азбуке учиться...

Не то Анна Илларионна. Слышу вскрик: «Он вернется! Вернется!» Должно быть, так вскрикивает насмерть подбитая птица. Однако не думайте: аффект, потрясение... Нет, она действительно верила в его возвращение. И ни спустя десятилетия, а чуть не к Рождеству. Тут какая-то, и бы сказал, глубочайшая смещенность пластов сознания. Ведь она притом сознавала, что «оттуда» не возвращаются; такие, как Александр Дмитрич, не возвращаются.

Бедняжка, она замышляла повторение давней попытки харьковского предприятия: напасть и выручить. И обратилась к Николаю Евгеньичу.

Суханов, лейтенант, жил тогда уже в Петербурге. В университет хаживал, на лекции из физики. Впрочем, оставался флотским. Но университет — днем, а ночами — сырная лавка на Малой Садовой: он работал в подкопе, он и минные запалы раздобыл... Наперед скажу: в день первого марта царь другой дорогой ехал в манеж, и это на обратном пути и не на Малой Садовой все совершилось...

Анна Илларионна к Суханову обратилась. Николай Евгеньич не отшатнулся. Думаю, план моей Аннушки был ему по душе. И, несомненно, подобная попытка воспламенила бы и молодых кронштадтцев.

Однако не было ее, этой попытки. Может, и была бы, если бы Николая Евгеньича не арестовали (это после первого марта). А может, и сам Суханов оставил бы. И не столько из практической невозможности, сколько по настоянию самого Александра Дмитрича: из своего каменного мешка он умолял товарищей не увлекаться, не разбрасываться.

Неизвестность изводила Анну Илларионну. Она кружила в тех местах, которые обыденное сознание если и примечает, то вскользь, без задержки.

А потом пришла на Садовую, в адресный стол. Помнила, что у Александра Дмитрича есть петербургские родственники. Фамилию дядюшки помнила — Вербицкий.

«Как, — спрашиваю, — ты явилась к этим Вербицким, с чем. от кого?»

«А так, — отвечает, — сама от себя, лепетала что-то о давней дружбе... Живут бедненько, квартирка плохонькая. Дядюшка Александра Дмитрича, лысенький, сидит, гильзы табаком набивает; глаза ласковые, хотел что-то молвить, но жена носом повела: «Ах, вы об Александре? А мы его, барышня, эвон сколько не видели... Они-то, которые из Вербицких, они не родственные. Вот, барышня, муж мой, Николай Осипыч, совсем болен, а вашего-то Александра маменька и не охнет. Прости Господи, прижимистые. В провинции все задешево, а ты вот здесь в Петербурге попробуй. А у них, у Вербицких-то, у сестер, у них, побей меня Бог, капиталец е-е-есть. Да нет того, чтоб братца родного, который в нужде...»

Тут как раз вошла кузина Александра Дмитрича: Катя Вербицкая. Приглянулась она моей Аннушке. «Такая, — говорит, — доброта, такая мягкая задушевность, что сразу располагает к доверию».

Катя Вербицкая при каждом случае, убийственно редком, когда разрешали, навещала кузена. И признавалась, что шла в тюрьму со слезами, а возвращалась просветленная. Шла утешать, возвращалась утешенная.

При первом знакомстве Анна Илларионна оставила ей адрес, просила заходить и сама обещалась наведываться к Катиному батюшке: он нуждался в медицинской помощи. Кажется, что-то с суставами; одно время его лечил доктор Веймар. Орест Эдуардыч...

С Катей моя Аннушка очень сблизилась в тот тяжкий год. Из всех здешних Вербицких лишь Катерина искренне и открыто сострадала Александру Дмитричу. Родные Катины братья, офицеры, кляли кузена-социалиста. А подруги ее... Вот вам черта подлой нашей жизни: подруги на другую сторону улицы шарахались.

Забегая вперед, скажу, что Катя Вербицкая умоляла допустить ее в судебную залу. «Я знала, — говорила со слезами, — как важно Саше увидеть родное лицо в такие минуты». Ей отказали: не прямая-де родственница.

Одной только Клеопатре Дмитревне, сестре Михайлова, Безменовой в замужестве, дозволили присутствовать. Помните, была у нас речь о Клеточникове? Как Безменова не могла поверить, чтоб такой тихий, невзрачный человек... Вот, вот! На суде она видела и слышала Клеточникова...

Катя была ближе других моей Аннушке. А с Клеопатрой Дмитревной она переписывалась и после осуждения Михайлова. А самый младший из Михайловых, Фаня, Митрофан Дмитрич, он здесь учился, в институте гражданских инженеров...

Родители Александра Дмитрича задолго до процесса приехали. Вернее и горше сказать: привезли их. И едва они оказались в нашем городе, Анна Илларионна бросилась к ним...

Эх, друзья мои, приведись роман сочинять, я б, как другие, издалека повел. Широким охватом, так заведено, коли роман, да и у господ критиков в почете. Ну и печатных листов поболе, а гонорарий тоже вещь не последняя.

Вот бы я и вывел, например, батюшку моего героя. В рост бы и все в точности: как был незаконным помещицы Блаженковой, солдатский сын, сданный в кантонисты; когда и где служил, как бронзовой медалью украсился на Андреевской ленте в честь коронования государя Александра Николаича... А потому все с такой точностью, что у меня в портфеле, который от Михайлова, полный формуляр отца его родного, Дмитрия Михайлыча. Ну-с, а по этой канве-то и узоры: тут тебе и уезды, и как отец, землемер, крестьянский быт во всей подноготной, и как сын, будущий крамольник, через то пищу для ума получает... Знай рассыльного за бумагой и чернилами гонять!

Впрочем, с другого ракурса глянуть, то льва по когтям, а мастера по самоограничению узнают. Я это к тому, что и рассказчика тоже... Шучу, господа. Из меня мастер, как из воды — токайское...

Отца и матушку Александра Дмитрича, пока они в Петербурге были, Анна Илларионна едва ли не каждый вечер видела. В лечебнице уже не припозднялась.

Не приехали они в Петербург, как тысячи людей приезжают, — жандармы вытребовали. Есть у «голубых» метода — опознание. На тот случай, не частный, а частый, коли надобно нелегального с чужим именем обратить, так сказать, в легального — подлинное родовое прозвание обнаружить.

Вот и предъявляют «на предмет опознания». Арестованному, понятно, метода всегда пыточная. А для званных опознавать — не всегда. А то и вовсе в удовольствие. Дворников призовут или квартирных хозяев. Правда, душа-то у них мрет: царица небесная, к начальству тянут. Но вместе словно бы «Херувимскую» поет: вона я какой, без меня, вишь ты, и большому начальству не обойтиться.

А доподлинная и обоюдная пытка — это когда твоих кровных опознавать заставляют. Именно тебя, тебя. Дмит-

рия Михалыча с Клавдией Осиповной, Михайловых-стариков за этим и выхватили из путивльского затишка.

Совсем недавно, душистым летом, свиделись в лесу. Совсем недавно. И Саша, первенец, обнимал их, целовал... И лес на месте, и дорога на месте. Разве что облетели листья. Разве что лег нежный снег. И вот — новое свидание: ни листочка, ни солнышка, железо да камень.

Анна Илларионна была у Михайловых накануне вечером — на другой день их «приглашали» в крепость. А коли так, значит, личность Александра Дмитрича уже была установлена и дознаватели попросту играли в законность. Так... Но может быть, Александр Дмитрич все-таки гнул свою линию: он — не он, а некий отставной поручик? (С бумагой какого-то поручика Александра Дмитрича арестовали.) И если так, то что делать отцу-матери? Как держаться?

«Я в штрафах, под судом и следствием не был, — твердил Дмитрий Михайлыч дрожащим голосом. — Мне врать — нож вострый. Я отставной надворный советник, но честь в отставку не подает...»

И хотя старик сам себя уговаривал, сам себе не верил, Анна Илларионна трепетала: «Дмитрий Михайлыч, миленький, вы не должны сразу... Осмотритесь! Ваш сын — это такой человек...»

А Клавдия Осиповна улыбнулась сквозь слезы: «Я, голубушка, пойму, мне только на Сашечку взглянуть, я и пойму, что сказать... Вот не знаю, чего снести покушать... А вы, голубушка Анна Илларионна, вы ступайте, отдохните, лица на вас нет. Нам с Дмитрием Михайлычем... Мы с ним помолимся, услышит Господь молитву нашу...»

На другой день доктор Ардашева не принимала пациентов в больнице для бедных на Малой Садовой. Она поджидала чету Михайловых неподалеку от крепости, в начале Каменноостровского.

Была ростепель, для середины декабря внезапная. Ветер дул южный, влажный, а моя Аннушка коченела. Ростепель, туман почему-то ужасно на нее подействовали. Даже бой курантов казался «больным», будто колокола отсырели, разбухли.

Долго ждала Аннушка, совсем продрогла, а старики все не показывались из Иоанновских ворот. Она побежала на Выборгскую, где Михайловы квартировали. (У Вербицких не остановились. Видать, не приняли. Вербицкие и дочь-то свою, Катю, гнали прочь за то, что

Александру Дмитричу сострадала...) Прибегает. Было уж совсем темно — конец неблизкий. Оказывается, разлюбезные жандармы отвезли стариков из крепости в казенном экипаже. Потому-то Аннушка и пропустила, не заметила.

Клавдия Осиповна тихо, безутешно плакала. А старик все ходил и ходил из угла в угол, ходил, не выпуская из рук палки. И все оглядывался, озирался, будто высматривал, куда девать палку. А потом вдруг загрозился комуто, пристукнул и сказал твердо: «Саша наш — молодцом!..»

Что там, в крепости, на этом жестоком «предъявлении» было? Не решилась Аннушка тотчас расспрашивать. Но потом, спустя какое-то время, осмелилась... Он сам, Александр Дмитрич, сам как бы и подал знак матушке: признавай меня, мама. Шагнул к ней, глазами знак подал... Выходит, до того часа он запирался: я, дескать, поручик Поливанов, и баста. А тут, как матушку увидал, тут не мог больше. Снял с нее муку — признавай меня, мама... И старушка залилась слезами. «В предъявленном мне сейчас молодом человеке я признаю своего старшего сына Александра Дмитриевича Михайлова».

Они прожили в Петербурге весь январь: все надеялись получить еще одно свидание с сыном. Даже и начало февраля застало их здесь. Во всяком случае, на Сретенье Аннушка ходила с ними к службе. Мать Александра Дмитрича сказала ей: «Сашечка всегда со мной ходил».

Казенщину церковную он отвергал, а вот, видите, обряды исполнял. Уступка принципу? Да, конечно. А причина? Уважение! Здесь единство: мать родная и народ родной. Оттого-то, думаю, многие из приговоренных к смерти на глазах толпы народной не богохульствуют, не отвергают ни священника, ни крестного целования.

Во всем существе — про Александра Дмитрича говорю — была нерасторжимость с нравственной идеей Христа. Если помните, еще на Волге возникла у него мысль о народной религии — революция и возвещанное Нагорной проповедью. И я крепко уверен: он от этих помыслов не отстал. Другое дело, что унесла стремнина, не успел заветное в систему привести...

В январе, еще при стариках Михайловых, первая ласточка прилетела. Чудо! Ясный глас во мраке. Настоящее чудо... Как выпорхнула из каменного мешка? Анну Илларионну не осведомили.

Тут низкий поклон тезке моей Аннушки. Не боюсь усмешки: больно вы восторженны, Владимир Рафаилыч. Нет, не восторженность, а признательность. Редчайшая из женщин поспешила бы к сопернице — с благой вестью, с утешением. Анна Павловна Корба поспешила. Скептику вольно язвить: да она если и видела в Ардашевой соперницу, то, конечно, довно побежденную, может, и без борьбы побежденную... Пусть так. Все равно редчайшая поспешила б и к побежденной.

Так вот, ласточка, выпорхнув из каменного мешка, не к моей Аннушке прилетела — к Анне Корба. И Анна Корба пришла к Анне Ардашевой. Если б не эта и не последующие их встречи, многое про узника осталось бы неведомо Анне Илларионне. Потому-то и низкий поклон Анне Корба... Да, и еще! А ваш покорный слуга не располагал бы вот этими листками, этими копиями.

В том январском, первом тюремном листке Михайлов назвал жизнь свою счастливой, совершенно счастливой и редкостной. Почему так? А потому, что жил с лучшими людьми времени, был достоин их любви и дружбы... Согласитесь, ясный голос доносился из мрака. К сожалению, одна ласточка не делает весны. Он умолк. Молчание длилось больше года. Ни звука, ни слова...

3

Но не эхом ли его голоса долетел ко мне взрыв на Екатерининском канале? Не фигурально, не гипербола эхо раскатилось до Литейного...

Событие первого марта восемьдесят первого года известно в мельчайших подробностях. Про убийство Александра II тыщу раз рассказано и пересказано. Вы не хуже моего знаете.

Боже мой, сколько надежд вспыхнуло, расцвело в душе Анны Илларионны! Невиданные перемены чуялись. И не только ей. Я думаю, Михайлову тоже. Он не мог не догадаться: крепостные пушки стреляли и колокола звонили, когда царя погребали.

Чего, однако, дождались?

Уже в апреле, месяц спустя, — виселицы Семеновского плаца. По запруженному Литейному, мимо моего дома, две валкие колымаги влекли на эшафот Перовскую, Кибальчича, Желябова и этого рабочего парня, однофамильца Александра Дмитрича, и разнесчастного Рысакова. Страшная

была минута — шествие на костер. И я содрогнулся, услышав впоследствии слова Ивана Аксакова: «Судьба этих животных меня нисколько не занимает».

Но не мог я не содрогнуться и мукам государя. Он был мне почти ровесником. Всего-то на три года постарше. Вот уж именно — и врагу не пожелаешь. Да, наконец, я не был согласен ни с Александром Дмитричем, ни с Анной Илларионной. Решительно не соглашался, знаете ли, в чем? А в том, как они смотрели на почин графа Лориса.

О конституции не спорю. Была бы, не была, а была бы, то какая? Об этом не спорю. Однако на ступенях трона поредела толпа поклонников тьмы. Жизнь просыпалась, мысль кипела.

А расчет на восстание был грустным ослеплением. Я эдак не теперь, не постфактум, я тогда еще говорил и Александру Дмитричу, и Анне Илларионне.

Что вышло? Семеновский плац. Отставка графа Лориса. Пир Победоносцева.

Можно сказать: эх, Владимир Рафаилыч, вы человек привычный, императора Николая пережили. Верно, господа. А вы и о том подумайте, что я до Николая Павлыча ничего не видал. Он воцарился, когда мне пять годков было. Ну и казалось тогда, что иначе и не живут, коли в России живешь. А при Александре II, как ни суди, разительная несхожесть. Вы и подумайте: каково на старости лет в николаевщину пятиться?

А нам первым доставалось — редакторам, издателям, пишущей публике. У нашего «Голоса» стал быстро хрипнуть голос. Это приват-доценты, которые годы спустя, это они, в домашних своих халатах, охочи рядить: «Голос» вилял, «Голос» двуликим янусом явился. Ух, аники-воины!

Вот бы я на них поглядел, когда бы они в редакции попрыгивали, как на противне. Из Москвы — Катков: ату его, ату, гнусный «Голос». В Петербурге любая моська из управления по делам печати — двух фраз на бумаге не свяжет, а зубами лязгает. Это какое положение, скажите по совести? А это как протопоп еще двести лет назад выразился: приставили за нами целое войско стрельцов, с... и то провожают.

После первого марта циркулярные указания, как из рога изобилия: «неуместные суждения», «непозволительные осуждения». И предостережения. И распоряжения.

День за днем унизительнейшее чувство. Сам себе мерзок, а цензору по-собачьи в глаза заглядываешь и перед любым из управления печати за версту шапку ломаешь. Дальше — хуже: приостановки издания. А потом — аминь, прихлопнули, задушили «Голос». А вы говорите — привычный...

Хорошо. То есть и нехорошо, а продолжим.

Итак, куранты отзванивают. Куранты у нас башенные, крепостные, главные часы государства. Они и отмеряют всероссийское время.

Минул год, как от Александра Дмитрича не доносилось ни звука. На дворе опять февраль, но уже февраль восемьдесят второго. И там, под курантами в крепости, в тишине и тайне, завершается действо — дознанием называется.

Вот тогда-то и появляется свет в оконце — Кедрин. Евгений Иваныч Кедрин, присяжный поверенный. Представитель петербургской присяжной адвокатуры.

Только теперь, когда обвинительный акт изготовлен, защитник может познакомиться и с самим подзащитным, и с его делом. Я неспроста подчеркиваю: только теперь! По уставу-то... это когда все мы, ликуя, встретили судебную реформу... по уставу адвокат допускался к предварительному следствию. Но гладко было на бумаге, а потом другая вышла, шершавая. Называются такие — разъяснениями. И разъяснили: от предварительного следствия адвокатов устранить.

Да, Кедрин, Евгений Иваныч Кедрин — отныне свет в оконце. И для Анны Ардашевой, и для Анны Корба. И для меня тоже. Потому что и я, замирая, ждал известий...

Убежден: настанет пора — русским адвокатам, участникам политических процессов, воздадут должное. Непременно! Не может быть, чтобы не воздали.

Тяжело им было, тяжко. Я сейчас не о борьбе за подзащитного. Вы молоды, вряд ли знаете, как у нас, на Руси, новорожденное адвокатское сословие приняли. «Прокаты», «наемная страсть», «брехунцы» — вот чем привечали. И литература тоже не жаловала: и Некрасов, и Щедрин со своей гениальной бранчливостью, и Федор Михайлыч в «Дневнике писателя». А сколько эпиграмм!

Но дело меняется, едва русский адвокат входит в судебную залу, где русский государственный преступник.

И тогда взвиваются прокуроры, министры юстиции, чины неудобоназываемого ведомства: «Карраул, спасайте отечество от присяжных поверенных! Помилуйте, цицероны вызывают брожение умов! Послушайте, да зачем они, к чему? Судьи — беспристрастны, облечены вышним довери-

ем. А тут эти цивильные джентльмены с их независимостью, неуместной иронией и подозрительными намеками. А один прокурорище, семи пядей во лбу, тот и вовсе — пригласил господ защитников, да и присоветовал избегать... Нипочем не угадаете! Избегать слишком большой убедительности»!

Я водил знакомства с адвокатами. Ольхина уже называл, того самого рыжего «викинга», которому обязан хранением архивных портфелей... Знавал и других. И не потому лишь, что случалось бывать присяжным заседателем по второму отделению окружного суда. А потому, главное, что светлые люди.

Без выспренности: славная когорта. И Стасов, воплощенная совесть адвокатуры. И безоглядно смелый Александров; да-да, защитник Засулич. И Жуковский, наш петербургский мефистофель, гроза судейского племени. И Герке, Август Антонович, большой друг Чайковского и Рубинштейна... Или вот Виктор Палыч Гаевский, солидный знаток Пушкина, один из основателей Литературного фонда... А Спасович? «Талант из ряда вон, сила» — это Достоевский его аттестовал. А внешне, манерами — спаси Бог, чистый каторжник.

И вот — Кедрин. У Евгения Иваныча не было столь яркой и мощной образности, как у Спасовича. И убийственного яда не было, как у Жуковского. Он не обладал ни поэтическим блеском Карабчевского, ни обаянием барственного Урусова. Педантичный, суховатый, никакой аффектации. Не сразу, не вдруг поймешь, что душа широко отзывчивая. Но вот что сразу чувствовалось — твердость необычайная, этот не дрогнет.

Примечательная особенность! Видите ли, в отношениях политических преступников к адвокатуре была некоторая... ну, натянутость, что ли. Некоторая щекотливость была. У наших крамольников имелись на сей счет две точки зрения. Одна, так сказать, совершенно нигилистская: адвокатская элоквенция прикрывает наглое беззаконие, только и всего. И другая, помягче. С защитником можно ладить, ежели он обязуется не унижать твои убеждения. А то вон Спасович. Хоть и благие намерения, хоть и ради защиты, а преуменьшает в глазах судей силу и влияние партии. Э, нет, к черту! Ты, брат адвокат, дай юридический анализ, лови прокурора на противоречиях и натяжках, да только не замай ни моих убеждений, ни моей личности: я не уголовный, который все слопает.

Положение не из легких. Холодную враждебность властей, особенно чинов известного ведомства, защитник ощущал всечасно. И не только в судебной зале. Вы все тут россияне, и нет надобности толковать, что это и есть жизнь под дамокловым мечом. Стасова ссылали, князя Урусова ссылали, Ольхина ссылали.

Стало быть, с одной стороны, холодная враждебность, а с другой — горячая настороженность.

В таком положении был и Евгений Иваныч, когда взялся защищать Михайлова. Вернее сказать, когда Александр Дмитрич согласился принять защитника. И не кого-нибудь, а именно Кедрина, потому что особый расчет был, поймете из дальнейшего.

Накануне процесса перевели подсудимых из крепости на Шпалерную. Есть такое, я бы сказал, пространственное ощущение. И оно сильно пригнуло мою Аннушку. Крепость — это как отрезали. А Дом-то предварительного заключения, он в ряду прочих домов — пойди и коснись ладонью...

Процесс близился, а мы, то есть журнальные и газетные сотрудники, и не шевелились. Давно судоговорение над политическими было запретной темой.

С иностранными корреспондентами у власти морока. Никак, шельмы, не соглашаются с истиной: зри «Правительственный вестник». Нет, обивают пороги. А потом извольте радоваться: всякие «неуместные подробности», распишут тенденциозные выходки обвиняемого.

А с нашим братом россиянином не мудрят; «Куды суеться?! Цыц!» Ну, еще в мое время, когда «Голос»... Не сочтите за похвальбу, да, в мое-то время кое-какой резон был. А теперь-то чего не «пущать»? Я бы нынешним «бутербродным писателям» — двери настежь.

Раньше преобладал журналист, а теперь — репортер. Раньше большинству честь была дороже поживы. И своя честь, и газеты честь. А теперешние: «А сколько за строчку?» Тип журнального сотрудника изменился. Понимаете, тип. Началась гегемония циников. А когда ей предел — один ты, Господи, веси.

Вот и говорю: «бутербродные писатели» — ужинами их кормят, бутербродиками, коньячок подносят. Не-ет, этихто отчего не «пущать»? Вполне возможно, даже хорошо-с: все-таки общественное мнение.

Стало быть, надежда на меня у Аннушки нулевая. Мы оба отлично знали: в судебную залу билетом Зотов не разживется. Правда, сестра Александра Дмитрича,

Клеопатра, билет получила, ей дозволили, как и еще двум или трем родственникам других подсудимых. Но что это означало? Присутствуй, а с братом и словечком не перемолвишься... Оставался Кедрин. Опять вопрос: как ей, Анне-то Илларионне, к этому Кедрину подступиться?

Ну и выходит: снова необходим Владимир Рафаилыч.

Я с Кедриным был знаком; правда, шапочно, но знаком. И общие знакомые у нас имелись. Вот хоть Спасович. (Он, кстати сказать, много помог мне, когда я занимался славянской словесностью для своей «Истории литературы»). Н-да, попытка — не пытка. Но, по сущей совести, страх был. Не Кедрина я боялся, этого не было. А так, общая атмосфера страха. Узнают, что интересуюсь, там, сям брякнут. Страшно... А тут и слушок — дескать, у кого-то из «Голоса» была какая-то связь с подпольными типографами. Вот этот-то слушок в особенности смущал.

А дни-то считанные — до девятого февраля, когда начнется. И уже известно: обвинителем — Муравьев, председательствующим — сенатор Дейер. Первый прокурорствовал на процессе желябовцев. Второй был не просто красный мундир, а словно б кровью напитанный, на злобную мартышку смахивал этот сенатор. Александр Дмитрич сказал Кедрину: «Не суд, а вертеп палачей».

Утром девятого февраля Анна Илларионна пришла ко мне. Вижу, глаз не сомкнула. Понимаю: она, голубушка, безмолвно молит, чтоб я нынче повидал Кедрина. Совсем мне скверно стало.

И что думаете? В тот же день я и отправился. Прямиком по Литейному... Вы не замечали, какое оно нелепое, это здание судебных установлений?

Я там ходы-выходы знал. Как-никак, а присяжный заседатель. И сторожа меня знали. Иду. Э, и в мыслях не держал судебную залу. В тронную, верно, легче было бы. Нет, мне бы только в те комнаты, где совет присяжных поверенных, где текла адвокатская, сословная жизнь. Мне бы туда, и довольно

Короче, свиделся. Тут была колючая минута... Евгений Иваныч, сухой, высокий, он мне в ту минуту учителем черчения показался... Да, минута, когда он не то чтобы враждебно, а как-то «морозно» на меня глянул.

Спасибо, Владимир Данилыч выручил. Как всегда, Спасович острижен коротко, по-солдатски, и манжеты несвежие. «О, — говорит, — свободная пресса явилась. — И махнул в сторону апартаментов судебной палаты. —

Не извольте беспокоиться: там имеет-с быть сам редактор «Правительственного вестника». Гласность обеспечена, ха-ха. — И уже серьезно, уже рекомендуя отнесся к Кедрину: — Прошу любить и жаловать: Владимир Рафаилыч — порядочный человек. — И углами губ усмехнулся: — А всякий порядочный человек более или менее социалист».

Кедрин молча, жестом пригласил меня в сторонку. Служитель разносил чай. Адвокаты переговаривались и показывали друг другу какие-то бумаги.

«Чем могу быть полезен?» — спрашивает Кедрин. «Простите, — говорю, — простите великодушно, Евгений Иваныч, я приватно, не из редакции. Видите ли, понимаю вашу занятость и усталость, но есть у меня родственница, достойная барышня...» Это я ему родственницей Аннушку свою выдал. Ну и так далее. То есть про то, что вот уже год, как от Александра Дмитрича...

Мне показалось, что по лицу его, серому, невзрачному, с двумя резкими морщинами, скользнуло что-то похожее на доброжелательность, но отвечал он по-прежнему сухо: «Знакомство с подзащитным, к сожалению, краткое. Мое впечатление: Александр Дмитрич и телесно и нравственно вполне здоров. Полагаю, он не будет мешать мне, а я ему. Разумеется, он сейчас сильно возбужден: накопилось много горючего материала, произошла встреча с коллегами. У него уже было столкновение с первоприсутствующим. Отношу на счет возбуждения. И на счет сенатора, который... Впрочем, это не к делу».

Да, сказал я, конечно, возбуждение: не месяц, а больше года в крепости. Я, знаете, молодым сравнительно человеком один день там провел, а год опомниться не мог.

Евгений Иваныч словно бы и не расслышал о моем «крепостном состоянии». Я, признаться, котел его расположить, даже как бы и подольститься. Но, котя он вроде и не заинтересовался, но произнес мне желанное: «Если угодно, прошу...» — и протянул визитную карточку с адресом.

Процесс взял несколько дней, до пятнадцатого февраля. Два десятка подсудимых, а суд-то вон как скоро управился. И каких подсудимых! Баранников, старый, еще путивльский друг Александра Дмитрича: в Харькове был, когда каторжан замыслили освободить, участник покушения на Мезенцева... Клеточников, опять-таки друг Михайлова; Клеточников, что служил в Третьем отделении, а потом в департаменте полиции. И Морозов, имя которого тогда, до недавней встречи с Ольхиным, мне ничего не говорило; Морозов, который юношей, с пушком на ланитах, был здесь, на Бассейной... И Николай Евгеньич, о котором рассказывал, Николай Евгеньич Суханов...

Да, двадцать подсудимых, а суд в считанные дни... А мне они как в один вечер слились: я навещал Евгения Иваныча. И я видел, понимал и чувствовал, что ему, «сухарю», «учителю черчения», горькая отрада говорить о своем подсудимом. Он гордился Александром Дмитричем, гордился и восхищался.

«Да, знаете ли вы, — говорил Кедрин, жадно и коротко затягиваясь пахитоской, — будь на Руси побольше таких, и судьба родины была бы иной. Умнейший ум, характерный характер. Никакой позы, серьезное достоинство. Уж на что Дейер грубиян, и тот не смеет. Ну и Муравьев, прокурорское святейшество, тоже говорит: «Поразительно все-таки: последние минуты, расчет происходит, расчет за все, а он, вы смотрите-ка, он о себе ни на миг, его заботят лишь интересы сообщества...» Поверьте, Владимир Рафаилыч, уменя ни тени обольщения: дескать мой клиент. Все согласны, что Михайлов — ведущая фигура процесса. И это так, так! Он в центре внимания и своих, и судей, и защитников».

Приговор, конечно, был предрешен. Но формально еще не вынесен. И вот накануне мне показалось, что мой визит в тягость Кедрину.

Евгений Иваныч медленно убрал со стола бумаги. Стол был гол, пуст. И в этой оголенности, в этой пустоте было что-то... от приговора. Кедрин поводил ладонями по ворсистому сукну. Он будто не верил этой пустоте. Лицо его было совершенно серое, даже с желтизной. Он подержал папиросную коробку и поставил на место сонным движением.

И вдруг заговорил высоким, почти пронзительным голосом: «Есть минуты, когда не можешь оторвать взгляда от шеи подзащитного. Встаешь, садишься, бросаешь шаблонные фразы: «Господа судьи, позвольте...» А мысль одна неужели эту шею обовьет петля-удавка? Вот именно эту, эту... Скользит змеиное, шипящее чувство... чувство собственной причастности. Личной причастности к палачеству. Ты защитник, ты единственный, ты дорог, близок подзащитному. И он тебе делается бесконечно близок и дорог. Но ты беспомощен. И эта беспомощность есть причастность к палачеству... Я уже пережил такое, защищая Софью Львовну Перовскую. И остался жить. И вот опять причастность, а я опять останусь жить...»

Утверждают: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Неправда! Есть много тайн, не ставших явными; ни единой нотой не вошли они в аккорд жизни. Ложь, зло, подлость, они словно бы вторично торжествуют — минет время, лезут, как шило из рогожи: дескать, вот мы какие, любуйтесь. А тайны, достойные людской памяти, зачастую истаивают призрачным дымом. Чудовищная несправедливость! Как смерть детей...

Спаситель таких тайн святое дело делает. Присяжный поверенный, похожий на чертежника или бухгалтера, сильно рисковал. Непременно — и это в лучшем случае — угнали бы в тмутаракань; он знал, понимал, но сделал.

Еще вершилось судоговорение. Одергивал адвокатов сенатор Дейер, обрывал подсудимых. Выслушивали мундирные судьи: «Да, я принадлежал к партии. Да, я принадлежал к организации... Вы и мы — враждующие стороны. Посредников нет. Где гласность? Двери закрыты, мы — связаны, вы — с мечом».

Еще были дни до приговора. И Михайлов торопился. Клочки тонкой бумаги. Мелкий почерк, буква к букве, словам тесно. И они задохнулись бы в тесноте, когда бы после каждого свидания Евгений Иваныч не уносил письма Михайлова.

Уносил и передавал. Нет, не мне, я даже и не знал. Молодцом был Евгений Иваныч, недаром Михайлов его выбрал. Не я один, оказывается, наведывался к Кедрину, на Слоновую улицу, не я один...

О чем писал Александр Дмитрич? О чем и кому?

О товарищах — товарищам... Об у ж е погибших сохраните память, прославьте незабвенных и великих — Андрея Иваныча Желябова, Софью Львовну Перовскую... О тех, кто е щ е жив, кто рядом с ним на скамье подсудимых: Суханов — натура искренняя и сильная; Колоткевич — настоящий апостол свободы; Баранников — рыцарь без страха и упрека; Клеточников — человек, достойный высокого уважения...

В Эртелев, во флигель, скользила тень. А на окне горели свечи в старинном канделябре — знак безопасности. И Анна Павловна Корба входила, на бровях снежинки таяли... Тонкие лоскутки, исписанные в тюремной камере... Корба уходила, унося тонкие лоскутки, тень скользила наискось через двор, исчезала в воротах, как и не была... И оставались с Аннушкой вот эти копии: «Смерть много лучше прозябания и медленного разрушения. Поэтому я так

спокойно и весело жду приближающегося момента небытия... Будьте счастливы в деле, будьте счастливы в своем тесном союзе...»

Знаете, я сейчас подумал. Можно удержать в памяти лицо человека, жест, походку, почерк. А голос? Помнишь, конечно, бас был или дискант. Ну, а так: подумать о комнибудь и чтобы тотчас возник голос? А вот раскроешь автора, знакомого очно, раскроешь, начнешь читать — и в ушах так и звучат его интонации.

Вы-то Александра Дмитрича не расслышите, многое для вас исчезнет. В его речи была особенность: волнуясь, он чуть запинался. И почему-то всякий раз, когда я слышал это легкое запинание, мне на ум: мысль изреченная — правда. Покоряющая убедительность была.

Но пусть и ни расслышите интонацию, зато главное, капитальное... Я вам сейчас то, что было написано после приговора, сразу же, как объявили смерть.

И не только ему. Десять виселиц означались в сумрачной зале Окружного суда... А за стенами, там, на Литейном и Шпалерной, шли, торопились, у каждого своя докука, вот такие, как вы да я...

Я прочту. Своими словами нельзя, грех.

«Завещаю вам, братья, не расходовать силы для нас, но беречь их от всякой бесплотной гибели и употреблять их только в прямом стремлении к иели.

Завещаю вам, братья, издать постановления Исполнительного комитета от приговора Александру II до объявления о нашей смерти включительно (т. е. от 26 августа 1879 года до марта 1882 года). При них приложите краткую историю деятельности организации и краткие биографии погибших членов ее.

Завещаю вам, братья, не посылайте слишком молодых людей в борьбу на смерть. Давайте окрепнуть их характерам, давайте время развить им все духовные силы.

Завещаю вам, братья, установить единообразную форму дачи показаний до суда, причем рекомендую отказываться ох всяких объяснений на дознании, как бы ясны оговоры или сыскные сведения ни были. Это избавит вас от многих ошибок.

Завещаю вам, братья, еще на воле установить знакомства в родсвенниками один другого,

чтобы в случае ареста и заключения вы могли поддержать хотя какие-либо сношения с оборванным товарищем. Этот прием в прямых ваших интересах. Он сохранит во многих случаях достоинство партии на суде. При закрытых судах, думаю, нет нужды отказываться от защитников.

Завещаю вам, братья, контролируйте один другого во всякой практической деятельности, во всех мелочах, в образе жизни. Это спасет вас ох неизбежных для каждого отдельного человека, но гибельных для всей организации ошибок. Надо, чтобы контроль вошел в сознание и принцип, чтобы он перестал быть обидным, чтобы личное самолюбие замолкало перед требованиями разума. Необходимо знать всем ближайшим товарищам, как человек живет, что он носит с собой, как записывает и что записывает, насколько он осторожен, наблюдателен, находчив. Изучайте друг друга. В этом сила, в этом совершенство отправлений организации.

Завещаю вам, братья, установите строжайшие сигнальные правила, которые спасали бы вас от повальных погромов.

Завещаю вам, братья, заботьтесь о нравственной удовлетворенности каждого члена организации. Это сохранит между вами мир и любовь. Это сделает каждого из вас счастливым, сделает навсегда памятными дни, проведенные в вашем обществе.

Затем целую вас всех, дорогие братья, милые сестры, целую всех по одному и крепко, крепко прижимаю к груди, которая полна желанием, страстью воодушевляющими и вас. Простите, не поминайте лихом. Если я делал кому-либо неприятное, то верьте, не из личных побуждений, а единственно из своеобразного понимания нашей общей пользы и из свойственной характеру настойчивости.

Итак, прощайте, дорогие. Весь и до конца ваш Александр Михайлов».

«Весь и до конца»... И сам он, в своем «Завещании» — весь и до конца. И какая нежность!.. Что ни прибавишь — кимвал звенящий. Вижу человека, нет и тридцати. Громадная петля качается над ним. А он: «Завещаю вам, братья...» И эта нежность к остающимся жить...

Вы слышали — он писал: «До нашей смерти включительно»? Это там, где завещает издать документы. «До объявления о нашей смерти включительно». И прибавил: март восемьдесят второго года.

Потому в марте, что в марте приговор обретал законную силу. Какая оглушительная точность — день в день! Всем нам, смертным, неизбежна смерть, истина банальнейшая. Но если — вообразите! — если б открылся каждому из нас именно свой час? Земля бы, наверное, разверзлась. И она сама и все на ней сущее, все, все стоит на спасительной тайне — тайне с в о е г о смертного часа. И никто его не ведает, никто и никогда, кроме приговоренного людьми. Кроме человека, приговоренного человеками...

В тетрадях Анны Илларионны страница есть — помните, как ей Михайлов говорил: надо готовиться к гибели, к смерти... Да-а, это уж точно бы монахи одного ордена. Встречаясь, они вопрошали друг друга: «Брат, готов ли ты?»

И вот приспел срок: виселица накренилась над Александром Дмитричем. Приговор объявили и тотчас всех со Шпалерной в казематы Петропавловской: ждите!

Такое ожидание изобразишь ли? Сыщешь ли слова? Может, одной лишь музыке дано. Не словам, не краскам — музыке... Я к тому, что именно музыкальные созвучия, именно они-то и возникли в душе осужденного. До последнего из последних пределов напряглась душа и отозвалась созвучьями, наполнилась ими... Я не фантазирую, не выдумываю. Не посмел бы. Нет, это он сам, сам Александр Дмитрич об этом написал.

А вечером, в канун казни, снизошел на него покой. И он... он уснул. Понимаете ли, уснул! Спал непроницаемо, без сновидений. Это что ж такое, а? А это, думаю, последняя защита матери-природы, последнее, чем она может одарить свое обреченное дитя.

Теперь вот письмо, слушайте... (Не спрашивайте, пожалуйста, откуда оно взялось, — сторонний человек замешан.) Слушайте.

«Часов в 8 утра, в пятницу, я встал в таком же настроении, как и лег. Обыкновенный дневной порядок одиночного заключения ничем не нарушался. Не изменялось и мое душевное состояние... Часов в 11 ½ утра вошел в мою камеру комендант в сопровождении какогото гражданского чиновника и смотрителя. Я в это время

ходил и, увидев гостей, раскланялся с ними. Между комендантом и мной произошел следующий разговор: «Вам известен приговор?» — «Да, известен». — «Какой?» — «По отношению ко мне?.. Я приговорен к смерти». — «Ну, так государь высочайшим своим милосердием даровал вам жизнь... Молитесь Богу!!» Последние слова произнесены были с большим чувством. Затем комендант быстро ушел, и я остался сам с собою. Первыми мыслями были: рад я или не рад этому важному известию, и если не рад. то почему? Говоря чистую правду, я принял эту, благую для каждого человека, весть совершенно равнодушно. Это произошло потому, что мне не сообщили об участи близких товарищей, а я все время находился в таком настроении, что мог искренне порадоваться только сохранению их жизни. Меня лично смерть не пугала, а иногда даже просто манила, но представление о смерти их действовало тяжело, подавляюще... Своя смерть может приносить удовлетворение, но смерть друга, товарища, просто человека и даже врага вселяет только тяжелые чувства. И меня с первых минут начала мучить неизвестность: что сталось с товарищами?..»

Да, вот оно как обернулось: смерть мгновенную заменили медленной — вечным заточением. Всем смертникам заменили, кроме Суханова... Я уж говорил, Николай Евгеньич встал у столба. И никто не промахнулся, никто не дрогнул...

В день приговора, в феврале еще, Александр Дмитрич написал: виселица много лучше казематного прозябания. Сраженный гладиатор приветствовал смерть мгновенную. И Анна Илларионна, и я, мы оба прочли эти слова. Но в нашем сознании отозвались они не точным их смыслом, а... Ну, положим так: ежели безнадежно больной человек стонет: «Ах, скорее бы конец...» Разве вы ему не поверите? Разумеется, поверите. Но в глубине души будет сознании некоторой риторичности этого призыва. Так приблизительно мы и прочли фразу о предпочтительности эшафота перед медленным убийством в равелине.

А эшафот сменили вечным заточением. Аннушка плакала почти счастливыми слезами. То было воскрешение надежды. Вот так и в первое время его ареста уверовала в чудо возвращения.

Я говорил, как она лихорадочно замышляла несбыточное. Эти ее «воздухоплавательные» проекты нападения, вы-

зволения, побеги. И обращение за помощью к Николаю Евгеньичу Суханову. Она, кажется, даже и с молодежью в Кронштадте толковала.

Но теперь... О-о, никогда не думал, не предполагал, не догадывался: такое молчаливое, такое фанатичное упорство. И два года ни звука. Два года! Лишь весной восемьдесят четвертого, вон когда открылась. А, собственно, почему молчала? Объяснить не могла, не умела. Так, что-то суеверное, как сглазу боятся. Странно и даже, признаюсь, мне обилно.

А как началось? Она, голубушка, про Ганецкого от капитана Коха услышала... Забыли? Ну, экая память у вас. Приятель покойного Платона Ардашева. Да-да, начальник государева конвоя. Кох был с царем и в момент покушения, все время был — и не задело. А что после с этим Кохом сталось, знать не знаю. Служит ли где, отставной ли, не знаю, да это и десятое. Вы слушайте...

Тут главное вот что: комендант крепости Ганецкий. Она его на войне видела, гренадерами командовал. Он-то ее, конечно, и не примечал. Велика ли птица — сестра милосердия?

Анна Илларионна в своей тетради верно заметила: геройские генералы, вроде Гурко или Тотлебена, после войны славу свою кровью запятнали. Ну, а Ганецкий не дотянул до громадных постов, ему Петропавловская досталась.

Представьте, докторша моя облачается в платье сестры милосердия, надевает знак отличия Красного Креста, жалованный покойной государыней... Да, а письмо с нею. Письмо Александру Дмитричу, в незапечатанном конверте. Разумеется, совершенно частное.

Понимаете цель-то какая? О, ничего от прежнего «воздухоплавания»! Маленький, тоненький лучик туда, в равелин, во тьму. Маленький лучик, и только. Вообразите, однако, что это значило бы для осужденного навечно. Ведь едва приговор вступил в законную силу — ни единого свидания, ни единой весточки. Ни туда, ни оттуда. Глухо. Недвижно. Мир Божий вымер.

Нет. Ни вам, ни мне каждой кровинкой этого не прочувствовать... Как бы ни изображали смерть, не веришь. Я даже графу Лёв Николаичу Толстому и то не верю. А в е ч н о е заточение не смерть ли?

Уж на дворе весну натягивало; робко, но подступала. И думалось моей Аннушке: первая его весна в равелине, как тяжко. Воробушек чирикнет, запах капели, скоро и Верб-

ное... Старый человек, генералу за семьдесят, он поймет, он все поймет.

На крепостном дворе попался ей старичок военный: шинель потертая, фуражечка выцветшая. Идет, пришаркивает, палкой стучит. Так он ей мил сделался, до жалости мил, она ему улыбнулась и поклон головой отдала. Да и тотчас как осенило: Ганецкий! А тот и ей — честь, а тот и ей улыбку...

Про Ивана Степаныча Ганецкого я во всю жизнь ни словечка теплого не словил. А он, пожалуйста выслушал Анну Илларионну. Уверяет, что генерал был тронут... Но письмо-то не взял! Обе руки вместе с палкой за спину спрятал. «Увольте, не могу-с! Я лично двум государям известен, третьему на краю своей могилы присягнул. Не могу-с. Скорблю, весьма скорблю, но увольте».

Анна Илларионна еще что-то, не помнит что, а Ганецкий снял фуражку, перекрестился на собор, да и зашаркал, зашаркал к крыльцу комендантского дома.

Ох, как она заспешила вон, скорее туда, к Иоанновским воротам. Чуть не бежала, будто рушился на нее собор со своим трубачом-архангелом... Выбежала из ворот, силы оставили. Прислонилась к мерилам мостика, задыхается, а мыслей, говорит, никаких, только в висках стук: «Скорблю...»

Полнейшая неудача. Фиаско. Смирись, не так ли?

Нет! Она и щ е т! Вот женщина... Если хотите, в революции почти все женщины — перовские. Более или менее. Впрочем, лучше так: Софьи они были — мудростью, своей женской сердечной мудростью умудренные.

Ведь почему Анна-то Илларионна ищет? Нарушает первую заповедь его «Завещания»: не расходуйте силы для нас. Но ищет... Хорошо, есть и оправдание — его последняя заповедь: заботьтесь о нравственной удовлетворенности каждого из вас. Но, уверяю, ей нужды нет в оправданиях. Потому что она...

Вот слушайте: «Пусть останется у меня тончайшая нить, связанная с жизнью, и я готов на самые ужасные ежедневные муки. И поясняет: жизнь — это когда всем своим существом борешься за идею. Так Александр Дмитрич в письме, которое в день приговора писал.

А для Анны Илларионны одно звучит: тончайшая нить нужна... Пояснение-то она, может, и слышит, наверняка слышит. Но как? А так, как я вам пример приводил: стон безнадежно больного человека: «Ах, скорее бы конец...» В

равелине, в каземате, заживо погребенному нужна, необходима нить, связующая с жизнью, вообще с жизнью, — вот это она знает, это она постоянно слышит и больше ничего не знает и не слышит.

Здесь стержень: и щ е т! Не может и не хочет согласиться, чтоб хоть одна-разъединственная душа не блеснула середь петропавловских служителей. Крепость — юдоль слез. Как же именно там не блеснуть хотя бы одной-разъединственной душе.

«Наивность»? Гм... Согласен. А только скажу вам, что такими наивностями мир цветет. Что он без них? Пуст и сир. Как искусство без неточностей.

А теперь, сокращая, спрошу: нашла ли она?

Не буду томить. Если б нашла, тогда бы, пожалуй, Густав Эмар, какое-нибудь из этаких сочинений. А если б не нашла, то, стало быть, ваша взяла — наивность. Ну, а жизнь распорядилась по-своему.

Сдается, неподходящее имя у него было — Вакх. Батюшка — и вдруг: Вакх... Так вот, видите ли, отец Вакх священничал в крепости, в Петропавловском соборе. А прежде — в армии, на театре военных действий. Нет, на войне она его не встречала. А похожих встречала. Он из тех, говорила Анна Илларионна, которые на позициях один сухарь с солдатом ели, а в госпиталях, помогая сестрам, не гнушались черной работы.

Помню, Александр Дмитрич тронул такой сюжет — нравственность революционера. Сюжет у него капитальный. Потому-то, доказывал, и требуется безупречная нравственность, что об идее по ее проповеднику судят. Верно замечено, очень верно.

Не посетуйте на сближение, но разве о религии подчас не судят по тому, каков поп в приходе? А нравственность попов известна. Одно утешение: не только в России... Отцу Вакху не дано было спасти репутацию поповства. Слишком оно, прости Господи, вакхическое. Но сам-то отец Вакх был добрым, умным, симпатичным. И «добрый», и «умный», и «симпатичный» — определения Анны Илларионны.

Не вообразите, однако, что сделал он то, чего не сделал генерал Ганецкий. Между нами, не думаю, чтобы отец Вакх решился, предложи ему такое Анна Илларионна.

Единственным вот что было...

С Петербургской стороны много прихожан, а моя Аннушка хоть и не той стороны, стала ходить к службе в крепостной собор. И, как музыку сфер, слышала иногда в исповедальне шепот отца Вакха: «Жив он, жив...» Безумно

редко этот благовест, потому что и священника допускали в равелин не чаще солнечного луча.

А в марте... Александр Дмитрич загодя указывал — в марте умру... И совпало, и точно в марте, но уже в восемь-десят четвертом в канун Благовещенья. Отец Вакх говорил: ровно в полдень умер, это уж, значит, куранты играли не «Коль славен», а по-полуденному и полуночному — «Боже царя».

Воспаление обоих легких и никакой медицинской помощи. Алексеевский равелин убил Александра Дмитрича.

Узников равелина тайком хоронят. Могила неизвестна, вроде и нет вовсе. Но, думаю, зарыли ночью, крадучись, знаете где? Преображенское, слыхали? Да-да, на дальней окраине, у станции железной дороги. Кладбище новое, недавнее, кресты редки. В простонародье зовут — «Безродное»; так и говорят: «К безродным свезли».

Я листок сберегаю, рукою Анны Илларионны: «Земного его жития было двадцать девять лет, два месяца и один день».

А моя рука не поднимается приписать на том листке: «Ее земного жития было...» Нет, не поднимается, все мне мерещится: вернется, приедет, совсем недалеко этот Гдовский уезд.

Я нынче с того и начал: поступила она так, как и суждено было поступить Анне Илларионне Ардашевой.

Вы знаете, есть явление, которое медики определяют «характерным для России», — холерная эпидемия. Я мальчишкой был, но помню, хорошо помню страшный тридцать первый год. Теперь не то, конечно, но тоже радость невелика.

И еще недавно, в девяносто втором, явилась. Здесь, в Петербурге, единицы мерли, а в губернии — сотни. И Аннушка отправилась в глушь. Вот так она и на театр военных действий ринулась. В глушь, в гдовские деревни. Там и сразило. А было ей от роду тридцать семь...

Странное у меня сейчас ощущение: будто все ушли, вещи вынесли, пусто, а я остался. Рассказ мой окончен. Многое упустил, многое лишь бегло означил, да я вам заранее и честно — власть воспоминаний.

Но литератор, какое бы малое место он ни занимал, должен умереть с пером в руке. И я думаю записать все. Однако успею ли, вот вопрос.

Это почти телесное желание — успеть, ах, если бы успеть! Ведь лучшее — то, что ты еще только задумал. И

представьте, здесь сходство меж нами, колодниками чернильницы, и такими, как Александр Дмитрич, мучениками долга.

Но есть и несходство. Пишущий, если не зелен, сознает — достигнешь, совершишь и, увы, ни скажешь, как Господь Бог: «Это хорошо». А вот они, такие, как Михайлов, убеждены: за поворотом дороги — вселенская гармония. И они счастливее нас.

Рассказ кончен, а книга не начата. Слабею и гасну, однако возьмусь. И все, что вы вечерами слышали, положу на бумагу — для типографского станка. Авось дозволят.

НА СКАКОВОМ ПОЛЕ

Пятое августа, воскресенье

1

Он вот что про себя смекал: драгоценный ты человек, Ваня, драгоценный. А начальство норовит полуштофом откупаться. Невидаль тоже — полуштоф! Он, Фролов Иван, из какого расчета к согласью склонился? Ему семнадцать лет каторги отломили, а после и давай манить приманивать: на Москве оставим, свидания будут с законной, с детишками малыми. Он и тряхнул волосами, где наша не пропадала!

Почина ради привезли его из Москвы в Питер, в крепость. Осужденный социалист здоровяк был парень, но лицо, как в золе, — ни кровинки. Однако нет, не дрожал, сам петлю на себя набросил. Тут курант бухнул, башенные часы, вроде с неба кувалда падает. Ударил курант, Ивана Фролова в пот кинуло, руки затряслись, а все ж управился.

Стало быть, отряжайте-ка опять околоточных, купе отдельное — айда в Москву, в Бутырский тюремный замок. А там и свидание с Аграфенушкой, наедине свидание, без надзора... Держи карман шире! Погоди, говорят, другие злодеи очереди ждут.

Ладно. Некоторое время бил баклуши, пищу принимал наваристую, спал всласть. Потом провожатые явились. По-катили в карете на вокзал. Отродясь Фролов нигде не бывал, кроме белокаменной, а теперь вон какой знатный путешественник.

За Киевом, на открытом месте, где старый почтовый тракт, где воздуха много, и солнышка, и трава-мурава, ах, потянуло на вольную волю, так бы и полетел. А дело досталось ломовое: не одного — троих на тот свет спровадить. Яма ждала общая, а виселиц было три. Каждому, значит, своя.

Фролов бойчился. Кумачовая рубаха горела переливчатым пламенем. Черная плисовая безрукавка играла пуговичками перламутровыми, как на гармонике, а сапоги —

мягкие, блескучие. Картина! В таком вот виде похаживал Фролов на помосте, повертывался, каблук в помост ввинчивал — крепок ли? Народ валом валил, войско рядами стояло. Потом особы в крестах пожаловали. Ну, ну, Фролов Иван не понурился: он тут главный, он!

Привезли осужденных. Фролов — плечами враскачку — подошел. А один-то возьми и отстранись. Но не пугливо, а как бы брезгуя. Очень это Фролову не понравилось. Как его бишь? Осинский, что ли, глаза-то синьки синее. Ладно, подумал Фролов, я тебя напоследок приголублю.

Первый сразу повис, второй метнулся, а третьему, этому Осинскому, петля наискось пришлась, около уха, он и стал ногами сучить. Жандармский полковник кричит: «Что ты натворил? Он ведь жив! А Фролов опять не понурился: «Не извольте беспокоиться, будет мертв».

Ну, теперь, кажись, куда же еще, как не в Бутырский тюремный замок? Смотри, Аграфена, жди, не балуй! И, напрягая крылья ноздрей, чуял Фролов женин любовный пот. У, Фенушка, сдоба ты моя! И Петеньку с Васенькой, приведет. Ах, сопельки вы мои... И что же думаете? Снова в Питер наладили. Каторжный, известно, человек казенный. Но Фролов-то, он же про себя смекал: драгоценный ты, Ваня, потому как нет у начальства штатного палача. А на согласие пошел ты ради жены и детушек, чтоб видеть их и рублевочки отдавать на пропитание, вот почему. Ты четырежды дело спроворил, а начальство... И Фролов сильно обиделся. Вывел на бумаге, как пни корчуя, так, мол, и так, ваше превосходительство, продолжать но желаю, лучше, дескать, в рудники пойду,

День еще не отошел — кликнули в тюремную канцелярию. А там ва-ажный барин, лицо белое, как фаянсовое, а лаза, как у снулой рыбы. Объясняет: э-э-э, видишь ли, злодей в нашего царя-батюшку из пистолета палил, мерзавец эдакий, надо его... (не досказал словами, пальцем в воздухе крендель завил), а уж после того в Москву поедешь.

Барин ногой подрагивал, будто по малой нужде спешил. «Понял?» — спрашивает. Фролов солидности ради, жены своей ради помедлил с ответом. И передержал — барин взял на басах: ты, говорит, дурака не валяй, есть, говорит, закон восемьсот тридцать третьего года, чтоб таких, как ты, смертных убивцев, в палачи назначать, невзирая на согласие.

Не смысл сказанного ошеломил Фролова, а как сказано-то было. До сего дня все прочие — смотрители, ключники, офицеры, чиновники, градоначальники, — они же с

ним, в его присутствии чуть не шепотом, как в доме, где покойник. А тут — громко, да на басах, да с генеральской важной хрипотцой. И Фролов, сглотнув слюну, ответил, что понял.

Пятого счетом — Соловьевым прозывался, в государя палил, весь был как ледяной, сквозь рубаху так холодом прошибало, — пятого счетом удавил Фролов. И — в Москву. Аграфену и детушек расцеловал. Красные денечки! Камера просторная, подушки, перина и не какой-нибуль арестантский мятый чайник, а самовар семейный. На дворе теплынь плавала, из ближних дровяников прелью тянуло. палали дожди, краткие и светлые. Хорошо!.. Совсем бы лаже и отлично, ежели б не Аграфенушка... Нет-нет да и уставится на своего Ванюшу с горестным изумлением. А язык у Фролова немеет спросить: «Ты чего. Аграфена? Ты чего, а?» И она ни полсловечком, по какой такой причине Ванюшеньке заместо каторжной тачки — перина и самоварчик. Когда суд судил, Аграфена плакала и твердила, что тоже в Сибирь с детками пойдет, вместе. Ванечка, кару за душегубство примем, но не было в глазах ее изумления и ужаса, не было. И когда снова приспела надобность в услугах Фролова, прощание у него с женой вышло будто впопыхах. Ушла Аграфена, Фролову словно бы вольготнее

И опять в Киев, и опять троих. Сталоть, восемь душ в поминальную записывай. Ехал туча-тучей, словно сумраком налитой. На кого злобился, на что злобился — разобрать не умел.

Из тех троих один был русак, другой — жид, третий — хохол. Русак с помоста крикнул: «Да здравствует республика!» И высоко шапку подбросил. «Не озоруй», — буркнул Фролов, подбирая шапку и нахлобучивая на осужденного. Тот губы скривил: «Зачем надеваешь? В раю не холодно».

Фролова похвалили: за семь минут управился. А Фролов чувствовал, точно бы все кости, и мышцы, и хрящики размякли. Конечно, и водочки поднесли, борщ и баранинку. Он ложкой нехотя ворочал и кашлял, кашлял. И не было желания вертаться в Москву.

Впрочем, иной путь ему назначили.

В Одессу препровождал Фролова лишь один полицейский офицер. Прежде ездили двое, а теперь один, и Фролов с вялым неудовольствием подумал, что вот, мол, начальство дешевле ценить стало.

Провожатый, уставившись в окно, смолил папиросу за папиросой. А бывало, околоточный ездил, плешивенький,

тот жарко интересовался: он не снится ль тебе, Фролов? Верно ль, что борозда-то у него на шее шоколадного цвету? И в особенности околоточного занимало: свистит али не свистит в ушах у смертника? В самый, значит, роковой момент, свистит ли? Счень жарко интересовался. А нынешний... не удостаивал.

В Одессу, как и было приказано, прибыл палач 25 июля 1879 года. В тюремном замке отвели ему номер чистенький, «дворянский». И содержали не хуже, чем в Питере и в Киеве. Даже, пожалуй, обходительнее: винцом угощали, как дамочку, и мягкими французскими булочками, поздешнему назывались франжолями.

А на дворе, хоть и южная сторона, свежо было и дождило. Это бы ничего, да вот вечером, как ужинать, и позже, часа через три, доносился паровозный гудок — уходил из Одессы курьерский, уходил из Одессы почтовый. Бередили душу вечерние зовы: поезда-то на Москву шли. И опять были мысли об Аграфене. Но теперь не любовный пот чуялся, другое томило: казалось, может Фенушка спрятать и защитить своего законного.

Долго ли, мать-перемать, в Одессе каржавить? Привезли, сволочи, в среду, а нынче... Загибая пальцы, пересчитал. Нет, не ошибся — двенадцать ден минуло, воскресенье нынче, пятое августа.

2

В тот день на Ямской улице, в казарме № 5, заканчивался судебный процесс по делу двадцати восьми государственных преступников. Процесс взял почти две недели. Нынешним утром председательствующий прекратил прения сторон, и военные судьи удалились в совещательную комнату.

Постоянные члены суда с любезностью хозяев пригласили остальных располагаться; остальные — гарнизонные штаб-офицеры — были временными членами, назначенными участвовать лишь в этом, ныне завершающемся, процессе.

Подполковник Сендецкий (53-й Волынский полк), жилистый, прокуренный, нервный, чувствовал себя нездоровым, хотя и не мог бы пожаловаться на какое-либо определенное физическое недомогание.

За утренним бритьем он подумал, что приезд палача еще в начале процесса означал не что иное, как пред-

решенность смертных приговоров. Не юрист, всего-навсего временный член суда, подполковник тем не менее прекрасно сознавал, что военному суду предают как раз ради смертных приговоров. Шпаки, статские могут послать на эшафот только за прямое посягательство на монарха, а вот они, военные... Ну, это-то он прекрасно сознавал. И все же приезд палача в первый день судебного разбирательства представлялся подполковнику не похвальной распорядительностью властей, а как бы подавлением его воли и совести, как бы указанием на то, что он, боевой офицер, ничего, в сущности, не значит и что все его дело сводится к подписанию резолюции, наперед приготовленной.

Раньше мысль эта не слишком занимала подполковника. Выслушивая подсудимых, прокурора, защитника, насуплено оглядывая зал, он испытывал то раздражение, которое после войны с Турцией испытывал при виде молодых людей — длинноволосых, бородатых, непочтительных, развязных, не просто штатских, а как бы вызывающе штатских. Сендецкий, конечно, знал, что вовсе не молодые люди поставляли на театр военных действий гнилой харч или полушубки и валенки, догнавшие армию только в жарком Адрианополе; не они были в ответе за нехватку магазинных ружей и скорострельных пушек, не они вымораживали целые роты на подступах к Плевне, не они навешивали кресты на холуев и трусов. Все это хорошо знал Сендецкий, и все-таки длинноволосые, бородатые, непочтительные, подчеркнуто штатские молодые люди вызывали в нем злобное раздражение.

Желчность подполковника, однако, глохла при виде молоденькой нигилистки, которой, очевидно, грозила жестокая кара. Первое время подполковнику казалось, что он встречал ее, видел, но запамятовал где, при каких обстоятельствах. Из ее показаний выходило, что она постоянно жила в Одессе, воспитывалась в здешней Мариинской гимназии, служила в городской управе. А Сендецкий появился в городе недавно и знакомств не завел. Наконец как осенило: Анна Илларионовна... Нет, внешнего сходства никакого, но иное, неуловимое, это вот было, да!

С Ардашевой, сестрой милосердия, Сендецкий познакомился осенью семьдесят седьмого, на горном биваке. Перевязочный пункт ютился в лесочке. Ардашева приходила на батарею Мещерского, где служил ее брат. У нее была легкая, неслышная походка. Сендецкий был уверен, что молодые офицеры влюблены в нее поголовно... Потом начались передвижения, Сендецкий потерял Ардашеву из виду и

опять встретил уже на исходе войны, по другую сторону Балкан, когда затифозился и угодил в барак Красного Креста. Терпеливая и неутомимая, она поспевала всюду, едва держась на ногах, люди умирали, жужжали мухи, густо несло карболкой. У нее было сосредоточенное, отрешенное, упрямое лицо. Но вот что он заметил и что в особенности его поразило — удвоенное рвение, с каким она ухаживала за тифозными из жандармской полевой команды, приданной армии. Когда выдалась однажды краткая перелышка и они, по обыкновению, дружески разговорились, Сендецкий спросил Анну Илларионовну, отчего она столь благоволит жандармам? Она тихо улыбнулась... оказывается, еще до войны, в Петербурге, пришлось ей познакомиться с голубыми, помаяться за решеткой. О, ничего серьезного, обыкновенная история... Ну и вот, едва на увидела в госпитале чинов жандармского дивизиона, в душе ее тотчас поднялось мстительное чувство. Но ведь эти-то, сказала она себе, эти ж несчастные, больные, скорбящие. «Вы понимаете? И мне все кажется, я все боюсь, как бы на моем отношении к ним, пусть и невзначай, не отразилось прошлое». Ее причастность к крамоле не поразила, только удивила Сендецпоразила же вот эта искренняя, беспошадная строгость к себе.

Молоденькая нигилистка, почти барышня, сидевшая на скамье подсудимых среди двадцати восьми государственных преступников, молоденькая женщина, на которую грозно ощеривался военный прокурор, этот фат, не нюхавший пороха, напоминала Сендецкому Анну Ардашеву, и подполковник испытывал смущение, неловкость, стыд.

Остальные подсудимые, даже четырнадцатилетняя девчонка, не вызывали в нем ничего, кроме желчного раздражения. Правда, был еще один, которого Сендецкий мысленно отделял от прочих.

Тут вспоминался эпизод, не имевший вроде бы никакой связи с этим подсудимым и все ж как-то глухо, как-то исподволь касавшийся именно его... Дело было за Дунаем, турки атаковали дружно, наши дрогнули и побежали, вдруг вывернулся на взмыленном жеребце кавалерийский генерал — красный, гневный, — гаркнул: «Стой! Я вас, сукины дети!» И охаживая нагайкой: «У меня дома в Питере! У меня сто тысяч! А я и то не боюсь! А у вас что? Стой, говорят!..» Н-да-с, у этого подсудимого тоже тысяч сто было, если не больше. Пропасть деньжищ! И поместья, и дворец, все, чего душа пожелает. Генерал, лупивший солдат, не страшился гибели ради отечества. А Лизогуб что

же? Положим, возжаждал блага народного. Хорошо-с! Построил бы школу, больницу, вдов бы и сирот утещал, воинов увечных. А он? С жиру бесился!

Желчное негодование Севдецкого несколько остужалось мыслью, что это м у подсудимому ничего на суде не выставлено определенно и впрямую. Прокурор объяснял: Лизогуб имел важное значение в революционном сообществе, Лизогуб находился в тесной дружбе с Осинским, повешенным в Киеве, о каких-то векселях, еще о чем-то, но все вокруг да около; и, по чести сказать, не очень-то убедительно звучит в обвинительном заключении: источник сведений не может быть открыт, ибо добыт посредством негласного сыска... Ишь ты, брюзгливо думал подполковник, небось, как войну начинали, на разведочное дело скупились: мы-де кампанию месяца в три выиграем. А тут, извольте-ка...

Однако недоверие к негласным сведениям не смягчало Сендецкого. Он ненавидел подсудимого Лизогуба — барчук, аристократ, счастливчик. Сендецкий смотрел на его впалые щеки, на его длинную бороду и думал, что этот страшнее тех, кто стреляет из-за угла или обливает соляной кислотой. Не физическая угроза воплощалась в Лизогубе, а какая-то иная, худшая. Сендецкий затруднялся определить отчетливее, однако был убежден в своей правоте.

Но сейчас, в совещательной комнате, он вовсе не думал о Лизогубе. Мысль о палаче, привезенном в Одессу загодя, еще в первый день судебного процесса, была Сендецкому неприятна и оскорбительна. Председательствующий и коллеги его, полковники, тоже нынче были неприятны своей деловитостью, этими руками, потянувшимися к золоченому портсигару. Профессора, с угрюмой иронией подумал Сендецкий, комедию ломают, изображая консилиум. А приговор-то давно определен. Может, в один день с приездом заплечных дел мастера. А может, и раньше. Фазаны, подумал он снова, испытывая к судьям ту неприязнь, какую полевые офицеры питали к пестромундирной свите главнокомандующего... Сендецкий оглядел товарищей из Виленского и Керчь-Еникальского полков, из 7-го гусарского: эти были свои, на их лицах лежала печать общеофицерской среды, и Сендецкий, обменвящись с ними молчаливыми взглядами, понял, что и они тоже, как говорится, не в своей тарелке.

Заседание длилось часов шесть. «Письменное по делу производство» лежало на зеленом сукне. Никто не смел

входить в совещательную комнату. Слоился табачный дым. Пункты решались единогласно. Изредка большинством голосов. Сендецкий заикнулся о своем внутреннем убеждении в невиновности Марии Кутитонской, молодой нигилистки, напоминавшей ему Ардашеву. Председатель, подрожав вислой губой, строго ответил, что интуиция достаточна для присяжного где-нибудь, скажем, во Франции. Сендецкий выразил желание подать «особое мнение». Председатель так же строго ответил, что особое мнение не имеет юридического значения. И напомнил о высоких обязанностях как постоянных членов, так и временных, призванных по долгу присяги, в точном соответствии и так далее.

Было предвечерье, когда штаб-офицеры вышли на Ямскую улицу. Дождь стихал, огни еще не зажглись. Полковники-судьи укатили в экипажах. А они, временные члены суда, пошли пешком. Шли тесно, словно боясь остаться наелине с собой.

3

Из казарменного помещения выводили пятерых, осужденных на казнь через повешение. Приговоренные к каторге тянули к ним руки. Смертники не ощущали ни тепла ладоней, ни силы пожатия.

На дворе густо толпились солдаты и жандармы. У коновязей понуро вздрагивали оседланные кони. В загустевших сумерках кто-то поднимал и опускал фонарь, блеклое пятно метило то дверцу кареты, то грязный сапог, то лоснящийся круп.

Жандармский офицер велел рассаживать смертников по каретам. Вышла заминка. Там, в зале, уходя от товарищей, они не различали даже лица, а сейчас, в сумерках, все вдруг увидели необычайно отчетливо, резко и разом, а потом в отдельности — и пятно фонаря, и дверцу кареты, сапоги, лошадиный круп, увидели и прониклись каким-то взаимным, от них будто и независящим, физическим чувством сцепления, потому и вышла заминка, хотя каждый торопился поскорее оставить казарму на Ямской.

В старых колымагах с наглухо зашторенными окнами уже не зрение напряглось и обострилось, а слух. И опять все воспринималось то слитно — гулом города, то дробно — всплесками смеха, голосами, как будто бы и музыкой.

Во все дни процесса подсудимых держали в казарме № 5, в тесных, как курятники, закутках. А теперь они, уже осужденные, возвращались в тюремный замок, где провели долгие месяцы, почти год так называемого следственного периода.

Кареты миновали ворота. Большой двор, весь в лужах, слабо озаряли керосиновые фонари. Смертников повели в канцелярию.

Высокий, стройный смотритель с красивым, худощавым лицом не без досады встречал осужденных. Каков воскресный вечер! Там, на Малой Арнаутской: «Пиф! Паф! Слышу я ритурнель кадрили...» А тут своя кадриль: сперва принимай самых опасных, осужденных виселице, следом — прочих. Требуется и обыск учинить по всей форме, хоть и не с воли доставлены, требуется и в уборы убрать, то есть в кандалы, тоже, знаете ли, не чохом, и в алфавит всех разнести, словом, обо всем озаботиться согласно статьям «Устава о содержащихся под стражей». А статей пропасть, больше тысячи. Зря жалованьем не жалуют. А там, у мадам Ложечкиной, там уж, поди, пробки в потолок.

До недавнего времени смотритель Одесского тюремного замка коллежский асессор Зубачевский весьма снисходительно относился к государственным преступникам. Помилуйте, никаких симпатий, но, согласитесь, уголовной шушере не чета: книжники, публика вежливая, ну, разве что малость тронутые, потому что кто же в здравом-то рассудке пойдет по деревням и трущобам с брошюрками? Нет. Зубачевский продолжал бы ладить с этой публикой. не докучал бы прижимками, если бы... Да, эти вот два происшествия едва не стоили Зубачевскому карьеры. К тому же в Санкт-Петербурге учредили Главное тюремное уп-Раньше-то как? Знай отписывай. равление... департаменте полиции исполнительной подошьют, пронумеруют, скрепят, и вся недолга, служи спокойно. А теперь — и-и-и, Боже мой, циркуляры, ревизии, инспекции! И страшнее всякой напасти этот боров, тайный советник Панютин...

Отрывисто распоряжаясь, он цепко поглядывал на осужденных своими пронзительными, разбойничьими глазами. И опасливо недоумевал: осужденные на смерть будто чегото ждали, будто чему-то радовались.

И правда, радовались, ждали.

Радовались: камеры тюремные гораздо удобнее и просторнее казарменных закутов. Ждали окончания приемочной процедуры: лечь и закрыть глаза. Вилье де Лиль-Адан сидел у камина, зябко потирая худые, костлявые руки. Ни малейшего желания приниматься за конфиденциальное письмо. Черт побери князеньку Шаховского... Адан смотрел на акварель. Картина была в легких отсветах камина. «Старик — подлинный артист», — подумал Адан о Премацци.

Адан чтил Премацци, учителя многих акварелистов. Премацци иногда наезжал в Крым и в Одессу. Шепелявил: «Эмилий, у вас верная линия, рисунок изящен и мягок». И вздохнув, прибавлял, что Адану недостает художественного настроения. Это было худшее, что можно было сказать. Правда, доведись старику увидеть «Ялту со стороны Ливадии», то, может быть... Нет, самого себя не проведешь. О, вампиры вечных сомнений. И неизбывное желание уехать в Италию. Скопить деньги, распродать все свои работы, благо теперь их покупают, бросить все и уехать в златую Италию. Бросить все? Легко сказать — бросить! Что же тогда называется дезертирством? Есть point d'honneur, понятие о чести.

Он сидел у камина прямой, плоский, зябко потирая руки. Слуга звякал посудой. Сверх обычного Адан велел подать к ужину монпельевское масло. Слуга ходил за маслом к мосье Боффо, почтенному ресторатору, лицо которого так нравилось Адану: правильные черты старофранцузского типа. Монпельевское масло от Боффо всегда превосходно — гармония маринованных каперсов, яиц, петрушки, лука. «Колокола звонили в Монпелье, колокола звонили в Монпелье, колокола звонили в Монпелье...» Чьи это стихи? Адан услышал шум дождя и акаций и понял, что слышит не стихи, а отзвук давнего разговора. Неслужебного разговора в служебное время.

Об этом человеке Адану не хотелось думать. Аскет и ригорист, поглощенный ужасной идеей. Нет, не хотелось думать о Лизогубе. А тогда Адан поддался искущению, они говорили о Монпелье, городке в департаменте Эро, на юге Франции, где Художественный музей, основанный учеником великого Давида... Когда какой-нибудь унтер не замечает красоты, это понятно. Но человек, живший в Монпелье?.. Господи, да ведь ежели вникнуть, нет правды, кроме правды красоты. И нет ничего удивительнее линии и колорита.

Он вздохнул. После суда князенька Шаховской улепетнул, он, Адан, глупо замешкался, а начальник тут как тут:

«Приготовьте, Эмилий Самойлович, к утру. Непременно приготовьте, пожалуйста».

Отужинав, штабс-капитан принялся наконец за депешу, адресованную в Петербург шефу жандармов.

«Имею честь донести, что во все время заседания Одесского военно-окружного суда в городе господствовало совершенное спокойствие и никаких признаков брожения замечено не было; ни один человек не останавливался перед судом, и вообще в настоящее время революционные элементы ни в чем не проявляются.

На суде обвиняемые держали себя весьма сдержанно и вполне прилично; только Дмитрий Лизогуб едко опровергал доводы прокурора. Чтение решения суда было выслушано при совершенной тишине, безропотно и спокойно, и душевные волнения подсудимых выражались на многих лицах одною смертельную бледностью...»

Когда штабс-капитан положил перо, было уже около полуночи.

5

Едва войдя в каземат, Лизогуб рухнул на койку.

Он уснул мгновенно. Спал непроницаемо, глухо, не переменяя положения.

Проснулся, как и уснул, внезапно. Всем его существом владел колодный, тяжелый, безобразный страх. До немоты было страшно, до той бесконечной тоски, когда сердце ударяет медленно и пусто.

Потом, все еще неподвижный, Лизогуб напрягся в томительном ожидании, будто нашаривая что-то. Ему надо было освободиться от этого всепроникающего страха, от бесконечной тоски, от медленно-пустых толчков сердца. И ощутив в себе нечто похожее на луч или световое пятно, он подумал быстро и живо: еще не все кончено, генерал-губернатор изменит приговор... Лизогуб не шевелился, боясь вспугнуть этот луч, это световое пятно, но оно меркло, истаивало, сменяясь не страхом, а чем-то иным, еще не осознанным, и Лизогуб опять напрягся, стараясь определить, что же это такое.

И понял, в неуследимую минуту определил и понял: он надеется на чудо, и эта надежда унизительна и постыдна, как и страх смерти. О, жалкая бренность плоти. А потом,

обливаясь холодным потом, коснеющими ногами взойдешь на эшафот и будешь цепляться за рукав палача. Неужели ждать?.. Нет, ответил он себе, нет, нет... И отчетливо, не одним умом, но физически сознал ответ на вопрос свой: нет, не сумеет он и не посмеет наложить на себя руки. Не посмеет — вот главное, именно не посмеет, а не то чтобы попросту не сумеет. Значит, никуда не уйти, никуда, значит, не деться ни от унизительного страха, ни от постыдной надежды на чудо? Тяжелое, плотное, душное отчаяние сомкнулось над ним.

Непогода на дворе шумела все пуще.

Лизогуб смежил веки. Шум ночного ненастья, вкрадчивый и властный, исподволь примешивался к его отчаянию. Он расслышал ропот, шорох, стук. Вековая липа, подумал он, восьмерым не обхватить, а под обрывом, на реке, — пузыри и круги от дождя.

Тюремные грезы овладевали Лизогубом. Те, что сводят с ума замурованных пожизненно, но спасают от безумия ожидающих виселицы.

6

Вековая липа была в Седневе. Ее не пробивали ливни, корни ее глубоко и туго скручивались в земле, вскормившей казачью вольницу.

Седнев в старину недаром достался Лизогубам. Чубатые и двужильные, рубились они в гетманских битвах. Страшные раны прижигали селитрой, отдыхали под звездами, положив голову на седло. Царю московскому крест целовали, но случалось и переметывались от царя московского. Про одного говаривали: умеет-де и подлизаться, но умеет и так лизнуть, что пяткам горячо. Другого царь Петр аттестовал мужем искусным в труде воинском.

Труды были не только воинские. На дубовых кряжах ставили Лизогубы мельницы, прикупали леса и сводили леса, поднимали пустоши. И деньгой ссужали бедолагу земляка. Не рассчитался в срок? Получай, хлопец, купчую крепость: была землица твоя — стала нашенская. Куда тебе с женкой и детками ховаться? Ладно, оставайся, да только панщину отбывай исправно. Эге, не по сердцу? Добре! Мать родную — в колодки; тебя, дурня, в кандалы... Ну, ступай прочь, недосуг: данцигских купцов принимает пан Лизогуб, не продешевит, знает цену разбористому товару — лобастым бугаям с тучных пастбищ своих.

Мошна мошною, а душа душою. Призовет Господь, с чем явишься? У Бога не в ходу ни голландские червонцы, ни прусские талеры, ни путивльские чехи. Но есть золотая панагия с драгоценными каменьями, изваян на панагии святой великомученик Георгий: принимайте, попы, лизогубовский вклад. И пусть от щедрот наших возведут церковь в Елецком монастыре, что под Черниговом, а другую, Благовещенскую, и еще одну, деревянную, — эти уж от Чернигова в двадцати с гаком верстах, в фамильном седневском стане.

Сперва они жили в каменице: окна с решетками, двери кованые, стены тараном не прошибешь. Потом, раздобрев в мире и благоденствии, обзавелись обширным домом с колоннами, флигелями, службами. Разбили регулярный парк — и вязы, и дубы, и шелковицы, и цветники. В саду фонтан ударил выше петергофских, радуга стояла над фонтаном, дрожа и переливаясь. А под горой, у родников, тяжело дышала паровая машина, подавая наверх студеную чистую воду.

Седневской полной чашей владел Митин дядюшка, отставной полковник Илья Иванович, женатый на бывшей фрейлине, дочери генерал-фельдмаршала Гудовича. Илья Иванович, кавалер орденов Владимира и Анны, удостоенный золотого оружия за бородинскую свою храбрость, был старшим из четырех братьев. Двое других тоже дрались с Наполеоном, ядрам не кланялись, от пули-дуры не бегали. А последнего, самого младшего, Андрея Ивановича, Митиного отца, не опалило ни пороховым пламенем, ни бивачным костром, ни веселой жженкой: в годину Отечественной сидел он, восьмилетний, в классной комнате. Потом, в статской службе, Андрей Иванович не шибко преуспел, коллежским секретарем в отставку вышел. И обосновался с семейством в Седневе, покоев и хлебов в доме-дворце доставало с лихвой.

Жили братья истинно братски. Зимней порою, когда синь и белые хлопья, сухой домовитый треск в печах и теплый запах поливных изразцов, долгими зимними вечерами сходились они в круглой библиотеке или музицировали.

В библиотеке были огромные шкафы. От шкафов исходило слабое сияние. Жухли книги латинские, польские, немецкие. Корешки французских изданий еще не потускнели; рядом теснились российские авторы. Прадеды и деды, составляя духовные, завещали в первых строках: учитесь, дети. Митеньку Лизогуба с младых ногтей приводили в библиотеку. Внушали: северных митрофанов Петр Великий поощрял к учению дубинкой, а наши, Митенька, всегда доброхотно.

Книги сменялись нотами, братья музицировали на виолончели и фортепиано. И пели песню бандуристов «О вдове и отъезжающем сыне». Митя не удерживал слез.

Он нередко слышал: «Тарас Григорьевич... Письмо... Пошлем ему бумагу и краски...» Отец с дядюшкой, понижая голос, говорили о Шевченко.

Митя родился в сорок девятом. А незадолго до его рождения гостил в Седневе Кобзарь. Тарас Григорьевич и Андрей Иванович — в блузах, в поярковых шляпах, с мольбертами — располагались под вековой липой. Сонно Сновь дымилась. За рекой лежали луга. Трелили жаворонки и, как тонкой спицей, пронизывали трели свои длинным посвистом. Выше и выше восходило солнце, река уже не курилась — обнаженно сверкала.

А потом, арестованный, осужденный, сданный в солдаты, очутился батька Тарас на краю света, там тлела трава, мертвенно зыбились злые пески. С Шевченко запрещалось переписываться — Лизогубы переписывались с Шевченко. Шевченко запрещалось заниматься живописью — Лизогубы посылали ему бумагу и краски. И это Митиному отцу сам государь Николай Павлович сделал строжайший выговор за сочувствие ссыльному поэту и живописцу. И это ж Митин отец вместе с братом своим просили высшего сановника империи облегчить долю Тараса Григорьевича Шевченко.

Гордостью дома были портреты братьев Лизогубов, сделанные Тарасом Григорьевичем. А маленького Митю несколько лет спустя рисовал отец: смирно сидел хлопчик на высоком жестком стуле, личико строгое, бровки черные, глазки голубые. И еще рисовал Андрей Иванович ветлы над прудом, хаты и мальвы, шлях на тихом закате, когда все окрест чуть мглится.

Живописная родная Украина, трепетно и ласково произносил отец. Ты полюбуйся, Митенька, как на Троицу, в зеленую неделю, дивчины пускают по течению Снови венки полевых цветов. Ты погляди, как в Иванов день взметывается высокий костер, и удалые парубки, заломив шапки, разбежавшись и гикнув, прыгают через огонь. А ярмарки, широкошумные, веселые ярмарки? Он давал Мите деньги: угости ребятишек леденцами и пряниками. И водил на площадь, где смушка, посуда, ленты, черевички. Неподалеку вставали табором цыгане. Они носили плащи, а не драные свитки, как те соплеменники, что клянчили по дворам и корчмам. «Плащеватые» держались молчаливо и загадочно. А самыми желанными были на седневских ярмарках закупщики из Березны: в Березне шили сапоги на ранту, шили и башмаки городских фасонов. Сбыв кожевенный товар, седневский мужик пил пенную и плясал казачка.

А в нагорную усадьбу Лизогубов, минуя каменные ворота с каменными львами, съезжались дормезы на красных колесах. Гости! Гости! Про таких мужики толковали: «Ось паны на всю губу». В темных аллеях блестели разноцветные фонарики, на фасаде горели плошки, гром мазурки вспугивал уснувших птиц.

В севастопольскую годину домашних музыкантов сменили военные. Полки шли в Крым, останавливались на ночлег в Седневе. Лизогубы принимали офицеров. Илья Иванович надевал кавалергардский мундир, щеки рдели старческим румянцем. Тетушка молодела, любуясь мужем. Митина мама распоряжалась по хозяйству. Ее белое полное лицо светилось радушием. У всех Дуниных-Борковских фамильные соболиные брови, но таких, как у Митиной мамы, ни у кого.

На рассвете пели сигнальные рожки, и все Седнево обнимал нестройный шум. На цыпочках выскользнув из спальной, не разбудив француза-гувернера, Митя бежал на хриплые окрики, стук манерок, штыков, ведер. И замерев, ежась на утреннем холодке, смотрел, как похотно уходили служивые, поэскадронно, побатарейно. Высоко и звонко брали песельники: «Вы-ы-ы, со-о-олдатики-уланы, у-у-у вас лошади буланы...» И затихало, затихало, затихало. Мужики и бабы, словно очнувшись, возвращались к своим заботам.

Тут тебе не огурчики, помесь голландских и вязниковских, как в Глухове. И не тютюн и не пасеки в сотни ульев, как вокруг Батурина. Тут не черная, в мелких завитках смушка, как в Решетиловке. И не коляски для панов средней руки, как в Ардоне, не лодки-байдаки или дубки, как в Рыдулях... Не это, не они предмет седневких забот. О, разумеется, млеют под солнцем вишневые садочки, варгулек наливается и путивка, а глянец слив, как в сизой дымке. И волы, блаженно роняя слюну, трутся об угол сарая. Но и зимою, в метелицу, и летом, даже и в косовицу, на что душистая пора, зловоние глушит вольные запахи пахоты, снега, свежего сена, яблонь, печей.

Загляни в любой двор. С шестов недвижно свисают тяжелые шкуры, под шкурами курится сырое корье. У колоды-кобылы бурое мокрое скопище мездры. И эти ямины, залитые дубильным раствором, где выдерживаются кожи.

Мужики-кожевенники орудуют молотком и ножом, лощилом и скобелем. У мужиков ладони сочатся сукровицей из глубоких, незаживающих проколов от щетины. А бабы управляются не только со скотиной и огородом, бабы еще и водовозы, и водоносы: пропасть воды требует кожевенное производство.

Переступи порог любой хаты. Вот здесь, где стар и млад, где зыбка с младенцем, здесь спят на досках, покрывающих квасной чан, и вечеряют на столе, под которым подпол с зольником. Чан занимает четверть хаты, в чану жижей куриного помета размягчают шкуры, в подполе золят раствором извести.

Проезжая в усадьбу, паны кричали кучеру: «Гони!» — и припадали к флакончику ароматической соли. Очень бы удивился Андрей Иванович, если б узнал, как часто сын его Митенька бывает в седневских вонючих дворах. Но Митя молчал: тайна. Его тайна и Гриця Золотого.

Оборванный, босой, с седыми патлами, Гриць отродясь не держал в руках золота. Душа у него была золотая, одна душа, презирающая богатство и богатых. Его любили в Седневе вот за это презрение. И по той же причине почитали юродивым, Божьим человеком.

Гриць Золотой надолго исчезал из Седнева: «Шукаю правду, да вижу кривду». Возвращаясь в Седнев, жил бездомно. Иногда появлялся в усадьбе и, прячась в кустах, слушал, как паны музицируют. Лицо его, небритое и грубое, было в такие минуты странно-переменчивым: словно бы и наслаждался он и мучился. Встретив ненароком панов, Гриць не кланялся. Оба Лизогуба, старший и младший, втихомолку опасались юродивого. Митя нисколечко его не боялся. Гриць отличал паныча от панов. В их взаимном тяготении крылось нечто для них же невнятное. Да они и не пытались объясниться, а безотчетно любили друг друга.

Гриць-то Золотой и водил паныча в седневские дворы: пусть поглядит милый, как люди живут, пусть знает, почем фунт лиха. И про Шевченко у них разговор был. Встречал его Гриць здесь, в Седневе, но не в панской усадьбе, а в шинке. Однажды посреди тихой беседы с мужиками одолжился Тарасий у соседа жменей овса. Ссыпал в шапку, потряс шапкой. Потом вынул зернышко, положи на стол: «От се — царь». Взял другое: «От се — цариця». Кинул еще несколько: «От се — енаралы, губернаторы...» И ткнул пальцем в шапку: «От се — громада»¹.

¹ Громада — народ, крестьянское общество, мирской сход (укр.).

Да разом и накрыл шапкой горсть разложенных зерен, обозначавших царя с присными. И усмехнулся: «А ну,

шукайте, де царь?!»

«Нашли?» — недоуменно спросил Митя. Гриць Золотой беззвучно рассмеялся. Помолчав, повторил, но не панычу, а будто самому себе: «От се мы — громада...» И непонятная оторопь взяла Митю. Однако отошла, едва приступил Гриць к своим долгим рассказам. А рассказов был у него запас неистощимый. И таких, каких не прочтешь ни в географии Ободовского, ни в истории Смарагдова.

И как отправляются чумаки на Дон да в Крым — за солью и рыбой. Сойдутся на сельской площади, все в чистой одеже, с длинными батогами в руках; старший, добрый сивый казак, громко объявит: «Прощайте, панове громада!»; жинки и малые дети плачут, а возы трогаются, трогаются, вот уж все поехали, и уж оттуда, из-за поворота, хватят чумаки могучим хором: «Ой, высоко та сонечко сходыть, а нызенько заходыть, ой, там наш батько, там наш пан-отоман, гей, та по табору ходыть».

И как по Десне-реке гонки гонят, череду счаленных плотов, каждый плот натуго схвачен ивовыми прутьями, еловыми жердями; плотовщики не моргают, мели-перекаты и во тьме угадывают; и вот выйдут на Днепр, а там, на Днепре, железный короб плавает, колеса шумят, из трубы дым — «Украинец»; хозяева парохода — бывшие крепостные мужики, Симиренко с Яхненкой, те самые, что на сладком сахаре в большую разживу ударились...

И это там, под вековой липой, слушал Митя Лизогуб особенный, с прежними разительно несхожий, Грицын рассказ про огнепальную ночь.

Из Седнева до Чернигова — рукой подать, по тракту всегда пылило множество народу, но в ту грозную ночь из всех седневских, кажется, один только Гриць Золотой оказался в губернском городе. И рассказывая об этом, он медленно подбирал слова, будто не надеясь на слова обыкновенные, и лицо у него было невсегдашнее, веселое и яростное.

О, как внезапно и рьяно загорелся город. Ни звука, ни шороха не слышалось ночью, и вдруг все занялось, загудело и затрещало в огненных бурных волнах. Солдаты и будочники дрались с обывателями. Кто-то крушил бочки спиртного, спиртное, вспыхивая, добавляло тугой голубизны к оранжевому и черному. А посреди ада кромешного народ ловил панов и чиновников, выкрутив руки, сбив наземь, сек, колотил чем ни попадя.

Та огнепальная ночь часто снилась Лизогубу. Ночь, когда страшное рыжее небо метили черные кресты ошалевших галок. Ночь, когда ловили панов, расправлялись с панами. Пламя ему снилось, пламя...

Шестое августа, понедельник

1

Пламя увидел коллежский асессор, и его, как озноб, пробрала внезапная тревога. Недоумевая смотрел Зубачевский на поднятую рюмку с коньяком, где только что в отблеске свечей будто бы вспыхнул краткий и плотный огонь.

Сюда, на Малую Арнаутскую, он приехал около полуночи: покончил с приемкой осужденных, доставленных из казарм, и поспешил к мадам Ложечкиной. Швейцар поклонился ему с той легкой фамильярностью, с какой швейцары веселых заведений встречают постоянных посетителей. Сверху, по ковровой лестнице, катились бойкие звуки шансонетки.

Заведение на Малой Арнаутской не относилось к числу тех, которые в Одессе именовались дешевками, — притона тут не было, а было то, что одесситы иронически называли салоном. Публика собиралась мелкочиновничья и маклерская, бывали, хотя и не часто, некоторые гарнизонные офицеры. Слабый пол представляли модистки, танцовщицы кордебалета, а случалось, и барышни из хороших, но, увы, обедневших семейств.

По смерти супруга, старшего бухгалтера конторы искусственных минеральных вод, мадам достался капиталец довольно округлый. Достался и дом. Правда, не греческого стиля и не ренессанс, как у богатых горожан, однако с лепными гирляндами и кругами по фасаду, что указывало на порядочность и достаток. Намаявшись со своим квелым бухгалтером, мадам пустилась было в амуры, принимала заезжих полупанков, но так длилось, пока не возник секретарь градской полиции Болотов. Тогда она еще не знала, что этот лощеный жуир держит в кулаке хозяек многих борделей. Этого мадам и предположить не могла, а просто втюрилась в Болотова, как гимназистка.

Душка Виктор быстро поставил на ноги ее «салон». Кстати сказать, это ж он, Виктор, пригласил сюда впервые коллежского асессора Зубачевского и даже рекомендовал мосье Филиппу чистенькую Лизу, одну из обитательниц Хрустального дворца, что на Польском спуске.

А теперь все оказалось и вправду совсем, совсем кстати. Господь ниспосылает нам испытания, и мы не смеем роптать. Испытанием, ниспосланным Болотову (и не одному Болотову), был тайный советник Панютин, помощник генерал-губернатора по гражданской части. Кто-то донес, и железный эксплуататор домов терпимости угодил за решетку. Это было бы непереносимо, если бы не смотритель тюрьмы, верный друг несчастного Виктора.

Мадам Ложечкина не смела добиваться официальных свиданий с арестантом, ибо состояла с ним не в родственных, а в несколько иных отношениях. Однако мосье Филипп, господин обязательный, обещал все устроить, как только жизнь войдет в нормальную колею. А в эту самую нормальную колею жизнь могла войти лишь после того, как мосье Филипп избавится от висельников-социалистов. Нынче (то есть, собственно, уже вчера, в воскресенье) судебный процесс завершился, и, стало быть, до рандеву с душкой Виктором оставалось всего несколько дней. Ах, как медленно, как ужасно медленно тянется время...

Весь вечер мадам нетерпеливо поджидала мосье Филиппа: пусть подтвердит свое обещание, пусть подтвердит, она, бедная, изнемогает. И Лиза, или Пиф, а если угодно, Паф, как прозвал свою пассию мосье Филипп, Лиза Пиф-Паф, тоненькая, в кудряшках, тоже ждала его.

Зубачевский вошел в зал. Сладковато и душно пахло пудрой, недорогими духами, грубым кавказским коньяком. У сутулого тапера багровела лысина. Тощий скрипач, похожий на свою скрипку, яростно двигал бровями. При виде Зубачевского певичка, подобрав юбку и выбрасывая ноги, запела:

Пиф! Паф! Слышу я Ритурнель кадрили. Пиф! Паф! Вмиг меня Всю воспламенили...

Зубачевский, улыбаясь, встретился глазами с Паф, но тут им завладела мадам и, налегая пышным бюстом, влажно задышала:

— Наконец-то, мосье Филипп, наконец-то... Бедный Виктор... О, я понимаю ваши заботы, но, Бога ради: когда???

Ему был неприятен и влажный шепот, и прикосновение пышного бюста, и наглый запах духов.

— Теперь недолго, — ответил он сухо и устремился к Пиф.

Вдвоем они прошли в буфетную. Зубачевский налил ей аккерманского и выбрал апельсин, он знал, какие надо выбирать — те, что обрели в погребе чуть грустный, прощальный запах.

Себе он налил коньяку. В отблеске свечей коньяк словно бы коротко и густо полыхнул, и Зубачевского проняло внезапной тревогой. Напряженцо-недоумевающе смотрел он на поднятую рюмку, с лица его сползала улыбка. Он машинально выпил и вдруг сказал ПиФ, что позабыл нечто неотложное и важное, а посему должен ретироваться.

Коллежский асессор не лгал, однако, спроси Пиф, какое же оно, это дело, Зубачевский вряд ли сумел бы ответить определенно — ответа еще не было. Впрочем, Пиф не спрашивала; правду сказать, она побаивалась мосье Филиппа. Она только взглянула на него, огорченная и удивленная, а он уже показал ей спину.

На улице было темно, безлюдно, тихо. Зубачевский оглянулся. Когда извозчик нужен позарез, его не найдешь. Коллежский асессор пошел пешком. Шел, все убыстряя шаг.

На углу Екатерининской дремал ночной извозчик. Зубачевский прыгнул в пролетку, ткнул извозчика кулаком: «Гони!» И откинулся, собираясь с мыслями.

Коньячная вспышка, золотисто-желтый огонь, в котором не было ничего странного и ничего страшного, пробудили ужасную ассоциацию — Зубачевскому вообразился живой факел, вообразилось происшествие, едва не стоившее ему карьеры.

Не то происшествие месячной давности, когда двое политических предприняли попытку к побегу, хотя тоже был нагоняй от тайного советника Панютина, но побеги — это ж, как говорится, и на старуху проруха, нет, другое, небывалое и страшное, случившееся всего лишь три недели назад, когда фанатик-политический поджег себя и полыхал живым факелом.

Зубачевский уже сознал свою давешнюю тревогу: один из пятерых, приговоренных вчера к смертной казни, способен на самосожжение — вот этот, долговязый, худой, с чуть косящими детскими глазами. Такие-то, как этот Лизогуб, и откалывают черт те что. Удвоить, утроить, удесятерить бдительность? Можно и должно! Однако узники изворотливы, как умалишенные, и бдительность подчас бессильна. Нет, следует измыслить... следует измыслить...

Зубачевский повел глазами, на мглистом ночном небе мелькнула одинокая звездочка... Зарони-ка надежду, сказал он себе, непременно зарони надежду, вот что. И подумав так, коллежский асессор ободрился, но вместе и ощутил в душе скользкое, нехорошее движение.

2

Сендецкий плохо помнил, как очутился в гостинице «Ливерпуль». После суда он боялся почему-то остаться один и увязался за товарищами, да и каждый из них, кажется. тоже боялся остаться один, и они шли вместе в своих непромокаемых пальто, шли, будто и не разбирая дороги. А какая, скажите, причина? Надрыв, честное слово, надрыв. Ну. хорошо, ты был временным членом военного суда. Да ведь не напрашивался! Командующий войсками утверждает тебя временным членом военноокружного суда — «слушаюсь, ваше высокопревосходительство» — и баста. А на суде... на суде никакой расправы, ничего застеночного. На мундирах постоянных судей блестели значки военно-юридической акалемии. И защиту представляли кандидаты на военно-судебные должности. И не то чтобы отзвонили — и с колокольни долой: две недели вникали. Секретарь сто перьев обломал, стенографу тоже досталось. Ничего застеночного... Согласен, пять смертных приговоров — не камаринскую сплясать, а каторжные рудники — не бал-маскарад. Согласен! Однако на театре военных действий загубили тысячи храбрецов, а тут... тут, как хотите, тоже об отечестве речь. Не-ет-с, все было по долгу присяги и совести. Так иль не так? Так! Но отчего же вышли на Ямскую, как в воду опущенные? И в какой-то ресторации, на какой-то улице... Попробуй-ка сообразить: в Одессе на каждые три дома кабак... Да, в какой-то ресторации, где буфетчик, похожий на каплуна, то и дело засыпал за стойкой, а бывшие члены военного суда покатывались со смеху и взвизгивали, как институтки. Надрыв, распустили нюни. Еще вот что: кто-то убеждал ехать в полк, а он не хотел, потом все растерялись, никого, ни души, а рядом гостиница, и тут его обуяло бешенство, он ломился в номера и кричал: «Отворите ей темницу!» На него орали постояльцы, а он грозился перестрелять всех, как куропаток. И дьявол разберет, как он оказался в этой гостинице... Прикуривая заметил, как дрожат пальцы. Зеркало отражало его — без мундира, в несвежей рубахе, жилистого, желтого, с мешками под глазами.

Вчерашнее заседание в совещательной комнате с последующим оглашением резолюции, когда все в зале стояли, а они, судьи, сидели на своих стульях, все это колыхалось и туманилось, и Сендецкий ощутил ту самую брезгливость, с какой только что заметил дрожь своей руки. Участь молодой нигилистки, приговоренной к пятнадцатилетней каторге, решилась, как ему сейчас казалось, без его участия. Но вся штука-то в том и была, что так казалось. И подполковник опять ощутил стыд и неловкость перед барышней, которая напоминала ему сестру милосердия.

А-а, вдруг мелькнуло Сендецкому, ротмистр Бушен! Разумеется, соломинка, а все ж таки отчего бы и нет? Он кликнул коридорного, рассчитался и послал за извозчиком.

Дожди прибили тонкую пыль и приглушили вонь, которую зной выжимает из одесских строений, улиц, дворов, эти миазмы большого города, лишенного канализации.

Сендецкий не глядел по сторонам и только однажды проводил взглядом бритого джентльмена с сигарой в зубах — англичанин катил на велосипеде с огромным передним колесом, за велосипедистом, хохоча и корча рожи, бежали мальчишки. Сендецкий подумал: «И это — соотечественник Джемса Гримшау!»

Открылось море, сизое, как сталь. Отпустив извозчика, Сендецкий пошел в канцелярию генерал-губернатора. Лицо подполковника приняло то отсутствующее выражение, какое возникает у строевых офицеров, непричастных к штабам и штабным, и которое должно означать, что они, эти офицеры, хотя и почтительны и дисциплинированны, цену себе знают, как знают и то, что настоящее дело делается не здесь и не здешними.

Убранство канцелярии показалось Сендецкому чрезмерно роскошным. Офицеров, по его мнению, было сверх комплекта. Впрочем, как всегда в штабах. И все, понятно, быот баклуши. Мелькали и гражданские чиновники. Один из них с оттенком снисходительности, как провинциалу, объяснил, что ротмистра Бушена, кажется, нет в канцелярии, а коли так уж необходим, то следует спросить во дворце генерал-губернатора. И добавил: дворец, дескать рядом, стена в стену с канцелярией. Сендецкий не только не огорчился, а как будто бы даже и обрадовался: по дороге из «Ливерпуля» он только и думал, что о глупости и никчемности своего намерения обратиться к адъютанту генерал-губернатора. Подполковник уже готов был махнуть рукой, но тут и увидел курносого, белобрысого ротмистра — внешность совершенно не соответствовала нерусской фамилии.

Бушен, несколько удивленный, пригласил Сендецкого в какую-то полупустую залу с огромным ковром, креслами и маленьким, точно заблудившимся, столиком. Они сели. У Сендецкого мелко и неприятно задрожало веко. Точь-в-точь как однажды, еще в корпусе, при неожиданной встрече с государем. Сейчас это было унизительно, и подполковник, раздражившись, с места в карьер заговорил о Марии Кутитонской: дворянка, служила в городской управе, всего ей навсего двадцать два или двадцать три, а ежели приговор не изменят, выйдет из каторги старухой, а между тем...

Сендецкий осекся: он решительно не знал, что же должно следовать за этим «между тем».

 Родственница? — спросил Бушен, как спрашивают о чем-то само собой разумеющемся.

Подполковник отрицательно, с еще большим раздражением, мотнул подбородком. Ему надо было как-то половчее, убедительнее сопоставить сестру милосердия Ардашеву с нигилисткой Кутитонской, как-то убедить ротмистра в том, что и он, Бушен, тоже обязан помочь осужденной, потому что... У, дьявол, он опять решительно не знал, что же должно следовать за этим «потому что».

И Сендецкого смяло собственное косноязычие. Он все же стал говорить о войне, о бараках Красного Креста, о тифозных и больных из жандармский полевой команды, о молодости Кутитонской, о том, что он, Сендецкий, ничуть не сочувствует социалистам, однако... Бушен созерцал свои сапоги. И чем дольше созерцал, тем гаже было на душе Сендецкого.

— Послушай, — проговорил наконец ротмистр и поднял на Сендецкого глаза. — Послушай, ты хоть и мелешь вздор... Извини, пожалуйста... Да, хоть и так, а я тебя понимаю. Но я, брат, вот чего не возьму в толк. Здесь... — Он широко повел рукой. — Здесь всем известно, что вы там, на Ямской, судили и рядили не час и не два. Не так ли? Ну, и чего ж теперь-то, после драки, машешь кулаками? — Бушен, казалось, недоумевал искренне.

Сендецкий ответил угрюмым взглядом. И усмехнулся. Усмешка вышла потерянная, почти жалкая, подполковник ощутил эту свою усмешку и, ощутив, попытался встать, но ротмистр удержал его.

— Видишь ли, — сказал он задумчиво, — я ничего, ну право, ничего не могу обещать... Наш генерал... это... ты, впрочем, сам знаешь... это, брат, такое циклопическое сооружение: характер! Ну, и Панютин, доложу тебе... — Ротмистр вздохнул. — Ей-Богу, не могу и не хочу обещать.

А порыв, движение твое понимаю. Очень хорошо понимаю, поверь. Так вот, ничего не обещая, постараюсь улучить минуту. А коли нет, прошу не пенять. Пойдем.

Сендецкий понял, куда его зовет Бушен. У них была общая страсть к лошадям. Страсть закономерная в Бушене, кавалеристе, и не совсем закономерная в Сендецком, пехотинце. Гусарский патриотизм понуждал ротмистра к насмешкам над подполковником. Однако после нескольких состязаний ротмистр нашел в себе достаточно силы духа, чтобы откровенно признать достоинства соперника. Они были друзьявраги, и этой двойственностью определялись их отношения, в которых присутствовало взаимное великодушие.

Бушену не терпелось навестить своего красавца, которого он держал в конюшнях ипподрома, как и Сендецкий своего Барса. И сейчас, когда курносый белобрысый Бушен не только не отказал Сендецкому, но — и это главное — как бы взял на себя толику того, что тяготило подполковника, сейчас Сендецкий с особенным удовольствием отправился бы с ним на Скаковое поле.

Следовало, однако, появиться наконец и в батальоне, и Сендецкий ограничился тем, что немного проводил ротмистра Бушена.

Не замечая непогоды, они предались беседе, доступной лишь профессиональным наездникам и отчасти записным посетителям скачек. Они не говорили «породистая лошадь», а говорили «чепе», то есть так, как лошадей обозначали в особых книгах, студ-бук: «Ч.П.» — чистопородная. Они — в какой уж раз! — обсудили достоинства и недостатки донских заводов, согласились, что трехлетка Марго страдает излишней нервностью и слегка поспорили о жеребце Хедив. Сендецкий рассказал про велосипедиста-англичанина, и оба согласились, что эдакий соотечественник не очень-то порадует знаменитого наездника Джемса Гримшау, когда тот посетит Одессу.

3

Эмилий Самойлович был взволнован: письмо из Петербурга извещало, что он, Вилье де Лиль-Адан, по всей вероятности, получит место на очередной выставке Товарищества передвижников, имеющей быть в следующем, восьмидесятом году.

Адан был взволнован. Не предвкушением триумфа, какое там, публика не найдет в его акварелях «содержания», у него нет так называемых социальных, гражданских мотивов, нынче модных. Они претят ему... Нет, не совсем так. Они не занимают его. Вот так вернее.

Волнение Эмилия Самойловича объяснялось тем, что приглашением на выставку решался вопрос мучительный: принадлежит ли он к великому цеху живописцев или обретается в дилетантах. Да, вопрос решался. А он уж не мальчик — тридцать шесть.

Курса Академии художеств он не кончал. Разумеется, можно быть «академиком» и не быть живописцем. И все же академический диплом, как полагал Адан, придает уверенность. Некогда он посещал рисовальную школу для вольноприходящих: в Петербурге, на Васильевском острове. Школа занимала несколько гулких, высоких и холодных комнат в Таможенном цейхгаузе, рядом с Биржей. Так и говаривали: «Школа на Бирже». На него, офицера-кавалериста, насмешливо косились из-за мольбертов. Косились и в казарме: добро бы занялся батальной живописью... Так вот, он посещал школу, но школа была для вольноприходящих, понимай: дилетантов.

Грудная болезнь выгнала Адана из Петербурга. Врачи рекомендовали степной воздух, тепло, море. Оставить полк — остаться без средств. Поместий у него не было. У него была лишь фамилия, старинная и звучная: Вилье де Лиль-Адан. Фамилией сыт не будешь. Начальство предложило должность в Одесском жандармском управлении. Он согласился без восторга, но с благодарностью. Он намеревался служить честно, как и в эскадроне. Ведь незабвенный государь Николай Павлович учредил корпус жандармов для искоренения всяческих злоупотреблений, осушения слез вдовиц и защиты попранной невинности.

Милейший князь Шаховской, адъютант жандармского управления, пригласил поселиться соседом, в казенной квартире, на Кузнечной, там же, где помещалось и управление. Эмилий Самойлович вежливо отказался: хотелось бы с видом на море. Он нанял квартиру в бельэтаже. Он видел море, паруса, пароходные дымы. Не одним зрением, но и дыханием, не одним дыханием, но всем существом, всей сутью ощутил, как ему недоставало на Севере этого интенсивного света, этого пиршества красок, этого своенравия тонов и полутонов.

С полковником Кнопом, начальником управления, можно было ладить: он не был дисциплинистом, особенно в те дни, когда владелец лучшего в городе пивного зала «Польская Бавария» присылал ему партию свежего товара. (Хо-

зяин «Польской Баварии» высоко ставил такого дегустатора, как бывший дерптский студент.) Полковник, компании ради, призывал ближайших сослуживцев разделить с ним две-три дюжины запотевших бутылок с фарфоровыми пробками на проволочных зажимах. Адан пива не терпел, покривив душой, сказал, что врачи запретили. Полковник искренне посочувствовал столь глубоко несчастному человеку. Это сочувствие избавило Адана и от дегустаций, и от ежедневных занятий на Кузнечной, 16.

Он волен был утолять свою страсть к живописи. И не волен был утолить: семь жизней отдай, не хватит. С зонтом и художнической снастью он отправлялся за несколько верст от города почтовым трактом на Николаев. Он проводил там много часов. Покой и воля. И вдруг — что это? Вдали возникает облачко, оно приближается медленно-медленно, и вот уж ты различаешь лошадей, парусиновый верх, кузов, сплетенный из лозы, — большущая корзина на высоких колесах. Слышен длинный скрип, не скрип, а именно скрип, слышен постук мазницы и запасных осей. Потом ты видишь запыленного, прожаренного солнцем кучера в черной шляпе, еврейского кучера-фурмана, а в кузове мотаются головы седоков, вконец разморенных зноем. Тесно, жарко, зато какая дешевизна! На медные деньги до Одессы, на медные деньги до Николаева... Оседает пыль, еще долог скрип и постук. Но вот опять — легкий звон тишины, покой и воля...

Случалось, Адан опускал руки: им овладевала печаль. Она не мерцала сумеречным холодом, как мазки, наложенные жженой слоновой костью. Нет, светилась теплым, желтовато-золотистым тоном, какой придает жженая сиена. То было сознание тщетности попыток запечатлеть живую прелесть Божьего мира. Вздохнув, отерев пот, Эмилий Самойлович работал в степи или на краю бурой балки, а чаще у моря, где обрывы, и шаланды, и рыбаки. Рыбаки строго держались старинного правила: твое место определяет длина твоего невода. В том-то и суть — у каждого свой невод.

В городе Адан томился; там он не работал, а служил. Порок службы был лишь в одном: она мешала работе. А ведь если б не живопись, в этой службе должно было бы видеть служение. Правда, он уже убедился в наивности своих упований на исполнение заветов покойного государя: в жандармском управлении отнюдь не были озабочены искоренением казнокрадства, защитой попранной невинности, осущением горьких вдовьих слез. Но все это заслонило происшествие, навсегда Адану памятное.

Разве забудешь поздний июньский вечер, когда неподалеку от железнодорожной станции подобрали неизвестного молодого человека? Он казался бездыханным: лицо, изъеденное соляной кислотой, глаза вытекли, череп искромсан тупым орудием. Он лежал на пустыре, дальше простиралось Скаковое поле. Йодными пятнами означались тюремные огни, мелькали тени бродячих псов, стелился запах бойни. В книжке некоего француза, недавно читанной Аданом, подобные местности предназначались дьяволом для черных подлостей и изощренных убийств.

Неизвестного доставили в больницу. Он очнулся, но говорил невнятно, мучительно-трудно: кислота, проникнув в рот, обожгла язык и гортань. Мешкать, однако, не приходилось — дело подлежало жандармскому расследованию, ибо рядом с молодым человеком нашли записку: «Такова участь шпиона». Да, мешкать не приходилось, и Адан, страдая и сострадая, учинил расспрос потерпевшего.

Горинович Николай Елисеевич, девятнадцати учился в Киеве, в гимназии, привлекался к дознанию о революционной пропаганде в империи, дал откровенные показания, следствием коих было заарестование нескольких пропагандистов-социалистов; Гориновича из-под стражи освободили; слух о том, что он выдает, распространился; боясь возмездия, Горинович уехал в Екатеринослав, где встретил бывшего однокашника — гимназиста Льва Дейча; означенный Дейч обещал переправить Гориновича в Сербию, дабы принять участие в освободительной борьбе братьев-славян... (Господи, какая пытка брать показания у несчастного...) Так вот, они выехали в Одессу. Дейч? Блондин. Стройный. Рост средний. Нос крупный, ноздри вздернутые. Из евреев. Второго он, Горинович, прежде не знал. Приметы? Видом студент. Из малороссов. Лет двадцати. Черная бородка... Выехали Одессу. Приехали затемно, пошли, какое-то поле, ветер доносил запах крови, мяса, нечистот. Его ударили кистенем, несколько раз ударили, он упал, услышал, как этот малоросс прикрикнул: «Скорей, скорей!» — они стали лить на него кислоту...

Пытка, истинная пытка смотреть на несчастного и задавать вопросы. Родители? Отца, офицера, давно нет, мама сестрой милосердия в киевском госпитале, он единственный сын... Вот это больнее всего ударило и защемило: единственный сын вдовы, госпитальной сестры милосердия. А все вместе, как каленым выжгло, навсегда осталось. Но не только ужасным происшествием. Нет, но и ужасным зна-

мением. И это тогда, летом семьдесят шестого, Адан решил не выходить в отставку. Отставка равнялась бы дезертирству. Дезертирству с театра военных действий, не очерченного на штабных картах, но определяющего нечто более капитальное, нежели судьба черноморских проливов.

И Адан служил: арестовывал и допрашивал, ездил в командировки, составлял конфиденциальные бумаги. Но Эмилий Самойлович и работал: писал взморье в зыбкий час рассвета, когда розовеют чайки, писал степь, когда она жухнет и пробрызгивает сиреневым, багровый закат и встрепанные норд-остом деревья, лиманы писал и песчаные бугры-кучугуры, стеклянно звеневшие под ветром.

Письмо, полученное ныне, в понедельник, сулило участие в очередной выставке Товарищества передвижников. Эмилий Самойлович был взволнован. Он знал, что не дождется ни рукоплесканий, ни газетных похвал. Но он дождался признания высших судий — собратьев, живописцев. Победа истинная!.. Эмилий Самойлович смотрел в окно. Проклятое лето! Если б не эти дожди, не это ненастье, он бы закончил несколько акварелей, сдается, весьма удачных. Он смотрел пристально, и ему показалось, что где-то очень далеко, за пределом видимости, уже светлеет, уже натекает большой свет, полный солнечных эффектов. Прямой, костлявый, с плоским подбородком, он откинул со лба соломенные волосы и улыбнулся.

Все с тем же ощущением радости штабс-капитан явился на Кузнечную, в жандармское управление, и первый, кого он встретил, был поручик князь Шаховской. Адану случалось сердиться на князя. Вот хоть вчера, когда поручик неприметно исчез, а ему, Адану, пришлось допоздна корпеть над рапортом шефу жандармов. Сердиться случалось, но вообще-то Адан любил князеньку. Какое славное, открытое лицо, прекрасный товарищ, никогда не наступающий на мозоли сослуживцам, очень воспитанный и деликатный, славный малый, очень славный.

Шаховской, признавая свою вчерашнюю вину, глядел агнцом. Адан фальшиво прихмурился. Шаховской вздохнул:

— Право, не оставалось и минуты. Вы ж понимаете... Еще бы не понимать! Вчера, в воскресенье, поручик,

Еще бы не понимать! Вчера, в воскресенье, поручик, едва дождавшись окончания судебного процесса, помчался в сад Форкатти на последнюю репетицию «Званого вечера с итальянцами». Ах нет, он не безусловный поклонник Оффенбаха, но зато безусловный поклонник блистательной Келлер, занятой в роли Эрнестины. Еще бы не понимать! И Адан погрозил поручику пальцем:

Ну-с, ваше сиятельство, в последний раз.
 Шаховской клятвенно приложил руку к груди.

Пять минут спустя офицеры собрались в кабинете начальника управления, не только одесские, но и еще двое, приглашенные из Николаева.

Полковник Кноп, человек достаточно храбрый, а видом домашний, уютный, сидел в кресле, полуприкрыв толстые веки, что было признаком озабоченности. Не тревоги, но озабоченности. Тревожась, он таращился и словно бы забывал мигать. Сдобным голосом полковник выразил удовлетворение тишиной и спокойствием во все дни судебного процесса. Он адресовал свое удовлетворение подчиненным, скромно надеясь, что и они, в свою очередь, отдают должное начальнику управления, который годы и годы неукоризненно опекает тишину и спокойствие. Однако, господа, прибавил Кноп, не нам почивать на лаврах, ибо все мы, старшие и младшие чины корпуса жандармов, равномерно осуждены на всечасную бдительность.

Покончив с предисловием, Кноп стал говорить об исполнении приговора, каковой вступит в законную силу послезавтра, восьмого числа, после конфирмации генерал-губернатором.

— Внешние, практические меры возьмет градоначальник генерал Гейнс... Тут, правда, есть одно нерешенное обстоятельство. И достаточно значительное. — Присутствующие насторожились.

Оказывается, в Петербурге три ведомства обсуживали «вопрос о месте погребения преступников». Три ведомства, три высших государственных сановника — министр юстиции, министр военный и шеф жандармов — рассуждали о том, ввергается или погребается труп казненного? Ежели ввергается, то в яму на месте казни и без обычных по умершем молитвословий. А ежели погребается, то в могиле на ближайшем кладбище и по установленным церковным обрядам.

— Некоторые соображения уже выставлены, — говорил полковник Кноп, — но циркуляра еще нет, и я позволю себе высказаться приватно. Посудите сами, господа: даже самоубийцы лишаются христианского погребения. А коли мы станем погребать государственных преступников, тогда, спрашивается, чем же они отличаются от честных подданных? Но, повторяю, это приватно, а циркуляр еще не разослан. Впрочем, у нас с вами и без того забот хватает. Итак, наше внимание не должно слабеть ни на минуту. Все может быть. К тому же двое из осужденных будут отправ-

лены в Николаев, и, таким образом, круг наблюдения не только расширяется, но и переносится с тверди земной на хляби морские, ибо этих двоих повезут на казенном пароходе «Голубчик»... Итак, господа, необходимо упредить любые неожиданности, дабы не ударить лицом в грязь. Все это я и приглашаю обсудить совокупно и ревностно.

Вилье де Лиль-Адан был весь внимание. Но давешнее почти праздничное настроение не рассеивалось. И потому он с некоторой резвостью, ему несвойственной и не совсем подходящей к минуте, откликнулся на приказание полковника Кнопа задержаться после совещания. Когда все откланялись, полковник взял штабс-капитана об руку и отвел к окну.

— Препоручение деликатное, — начал Кноп по обыкновению вежливо и почти ласково. — Вы слышали, Эмилий Самойлович, я подчеркивал необходимость упредить все и всяческие неожиданности. Между тем был казус. Конечно, дело-то опять не наше, но, если вникнуть, нет таких дел, которые были бы не нашими. Ну-с, казус сейчас объясню.

Вилье де Лиль-Адан опять-таки был весь внимание. И все же, слушая полковника и глядя в окно, он чувствовал, как где-то там, далеко, за пределами видимости, прореживаются тяжелые тучи, как оттуда, из дальней дали, выдвигается масса света, полного солнечных эффектов. И все с той же резвостью штабс-капитан ответил, что постарается наилучшим образом исполнить деликатное поручение господина полковника.

4

Трюхлому пофартило: надзирать в коридоре верхнего этажа — это ж тебе не с уголовными жиганами маяться. Тут, брат, служба аккуратная: больничка, почти всегда пустующая, и камера, называемая «дворянской». Опрятная, сухая камера с деревянным крашеным полом и деревянной кроватью, хоть с бабой спи. И окном не во двор, а на Скаковое поле, знай, любуйся.

До недавнего времени пребывал тут господин Болотов, видный из себя кавалер, прежде в полиции кресло занимал, да, видать, недодал кому следует, ну и, известно... А все ж таки, надо полагать, не вовсе погиб, потому как сами господин смотритель изволят словно бы в гости. И разговоры разговаривают, и в картишки, дело любезное.

Однако вот уж две недели, как видному из себя кавалеру пришлось освободить «дворянскую». И за ради кого? На первый-то взгляд новый жилец обыкновенного мужицкого обличья. Но у него, у Трюхлого, глаз повострей тех ножей, которыми пилят бараньи шеи. Теперь-то, как суд на Ямской пошабашил, теперь и дурак догадался бы, а он, Трюхлый, все определил чуть не на другой день, как Ваня поместился в «дворянской».

Палача, вот так живьем, Трюхлый зрел впервые. Другие-то служители заметно робели палача. А Трюхлый, хоть и недавно по тюремной части (повредился на бойне, из бойцовского ремесла выпал да и нанялся к Зубачевскому), Трюхлый нет, не робел.

Ключники и надзиратели ехидничали: ты, мол, с малых лет до седых волос шкуры драл и кишки вываливал. Вернее верного: и шкуры драл, и кишки вываливал, и вниз башкой через блок подтягивал, аж кости хрупали. Ну и что ж зазорного? Ишь ведь какие, бойню за версту обходят, нос зажимают, а в лавку бегут — мясца охота! — щупают, нюхают. Теперь возьмем палача. Ученые люди, в семи водах мытые, определяют: повинен смерти. Запишут все форменно, по закону. А сами руки-то за спину, сами-то руки умыли. Не-ет, ты определил, ты и валяй! Опять же нос зажимают. А куда ж тогда бумаги ваши: дескать, повинен и все такое прочее? Вот и выходит: без бойни никуда, без палача — тоже.

Так — и вслух, чаевничая в надзирательской, и про себя, похаживая в коридоре или на табурете сидя, — так философически размышлял надзиратель Трюхлый, бывший боец скотобойни.

И все же, сказать правду, не ровнял он свое прежнее ремесло с палаческим. Животина и душа христианская — разница! Старик арестант сказывал: в давние времена ката, палача то есть, в церковь нипочем не пускали, а в цеховые мастера не токмо самого не брали, а и всех его ближних родственников. Вот какое было установление. А теперь? Нажрется, напьется и дрыхнет. Потом заорет: «Эй, хрыч, убери парашку!»

Ладно, дежурство бархатное. Первое дело — не сбежит. И поста, голодовки то есть, не объявит. Ни буйства, ни перестука. Второе — то, что скучает малый, ну и поднесет от щедрот своих. Встанет фертом: «Пей, хрыч, не захлебнись!» И табаком потчует, бери хоть жменю.

Трюхлый колебался: сказать иль не сказать, что суд-то свершился, что Ване уж недолго тосковать по Москве... Все эдакое, в смысле, значит, разговоров, строжайше воспрещалось. Но, с одной стороны, заплечных дел мастер — исключение из общих правил, а с другой — вон она, на столе,

початая бутылка. А коли она, милая, почата, стало быть, просится во употребление. Сказать иль не сказать, обрадовать ли? Трюхлый ходил в трудном раздумье. Скоро менять, вот и пойдешь домой сухим. А на дворе — мокрядь. А у старухи не выпросить. Шамкает: «Ну, сучий сын, не стыдно ли тебе?» А ты ночь не спавши, у тебя ноженьки гудят, ты все глазоньки проглядел. Сказать, что ли, обрадовать, а Ваня-то непременно на радостях поднесет.

Бог весть, сколь бы еще надзиратель сомневался-колебался, если б не накатили рев, блеяние, вой. Палач соскочил с постели, ринулся к дверям, бухнул в дверь кулаками. Вид у Фролова был, как у быка, оглушенного молотом. Босой, в исподнем, всклоченный, тыкал пальцем воздух, безмолвно выкрикивал: «Что это?! Что это?!»

— Испугался? — усмешливо спросил Трюхлый. — Скот это, скот, боле ничего, — объяснил Трюхлый не без оттенка горделивости, словно перегон скота, назначенного к убою, зависел от него, Трюхлого. — Чует смерть, а прет. Куда от человека денешься?

Фролов обругался, сел на постель, смазал пятерней по волосам и лицу, приказал сипло:

- Налей, хрыч.

Трюхлый исполнил. Фролов поперхнулся, затряс головой, сморкаясь двумя пальцами.

— Не в то горло, — участливо отметил надзиратель.

Вскоре пришел сменщик. Трюхлый был доволен: чисто обернулось! И початая не ускользнула, и ни гу-гу не сказано. В канцелярии Трюхлый едва не столкнулся с их высокоблагородием. Сдернул фуражку, прилип лопатками, затылком к стене, задержал дыхание. И тут обошлось — не учуял смотритель запаха спиртного. Видать, не до того было...

Коллежский асессор уже принял рапорт, все обстояло благополучно. У Зубачевского отлегло от сердца. Давешний внезапный испуг — горящий арестант, покончивший самосожжением, — испуг этот угас. Однако намерение, осенившее Зубачевского в пролетке, покамест он ехал с Малой Арнаутской, не угасло. Зубачевский сознавал, что надумал пакость. Но его прямая обязанность — сохранить жизнь пятерых до той минуты, когда их жизнь оборвут способом, законом установленным. И плевать ему на то нехорошее, склизкое движение, недавно проникшее в душу. Плевать! Прямая обязанность — не позволить уйти из жизни способом незаконным.

Четверых прочих коллежский асессор исключил из числа способных на самоубийство. Почему? Этого он не опре-

делял. Все свои помыслы — тонкую эту пакость — он сосредоточил на Лизогубе. Зубачевский присутствовал на суде; для него не была секретом юридическая шаткость обвинения Лизогуба. Стало быть, рассуждая здраво, как раз Лизогуб мог, пожалуй, рассчитывать на снисхождение генерал-губернатора. Но именно Лизогуб, полагал смотритель, и не способен на здравые рассуждения, а способен на опрометчивые поступки, и тому доказательством вся его нелепая жизнь.

В тюрьме стояла особенная тюремная духота: холодная и плотная, сизо-мертвенная. А в полуподвале, где содержались осужденные на виселицу, еще слышалось отдаленное, но явственное зловоние. Просачиваясь в земной толще, достигали тюремного фундамента сточные воды бойни — перемесь мочи, кала, крови.

Как ни был коллежский асессор озабочен Лизогубом, но, войдя в сумрак полуподвального помещения, оттягивал «минуту поступка» и потому заглядывал в волчки секретных казематов. Четверых обреченных он увидел будто в аквариуме с толстым, замызганным стеклом. Двое спали, натянув одеяла до подбородка. А может, глядели в потолок, лежа навзничь. Один был Чубаров, этого носило по белу свету, даже и в Америку заносило. Другой, косая сажень, был Логовенко, моряк, боцман, этого в Николаев отвезут. Третий, тщедушный, молоденький, сидел пригорюнившись, на шорох волчка вытянул шею, как гусенок. А Виттенберг стоял у стены, ссутулясь и свесив голову. Этого вместе с боцманом в Николаеве. Поди-ка разбери-ка такого. Гешефты — вот гений виттенбергов. Ан нет, из подштанников выпрыгивают, свободу-братство подавай, монархия, видишь ли, не устраивает.

Последним был каземат Лизогуба.

Чуть помедлив, оставив при дверях надзирателей, смотритель вошел в камеру, на пороге успокоительно подняв руку, словно упреждая, что его посещение, так сказать, частное.

Он тихо осведомился, не имеется ли претензий.

Лизогуб тихо ответил, что претензий не имеется.

Смотритель, осторожно ступая, продвинулся в глубь камеры. Присел к столику. Сказал просто, как дома:

— Душно у вас...

И в том, что он сел на табурет, и в том, что он по-домашнему отметил духоту, была подчеркнутая доверительность, но Лизогуб не насторожился, как насторожился бы, случись такое до смертного приговора, а словно бы безотчетно потянулся к этому стройному человеку, должно быть своему ровеснику, к человеку, у которого лицо не было таким уж разбойничьим, каким казалось прежде.

— Душно и холодно, — согласился Лизогуб. И прибавил с нервным вызовом: — Впрочем, не долго, совсем не долго. — Лизогуб произнес это с мстительным торжеством и язвительностью, но адресуясь — и смотритель это понял — не к нему, Зубачевскому, а к кому-то иному. — Совсем не долго, не имеет значения, — повторил Лизогуб.

И вот она, минута! Зубачевский стал говорить, что против Дмитрия Андреевича не выдвинули тяжких обвинений, на его счету нет террорных действий... Говорил, будто вслух мыслил, и чувствовал, будто его и вправду волнуют и захватывают эти мысли... Потом говорил, что генерал-губернатор Тотлебен, прославленный воин, отлично сознает цену жизни, умеет широко взглянуть на вещи, облечен высочайшим доверием и не страшится нареканий в либерализме, а из есего этого можно заключить...

— Довольно! — Лизогуб резко скрестил руки. Помолчав, сказал устало: — Может, у вас и добрые намерения, однако довольно.

Зубачевский встал и коротко поклонился, он достиг своего — заронил надежду. И тут опять, как на улице, в пролетке, ощутил в сердце нехорошее, скользкое движение. А Лизогуб вдруг спросил, указав глазами на его сапоги:

— Что, на дворе грязно?

В голосе Лизогуба было то острое любопытство, с каким заключенные выспрашивают вольных о всяких «потусторонних» пустяках, острое любопытство, Зубачевскому знакомое, но сейчас по-особому важное: оно подтверждало, что надежда мерцает в душе осужденного, а этого-то и хотел коллежский асессор, опасавшийся незаконного действия.

Лизогуб потому и оборвал смотрителя, что изнемог, противясь сразу же вспыхнувшей надежде на смягчение приговора. Все его существо бунтовало против доводов рассудка, а теперь, когда смотритель удалился, он был подавлен. Он тупо поводил глазами по стенам своего каземата, пытаясь что-то вспомнить, и эта его попытка, он чувствовал, как-то соотносилась с грязными сапогами смотрителя.

Лизогуб принялся ходить, доходился до головокружения, лег, зарылся лицом в подушку. Он лежал не двигаясь. Ему стало трудно дышать, он перевернулся на спину. Одесские улицы, подумал он, хорошо вымощены, а все равно на Зубачевском грязные сапоги, вот если б надел черниговские калоши, высокие, почти до колен. Нигде таких, кажется, не носят, только в Чернигове.

Знаете ли вы, что такое черниговская грязь? Нет, вы не знаете, что такое черниговская грязь! Лошадям по брюхо, все и вся тонет, одним воробьям нипочем. Мальчиком, в Чернигове, хворая, из дому ни шагу, Митя, прилепив нос к окну, следил за воробьями — строчат, строчат желтенькие ножки, крохотные пяточки будто запятые ставят. Митя следил за воробушками да вдруг и приметил: в знакомых людях появилось что-то воробьиное, с хлопотливым боковым прискоком.

Был март шестьдесят первого, недружная весна, Лизогубы перебрались из Седнева в Чернигов. Вокруг только и слышалось: «Воля, воля...» В столицах манифест объявили пятого, в Чернигове — девятого. Объявили с амвона кафедрального собора, при огромном стечении народа. Разговоры взрослых сделались непонятными двенадцатилетнему Митеньке Лизогубу: какое-то устроение малороссийское и какое-то устроение великороссийское, какие-то отрезки и мировые посредники. А в панах «на всю губу» выказалось что-то воробьиное, с хлопотливым боковым прискоком. И часто слышался Митеньке злой голос седневского Гриця Золотого: «Настоящую волю паны в торбу заховают».

Дважды в неделю отец занимался в губернском по крестьянским делам присутствии. Дважды в неделю принимал гостей. Начальник губернии, князь Голицын, однокашник Лермонтова, приезжал во фраке. Иногда князь приезжал с княгиней, и Митенька чувствовал необыкновенное волнение, сладкое и страшное (потом, в Монпелье, в музее, один портрет очень напоминал ее, черниговскую губернаторшу, урожденную Апраксину).

Строго и гладко князь трактовал крестьянскую реформу. Слово «свобода» округло скатывалось с его румяных уст и, казалось, витало в кольце табачного дыма. Секретарь губернского правления, слушая губернатора, воспламенялся. В приступе воодушевления однажды раздавил в руке бокал с вином.

— Свобода! — расхохотался Василий Иванович Лизогуб, Митин родной дядюшка и крестный.

Отставной штаб-офицер и георгиевский кавалер, он разве что в церкви снимал засаленный уланский блин. Крестный дулся на «либерализм», выговаривал «либералис-с-см», в «с» просвистывало отвращение. Коротким кавалерийским шажком он хаживал на вечерние заседания губернского

присутствия. Только на вечерние, когда дозволялось курить и подавали самовар. На заседаниях, не вынимая из зубов вишневый чубук, Василий Иванович шпынял «либералис-с-см». Но потом, убедившись, что «либералисм» отнюдь не помеха пехоте и кавалерии, посланной князем Голицыным усмирять мужиков, махнул рукой, молча пил чай и пропускал дым сквозь вислые седые усы.

Чаще других навещал Лизогубов их родственник Галаган, богач и добряк. «Коханый родич» называл Галагана Митин отец. Они дружили с юности. Это не мешало им спорить. Оба горячились, пронзая воздух указательным перстом.

- Всем известно, что вы бессребреник, говорил Андрей Иванович. Хвала! Однако сознайтесь, что вас обирал каждый, кому не лень.
- Отчего же каждый? смущенно возражал Галаган, бледное одутловатое лицо его розовело.
- Кому не лень! восклицал Андрей Иванович. А теперь вы хотите, чтобы мужики обобрали всех нас.

Галаган объявлял Андрея Ивановича «плантатором», тот язвил Галагана «демагогом». Но и «плантатор» и «демагог» составляли практические бумаги. Митя слышал: «Уставная грамота» — и всегда почему-то воображал красную свитку. Это уж потом, позже он узнал, что уставные грамоты регулировали отношения помещиков и крестьян. Отец составлял образец уставной грамоты, Галаган — какую-то инструкцию. Бумаги они писали по-русски, спорили на родном, украинском. И оба стихали, выходили из кабинета, когда сын Галагана, маленький Павлусь, и сын Андрея Ивановича, двенадцатилетний Митя, пели: «Ой, морозе, морозеньку...» Славная песня, энергия старинного вольного казачества! И еще дети пели про казака Байду. И отцы любовались детьми.

Вскоре после реформы братья Лизогубы собрались в дальний вояж. Почему избрали Монпелье, где столь переменчивы погоды и так часты простуды? Почему не в Крым поехали, а в южную Францию, в департамент Эро? Наверное, все затеяла тетушка, бывшая фрейлина, эта вечная ворчунья. А может, вся штука была в том, чтобы избавиться от перемен, от страха перед красными петухами, от уставных грамот, инструкций, воробьиного скока бочком? Но вслух говорили: «Советы врачей. Нам надобно ехать в Монпелье».

Разумеется, это не Решко посоветовал, а домашний, седневский, выписанный из Дрездена. Немец рылся в заграничных медицинских журналах, вычитал о долгожителях Монпелье. А Решко был тут ни при чем.

В Чернигове он лечил Митю от дифтерита. Решко не походил на доктора с широкой практикой: ни важности, ни очков, ни массивного брегета. Он был похож на Гриця Золотого: ни своего угла, ни теплого платья. И та же ненависть к деньгам: он раздавал гонорар бедным.

Решко наслеживал вощеные половицы, разматывал гарусный шарфик и, потирая кадык, давал понять, что у него пересохло горло. Он не выстукивал, не выслушивал, а принюхивался, сильно втягивая воздух маленькими, как дробинки, черными ноздрями. И хрипел задумчиво:

— Душа есть тончайшая материя. Ежели homo sapiens¹ телесно страждет, сия материя источает разные запахи. Дифтерит пахнет мухомором. Есть болезнь, которая отдает укропом. А бывает и так: точь-в-точь жареная телятина.

От него самого разило пивом. Но, как бы ни было, дифтерит минул. И Решко, потрепав мальчика по щеке, сказал:

— Можете убираться в Монпелье. Митенька не пахнет свежим коленкором.

Смерть, по мнению Решко, пахла свежим коленкором.

Не запах свежего коленкора пресек дыхание — короткий, тупой стук... Там, в Монпелье, Митя Лизогуб не видел гильотины. Но Монпелье — это Франция, а Франция — это и гильотина. А когда ожидание насильственной смерти таится в твоей крови, в порах, в корнях волос, когда оно, это ожидание, лишь приглушено надеждой (надеждой, которой противится разум), тогда довольно краткого, тупого стука, чтобы дыхание пресеклось.

Стук повторился, тупой и краткий: в секретном каземате были двойные двери, и вот дважды стукнули форточки-кормушки.

Принимая миску и чайник, Лизогуб коснулся шершавых обшлагов служителя, стоявшего по ту сторону дверей, и тотчас почувствовал его странную напряженность, отторжение, страх. Как от пагубы, как от существа, уже не принадлежащего всему обыкновенному и знакомому.

Он стал завтракать. Ему доставляло удовольствие и то, что он проголодался, и то, что он утоляет голод. Про жилье в Монпелье думать не котелось. Не потому только, что все оборвалось стуком кормушки, блескуче-острым, пронзительным ощущением, а потому еще, что при мысли о Монпелье Лизогуб словно бы встретился взглядом с учтивым жандармским штабс-капитаном.

¹ Человек как разумное существо (лат.)

Вроде бы и невзначай случился тот неслужебный разговор в служебное время. «Колокола звонили в Монпелье, колокола звонили в Монпелье...» Лизогуб рассказывал Вилье де Лиль-Адану о Художественном музее, основанном одним из учеников великого Давида. Штабс-капитан слушал мечтательно, Лизогуб увлекся... Он и сейчас досадовал на себя за минуту доверчивости и откровенности — обрадовался неслужебному разговору, как роздыху, как передышке посреди допроса.

Нет, не хотелось думать о Монпелье, где прожил несколько лет, где прошла юность. Там были горбатые тенистые улицы, бульвар Генриха IV, мшистая башня (в годы революции — тюрьма, в годы реставрации — обитель кающихся грешниц), был коллеж с высокими, голубеющими окнами в частых белых переплетах. Отец сетовал, что Митенька, пожалуй, совсем офранцузится, забудет и украинский и русский. Отцу не по вкусу пришлись провинциальные буржуа-скопидомы, занятые сбытом парфюмерии и фланели. Отец ворчал: «Живешь точно на картинке из французского букваря — добродетельный садовник с добродетельной собакой».

Вопреки медицинским справкам, городок департамента Эро не одарил долголетием старших Лизогубов. Воротившись на Украину, чередою отошли они в мир иной. О смерти родителей, дядюшки с тетушкой тоже не хотелось думать. И не потому, что было бы слишком грустно вспоминать о болезнях, кончине и похоронах близких людей. Впрочем, нет, это, конечно, было бы грустно, но главное-то в другом: удовольствие от тюремного завтрака как бы доказывало, что вот уж и не трепещет его, Дмитрия Лизогуба, бренная плоть, живет нескудеющей жизнью, страх над ним не властен и не властна давешняя бесконечная тоска. Свежим коленкором не пахло.

— Отдохните-ка после сытной трапезы, — сказал он себе. — Вот так-то, милостивый государь.

«Милостивые государи...» И вчерашние школяры не удерживали горделивой улыбки. Слух ласкало, лестно было: «Милостивые государи», — произнес профессор, начиная вводную лекцию.

«Милостивым государем» начался не только университет, а и петербургская самостоятельность. Широко зажил первокурсный студент математического отдела естественного факультета. На Среднем проспекте нанял квартиру. И такую, что впору бы студенческой артели. Нанял лакея, повара, кучера. На дворе не пустовал экипажный сарай —

свой выезд у Дмитрия Андреевича Лизогуба. Он несколько сожалел об отмене форменного платья. Впрочем, блуза и сапоги не шокировали: сапоги, шаровары, вышитую сорочку нашивал в Седневе покойный папа. Да ведь и блуза-то не серая или синяя, как у многих, как у большинства, а темно-синяя и с нагрудным карманом для часов с цепочкой.

По воскресеньям он приказывал заложить экипаж, подать корректный сюртучный костюм, сшитый у модного и дорогого Сарра, пальто с пелериной подать и цилиндр. Довольный собою, катил с Васильевского острова на ту сторону Невы.

Петербург не восхищал Лизогуба. Осень шибает сырой штукатуркой. В ростепель капель не звенит, а стучит жестко, как барабанная дробь. Сумеречный свет, будто в мертвецкой. И это неприятное ощущение, словно у тебя притупилось зрение. Высокомерный город с кокардой и в ремнях, с палашом и штыком.

В Петербурге нашлись знакомые и родственники. Лизогуб ездил с визитами. На Инженерной, в павильоне Михайловского замка, вдовела тетушка. Старушка была непоседливая. О таких говорят: «Французская живость». Она и была француженкой. Ее отец, академик архитектуры, покинувший родину задолго до падения Бастилии, смотрел из золоченой рамы глазами блестящими и лукавыми. А рядом, из другой рамы, воински-строго взирал ее покойный муж, Митин дядюшка, Александр Иванович. Тоже в уланском, как и черниговский «либерализм», но чином выше — генерал.

Старушка пила кофий. Под окнами маршировали воспитанники Главного инженерного училища. Старушка спрашивала: «Отчего, мой друг, вы не с ними?» И хвасталась: герой Севастополя Тотлебен, еще кондуктором Инженерного училища, был частым гостем. «Он любил вашего дядюшку, Дмитрий. — И мизинчиком, отстраненным от чашки: — Вот здесь сиживал наш скромница Эдуард...» Навещала ли тетушка Седнев? О да, но очень-очень давно. Она делала страшную мину: «Бог мой, какая дорога! Тогда забирали с собою все припасы. Вообразите: сахарные головы обращались в шарики, осыпанные пудрой, ужасная тряска. А чай — в порошок, тоньше нюхательного табаку. — Старушка звонко смеялась: — Что сталось бы со мною, решись я нынче на подобный вояж?»

Тетушка не чуралась шартреза. И поднимала брови, дивясь племяннику-трезвеннику. Как! Она прекрасно знает, что все студенты — пьяницы и развратники. Лизогуб

улыбался. Тетушка быстро-быстро кивала: «О Дмитрий, я все-все знаю: у вас на Васильевском — вертеп».

Целуя ручки, откланиваясь и получая поцелуй в лоб, он говорил, что намерен увидеть ее дочь. Она отзывалась кисло: «Парфетки, пепиньерки...» Она жалела дочь: «Бедная, как ей там скучно!» И смеялась звонко: «Мой друг, не миновать вам восклицательных знаков!»

В собственном экипаже подкатывал к Смольному наш универсант. Ему мнилось, что пепиньерки — воспитанницы педагогических классов — прильнули к окнам... А «парфетка» — это неплохо придумано. Должно быть, от parfait? Неплохо придумана кличка для ябедниц. Шпионов нигде не жалуют. Даже в Институте благородных девиц.

Кузина, воспитательница, жила в половине Смольного, кишевшей офицерскими и чиновничьими вдовицами. В коридорах шастали, как паучихи, морщинистые, ветхие парфетки, пахнувшие габер-супом и нагоревшими лампадами. В саду гуляли институтки: долгополые пальто — пудермантоли, белые чепчики, белые личики.

Кузина, крупная и дородная, не в мать, кузина, обладавшая тем, что зовут малороссийским юмором, смешливо морща губы, объясняла: в секретной переписке воспитанниц есть своя символика — восклицательный знак знаменует обожание, точка с запятой возвещает холодное презрение.

Сластена, она вечно грызла засахаренные орешки или палочки шоколада. По дороге в Смольный Лизогуб заезжал в кондитерскую. Он подражал черниговскому губернатору — князь всегда угощал его конфектами.

Лизогуб рассказывал о Седневе. Он почему-то решил, что каждый, в ком есть украинская кровь, тоскует по левадам, залитым вешними водами, по шумным майданам в дни ярмарок, по яругам-оврагам, где тихо булькает студеный ключ... Кузина не тосковала. Бедняга! Все ее воспоминания витали вокруг Михайловского замка. Утрачивая свой юмор, она с важной серьезностью говорила, что ее крестным был не кто иной, как сам знаменитый Сперанский.

В Смольном недавно отменили казенные выезды. Сторож, швейцары, старикашки-музыканты из упраздненного институтского оркестра уважительно наблюдали, как молодой барин садится в собственный экипаж. А молодому барину мнилось, что где-то в этажах Смольного грустит о нем высокая и стройная барышня — волосы, гладко зачесанные, сколоты пышным узлом, как у китаянки.

¹ Совершенство (фр.).

Аптека оставалась позади, и булочная, и мелочная лавка, а молодой человек в цилиндре и пальто-пелерине все еще думал о прекрасной брюнетке: он похищал ее, и она хозяйкой входила в его дом. То-то бы ахнул Лев Михайлович: «Ай да Митя-Не-Просит!» Не удивляйтесь, господин Жемчужников, есть еще рыцари, не вы один такой прыткий. К тому же, позвольте напомнить, вам помогал мастер Сиссон, гордый сын гордого Альбиона.

Художник Жемчужников был своим у Лизогубов. Приезжая в Седнев, он дарил маленькому Мите гостинодворские игрушки хитрой немецкой выделки. Но дарил не оптом, а с расстановкой». И Митя изнывал. Мама усовещивала: «Благовоспитанные дети не просят». Мальчик, крепясь, умоляюще гядя па столичного гостя, однажды выпалил: «Митя не просит» — и протянул ладонь. Все рассмеялись. Жемчужников окрестил его Митя-Не-Просит.

Так вот, с этим Жемчужниковым некогда приключилась романическая история. Неподалеку от Седнева, в Линовицах, обитал граф Бальмен. Жемчужников, занимаясь живописью, живал и в Линовицах. Ему приглянулась дворовая девушка. Джульетте шел осьмнадцатый, Ромео исполнилось двадцать. Жемчужников посватался. Граф отказал. Взбешенный Жемчужников вернулся в Седнев. У Лизогубов в ту пору служил управляющим англичанин Сиссон, коренастый, невозмутимый, с глазами навыкат. Художник и агроном стакнулись. Была летняя ночь, мягко шлепали копыта по белому от луны шляху. Да здравствует любовь: Левушка Жемчужников в содружестве с британцем похитили Оленьку.

Много лет спустя петербургскими улицами Митя-Не-Просит ехал к Жемчужниковым. Они нанимали квартиру на Большой Дворянской. Дом был открытый. Преобладали посетители, топографически Лизогубу близкие: живописцы и ваятели с Васильевского острова. В ресторации Каролины Юргенс они могли гонять бильярдные шары, но кормились от щедрот Ольги Степановны. «Кушайте, милые, кушайте», — приговаривала Ольга Степановна, матерински глядя на хлопцев, уписывающих за обе щеки.

Лизогуб засиживался допоздна. С Ольгой Степановной они беседовали по-украински. Беседы были домашние, малозначащие, но всегда после них, возвращаясь с Петербургской стороны, Лизогуб почти болезненно проникался холодной жутью огромного, чужого, надменного города, делалось жаль себя, как сиротинушку на чужбинушке, хотя в квартире на Среднем проспекте его ждали прислуга, ха-

лат, мягкие туфли, духовитое сосновое тепло: еловые дрова он запретил, велел топить сосновыми, дорогими.

Он считал дни до летних вакатов — тотчас удрать в Седнев! И не стремился ширить круг петербургских знакомств. С него было довольно павильона в Инженерной, комнаты в Смольном, приветного очага на Большой Дворянской. Да еще редких визитов вежливости к одному из Дуниных-Борковских, родственнику покойной матушки, и к тугому на ухо сенатору — старик издавна дружил с лизогубовским семейством.

Круг этот, наверное, долго бы очерчивал петербургскую жизнь Лизогуба, если бы не университетский библиотекарь Заваруев. Вернее, не сам по себе библиотекарь, а его пустяшная просьбишка. Тогда-то и началось нечто поворотное, определяющее. Но сперва понадобилась спешная врачебная помощь.

6

— Здравствуйте, господин Лизогуб.

Позади маленького желтолицего человека в дверях секретного каземата теснились помощник смотрителя, ключник, надзиратели.

Тюремный медик, смахивающий на японца, отнюдь не походил на солидного петербургского врача, о котором только что вспомнил Лизогуб. Правда, скользнуло и другое воспоминание, тоже питерское, но лишь скользнуло — Лизогубу было не до того: он едва удержался от гневного, протестующего жеста.

Как все заключенные, Лизогуб знал, что без просьб, без вызова тюремный медик посещает лишь узников, назначенных к отправке по этапу. И если к нему, Лизогубу, в его секретный каземат нежданно-негаданно вошел «японец», то, стало быть... Но — странно — совсем еще недавно Лизогуб мимовольно потянулся к Зубачевскому, а сейчас, при виде человечка со стетоскопом, оскорбленно возмутился. Да будь они все прокляты! Осуждают на виселицу, предают палачу, а накануне подсылают эскулапа!

Тюремный медик внимательно, снизу вверх смотрел на высокого, худого заключенного с длинной, негустой, сквозящей бородою и видел, как быстро и гневно темнеют его голубые, чуть косящие глаза, как обостряются скулы под анемичной кожей. И заметив гнев Лизогуба, тюремный мелик тихо обрадовался.

Посетить Лизогуба предложил Зубачевский. Хоть и уверенный в том, что он заронил надежду в душу осужденного, коллежский асессор рассчитывал подогреть ее медицинским освидетельствованием, словно бы намекающим на какие-то перемены, словно бы перед этапом. повиновался нехотя: гадко и стыдно прикладывать стетоскоп к груди здорового тридцатилетнего человека, чей насильственный летальный исход ты сам же в первую пятнииу удостоверишь — на эшафоте. Гадко и стыдно, но доктор повиновался. Сперва нехотя, с отвращением, однако потом, посетив Дебу, доброго своего приятеля, оживился и сейчас. войдя в секретный каземат, тихо радовался лизогубовскому гневу. Эмоция эта позволяла высказать то, что советовал высказать Дебу. Только бы суметь изъясниться обиняками — подлец Юрочка Журавский, помощник смотрителя, переминаясь на пороге, весь обратился в слух.

Дебу, добрый приятель и сосед тюремного медика, был некогда приговорен к расстрелу: петрашевец. Ожидая смерти, он жил минувшим. При известном усилии воли, объяснял Дебу, предстоящая казнь порождает чувственно-осязаемые восприятия яркости необыкновенной; на свободе ты не свободен — ты во времени, оно в тебе; а тут — иное: и видишь, и слышишь, и как на ощупь берешь, внутренняя жизнь достигает чрезвычайной насыщенности; конечно, день на день не приходится, иногда слабеешь, «объем» сужается, а иногда все шире и плотнее... Расстрел ему заменили солдатчиной; годы спустя погибал Дебу в осажденном Севастополе, где были Нахимов и Тотлебен, и это там, на Корабельной стороне, под бомбами, они подружились — Дебу. теперешний поднадзорный житель Одессы, и он, тюремный медик... Да, расстрел заменили, но об этом не следовало говорить Лизогубу. И не потому, что за спиной подлец Журавский, нет, не поэтому... И нельзя упоминать Дебу, нельзя упоминать петрашевцев, а надо изъясниться намеками, чтобы помощник смотрителя со своей сворой ни бельмеса не поняли.

Все еще глядя на Лизогуба, стараясь не отпустить его глаза, «японец» попросил заключенного приблизиться к окну, то есть отдалиться от дверей, где теснились служители, попросил расстегнуть рубаху и стал дышать на стетоскоп, согревая раструб, как дышат детские врачи, и Лизогуба мгновенно тронула эта заботливость.

Медик считал пульс, привставая на носки, выслушивал сердце, задавал пациенту обычные вопросы, но ответа не дожидался, а, понизив голос, говорил о напряженном созер-

цании, которое упруго выталкивает из сиюминутности, о безграничных возможностях духа, о том, что мысль Данте (нет острее боли, как воспоминания о счастливых временах во дни несчастья), мысль эта несправедлива, а если и справедлива, то лишь для натур, ползающих во прахе.

Лизогубу был внятен смысл его речи.

- Я совершенно здоров, доктор, признательно улыбнулся Лизогуб.
 - Помогай вам Бог, шепнул медик и вышел.

Наклонив голову, Лизогуб прислушивался к шагам в коридоре, ему казалось, что он различает легкую и вместе твердую поступь милого «японца». Мысль Данте, подумал Лизогуб, несправедлива. А напряженное созерцание выталкивает из сиюминутности. Но в общем-то человек не живет настоящей минутой — живет либо уже минувшей, либо еще не наступившей... «Помогай вам Бог». И будто внезапно Лизогуб понял, на кого похож милый «японец». Понял, угадал, ухватил воспоминание, лишь скользнувшее при виде тюремного медика: удивительно похож на госпитального санитара. Да-да, на санитара, так преданно и нежно ходившего за Фесенкой. Рука у Фесенки была горячей, влажной. Да нет, это ж потом, после, подумал Лизогуб, а тогда, в тот день, Иван коченел на чердаке, пришлось спешно пригласить доктора.

7

Чердачная комнатенка была выстуженная, обои в грязных подтека. На каком-то подобии дивана лежал человек в студенческой блузе и сбитых сапогах, рослый человек, лобастый и плечистый, едва умещался, рука свешивалась до полу.

— Вот, — сварливо повторила хозяйка, поставив свечу на стол и кутаясь в кацавейку, — вот я и говорю, барин: этот самый и есть — третий месяц гроша не платит, я в полицию пойду...

Лизогуб, не слушая, шагнул к дивану. И отпрянул.

— Доктора! — Он сжал локоть хозяйки. — Скорее доктора. — Он сунул ей деньги, не считая.

Цапнув купюры, хозяйка выбежала.

Лизогуб, испуганный и растерянный, сел к столу, тупо уставился на исписанный лист, озаренный сальной свечой. Глаза его пробежали по строке: «...я питал надежду, поступив в университет...», но Лизогуб как бы и не понял смысла. Он подумал, что сильно виноват перед незнакомым

студентом, который, должно быть, отравился. Отравился, умер, наверное незадолго до его прихода. Виноват, непоправимо виноват. Надо было в тот же день исполнить пустяковую просьбу библиотекаря Заваруева, а он мешкал чуть не целую неделю...

Библиотекарь, встретив Лизогуба в университетском коридоре, сказал, что соседом ему, господину Лизогубу, в том же, мол, доме, живет малоросс Фесенко, студент юридического, весьма и весьма умственно развитый; так вот, этот Фесенко перетаскал пропасть книг, давно бы пора вернуть на место, да юрист словно в воду канул; разумеется, прибавил Заваруев, можно было и сторожа послать, но, право, отчего бы господину Лизогубу не свести знакомство с земляком, отмеченным столь блестящим дарованием?

А Лизогуб промешкал чуть не неделю. И Бог весть почему. А теперь поздно... Лизогуб все еще тупо и пристально смотрел на исписанный лист, освещенный сальной свечой, боясь отвести глаза и взглянуть на Фесенку. Смотрел, смотрел, различал слова и фразы, но как-то вперемежку, порознь, и лишь спустя несколько минут все сложилось, связалось воедино.

«Неосвобождение меня от платы за право слушания лекций поставило меня в самое плачевное положение. Из гимназии я решился идти пешком в Петербург — более 1000 верст — только потому, что питал надежду, поступив в университет, не только на освобождение меня от платы за право слушания лекций, но и на пособие, которое могут получать из университета крайне бедные студенты за свои успехи в деле науки. Без этой надежды решиться поступить в университет значило бы для меня решиться быть тем нишим. который по своему положению не может просить Христа ради подаяния и которому в то же время угрожает голодная смерть. Но эта надежда теперь уже рухнула, вследствие чего, чтобы не умереть с голоду в С. — Петербурге, я буду принужден путешествовать обратно каких-нибудь 1351 версту, и, кроме того, не имея ни копейки денег и одежи, я принужден буду открыто просить дорогою подаяния.

На экзаменах по предметам II курса юридических наук я подтвердил собою тот печальный, но несомненный факт, что студент-пролетарий по самой сущности пролетариатства никоим образом не может запастись такою суммою знаний, какою могут запастись в один и тот же период далеко не трудоспособные и не даровитые, но состоятельные студенты.

Для студента, который ради насущного хлеба каждый Божий день рыщет по грошовым урокам, а ночь просижи-

вает над занятиями в полутемном, сыром и холодном чердаке, для такого студента жизнь — сумма тяжелых страданий, и он наконец доходит до той степени, на которой у человека необходимо должно явиться сознание, что влачить свою жизнь дальше невозможно. Это сознание не может пройти мимо меня...»

Свеча затрещала, язычок пламени вытянулся — Лизогуб с каким-то судорожным проворством снял нагар. В его движении был мгновенный ужас от этого быстрого и длинного, словно предсмертного, пламени.

 Сюда, пожалуйте, — послышался голос хозяйки, дверь распахнулась, понесло кошками, дрянью, черной лестницей.

Тяжело отдуваясь и морщась, вошел доктор в распахнутой енотовой шубе. Не отвечая на поклон Лизогуба, сурово приказал:

Поднимите свечу!

Он бросил на стол меховую шапку и, как был в шубе, склонился над Фесенкой. Хозяйка шумно вздохнула и перекрестилась.

— Пошла прочь, — проворчал доктор. — Небось приставала с ножом к горлу, а теперь... А вы, сударь, — отнесся он к Лизогубу, — ближе, ближе. Чего боитесь?

Осмотрев Фесенку, он выпрямился, прикрикнул с ка-кой-то гневной досадой:

- Обыкновенная чердачная история! Кахексия, истощение крайнее. И, как следствие, непременно чахотка. Он требовательно и сердито взглянул на Лизогуба: Вы ему кто?
- Коллега, земляк, замявшись, ответил Лизогуб. И поспешно прибавил: Все, что смогу, уверяю вас, доктор.
- Тут ему гибель. Гибель! Свет, тепло, пища, отдых. Непременно. Иначе гибель. Обыкновенная история, да-с!

Гонорар он взял небрежно. Лизогуб пошел следом. На черной лестнице шарахались кошки.

— А вы что же-с? — удивился доктор.

Лизогуб ответил, что немедля пришлет своих людей за Фесенкой.

Доктор фыркнул: «Своих людей!» — Лизогуб покраснел.

Полмесяца Фесенко пробыл у Лизогуба.

Оглаживая бороду, думал сумрачную думу. Лизогуб не докучал ему. Иногда Лизогубу казалось, что он испытывает к Фесенке такую же участливость, какую покойный папа испытывал к Тарасу Григорьевичу.

Фесенко был молчалив, кмуро-сосредоточен. О себе говорил скупо. Да и что там рассказывать? Ну, из села Беева, есть и такое на Полтавщине, в Гадяческом уезде. Батька — дьячок деревенский, спозаранку и дотемна в навозе. В гимназии он учился, Иван Фесенко, духовную ему карьеру прочили, глядишь, в благочинные вышел бы, а он пешком в Питер пошел, в университет, батька проклял... Остальное, что же? Сами, Дмитрий Андреевич, видите... Впрочем, он уже достаточно окреп: ноги держат и голова не качается, пора и честь знать. Премного благодарен.

Фесенко сидел в кресле — большой, плечистый, крупной кости, но совсем не массивный, а, казалось, легкий; в отсветах лампы борода золотилась, чисто белел покатый лоб.

— Премного благодарен, — повторил он глуховатым своим баском. — Поймите: не могу я на чужих хлебах, совестно, право.

Сдается, намек был: я-де и не могу и не хочу, а ты, паныч, и можешь и хочешь. Пожалуй, был намек, но Лизогуб не понял, разве что мелькнул ему почему-то Гриць Золотой. Не только не понял, но и бухнул, как в колокол: предлагаю, мол, пособие, предлагаю как земляк земляку, мне де, Лизогубу, никакого ущерба.

- Увольте! отрубил Фесенко.
- Эх, Иван Федорович, вздохнул Лизогуб, ей-Богу, зря это вы, как чумацким батогом: «Увольте!» Посудитека сами... Вы ж ректору писали, рассчитывали на пособие. Так? Фесенко нехотя кивнул. Ну-с, а пособия из чего составляются? Вы это знаете, а? Знаете, но не хотите сказать, ибо я прав. Кругом прав, Иван Федорович. Хорошо, перечислю. Есть пособия правительственные, а есть частные. Скажем, в память цесаревича или от здешней городской думы, или вот еще от Кавказа и так далее, вам известно. Теперь вопрос: ежели б вам назначили пособие, вы что ж, так бы и вцепились? А какое оно, частное или нечастное? Те-те-те, отвечайте-ка.

Фесенко «логики» не принимал. Перекорялись они долго. Иван Федорович, удостоившись звания «упрямого хохла», отплатил насмешками по адресу «хохлацкого мецената»... И вдруг оба покатились со смеху, Фесенко, смеясь, прятал лицо в большие ладони.

Решили так: «упрямый хохол» остается у «хохлацкого мецената», пока не найдет «пропитательных» уроков, а до тех пор кормится у Лизогуба с дальнейшим, во благовременье, погашением беспроцентного долга. И еще условие:

он, Фесенко, решительно отвергает услуги лизогубовского лакея.

- А повара? слукавил Лизогуб.
- Фесенко хохотнул:
- Да хоть сейчас...
- И прекрасно!

Библиотекарь не преувеличивал: Фесенко загребал книги охапками. Лизогуб иронически прищелкивал языком: византийское право, римское право, теория права, философия права. Лизогуб запамятовал, кто сказал (Руссо ли сказал, или самому Руссо кто-то сказал), но цитировал шутливо: «Оставьте женщин и изучайте математику!» Фесенко парировал не шутя: «До аксиом ли, когда всюду насилие и грабеж?!»

Правду сказать, Лизогуб случайно выбрал математический отдел. То есть и не совсем случайно, а потому, что в Монпелье, в коллеже, был толковый учитель. Случись там арабист или китаевед, Лизогуб, смотришь, подал бы на факультет восточных языков и теперь обретался бы в числе трех десятков слегка тронутых универсантов. А на юридическом, где Фесенко, там душ шестьсот, самый многолюдный факультет. Но Фесенко, как выяснилось, не за модой гнался: он штудировал право, чтобы обнаружить пружины бесправия.

Фесенко ничего не навязывал Лизогубу. Не читал нотаций и не витийствовал о смысле и назначении земного бытия. У Фесенки было то, что называют манерой сократической, — он ставил вопросы, приглашая разрешать их совместно. Он приносил книги, не только цензурой дозволенные. И приводил Лизогуба на квартиры, весьма подозрительные в глазах университетских инспекторов.

Уследишь ли, как возникает иное умонастроение, иное направление души? Подслушаешь ли, как растет трава? Подсмотришь ли, как к сердцу крадется покаяние? Может, невнятно возникло оно еще там, в седневских вонючих дворах, под седневской вековой липой? А может, седневское, детское и отроческое, притаившись, ждало, когда придет упрямый хохол с золотящейся бородою и чистым, покатым лбом?

Покаяние началось отречением: лакей, повар, кучер были отпущены (и, надо заметить, к их крайнему неудовольствию); лошадь и карета проданы (к огорчению домовладельца, у которого опять пустовал экипажный сарай); гардероб от Сарра упрятан подальше; визитации сделались столь редкими, исключая Большую Дворянскую, что тетушка, надо думать, окончательно убедилась в повальном пьянстве и разврате господ студентов.

«Оставьте женщин и изучайте юриспруденцию», — сказал Лизогуб. Фесенко не улыбнулся: «Очень рад, честный человек не умещается в математических отвлеченностях».

Ректор, старик Кесслер, натуралист, недолюбливал юристов — говоруны, пустомели, однако удовлетворил прошение Лизогуба о переводе на юридический факультет.

Весною Фесенко с Лизогубом перестали посещать артельные студенческие квартиры, всяческие сходки: не введи во искушение полицию и да не лишен будешь справки о благонадежности. Справка нужна была для получения заграничного паспорта. Заграничная поездка нужна была... «Для поправления здоровья», — объяснял Фесенко и не лгал. «Проведать престарелую родственницу, тоскующую в Париже», — объяснял Лизогуб, и с известной натяжкой утверждать можно, что и он не очень-то прилгнул: какаято из его дальних родственниц действительно жила во Франции и была, кажется, даже близка с посольским кругом... Но как бы ни было, стоило ли толковать приставу или чиновнику иностранного отделения канцелярии петербургского обер-полицмейстера, что вот-де необходимо познакомиться с русской революционней эмиграцией?

Собствечно, особых опасений ни у Фесенко, ни у Лизогуба не было. Верно, они вращались в среде, именуемой радикальной. Верно, они склонялись над книгами не от Заваруева: и Чернышевский, и Флеровский, и первый том Лассаля, и маленькая карманная книжечка — «Исторические письма», сочиненные Миртовым-Лавровым... Верно, однако, и то, что ни университетский субинспектор, ни частный пристав, ни квартальный, ни, наконец, ближайший соглядатай, старший дворник, не имели к ним претензий.

Старший дворник, мужчина зоркий, случись держать ответ в участке, почтительно доложил бы нижеследующее: господин Лизогуб, надо полагать, промотался, ибо живет совсем не на ту ногу, как прежде; что касаемо господин Фесенки, то он из тех студентов, коими пруды пруди, то есть бледная немочь, хотя из себя косая сажень. Зоркий мужчина мог бы присовокупить, что молодые люди не учиняют кутежей, когда на столе рота косушек и две роты портерного, а на зуб положить нечего, что ни панельных, ни курсисток не водят, а ежели и «разговляются» в веселом заведении, то, во-первых, без этого нельзя, сопреешь, а во-вторых, закону не поперек, так что...

Так что, препятствий к заграничным паспортам не выявилось. Плати гербовый сбор и получай. По окончании

семестра получили. И ушли с саквояжиками. Не в пролетке укатили, а ушли: уже действовал принцип экономии, отменявший комфорт.

И вот уж Цюрихский вокзал: рослые вежливые носильщики с тележками на гуттаперчевом ходу, швейцарско-немецкая речь, крепкая и честная в самой своей грубоватости, по, ей-Богу, чего-то недостает, чего-то явно не хватает на этом перроне. Фесенке все было внове, он озирался, детски любопытничал.

— Ну, — сказал Лизогуб, — смекаешь, в чем штука? Да погляди-ка, погляди: не торчит шишак городового! И прислушайся: не бренчат офицерские шпоры!

И студиозусы счастливо рассмеялись. Ах, россиянин, как ты пьянеешь от воздуха Европы. Да будь ты семижды семь ревнитель отеческой старинушки, все равно запьянеешь.

Одышка локомотива сменилась цокотом копыт на привокзальной площади. Брезентовая кишка, шипя и брызгаясь, распластывала над цветочным газоном радужный водяной веер.

Туда, туда, в предместье Hottingen. Там, на правом берегу Лиммата, громко звучит русская речь, там нет никому дела до короткой стрижки русских девушек и долгих волос русских юношей.

Лизогуб вежливо-придирчиво выбирал жилье. И выбрал — лучше не придумаешь.

- Пять с полтиной? не поверил Фесенко. Так лешево?
- Отвечай, потребовал Лизогуб, каков курс франка?

Фесенко все наперед затвердил, ответил без запинки:

- Тридцать три копейки, ваше превосходительство.
- С нас запрашивают семнадцать франков. Сочти.
 Фесенко не успокоился:
- А срок, срок-то какой?
- Помесячно!

Переулок назывался душисто — Rosengasse. Дом стоял в яблоневом саду — деревянный, узкий, в три этажа с мезонином. Из окон меблированной комнаты открывалась рябь черепичных крыш. Вдали означался, как грот-мачта, высокий шпиль. Еще дальше виднелись горы.

Хорошо, светло, свободно. И кажется, глохнет чувство, завладевшее душою в Петербурге, — чувство неоплатного долга перед меньшой братией. О волглые пледы, блеск пенсне, табачный дым и слова в дыму: народ, социализм, справедливость, революция... А теперь, в цюрихском предме-

стье, созерцаешь из окна рябь черепичных кровель, высокий шпиль, пронзающий тонкий воздух, гармонию дальней гряды, созерцаешь — и глохнет очень личное чувство ответственности за грехи отцов, за всех лизогубов, попиравших землю. Они оставили тебе много добра, взятого нахрапом. Ты виновен, и за них, и за свое седневское детство, за живопись папа и музицирование дядюшки, за «либералис-с-см» крестного и учение в Монпелье, за свое грассирование, за гардероб от Сарра... Муки поколений, бесконечная череда жертв! А проценты с долга набегают каждый день. Набегают и в эту минуту, когда ты, созерцая черепицу, шпиль, горы, вдыхаешь запах чайных роз. А Фесенке нет нужды корить себя и взнуздывать. Счастливец, обстоятельствами рождения он избавлен от вины перед народом.

Они приходили ежедневно во второй этаж деревянного особнячка, стучались в белую крашеную дверь. «Здравствуйте, Пономарев!» Студент-химик уже вернулся из лаборатории и уже принимал первых посетителей русской студенческой библиотеки. То-то прыснул бы в кулачок университетский хранитель: «Библиотека?!» Да, тесная комнатенка, но, господин Заваруев, в ваших Богом хранимых шкафах днем с огнем не отыщешь такую литературу. Ее изымают пограничные жандармы на станции Вержболово, а питерские приказчики суют за рупь семьдесят пять какую-нибудь «Черную книгу Парижской коммуны» примите бром и читайте о зверствах коммунаров. А тут, где княжит симпатичнейший Пономарев, тут все заграничные русские издания, в отечестве запрещенные или дозволенные лишь некоторым тайным советникам по причине полной «безопасности» давно иссохших мозговых извилин; тут все главные труды по западноевропейскому социализму и лучшие газеты, освещающие фатальное противоречие труда и капитала. И держится все на трех франках, собранных с каждого русского студента. Вернее, с каждой русской студентки.

Их не больше сотни в Цюрихе, имматрикулированных — внесенных в списки — слушательниц высших учебных заведений. Местные бурши пожимали крепкими плечами: русские фройлен препарируют трупы? Занимаются гистологией у Фрея? Посещают семинарий политэконома Бемерта? Румяные бурши в мешковатых серых костюмах посмеивались, играя бицепсами. А суровые русские фройлен не замечали неуклюжих заигрываний. О-о-о, недотроги!

У них был ферейн, общество. Они начинали рефератами о Стеньке Разине, ученическим изложением Костомаро-

ва. Теперь у них был кружок поклонниц Бакунина. Теперь они реферировали Мора и Кампанеллу, Оуэна и Сен-Симо-

на, Прудона и Луи Блана.

Лизогуб был готов обнять всех братской любовью. И сестер Фигнер, и сестер Субботиных, и сестер Любатович (хотя одну, глядевшую исподлобья, прозвали Волчонком, а другую, обладательницу завидного аппетита, — Акулой), и весьма солидную, с носиком чижиком, Софью Бардину. которую величали Теткой, и решительную, с мужской походкой и темным пушком на губе, Аптекман, окрещенную Гусаром... Всех обнять братской любовью! Они были родственны не кровно — по душе. Они были близки не происхождением — чувством вины, сознанием долга. Они были едины не подданством — идеалом. Ему были по сердцу и строгая их жизнь в доме на широкой Plattenstrace, и чистенькая кухмистерская, где они столовались, и ужас этих нигилисток и анархисток, когда он предложил прекрасное блюдо из маленьких белых спинок и маленьких белых ножек. «Что-то подозрительное», — буркнула Акула, нерешительно пошевеливая вилкой. Он рассмеялся: «Угощайтесь, сударыни, это лягушки».

Однажды на Plattenstraee, в доме, который они называли Русским, однажды там, в Русском доме, вопросили — торжественно и таинственно:

— Вы ни-че-го не знаете?

Лизогуб с Фесенкой «ни-че-го» не знали.

— Приехал! — объявил ликующий хор.

И точно, приехал из Локарно, остановился неподалеку от университетской анатомички, нанял комнату с пансионом. Подумать только, вдруг да и встретишь на этой самой Plattenstraee, как встречаешь Фигнер, Акулу, Бардину. Ах Господи, да только из-за этого стоило побывать в Цюрихе.

А Фесенко как холодной водой плеснул:

- Ты так полагаешь? Не понимаю, Митенька. Подобно Шопенгауэру, боишься пригубить чужой стакан. А пить из чужой кружки не боишься.
 - Объясни!
- Охотно. Из чужого стакана пить тебя в пот бросает. Это буквально. А чужие мысли «пить» всегда готов. Это, если угодно, фигурально.
 - Чужие не значит чуждые.
- Бывает, согласен. Но и ты согласись: все это у тебя восторг и сердце. Слабехонька критическая жила.
 - А у тебя вместо сердца «товар деньги товар». Фесенко ухмыльнулся:

— И процесс труда.

Лизогуб нервничал и смущался. Еще бы! Он, студентик, нуль в революции, увидит нынче Бакунина, участника вооруженных восстаний, узника немецких, австрийских и русских бастилий, знаменитого, громоподобного, бесподобного и так далее и так далее.

А Фесенко сидел, как груженый байдак на мели. Фесенко, видите ли, бился над неким капиталом «К», каковой распадался на денежную сумму, израсходованную на средства производства, и на денежную сумму, израсходованную на рабочую силу, и так далее и так далее.

— Да что ты, Иван, в самом-то деле?

Не поднимая головы, Фесенко ответил:

— Ступай, коли невтерпеж, а я потом, после... — и забормотал о пятистах фунтах стерлингов, превратившихся в конце процесса производства в пятьсот девяносто.

Лизогуб извелся ожиданием. Наконец пошли. Цюрихские жители не полуночничали, как россияне: в домах уже слепли окна.

В прихожую, освещенную фонарем на кронштейне, доносилась бетховенская соната. Играла Ваховская, недавно приехавшая в Цюрих Варенька Ваховская, худенькая, с детским складом губ. В комнате было много знакомых студенток. Бакунин сидел в стороне, за столом с ворохом газет. Сидел боком и, зажав в зубах коротенькую кучерскую трубочку, писал так, будто находился в совершенном уединении. Не львиную гриву, не огромный рыхлый торс Бакунина мгновенно заметил Лизогуб, а эти припухлые веки, что-то собачье в этих припухлых веках, какие бывают у людей из старых русских дворянских фамилий. Было несколько странно, что Бакунин не обращает внимания на публику, а публика вроде бы не обращает внимания на него. Должно быть, подумал Лизогуб, мы с Иваном главное-то пропустили, а теперь каждый занят своим. И точно. одни, облокотившись, слушали Вареньку, другие пили чай, Любатович-Акула распоряжалась самоваром, чрезвычайной редкостью в Цюрихе, — откуда только раздобыли.

Но вот Бакунин отшвырнул перо, поднял голову, лицо его, изрытое морщинами, было потным. Он поднялся во весь свой рост, подошел к Вареньке, потянулся рукой к роялю, стал подыгрывать, на лбу собрались крупные складки, он добродушно, исподлобья оглядывал молодых людей, тех, кого называли бакунистами и кто сам называл себя так.

Очевидно повторяя сказанное еще до прихода Фесенки с Лизогубом, он заговорил о распрях и дрязгах в Интерна-

ционале, о том, что крепко надеется на предстоящий конгресс, на котором все решится, так дальше невозможно. Ему наперебой выказали безусловную поддержку, публика, по русскому обыкновению, принялась толковать разом — о мужицкой жажде бунта, о мужике-социалисте, о готовности коть завтра ринуться в революционные бои, а Лизогуб думал о распрях и дрязгах. Он уже успел прочесть об этом в немецких рабочих газетах, но сейчас, любуясь Бакуниным, с обидой и недоумением думал о противниках Михаила Александровича, ибо те тоже ведь боролись за угнетенных и обездоленных, значит, были личности идеальные, не могли не быть, а вот почему-то нападают на Апостола... Лизогуб не заметил, не расслышал, как его друг, обладатель «критической жилы», успел высказать нечто такое, отчего словно бы наволоклась туча.

Спокойствие оставило Фесенку. Как всегда в минуты волнения, в глуховатом голосе его усилился украинский акцент. Он стоял, сцепив за спиною руки, покачиваясь с носка на каблук, упрямо нагибая лобастую голову.

— По-вашему, господа, — говорил он баском, — мужик наделен всеми и всяческими добродетелями. Он и добр, и разумен, он — революционер еще в утробе матери, он — социалист еще в люльке. И конечно, о, конечно, альтруист, бессребреник... — Фесенко выпростал из-за спины руки и, будто осаживая противников, двинул в воздухе раскрытой ладонью. — Да, да, именно таков смысл. А ежели напрямик, то... барские сантименты, вот что. Я не в поместье вырос, а в крестьянстве, мужика насквозь вижу...

Кто-то крикнул: «Позор!» Фигнер Верочка топнула ножкой, Акула и Гусар, бурно краснея, придвинулись угрожающе. Бакунин чертил пером по бумаге, лицо Бакунина было сумрачным, усталым, обрюзглым.

- Середь прочих свобод, сказал он насмешливо и медленно, есть и свобода мнений. Пусть господин... Э-э-э... развивает свою мысль...
- Постараюсь, кивнул Фесенко и так сжал руками спинку стула, что костяшки пальцев побелели. Постараюсь, господа. Так вот, ежели мужик кладезь всех добродетелей, то логически, что же? А то, господа, что крепостное-то право, выходит, не только не было ужасным злом русской истории, русской жизни, а, напротив, совсем напротив. Ибо, по-вашему, в таких-то условиях и выработался презамечательный, архисвятой мужик. Тьма и рабство вылепили изумительные нравственные свойства? А ведь так-то, со всей непреложностью, господа, именно это-то и

следует из ваших построений. Вы скажете, что мужик обрел эти свойства после освобождения из крепостного состояния? Я отвечу: за десять-то лет с небольшим? А? Нет, прошу извинить, тут самообман. Иль того хуже: одурачивание...

И тогда, и потом, в Петербурге, Лизогуб осуждал друга Ивана за тот цюрихский вечер. Не потому только, что было, как полагал Лизогуб, слишком самонадеянно замахиваться на старого, испытанного бойца, признанного революционной Европой. И не потому лишь, что друг Иван, как опять-таки полагал Лизогуб, слишком уж обобщал. Нет, капитальное вот в чем: нельзя, решительно нельзя допускать ничего, что мешает объединению всех душ, полагающих жизнь свою за други своя. Нельзя, невозможно, повторял Лизогуб, не принимая Фесенкиных упреков в робости мысли и преобладании чувства над разумом.

Иван Федорович на своем стоял: у бакунистов в головах тьма египетская, невежество младенческое. И оглаживая «Капитал», настольную свою книгу, произносил не без оттенка восторженности, вообще-то ему несвойственной:

— Удивительное произведение. Всякий раз нахожу новое, не так прежде понятое. Что за логика, что за колоссальная эрудиция!

Но Фесенко не чурался тех, кого называли «чайковцами», — сообщества пропагандистов, в числе которых был и его наивный, горячий, романтический Митенька. Нет, не чурался, потому что есть же закон нравственного притяжения. Действуя, он стягивает в кружок, в организацию, в партию. Еще совсем недавно говорили: «Довольно слов! Надо начать живое дело!» Его начали словом. Оно называлось негромко — «Книжное дело». Был обретен стержень дисциплины, возникла точка приложения сил. Переводили, издавали, распространяли: Луи Блан и Шерр, Спенсер и Дарвин, Чернышевский и Писарев. И разумеется, Флеровский — «Положение рабочего класса в России».

Издавали, переводили, распространяли. И какой обнаружился голод, какая потребность в книгах «известного направления»; на казенном литературном рационе хирели даже те, кто не очень-то сочувствовал или вовсе не сочувствовал «известному направлению».

Дело требовало денег. В деньгах нуждались типографы и студенты, словно коробейники, разъезжавшие в провинции, нуждались и сами переводчики, и филиалы общества в Москве, Киеве, Одессе... К явному неудовольствию Фесенки, друг его Митенька не шибко постигал главы «Капитала». Однако он владел капиталом. Покаяние, начавшееся уволь-

нением повара, лакея и кучера, было продолжено: общество пропагандистов располагало солидными средствами.

Отдавая деньги, Лизогуб испытывал тайное и сладостное удовлетворение. Но и некоторое смущение тоже он не хотел, чтоб на него смотрели как на банкира от революции. Лишь кассир, выплачивающий суммы, ему не принадлежащие.

Материальным погашением долга народу отнюдь не исчерпывалось служение идеалу. Мечтая о социальном переустройстве, озаботься устроением собственного «я». Добровольная бедность, к которой ты стремишься, лишь вспомогательное средство. Отламываясь от сословия ликующих, перережь все сокрытые тонкие нити. Отщепенец-неофит, оставайся настороженно-недоверчивым к самому себе: не дрогнула ли душа? И держи бессменный надзор: не задремал ли часовой?

Седьмое августа, вторник

1

Не дремал часовой у глухих тюремных ворот. И тот, что торчал на вышке, похожей на каланчу, тоже. Впрочем, подполковник Сендецкий не замечал ни часовых, ни выбеленную известкой стену, ни зарешеченные окна: Сендецкого поглощала излюбленная работа — выдержка.

Нынешним утром бригадный адъютант известил: первое — в пятницу надлежит выставить батальон для участия в обряде смертной казни; второе — в субботу имеет быть смотр. Смотр был делом привычным; участие в обряде — непривычным. Больше того, неприятным. За всю службу Сендецкий ни разу не играл роль полицейскую, мало приличную боевому офицеру. Зато вот что было приятно: ненастье, кажется, заканчивалось. Солнце нет-нет да и слепило и брызгало сквозь тучи; крыши, тротуар, мостовые дымились. Непогода мешала упражнениям. Правда, двухчасовые проездки не следовало прерывать и в дождь, но и проездки пришлось отменить из-за этих судебных заседаний в казарме № 5. Но сегодня, во вторник, ничто не помешает Сендецкому оседлать своего распрекрасного Барса.

В первый миг, завидев хозяина, Барс скосил обиженный, влажный глаз. Сендецкий протянул ему кусок сахару, извинился за долгое отсутствие: «Ну, ну, прости, брат...» Конь,

помедлив, приложился губами к ладони Сендецкого. И это теплое, мокрое, нежное прикосновение, этот запах ухоженной чистой лошади, земли, деревянных скамей ипподрома сразу отодвинули в сторону все полковое и будничное.

Начиная выдержку, подполковник пустил Барса обыкновенной рысью — триста шагов в минуту. (Пойдет хорошо, пустит и полной рысью — четыреста в минуту.) Барс взял плавно, отлично чувствуя седока, как и седок чувствовал Барса, и теперь единственной заботой Сендецкого было то, чтобы Барс выносил задние ноги как можно дальше следа передних. Надо было дать коню как следует вымахаться, не нарушая притом правильности хода и не обнаруживая излишней торопливости. Бег был жестковат, как бывает после поливки дорожек, Сендецкий и Барс это ощущали, однако, стосковавшись друг по другу, не придавали значения такой малости.

Барс отменно выставлял ноги с короткими бабками и небольшими твердыми копытами, мягкие, длинные щетки мерно колыхались. Барс знал, как ему следует подойти к выпускному столбу. А потом, поворотившись, он опять почувствует деликатные шпоры, приглашающие к обыкновенной рыси.

Сендецкий видел стену, выбеленную известью, ворота, затворенные наглухо, ряд зарешеченных окон, но тюрьма не отвлекала его от работы, от выдержки. И только заканчивая упражнения, довольный конем и собою, уже возвращаясь к ипподрому, он обернулся и не рассеянно, не машинально взглянул на тюремный замок. И подумал о нигилистке, об этой Марии Кутитонской. Завтра, в среду, генерал-губернатор Тотлебен рассмотрит решение военного суда. Ну что ж, спокойно решил Сендецкий, все образуется, то есть не то чтобы будет совсем хорошо, но все ж не пятнадцатилетняя каторга, а совсем хорошо и быть не может, надо платить за разбитые горшки.

Барс отменно выставлял ноги, мягкие щетки плавно колыхались. Прекрасные сухожилия, подумал подполковник и улыбнулся, вспомнив, как в Бессарабии, квартируя в Бельцах, высмотрел Барса на тамошней знаменитой ярмарке.

2

Из окна своей камеры палач следил за всадником. Ишь, балуется барин — то бегом, то шагом. А ты бы, ваше благородие, по улицам прокатился. Здеся что? Глушь, как у нас, на Москве, на Ходынском.

На волюшке жил Фролов за заставой, у Петербургского щоссе, а служил кухонным мужиком в подгороднем ресторане «Стрельня». К лошадям, стало быть, касательства не имел. А кучеров, конечно, знавал. Привозили-увозили гостей, ждали и на морозе, и под дождем. Сунутся черным ходом, спросят чайку погорячее, Фролов не отказывал, по человечеству надо, к тому ж и лишний алтын карману не в тягость. Кучерам Фролов не завидовал: велика, что ли, радость день-деньской на облучке трястись? Но сейчас ощутил он телесную потребность в быстром движении. Привипелся ему Петровский парк: на Маслену катаются господа и дамы, все в снежном дыме, кони прекрасны, кровь в жилах гонкая, «ай, ожгу, берегись...». Над Скаковым полем бежали тучи, по Скаковому полю бежала лошадь, всадник был в нею слитен, Фролов смотрел из окна, владела Фроловым охота к перемене мест. И когда всадник уехал, когда поле опустело, вздохнул палач тоскливо.

- Хрыч, а хрыч, позвал он, не зная зачем.
- Чего тебе?

Фролов сразу озлился:

— Не тычь, еще всякий будет тут...

Трюхлый захлопнул форточку. Фролов удивился: за глоток осмелительного хрыч всегда хвостом вилял, а вот поди-ка, вроде обиделся.

Вчерашним утром Трюхлый веселыми ногами домой отправился, а дорогой-то и встретил давнего приятеля. Чегото Агап там на бойне спроворил, при деньгах обретался. Зашли. Поначалу любо-дорого сидели, а после Агап, сучий сын, давай приставать и смеяться: «Эх, Трюхлый, Трюхлый, был ты честным бойцом на бойне, а теперь пес на цепи, гам-гам, ав-ав». Трюхлый терпел, усмехался, но когда Агап — и откуда, сучий сын, прознал? — ляпнул про то, что бывший честной боец палача облизывает, тут треснула душа, ну, и по сусалам-то друга-приятеля, аж брызнуло. Не в том, конечно, дело, что Агап, здоровенный, оттрепал на все корки, а в том, что правду-матку глубоко вогнал. Проспавшись, чувствуя ломоту во всем теле, языком толкая зашатавшийся зуб, Трюхлый явился укарауливать, но Агапова насмешка гвоздила его. Вот он и был не в себе.

Фролов снова окликнул надзирателя. Тот не отозвался. «Ну, ты у меня теперь горячительного не дождешься», — погрозил Фролов. Наступило молчание. Палач, сидя на койке, ковырял в носу. Надзиратель, сидя на табурете, побарабанивал пальцами по медной ременной бляхе. За

окном то яснело, то хмурилось, дрожащие полосы и блики возникали и пропадали.

 Слышь, они чего тут, навыпередки, что ли, скакакот? — спросил Фролов, мыслью возвращаясь к наезднику.

Трюхлый, как бы предчувствуя возможность досадить палачу и вроде бы поквитаться с Агапом за «целование задницы», ответил:

- Скачи не скачи, а на салган прискачешь.
- Как так? удивился Фролов.
- И лошадей, брат, туда же.

Фролов представил давешнего гнедого с высокой шеей, ноги его, работавшие словно машина, всю его стать горделивую и, представив, неприятно поразился, что и такого красавца могут забить на салгане, на бойне.

- Врешь!
- А ничего не вру, ничего не вру, заспешил Трюхлый, словно уже нащупывая, как он сейчас пырнет Фролова. И очень даже просто. Служит-служит конь, и державе служит, и мужику, а потом на бойню. Да только из нашего брата, из бойцов, никто не хочет. Конь все понимает, только сказать не может. Дрожит, из глаз слезы... Трюхлый дверь приотворил, стоял на пороге. Слезы градом сыплют. Ну, и никто из бойцов не хочет, с души воротит. Понимаешь?
- Как не понять, ответил Фролов, он очень все это живо вообразил. Жалко.
- Во-во, обрадовался Трюхлый и мстительно-веско присобачил: А тебе человека не жалко.

Фролов помолчал. Потом спросил:

- Сталоть, коня с бойни-то назад?
- Почему назад? Непременно один такой сыщется.
- Какой? Фролов, не мигая, уставился на Трюхлого.
 Говори!
- И скажу, скажу, чего уж. Надзиратель отступил, запер дверь и оттуда, из-за дверей, выпустил как жало: Аспид такой, зверь такая.

Мысленно торжествуя над сукиным сыном Агапом, Трюхлый ждал, что теперь будет, и нельзя сказать, чтобы ждал со спокойствием отваги. Палач, однако, даже и матерно не обругался.

Блики на стене и на полу возникали и, съеживаясь, пропадали. Слышались вскрики маневрового локомотива, звучное, железное лязганье, хриплый рожок стрелочника.

- Хрыч, а хрыч...
- Чего тебе?

- Долго мне здесь, а?
- Недолго, ответил Трюхлый.

Он хотел было прибавить, что вешать Фролову не одного и даже не двух, а пятерых, но, прильнув к волчку, встретив тоскливый взгляд палача, не прибавил, ощутив, как пошли на убыль и заочное торжество его над Агапом, и мстительное чувство к палачу.

— Народишку-то много прихлынет, а? — Фролов знал, что к месту казни тьму-тьмущую натянет, а спросил, как спрашивают, тяготясь молчанием.

Трюхлый оживился, головой покрутил, прижмурился:

У-у-у, Ваня...

Он потерся лопатками о косяк дверей и, указав подбородком на окно камеры, туда, где в лужах лежало Скаковое поле, стал не то чтобы рассказывать, а будто б развлекать Фролова, и уговаривать, и прельщать.

— У нас тут, Ваня, оченно хорошо, место воздушное. На Пасху, брат, куда-а-а: и балаганы, и качель, что ты! А то вот в нынешний год на Пасху оченно интересно. Я сто раз слухал, вот и встряло... — Трюхлый сунул палец в ухо и потряс: вот, мол, как встряло, не выковырять. — Тут объявился ярославец, пребойкая шельма, поддевочка в талию. Выставил ящик, ножки высокие, и там у него, в ящике, хитрые стекла такие. Через них-то, через стекла, зыришь — и что ж, думаешь? Ах Боже мой, и башни, и море, и деревья. А ярославец сыплет, сыплет — и в лад, и в склад. За показ, понятно, деньги берет, а так слухай, сколь хошь: Вот в Царьграде султан сидит на ограде... Город Мадрид, Гишпания. Гишпанский публик не русский, головы имеет узкий... Вот город Вена, где живет красавица Елена... Вот один франт, сапоги в рант, брови колесом, подле носа папироса... Вот кучера завиты, а глаза подбиты...»

Фролов улыбался, как маленький.

3

Жандармского полковника Кнопа тревожили «настроения» и «проявления», а градоначальника Гейнса — «устроение» и «осуществление»: на нем была вся, так сказать, техническая сторона дела. Представительный мужчина с вывороченными губами фавна и вечной мятной облаткой за щекой, он в эти дни особенно чувствовал тяжесть шапки Мономаха.

Очень беспокоил Гейнса один неясный момент обряда смертной казни. Тот, о котором Кноп на совещании в своем управлении высказался приватно. Ну-с, жандармскому полковнику вольно было собственное суждение иметь, а ему, градоначальнику, нельзя, никак нельзя попасть пальцем в небо.

На сторонний взгляд и мудрить нечего. На сторонний взгляд и разницы нет — «ввергается» или «погребается». Так ведь то на сторонний взгляд, а если вникнуть, то и выходит претонкое обстоятельство.

В прежнем законоположении трактовалось ясно: труп ввергается в яму подле места казни. В нынешнем, хотя и сохранившем смертную казнь, в нынешнем отразились либеральные веяния и посему ни звуком не оговаривалось, ввергать ли труп в яму или погребать на кладбище. Вот и терзайся.

Генерал вчера вечером кинулся к тайному советнику Панютину. Помощник генерал-губернатора по гражданской части глянул на представительного мужчину, как на олуха царя небесного: «Ввергается, генерал. Никаких погребений!» Однако письменного распоряжения не дал. А градоначальник, как и жандармский полковник, хорошо знал, что в Петербурге, в верхах, еще только обдумывали на сей счет циркуляр. Вот и выходило, что очень даже и возможно ткнуть пальцем в небо.

Градоначальник вопросительно и как бы с призывом помочь взглянул на Зубачевского. В душе коллежского асессора шла борьба мотивов. В силу некоторых неслужебных соображений чертовски хотелось, чтобы Гейнс сел-таки в лужу. В силу же соображений служебных хотелось выказать ловкость. Последнее победило, и смотритель тюремного замка предложил приготовить и яму для «ввержения», и могилу для погребения, а там-де, в последний-то день, может, и подоспеет петербургский циркуляр.

— Соломоново решение, — просиял генерал. — Соломоново решение! — И, полагая, что шутит галантно, ничего лучшего не нашел, как распространиться о необыкновенных умственных способностях, присущих и коллежскому асессору, и милейшей Людмиле Сергеевне, коллежской асессорше.

Приступая к исполнению поручений градоначальника, Зубачевский поехал на Ремесленную улицу, к гробовщику. Гробовщик, вчера сильно насандалившийся, выслушал Зубачевского с профессиональной печалью на испитом лице с

жесткими усами, напоминавшими кран умывальника — один ус вверх, другой книзу.

Выслушал и давай финтить: никак, мол, не возьму в толк, чего требуется? Гроб есть гроб, а не какая-нибудь тара. Дело делается с отделочкой а не тяп-ляп. Ежели их благородие изволит подешевле, то это возможно, а только никак невозможно, чтобы ящиком.

- Призма! повторял гробовщик торжественно, с оттенком мечтательности. Как есть призма, ваше благородие.
- Да пойми ты, пойми, досадовал Зубачевский, растопыривая и выставляя три пальца: Оптом!
- Это мы, ваше благородие, видим и в расчет принимаем. А только никак нельзя: призма!
 - Да хоть трапеция, а ты не дери втридорога!

Знать болван не хотел, что их благородие получил в градоначальстве точный перечень расходов. Что же, это ему, Зубачевскому, от себя, что ли, приплачивать? А тут лаком сладко воняет и стружками, строгают, пилят, тут гробы и гробики, все возрасты покорны, и венки, и черные сетки, и факелы, как палицы, в углу.

- Теперича дальше, продолжал мастер, пропуская мимо ушей упрек в дороговизне. А дальше, ваше благородие, нутряная обивочка. Это как?
- А никак! отрезал Зубачевский и передразнил: «Оби-воч-ка».
- Обивочку, ваше благородие, сделаем самую плохонькую. Опять же — подушечки...
 - Скотина! с сердцем уронил Зубачевский.
- Для скотины, ваше благородие, гробов не требуется, рассудительно замкнул хозяин. А ежели не скотина, то и выходит... И пошел гвоздить, пошел гвоздить свое.

Зубачевский вдруг рассмеялся:

— А прах тебя возьми! Не ты один в Одессе.

Вот это-то давно надо было объявить: гробовщик уступил, в цене сошлись. Зубачевский направился к дверям. Гробовщик спохватился, даже кулаком по лбу стукнул, дескать, надо ж забыть: «А мерочки? Мерочки, ваше благородие!»

Зубачевский не то чтобы не понял. Нет, понял, но на минуту смешался и опять, как давеча, когда он надумал приманить смертника надеждой на смягчение приговора, опять в душе нехорошо и скользко шевельнулось что-то.

А-а, — сказал он, — мерочки, говоришь...

Все трое (двух-то, матроса и еврея, повесят в Николаеве, не его забота), все трое, как по ранжиру, вообразились

коллежскому асессору: Лизогуб, Чубаров, Давиденко. Фу, дьявол, мысленно встряхнулся тюремный смотритель, и с чего это ты разрюмился? Встряхнувшись, он определил рост самого высокого из троих — Лизогуба, сказал строго:

— Валяй одинаковые, по два с половиной аршина. — И натянуто усмехнулся: — Тебе облегчение, все на один манер. А ты содрать норовил.

И опять усмехнулся, но уже на улице: «Мал почин, да дорог» — и с удовольствием, как отдыхая, заметил будничную обыденность — прохожие, овидеопольские волы с возами пшеницы, провизор в окошке, коляски, афишная тумба — в первом отделении квартет Земель, во втором хор московских цыган. Не худо бы и стаканчик пропустить.

В сумрачном погребке грузный итальянец обтер руки передником и нацедил красненького. Зубачевский выпил, не садясь, потом выпил второй и подумал о Пиф, хорошо бы сейчас ее увидеть. Дудки! Пропасть забот, успевай поворачиваться. Завтра, в среду, генерал-губернатор Тотлебен конфирмует приговор, как черту подведет. Да-с, черту, а выше той черты — столбиком — перечень дел и расходов, составленных в канцелярии градоначальства. Тут все сцеплено, все одно за другим — и болван гробовщик со своими призмами, и плотницкая артель, чтоб помост и виселица, и могильщики, чтоб и имена, и могила на Христианском кладбище, и эти досочки, как вывески, «Государственный преступник», каждому из троих по досочке, и смоленая пеньковая веревка. Веревка, да-с. Мошенничают, канальи! Возьмут низшего сорта, продерут капустным листом — и готово, зазеленела, будто свежая и сорта высшего. Мошенники! Норовят всучить лежалую, смолой траченную. Ну, гладкость, чтоб незанозисто, это наплевать, это значения не имеет, а главное, чтоб крепкая, чтоб груз выдержала... И Зубачевский, отзвенев монистами по мраморной стойке, деловито вышел из погребка.

Домой он возвращался усталый. Зато дело-то ходом пошло. Все бы хорошо, когда б не вечные опасения как-нибудь, чем-нибудь не потрафить жене. А хуже того то, что он, пожалуй, опять не застанет дома Людмилу Сергеевну: в последнее время она подозрительно часто пропадает у своих многочисленных знакомых.

Людмила Сергеевна была дома. Глаза ее были томными. Зубачевский, обрадованный, поцеловал ее руку, потом лоб. Запаха мятных облаток он не почувствовал. В этот же день штабс-капитан Адан поехал к отцу Виссариону, дабы исполнить деликатное поручение полковника Кнопа.

Тут опять, как и в проблеме — ввергать в яму или погребать в могиле, обнаруживалось тонкое обстоятельство: возможно ли совершать над казненными христианский обряд, установленный нашей православной церковью для погребения мертвых?

Но если градоначальник терзался отсутствием циркуляра, то Синод еще минувшей весною уведомил и священство, и светскую власть, что «самое место казни, приобретая позорное значение для имени казненного человека, не может служить приличным местом для свершения церковной молитвы». Однако в то же время Синод находил, что учением и правилами православной церкви не воспрещается церковная молитва за казненных преступников. Вот отсюда-то и проистекало деликатное поручение.

Нет-нет, отец Виссарион отнюдь ни в чем не подозревался жандармским управлением. Но был, однако, казус. Давний, при казни уголовного, еще до разъяснения Синода, но был — отец Виссарион отслужил заупокойную по преступнику. И полковник Кноп счел за благо, чтобы с ним теперь побеседовал именно Вилье де Лиль-Адан, известный в городе не только как жандарм, но и как человек искусства, побеседовал в выясняюще-предупреждающем смысле.

Вчера еще охотно приняв это поручение, Эмилий Самойлович, направляясь к отцу Виссариону, испытывал смущение: его стесняла собственная чисто внешняя религиозность, а батюшка слыл большим докой по части богословии. Впрочем, не на диспут едешь, успокаивал себя Адан, с удовольствием замечая, что ненастье никнет и, кажется, вот-вот сменится прекрасной погодой.

Отец Виссарион, вздев очки, читал газету. На лондонской бирже, оказывается, царило настроение тихое, в Антверпене весьма интересовались льняным маслом, а в Марселе, увы, рынок вял, средние сорта пшеницы в пренебрежении... Коммерческая хроника вызывала у отца Виссариона легкую снисходительность к суете сует. Зато он аккуратно вырезывал заметки о состоянии одесского рынка: тут уж цель была практическая — облегчить попадье контроль над кухаркой. Дщерь матросской слободки, она вечно норовила обсчитать хозяйку, а попадья, справляясь с вырезкой, изобличала негодницу: «Ты почем телятину-то бра-

ла? Смотри: восемьдесят копеек!» Негодница, крестясь, твердила свое, но потом якобы случайно обнаруживала сдачу. Правда, и сам отец Виссарион, как многие одесситы, любил прошествовать на базар и там неспешно закупить провизию, но в нынешнее холодное, ненастное лето пришлось от такого удовольствия отрешиться.

Покончив с коммерцией, батюшка углубился в заграничные политические известия. Он прочел, что князь Черногорский едет на рандеву с австрийским императором и что в Неаполе состоялся митинг в пользу эвропейского разоружения. Отец Виссарион не был поклонником меча, но полагал, что явочные сходки, пусть и в пользу мира, допускать не следует. Теперь ему хотелось обдумать намечавшуюся отставку графа Андраши и назначение барона Геймерса, но тут-то и явился жандармский штабс-капитан.

Батюшка снял очки, запахнулся, извинился, что вот-де по-домашнему, а штабс-капитан в свою очередь извинился за вторжение. Адану сразу понравился и сам батюшка с его простодушным, но очень неглупым лицом и расплывшейся фигурой, понравилось, что в доме было опрятно, фикусы были и кошка, книги были и калужская канарейка, из тех, что поставлял одесситам Полотняный завод, а пахло финиками, колониальными специями, и Адан мельком подумал, что написал бы этот интерьер карминлаком в спокойном сочетании с голубым.

Адан осторожно объяснил причину своего визита. Батюшка, резко двинув локтем, обронил на пол ножницы, которыми только что расправился с «Новороссийским телеграфом». Тяжело задышав, он молча отер платком свое полное, добродушное, сейчас сильно побледневшее лицо.

- Простите?.. молвил он вопросительно. Адан назвался. Так вот, Эмилий Самойлович, все в зависимости от того, где похоронят несчастных. Если рядом с ужасным орудием умерщвления, то я повинуюсь разъяснению святейшего Синода.
 - А если на кладбище? обеспокоился Адан.
 - Запрещение Синода относится только к месту казни.
- Не скрою, батюшка: отпевание на кладбище даст повод к нежелательному сборищу. Особенно нежелательному в наше тревожное время. Люди неблагонадежные воспользуются случаем: представят преступника мучеником убеждений, страдальцем за народ и прочее, прочее. А между тем казненные... то есть те, которые будут казнены... они ж, батюшка, вы понимаете... Да ведь и в Библии: кто прольет кровь человеческую, и его кровь прольется. Вооб-

ще — извините самонадеянность — вообще, мне кажется, что, основываясь на Библии, невозможно отвергать смертную казнь.

Отец Виссарион сидел, опустив голову, густая, с обильной проседью борода лежала на его груди широким веером. Ответил он задумчиво и строго:

- На Ветхом завете основываясь, нельзя отвергать, это справедливо изволите. Но как христианину должно вдуматься в толкования учения Спасителя нашего. Христос нигде не признал смертной казни.
 - А это «взявшие меч»?

Отец Виссарион тихо улыбнулся и тихо рукой повел, рассеивая наивное заблуждение штабс-капитана:

— Меч лишь образ. Образное выражение.

Адан, однако, нашелся:

— Ах, батюшка, да ведь Христос-то ни словом не возразил, ни жестом не восстал против казни, назначенной государством.

И отец Виссарион опять тихо рукой повел.

— И все же учение, основанное на принципах любви, великодушия и всепрощения, отрицает смертную казнь. Все духовные лица, Эмилий Самойлович, единым гласом свидетельствуют ужас сопровождения осужденного на эшафот. Ты шепчешь... — Отец Виссарион умолк на минуту, волнение его передалось Адану. — Ты шепчешь, — продолжал батюшка, — слова сострадания и благочестия, а в ответ немой вопль: «Если Христос прощает меня, зачем же меня убивают люди, исповедующие христианство?»

Адан не очень-то внятно заметил, что такова, мол, обязанность служителей алтаря, действительно тягостная.

- А сан, а святость религии умаляются в глазах народа от этого вот твоего присутствия на месте казни. По правилам вселенского собора, это еще при Тишайшем, знаете что? А то, сударь, что священники должны посещать приговоренного за день или два до казни. И посему, бесспорно, освобождаются от присутствия среди мирской власти у эшафота. Ведь особенность взгляда нашей церкви в том, что наказание не месть, а исправление.
 - Но у нас, батюшка, война, а на войне...
 - А на войне убивать пленных не варварство ли?
- А вот они-то, батюшка, преступники, и убивают пленных. Молодого человека, из своих же, объявили шпионом, стало быть, вроде уже и пленный, уже ничего не сделает, коли ославили, так нет: кастетом, кастетом, а потом кислотой!

- Не ведают, что творят, печально отозвался отец Виссарион.
- Отлично ведают, горячо возразил Адан, простите меня, но вы далеки от практической жизни, реальной, и вы не можете даже представить, какая угроза России...

Отец Виссарион внимательно посмотрел на плоского, костлявого офицера в голубом мундире, на жесткие соломенные волосы, падающие на лоб, на руки, худые и нервные, с коротко обстриженными ногтями, посмотрел внимательно и сказал, наклоняясь:

- Среди осужденных есть Лизогуб, отдавший все свое богатство. Он-то чем страшен, Эмилий Самойлович? Какая в нем угроза?
- Он? переспросил Адан, будто споткнувшись. —
 Тут, знаете ли, я не могу, по долгу службы никак не могу.
- А я вам по долгу совести, проговорил отец Виссарион значительно. Он тем и страшен, что его проповедь равенства и человеколюбия куда убедительнее, чем та же проповедь, но из уст нищего. Вот он чем страшен, а ваши «по долгу службы» теперь вы меня извините это уж дело десятое.

В словах отца Виссариона слышалась Адану правда которая была и значительнее, и важнее, и неизмеримо весомее служебных соображений, та правда (как сейчас казалось Адану), которую все они чуяли, но отгоняли и во время дознании, и в дни судебного процесса. В этой точке возражений у Адана не находилось, он пожал плечами:

- Как хотите, батюшка, но мы, люди практики, мы, если угодно, в состоянии самообороны.
- Понимаю. При самообороне и убить можно. И закон за это милует. Я не ошибаюсь? Вот-вот, так. И ежели вы, Эмилий Самойлович, вы убъете... на вас нападут оружной рукой, вы и убъете вас милуют. Но разве государство... Отец Виссарион простер ладони и широким округлым движением изобразил что-то огромное, очевидно державное и могущественное. Разве, спрашиваю, государство находится в состоянии самообороны? Ведь момент-то обороны уже упущен. Стало быть, упущено и право на законное сопротивление. Стало быть, захватив преступника и обрекая его смерти, мы с вами становимся уже хладнокровными, умышленными убийцами. То есть что же? А то, что нарушаем уже не только дух и смысл Христова учения, а дух и смысл уголовного законодательства.

Мысли Адана путались, этот священник совершенно сбил его с толку. И отец Виссарион, будто пожалев штабс-капитана, объяснил попроще:

- Вот, представьте, вы на меня напали, а я, не будь плох, заломил вам руки да и связал. А потом постоял-постоял да и выпустил из вас кишки. Кто я после того? Цинический убийца! Ну, а мы с вами, лишив преступника свободы, это что? Это мы его связали, потом судим-рядим и... и...
- Устрашение! почти вскричал Адан. Чтоб другому неповадно! Устрашение необходимо!
- «Устрашение», усмехнулся отец Виссарион своей тихой усмешкой. Ох, Господи, Эмилий Самойлович, да неужто вам неведомо, что есть такие струны в душе человеческой, звучание которых заглушает и самый страх смерти. Их много, не одна такая струна: и любовь к отечеству, и честолюбие, и религиозное воодушевление... Первых-то христиан сколь устрашали, а? Но победило-то христианство. Мученичеством победило, Эмилий Самойлович. О, помилуйте, нисколько не сравниваю, как можно! Убеждения социалистов ложны, но устрашение, но казни, но месть... Он скорбно покачал головой.

Штабс-капитан развел руками:

— Закон, батюшка, не прейдеши.

И странно: ничтожным, банальным выпадом нанес он чувствительный удар.

— Гармонии нет, — проговорил батюшка едва слышно и с каким-то мучительным придыханием. — Между законами церковными и законами светскими вопиющее противоречие. Гармонировать должны, а гармонии нет, закон церковный приноравливают к светскому...

На Кузнечной, в жандармском управлении, владело Аданом смутное состояние, словно бы запутался, сбился, но вместе и не хочет выбираться на прежнюю торную дорогу, а где иная и какая она, не знает и, кажется, знать не может.

Он доложил полковнику лишь то, что священник не станет вершить требу на месте казни, однако в случае кладбищенского погребения весьма возможны и панихиды, и сборища. Полковник удовлетворенно кивал: он, Кноп, как раз и настаивал на том, чтоб казненных ввергли в яму, а не предали, как всех честных людей, освященной кладбищенской земле.

Вилье де Лиль-Адан едва дождался конца служебного дня. Дома он нашел картонную коробку, присланную из магазина Савича, — ватманская бумага и кисти.

Бумага оказалась такой, какую он ждал: отменная плотность в соединении с достаточно жесткой шероховатостью. А кисти были куньи, прекрасные кисти. Адан опустил их в воду и сильно встряхнул: короткие волоски хорошо заострились. Они не были мягкими, эти куньи кисти, они были упругими.

Эмилия Самойловича оставило давешне смутное, неопределенное и тягостное расположение духа. Он был готов к работе на открытом воздухе, на пленэре. Только бы не простудиться, боязливо подумал Эмилий Самойлович.

5

Ласковая томность коллежской асессорши настроила радужно коллежского асессора. Подозрительность как рукой сняло, и ему вообразилось, что отныне устанавливаются совет да любовь, что он, Зубачевский, никогда, никогда, никогда не будет иметь никакого, никакого, никакого повода для ревности к этому Гейнсу.

Настроенный радужно, смотритель в час вечерней поверки направился к Болотову. Было немножко совестно перед старым приятелем, бывшим секретарем градской полиции. Во-первых, опасаясь внезапной панютинской ревизии (не совсем, впрочем, внезапной: Зубачевский был извещен о ней доброжелателями из канцелярии тайного советника), пришлось временно лишить Виктора свиданий с мадам Ложечкиной, свиданий, происходивших очень и очень прилично — в смотрительском доме-флигеле, близ ворот внешнего тюремного двора. Во-вторых, пришлось опять же временно — переместить Виктора из очень хорошего, сухого и чистого «дворянского нумера в другую камеру, тоже дворянскую», но похуже, где Болотов вот уже две недели находился не один. Правда, пан Лепинский занятный собеседник и знаток карточных игр, но, согласитесь, благородным людям удобнее ходить друг к другу в гости. Конечно, Болотов понимал, что ему, Зубачевскому, предписали, как и где устроить заплечных дел мастера, прибывшего в Одессу по вызову генерал-губернатора. этото Болотов, конечно, понимал, а все-таки немножко было неловко перед старым приятелем. Вот ведь совсем недавно почти всемогущ был, а теперь — в несчастье, с каждым может случиться, все под Богом ходим.

Красавчик Болотов, надо сказать, хотя и немножко досадовал на неудобства, вызванные и предстоящей ревизией, и содержанием в тюрьме опасных государственных преступников, подлежащих казни, однако не так уж и скучал.

Из всех кандидатов в соседи он сам выбрал пана Болеслава Лепинского. Да и как иначе? Велика ли, скажите, радость вот хотя бы от частного поверенного Марушевского? Эдакая телятина! Совершил несколько подлогов, а теперь безутешен, как гимназистка, потерявшая драгоценную девственность. Попался — это худо, это дрянь. Да и другие — такая, право, шушера, что и руки не подашь. Какая-то собачья покорливость. Плачутся в жилетку: погубили-де меня родственники-интриганы, попался-де в сети нечестных чиновников. Пустельги! Взгляните, господа, на пана Болеслава: орел! В дым разорен, с векселями пришлось мухлить, не всякий день в чубуке табак, а он — стать и гордость.

Красавчик Болотов перегибал: ни «орла», ни «стати» не было, а был редкостный морж — исхудалый, пергаментный, в длинных шляхетских усах. Но вот что вернее верного: большие тысячи спустил пан Болеслав. В Подольской губернии простирались некогда родовые отставного поручика Лепинского. И все просадил с блеском и громом, есть о чем вспомнить.

Болотов развешивал уши, у Болотова блестели глаза. Пан Болеслав обкатал всю Европу, долго жил в Париже. Он танцевал в Тюильри и видел испанку Монтихо, супругу Наполеона III; в роскошном алькове он обнимал графиню... не будем называть ее имени; в кустах элегического Буживаля шалил с гризетками; в фешенебельных игорных домах, где бледные несчастливцы, пригубив бокал ледяного шампанского, приставляют ко лбу теплое дуло пистолета, о, в игорных домах пан Болеслав ставил сумасшедшие ставки... Потрясая кистью руки, пан Болеслав досказывал длинными пальцами то, чего не умел выразить словами, и Болотов тосковал: «А я, дурак, отдал лучшие годы этим провинциальным курам!»

Вставали поздно: «дворянским» камерам режим не писан. Гуляли отдельно от арестантской шпанки. Шпанка косилась на них угрюмо, но и выжидательно: не будет ли каких приказаний?.. Потом романы читывали иль резвым ногтем рвали бандероль карточной колоды. Перед отходом ко сну беседовали.

Дело Юханцева, кассира Общества взаимного поземельного кредита, растратившего в Петербурге два миллиона, представляло для собеседников интерес чрезвычайный: кассира-удальца приговорили всего-навсего к ссылке в места не столь отдаленные. Присяжный поверенный ясно высве-

тил виновность не Юханцева, а «нашего юханцевского времени» — золотая молодежь, звон ресторанных бокалов, хоровое цыганское: «Эй, вы, улане!» А страсть к прекрасному полу? Дьявольски умно парировал адвокат: эта страсть, господа, кружила голову не только кассирам, но и королям, и тогда опустошалась не какая-нибудь частная касса, а казна!

Балотова с Лепинским занимало и дело, только что рассмотренное Одесским военно-окружным судом; занимал и другой мильонщик, приговоренный к смертной казни. Но тут обнаруживалось у них разногласие.

Доктрина Болотова сводилась к следующему: мужская половина рода человеческого (женская исключалась) состоит из двух видов — умеющих жить и не умеющих жить; первые, большинство, люди умные, хотя подчас и мерзавцы; вторые, незначительное меньшинство, одержимы химерическими замыслами, а посему обречены гибели, согласно законам природы.

По чести сказать, пан Болеслав находил в этой доктрине известный здравый смысл. Но в шляхетской душе пана Болеслава бродила закваска старинного романтизма, питавшая его неистребимое презрение к здравому смыслу. К тому же военный суд разбирал дело политическое. А политику пан Болеслав считал занятием благородного сословия. Правда, политикой занялись и не дворяне, но тон все-таки задавали пензенский помещик Чубаров и отпрыск известной малороссийской фамилии. Из них двоих особую симпатию пана Болеслава возбуждал Лизогуб. Болотов понять этого не умел.

- Где уж вам, фыркнул пан Болеслав. Лепинскому претил бывший полициант.
- Где уж вам, фыркнул пан Болеслав, но сдержался, памятуя о карточном долге. Понимаете, Лизогуб пошел ва-банк. Жег свечу с двух концов! И к чертям скаредность плебса, к дьяволу скопидомство буржуа! Вы скажете: банк сорван! Такова планида, и я, Болеслав Лепинский...

В ту самую минуту вошел, улыбаясь, Зубачевский. Пан Болеслав осведомился:

- Нет ли известий? И длинным пальцем указал на пол туда, где через этаж, в полуподвале, находились секретные казематы.
- А-а, вы вот о чем, несколько кисло отвечал Зубачевский. Какие ж известия нынче? Завтра. И даже не утром, а во второй половине дня, если не к вечеру: господин генерал-губернатор в отъезде. И, желая поскорее

переменить разговор, ернически мигнул Болотову: — «Вул-кан» пылает...

«Вулканом» он стал называть мадам Ложечкину после того, как Болотов однажды сказал, что у нее «вулканический бюст».)

Болотов вздохнул:

— Как жаждешь овеяться ароматом греха.

Зубачевский, все еще радужный, опять улыбнулся и подумал: «Виктор положительно поэт любви».

- Скажите, как он? не без строгой важности повторил пан Болеслав.
 - Кто «он»? поморщился Зубачевский.
 - Лизогуб.
- Эка, дался, совсем уж недовольно произнес коллежский асессор.

Болотов, играя бровью, объяснил:

— Пан Болеслав находит в Лизогубе нечто романтическое, а я — одно юродство. Вот у нас и размолвка.

Зубачевский зашел, собственно, не к этому пергаментному моржу с вислыми усами, а к Болотову, зашел поболтать, и у него не было ни малейшей охоты к рассуждениям о государственных преступниках вообще, о Лизогубе в частности.

— Какая ж размолвка, господа? — поскучнел коллежский асессор. — И размолвки-то никакой быть не может.

Пан Болеслав опять фыркнул: этому стрюцкому тоже не понять, как и полицианту, — одного поля ягоды: один обирал бордели, другой ворует арестантские порционы, керосин и дрова. Зубачевский почувствовал ясновельможный гонор. Усмехнулся:

— А знаете, господин Лепинский, ваш бывший холоп Загорулько всем посетителям рассказывает, какой его бывший пан... ну-с, какого вы, одним словом, дали маху.

Пан Болеслав поджал губы.

Да, действительно, бывший холоп явился позавчера на свидание к своему бывшему пану. Загорулько давно разжился и держал ресторацию. Прослышав, что пан Болеслав бедствует в темнице, он и пришел к воротам тюрьмы... Да, действительно, пан Болеслав нередко бедствовал: к казенному пойлу не притрагивался, получал деньгами (пятиалтынный в сутки), отсидев несколько дней на воде и хлебе, сэкономив деньгу, посылал за обедом в ресторацию... Ну вот, Загорулько явился на свидание и предложил бедному пану Болеславу даровой стол. А пан Болеслав, вспыхнув, швырнул колопу на чай полтинник и наградил пинком под

зад... А теперь, стало быть, жирный Загорулько потешается над отощавшим паном, а коллежский асессор, ворующий арестантские порционы, смеет... И почти не разжимая губ, в упор глядя на Зубачевского, пан Болеслав припечатал:

— Хлоп всегда останется хлопом. Даже и выслужив пворянство.

Зубачевский отвел глаза и, перемолвившись с Болотовым несколькими словами, ретировался.

Поверка закончилась. Тюрьма отходила ко сну. Она отламывалась от города и мира, погружаясь в августовские влажные потемки. Днем были хозяйственные заботы, перелачи, свидания, поездки арестантов к прокурору или в сул. возвращения от прокурора или из суда, и все это связывало тюрьму с внешней обыденностью. И даже если бы ничего этого не происходило, все равно при дневном свете сквозь тюремные стены любой толщины проникало бы ощущение вольной жизни там, за стенами и оградами. А сейчас тюрьма глохла, отламывалась от города и мира, ее связи с ними обрывались, и она, накренившись, огрузала в темноту и молчание. И уже дневное арестантское чувство то затухающей, то резко вспыхивающей тоски по воле сменилось иным, знакомым только заключенным, чувством едва ли не враждебной отрешенности от всего и вся, чем живы люди там, в городе и мире.

А пана Болеслава не оставляла мысль о Лизогубе, принявшая сейчас и вовсе направление странное. Вообразилась некая ответственность: старшего за младшего. И — выше, больше — сюзерена за вассала. Все эти загорульки и зубачевские, чернь, сволочь, скоты, стабунятся поглазеть, как наш брат, старинный, родовой дворянин, пляшет на эшафоте... И представилось на минуту, что не Лизогуб, а он сам шествует на казнь. Мрачно воспламенившись, пан Болеслав встал с постели и в одном исподнем сел к столу. Вот сейчас он напишет и велит снести туда, вниз, в секретный каземат. Надобно написать что-нибудь неотразимое и грозное. Напрягая память, Лепинский шевелил и прищелкивал длинными пальцами. Вывернулось: «Morituri te salutant»¹. Засим — и окончательно неуместное: «Mors civilis»². Пан Болеслав поник. Свесив усы, он уставился в пол, словно стараясь разглядеть, каково Лизогубу в смрадном полуподвале. Где было ему догадаться, куда уносят Лизогуба незримые крылья?

¹ Обреченные на смерть приветствуют тебя (лат)

² Лишение прав состояния (лат)

Путь был неблизкий, от вокзала до северного лондонского предместья. Стояла жара, остро пахло коксом. Коляски, омнибусы катили тесно, поблескивая стеклами фонарей, голова начинала кружиться, казалось, так и будешь ехать бесконечно, Бог весть куда.

Потом плотной зеленой массой надвинулся большой парк. Глаза жадно бросились на листву, но кэбмен уже катил, как в ущелье, между сомкнутыми кирпичными домами, высокими и узкими, винно-красными и прикопченными, словно дышал на них дракон смрадом и гарью.

Два года тому в ожидании встречи с Бакуниным у Лизогуба замирало сердце. Направляясь к Лаврову, он не испытывал робости. Разумеется, громадный ум, бездна знаний. Бывший артиллерии полковник, математик, сам Остроградский, гений или почти гений, говаривал: «Этот еще прытче меня!» Да, Петр Лаврович Лавров — «Исторические письма», издатель «Вперед!», все так, но ни восторга, ни робости: почтение, как к профессору от революции.

По деревянной лестнице навстречу Фесенке и Лизогубу сбегал, легкий, быстрый, худощавый, сбегал, не касаясь перил, сотрудник Лаврова — Смирнов, знакомый по цюрихскому лету, по цюрихской библиотеке. Лизогубу он был просто рад, Фесенке — очень рад: хор-рошую баню вы задали бакунистам!

Все так же легко, взлетая, провел к себе и, принимая саквояжики и подставляя стулья: «А что, камрады, деньгито привезли?» Он полагал, что Лизогуба с Фесенкой командировали питерцы, «чайковцы», «лавристы». И командируя, прислали подмогу, позарез необходимую редакции. А Лизогуб с Фесенкой приехали, что называется, сами по себе, партизанами, немногих в Петербурге известив о своих намерениях. Смирнов досадливо потер щеку. И прихмурился, услышав, что и корреспонденций для «Вперед!» эти визитеры тоже не привезли. Спрашивается, зачем же припожаловали, милые вы мои? Ежели на летние каникулы, то, право, для прогулок уж лучше выбрать остров Уайт... Пожалуй, лишь из вежливости он расспросил Лизогуба, ходко ль идет «Книжное дело». А потом сказал, что у него пропасть работы: из вороха газет он составляет хронику всемирного социалистического движения.

Нескладно все начиналось. Лизогуб был смущен. Фесенко, напротив, оставался невозмутим.

При виде Лаврова на Лизогуба пахнуло Русью: боярин. Не барин, а именно боярин: высок, статен, круглолиц, бородат, сед. На нем были бархатные полусапожки, и Лизогуб подумал, что у Петра Лавровича, часами сидящего за письменным столом, наверное, даже летом зябнут ноги.

Здороваясь, он не изобразил приветливость, принятую при знакомстве. Смотрел вдумчиво, чуть хмуро, без улыбки. Но холодом не веяло: величавая простота и серьезность. Голос его звучал внятно и сочно; широко прокатывая «р», так и слышалась усадебная Россия, несколько старомодная.

Но то было первое впечатление. Первое и краткое — Лизогуб вскоре понял, что натура у Петра Лавровича отнюдь не «усадебная», а европейски деятельная.

И точно, Лавров был тружеником — неустанным и методичным. Спозаранку садился он к письменному столу. Писал — разумеется, под псевдонимом — для русских журналов. В восемь утра служанка потрясала колокольчиком. Все здесь — и сотрудники, и печатники — харчились артельно. Напившись чаю, типографы отправлялись в наборню, в нежилой переулок с конюшнями и пактаузами. А Петр Лаврович возвращался в свою комнату — кабинет и спальня, в комнату, набитую книгами, и опять писал, но теперь уже не в подцензурные журналы, а для бесцензурного «Вперед!». Статьи писал и обзоры, правил корректуры... Завтракали все после полудня. Обедали по-английски — вечером. У Лаврова в его комнате, набитой книгами, и за полночь горел огонь.

Приезд неизвестных молодых людей неприятно удивил Петра Лавровича: ни рекомендаций, ни средств в поддержку издания, ни корреспонденций из России. Чего же они, собственно, хотят? А-а, они, видите ли, не считают себя уполномоченными чем-либо помогать издателям «Вперед!». И еще вот что: им, оказывается, необходимо потолковать со своими товарищами. Но позвольте, господа, отчего ж это не сделано загодя?.. Да и вправду ли стоит за спиной сих молодцов какая-то питерская организация? Уж не самозванцы ли, а? Да и обращаются-то они с вопросами о программе занятий, о списках необходимых книг. Это недурно. Но, право, так обращаются к человеку пусть и сведущему, но чужому... Ну-с, хорошо, можно поговорить о программе занятий... Э, вот этот Лизогуб слушает так, словно боится пропустить коть словечко. Сам же нем как рыба и, сдается, глуповат, прости Господи. А господин Фесенко, хоть и держится корректно, бубнит своим глухим баском.

— Согласен, Нетр Лаврович, совершенно согласен, говорил Фесенко. — нельзя довольствоваться лишь практикой. Это же только почтеннейший Бакунин с компанией полагают, что все перевернут, оставаясь невеждами. Но вы, Петр Лаврович, вы предлагаете слишком многое. Ей-Богу. нечто энциклопедическое! Тут долгий век нужен, Мафусаилов. А кому он из нашего брата на роду написан? Лва-три года бы продержаться, пока горло не перекусят, и на том мерси. Теперь с другой стороны возьмем: пропагандируемых. Вы. конечно, «Подлиповцев» покойного Решетникова помните? Ну, вот, этих-то его Пилу с Сысойкой довести до уровня образованнейших и высоконравственных, это тоже, извините... Нет, теория теорией, но и дело. Сочетать напо. Следовательно, что же? А то, Петр Лаврович, что пропагатора необходимо снаряжать, сообразуясь с его возможностями.

Это бы еще куда ни шло. Но «критическая жила» ох как давала себя знать: Фесенко пренебрежительно оценивал значение общины, общинной формы землевладения, да и — туда же, отмашкой — социалистические привычки крестьянина.

Петр Лаврович, однако, не мерил Фесенку презрительным взглядом, как некогда Бакунин. Петр Лаврович выслушал, не перебивая, ни грозы, ни бури, ни росчерков пера, брызжущего чернилами.

— Вот оно как, — молвил Лавров, перебирая рукописи. — Ну что же, спор, господа, есть признак жизни. Лучше спорить, нежели механически признавать. Без споров никнет дух.

А Лизогубу, никудышному диалектику, не хотелось спорить. Ему бы хоть до утра внимать, как Петр Лаврович сочным своим и внятным голосом, широко прокатывая «р», живописует картины будущего социалистического общежития, прибавляя: «Вот это, друзья, и следует изображать, пропагандируя в народе».

— «Картины», — хохотнул Фесенко, оставшись вдвоем с Лизогубом. — Ученый человек, поди, к пятидесяти, а малюет, как дитя.

Лизогуб вспыхнул:

- Ты невыносим, Иван! Все хорошо в меру.
- А я тебе, Дмитрий Андреевич, говорю: дичь и нелепость. Все равно, что шиллинги чеканить из лунного серебра. Общие положения принимаю, разделяю, согласен. Но подробное изображение будущего строя? «Картины»? Да откуда ж мы теперь, вот сейчас, откуда мы с тобою можем выяснить, какие конкретные формы, какие мельчайшие

штрихи примет будущее? Да и вообще какого дьявола серьезным людям строить воздушные замки? Э, нет, я не намерен сказки сказывать мужику или пролетарию.

— «Сказывать»?! — возмутился Лизогуб. — Увлечь,

выпрямить, поднять!

- Не увлечь, нет, объяснить. Тот, кто собирается ставить мельницу, должен изучить законы механики, а не талдычить: нету у меня времени, мне бы, мол, поскорее поставить мельницу, и баста.
- Твои «ренты-проценты» как засуха. Борьба огонь, а не цифирь.
- Без цифири не возгорится пламя, а есть и будет шальной красный петух в каком-нибудь поместье энского уезда. И только.

Лавров на другой день говорил примирительно:

— Й все ж в главном мы согласны. Много у вас, извините, путаницы, второстепенное принимаете за существенное, и наоборот. А в главном-то мы солидарны. Извольте, повторю по пунктам. Первое: социальный переворот. Далее: свершить его можно лишь всенародной силою. Третье: подготовлять к тому следует и народ, и революционеров. Из средств наших, это в-четвертых, решительно исключаются ложь, обман народа, разжигание несоциалистических склонностей...

И еще был сюжет трепещущий: журнал «Вперед!». Что стоил бы «Колокол», звони он только в Лондоне, у Трюбнера и К°? Конечно, «Вперед!» достигал пределов богоспасаемой империи. Но удары так и сыпались: часть тиража арестована, часть сгинула где-то там, в пограничных местечках, в корчмах и фурах контрабандистов. Удары двойные: сам по себе провал и труд насмарку, труд типографов, друзей Петра Лавровича, тех, кто, довольствуясь скудной трапезой, не знал роздыха в нежилом переулке с конюшнями и складами. И эта вечная тревога: не порвется ли тонкая цепочка хитроумно налаженной транспортировки? Русские коммерческие суда швартовались на Темзе. Русские моряки увольнялись на берег и, по обыкновению, тешили душу в ресторации «Капитан Холл». Туда, в этот бар. спешил кто-нибудь из сотрудников Петра Лавровича. Земляк земляка видит издалека. За кружкой портерного беседовали откровенно. Бывало и так, что матросы брались за доставку «Вперед!». Не потому ли, что один из наборщиков прежде сам был в мащинной команде, ходил рейсом Одесса — Лондон — Одесса?

Конспирации ради, оберегая от соглядатаев, случайных или не случайных, добровольцев-доставщиков не зазывали

в дом на Evershotroad. Но в один из тех дней, когда Фесенко с Лизогубом гостили у Лаврова, заглянул туда громадный матрос, истинный геркулес. Пригласил его, как давнего товарища, тот самый наборщик, что прежде, шуруя в топках, держал пар на марке. «У Логовенки, — сказал, — такой запас плавучести, сколь ни грузи, все равно не потонет». Неизвестно, знали ли типографы, что сие значит — запас плавучести, однако поняли: надежный человек этот Логовенко.

Было ему, наверное, за тридцать. Телесная масса не подавляла в нем дух, это сразу угадывалось, как и то, что Логовенко из породы протестантов. Херсонский мужик, крестьянин, он уже отбыл во флоте воинскую повинность, но в деревню не вернулся, плавал на судах Русского общества пароходства и торговли. Объяснил: приглядеться хочу, как в Европе, сравнить и прикинуть. Объяснил свободно, ни тени искательства — равный с равными. Фесенко так и приник к Логовенке, ни на шаг от матроса и очень жалел, что тезка торопится: через сутки-другие грузовой пароход снимался с якоря, Логовенко прятал в трюме, в угольной яме, плотные тюки лавровского журнала.

А Фесенку захватила идея, и Лизогуб, как не раз уж бывало, не без некоторого замешательства и горечи отметил свою «неповоротливость». Вот они вдвоем говорили с матросом, слушали матроса, и Фесенку осенила прекрасная идея, а он, Лизогуб, только глазами моргал. Идея заключалась в том, чтобы печатать у Лаврова брошюры для украинского народа на украинском языке и отправлять в Одессу, в Николаев, в Херсон с Логовенкой, с такими, как Логовенко, черноморскими моряками.

Петр Лаврович тотчас и охотно согласился: «Отличная мысль! Милости просим!» И предложил для почина главу из «Сказки о четырех братьях». Кое-какие изменения, быть может, необходимы, полезны, но самые незначительные. Не угодно ли приступить?

Угодно, дорогой Петр Лаврович, еще бы... И они взялись переводить сказку для народного чтения. Переводили с истовым усердием. Словно давно измучились жаждой да вдруг и набрели на яругу-овраг, где ключ, ручей, и вот черпали полными пригоршнями, переглядывались счастливо, пили, ополаскивали лицо, шею, плечи.

Но и в упоении родными звуками, в этом счастливом, отрадном чувстве не ослабела «критическая жила» — Лавров предлагал незначительные изменения, а Фесенко мно-

гое переиначил, начало и вовсе написал заново, и Лизогуб находил, что так надо и так хорошо.

Не остыв, не перечитывая, они, торжествуя, пришли в кабинет-спальню, к Петру Лавровичу пришли, и, улыбаясь, нетерпеливо ждали, пока он просматривал исписанные страницы.

Лавров сравнял стопочку страничек, положил на них пухлую ладонь, помолчав, сказал:

- Я понимаю, господа, первый опыт... но вы, кажется, делали нечто иное.
- Так ведь единственно из соображений ясности, Петр Лаврович, — пробормотал Лизогуб, краснея.
- Но я не могу принять ответственность за это издание. Не глядя на Фесенку, Лизогуб почувствовал, как наливается тот гневом, Лизогуб толкнул Фесенку ногой, но Иван уже говорил холодно и сухо, напрямик: почтеннейший Петр Лаврович не знает, да-да, не знает читателя, для которого они с Лизогубом переводили этот рассказ, не знает ни Украины, ни украинского простолюдина, а они знают, прекрасно знают и посему... Лавров остался спокойным. Он убрал ладонь с исписанных страниц. Его серо-голубые глаза смотрели мимо молодых людей. Он ответил твердо:
- Читателя и я знаю, господа. Но я не знаю малороссийского языка и не могу судить о вашем умении писать надлежащим образом.
- Это не аргумент! едва ли не угрожающе сказал Фесенко.
- То есть как же не аргумент, ежели человек занимается издательским делом? спросил Лавров и поднялся из-за стола. Покорнейше прошу простить, господа, но я, право, не нахожу нужным считаться с вашими капризами, вашим упрямством.
- Это уж вы напрасно, Петр Лаврович, обиделся Лизогуб. А Фесенко отрезал:
- В таком случае нам иного не остается... И он поклонился, даже и не то чтобы поклонился, а кивнул.

Лизогуб, неловко пришаркнув, переступив с ноги на ногу, пошел следом за Фесенкой. Оба понимали, что главное-то Петр Лаврович не высказал: ни репутации, ни рекомендации, как с неба свалились, и он, Лавров, не доверял им, котя, кажется, мог бы навести некоторые справки. Неприятно все вышло, нехорошо, неладно, и обоих потянуло вон из британской столицы с ее громом, острым запахом кокса и винно-красными строениями, словно облизанными смрадным драконом.

В щемящей и властной тяге домой было давешнее упоение родными звуками, чувство родниковой воды и счастья, духовной бодрости, с каким переводили на украинский сказку.

Вернувшись в Петербург, они остановились на Василевском острове, у знакомого студента. Квартиру не нанимали. Зачем? Они не задержатся в северной столице — домой, домой, домой... Но в зал Педагогического музея, конечно, пошли. Взяли билеты на Невском, в музыкальном магазине Бесселя, и пошли: пел старик кобзарь, исходивший со своей бандурой всю Украину, Остап Вересай, слепой, как Гомер, морщинистый и лысый, как Шевченко после солдатчины.

Они слушали Вересая, их глаза были влажными, Украина вставала перед ними — минувшая и нынешняя, с вольным своим казачеством, гайдамаками, чумаками, пахарями и плотогонами, осокорями, курганами, шляхами. Домой, домой, домой...

(А совсем неподалеку от Педагогического музея, от затаившегося зала, в здании у Ценного моста, при звоне шпор, в запахе сургуча и английского мужского одеколона, там, в Третьем отделении, твое «я» чернильно означается в бумагах и ты обволакиваешься сферой — незримой, но всепроникающей сферой дознания о преступных проявлениях, недозволенных мыслях, противоправительственной пропаганде. Некий дворянин по имени Георгий, по фамилии Трудницкий, студент, дружески встретивший коллег, становившихся проездом на Васильевском острове, Трудницкий этот почтительно сообщает: Иван Фесенко и Дмитрий Лизогуб изучали за границей социальные вопросы, а последний, то есть Дмитрий Лизогуб, сверх того предосудительно распоряжается своим наследством, весьма значительным.)

Отзвенела бандура, и умолк бандурист. Во втором отделении — артистка императорских театров госпожа Каменская. Не надо второго отделения — домой, домой, домой.

7

Пошли тучные погнои с овсом, коноплей, ячменем. И уже натекал дух кожевенного производства — садами и кровлями глянул Седнев: триста пятьдесят девять дворов, без малого две тысячи жителей.

Мальчишки бежали рядом с коляской, Лизогуб улыбался хлопчикам. Встречные мужики и бабы сторонились и кланялись, Лизогуб кивал им. На воротах усальбы возлегали каменные львы, Лизогуб снял перед ними шляпу. Посреди центральной огромной клумбы солнечные часы оказывали полдень.

Царица небесная, никак молодой пан приехали?! И они спешили, старики и старухи, бывшие дворовые. Давно уж жили в крестьянстве, но жизнь-то за господами помнилась сытая, без крутого лиха, как в усадьбах иных панов. Старые, хворые, малосильные куковали на хлебах у детушек, детушкам, известно, лишний рот не медаль, да вот молодой пан приехали, глядишь, в услужение примут. И теснились, норовя чмокнуть кто плечико, кто ручку.

Лизогуб конфузливо отстранялся, бормоча что-то ласковое, о чем-то спрашивая, было ему и приятно, и досадно, что больше, приятного или досадного, не разберешь. Он знал стариков и старух по именам, они помнили его покойных родителей, дядюшку и тетку, помнили годы с фейерверками и духовой музыкой, съезды гостей, крестины и отпевания, времена невозвратные, и Лизогуба трогало, что все это они помнят, но было и досадно вот это рабство с целованиями, вздохами, умилением, он сконфузился, смешался, да тут, как на выручку, послышался топот копыт.

Колодкевич слез с коня, подошел, поздоровался. Управляющему седневским имением было около пятидесяти, может и за пятьдесят. Крепкий, чернобородый, свежий, загорелый, смотрел приветливо, говорил спокойно, но, когда Лизогуб сказал, что приехал навсегда, факультет оставил, по лицу управляющего пробежала тревога: он подумал о своем сыне — Николай, сдается, тоже бросил учение. И как бы вернувшись к Лизогубу, Колодкевич сказал:

— Ну что ж, Дмитрий Андреевич, вам-то и без диплома, — он широко повел рукой вокруг, намекая, что университетский курс без нужды столь состоятельному помещику.

Лизогуб с досадой подумал, что управляющий, очевидно, принимает его за петиметра¹. Но не станешь же с места в карьер толковать о своем презрении ко всяческим дипломам. Дипломы, что ни говори, это ж привилегия, дипломы, как дорога к жирному пирогу, деморализуют честного человека. Однако не станешь тотчас все это объяснять пятидесятилетнему старику... А старик сказал, что нынче, с дороги, Дмитрию Андреевичу, надо полагать, не до хозяйственных расчетов, но, коли угодно, завтра или послезавтра — извольте, пожалуйста, у него, Колодкевича, бумаги в

¹ Вертопрах, щеголь (фр)

порядке. Лизогубу отмахнуться бы, а он, задетый вообразившимся «петиметром», отвечал, что завтра же... да, завтра готов. Колодкевич серьезно кивнул, в глазах, однако, блеснула ирония, Лизогубом незамеченная. Потому незамеченная, что примерещился окликающий голос Гриця Золотого, вот уж года два как пропавшего без вести. Лизогуб спросил, не слышно ль чего, Колодкевич ответил равнодушным «нет», его равнодушие опечалило Лизогуба, хотя никаких, собственно, претензий к управляющему и в этом смысле быть не могло.

Простившись с Колодкевичем, Лизогуб побродил в парке, уже глохнущем, но все еще хранившем старинную регулярность, и уже здесь в парке, и потом в доме-дворце, в первый же свой седневский день, испытал ту вкрадчивую власть, от которой он, как ему казалось, давно освободился, — власть родовой усадьбы.

Дом-дворец был тих и замкнут. Дом был полон мебелями и вещами, петербургский нигилист трогал и осматривал эту презренную роскошь рабовладельцев. Ампирные часы играли «Коль славен». «Коль славен» играли и куранты Петропавловского собора. Но мелодичный перезвон нежил слух... Табакерки — как тыквы, как яблоки, как барабанчики — табакерки, украшенные миниатюрами: всадники в плащах, воины в треуголках, казаки с трубками. Табакерки — услада бездельников? Но пальцы, но ладонь осязали золотые и фарфоровые крышки... По стенам дядюшкиного кабинета висели охотничьи ружья: резные ложа, чеканка, итальянские стволы из Брешии и стволы испанские, легкости необыкновенной. Он вспомнил — дядюшка Илья рассказывал: когда-то полагали, что нет прочнее железа, чем то, которое долго было в употреблении, особенно, мол, хороши подковные гвозди. Вот эти испанские стволы были выделаны из железа, отцокавшего по каменистым дорогам Кастилии или Андалузии. Охотничьи ружья... О, разумеется, засеченные псари, потравы, да-да, так. И коснувшись щекой приклада, словно бы слышал, как токуют глухари... А вот и тонкие, гибкие веера — палевые и лазоревые, с изображением Прозерпин и Одиссеев, пастушек, похожих на королев, и королев, похожих на пастушек. Где-нибудь в укромном местечке, вот хоть за этой ширмой, шитой цветным шелком, с лупоглазым турецким пашой, за ширмой, шел безмолвный флирт бабушек, сигналы вееров «Вы мне безразличны», — и распущенный веер плотно складывается; «Довольствуйтесь моей дружбой», — и один лепесток чуточку отделяется от сложенного веера; «Вы страдаете? Я

вам сочувствую», — признается второй лепесток, приникая к первому; но если и третий... о, если и третий, то это уж и вздох, и буря: Ты — мой кумир!»

Лизогуб был удручен: в Петербурге, за границей, рядом с Фесенкой, он верил, что совлек с себя ветхого человека. Он был удручен своей сентиментальностью, противоречивостью чувств. Лизогуб затворил накрепко все двери. Оставил себе угол, ушел в него, как в келью, сняв несколько книг с полки обширной домашней библиотеки. И сменил городское платье на коричневую свитку с красным кушаком, на высокие смазные сапоги.

Взялся он было за деловые бумаги, принесенные Колодкевичем, да вскоре запутался. Про то, что на здешних землях, как и у всех окрестных помещиков, хозяйствуют враздробь, то есть силами крестьянских семейств, без наемных работников, это-то Дмитрий Андреевич знал. Знал также, что натуральная доля, причитающаяся владельцу, колеблется от четверти до половины всего урожая, а заливного сена — две трети. Какая такая панщина, он понимал: отработай днями конными или пешими. Но вот начисление денежных доплат, как они там определяются и взыскиваются, все эти «хабар», «процент» и «тринкаль» — тут уж черт ногу сломит. Одно только ясно — панщина мужику способнее доплаты: «Отробыть як-нибудь отробыш, а грошей где взять?» Хорошо, доплата доплатой, а ведь еще и арендная плата, и плата испольная, Бог ты мой, та-а-кая бухгалтерия...

Он сбился, запутался. Однако бессилие перед конторскими книгами не обратило к мыслям на тот предмет, что жажда социальных перемен без понимания существующих простейших обстоятельств есть мечтательность, быть может пагубная, — и тени таких мыслей не мелькнуло. С легким сердцем, словно студент, ненароком избавленный от занятий, сложил Лизогуб деревенскую канцелярщину, перекрестил тесьмой и самолично, вполне демократически, понес управляющему.

Колодкевич жил на берегу Снови, в каменном доме с деревянной пристройкой. Овдовев, он после отъезда сына в Киев жил вдвоем с дочерью. Дочь вела домашнее хозяйство, отец — лизогубовское.

В его рабочей комнате не было, как в кабинетах многих черниговских помещиков, ни литографий брудастых легавых, ни литографий телистых гурий, а были агрономические книги, были газеты, которые доставлял почтарь, отставной солдат, называвший все периодические издания по-старинному: «Ведомости».

Лизогуба пригласили ужинать. Смуглая, черноволосая Ульяна собирала на стол. Вот уж что называется папина дочка, подумал Лизогуб, вся в отца. Густые, близко сходящиеся брови придавали Ульяне игуменскую строгость, но глаза — в отличие от отцовских с их частыми ироническими вспышками — глаза были приветливые, добрые. Противоречие общего выражения лица и выражения глаз не позволяло определить с порога, какая она, эта дочь Колодкевича.

Недавно ее выпустили из черниговского пансиона. На выпускном вечере, рассказывала Ульяна, губернатор подавлял зевоту; архиерей, напротив, был чрезвычайно оживлен; а они, девицы, нараспев декламировали «из Жуковского», бренчали в четыре руки и, полагая, что танцуют качучу не хуже Фанни Эльсснер, размахивали ажурными газовыми шарфами. Потом гуськом потянулись к почетным гостям: книксен и аттестат, книксен и аттестат.

Представьте: всем высший балл по всем предметам! Общий восторг и поцелуи, поцелуи...

Лизогуб смеялся. Колодкевич, ухмыляясь в бороду, бубнил, что благовоспитанной девице негоже потешаться над столь важным событием, как выпускной акт в присутствии его превосходительства и его преосвященства. Лизогуб, шутливо поддакнув, принялся рассказывать о тех барышнях, что учились в Цюрихе. Ульяна слушала чутко. Колодкевича интересовало не столько швейцарское образование, сколько швейцарское сельское хозяйство. Впро- чем, мимоходом он все-таки заметил, что у них там, в европах, едва ли не все дети учатся, а в наших-то весях ежели один из дюжины, так и то слава Богу.

От Колодкевичей возвращался Лизогуб затемно. С реки тянуло парной сыростью, Лизогуб поднимался в гору, поросшую барвинком. Вдруг из темноты кто-то признался, грустно и тоненько: «пью, пью, пью...» А кто-то другой пискнул: «кью, кью, кью...» И тотчас третий осуждающе подпустил: «ци-вит, ци-вит...» И взяли раскатом, и рассыпались дробью, и защелкали, и засвистали — соловьиная ночь началась.

В дом у реки Лизогуб наведывался нередко. Ульяна принимала его с дружеской приветливостью. Пансионское воспитание пошло прахом — в Ульяне не было и тени жеманства. Больше того, ей отнюдь не были чужды идеи. Лизогуб понял: влияние старшего брата Николая. Брат был для нее совершенством. Она говорила о нем с некоторой горделивой важностью.

Колодкевич-отец по-прежнему держался со спокойным достоинством. Поначалу Дмитрия Андреевича тревожило, как бы Ульянин папенька не усмотрел в его частых визитах амурных видов на дочку. Или того хуже: не возымел бы матримониальных намерений. Слава Богу, таковые не обнаружились. И Дмитрий Андреевич с удовольствием сознал свою ошибку. Словом, все бы хорошо, если б Лизогуб не почуял иной опасности, исходившей от управляющего.

Колодкевич был превосходным управляющим. Что называется, обеими ногами на земле. Он любил деревню. Но, в отличие от городских, журнально-поэтических народолюбцев, не воспевал «березку», ибо отлично знал, что реальный мужик не только не станет умиляться реальным березняком, а непременно вырубит и выкорчует, приговаривая: «Что пень собьем, то грош найдем».

Беседуя с Лизогубом, Колодкевич высвечивал такие черты и особенности мужика, какие не вязались с обликом сеятеля и хранителя, Лизогубу любезным. И высвечивая, иронически думал о молодых доктринерах и книжниках, созидающих воздушные замки.

— Община, общинность, инстинкт артельности, — повторял он лизогубовские доводы и каким-то намекающим, что ли, жестом отгонял мошкару от ярко горящей керосиновой лампы. — А я вам, Дмитрий Андреевич, вот что. В деревне, в крестьянстве, тут всяк норовит шукой, чтоб карася слопать. И еще как лопают! На зубах пискнет нету. Время сейчас какое? Зашибай копейку, давай копейку. Что-что? Э, не так, не так, Дмитрий Андреевич, это уж вы напрасно. Смею вас заверить, я не противник эмансипации, отнюдь. Девятнадцатое февраля на скрижалях... И в том согласен, что мужик наделом обижен, отработкой прижат и все прочее, не спорю, я одно выпячиваю: не общинность, не артельные святые инстинкты — это пустое, копейка и куш, куш и копейка — вот идол деревни. — Дым папиросы оседал в густой черной бороде. — Я живу с ними мирно, любой подтвердит. И что ж? Чуть не доглядел — пакость, кража, ножку подставили. Да вот вам пример, первый попавшийся. Укладывают, скажем, снопы на гумно везти. Дело нехитрое, но как укладывают? А так, чтоб снопом об край воза хватить. Зачем? А то-то и оно! Затем, чтоб самое полновесное зерно осыпалось. Они у возов загодя холст расстелят, зерно, как жемчуг, так и стучит... А молотьба? За голенища напихают — сапоги лопаются, едва ноги волокут. О поджогах-то я... Седнев, Дмитрий Андреевич, Бог пока миловал, а в одном нашем

уезде сколько спалили? Константину Петровичу, исправнику, писать-отписывать: «От неизвестных причин». Очень хорошо известных! Вы только вообразите картину: вот все эти петры-онуфрии в одно лихолетье извергнут злобу свою, неудовольствие, ненависть и пойдут «пхать вылами». А? Представьте-ка эдакое...

Ну, эдакое-то Лизогуб очень даже выпукло и очень даже часто представлял себе. «Пхать вылами»? Отлично!.. Другое пригнетало в час вечерних бесед, когда вилась вкруг лампы мошкара, вилась и сгорала: неужели и вправду петры-онуфрии пренебрегают общинностью, неужели и вправду идолом у них копейка и куш?

И повинуясь безотчетному желанию сохранить иллюзию, а тем самым и способность действовать, Лизогуб стал избегать прозаического управляющего седневским имением.

8

Луна была неистово-напряженной, деревья, кусты, лужайка — все казалось как из фольги. Соловьиный раскат шел от края до края усадьбы. Некогда нянюшка, баюкая паныча, шептала ему, что в такие вот ночи прогуливается в парке таинственная дама вся в черном, а однажды в год непременно подкатывает бесшумная золотая карета, запряженная цугом, лошади все вороные; из золотой кареты выходит царица Катерина, вся в белом...

Лизогуб читал у окна. Его окликнули, он вздрогнул, увидел за окном Ульяну с каким-то молодым кудлатым человеком.

- Вот, сказала Ульяна, входя с незнакомцем в комнату, это от брата, и подала Лизогубу записку: Николай Колодкевич просил принять гостя, дать роздых и, елико возможно, снабдить деньгами.
- Конечно, конечно, торопливо проговорил Лизогуб. Вы, должно быть, голодны?
- Федор Егорович ужинал, сказала Ульяна. Я подумала, у вас будет удобнее.
- Разумеется, согласился Лизогуб. Оставайтесь, места хватит.
- Уж, наверное, хватит, не особенно любезно усмехнулся гость.

Курицын прожил у Лизогуба несколько дней.

Парню было за двадцать, волосы русые, крутыми кольцами, глаза ясные, говорил бойко, мешая книжные обороты

с простонародными, но последние употреблял нарочито, понимай, мол, что свободно могу и без них. Правда, и в голосе, и в жестах его сквозила неприятная нецеремонность, но потом, услышав, с какой долей переведался он, Лизогуб расценил эту развязность как отрадный признак выпрямления души. Выпрямления, полученного в революционном кружке. Именно там. Не в бакалейной же лавке! И даже не в ветеринарном институте, где профессор Ладин так мирволил студенту из крестьянского сословия, что подарил ему микроскоп. «Знаете такой, — сказал Курицын, — со штативом Гартнака?» Лизогуб признался, что не имеет ни малейшего понятия о Гартнаке.

Вообще Дмитрий Андреевич часто признавал вслух свое невежество. Гистология или физиология никогда не занимали его, но суть была в том, чтобы с искренним удовольствием оттенить познания Курицына.

О себе Курицын рассказывал охотно.

- Вырбовские мы, крещеная собственность господина Вырбова, — бойко говорил он, вроде бы даже и гордясь недавним своим крепостным состоянием. — Помню, от горшка два вершка, а уж и сено ворошил, и около скотины, и в огороде. — Он усмехнулся. — Как у Некрасова: «В золотую пору малолетства все живое — счастливо живет...» А после освобождения забрал нас отец в Харьков. Он и раньше все на отлете, в отхожих промыслах. Сам ни аза, ни буки, а меня — это еще в деревне — к дьячку приставил: учись, «науки сокращают» и так далее... Ну, снялись с места, прощевай, удельное княжество. — Он экзаменационно взглянул на Лизогуба: - А известно ль вам, что Рузу-то нашу Иван Калита отписал сыну? — Лизогуб ответил, что нет, неизвестно. — Отписал, — повторил Курицын так, словно сам был Калитой. — Мы ж, Курицыны, Московской губернии, самые что ни на есть коренные великороссы. Ну, а тут — в Харьков. Отец к купцу Медведкину, большой оборот был. отец к Медведкину пристроился, а меня в одну из его лавок определил мальчиком. — Курицын вдруг разозлился: — Социальное-то неравенство легко осуждать, а хорошо бы каждому-то осуждающему на своей шкуре отведать!
- Так ли уж необходимо? мягко возразил Лизогуб. Зачем увеличивать и без того безмерную сумму страданий? Упразднить вот благая цель.
- Верно, хмуро кивнул Курицын, а только для пользы и твердости самих-то упразднителей оно бы и того-с... Нет, вы вникните: десять приказчиков, а я один. На

всех десятерых — один. Вот уж истинно: «...бесполезно плакать и молиться». Одно дело — над книжкой Флеровского слезу уронить... А я, между прочим, очень уважаю этого писателя... А все ж одно дело, говорю, над книжкой, и совсем другое, коли рыло в крови. Вот я, я-то годами кровью умывался. Как поступил в услужение, так в первый же день и умылся. Лиха беда начало! Эксплуатация железная — в двадцать кулаков, до свету на ногах, только и слышно: «Федька! Федька! Федька!»

Не только личную свою вину, уже как бы всегдашнюю, постоянную, испытывал Лизогуб, слушая Курицына, а еще и некоторую оторопь перед этой ненавистью — законной и объяснимой, но... но слишком, пожалуй, телесной, осязаемой, конкретной. И тотчас, со свойственной ему быстротой душевных движений, тотчас и восхитился Федором Егоровичем. Да и как не восхититься, слушая, как мальчонка на побегушках, избитый, замученный, как этот мальчонка тайком от всех зубрил гимназический курс. О, прекрасная, святая тяга народа к свету знания! И как хорошо, что встретился Федору Егоровичу благородный студент-ветеринар. Встретился и зажег мечту об институте.

— Отец мой, — рассказывал Курицын, — хозяину в пояс: так и так, присоветуйте, ваше степенство. Хозяин удивился: «Чего сопляку надоть? Он уже в молодцах ходит, полдороги осталось и в приказчики произведу, а ты рот раззявил». А батюшка, вот умница батюшка, — к директору института. Тот рассудил: «Пусть держит экзамен. Не выдержит, в лавку всегда успеет вернуться». И отец шмякнул об пол шапку: «Ставь, Федюха, на кон!» Федюха поставил на кон, и все получилось без промашки.

О студенчестве своем и теперь вспоминал Курицын как о счастливом билете. Он хорошо успевал по всем предметам. На втором курсе увлекся гистологией; тогда-то и получил в подарок микроскоп, дай Бог здоровья профессору Ладину. И третий курс тоже начал успешно, отлично шел... А тут-то его и пригласил Цебенко. Тот самый студент, возжегший мечту об институте. Школу устроил этот Цебенко бесплатную, для бедных ребятишек. Сперва сам учительствовал, но запыхался — желающих невпроворот. Цебенко кликнул подмогу, подмога явилась, Курицын тож. Достались ему сметливые ребятишки и тихие, он их по азбуке Блинова натаскивал. Словом, луч света в темном царстве. Отец не перечил. Напротив, поддерживал. Отец уж свое дело спроворил: донские шипучие вина, полста и

больше помесячно, ну и поддерживал, только, мол, сынок, от науки не отступайся. Но он отступился...

В его голосе была горечь. Курицын вроде бы не мог взять в толк, как же это он «отступился», и в этом «отступился» звучало «оступился», однако так невнятно, что Лизогуб не услышал.

Так вот, из учителей-добровольцев составился кружок. Лекционные заметки, учебники, первые номера «Архива ветеринарных наук», микроскоп с удивительным штативом не то чтобы вовсе были заброшены, но отодвинуты в сторону, сменившись книгами революционного направления.

Профессор, заметив перемену, напомнил любимому ученику о великом долге ветеринарии перед русским мужицким миром в связи с усиливающейся чумою. И, чуя, откуда и куда дует ветер, не без сарказма высказался в том смысле, что он все же завидует лошадям и коровам: слава те Господи, их никто не думает освобождать. Признаться, ирония у него была невеселая.

Профессора заботила чумная эпидемия: нарастая с начала семидесятых годов, она грозила бессчетному поголовью. А капитана корпуса жандармов заботила иная эпидемия; она тоже нарастала с начала семидесятых годов и тоже, по мнению капитана, грозила многим.

Капитан был лыс и тучен. Внося в протокол адрес студента, привлеченного «по делу о составившемся в городе Харькове революционном кружке», капитан переспросил: «Конторский переулок, дом Бардакова?..» И заключил: «Хм, дом Бардакова... Самое подходящее местечко для вас, господин коновал».

Студент высшего учебного заведения, приравненного к императорским университетам, вздумал было обидеться, но обмяк, чувствуя всю свою малость и беспомощность. Однако на расспрос сумел ответить уклончиво, то есть толково: были, дескать, разные разговоры о тяжелом положении низших классов, которым я сочувствовал, происходя сам из крестьян, но крайних убеждений никогда не держался; книги революционного направления читал, но единственно из любопытства, вовсе не рассчитывая применять всего этого на деле.

Результатом дознания была подписка о невыезде из Харькова, из этого самого дома Бардакова. А Курицын никуда не собирался выезжать. Так бы и жил-поживал в Харькове да учился бы и учился. Но вскоре ему сказали: «Следят за тобою, Федя. Под секретным ты надзором полиции, и самое лучшее убраться тебе, пусть временно, с глаз

долой. Курицын опешил: помилуйте, ведь нет ничего, кроме чтения и разговоров. Бессонные ночи в лавке, сдача гимназического курса (кто еще из сверстников, лавочных молодцов, одолел?), отцова посильная помощь, надежды профессора и свои надежды. Стало быть, прости-прощай, магистр ветеринарных наук?..

Курицын маялся. Друзья, считая его арест неминуемым, настаивали. Им и в голову не приходило, что могут быть какие-то колебания — святая борьба или храм науки? Разумеется, крестьянский сын предпочтет борьбе за свободу борьбу с чумным поветрием. И они собрали денег, дали адреса, он уехал в Киев. Из одного кружка попал в другие, из среды радикальной — в среду радикальную. Принимали Курицына с подчеркнутой участливостью: еще бы, не наш брат интеллигент, а вчерашний крепостной, носитель крестьянской нравственности, один из тьмы и тьмы, ради счастья которых ничего не жаль... Он почувствовал свою значительность. Переход в нелегалы, чужой вид на жительство, следовательно, опасность и неизвестность будущего — все это теперь уже не пугало Курицына, даже придало больше весу в собственных глазах.

В Седневе был он проездом. Куда едет дальше, не указывал, а Лизогуб не допытывался, памятуя о конспирации. Важнее было другое: всероссийская организация обретала реальность! Вот же этот парень с русой, в кольцах шевелюрой, этот добрый молодец, направлялся для связи с разрозненными группами во имя сплочения на началах солидарности. Одного этого было совершенно достаточно, чтобы Дмитрий Андреевич раскрыл братские объятия.

А Курицыну, по совести сказать, латифундист Лизогуб не очень-то нравился. Курицын знавал интеллигентов, ходивших в народ, а посему надевавших простонародное платье. Но Лизогуб-то никуда не ходил, жил себе в имении (да еще каком!), и весь этот маскарад вряд ли был необходим. К тому же как ты, сударь, ни рядись, а белую твою кость за версту видать, любой подпасок раскусит. Не нравилось Федору Егоровичу и то, что Лизогуб грассировал, и то, что руки у него были тонкие, нервные, и то, что глаза покашивали (точно скрывает чего). Одно, правда, нравилось — восхищенное внимание Лизогуба. Но и это восхищенное внимание не мешало снисходительному презрению, какое Курицын втихомолку питал к своему гостеприимному хозяину, — мужицкому презрению к барину, отпавшему от барства; по какой причине, по убеждению или по оскудению, не суть важно, отпавшему, и все тут.

Старинная усадьба, в сравнении с которой имение русского помещика выглядело постоялым двором, усадьба эта, где нынче Курицын разгуливал желанным гостем, вызывала в нем противоречивое чувство — персональной значительности и своей случайности, незаконности, что ли. И Курицына то тянуло поскорее уехать, то подольше остаться в седневском дворянском гнезде. Шевелилось и некое желание, пусть ребяческое (а может, и не столь уж ребяческое?), осуществить которое было бы не трудно, стоило лишь заикнуться о нем радушному хозяину. Но Курицын сознавал, что жжет тут не любознательность, а плебейское любопытство. Это-то он хорошо сознавал, но, с другой стороны, — разве обращение равного к равному может унизить того, кто обращается?

О равенстве и равных подумалось не очень-то к месту, но потому и подумалось, что Курицын находился под впечатлением книги, отрывки из которой Лизогуб читал ему до рассвета.

То были два тома брюссельского тиснения. Судя по экслибрису они когда-то принадлежали деду Лизогуба со стороны матери, полному его тезке Дмитрию Андреевичу Дунину-Борковскому, и каким-то случаем попали в седневскую домашнюю библиотеку. Дед прошел от Бородина до Парижа, после войны еще лет пятнадцать находился под знаменами, а потом, до самой смерти, отставным штабс-капитаном, был уездным предводителем дворянства в Городне, верстах в пятидесяти от Седнева. В предводителях не усердствовал, ибо служил музам — сочинял, перевел Мольерову «Школу мужей». Вряд ли дедушка Дунин, по примеру покойного дядюшки Ильи, имел своего заграничного комиссионера, пополнявшего его библиотеку, но брюссельское издание как-то забрело в городнянские палестины. Впрочем, и там, и здесь, в Седневе, разрезальный нож едва тронул листы этого изделия европейских типографов, и Лизогуб, улыбаясь, представил, с каким отвращением было отброшено ужасное сочинение Буонарроти.

Еще в юности, в Монпелье, Лизогуба поразили герои Французской революции. Каждое утро, по дороге в коллеж, его угрюмо осеняла мшистая башня, где в годину якобинского террора держали узников. О, мрачный пир воображения! Рисовались картины величественные и страшные... Потом были книги. Книгами ссужал Жюль Дюфор, сын нотариуса. Дюфор уже на школьной скамье мечтал о скамье в Бурбонском дворце — депутат от департамента Эро... Жюль звал Лизогуба на греческий лад — Деметрио-

сом. Жюль шутил: Деметра, богиня земледелия, судя по всему, благоволит семейству Лизогубов... Соученик по коллежу приносил книги: «Историческая галерея Французской революции» Морена, труды Кабэ, «Парламентская история» Бюше и Ру... И еще там, в Монпелье, Лизогуб знал про Бабефа и «Заговор во имя равенства». Но только теперь, в Седневе, в домашней библиотеке, между Вольтером, энциклопедистами ему попались два тома брюссельского тиснения — книга Филиппа Буонарроти, участника заговора, сподвижника казненного Бабефа.

Дмитрий Андреевич читал неотрывно катехизис идеального общества. Принцип равенства, неукоснительного и всепроникающего, должен был стать и целью, и связующей силой. Идеальное общество регламентировалось жестко. Никаких привилегий, никаких различий, кроме пола и возраста... Лизогуб читал жадно, грифель крошился в энергических подчеркиваниях. Абзацами Буонарроти Лизогуб глушил свою аристократическую ностальгию, все, чем отравлял его старый дом-дворец.

В тот поздний вечер, когда Ульяна вела Курицына к Лизогубу, он дочитывал последние страницы. За окном, в матово-белом свете, в резких, угольных росчерках означалась грозная тень Бабефа — откинутые со лба длинные волосы, долгополый черный фрак, металлические пряжки на башмаках. Но тень исчезла: под окном возник Курицын.

Лизогубу хотелось вернуться к Бабефу, к Буонарроти: делясь хлебом насущным, раздели и хлеб духовный — пусть Федор Егорович услышит мощные аккорды грядущей гармонии. Сдерживала, однако, памятная усмешливость Фесенки над картинками идеального общества — Лизогуб не забыл, как Иван потешался над предсказаниями мельчайших штрихов будущего, вплоть до костюмов и воспитания детей. Дмитрий Андреевич это помнил и даже признавал отчасти правильным, но теперь, уверенный в том, что Федор Егорович томим духовной жаждой, теперь раскрыл книгу Буонарроти.

В первые минуты Курицын не мог сосредоточиться — он был поражен: Лизогуб, казалось, читал русскую книгу, а не переводил с французского, плавно читал, не спотыкаясь, не «мекая». Господи, обиженно и удрученно подумал Курицын, а я немецкое издание Герцена со словарем ковырял — семьдесят потов пролил. И почувствовал досадную утрату, однако не успел сознать смысл ее (он утратил сейчас свое тайное презрение к барину, отпавшему от барства), нет, не успел сознать, ибо уже слушал Буонарроти.

«Горе и рабство — следствия неравенства; собственность — и величайший бич общества, и общественное преступление... Пусть не говорят, что трудолюбивый и бережливый вознаграждаются богатством, а нищета наказывает, мол, праздного человека. Вся собственность, сосрепоточенная на земле нации, имеет одного владельца. Только народ должен распределять ее и пользоваться ее плодами. Противоположное устройство, принятое издавна, приносит народной массе страдания и порабощение... Природа возложила на каждого человека обязанность трудить-Уклоняясь от труда, он совершает преступление. Посильный труд — источник здоровья и радости. Труд каждого возможен лишь в условиях, когда трудятся все. Все должны нести одинаковую долю труда и одинаково пользоваться его плодами... Сторонники неравенства говорят, что есть различие, которое неизбежно дает различие в общественном положении: различие свойств ума. Они, эти люди, даже говорят, что есть разные выпуклости мозга. определяющие страсти и склонности. А между тем тайное чувство подсказывает нам, что вещи отнюдь не были устроены так творцом природы. Пусть не все обладают равными умственными способностями, но из чего ж это проистекает? В меньшей мере от различия организмов, в определяющей степени от условий, в которые люди поставлены. Разве можно сомневаться в том, что многие невежды не были бы невеждами, если б имели случай получить образование? Разве самый заскорузлый пастух не обнаруживает в своем деле или при защите своих интересов столь же проницательный ум, как и Ньютон, познавший закон притяжения?»

Лизогуб то расхаживал с раскрытой книгой в руках, то садился, облокачиваясь на стол, рядом с Курицыным и нетерпеливо-быстро взглядывал на него. Лизогуб не сомневался, что Федор Егорович очарован, захвачен, увлечен, и, бросая на него свой нетерпеливый взор, не искал тому подтверждений, а выплескивал восторг, затрудняющий чтение.

И точно, Курицына захватило, увлекло. Правда, не все мысли старого республиканца были ему новыми, но, выраженные сжато, они и вправду звучали аккордами. Однако, по мере того как чтение продолжалось, Курицын все явственнее ощущал неудовольствие, как бы даже телесное неудобство, у него будто ноги затекали, как во сне. Напряжено слушая, ни слова не пропуская, он старался определить, что ж такое вызывает в нем неудовольствие и раздражение.

И вдруг сообразил: не все стороны этого желанного «эгалите» приемлемы, не все, не все. Рассеиваясь, упуская голос читающего, он подумал, что вот, скажем, равенство распределения — это ж тогда никто и палец о палец... У, куже: один, на печи лежа, получит такой же порцион, как и другой, отломавший всю страду. Теперь: вот он, Курицына-то Федор, он своей башкой, своим усердием в институт выбился, а Игнашка с Санькой торчат в лавке. Выходит, с Игнашкой да Санькой на один шесток? А валика оно, такое «эгалите», знаете куда?.. Ну, а зачем, скажите, потребности урезывать? Тем же Игнашке с Санькой чего надобно? Ленту девке и себе на шкалик, ну, еще на банном полке квасу жбан, вот и весь сказ... А латифундиста, гляди, так и разбирает, так и разбирает...

Все это перебивчиво, однако и отчетливо пронеслось в уме Курицына. И все же главным было другое — вот это грозное, под гребенку, разорение богачей, изъятие ценностей и раздача неимущим, переселение из хижин во дворцы, приобщение белоручек к черной работе. Вот уж действительно дело прямое, а каково потом, каково после — это время покажет...

На другой день Курицын объявил, что ему, пожалуй, пора в путь, — дождавшись сумерек, сыщет ямщика и, как в песне поется, «Вперед! без страха и сомненья...». И стал благодарить за давешнее чтение. Лизогуб растрогался. А Курицын прибавил, что, ей-ей, охота глянуть на библиотеку, где обнаруживаются столь замечательные сочинения. Так, вскользь, высказал он наконец свое желание проникнуть в дворянское гнездо; желание, которое одолевало еще в русской деревне, но тогда, босоногим и бесштанным, он не смел и к крыльцу приблизиться. Лизогуб замешкался. Федор Егорович самолюбиво прихмурился:

— A-а, понимаем, очень мы хорошо понимаем. Со свиным-то рылом да в калашный ряд?

Лизогуб и вправду замялся. Его ужаснул контраст и пропасть между вчерашним чтением Буонарроти и тем, что предстанет глазам Федора Егоровича в лизогубовском домедворце. Не сегодня открылись эта пропасть и контраст этот, но мучительность минуты была именно в том, что теперь, вот сейчас, его схватит за руку вчерашний раб и нынешний революционер, и ничего не объяснишь, да и что же тут, в сущности, объяснять.

В упоминании о свином рыле было не только самолюбие, но и расчетец, изгиб — Курицын прекрасно знал чув-

ствительность бар, отпавших от барства, к меньшому брату. И верно, Лизогуб уже нашаривал связку ключей. Ключи звякнули, как ему послышалось, подлым, алчным звуком.

Никогда, никогда еще Дмитрий Андреевич не испытывал такого угнетенного и униженного состояния, какое испытывал, переходя с Курицыным из покоя в покой, из залы в застекленную зимнюю галерею, из галереи в диванную со стойкой запыленных трубок... Полуденное солнце било сквозь ставни, в комнатах дымились длинные, светлые полосы.

Курицын угрюмо супился. Было бы, наверное, легче, если б он говорил хоть что-нибудь, но Федор Егорович молчал упорно и только уж на дворе, задышав сухо, близко и пристально глядя на Лизогуба, сказал:

— А ведь спалят, как пить дать спалят! — Спросил: — Небось жалко, а? — Рассмеялся: — Еще бы не жалко...

Вечером прихлынула духота, блеснули зарницы, послышался гром. Лизогуб предложил Федору Егоровичу переждать непогоду. Курицын отказался. Лизогуб дал ему денег. Курицын кивнул, и они расстались.

9

Гроза случилась ночью. Лизогуб проснулся. Комната то оранжево озарялась, то ее чернотой заливало. Смена света и темноты, громовые удары, ветер в деревьях, частая, дружная дробь прямого ливня — все это почему-то увязалось с уходом Курицына, и Лизогуб поймал в себе отрадное чувство облегчения.

Но чувство было кратким. Он подумал о харьковском богаче, который, по словам Курицына, раскошелился было на революцию, да недолго прыгал: женился и кошелек защелкнул. Курицын об этом неспроста и не только с намеком, а будто б и с вызовом. И объяснение выставил: не форменный-де болван, чтоб сук-то под собою рубить. Лизогуб возразил, что было и есть немало примеров, когда люди состоятельные не только мошну, но и жизнь отдавали народу. Курицын плечом повел: «Кто их разберет...» И опять намек был и вызов.

Вот так-то, брат, подумал Лизогуб, а ты сидишь-посиживаешь, читаешь-почитываешь. Иван Фесенко в Киеве живет общественной жизнью, а ты живешь без дела. А тысячи твоих единомышленников пошли в народ с фонарем социализма в руках, и тот же Федор Егорович, дня не теряя, «без страха и сомненья...».

Одна мысль-мечта в особенности занимала Лизогуба: ему хотелось, чтобы появился диктатор. Да, диктатор, который бы сказал: делай-ка то-то и то-то. Он сознавал — мысль еретическая. Нечаевым и нечаевщиной пахнет. Выскажи вслух, услышишь в ответ: спаси и помилуй от генералов, пусть и революционных. О, конечно, Нечаев лгал, мистифицировал; хуже того, Нечаев совершил преступление — убил студента, лишь заподозренного в измене... И все же диктатор необходим, и он, Лизогуб, подчинился бы его железной, направляющей руке... Однако мысль та, мечта эта, как бы извиняла собственную бездеятельность. Надо было приступать к пропаганде, надо было щипать траву на своей полянке, то есть создавать кружок, группу здесь, в Седневе, в недальнем Чернигове.

И он вскоре отправился в Чернигов. Но прежде наведались в Седнев господин исправник, а потом и другие господа.

Константин Петрович, исправник, выйдя из коляски отирая платком лоб и лицо, лучился добродушием. Э, он пожаловал без церемоний, по старой доброй памяти завернул покалякать. Тут вот, бывало, покойник Илья Иванович с батюшкой вашим... Старый служака отлично знал старшее поколение Лизогубов и самого-то Дмитрия Андреевича знал с пеленок. Константин Петрович погрозил молодому человеку. Пальцем погрозил, как шалуну, за которым — глаз да глаз.

В последнее время забот привалило, словно снегу в метельном феврале. Казалось бы, послаблений вышло, перемен — и от крепости мужиков давно избавили, и общую воинскую повинность учредили, и без суда самого последнего замарашку не смей по загривку хлопнуть... Ну-с и каково? Добро бы еще мужики, этих сколь не корми, все в лес глядят. Так нет, наплодилось племя странное, набралось завиральных идей, ни себе добра, ни администрации покоя. Раньше-то, бывало, учитель ребятишек по лбу щелкает, а повитуха знай себе при роженицах. А теперь, батюшка мой... И следствием — разные исходящие: списки, приметы — «для зависящих распоряжений». На склоне лет сон теряешь, аппетита лишаешься.

На аппетит свой исправник возводил напраслину. Особых яств наследник богатой фамилии не выставил, отчего толстые брови исправника вопросительно шевельнулись, но знаменитое сало, конечно, нашлось, и Константин Петро-

вич, закусывая, заметил с патриотическим чувством, чтоде такого сала, как нашенское, из Короб, ни в каких заграницах нет и никогда не будет. Не открестился и от рюмки. Прежде чем опрокинуть, подул на водку и обменялся с Лизогубом улыбкой, означавшей, что мы-де приметы знаем: на водку дунуть — нечистого духа прогнать.

Он ел и выпивал неспешно, а Лизогуб нервничал. Хотя Константин Петрович и пожаловал почти родственником, но ведь только вчера Курицын ушел (хорошо, что не остался, не дай Бог, заподозрил бы нарочитость задержки) да, Курицын только вчера ушел, не берет ли след господин исправник? И эти его сетования на завиральные идеи... Лизогуб нервничал. А Константин Петрович нет-нет да и постреливал в него замаслившимися глазками, эдак пытливо постреливал...

Нет, не за здорово живешь приехал исправник, не простецки, а явно по делу служебному.

Между тем Константин Петрович опять пустился по давешней дорожке — он, мол, сыздавна привязан к почтеннейшей фамилии Лизогубов, красе и гордости губернии. его, мол, всегда с распростертыми объятиями принимали здесь, никогда ему не забыть добрейшего Илью Ивановича. милейшего Андрея Ивановича... Лизогуб отвечал, что хорощо помнит, как v них все искренне любили Константина Петровича, любили и уважали, да, помнит очень хорошо, и как это приятно, что Константин Петрович перенес свою привязанность на него, Дмитрия Лизогуба... Словом, за любезности благовоспитанно платил любезностями да вдруг и подумал об этом... как бишь его... Миллер, Мюллер? Миллер-Мюллер, подумал Лизогуб, не промах был, не такого добряка, как Константин Петрович, и то обломал «царским билетом». Запамятовав точное имя немца, Лизогуб не запамятовал давнюю анекдотическую историю.

Этот Мюллер-Миллер, раздобрев на сахарном производстве, держался в губернии независимо и вызывающе. Большим барином жил, на башне своего дома поднимал огромный, диковинной расцветки флаг. А ездил всегда четвернею и всегда с поддужным колокольчиком, дерзко нарушая высочайшее повеление: при императоре Николае колокольчики дозволялись лишь почте и полиции. Исправник давно жаждал изловить немчуру с поличным. Изловилтаки наконец в день храмового праздника. «Па-а-слушайте, милст-сударь, по какому праву?!» Миллер-Мюллер и ухом не повел. «А вот, — говорит, — по какому праву: по царскому билету!» — и сунул исправнику кредитки степеней

значительных. Да и разлил дальше колокольчиков звон... Вот об этом-то случае, над которым много смеялись в седневском доме-дворце, и подумал сейчас Лизогуб. Весьма кстати подумал.

Извинившись, он вышел в соседние комнаты. «Царские билеты» были, но Лизогубу показалось приличнее одарить Константина Петровича чем-нибудь иным, и Лизогуб положил в карман золотую табакерку с миниатюрой на батальный сюжет. Вернулся, повторил давешние комплименты и сказал, что ему, Дмитрию Лизогубу, доставляет величайшее удовольствие презентовать старому другу дома один пустячок в память дорогих покойников.

Константин Петрович, как бы ужасаясь, замахал руками, но в какой-то неуследимый момент табакерка исчезла за бортом его сюртука, а исправник, колыхнувшись в коротком смешке, опять погрозил Лизогубу толстым пальцем. Вслед за тем подрумяненное спиртным крепкое офицерское лицо Константина Петровича приняло выражение озабоченное. Он вздохнул: «Нда-с, батюшка, задача-а-а...» — и, сильно скрипнув стулом, заговорщицки придвинулся к Лизогубу: «Богом заклинаю, никому ни слова!»

А два дня спустя в Седнев прикатили жандармский штабс-капитан и товарищ прокурора. Пришли четверо испуганных понятых из седневских мещан. Обыск, натурально, не дал ничего заслуживающего внимания. Управляющий имением Колодкевич заявил, что Дмитрий Андреевич живет монашески-строго. Жители седневские, опрошенные выборочно, твердили, как заведенные: «Добрый пан».

Однако донос дворянина по имени Георгий, по фамилии Трудницкий, донос, сделанный в Петербурге, Третьему отделению, заслуживал внимания сугубого, ибо уже началось производством обширнейшее дознание о преступной пропаганде в империи. И это оттуда, из кабинетов, где звон шпор и запах английского мужского одеколона, оттуда предписано было собрать сведения о бывшем студенте Дмитрии Лизогубе, а равно и приступить к дознанию, для чего обязать оного Дмитрия Лизогуба являться в Черниговское губернское жандармское управление.

Дорога была недальняя, верст двадцать пять, недальняя и знакомая с детства — покрытая теплой пылью и пятнами дегтя, с курганами по сторонам и непрестанным движением телег, волов, казенных почтарей, мужиков, приказчиков, всяческого делового люда. И хотя повод для поездок был пренеприятный, тракт с его бойкой жизнью дарил Лизогубу причастность к общему ритму, причастность, которой в

усадьбе не было и которой, оказывается, Лизогубу недоставало.

А сам Чернигов еще издали, одним своим силуэтом, навевал ощущение, нигде не испытанное. Чужой и чуждый Петербург не трогал сердца, Седнев был по-семейному близок, и только древний Чернигов внушал нечто торжественное и вместе интимное: твое «я» витало в давным-давно минувшем, и это давным-давно минувшее продолжалось в твоем «я». Минута слияния и равновесия, но не остановки, пусть и прекрасной, а текучести, живой и теплой.

Но вот уже это твое «я» в обыденном Чернигове, губернском городе о двадцать тысяч жителей. У них есть все, что нужно: обывательские дома, арестный дом и желтый, и питейные. Есть базарная Александровская площадь в клоках сена и яблоках конского навоза, лавки, мастерские, постоялые дворы, большой сад на древнем валу с пушками, словно бы оглохшими от старости, сад с так называемой «ротондой», где вечерами военный оркестр, надувая щеки, исполняет вальс из «Фрейшютца». И есть губернское жандармское управление, где с Лизогубом раскланивается штабс-капитан, адъютант управления, весьма похвально отзывающийся об аккуратности Дмитрия Андреевича.

Действуя согласно постановлению номер три, штабс-капитан Шулькевич, тот самый, что производил обыск в Седневе, вел дознание без особенного азарта. Его, стройненького и миловидного, Лизогуб с первого взгляда мысленно прозвал маменькиным сынком. Шулькевич, случалось, напускал на себя холодную строгость, Лизогуб тотчас изображал эдакий панский гонор, и штабс-капитан, меняя тон, уверял Дмитрия Андреевича, что он, Шулькевич, отнюдь не поклонник неоправданных мер, а, скорее, сторонник прогресса.

Вопросы, заданные им, успокоили Лизогуба: господа голубые, в сущности, не располагали сведениями, уличающими его преступные связи; ни о питерских «чайковцах», ни о визите к Лаврову не было помянуто ни словом. Охотно и спокойно Лизогуб перечислил петербургских родственников. Охотно и спокойно признал знакомство с Фесенкой, земляком и коллегой по факультету, подчеркнув притом, что совершенно не осведомлен о политических взглядах последнего. Лизогуб не отпирался, что именно с Фесенкой, как с компаньоном, путешествовал за границей, поскольку они оба нуждались в отдохновении от климатических условий и университетских занятий, недолго пожили в Италии, однако не слишком пунктуально выполнили врачебные ре-

комендации и весьма продолжительное время провели в Париже, где, как понимает господин капитан, не заскучаешь. Господин капитан это понимал. Завистливо вздохнув, он шутливо предложил самого себя в компаньоны для будущих заграничных вояжей, и Лизогуб галантно ответил, что готов, с удовольствием и прочее.

Вообще все походило скорее на собеседование, нежели на следственный процесс, по Лизогубу приходилось нередко езживать в Чернигов. Дмитрий Андреевич, однако, не тяготился. Ему это было нужно.

В предместье Лесковица, на окраине Чернигова, у широкого заливного луга, стелившегося до Киевского шоссе, жили Вербицкие. Въехав во двор, Лизогуб улыбался: «Идуша на Чернигов, ту и сташа!»

Хозяин, Вербицкий, отсутствовал: из Чернигова его выдворили. Учитель словесности и беллетрист, учил он разумному и доброму, повести писал и рассказы, основ не потрясающие, хотя и с так называемым направлением. Но вот какой-нибудь Константин Петрович делает распоряжение, а люди говорят: «Могло быть хуже». Рабское утешение, молчаливо признающее, что лучше и быть не может.

Вербицкий отсутствовал, но дом не заглох. И бывшие ученики, вскормленные на Белинском — Добролюбове — Чернышевском, и те, что не застали Николая Андреевича в классах, а были воспитаны его воспитанниками, и каникулярные студенты в шотландских пледах поверх украинских сорочек, и земцы, поклонники земляка-сочинителя, — все они навещали дом Вербицкого, жену его, Екатерину Федоровну. Никто и мысли не держал, что посещение семьи ссыльного есть своего рода мужество, чреватое неприятными последствиями. И Дмитрию Андреевичу такое тоже не приходило в голову, хотя он и полагал, что произвол уже достиг геркулесовых столпов.

Публика собиралась не ради кипящего самовара (без которого, понятно, не обходилось), а ради кипения умов, как шутила хозяйка. Притом все отлично знали, что Фиша, конечно, настороже, но лишь посмеивались.

Ефимий Егоров — по-уличному, сохранившемуся с мальчишества, Фиша — был еще хлопчиком, когда у Вербицкого затевались сходки молодых людей. В те времена Лесковицы и вовсе пустовали (говорили, зимою и волка встретишь), скрытно приблизиться к дому удалось бы лишь в шапке-невидимке, но осторожные студенты нанимали за медь «часовых», окрестных мальчишек. Вот Фиша-то сызмальства и подвизался на охранной службе.

Очень старался Фиша, даже собственным почином следил за другими и, обнаружив нерадивых, увлеченных чужой яблоней или вишней, тотчас ябедничал Вербицкому: «Дяденька, не давайте ему грошей!» Вербицкий легонько трепал Фишу за ухо, приговаривая, что наушничать нехорошо. Фиша, однако, не брал в толк, отчего нехорошо, ежели гроши достаются нечестно?

Сделавшись взрослым, Фиша поступил в жандармский дивизион. Поначалу его там не жаловали. Не отличался Фиша ни статью, ни силенкой. Был он невзрачный, востроносенький, конопатый. Фортуна, однако, улыбнулась ему: Фишу отметил сам начальник губернского жандармского управления.

Один из параграфов полковничьей науки побеждать гдасил: успех ночных обысков в прямой зависимости от дневных упражнений. И полковник не тяготился натаскивать нижних чинов в собственной квартире. Покажет книгу или тетрадь, уйдет в комнаты, вернется и хлопнет в ладоши: «Марш! Ищите!» Нижние чины сопели и топали, разнося казарменный запах ваксы, пота и льняного масла. Ворчали: «А бис знае иде...» На длинной лошадиной физиономии полковника неудовольствие сменялось удовольствием. Его злили эти увальни и тешила своя ловкость. Но сколь полковник ни изощрялся, сколь ни хитрил, а конопатенький Фиша, морща лоб, скользя на цыпочках, изгибаясь и принюхиваясь, непременно отыскивал спрятанное. Полковник однажды изобрел маневр, каковой должен был сбить Фишу со следа. Полковник объяснял его удачливость материалистически: развитым обонянием — чует офицерский одеколон, вот и змеится по запаху. Накануне очередного упражнения полковник не только не поленился переменить белье и форменное платье, но, побрившись, даже не опрыскался из флакона. Фиша и тут вышел победителем, и начальник наградил его красненькой. Филер ликовал.

Фишино дарование было взято в расчет при учреждении наружного наблюдения за учителем и литератором Вербицким. Вербицкий и домашние очень уж хорошо знали Фишу: на глазах вырос, да и соседом. Сознавая трудность поручения, Фиша за казенный счет разжился дамской тальмой и шляпкой и взялся за дело. Но Вербицкий в тот же день изобличил шпиона. Фиша стал притчей во языцех. Над ним потешались: «Фиша, где же твоя шляпочка?» Или того хуже: «Фишенька, вас ждет Герцогиня!» Герцогиней звали в городе заслуженную, вышедшую в тираж проститутку, которая поставляла в гостиницу «Царыград» девиц, или,

как изъяснялись при дамах, «жертв общественного темперамента».

В Лесковицах и теперь еще трунили над Фишенькой. Лизогуб, однако, к тому наклонен не был. Впрочем, до появления Барона опасался не слишком: доброхот-исправник Константин Петрович намекнул однажды, что вот-де успел подмазать колеса. Намек был с двойным дном: расходы сверх сметы просили возмещения; Лизогуб возместил. Да и, кроме того, в жандармском управлении уже написали постановление номер восемь: в ходе дознания не добыто фактических данных, позволяющих обрушить на Лизогуба законную кару.

Публику, с которой знакомился Дмитрий Андреевич у Вербицкой (а потом и в других домах), делил он на радикалов и либералов. Встречались и, так сказать, неубродившие, неотчетливые. Был еще и такой, что стоял особняком, на свой салтык: советник губернской контрольной палаты Гофштетер. Седой, косолапый, угрюмый, он проповедовал самоусовершенствование. Первой заповедью этики считал отказ от «тирании вещей». Заповедь эту исполнял с такой свирепой неудержимостью, что в гулкой, почти пустой его комнате чаевничали из каких-то щербатых глиняных черепков, булку и колбасу ломали руками.

Аскет был симпатичен Дмитрию Андреевичу. Они бы накрепко сошлись, но советник, увы, отрицал необходимость служения народу. Он отрицал именно то, что Лизогуб, как и все душевно близкие ему люди, полагал капитальным и непреложным. А Гофштетер, неистово дымя табаком и обсыпаясь пеплом, словно Везувий, гремел, что народу не надобно кадить, а следует преподать личный пример аскетизма и вот в этом-то и заключается назначение и подвиг интеллигенции. Его любили, даже уважали, но не без усмешливости: личное подвижничество казалось легко осуществимым, однако недейственным в смысле влияния на народ.

Куда неприемлемей были Лизогубу либералы-земцы. Эти сотрясали воздух в большом аляповатом зале с портретом государя. Сотрясение воздуха сводилось к тому, что лишь конституция, пусть и в два вершка, спасет Россию от катастрофы. Возбужденные голоса и звонок, взывающий к порядку, достигали столь вдохновенной силы, что в женской гимназии, находившейся рядом, дребезжали стекла.

Признавая искренность этих людей, Лизогуб не признавал их порывы благими. Гарантии, политические свободы? Чепуха, забитому народу никчемная и выгодная лишь бур-

жуа. И если б кто-нибудь предрек Дмитрию Андреевичу, что сам он в скором времени проникнется мыслью о насущной необходимости именно политических свобод, Лизогуб, ей-Богу, и удивился бы, и оскорбился.

А пока всему иному он предпочитал пропаганду социального переворота. Правда, возникало и чувство нетерпеливой неудовлетворенности (улита едет), возвращалась еретическая мысль-мечта о диктаторе. Но то, что уже делали и Вася Варзар, и Савва Топчаевский, учитель в имении Линдфорса, и Худько, и Трезвинский, тоже учитель и тоже не только по букварю, или вот акушерка Фронштейн, клопотавшая не только над роженицами, или, скажем, гимназист Шлепянов, озабоченный не одним аттестатом зрелости, то, что они делали изо дня в день, неприметно, скромно, без устали и жестов, и в самом Чернигове, и в уездах Черниговской губернии, — это-то и было настояшее, подлинное, насушное.

Он любил их всех. Платили ль ему той же монетой? Он был убежден, что да. Впрочем, не совсем так: убеждение требует размышлений. И не то чтобы верил: вера нуждается в упрочении. А Дмитрий Андреевич не размышлял и не искал доказательств. Все определялось принадлежностью к общему стану. Этого было достаточно, но, может быть, и не совсем достаточно, а? Ведь вот же трогает отношение молодого сельского учителя. Смешная у него фамилия... Должно быть, кто-то из предков этого учителя был лихой, неутомимый плясун. И есть песенка с припевом: «Дриге, дриге, дриге ногами...»

Дриго еще гимназистом квартировал у Вербицких. К своим, кровным, его не тянуло. Мамочка, вдовая чиновница, едва сводила концы с концами, но при этом не ударяла палец о палец. Видите ли, ей, близкой родственнице известного генерала Антоновича, не пристало наниматься в гувернантки. Нечесаная, в капоте, равнодушная к детям, мамочка читала романы. Сестры, мясистые индюшки, грезили о замужестве. Предметом первой был огненно-рыжий, предметом другой — жгучий брюнет. Оба служил в Обществе взаимного поземельного кредита, и оба пользовались кредитом у Герцогини.

Понятливого, расторопного Володю Дригу привечали в доме Вербицких. Учился он усердно и успешно. Его, однако, тяготила зависимость от дядюшки — генерал Антонович оплачивал гимназический курс. Никогда, ни словом генерал не попрекнул Дригу. Напротив, инспектируя губернию как попечитель учебного округа, Антонович всякий раз призы-

вал племянника, ласкал, обещая не оставить и в студенчестве. И все ж Дрига тяготился. Он взялся репетировать: одному балбесу — прописи и образцы для срисовывания по клеткам; другому — чтение по звуковой методе; третьему — обозрение пяти частей света, четвертому — геометрию... Платили репетитору — кот наплакал. При всей своей неприязни к мамочке и сестрицам Дриго все отдавал читательнице романов. Она принимала рассеянно, принимала как должное, он злился, однако отдавал опять и опять.

А на окраине, в Лесковицах, в запахах разнотравья огромного заливного луга, стелившегося вплоть до Киевского шоссе, шла совсем другая жизнь. Очень она привлекала гимназиста-старшеклассника. Летом слеталась молодежь, родственники и свойственники, знакомые родственников и свойственников — киевские и столичные универсанты, прикатывал из Москвы и младший брат хозяина, рубахапарень, студент Петровской земледельческой академии. Шла веселая кутерьма — охота и рыбалки, шалаши и костры. И разговоры, разговоры... Ну, те же, что и в питерских кружках: ограбленный мужик, вековое рабство, Бакунин, Лавров... В общем-то выходило, что можно, пожалуй, и не учиться, а жить с народом и в народе, сеять вечное и звать к борьбе... На прощание коллеги пели «Назови мне такую обитель», «Полоса ль ты моя, полоса, не распахана ты, сиротинка...» и еще пели «Спускается солнце за степи...». Хорошо было до отчаянности.

Дриго, наверное, не сумел бы определить, что перевешивало в его решении бросить гимназию и учительствовать на селе: зависимость ли от дядюшки-генерала или «Назови мне такую обитель»? Может, то, а может, и другое, но вполне вероятно, что все вместе. Как бы ни было, он учительствовал в окрестных деревнях и пользовался каждым случаем, чтобы навестить Вербицких, особенно теперь, после высылки своего бывшего наставника. Екатерина Федоровна любовалась Дригой: «Наш Володя в большой дружбе с крестьянами, а ребятишки, так те просто души в нем не чают».

Похоже было, что не одни ребятишки... Однажды догадал лукавый Дмитрия Андреевича выйти в сад Вербицких поздним вечером, когда добрым людям второй сон снится. А ему не спалось. Такая уж минута настала: беспричинно проняло, как сладкой болью, ощущением полноты бытия и захотелось звездного неба. Накинув свитку, Лизогуб вышел в сад.

Вызвездило щедро, крупно. Заливное сено, едва прочахлое, отдавало нежный и вместе крепкий запах. Листья ше-

лестели внятно, на Десне гудел пароход. Лизогуб казался себе необыкновенно легким... Минуту спустя ему почудилось чье-то затрудненное дыхание, горловой стон какой-то. Настороженно, с безотчетным любопытством он сделал шаг, другой, третий — и замер как в столбняке. И, отпрянув, бросился прочь. Он пронесся в темном доме, как летучая мышь, ничего не задев, и зарылся в постель.

Стыдно было, гадко, мерзко. Но хуже всего то, что, не желая видеть, он видел: видел, как они там, в саду, под вишней, на скошенном сене, пахнущем нежно и крепко... О, если б только стыдно было, нехорошо и мерзко. Ах нет, не только... Он почувствовал бремя своей девственности. Не томление плоти, а бремя девственности, такое юношеское, хотя он давно не был юношей.

Утром Дриго завтракал как ни в чем не бывало. И кухарка Паланя, молодая, здоровая девка, была такой же, как всегда. Босоногая, гладкая, грудастая, в будничной паневе, с монистами на шее, она несла в вытянутых руках кипящий самовар, и широкий стан ее, не знающий шнуровки, плавно колыхался. Когда Паланя уносила тарелки, Лизогуб глядел на ее пятки, и эти мощные, твердые пятки, уверенно попиравшие солнечную полосу на чистых половицах, показались ему языческими. И почему-то вспомнилось: «Они прелюбодействуют и ходят во лжи» — и это «они» как бы соотносилось с Палашкиными пятками. Беззвучно рассмеявшись, Лизогуб посмотрел на Дригу. Дриго, ни о чем не догадываясь, ответил откровенной, доверчивой улыбкой.

Дриго решительно отличал Лизогуба от всех других знакомых радикалов. В Лизогубе поразила Дригу необыкновенная правдивость. Правдивость не из принципа, не из кодекса, не привитая, а именно необыкновенная: она не то чтобы пронизывала все существо Дмитрия Андреевича, нет, составляла все это существо. Звучала в мягком грассировании, смотрела из голубых, чуть косящих глаз, была в жестах — застенчивых и сдержанных.

Местных людей встречалось в радикальной среде немало; вернее, как думал Дриго, радикальную среду и составляли честные люди. Но у Дмитрия Андреевича — не от разума, даже не от сердца, а врожденное, редкостное, бесценное. Как высокий талант, как дар Божий.

Угадывал он и то, что никто, как ему казалось, не угадывал, — не было на Лизогубе ни шлема с забралом, ни кирасы, открытость была, не защищенность, не слабость, а открытость и незащищенность, особое бережение требова-

лось. И Дриго, ровесник Лизогуба, как бы принимал тайный обет заботы о нем. Чем и как выказать свою заботу, Дриго не представлял, но был к тому готов. Готовность эта внушала ему: ты самый близкий человек, самый нужный Дмитрию Андреевичу, как синь порох. И потому Дриго испытал ревность, когда появился Барон.

10

Как было не узнать эти глаза с жаркими янтарными искрами в глубине? Нельзя было не узнать Барона, котя Лизогуб видел его раза два, не больше. Видел в Петербурге и сейчас мог бы в точности указать: когда и где — Осинский ведь запоминался сразу и накрепко. Теперь для нелегального по кличке Барон это было, пожалуй, и не совсем кстати.

В Петербурге они встретились на сходке универсантов и медиков. Кто-то из коллег пригласил Осинского, учившегося в Институте путей сообщения. Устроители возразили: приглашенный-де из института, хотя и преобразованного в открытое учебное заведение, но души-то у путейцев закрыты для нашего дела. Рекомендатель настоял на своем: вспомните, как полтораста воспитанников института вступились за уволенных товарищей-поляков; во-вторых, полезнее ширить связи в студенчестве, нежели суживать; и, наконец, приглашенный не из тех, что жаждут инженерского преуспеяния.

И верно, Валериан не примерял мундира с серебряным шитьем, а жаждал, выражаясь громко, душевной гармонии. Жажда эта жила в его душе с отрочества — тогда он впервые сознал разлом мира на добро и зло.

В матери, молчаливо страдающей, воплощался ангел. А вот отец... Отец, уже генералом, попрал карьеру — не умел пресмыкаться и хлопнул дверью. В имении, на хуторах, екатеринославским помещиком, его превосходительство, круша обиду и гнев, ударился в агрономию. Увы, его энергия заглохла в степном мареве и бесконечных метелях, когда из-за речки Бирючьей набегали шайки голодных волков.

Не снеся деспота начальника, отец сам стал тираном — пьяным тираном в засаленном шлафроке. Случалось ли вам просыпаться от прикосновения холодной стали? За полночь, в доме, где ни свечи, отец, сжимая заряженный пистолет, крался к спящим детям. Случалось ли вам, зачитавшись Вальтером Скоттом, дрогнуть от зловещего посвиста и,

мгновенно обернувшись, увидеть отца с занесенной палкой?.. А эта белая скула, эти запястья? Тут был предел, кровавый морок: отец с кулаками кинулся на мать, а Валериан, двенадцатилетний, ощутив железный гул в голове, Валериан с последней решимостью, за которой уж нет ничего, только убийство, заклешнил отцовские запястья, и отец, на миг онемев, стал целовать сына прыгающими губами: «Молодец! Будь всегда таким!» Приступ великодушия или прихоть тирана? Приступ великодушия прихоть тирана.

В институт на проспекте Обуховском, у моста через Фонтанку, Осинский поступил просто потому, что было все равно, где ни получить высшее образование. В гимназии он блистал, мог бы и в гуманитарии, мог бы и в Горный или Технологический, но подал на Обуховском прошение, аттестат, свидетельство о рождении и крещении, право на жительство в столице, внес первые пятьдесят рублей за слушание лекций и начал пятилетний путь к лаврам гражданского инженера.

Летом он не ходил в народ, а работал с народом: служил техником на постройках железных дорог. Техника почтительно величали «господин инженер». На рассвете, часа в четыре, бородач десятник, подстриженный скобкой, кашлянув в кулак, вопрошал: «Аверьян Андреич, какие приказания будут?» Заспанного студента пробирали и утренняя свежесть, и нетерпение. Он был готов к битве за дистанцию в десять верст, пахнущую смолеными шпалами, свежей просекой и еще сырой насыпью. Вооруженный рулеткой, экером, нивелиром, злясь на комарье, вспыльчивый и неутомимый, он в непогоду и ведро был в гуще артели.

Рабочий поезд, пыхтя и лязгая, душно пованивая машинным маслом, движется по дистанции: здесь платформы грузят грунтом, там разгружают шпалы, здесь и там матерится старшой. А затемно пылают костры, кашей пахнет и сопревшей одежей, ни песен, ни говора — язык не ворочается. Растянувшись в шалаше, покурив мошкаре на острастку, Валериан засыпает, крепко, бурно, молодецки. А на рассвете, часа в четыре, опять покашливает бородач десятник: «Аверьян Андреевич, какие приказания будут?»

О, гордость, когда первый локомотив осторожно испытывает твою дистанцию. Прогрессу важен результат; путь к результату безразличен. Но если ты очевидец, если ты участник, то вот она, настигает минута, и тогда не из некрасовской «Железной дороги», нет, из только что происшедшего: рухнули подмостки, люди, тащившие огром-

ный камень, убиты, мертвецы лежат в ряд... А землекопы, ломающие картуз перед подрядчиком? «До вашей милости...» — «Небось, за деньгами?» — «За деньгами, ваше степенство...» — «В середу отдам». — «Да нам нынче жрать нечего». — «А-а, на харчи... Что ж, по целковому на брата». Толпа машет руками, вопит и бьет себя в грудь. Подрядчик тоже кричит: «Белены объелись?! Не впервой расчет откладываю!» — «Плату увеличивай, мироед!» — «Ишь, сволочи, полтинничка мало!» — «Косарям-то эвон, по семьдесят пять на день!» — «Дак вы ж у меня не косите!» — «А нам все едино, какая работа...» — «Ладно! Значится, не охота вам по рублику на харч, а? Жаланья нету, а?» — «Нету-у-у!» И подрядчик, ленивенько удаляясь, бросает через плечо: «Кому охота — попросит...»

Но в конце-то концов причем здесь он, Осинский, студент Института путей сообщения? Не крал, не обсчитывал, не наживался. Ты обязан помочь младшим сестрам и отказаться от маминой помощи: отен умер почти разоренным. У тебя нравственный долг перед старшим братом. который дал тебе возможность сдать на аттестат зрелости. Да так, что директор гимназии предрек: «Вы будете знаменитым математиком!» А словесник дивился твоей начитанности и развитию... Конечно, жизнь беспошална к простолюдину, но ты-то причем? Ему, Валериану Осинскому, приятно доверие опытного инженера. Осинский заслужил это своим усердием... Усердием? В эпиграфе к «Железной дороге» поэт помянул графа Клейнмихеля. Того самого министра, с которым не ужился покойный отец. А покойный государь Николай Павлович восхищался быстротою и натиском графа Клейнмихеля. Монетный двор отчеканил медаль в его честь: «Усердие все превозмогает». Усердие! Чуть не под каждой шпалой — труп. О, прогресс! Цивилизация рассекает российские дебри. Усердие все превозмогает. Вот именно все, даже совесть. И представление о человечности.

В институте титулованные франты мечтали о чине действительного статского. Концессии, концессии, концессии — там и нетитулованные, но дипломированные — самые желанные. Инженер! Это вам, господа, не аршинник Гостиного ряда. Индустриальная гарь обращается в лепешечки золота. Родовитые маменьки лорнируют женихов: инженер — завидная партия. Бонтонные студенты-путейцы в пенсне и со шнурком табачницы, небрежно выпущенным из кармана короткой куртки, они ведь ничуть не плоше гвардейских офицеров. И манеры, и ловкость, и каламбу-

ры. Барышни, плеснув ладошками, откидываются на спинки кресел: «Ах, какой вы...»

Осинскому претили спекуляторы-железнодорожники, претили и маменьки с прицелом на марьяж, и эти розанчики: «Ах, какой вы...» Он хотел удержаться в стороне. Ничего не попишешь, прогресс оплачивается несоответствием интересов голодающей массы и обеспеченного меньшинства.

Но высшая математика уже не одаривала высшим спокойствием. В зимней вьюге, в душевной сумятице другие огни светили Валериану — под аттиком с Минервой, в высоких окнах публичной библиотеки. Как, однако, слаб механизм самостоятельного мышления, нашариваешь опору в чужом авторитете. И эта рефлексия. При мысли о семейной драме, о покойном отце в душе Валериана звучал мотив оправдательный: аракчеевская закваска, сколок николаевщины, азиатчина. Но российский-то деспотизм, весь, в целом, он ведь складывался и поднимался из единичного леспотизма отцов.

Лизогуб увидел Осинского на сходках сторонников Лаврова. Неправдоподобно синие глаза Осинского выражали вежливое внимание. Один универсант, морща лоб и загибая пальцы, прожектировал: «Допустим, я, то есть каждый из нас, распропагандирует в месяц троих. Только троих, не больше. Вот вам четверо. Эти четверо — опять-таки берем минимум — завербуют каждый еще троих, и вот вам месяц спустя уже дюжина. А эта дюжина в следующий месяц даст три люжины...» Магия чисел завораживала слушателей. Осинский, сдержав улыбку, подумал о предсказаниях Фурье: в трехмиллиардном коммунистическом мире народится тридцать семь миллионов поэтов под стать Гомеру, столько же ученых не хуже Ньютона и столько же писателей, равных Мольеру... Грезила славная публика, грезили ровесники. Манилова укрывала беседка с зеленым куполом: «Храм уединенного размышления». Пылких лавристов, уверенных, что народ тотчас преклонит слух свой к словам их, не беседка ждала — каземат.

Осинский полагал, что изучил народ. Изучил не книжно, не мельком. Быстрое внедрение азбуки революции? Полноте! (О внедрении не быстром мысли не было.) Косная, дремучая масса, Илья Муромец, сидящий сиднем. «О том, что Илья Муромец сидел сиднем не вечно, а тридцать лет и три года, стало быть некий срок, мысли не было.) Осинский, в сущности, все той же рулеткой мерил свою дистанцию, как на Роменской или Самарской железной дороге. На местности исторической он все те же углы от-

кладывал своим экером, как и на съемке топографической. И словно вращая зрительную трубу нивелира, искал высоту, с которой следует грянуть Божьею грозой.

Когда Валериан появился на черниговской окраине, он уже был выключен из списков будущих инженеров-путейцев и включен в списки лиц, весьма интересующих самое любознательное ведомство империи. По-прежнему, не веря в незамедлительный успех пропаганды, Осинский верил в успех незамедлительного создания нелегального центра. Разногласия кружков заботили его мало. Зато много и сильно занимала идея единства.

Двух дней достало, чтобы Лизогуб и Осинский посмотрели друг на друга родственно. Рекомендательные письма, привезенные Бароном, имели значение формальное. Была близость духовная, было совпадение, так сказать, организационных желаний, хотя еретическую мысль о диктаторе Лизогуб еще утаивал. Валериан не диктовал, даже не рекомендовал, но именно в те дни, неразлучные с Бароном, Лизогуб увидел в нем будущий центр в будущем центре.

И тогда же вот что придумал, это уж к Дриге относилось. Не согласится ли Владимир Васильевич управлять его, Лизогуба, имениями? Да-да, всеми, исключая седневское. То-то было бы отлично! Владимиру Васильевичу известно его, Лизогуба, отношение к крестьянам, на Дригу он полагается вполне. Потом, знаете ли, вероятны приездыотьезды некоторых людей, не вовсе, как говорится, административно чистых, потребуется содействие. И опять-таки он, Лизогуб, полагается на Дригу. Короче, не ударить ли по рукам?

Дриго дулся, ревнуя Лизогуба к Барону, но тотчас согласился, ибо вот же она, прямая возможность оберегать Дмитрия Андреевича, пусть пока в одном, так сказать, хозяйственном смысле.

На другой день ни Осинского, ни Лизогуба в Чернигове не было.

11

В Городище, Киевской губернии, они остановились у Белоконского. Белоконский служил народным учителем, одет был мужиком и носил длинные, нечесаные волосы, что уже само по себе выказывало серьезность мировоззрения. Лизогуб знал его еще мальчиком — их имения соседствовали.

Осинский с Лизогубом шутили: мы-де, в отличие от незабвенного Чичикова, заняты поисками живых душ, человеческого материала. В Городище, однако, обнаружился и совсем иной материал.

Может, не следовало вот так-то глазеть, а следовало укромно обсудить все с Белоконским и его друзьями, да и убраться без греха. Но, во-первых, по всей Украине вряд ли сыщешь подобное, а во-вторых, в здешней людскости двое неизвестных оставались, надо полагать, незамеченными.

И верно, народу разного звания и обличья толкалось пропасть. К этому тут давно привыкли. Давно. Пожалуй, лет уж тридцать, с тех времен, когда светлейший Воронцов сдал в аренду Яхненкам-Симиренкам без малого триста десятин своей земли.

Бывшие крепостные, они выкупились на волю. Породнившись, зажили единым кланом. Богатым деньги черти куют? Эти сами ковали, как ковали. Арендовали водяные мельницы и ветряки, ворочали тысячапудовыми партиями зерна. И не испытывая почтения к немцам, якобы владевшим особым секретом изготовления отменного рафинада, поставили свою фабрику. Граф Бобринский, конкурент, не по-дворянски поворотливый, усмехался: «Что делать будете, когда обанкротитесь?» Ему отвечали не без лукавства: «Будем чоботы шить, як перше. А що вы будете робыть, ваше сиятельство, як не дай Боже тоже?»

Рафинадную фабрику отгрохали в несколько этажей. Мирская молва волной прошла по России, в какой-нибудь лавчонке за тридевять губерний бабы спрашивали: «Сахарок-то от хохлов привезли?» Поставили Яхненки-Симиренки и машиностроительный завод, выписали иностранные станки, иностранных техников. Выгода получалась не столько в рублях, сколько в надежности рафинадного производства. Впрочем, и в рублях: слали заказы с Урала, на Днепре отдувался пароход «Украинец».

Богатырщину эту осматривал однажды человек, обожженный нещадным азиатским зноем, с солдатскими морщинами, с сединой тусклой, как налет каспийской соли, — Тарас Григорьевич Шевченко, избывший ссылку. О чем он думал, глядя на фабрику, на завод, на порядки аккуратных кирпичных домиков, где жили сотни работников? Не о том ли, о чем помышлял, вспоминая Уатта и Фултона? Не об их ли грозно грохочущих детищах, призванных пожрать престолы и короны, панов и панщину?

Канули годы.

Со смертью зачинателей сникла богатырщина. Правда, еще крутилось громадное маховое колесо рафинадной фабрики, но клан распался, а молодой Левушка Симиренко, по домашнему Льоня, отнюдь не мечтал о коммерции. Другая звезда светила киевскому студенту, приезжавшему на каникулы домой, в Городище.

Он пришел к Белоконскому, где квартировали Лизогуб с Осинским, и они вчетвером говорили вполголоса. Впрочем, можно было бы и не понижать голоса — за стеной громко витийствовал учитель, коллега Белоконского.

Учитель горестно ненавидел предписанное начальством преподавание на русском языке. Неизвестно, разделял ли его горечь школьный сторож Мусий, но полуштоф разделял честно. Учитель, пьянея, жарко повествовал о стародавнем украинском вольном житье. Мусий шмыгал носом, учитель, растроганный, заливался слезами. Сейчас до слез еще не дошло, учитель витийствовал.

Лизогуб поморщился. Нет, он не осуждал низкопоклонство перед Бахусом, котя и недостойное развитой личности, не осуждал, а сказал, что любовь к Украине вовсе не предполагает ненависти к великороссам и что хула на все русское лишь оттого, что оно русское, есть нелепость, глупость.

- Много я об этом думал, господа, говорил Лизогуб, указывая на стену, за которой все громче и выше звучал учительский тенорок. Я не враг украинофилов, в то поверить нетрудно. Но для многих вот так: или самобытность, или нивелировка. А самобытность отнюдь не противоречит общечеловеческому. Тут, господа, единство.
- А общечеловеческое не отрицает ли самобытное, национальное? допытывался Симиренко.
 - Две стороны одной медали, ответил Лизогуб.
- Вот-вот, шутливо поддел Осинский, а медальто это и есть целое.
- Э, нет! горячо возразил Лизогуб. Нет! Я о единстве в многообразии. Заметь, пожалуйста: многообразие! А главное раз и навсегда признать единство интересов малороссийской голоты и великорусской голытьбы.
- И нам, поддержал Осинский, нам-то, братцы, как раз и нужнее всего именно единство.
- Вот-вот, я ж к тому и веду... Лизогуб опять указал на стену. — А такие, сами того не ведая, мешают. Плач на реках вавилонских, седохом и плакахом.

Из соседней комнаты послышались всхлипывания. Все невольно рассмеялись, Белоконский вздохнул:

- Я, господа, чту русскую культуру, люблю русскую словесность. Ну, и не то чтобы равнодушен к украинофильству, однако и не стою на коленях перед, извините, «хохломанией». Но меня, знаете ли, возмущает, когда, скажем, такой вот милейший человек, отличный учитель, должен осторожничать, изъявляя свои украинские чувства. И окна занавешивать, и дверь на ключ. А все потому...
- По тому самому, решительно определил Осинский. Давайте-ка ближе. И приглашающе взглянул на Белоконского, на Симиренку.
- Есть опыт, есть, сказал Белоконский, встряхивая длинными нечесаными волосами. Я прежде служил в Васильковском уезде. Явился туда полный надежд. Грех сказать, обрадовался: деревня Ольшаницы горемычная, ну, думаю, почва подходящая. Дядьки да парубки заглядывали на огонек. Я брошюры читал, пояснял прочитанное. Слушали внимательно. И сочувственно: «Эге ж...», «Та воно правда...». И так месяцами: «эге», «правда». А дальше ни тпру ни ну. Да я и сам-то не знаю, что же дальше? Раздавать, что ли, эти брошюрки неграмотным? Польза одна на цыгарки.
 - А здесь? спросил Лизогуб.
- Уверен, тот же пассаж, живо отозвался Осинский. Беспечальность и даже, кажется, удовлетворение, с каким Барон принимал «пассаж», задели Белоконского и Симиренку. Они тут распространили множество нелегальных брошюрок, порхающих, словно бабочки-метелики; они тут учредили тайное хранилище нелегальщины под бдительным досмотром старой нянюшки, очень любящей Льоню; они тут, можно сказать, не покладая рук, а Барон, черт возьми, с легкостью необыкновенной... Н-да, следовало бы, конечно, признать неудачу, но Симиренко с Белоконским выставили иное: в чем же, господа, причина? Взять те же Ольшаницы, это понятно: глубокая темнота, невежество. Положим, в Городище не воссияло просвещение, а все ж таки работники, машины и так далее. В чем же причина?

Из всего, что подняли Яхненки-Симиренки, вихрилось: «Das Kapital», «прибавочная стоимость», «рабочий вопрос».

К политической экономии Лизогуба приобщал (правда, не очень успешно) Иван Фесенко. Осинский и Белоконский самостоятельно глодали журнальные отклики на сочинение доктора Маркса. Симиренко, естественник, видел в нем величину, равную Дарвину, и, будучи в Киеве, в университете святого Владимира, добровольно посещал лекции

профессора Зибера, объяснявшего с кафедры положения «Капитала». Зибера надо было слушать, а не читать: говорил увлекательно, понятно, образно, а писал, не дай Бог, сухо и тяжело. Но как ни поражали глубина и логика доктора Маркса, он анализировал европейский капитал и европейский пролетариат. А мы — Россия. Да, и у нас случаются стачки, полицейщина именует их действиями скопом. Да, не нам перепевать консерватора Каткова... Но, может, справедливо то, что неустройство отношений рабочих и рядчиков есть следствие несовершенства законодательства?

Они хрипли в дискуссиях. Капитализм — пагуба, язва? Согласен, но смотри: рафинадная громадина кормит, содержит мужиков сытнее и лучше всех Ольшаниц... Пусть так, но Городище — малый остров в крестьянском океане, а грядущая революция — революция мужицкая, и посему оставим рабочих заботам либеральных буржуа: эти-то весьма заинтересованы в сносном существовании двуногих машин... Э, позволь, наемные работники — часть народа... Полноте, лишь мизерная часть и временная...

В пылу дискуссий, да и в час спокойных размышлений их революционная одержимость властно брала верх над революционным реализмом. Да, сознавали вес и значение Марксова «Капитала». Да, признавали мощь пролетарияблузника. Но лишь там, далеко, в странах, где заходит солнце. А здесь, дома, вот хоть тут, в Городище, промышленный работник казался исключением из правила. «Правилом» был мир хижин, не тронутых индустриальной гарью. На том стояли и не могли иначе. Они не примечали движения гигантской часовой стрелки на огромном циферблате истории. Как не ощущали и того, что шли замыкающими на крестном пути, где главным путником был интеллигент-демократ. Замыкающими шли и вместе с тем предшественниками, ибо за близким уже поворотом дороги возникала иная рать, для которой Марксов «Капитал» был не только книгой.

Взобравшись на плечи предшественников, можно и должно видеть дальше, зорче. Но лишь угрюмый педант, взнесенный историческим валом, глядит на предшественников сверху вниз. Оставим педантам их черствый педантизм. Осинский с Лизогубом, Симиренко с Белоконским, все те, кого осеняла виселица и кому звенело кандальное железо, во многом заблуждаясь и ошибаясь, не заблуждались, не ошибались в одном — в безоглядном, бескорыстном, подвижническом служении униженным и ограбленным.

И вот дискутировали пылко.

А в доме Симиренко уже слышался звучный баритон Семена Степановича: он приехал из Одессы с дочерьми и зятем.

Как и Левушкин родитель, Семен Степанович Яхненко принадлежал ко второму поколению владельцев фирмы. Утратив почтение к клану, но сохранив размах предков, он сочетал коммерческие заботы с промышленными. Московский университет и реформы шестидесятых годов пробудили в нем страсть к общественной деятельности: был он гласным городской думы, потом — одесским городским головой. Ретрограды, траченные молью, показывали ему кукиш в кармане и за глаза именовали «передовым представителем конфуза».

Родные палестины Яхненко навещал изредка. Он помнил, как лет пятнадцать тому началось в уезде чуть не повальное увлечение репсом и сурепицей; растения, похожие на брюкву и репу, теснили хлебные нивы и покосы; сырье покупали заграничные мыловары, кожевенники, суконщики — большой был барыш, по рублю за пуд. Теперь не то: возвратилась и воцарилась пшеница, великолепная, полновесная, ласкающая глаз и слух, «сандомирка» и сорта «мариагильф». Тихий шелест и звон, жаворонки, жаворонки. А в Одессе, у моря, близ рейдов с иностранными пароходами, — немолчный грохот яхненковской мельницы... Ну, а свекловица уж не в такой цене, как прежде. И приглядевшись, замечаешь, что нынче под свекловицу отдают худшие земли, ибо лучшие — под пшеницу.

Яхненко любил и Одессу, но там — космополитическая пестрота, а здесь — коренной уклад, сосуществующий с прогрессом. Он любил вдову покойного Платоши, любил племянника Льоню, на свете не было ничего прекраснее симиренковского яблоневого сада, где Семен Степанович, изменяя своему холерическому темпераменту, предавался созерцательности. А вечером приходил в зал, где шумела молодежь.

Его не смущали ни длинные волосы, ни смазные сапоги, ни папироски в девичьих устах. Он улыбался: чем бы дитя ни тешилось... Не жа-ла-ют жить, как отцы? Ну что ж, не беда. Не чтут златого тельца? Ну что ж, пошлый меркантилизм отвергают на сытое брюхо. Чем бы дитя ни тешилось... «Младое племя» нравилось Яхненке. Но и тревожило. Не повадками нигилизма: преходящая мода; не стремлением опроститься: играют в мужичков; и не грезой о социализме, об этом, как полагал Яхненко, неосуществи-

мом земном рае. Не осуждал он и нетерпение молодых людей. Терпение — лжемудрость тех, кто задним умом крепок; терпение — вол, а вол — кастрат. О, напротив, нетерпение — великое свойство души человеческой... Нет, молодые люди тревожили Яхненку непроизводительной растратой своих сил. А теперь, когда аресты, казематы, ссылка, теперь — и жизней. А именно молодые жизни необходимы России, ползущей с проселков азиатчины на столбовую дорогу прогресса.

Яхненко шагал по навощенному полу, вдоль окон, распахнутых в сумеречный яблоневый сад, и нельзя было не любоваться этим мощным, гривастым человеком с открытым лбом и крупным сильным подбородком, жестко стиснутым концами высокого крахмального воротничка. Полный энергии, сверкая темными глазами, он напоминал Дантона. И они слушали его — и зять Андрей Желябов, и Лизогуб с Осинским, и Льоня с Белоконским, и дочь Наташа, и даже Ольга, замужняя Ольга, которую, кажется, ничто не занимало, кроме ее Андрея и музыки.

Слушать-то они слушали, но не слушались. Ни обаяние, ни красноречие, ни горячая искренность не спасали Яхненку от водопада возражений, и оказывалось, что Семен Степанович не кто иной, как буржуа, что картина, нарисованная им, грунтуется мужицким страданием и что они, его слушатели, отлично понимают, к чему клонят яхненки — конституционная монархия, выгодная толстосумам и спекуляторам.

Он с минуту глядел на них, потухая в печали, в бессилии, потом уходил к себе. Победители беспечно перемигивались: достоин снисхождения, ибо даже философу в известном возрасте не дано постичь новые идеи.

За распахнутыми окнами простирались темные ветви, пахло росой, где-то в глубине яблоневого сада ночной сторож сварливо окликал полкана. На крышке рояля стояла лампа, Ольгино лицо тонко розовело, волосы золотились чисто, она была похожа на мать, немку из семьи доктора Флокена, основавшего близ Одессы лечебное заведение. А ее сестра Наташа, обладавшая сильным и гибким меццосопрано, Наташа выдалась в отца, в Семена Степановича, — темная шатенка, темные глаза и энергия, энергия в каждом жесте. Она начинала петь, Желябов присоединялся. Иногда он фальшивил, свояченица пускала в ход нецеремонный локоть и едва не прыскала со смеху, а Ольга, продолжая музицировать, искоса, с молодой влюбленностью смотрела на мужа.

Лизогуб грустно задумывался. В грусти его сливались и запах яблоневого сада, и свет лампы, и этот отблеск чужого семейного счастья. Нет, он не завидовал. Но однажды ощутил то раздражение или ту досаду, какие вызывают при расстройстве зрения «летающие мушки». И причину понял тотчас. Очевидно, потому, что давно, хотя и подспудно, сознавал ее: Желябов... Вот уж кого, подумал Лизогуб, должны любить, очень любить женщины. Не сходить с ума, а глубоко и преданно любить. Особенная гордость есть в нем: се — человек. И должно быть, прав Льоня Симиренко: «В натуре Желябова — ни трещинки». А ты, брат, чувствуешь раздражение и досаду. Если это не зависть, так что же это, мосье Лизогуб?

И все же то была не зависть, а словно бы ответное движение на отчужденность Желябова. Желябов держался неизменно вежливо, но близости с ним, как с Осинским, не возникало, не возникало и открытого дружелюбия, как с Белоконским и Симиренкой. Потом, уже после отъезда Семена Степановича с дочерьми и зятем, только потом Льони объяснил причину желябовской холодности: он-де, Андрей Желябов, не любит «этих аристократов». И Лизогуб, растерянный, недоумевающий, долго не спал в ту ночь.

Восьмое августа, среда

1

Военный пароход «Эриклик» держал курс на Одессу. Качало, как в гамаке, но генералу не спалось.

Генерал старался думать, что его бессонница — следствие вчерашнего посещения Севастополя: взволновалась душа, и вот не спится. Мысль же о том, что уже за полночь и, стало быть, восьмые сутки августа начались, мысль эту он гнал. Нет-нет, вчерашняя встреча с Севастополем — причина бессонницы.

И верно, были вчера минуты, когда он, старый генерал с тяжелой поступью и толстыми сивыми усами, чувствовал себя проворным офицером-сапером, еще не признанным всей Европой «великим Тотлебеном».

Севастополь он впервые увидел четверть века тому, летом пятьдесят четвертого. Тотлебен уже успел выдубиться в кавказских экспедициях, где смерть таилась за каждой скалой и каждой саклей. И уже побывал на мутно-желтом

Дунае, где алчно посвистывали бомбы и слышалась сладковатая одурь свежей крови. Но что все это значило в сравнении с севастопольским адом?.. Не веришь тем, кто становится фертом: я, мол, и не помышлял о гибели. Врешь, голубчик, помышлял! Не в том, впрочем, суть. Храбрость — это ненависть к неприятелю? Правда. Но не вся правда. Храбрость — это и преданность общему делу, товарищам... Говорено и писано, что он, Тотлебен, своим инженерным искусством создал оборону русской Трои. Правда. Но не вся правда. Вдохновил оборону Нахимов. В целом свете нет никого, ни в числе павших, ни в числе живых, о ком он, Тотлебен, сказал бы: «Я любил его, как отца». Только о Нахимове, единственном.

Вчера Тотлебен долго стоял на Малаховом кургане, где штуцерная пуля сразила Нахимова. Потом поехал на Северную сторону, на Братское кладбище, где лежало столько друзей молодости. Он сам бы хотел лечь в эту землю — сухую, твердую, прокаленную солнцем.

Сейчас, в каюте, при свете ночника, не прислушиваясь, но слыша и глухой ропот моря, и тонкий скрип переборки, генерал подумал, что всей своей службой не посрамил севастопольской славы и севастопольских товарищей. Нахимов однажды сказал: «Берегите Тотлебена, его заменить, некем, а я — что-с...» Встань из гроба Нахимов, Тотлебен отдал бы ему прямой, честный рапорт. Службой, а не прислуживанием вышел в полные генералы. Двадцать лет управлял корпусом военных инженеров. не щадя сил, перемогая контузию и ранение. И что же? Сетуют: «Тотлебенов характер тяжел до крайности». И замечают усмешливо: «Сапер то он Божьей милостью, но не полководец». Хорошо с, а Плевна? А победоносное завершение Балканской кампании? Век трудишься, а помрешь... Наполеон усмехался: «Когда я умру, все скажут «уф» ». Если делаешь что-либо полезное, непременно мешаешь людям жить.

Послышались топот, голоса: подвахтенные вступали на вахту. Генерал никогда не служил на кораблях, но помнил, оказывается, корабельное: «Dogwatch». Эдуард Иванович не ошибался: склянки возвестили час пополуночи, и она началась, эта «собачья вахта», длящаяся до четырех утра. Тотлебен подумал: каждому когда-нибудь достается собачья вахта.

Он уже был и генерал-адъютантом, и членом Государственного совета, и почетным членом Императорской академии наук, и главнокомандующим Балканской армией завершившей войну у стен Константинополя, когда весною, четыре месяца назад, получил новое назначение: генералгубернатор обширнейшего полуденного края, генерал-губернатор с чрезвычайными полномочиями.

Вот как поворотилось! На седьмом десятке предстояло начинать нечто совершенно непривычное. Простившись с государем, уезжая из Петербурга, он был насуплен, говорил чеканнее обыкновенного, что всегда означало повышенный градус озабоченности.

В Москве, проездом, генерал посветлел. На Театральной площади ждал Тотлебена подшефный Самогитский гренадерский полк. Из Кремля генерал ехал верхом. Толпы москвичей кричали «ура» герою Севастополя и Плевны. На площади гремел торжественно-грозный раскат особого барабанного боя — «поход за военное отличие». На весеннем ветру тяжело и властно всплескивало полковое Георгиевское знамя. Гренадеры смотрели молодцами. Генерал остался доволен батальонами, он многих офицеров и солдат знал в лицо. Он и собою был доволен: им владело прекрасное чувство ясной уверенности.

И опять сделался хмур, сурово-неприступен: близилась Одесса. Разумеется, никаких цирлих-манирлих. Чем круче, тем вернее. Его направляют в один из главных притонов людей злонамеренных. Он выкурит тараканов. Он в ответе перед государем и Россией. Осада — Приступ — Победа! Однако брало и сомнение: разберись-ка с этой штатской публикой, с этой гражданской административной частью управления. Правда, несколько успокаивало то, что он испросил себе весьма дельного помощника — тайного советника Панютина. Степан Федорович школился под десницей Муравьева. И там, в поверженной Польше, прослыл выдающимся обрусителем. То есть был именно тем, кто необходим в краю, где коренной элемент разжижен элементом некоренным.

Они с Панютиным ладили. Свидетельством — хотя бы последний судебный процесс. Чрезмерная строгость и беспощадность? Эх, голубчики, это ж на театре военных действий, это ж с неприятелем можно изобразить рыцаря. Враг внутренний, домашний, — тут не до белых перчаток. И нынче, восьмого августа, вернувшись из инспекционной поездки, он, генерал-губернатор, генерал-адъютант, почетный академик, член Государственного совета, шеф Самогитского гренадерского, герой Севастополя и Плевны, он, Эдуард Иванович Тотлебен, властью, данной ему государем, конфирмует решение военно-окружного суда по делу двадцати восьми.

В каюте мерцал ночник, поскрипывала переборка. Тотлебен сознал, что, вопреки самому себе, давно уж покинул вчерашнее, севастопольское, и остался один на один с этим восьмым августа, когда ему следует утвердить приговор, в том числе и пять виселиц. Чувство тяжести в груди было неожиданным. Смертные приговоры были назначены загодя, и это он, Тотлебен, еще до начала судебного процесса вытребовал в Одессу палача. И потому было совершенно алогичным и неожиданным тяжелое, муторное чувство в груди.

Эдуард Иванович поднял с постели свое массивное тело. Ему захотелось ощутить боль старой раны. Но старая рана не болела, и Эдуард Иванович, сердито пофыркивая, выбрался на палубу.

«Эриклик» шел восьмиузловым ходом, колеса рыли черную воду, корпус и палуба мерно сотрясались. Мощное движение тысячетонного парохода, огни, ветер, фигура вахтенного офицера в белом, луна, похожая на дынную корку, крепкий йодистый воздух — все дышало полной, цельной и ясной жизнью.

Скорым шагом приблизился вахтенный офицер, ожидавший вопросов или распоряжений. Мичман был молод и строен, он был частицей этой ясной жизни, и генерал дружелюбно осведомился, далеко ли еще до Одессы. Мичман почтительно отвечал, что уже миновали такой-то маяк и что ежели не подвалит шторм, возвещенный барометром, то «Эриклик» вовремя положит якорь на одесском рейде. Эдуард Иванович, все так же сопя и улыбаясь, отпустил мичмана и стал бодро прохаживаться, вдыхая ночной свежий соленый воздух.

Генерал думал об особенной прелести военно-морской службы, о счастье вот этого молоденького мичмана и других офицеров, тоже молодых, и о том, как лестно им служить на «Эриклик», потому что «Эриклик» не ординарный военный пароход, но яхта главного командира Черноморского флота и портов.

Черт возьми, вдруг почти весело, с сухопутной завистью к морякам подумалось Тотлебену, черт возьми, и мне бы эдак-то — в белом бы, на вахте бы, огни, движение, море... Ну, голубчик, сказал он себе, чтобы эдакто, надо было пестоваться на Васильевском острове, а не в Михайловском замке. Вот-вот, на Васильевском, морским кадетом, а не кондуктором в Главном инженерном училище... «Ах ты, Феня, Феня, ягода моя...» Препохабнейшая песенка! Сопляки сбегались в рекреационную за-

лу и пели «Феню»...Кой черт, Морской кадетский корпус — там всех секли без разбора. А в Инженерном телесные были под запретом. Зато вот уж кому доставалось синяков и шишек — рябцам доставалось: терпи, коли новичок.

Эдуард Иванович увлекся: спальные покои, классы, гул коридоров Михайловского замка; Федя Радецкий, будущий герой Шипки, вступавшийся за рябцов, и тезка Радецкого, будущий сочинитель Достоевский, этот и вправду тяжел до крайности, никакого изящества и легкости стиля, однако знаменит... Когда отправлялись на лето в Петергофский лагерь, саперное снаряжение лупило по ляжкам, а кивер был битком набит ватрушками, пирожками, конфектами — гостинцами Елизаветы Андреевны. Ах, какая была непоседливая, смешливая. И муж ее, генерал Александр Иванович, тоже был добрейшая душа, малороссийское лукавство, темные, блестящие, веселые глаза. Во всем Петербурге ни души родной, ему, Тотлебену, да послал Господь чету Лизогубов.

Качнуло ль сильнее, на миг ли утратилось равновесие.

В Одессе, накануне инспекционной поездки, просматривая наспех вместе с Панютиным ворох бумаг, Эдуард Иванович даже и не заподозрил родство одного из смертников с тем генералом Лизогубом, что некогда пригрел сиротевшего в Петербурге кондуктора Инженерного училища. А сейчас как поскользнулся в этом внезапном переходе от своей растроганной признательности чете Лизогубов, генералу и генеральше, к мысли о молодом Лизогубе, чья жизнь и смерть зависели теперь от него, Тотлебена.

Предсказания барометра сбывались. Ветер, крепчая, заходил навстречу движению судна. Звук пароходных улиц был то глух, то резок в зависимости от того, погружалось ли колесо до кожуха или выхватывалось качкой из черной воды.

Тотлебен вернулся в каюту. Словно бы новым зрением он заметил ее комфортабельность, не уют, а comfort — диван и кресла, обтянутые темно-вишневой кожей, красное дерево с бронзовыми барельефами дельфинов и львов, якорей и корон, ту добротную, солидную роскошь, которая придает адмиральским каютам некое государственное, державное значение. И Тотлебен почувствовал, что именно это сейчас необходимо ему.

Ранним утром Зубачевский предпринял еще одну атаку. Увы, последовали толчки коленами и невнятное, но довольно-таки злобное бормотание. Стараясь не шуметь, он выбрался из спальной. И то, что он осторожничал, вместо того чтобы и ей, стерве, не дать спать, вконец раздосадовало и унизило коллежского асессора. Живешь как на вулкане. Ждешь побегов, служебных неприятностей, споришь с каким-то гробовщиком, а тут... Нет, это положительно невозможно! А ведь вчера радовался: жена встретила ласково; села с шитьем, была в домашнем гранатовом платье, которое ему очень нравилось, и он городил вздор, как юнкер.

Зубачевского мучили подозрения. Правда, он вчера не расслышал запаха мятных облаток, но ее вчерашняя ласковость теперь, утром, внезапно показалась хитрой уловкой. Господи, только не думай, не думай об этом, сказал себе коллежский асессор.

Завтракая и машинально настраиваясь служебно, смотритель тюремного замка не то чтобы вспомнил, а словно бы подтвердил самому себе, что нынче среда, то есть срок конфирмации по делу двадцати восьми. Приговор Лизогубу, как полагал смотритель, не имел прочной юридической оснастки. Какую-то иную, подспудную, очевидно, имел, но дало-то в том, что жестокая несправедливость должна была обидеть... он сознал, что произнес мысленно порожнее, дурацкое слово, но иное не подворачивалось... да, оглушительно обидеть Лизогуба, возмутить и взбесить. Отсюда шаг, нет, меньше, когда такие натуры должны совершить что-то вызывающее... Он опять сознал неуместность и этого слова... Короче, смотритель тюрьмы вернулся к давешним опасениям: самоубийство.

Из всех приговоренных, которых он, смотритель, обязан был сохранить и уберечь для виселицы, один только Лизогуб почему-то внушал ему тревогу и опасение в этом смысле. Остальные не так нервны и не так чувствительны к несправедливости, чтобы эдаким способом избежать государственного возмездия. А нынче, услышав конфирмованный приговор, Лизогуб утратит надежду, которую он, Зубачевский, сумел заронить. Да, нынче, едва вернется генерал-губернатор.

Поднимаясь из-за стола и бросая салфетку, Зубачевский был убежден, что приговор утвердится по букве военного суда. Не потому лишь, что генерал за несколько месяцев дал многочисленные и веские доказательства своей чуждо-

сти малейшему либерализму, а потому, и это главное, потому, что при Тотлебене состоит тайный советник Панютин.

Умозаключение Зубачевского имело не праздное, а практическое значение, и смотритель, надевая фуражку, уже знал, какое распоряжение отдать в тюремной конторе, но вдруг приостановился, свернул к спальне и, крадучись, заглянул в сумрак. Людмила Сергеевна лежала на боку, подтянув ноги, бедро круглилось. Зубачевский вздохнул шумно и укоризненно. Ее брови томно шевельнулись, и в этом движении бровей он прочел обещание. «Ах, Боже мой», — мальчишески-счастливо сверкнуло Зубачевскому.

На дворе рвал ветер. Фонарная флюгарка повизгивала. Длинные тучи будто швабрили небо. Зубачевский рассеянно подумал, что на море, должно быть, разыгралась буря. Караульный взвод пересекал широкий двор. Штыки колыхались нестройно и тускло. Ветер норовил скинуть бескозырные шапки, солдаты, как в порывах отчаяния, кватались за головы. Зубачевский усмехнулся. Сколь ни жучь тюремную стражу, нипочем не добъешься выправки. Взвод был наполовину из новобранцев, и Зубачевский наперед знал, какие диалоги послышатся при уставной сдачеприемке постов.

Смену при вратах он видел уже искоса и мельком, с порога тюремной канцелярии. Взвод остановился, сменщик и разводящие подошли к постовому. Тот казенно, но радостно вопросил:

— Чего пришел?

Свежий караульщик деревянно ответил:

- Вас с часов сменять! Что есть по сдаче?
- Вот честь и место, ни спать, ни дремать, офицерам честь отдавать! Вот стена, ворота, будка! За порядком смотреть!
- С часов марш! скомандовал разводящий прежнего караула.
- На часы марш! скомандовал другой разводящий, и солдатик-новобранец неуклюже, боком занял пост.

Что будет дальше, Зубачевский наблюдать не стал, ибо страдальческая физиономия молоденького солдата предвещала диалог, известный Зубачевскому.

И верно, разводящий, впившись в часового, сразу как бы осовевшего, приступил к расспросу:

- Ристанты зашумят?
- Доложу начальству.
- Подкоп?

- Доложу начальству.
- А ежели он бегит?
- Доло...

Громадный кулак возник перед носом часового.

— Стрелить? — испуганно нащупывал часовой.

Громадный кулак закачался перед солдатом, тот, как завороженный, поводил глазами.

- Ты мне только забудь, сволочь, ты мне только забудь... Говори: кого допущать должон?
 - Никого-с.
 - К примеру, офицер?
 - Никого не должон!

Разводящий значительно понизил голос:

- А ежели государь амператор?
- Коли ежели знаю в лицо, отрубил солдатик.
- Та-ак. А еще кого?

Солдатик молчал. И наконец разрешился:

- Не могу знать!
- Ax, дур-рак, сокрушенно выдохнул разводящий, и на лице его появилось плаксивое выражение.

Возникло продолжительное объяснение, в котором чаще всего произносилось слово: «пароль». Засим последовала сакраментальная проблема: кому часовой вправе отдать ружье? И тут уж солдатик-бедолага вышел из положения хватом:

— Только вам! И государю амператору, коли ежели знаю в лицо!

Верно, — согласился разводящий и сострил: — А менято знаешь?

Подозревая подвох, солдатик оторопел. Разводящий обречено уронил: «Эх ты, кочерга...» И караул отправился дальше, колыхая штыками и при каждом порыве ветра хватаясь за бескозырные шапки.

Тем временем в тюремной канцелярии Зубачевский, кивнув писарям, старшему надзирателю и служителям, распорядился перемещением одного из каторжных, то есть исполнил маневр, который, как полагал он, не даст Лизогубу совершить непоправимый поступок. Вот она, опытность! Опытность и осведомленность в особенностях арестантской души. А ведь даже прямое начальство не ведает, какие меры приходится принимать в повседневной службе, в которой усматривается один лишь навар, вдвое превышающий жалованье.

Тюремный день начался еще до того, как Зубачевский проснулся. Треск барабана поднял арестантов. И, как всег-

да, — быстрее, чем поднял бы казарму. Нет у солдат этой мітновенной надежды, какая есть у заключенных в минуту пробуждения, — надежды услышать нечто важное и поворотное. Всегда у всех, будь то уголовные, будь то государственные. Сознавай ты тщету ожидания или не сознавай. Оно не зависит ни от скепсиса, ни от знания обстоятельств жизни на воле. Тут неизбывная жажда свободы. И вот — ожидание чуда. Однако лишь мітновение. Ничего не произошло, все, как вчера и третьего дня, все, как завтра и послезавтра. Но тотчас спасительно захватывает вот это начало тюремного дня с его заботами, которые отнюдь не кажутся пустячными.

Да и какие ж тут пустяки, коли стражник-то, крупа тухлая, крыса квелая, скотина рогатая, стражник медлит отчинять камеру! А ведь кому первому отворят, тому и фарт: первыми в ретирадное место, парашники вонючую парашу уберут, водоносы подхватят порожние деревянные бочки, раскачивая на длинных, гладких шестах, продетых в ушки, устремятся к воротам. Да и вообще — время. Сталоть, требуй, чего положено. И сипло из камер непечатное вьется длинной спиралью:

- Отворяй, мать-перемать...

Ключник слушает внимательно, чудится, даже и с затаенным восхишением.

— Полно орать, — наконец отзывается он. Мешкая, он длит приятное состояние своей значительности, веса, власти. — Ишь, лаются, жеребцы.

И вот они, минуты удовольствия от перемены места. Всего-то навсего коридор, сортир, двери, та же вонь, тусклость, скученность. Пусть! Но оно есть, это удовольствие. И у тех, кто поспешает к выгребной яме, и у парашников с тяжело всплескивающей кадкой, и у водоносов. Эти бегут к воротам озаренно, словно там не остановка, не долгий вызов ленивого конвоя для воды, а будто б те глухие ворота сами собой распахнутся, широко распахнутся — и... и... и Бог знает что такое. А в окнах торчат касатки, причесываясь, повязываясь платками, зевая и потягиваясь, отчего груди у них выпирают. Подходи к окнам, задери голову, любезничай. А водоносам и вовсе лафа! Тут, в очереди, есть такие бабочки-водоносочки, первый сорт — один жир. Ах, духом-то шибает, как от печи с пирогами. И услышишь, братец ты мой, с придыханьицем: «Кобелеек... Да будет те...»

Утренние часы не томят, не тянут жилы и еще чудится какая-то деятельность, хотя давно исчезло ожидание «ма-

нифеста», «распоряжениев», словом, чего-то важного и радостного. Близится поверка. Опять убирайся под замок, считать станут и записывать. Страсть неохота уходить со двора. Но старшой, матерый ворюга, в справных вытяжных сапогах, кафтане и картузе, бьет и бьет в колокол.

Двор опустел, поверка началась.

Старшой, сняв картуз, держался от унтера на полшага. «Сколько у тебя здесь?» — спрашивал унтер. Старшому нравилось это «у тебя», нравилось отвечать без запинки. Унтер, не тяготясь пересчетом, черкал плоским, как плотницкий, карандашом на гладкой дощечке, похожей на кухонную, для хлеборезов.

Между тем коллежский асессор Зубачевский переходил из коридора в коридор, с этажа на этаж. Лицо его было суровым. «Вымыть!» «Убрать!» «Чтоб ни соринки!» Зубачевский отлично знал: любое начальство прежде всего подмечает гигиеническое состояние и этим вот состоянием ограничивается. Тонко и точно чувствовал Зубачевский особенность именно тюремной чистоты. Она отличалась от житейской опрятности, от казарменного или больничного порядка. В ней должна присутствовать жесткость и жестокость, она должна подтверждать и утверждать неукрывность заключенного, постоянное и неизменное нахождение на виду, невозможность даже в одиночке испытывать то одиночество, какое время от времени необходимо человеку.

Все это Зубачевский сознавал, но не формулировал. Ему претила заумь кабинетных тюрьмоведов. Какова, скажем, сущность тюрьмы: место наказания или место исправления? И того мудренее: преступление как наказание, наказание как преступление. Да вас бы хоть на денек окунуть в этот омут. Тут и ангел ожесточится! Государство, говорите вы, должно быть беспристрастно? Положим. Но живая душа способна ли, в силах ли? Это не месть преступникам, как думают некоторые, а служба по долгу чести и присяги.

Зубачевский знал, какой страх питали к уголовным люди благонамеренные, а вот у него ни малейшей опаски, ни столечко, и это одаривало сознанием избранности. И сладостью всевластия, какого не было, он верил, ни у воинского начальника, ни у чинов прочих ведомств. Всевластия совершенного, обеспеченного столь же совершенным бесправием арестантов. Чувство это не унижало смотрителя тюремного замка; напротив, возвышало в собственных глазах.

И потому, зайдя в камеру, где вот уж третью неделю жил Фролов, смотритель сверкнул глазами: палач лежал на постели, заложив руки за голову, и не тотчас вскочил, как полагалось бы и как вскакивали уголовные, а помедлил, зевнул, потянулся и только потом изволил подняться и молча, скучающе глядел на Зубачевского своими светлыми, казалось немигающими, зенками.

Коллежский асессор хотел было топнуть ногой и прикрикнуть, но его проняло вдруг чем-то похожим на страх. Впервые за годы службы Зубачевский не знал, как поступить, что сделать. Он отвел глаза, будто интересуясь помещением, и — строго:

- Всем ли доволен?
- Дово-олен... лениво протянул палач.
- По делу томишься? Зубачевский хотел ухмыльнуться иронически, а вышло принужденно.
 - Угу, небрежно прогугнил Фролов.

Губы Зубачевского разомкнулись гневно, но тут он как бы услышал резкое и грозное: «Секи сам!» И почувствовав псзорное бессилие перед этим рукастым мужиком со всклоченной бородой, смотритель круто вышел.

«Секи сам!» помнилось смолоду. Вершилась казнь, кажется, фальшивый монетчик попался, казнь была торговая, кнутобойная. Палач охаживал плетью преступника, а полицмейстера черт догадал скомандовать: «Крепче!» Палач шваркнул кнут о помост, грянул: «Не ндравится?! Секи сам!» Полицмейстер остолбенел. Палач поднял кнут, погрозился: «Ну, ну!» — и продолжал... Раньше помнилось это лишь полицмейстерским конфузом, а сейчас не так: Зубачевского пронизала мысль, что все остановится, ежели палача обидеть. Нет хоть Тотлебен с Панютиным у эшафота встанут, а ведь никто палаческой работы не исполнит. И коллежский асессор подумал, что в палаче есть нечто сверхъестественное, нечеловеческое.

Начиная обход тюрьмы, Зубачевский намеревался посетить и секретные казематы, где смертники. В его намерении не сквозило ни любопытство, ни сострадание. Просто и эти камеры, и эти заключенные подлежали обозрению. Но теперь, после Фролова, что-то дрогнуло, сдвинулось в душе — не мог Зубачевский идти к людям, осужденным на виселицу: он смутно ощутил не то чтобы близость с этими людьми, нет, не близость, но общность.

Зубачевский сел в канцелярии, стал перебирать бумаги и все посматривал в окно, не сигналит ли условно стражник, выставленный для своевременной встречи начальства.

Сендецкий поехал на Скаковое поле. Вчерашняя работа с Барсом порадовала, но настойчивость нужна, и еще раз настойчивость, перерывы пагубны. Кроме того, на ипподроме он рассчитывал встретить ротмистра Бушена. Тот наверняка воспользуется отсутствием дождя, оседлает свою огненную нервную лошадку, и они вместе, ротмистр и подполковник, займутся работой, ревниво, но и дружелюбно приглядывая друг за другом.

Конфирмация по делу двадцати восьми, полагал Сендецкий, уже состоялась. Можно было бы повидать ротмистра, повидать и все узнать, но Сендецкий не поехал на Николаевский бульвар, а поехал на Скаковое поле. Правду сказать, Сендецкий досадовал на свой давешний порыв. Какого рожна было лететь к Бушену и мямлить какую-то несуразицу в защиту незнакомой девицы? В конце концов все они, эдакие, спятили и получают каждая по серьго. Никто из бывших военных судей и бровью не повел, все умыли руки, а он, Сендецкий, все же кое-что предпринял. И довольно! Вот он сейчас ощутит слиянность с конем, скорость и ветер, только бы, черт, не ливанул ливень.

Миновав тюремный замок, Сендецкий увидел вереницу телег, груженных тесом и бревнами, увидел артельщиков с лопатами и плотницким инструментом. Он понял, зачем, по какой надобности эти плотники и землекопы явились на Скаковое поле, и вместе ощутил странное тягостное недоумение, будто и не понимая, зачем они, по какой надобности. В лицо вдруг сильно и прямо понесло смрадом бойни. Сендецкий передернул плечами и велел ехать на Николаевский бульвар.

Тучи неслись, не проливая дождя. Город был темен и хмур. Деревья и кусты, повинуясь ветру, простирали ветви во след тучам и тоже, казалось, неслись и неслись.

За домами и деревьями мощный штормовой накат разбивался на каменных молах, и его длинный туннельный гул сменялся как бы пушечными ударами. У резиденции генерал-губернатора стояли солдаты и офицеры, одетые парадно. Военным глазом подполковник заметил то выражение скуки и беспокойства, которое, несомненно, означало, что все эти армейские люди прибыли для уставной церемонии. Расплачиваясь с извозчиком, Сендецкий сообразил, что Тотлебен еще не возвратился в Одессу, а то какого бы дьявола томились солдаты и офицеры, отряженные для торжественной встречи генерала... Но если Тотлебен не при-

ехал, стало быть, приговор не конфирмован, ну и ротмистра искать не имело смысла. Да ведь Сендецкий и не намеревался искать Бушена, а вдруг, ни с того ни с сего, потерял голову и очутился здесь, у дворца. Словом, опять вышел какой-то нелепый порыв, простительный разве что романтическому поручику. И смешно, и стыдно. Ему захотелось стушеваться, но кто-то уже здоровался с ним и о чем-то спрашивал.

Этот кто-то был адъютант второй пехотной бригады, один из тех штабных «моншеров», которых Сендецкий, как многие фронтовые офицеры, не жаловал. Капитан околачивался у дворца потому, что на встречу Тотлебена явился, разумеется, его начальник, бригадный генерал, а вот, почему явился Сендецкий, это-то и было любопытно узнать. Подполковник с внезапной злобностью отвечал, что у него, дескать, приватная докука к ротмистру Бушену. Капитан рассмеялся. Смеясь, он обнажал розовые десны, и эта его манера всегда, а сейчас особенно, была неприятна Сендецкому.

— A-a, ну, как же, как же, — весело и понимающе кивал адъютант, — вечные у вас счеты с Бушеном!

Капитан, конечно, имел в виду скаковое соперничество, и в другое время Сендецкий только усмехнулся бы, но сейчас все так же злобно отрезал:

Ошибаетесь!

Капитан, привычный к любезному, даже искательному тону бригадных офицеров, обиженно поджал губы. А Сендецкому теперь уж действительно ничего не оставалось, как только отыскивать ротмистра или по крайней мере сделать вид, что он его отыскивает в генерал-губернаторской канцелярии.

Шторм сильно задерживал прибытие парохода «Эриклик», и на генеральских и чиновничьих лицах было то же выражение скуки и беспокойства, какое было у солдат и офицеров, стоявших как бы биваком.

Военная и статская публика, разбившись группами или взявшись об руку, переговаривалась, курила, расхаживала. Тут были и управляющий канцелярией важный, умный, благообразный Кастальский, и градоначальник Гейнс, монументальный мужчина с губами фавна, и полковник Кноп в новехоньком небесном мундире, и его вечные спутники — изящный князь Шаховской и Вилье де Лиль-Адан, эдакая жердь с падающими на лоб прямыми соломенными волосами, и военный прокурор Галицынский с зализанными височками, Галицынский, преисполненный особенного

достоинства по причине блистательного завершения судебного процесса.

Но главным тут был старик лет шестидесяти, высокий и грузный, с седым ежиком, в мешковатом черном фраке со звездою. На толстом лице его, изборожденном морщинами, как бы однажды и навсегда оттиснулась угрюмая непреклонность. В одесских сферах считали, что не он, тайный советник Панютин, правая рука генерал-губернатора, а сам Тотлебен — и правая и левая рука своего помощника.

Лет пятнадцать тому, в Польше, Степан Федорович ссылал да вешал. Он служил истово. Майорат, предложенный ему в Ковенской губернии, Панютин гневно отверг: «Я конфисковывал имущество повстанцев не для того, чтобы обогатиться за счет врагов государя». Отверг. И убил двух зайцев: майорат приносил бы пять тысяч дохода, а государь пожаловал отказчику пожизненный пенсион в шесть тысяч; пожаловал и более существенное — постоянную августейшую благосклонность. Ни один сановник, близкий к трону, не мог уронить кредит Степана Федоровича. Если кто-либо и заикался об узости его понятий, государь обрывал критиков: «Это-то и нужно!»

В Одессе Степан Федорович действовал столь же круто, как некогда в Варшаве и Вильне. Любой чиновник знал, что Тотлебен подписывает едва ли не все, что преподнесет ему Панютин.

Административное право и административное бесправие вершились в панютинской канцелярии на Софиевской улице. Просителей принимал он в соответствии с назначенными часами и днями. Никто никогда не видел на его лице даже подобия любезной мины. Женщинам, добивавшимся аудиенции Тотлебена в надежде спасти родственников от тюрьмы или ссылки, тайный советник цедил по слогам своим лишенным модуляций голосом: «Дай-те вашу бу-магу». И не читая, медленно, с наслаждением рвал, приговаривая: «Вот кто ге-не-рал-гу-бер-на-тор!» А вчерашнюю беременную и заплаканную просительницу он отстранил локтем: «Уби-рай-тесь! Еще взду-ма-ете рожать здесь...»

Морская погодливость, задерживая прибытие парохода «Эриклик», была досадна и огорчительна. Каким бы самостоятельным Панютин ни был, сколь бы независимым себя ни сознавал, но субординация требовала его присутствия: в резиденции на Николаевском бульваре, и он присутствовал, он дожидался.

Справедливости ради следует сказать, что дело было не только в субординации. Среди прочих бумаг на столе Тотлебена лежал приговор по делу двадцати восьми, нынче настал срок конфирмации, а малейшее промедление в такого рода делопроизводстве представлялось Панютину совершенно недопустимым. И вот тут-то было тонкое, щекотливое обстоятельство, о котором думал он, грузно умостившись в глубоком кресле и рассеянно посматривая на генералов и чиновников.

О нет, Панютин ничуть не сомневался ни в коренной преданности Тотлебена престолу и династии, ни в пренебрежении Эдуарда Ивановича к юридическим извивам, ни, наконец, в своем, панютинском, почти гипнотическом влиянии на старого воина. Не сомневался, и все же герою Севастополя и Плевны надлежало впервые за долгую жизнь утверждать смертные приговоры.

Тайному советнику уже случалось наблюдать некоторые, пусть мимолетные и слабые, колебания Эдуарда Ивановича при решении арестных и ссылочных дел. А нынче речь шла о пят и виселицах. Разумеется, Тотлебен наперед знал, что без них не обойтись, и согласился еще до суда вытребовать палача, это верно, и все же...

В душе Степана Федоровича шевельнулось что-то похожее на сострадание к Тотлебену; легкое и снисходительное, оно сразу угасло в мрачном предположении на тот счет, что по крайней мере один из смертных приговоров может, пожалуй, вызвать замешательство генерал-губернатора. Негласные жандармские сведения есть, а вот доказательств весомых нет. Конечно, сведения дороже доказательств, да как бы сердце-то не дрогнуло... Дурацкие у хохлов фамилии, брюзгливо подумалось тайному советнику, дурацкие, ей-Богу: Ли-зо-губ... Приговор нельзя, решительно нельзя счесть неправильным. В Петербурге, хоть и промешкав, хватились: на проклятых судебных уставах, долго не продержишься, необходимы меры чрезвычайные. И они уже приняты. Приняты как раз потому, что возникло ужасное сообщество, к которому принадлежал и этот Лизогуб. Да, слава Богу, второй уж год, как образовано в столице Особое совещание для истребления злодеев, провозглащающих произвол, то бишь революцию. Говорят, кто-то из выщних сановников язвит: дескать, наше Особое совещание всего-то навсего «Комитет общественного квазиспасения». Умники, пригревшиеся подле доброго государя, способны на острое словцо, но не способны на острое дело. Есть, однако, люди истинно государственные, понимающие, в

чем благо России. И они действуют без оглядки на судебные уставы, на санкции прокуратуры, на казуистику кабинетных юристов. Когда дом горит, не время поливать комнатные цветочки. Нет и нет, приговор Лизогубу, как и прочим мерзавцам, вполне соответствует экстраординарному положению вещей.

И все же тайный советник не был уверен, что сердце Тотлебена не дрогнет рассудку вопреки. И уж тут, в такую минуту, следует укрепить генерала. В панютинском намерении была не только та угрюмая непреклонность, которая однажды навсегда оттиснулась на его толстом морщинистом лице, а было еще и искреннее желание предотвратить ложный шаг Эдуарда Ивановича: ведь Тотлебен впоследствии не простит этого самому себе.

Странная слабость и жар вдруг разлились по всему телу Степана Федоровича. В последнее время такое случалось, и всякий раз мнительный тайный советник страшно пугался.

Он подозвал ротмистра Бушена и, отирая лоб, спросил, нет ли известий из гавани. Ротмистр отвечал отрицательно, у него был вид человека, повинного и в непогоде, и в правилах моряков не приближаться во время шторма к берегу.

Панютин помедлил: в душе боролись долг и опасение удара — он был уверен, что внезапная слабость и жар предвещают апоплексию. Испуганный, бледный, он хотел сейчас одного: поскорее очутиться дома и отдаться попечениям жены, с которой прожил рука в руку тридцать пять лет.

Он тяжело поднялся.

— Пошлите за мной, как только прибудет Эдуард Иванович. Непременно. Хоть в полночь, хоть за полночь.

Бушен почтительно наклонил голову и пошел проводить тайного советника до экипажа. В приемной ротмистр заметил Сендецкого. Подвижная физиономия Бушена выразила досаду несвоевременностью визита друга-соперника, но засим движением бровей сообщила, что смысл визита ясен; все завершилось игрой лицевых мускулов, по всей вероятности означавшей: не обещаю, однако не забыл, помню. «Ну, теперь уж никто, как Бог», — освобожденио и почти радостно подумал подполковник и поспешил вон из канцелярии.

Несколько минут спустя агенты, денно-нощно охранявшие тайного советника, вскочили на коней. Панютин, поддержанный под локоток Бушеном, сел в экипаж и уехал.

По дороге домой Степан Федорович уже не размышлял ни о чрезвычайных мерах, ни о петербургском Особом со-

вещании, ни о конфирмации, ни о Тотлебене, а испуганно прислушивался к самому себе, и ему казалось, что слабость и жар нарастают. Грузный и осанистый, он словно бы сделался маленьким и жалким. Ему вообразилось, что он умрет в карете. И тайный советник Панютин не то прерывисто вздохнул, не то всхлипнул.

4

В этот день, в среду, еще до заревого барабанного треска, Лизогуб сознал, что нынче ему не удастся ни властвовать над своими воспоминаниями, ни подпасть под власть своих воспоминаний.

В этот восьмой день августа Лизогуба как врасплох захватило то, от чего вчера он избавился, — проклятая, безумная, нелепая и подлая надежда на изменение приговора при конфирмации.

Он все же пытался вернуться мыслью в дом Симиренков, где музицировала Ольга Желябова, к Белоконскому вернуться и к Льоне Симиренке, к тогдашним разговорам с Осинским о поездке в Киев, на минуту привиделись ему киевский снегопад, киевское лето, красавец тенор и плачущая старушка Керн, но все зыбилось, путалось, ускользало, смешиваясь совсем с другим, с питерской квартирой на Бассейной, куда пришла Анна Ардашева, пришла, стряхнула и сложила мокрый зонтик... Какое-т неуничтожимое чувство, подумал Лизогуб, что-то во вкусе Сен-Пре, как в «Новой Элоизе» Руссо... И опять все зыбилось, ускользало и путалось, окутываясь мучительной надеждой, нелепость которой он понимал лишь умом...

А в Петербурге, на Бассейной, когда пришла Анна Ардашева, действительно возникло в душе Лизогуба особенное чувство — не пожирающая страсть, а, пожалуй, именно неуничтожимое, ни прежде, ни потом не испытанное.

В Петербург Лизогуб, один из членов-учредителей тайной «Земли и Воли», наезжал нередко, он ведь всегда был в пути — Чернигов, Киев, Полтава, Каменец-Подольск, а потом Петербург — и, петляя, озираясь, приходил на Бассейную, в конспиративную квартиру, где встречались и питерцы, и провинциалы.

Русский прогресс мыслился им прогрессом мужицкой общины — совместная обработка земли, совместное пользование дарами земли; основа основ общественной жизни —

мирская крестьянская сходка, проникнутая здоровыми и здравыми социалистическими инстинктами. А мощный рычаг обновления — переворот, скорейший и насильственный. Скорейший, ибо давно пора хранителю и сеятелю избавиться от подлейшего угнетения, мрака и обнищания, а вместе и уберечься от гангрены капитализма, от язв пролетариатства.

В положениях «Земли и Воли» было и решительное неприятие борьбы за политические свободы. Политика? Полноте, не стыдно ль подпевать либералам буржуа! Политика? Прямая измена чисто народным чаяниям! Кому на руку пресловутые политические свободы? Наживалам, мироедам, лакействующим профессорам и гуттаперчевым земцам. Взгляните на европейские парламенты-говорильни. Много ль от них проку?

Однако существует на свете и то, что называют ходом вещей или иронией истории, и этот спотыкливый, обрывистый ход, эта мрачная ирония разъедали, грызли и рушили твердокаменных отрицателей, хотя поначалу они полагали, что ничуть не сдвигают свои краеугольные принципы, а только... только отказываются от пассивности в пользу активности. Да и как иначе? Как, господа, иначе, если в наше бытие свирепо ломится, сметая даже собственные юридические нормы, этот старый грязный когтистый мир, окруженный солдатскими штыками и шпионами, голубыми офицерами и чиновниками с прокурорскими значками?

Не стратегию меняли — тактику. Кто сохранит докторальное бесстрастие, когда на правдивое слово отвечают неправедным делом, которое вершится под сводами казематов? Не стратегию меняли — тактику.

А на Пантелеймоновской, у Цепного моста, там перебеляли: «В местечке Седневе, Черниговской губернии, Горадницкого уезда, проживает дворянин Дмитрий Лизогуб. Личность эта, бывая в здешней столице, рассказывает, что для острастки правительства необходимо принять более серьезные меры, а именно оказывать сопротивление с оружием в руках. Не есть ли он организатор вооруженных шаек?» И ловко, в три стежка канцелярист подшивал справки из губернии: дворянин Дмитрий Лизогуб занимается денежными спекуляциями; частные агентурные сведения говорят о Лизогубе как о личности крайне неблагоналежной в политическом отношении...

Приезды-отъезды подчас не ускользали от петербургских вокзальных филеров, но филеры еще ни разу не «взяли проследкой» его посещения квартиры на Бассейной.

маленькой, в две комнаты, конспиративной квартиры, светлой и чистой.

Не проследили и в то сумрачное предвечерье, когда на Бассейную пришла Ардашева. Сек осенний дождь, Анна Илларионовна, однако, не успела вымокнуть — защищалась зонтом, да и жила-то поблизости, в Эртелевом переулке.

Молодая женщина, почти барышня, ничем не поразила, не привлекла Лизогуба. Впрочем, он, к женщинам нарочито неприметливый, на сей раз как бы машинально отметил легкое и вместе сильное движение, каким она встряхнула и сложила зонтик. В движении этом была особенная, тихая грация.

Ардашева переговорила за стеной с Александром Микайловым и Осинским и, уходя, подала, не улыбаясь, руку Лизогубу. Дмитрию Андреевичу вдруг стало жаль, что ей надо выходить из дому в сумрак и непогоду. Но едва она ушла, как он, казалось, совершенно забыл об этой Ардашевой, а если и не забыл, то разве лишь в смысле требования Михайлова — неизменный устроитель всех и всяческих конспираций, тот рекомендовал Анну верным человеком и велел затвердить ее адрес.

Лизогуб тогда дольше обыкновенного прожил в Петербурге. Он еще и еще встретил Ардашеву. Она была серьезна и неулыбчива; в ней угадывалась самостоятельность не по летам. Офицерская дочь, в детстве лишившаяся матери, а в юности отца, жила она на скудные родительские сбережения, брала уроки и корректуры, бегала на медицинские курсы и с молчаливой сосредоточенностью выполняла поручения организации, пусть и не слишком важные, но подчас слишком утомительные для такой, как говорится, птичкиневелички. Держалась она со всеми ровно, никому как казалось Лизогубу, не отдавая предпочтения.

В ее внешности Дмитрий Андреевич по-прежнему не находил примечательного: худенькая, почти хрупкая, черноволосая, темноглазая Ардашева решительно не выдавалась из ряда сверстниц-нигилисток, Лизогубу знакомых. Может быть, единственное, что ее отличало и что, признаться, он всякий раз все с той же кажущейся машинальностью подмечал, так это сдержанная грация походки — шла, как по стежке, след в след. И вот это-то единственное волновало и привлекало Дмитрия Андреевича, словно бы музыкальный отрывок из давнего, детского, черниговского.

Дмитрий Андреевич никак не мог остановить свое текучее ощущение, ускользало оно и не давалось, пока однаж-

ды, без связи и как бы нежданно, не то чтобы отчетливо вспомнил, но отчетливо почувствовал: ах да, Голицына... И пожав плечами, коротко рассмеялся. Явилась ли и вправду губернаторша Голицына, предмет детской влюбленности, или то был женский портрет в галерее Монпелье? Этого он определить не умел, но побился бы об заклад, что никакого, совсем никакого не было сходства у Ардашевой ни с княгиней Голицыной, ни с дамой, на портрет которой он засматривался в отрочестве. Никакого сходства, а между тем... И Лизогуб опять смутился. Он отдернул занавеску и отворил форточку.

Было поздно, тихо, потом послышался бой башенных часов, торопливый стук одинокой пролетки. Лизогуб почему-то подумал, что вместе с затихающим шумом затихнут растерянность его и тревога и тогда, в безмолвии, он все поймет, хотя он и не понимал, что же это такое ему надо понять. Но — странно — вместе и не хотелось, чтобы шум истаял, а хотелось, чтобы еще и еще бежали кони, глухо ударяя по сырым торцам, чтобы звенел вагон и Невский не был безлюден.

Все стихло. Не побежали кони, не зазвенел вагон, ночной проспект был пуст. Резкий воздух садил из форточки. Не так было, не то, но он все понял.

На следующий день Лизогуб уезжал. Он повидал Осинского, повидал Михайлова, до поезда оставалось часа три. Ее нет дома, сказал он себе. Ее нет дома, а у тебя нет к ней дела. И... и очутился в Эртелевом, и стоял у кондитерской — ждал... Нет, не увидел, как она идет, ступая след в след, словно по стежке, не дождался. Но не огорчился, напротив, обрадовался: встреча как бы сберегалась до следующего приезда.

Дмитрий Андреевич пошел на Николаевский вокзал, улыбаясь над своей уверенностью в будущем приезде; уверенности такой никогда не было, да вот вдруг и взялась невесть почему и откуда...

Жандармы были отчасти правы, объясняя поездки Лизогуба «денежными спекуляциями». Дриго, управляющий его имениями, исключая седневское, Дриго, настороженный и цепкий, сидел в гостиницах и гостиных, занятый переговорами с покупателями. Бывший учитель отпустил окладистую бороду, вид у него был, что называется, палец в рот не клади, но, если правду, очень Дриго страшился дать по неопытности маху.

Покупатели наведывались в губернский нотариат, из пухлых книг вызнавали, как оценены земельные уголья са-

мим хозяином, потому и приходилось Дриге упорно рядиться. Помилуйте, сударь, да какой же недотепа укажет нотариату настоящую цену: эдак ведь сумма-то казенной пошлины с имения, она же под облака взовьется! Не-ет, господа, вы уж справьтесь в земской управе, любой писаришка укажет: в наших краях средняя цена за десятину клина — сорок целковых. Извольте-ка вникнуть: средняя! А настоящая по нынешним временам не меньше семидесяти.

Покупатели, продувные бестии, и нотариусы, важные как алхимики, «Вексельное право» Миловидова, купчие крепости, справки и описи — ей-Богу, спятишь. А Дмитрий Аидреевич торопит: «Скорей, скорей!» И сердится: «Еще не продано?» И приказывает: «Заложи!» Вот и бросаешься в Общество взаимного поземельного кредита. А там сонный поверенный лысину трет, «Инструкцию» тычет — оценка заклада производится по чистому доходу от каждой статьи хозяйства, посему необходимо освидетельствовать на месте, а сие весьма затруднительно по причине... Жужжит, сукин сын, ждет не дождется барашка в бумажке.

Лизогуб сочувствовал Дриге: укатывали Володеньку крутые горки всех этих оборотов и сделок, от которых нет прибылей и не будет. Отпустивший бороду, озабоченный Дриго казался значительно старше, и Лизогуб наградил его кличкой Дед. Дриго отмахнулся — Дед так Дед. И снисходительно подумал, что девки и бабы дедом не числят.

На что идут, куда плывут немалые деньги, Дриго догадывался. Невелик труд догадаться, если Митя поручает отвезти или передать такую-то сумму такому-то человеку, а человек сей возникает и пропадает, яко тать в нощи. Была у Дриги заведена и лесная хижина, где таковским был готов и стол и кров. А еще случалось — и частенько возить тайком, на своей таратайке, самому за кучера, возить их в Киев. Мост через Днепр не переезжая, ссаживал на черниговской стороне, в бору, где в старое времечко стреляли кабанов и коз, а теперь все дружнее и гибельнее раздавался топор дровосеков.

Безудержность лизогубовских трат повергала Дригу в тревогу и беспокойство. Еще в начале знакомства, в доме Вербицких, Дриго, привязавшись к Лизогубу, принял на себя обязанность оберегать Митю, натуру незащищенную и открытую и — как бы выразиться? — несколько простоватую. Дриго не подозревал Митиных товарищей в том, что они пользуются лизогубовским кошельком, как собственным, но все же была ему неприятна и даже обидна та легкость, с какой они принимали Митины денежки.

Чувство это подкреплялось тем, что сам Дриго был чист, к рукам не прилипло и красненькой, хотя контролер из Мити, что из архиерея канатоходец. Митина безоглядность подчас злила Дригу: он ощущал себя чуть ли не Савельичем при Петруше Гриневе.

Дриго пробовал ворчать. Лизогуб поначалу отшучивался, потом вспылил. Срывающимся голосом, страшно нервничая, он стал говорить о громадной недостаче средств для дела, о голодающих друзьях, буквально голодающих, ради куска хлеба один тачает сапоги, другой — не смейте улыбаться! — поет в кафешантане, третьи грузят кули на пристанях и станциях. Но и это не все: есть пленники — гибнут, глохнут и слепнут в тюрьмах... Дриго выслушал молча, он признавал Митину правоту. И смирял в себе «Савельича».

Многое доверял ему Лизогуб, но в цель своего напора — продать, поскорее обратить в деньги — не посвящал. Все определялось не только новыми замыслами, новой тактикой, к которой склонилась часть землевольцев, Лизогуб из первых, а еще и параграфом шестнадцатым. Разделяя землевольческую программу и устав, Дмитрий Андреевич принимал и шестнадцатый уставной пункт: «Члены основного кружка, с которыми связано общественное имущество или соединены какие-нибудь важные связи, должны беречь себя и по возможности не принимать участия в опасных предприятиях».

Принимал он этот параграф скрепя сердце. И до поры. Его личное имущество было имуществом общественным. Так он решил давно, неотступно, навсегда. Но отвечая за имущество общественное, заключавшееся в наследственном богатстве, Дмитрий Андреевич торопился избавиться от него — обратить в деньги да и вручить организации тысяч полтораста, а то и двести. В этой поспешности таился личный расчет, никому, даже Осинскому, не известный: освободившись от наследственного богатства, Лизогуб освободился бы и от императива шестнадцатого параграфа, получив право на участие в опасных предприятиях. И он подгонял Дригу, хотя тоже не хотел продешевить.

Возвращаясь в Петербург, выходя из вагона третьего класса на дебаркадер, Лизогуб попадал в водоворот, его немилосердно пихали локтями и багажом, он незлобливо усмехался: «Встречают по одежке!» Одежкой Лизогуб не отличался от какого-нибудь забубенного копииста: мятый нанковый пиджак, брюки, пузырящиеся на коленях, пальтишко, что называется, на рыбьем меху да кожаный кар-

тузик, из тех, которым, как клятвенно уверяют старьевщики, нету сноса.

В среде его единомышленников мизерность личных трат почиталась правилом чести, но Лизогуб, по общему мнению, достигал геркулесовых столпов, за что и получал распеканции от Саши Михайлова, все обнимавшего своей бдительной заботливостью. «Не в Африке, — ворчал Михайлов, — одевайся теплее, захвораешь». И развивал теорию аскетизма разумного, упирая именно на разумность.

Аскеза Лизогуба держалась не только на самоограничении в пользу дела. Был еще и мотив презрения к власти вещей, удобств, прихотей, было и мстительное отречение, — Лизогуб словно бы сводил счеты с тиранией вещей, удобств, прихотей.

И вот он шел в своем картузике, в своих сбитых сапожонках, в своем пальтишке на рыбьем меху, а во внутреннем кармане лежали накрепко зашитые суровой ниткой восемь тысяч рублей. И уж эти-то тыщи предназначались не «пропагаторству», а «дезорганизаторству» — действиям боевым.

В Эртелевом, у Ардашевой, ему надо было осведомиться, не провалилась ли квартира на Бассейной. Миновав угловую кондитерскую, размывчато и длинно отразившись в ее витрине, Лизогуб подошел к дому, где некогда живал музыкант Глинка, и, осмотревшись, углубился в сумрак ворот.

Ардашева улыбнулась открыто, дружески. В ее движениях была тихая грация, отозвавшаяся в душе Лизогуба все той же, уже знакомой музыкальной фразой, созвучной с черниговской Голицыной и монпельевским портретом.

Не хотелось говорить с Анной как с лицом, причастным к конспирациям, а хотелось домашнего чаепития и разговоров, хоть о погоде. Угадала ль Анна, нет ли, но разговор и вправду сложился про обыденное, и Лизогуб с неподдельным интересом слушал о медицинских курсах и практических занятиях в госпитале на Слоновой улице и о том, что брат ее, артиллерист, человек очень хороший, но, к сожалению, лишен высших интересов, ничего, кроме своих пушек и чужих женщин, знать не знает. Лизогуб улыбался и переспрашивал, было ему тепло, уютно, хорошо.

Она рассмеялась и сказала, что, должно быть, наскучила пустяками, а он протестующе помахал рукой и тоже засмеялся, а она спросила, где он учился, есть ли у неге в Петербурге родные, и Дмитрию Андреевичу тотчас захотелось все это рассказать, но тут послышался звонок, услов-

ный, тройной, с неодинаковыми паузами, — и Анна, встрепенувшись, побежала отворять.

Пришел Михайлов, оживленный, бодрый, влажно блестя серыми глазами, воскликнул: «О, Митенька!» — и обнял Лизогуба и поцеловал, мягко охладив его щеку своей волглой бородой. На вопросы Михайлова отвечал Лизогуб замедленно, будто не сразу улавливая их смысл. Условившись о завтрашнем свидании, ушли они не вместе, а — конспирация! — друг за другом. И то, что Михайлов ушел первым, блеснуло Лизогубу робкой надеждой. Но едва взглянув на Анну, Лизогуб, уже стоя в передней, надев пальто и держа картузик всмятку и на отлете, поспешно приложился к ее руке, бормоча благодарность за гостеприимство, бормоча по-французски, заученно и светски, чувствуя притом, что он окончательно уничтожился.

В меблирашке Дмитрий Андреевич попытался собраться с мыслями, но все выходило не так, неверно, банально, даже, пожалуй, и пошло, однако и нечто вполне определенное обозначилось, и он вдруг горько подумал: «Эх ты, Лассаль...»

С какого края и бока помянут был немецкий революционер, объяснить было бы затруднительно, если бы кто-нибудь спросил объяснения, но Лизогуб находился наедине с собою, и это «Эх ты, Лассаль» адресовал он себе по причине не то чтобы сложной, но путаной.

Вчера еще, в тесном вагоне третьего класса, с его неизбывным запахом мешковины, простого табака и смазных сапог, Лизогуб листал «Вестник Европы». Журнал открывал автор с жалостной фамилией — Забытый, фамилией, как иронически подумалось Дмитрию Андреевичу, подходящей легиону беллетристов. Далее публиковались и стихи, и внутреннее обозрение, и заметки о новых книгах, и биография какого-то адмирала... Дмитрий Андреевич приник к разделу «Романический эпизод из жизни Фердинанда Лассаля. Дневник. Переписка. Исповедь».

Лизогубу давно было знакомо имя Лассаля. Его сочинения, изданные обществом «чайковцев», коть и подверглись запрещению за крайне вредное общее направление, а равно и за суждения о христианстве, монархизме и частной собственности, однако запрещение опоздало, первый том разошелся, второй — в немногих экземплярах — ходил с рук на руки, и Лизогуб, еще студентом, штудировал оба тома. А сейчас в «Вестнике Европы» редактор-издатель угощал публику Лассалем интимным, предлагая бумаги некой дамы. Лассаль познакомился с ней, тогда девятнадцатилет-

ний, в Германии, влюбился бурно и просил руки; она, поколебавшись, отказала, потом вернулась в Россию, а теперь, спустя годы и годы... Правда, Лассаль вот уж больше десяти лет, как погиб на дуэли, но правда и то, что писал он возлюбленной, а не в редакцию на Галерной улице, не иногородним и столичным подписчикам господина Стасюлевича... Не без укоризны своему любопытству Лизогуб стал читать и, чем дальше, тем сильнее проникался колючей насмешливостью — экая самовлюбленность этот влюбленный Фердинанд: «Люди моего закала рождены для того, чтобы страдать... Пусть другие будут счастливы! Натуре, подобной моей, достаточно сражаться, проливать медленно до последней капли свою кровь, проглотить собственное сердце и, нося смерть в душе, казаться улыбающимся...»

За письмами следовала «Исповедь», встречались мысли возвышенные, но все равно так и проглядывал фехтовальщик, играющий на солнце своей шпагой.

Дмитрий Андреевич упрекал себя в черствости, в чрезмерной взыскательности: Лассаль писал не для чужих, холодных глаз, писал в экзальтации. Да и, признаться, многое, ах, многое отзывается в душе, потому что была та ночь в меблирашке, торопливый стук пролетки, пустынный Невский, бой башенных часов — ночь, когда он понял свое чувство к Анне.

Нынче днем, встретившись с нею, Лизогуб нисколько не помышлял об «эпистолярном Фердинанде», но сейчас, поздним вечером, в меблирашке, сознав, что значила эта внезапно прихлынувшая к ее щекам кровь, этот ее порыв и радость при звонке Михайлова, сейчас Дмитрий Андреевич ощутил что-то похожее на близость к «эпистолярному Фердинанду» и вдруг, как ни дико, потянуло к перу и бумаге. Ни пера, ни бумаги, ни карандаша, ни чернил в комнате, слава Богу, не было. «Эх ты, Лассаль», — принужденно и с горечью усмехнулся Лизогуб.

В ту минуту ему почему-то подумалось, что проживет он недолго. Ребенком, в Седневе, в темноте детской, случалось, пригнетала мысль, что и его, Митю, когда-нибудь отпоют во гробе, было нестерпимо жаль себя, текли горючие слезки. С давних, седневских лет мысль о смерти не возникала и вот явилась впервые, но — странно — стояла строго и независимо от душевной смятенности. И Лизогуб не отогнал ее беспечно, но и не поежился, а просто сознал, что так и будет.

В Эртелевом он больше не дожидался, когда она пройдет своей узенькой походкой, однако, вернувшись на роди-

ну, не запрещал себе думать об Ардашевой. Он не терзался ни своей неразделенной любовью, ни ревностью к Михайлову. Внезапная уверенность в краткости отпущенных ему дней не только не ввергла в мизантропию — напротив, одарила живым спокойствием, в котором было и это неуничтожимое чувство к Анне.

Но однажды — уже в Киеве, на Левашевской, — однажды что-то словно бы подстерегло его и захватило. Да, в Киеве, на Левашевской, погожим субботним вечером, при обстоятельствах случайных и, пожалуй, трагикомических. И в ту субботу опять вспомнился Лассаль.

Вспомнилось Лизогубу, как при чтении «Вестника Европы» его неприятно поразила утонченная роскошь берлинской квартиры Лассаля: одна из комнат в восточном вкусе, другая в коврах и бархатных драпировках, третья с инкрустированными столиками, кальяном, янтарем, зимний сад, концертный рояль и японские вазы, и картины, картины, картины... Лизогуб словно обманулся в праведнике. Сказано: «Сами пьют вино, а другим предлагают воду». Нет, не совсем так. Сострадают тем, кто довольствуется водою, но, сострадая, от вина не отказываются. Лассаль, проклинавший собственников, вопиявший за несчастного пролетария, жил, оказывается, вельможей. Впрочем, и не вельможей, а выскочкой-буржуа. И Лизогуб почувствовал презрение, в котором дворянская брезгливость смешалась с демократической, а все это вместе соединилось с чувством славянского превосходства над европейским филистерством.

Собравшись на Левашевскую, Дмитрий Андреевич вспомнил про Лассаля и его виллу потому, что имел в виду одну комиссию — надо было срочно продать несколько превосходных картин — итальянских, прошлого века, и гравюр, английских, тоже восемнадцатого столетия, картин и гравюр из седневского поместья.

Ему уже случалось продавать картины в Петербурге, в последний свой приезд. Он обратился к художнику Жемчужникову, старому другу лизогубовского семейства; к тому самому Жемчужникову, который звал его Митя-Не-Просит. Лев Михайлович посоветовал пойти в академию, к живописцу Лагорио.

Усатый, в седеющих бакенах, одетый в широкую блузу с небрежно повязанным черным галстуком, Лагорио оторвался от работы, быстро взглянул на молодого человека в невозможном костюме и стоптанных сапожонках, крякнул и протянул двугривенный: на, бедняк натурщик, получи-ка и не мешай. Дмитрий Андреевич назвался. Лагорио уронил

кисть. Ужели Митя Лизогуб? Ужели смугленький сынок Андрея Ивановича? Иисусе Христе, что же это такое, что же это такое?.. Лагорио навещал Седнев вместе с Жемчужниковым, рисовал заветную вековую липу, ездил с Митиным отцом по Десне в большой лодке, выдолбленной из цельного дуба. О, счастливое, невозвратное время...

Так вот, в Петербурге-то выручили Лагорио и Жемчужников, а теперь некогда было возить картины в Петербург, деньги были нужны срочно, а Дриго, замешкавшись с очередной сделкой, только и пособил, что узнал у своего киевского дядюшки-генерала, к кому обратиться за содействием.

Рокотов жил на Левашевской. Лизогуб был о нем наслышан. Еще до реформы этот Рокотов крепостных своих отпустил, но не голышом при фиговом листке личной свободы, а щедро наделив землей. Поселившись в Киеве, он не служил на теплых местечках, а служил, как говорится, на ниве общественной пользы: издавал либеральвскоре запрещенную, газету. потом народный театр, успешно, кажется, прогоравший. С властями Рокотов не якшался, исключая дядюшку Дриги, генерала, да и с тем был скорее в вежливых отношениях. нежели на дружеской ноге. А на дружеской ноге был Рокотов с людьми нечиновными из круга артистического, литераторского, студенческого.

Заслышав фортепиано, голоса, звон посуды, Лизогуб решил, что он не ко времени, но дело не терпело отлагательств, и Дмитрий Андреевич, подавив смущение, спросил хозяина. Мягко и быстро ступая, вышел худощавый, узколицый человек в расшитой русской рубахе и шароварах, заправленных в шевровые сапожки. Лизогуб торопливо представился. Рокотов любезно взял его за руку и увел в комнаты.

Лизогуб объяснил, с чем пожаловал. Рокотов понимающе кивнул, справился, в каком состоянии картины, о цене тоже, подумал и, пристукнув кулаком о кулак, обещал все уладить дня в три. Лизогуб поклонился и пошел было к выходу, но Рокотов весело воскликнул: «Куда? У нас же Федор Петрович! Вы понимаете: сам Федор Петрович Комиссаржевский!» — и, не давая опомниться, потащил в столовую.

Публика была актерская, с добавкой юношей-универсантов, которых Лизогуб отнес к юристам или к филологам, потому что на них были пиджачные пары и штиблеты, а не хламиды, пледы и ботфорты, как на лохматых медиках. Чуть в стороне располагались в креслах старуха в кружевной наколке, пожилой господин и молодой господин, оба конопатые и тошие.

За фортепиано сидела миловидная хозяйка; рядом стояли, переводя дыхание, певец и певица, они только что исполнили дуэт, и певец приглашающим жестом пропускал партнершу к накрытому для ужина столу; но тут старушка в кружевной наколке молвила, подняв лорнет:

Федор Петрович, пожалуйста, романс, посвященный мне.

Комиссаржевский, солист императорского Мариинского, гастролировавший в Киеве, как бы в легком недоумении развел руками:

- Извините, дорогая Анна Петровна, это какой же? На морщинистом, совершенно заурядном лице старой дамы выразилась кокетливая укоризна.
- «Я помню чудное мгновенье», пояснила она, лорнируя Комиссаржевского.
- Ах, дорогая Анна Петровна, словно бы спохватившись и досадуя на себя, отвечал тенор. Как же, как же!

Даже тот, кому в колыбели топтыгин наступил на ухо, и тот бы догадался, что солист нарочито фальшивит и, закатывая очи, изображает огненную страсть. В публике произошло конфузливое движение, все замерли, бросая умоляющие взгляды на Комиссаржевского и совестясь взглянуть на «гения чистой красоты». А она ничего не замечала, в ее морщинах текли слезы. Муж ее, пожилой господин, и конопатый сын-верзила окостенели. Рокотов не знал, что делать. Наконец аккомпаниаторша, хозяйка дома, столь выразительно-гневно шепнула: «Перестаньте!», что Комиссаржевский на мгновение осекся, а в следующее мгновение пел, уже не детонируя, приятным, глубоким голосом, хорошо поставленным, хотя, пожалуй, и несильным.

Дмитрий Андреевич уловил, конечно, деланную стррасть, но с первых же фортепианных аккордов, взятых верно и выразительно, он не то чтобы не слышал тенора, а как бы слушал одну музыку. Он видел и солиста, его кудри, его профиль, напоминающий кондора, видел и бедную старушку Керн, с ее кружевами и дрожащим лорнетом, но видел как бы боковым, рассеянным зрением, потому что тезка Керн Анна Ардашева встряхнула и сложила зонтик. «В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои...»

Гром кандальный ошеломил Лизогуба. Он вскочил, вытянул шею и, привстав на цыпочки, смотрел, не мигая, в мертвый прямоугольник дверей. Грубый, окаянный звук близился, и Лизогуб сознавал, что по коридору ведут когото из осужденных каторжан, сознавал, а в висках стучало: «Объявят... Объявят...» — сейчас прочтут окончательный, бесповоротный, конфирмованный приговор.

Лизогуб стоял, как под обухом, в своем каменном коробе, стоял и смотрел, а дверь словно бы оживала в толчках ключа, в толчках задвижек. Она длинно проскрипела, эта дверь, и Гриша Попко, придерживая кандалы, перешагнул порог каземата.

Увидев Лизогуба, он обронил цепь, цепь брякнула, а Гришины руки остались, как были, приподнятыми, слепо ошаривая пустоту. Это же ему, Попко Григорию, полагалось ждать смерти, ему, а не Лизогубу. Не Митя, нет, он, он был мечен кровью, а кровь взыскивалась с Мити. Попко думал об этом и до суда, и на суде, но только теперь, увидев Лизогуба в день конфирмации приговора, теперь только почувствовал резкую, непереносимую боль в груди, словно там, в сердце, сшиблись кремень о кремень.

Попко переместил к Лизогубу смотритель Зубачевский. Еще за домашним завтраком коллежский асессор решил дать Лизогубу соузника. Зубачевский четко и жестко рассчитал, что Лизогуб не сумеет, не сможет покончить с собою на глазах товарища. Не сумеет, не сможет! Или этот товарищ-соузник, повинуясь естественному порыву, не позволит, помешает Лизогубу совершить поступок, решительно не допустимый уставными положениями о содержащихся под стражей, а равно и обрядом государственного возмездия.

Но как ни был уверен Зубачевский, он, однако, распорядился, чтобы ключник имел неукоснительное наблюдение за секретным арестантом. И ключник, исполнительный мужчина, приникнув к «глазку», наблюдал, как секретный и каторжный обнялись, расцеловались, как потом сели рядышком на койке, о чем-то говорили, потом один сидел, а другой ходил.

Нд-а-а, думал ключник, одному, гляди-ка, петля-удавка, другому сибирная костоломка до скончания ден, а они, вишь ты, «бу-бу-бу». Который Попко, думал он, тому, конечно, почему бы и не молоть языком: рудники рудниками, да тут-то еще бабушка надвое — и побег возможен али манифест царский выйдет, этому-то отчего бы и не гутарить. Но длинному, с бородой который, богач, говорят, страшенный был, этому — аминь, не завтрева, так послезавтрева шабаш, и ведь знает же, знает, а тоже, смотри, «бу-бу-бу». Перед смертью, должно, на разговор жажда, это ж как дышать не надышаться, вот что.

И покивав своим мыслям, он стал прохаживаться в коридоре, потирая ноющий крестец и уже думая не о тех двоих, в каземате которые, а о том, что давненько нет весточки от сына-гренадера, беда с детями — хоть и вырастут, а сердце об них мрет.

А те двое, в каземате которые, уходили все дальше, все дальше — мягкая киевская метель заносила их след.

6

Славная была зима! Без морозов, как удар по наковальне, но и без хлипких ростепелей. Белые плавные завесы широко наплывали из-за Днепра, с черниговской стороны, ложились обильным снегом, сухим и сыпучим. Был Киев тих, легок, в голубоватых тенях.

Лизогуб любил Киев. Не так, как Чернигов, один силуэт которого, особенно при вечернем солнце, дарил слиянность с давным-давно минувшим, и это былое, это минувшее словно бы продолжалось в твоем «я». Нет, в Киеве любил Лизогуб отзвуки детства: долгие сборы в Киев, долгие воспоминания о поездке в Киев, Гриць Золотой, ходивший ко святым местам, богомольцы из Киева, в Седневе называли их богомулами... Словом, любил наследственной, что ли, любовью.

Был город тих, легок, вьюжило нежно. Но вдруг настигало непрошеное: Лизогуб ловил себя на мысли, что и этим людям тоже приятен зимний воздух, тени, деревья, город.

Дезорганизация врага, устрашение правителей, мщение сатрапам — все это, еще недавно спеленутое отвлеченными рассуждениями, уже выворачивалось избранными живыми мишенями, и вот настигало непрошеное: Лизогуб как бы отождествлял себя с ними. Не сущностью, не духовно отождествлял, а плотью и в обыденности. Лизогуб никогда не встречал ни этого прокурора, ни этого штаб-офицера; впрочем, вероятно, встречал где-нибудь на Крещатике или на Бибиковском бульваре, не зная, что эти — эти. И все же не мог уже мыслить их лишь символами насилия и

кривды, а мыслил как людей, которые ходят по тем же, что и он, улицам, забирая грудью тот же снежистый воздух.

Осинский шутил: «А что, братцы, ежели по Дарвину, то у нас на брюхе образуется со временем особая впадина — для револьвера и кинжала». Что ж до Митиного кольта, то Осинский-Барон, очевидно, конфисковал бы огнестрельное оружие, когда б Лизогуб не хранил его тщательно.

Дмитрий Андреевич, все еще обладавший громадным состоянием, не должен был ни выслеживать этих, ни участвовать в нападении. Но кольтом он обзавелся. Не затем лишь, чтобы материализовать свое боевое направление, а потому, главное, что решил, как и товарищи, сопротивляться в случае ареста: самооборона при личном задержания, схватка с превосходящим противником. И Лизогуб изготовился. Но вот находило непрошеное отождествление с этими, и шутливая ссылка на Дарвина не вызывала улыбки.

Размягчение мозга, гиль, сентиментальность? О нет! Ужасно поднять руку на человека, ужасно, и все ж, уверял он себя, не размягчение, нет. Но тогда не трещинка ль в самом принципе, за который он ратовал, отстаивая необходимость пропаганды не одним словом, а и фактами? Он и трещину отвергал. Тут возникало нечто, почти неопределимое.

Стократ проклинал он монархическое государство, молот полицейщины и солдатизма. Стократ не признавал прерогативы, освещенные традициями и законами. И что же? Какой-то препон, какая-то перегородка, незримая, но явственная, мешали, путали, повергали в тревогу. И не в мыслях, а словно бы в ощущении: только государство (которое Лизогуб не признавал), только оно наделено правом (которое Лизогуб опять-таки не признавал) распоряжаться человеческой жизнью. Фетиш! Химера! Ведь стоило только подумать о жертвах, уже раздавленных державной колесницей, и о жертвах, еще не раздавленных, стоило только подумать о тупой, бездушной, нерассуждающей силе... В том-то и суть — лишь подумать... И возникал препон, преграда: ведь он, Лизогуб, он и его товарищи, они не тупая, бездушная, нерассуждающая сила.

И Лизогуб не то чтобы обрадовался, но словно бы получил краткую передышку, когда однажды выпало ему съездить в Полтаву: надо было стакнуться с «унией», как полтавские радикалы именовали свое сообщество, только что возникшее. Осинский дал явку, вполне легальную, Ли-

зогуб поехал и остановился у одного присяжного поверенного, а тот нанимал меблированную комнату и столовался у вдовой майорши Головни.

Адвокат, встретив Лизогуба, прихвастнул, что вот-де поживете с недельку не где-нибудь, а под крылышком у сестры гениального писателя. Присяжный не врал. Хозяйка, показавшаяся Лизогубу если и не вовсе старушкой, то все ж весьма пожилой, приходилась младшей сестрою Гоголю.

Была она в темном вдовьем платье, шею повязывала простеньким черным платком в редких красных цветочках. Глаза были печальные и, как все печальные глаза, добрые. Когда Лизогуб представился, Ольга Васильевна посветлела в улыбке и сказала по-украински, что ведь они, Гоголи-Яновские, в родстве с Лизогубами.

Об этой фамильной подробности Лизогуб слыхивал, но давно, в мальчишестве наверное, от покойного дядюшки Ильи, знатока родословного древа, а потом как-то и думать не думал и теперь, глядя на Ольгу Васильевну и еще неясно представляя их родственность, теперь вроде бы и обрадовался — и потому, что так улыбнулась Ольга Васильевна, и потому, что на ней был этот простой черный платок в редких красных цветочках, и потому еще, что сам себе мелькнул мальчиком — в нестрашной детской простуде, грудь и ножки растерты гусиным жиром, мальчик укутан, его поят чаем с липовым медом, а он разглядывает рисунки Агина к «Мертвым душам», а в комнате топится печь, весело и жарко трещат дрова, вот зажигают свечи, слышен перестук ставней.

Угощаясь пирожками с маком, уже известясь, что сыновья Ольги Васильевны, воспитанники кадетского корпуса, отдают особенное предпочтение вот этим коржикам и вот этой пастиле, Дмитрий Андреевич испытывал каникулярное чувство — все отодвинулось, напряжение отпустило, отошло, он на вакатах, у домашнего очага, ему очень-очень хорошо, беспечно и покойно. Он слушал Ольгу Васильевну с благодушным удовольствием и какой-то ребяческой доверчивостью, хотя и немножко рассеянно, но эта рассеянность отнюдь не означала невнимания, а словно бы добавляла еще одну приятную ноту в его душевное расположение.

Ольге Васильевне в свою очередь было приятно потчевать родственника, пусть и неблизкого, и еще было приятно, что молодой человек не только не глядел «паном на всю губу», а, сдается, жил стесненно. Очевидная

ограниченность средств Дмитрия Андреевича трогала и, пожалуй, утешала вдовую майоршу. С тем же чувством домашности и тишины, с каким слушал ее Дмитрий Андреевич, предавалась она неторопливому выяснению, кто кому кем приходится, и, дирижируя гастрономией, добралась наконец до истории покойного дедушки Афанасия Демьяновича.

Лицо ее всеми мягкими складочками отобразило предвкушение чрезвычайно занимательного, но тотчас набежала тень испуга — как бы раньше времени не открыть карты... Рассказывая, Ольга Васильевна убредала в сторону, перед ней теснились тени давно умерших, и она поминала их ласково, отмечая всяческие домашние происшествия, а потом опять возвращалась к дедушке Афанасию Демьяновичу.

Дедушка, царствие ему небесное, был в семинарии из первых и удостоился Духовной академии. Одолев в Киеве курс наук, успешно все превзошел, на четырех языках читал-писал, стал практиковать педагогом. Среди его учеников, от которых, надобно заметить, отбоя не было, в один прекрасный день появилась молоденькая девица из очень известного семейства. И тут-то... Ольга Васильевна, интереса ради, выдержала паузу... Тут-то, представьте, стрела Амура сразила и педагога и ученицу. Сердца запылали, трепет священный, но, увы, родители ученицы — нет, нет, нет: никакой эпиталамы Гименею. И тогда наш дедушка... Ах, удалец Афанасий Демьянович! Не гусар, не улан, а, вообразите, по-хи-тил! Суженую на коне не объедешь, так он ее на коне увез. Каково?! Обвенчались, стали жить-поживать: Татьяна Семеновна Лизогуб и Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский...

Обмениваясь улыбкой со своим слушателем, Ольга Васильевна повела указательным пальцем, давая понять, что это еще не все, подождите.

- После женитьбы дедушка поступил в военную службу. Служил долго и секунд-майором в отставку вышел. В доме царствовала любовь безоблачная: Филемон и Бавкида. «Филемон и Бавкида» произнесено было со значением, с намеком. Никогда, знаете ли, друг другу «ты», всегда «вы»: «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?»
 - Демьянович, поправил Лизогуб.

Ольга Васильевна тихонько рассмеялась:

 Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Товстогубиха. Дмитрий Андреевич так и всплеснул руками: вот оно что, Господи, да как же из головы-то выскочило — повесть «Старосветские помещики», отставной секунд-майор, умыкнувший в молодости свою благоверную, а Бавкида, Пульхерия-то Ивановна, — это ж, выходит, и есть Лизогубиха.

Ольга Васильевна была ах как довольна произведенным эффектом. И благодарно пустилась тотчас еще по одной генеалогической линии: маменька ваша, ежели не ошибаюсь, урожденная Дунина-Борковская? Ну, вот-вот, как же... Ольга Васильевна повествовала теперь о какойто Глафире Псел — Глафира, родственница Гоголей-Яновских, вышла некогда за одного из Дуниных-Борковских, да тот, бедный, чуть ли не под венцом преставился. Что-то еще рассказывала Ольга Васильевна про горемычную Глафиру, поселившуюся у княжны Репниной, что-то и про добрейшую княжну, но все это Лизогуб слушал уже вполуха.

Он думал о поколениях филемонов и бавкид — ни одно желание не перелетает плетень собственного дома, однако бьет час, и странные птенцы перелетают этот плетень... Федор Курицын с праведной ненавистно глядел на седневские покои; крестьянскому сыну, как говорится, сам Бог велел идти в революцию. Кто же повелел птенцам старосветских гнезд? Совесть, сердце, книги, впечатления бытия? Но одного они мучат, а другому и трава не расти.

Она, заметив его невнимание, не обиделась: накушался, милый. «Мирен сон и безмятежный даруй...» — благословила она гостя. Он поцеловал ее руку, пахнущую шафраном, как целовал, бывало, полусонный, у маменьки.

В доме близ Красной аптеки Лизогуб, увы, не загостился. Полтавские радикалы туго внимали идее централизации и вовсе не принимали боевую доктрину, но помощь литературой и деньгами — это уж, извольте, принять согласились. Надо было прощаться и с радикалами, и с застольем. Уезжать не хотелось. О, непростительная распущенность — длить бы каникулы. О, чревоугодие — хоть трижды на день борщ и галушки.

А в Киеве, на Большой Васильковской, едва входил, едва обонял борщ и галушки, мгновенно возникал дом у Красной аптеки, черный платок в аленьких цветиках, полтавское каникулярное чувство покоя и беспечности. Мгновенно. И лишь на мгновение.

На Большой Васильковской столовалось душ двести. Утварь и некрашеная мебель были приобретены в складчину.

Мать студента Грибенюка, высокая, в строгом темном очипке, властно распоряжалась общественной кухмистерской. Старшая дочь Грибенючки, Горпына, кухарничала (поговаривали, что карие очи поварихи сгубили не одно студенческое сердце), а младшая, шустрая Ганя, командовала очередным нарядом дежурных. Дело шло лучше не надо: на медные деньги получи борщ, вареники, голубцы. О, далеко разносилась их слава! Пожалуй, и слишком уж далеко — до сибирских ссылок и острогов: харчились у Грибенючки многие из тех, кому суждена была тюремная похлебка.

Публика принадлежала в большинстве к универсантам, медикам и естественникам. Дорогую кофейню Штифлера они не посещали, предоставив тамошний отличный бильярд состоятельным студентам юридического. И не толкались в посреднической конторе мадам Фишер на Крещатике, где можно было, конечно, наняться репетитором в богатое семейство и получать неплохие деньги, но притом чувствовать себя лакеем. К чертям! Лучше уж составить «желтый интернационал», как шутил профессор Драгоманов, намекая на компании любителей пива, лучше уж поломать головушку над партией американского шахматиста Морфи или грянуть могучим хором «Ще не вмерла Украина».

«Не вмерла»? Стало быть, по давней традиции киевских студентов — лупи, где ни попадя, саперных юнкеров, огулом презирай русских или, прижав в темном уголке лаврского монаха, обкарнай ему бороденку и патлы? Пустяки, господа, пустяки и ребячество, оставим эти забавы лоботрясам панычам.

«Ще не вмерла Украина», ибо многие поняли: не бывать «свободе киевской», если не бывать «свободе московской», как быть не может геометрии житомирской и геометрии рязанской. «Ще не вмерла Украина», ибо многие сознают: любовь к своей нации отнюдь не предполагает ненависти к другой. «Ще не вмерла Украина», ибо есть мечта о новой гайдаматчине вкупе с новой пугачевщиной. Какие юнкера, какие монахи, если на сходках произносятся имена Чернышевского и Лаврова, Маркса и Зибера, Бланки и Бакунина? Велика ль отвага хаживать с орясиной, набалдашник которой вырезан кукишем, и, ухмыляясь, показывать сию деревянную дулю полицмейстеру фон Гюббенету? Да наконец, непременно ли надевать красную рубаху, дабы выставлять свою демократичность? Пустяки и ребячество!

Не пустяки, не ребячество поглощали тех, кто собирался в библиотеке на Большой Владимирской или на Жандармской, обитал на Подоле или засиживался за полночь в артельной квартире на Кузнечной; спали там вповалку, а поутру сонно отмахивались от квартирного хозяина с его добродушно-хриплым распевом: «Встава-а-ать... Вот чай кита-а-айский, ром яма-а-айский...» Нет, не пустяки, не ребячество поглощали всех этих будущих лекарей, математиков и натуралистов, едва отрастивших бородки, и будущих повивальных бабок, совершенных еще девственниц.

Здесь, на Большой Васильковской, у Грибенючки, они не только утоляли молодой голод и отогревались в тепле кухонных ароматов, здесь Лизогуб слышал то, о чем губернские жандармы сообщали под сургучом в Петербург: на многочисленных сборишах порицаются действия правительства в отношении преследования пропагандистов социализма и разных других новых теорий, развивающихся свободно в прочих государствах Европы. Предметом весьма оживленных толков служит также проект освобождения из-под ареста студентов, привлеченных к дознанию о преступной пропаганде. Весьма много говорят о положении на театре военных действий, причем порицается правительство, взявшееся освобождать болгар от власти Турции и оставляющее Россию коснеть в рабстве. Кроме того, толкуют о политическом процессе в С. — Петербурге, причем установилось мнение, что оправлание столь значительного числа лиц, привлеченных к делу, есть следствие не гуманности, а трусости правительства...

Здесь же, на Большой Васильковской, видел Лизогуб, как передавали с рук на руки листок, похожий на прокламацию, но почему-то вызывавший негодование весьма бурное, однако не смачно выраженное, что объяснялось присутствием дам — самой Грибенючки в темном строгом очипке, ее дочерей и румяных после уличного холода курсисток.

Читая листок, Лизогуб понял причину негодования.

В минуту критическую для государства, когда война грозит разорить дотла народ, и без того ослабевший от потери сил, мы умеем только игнорировать бедственное положение страны или бессмысленно ругаться. Неужели студенты не сознают всей опасности, всего вреда подобного явления, и, сознавая его, неужели они не будут противодействовать ему? Неужели они и теперь не постараются вникнуть в дело, объяснить себе явление более или менее

удовлетворительно и сознательно примкнуть к людям, желающим произвести бурный переворот, или к нам, решившимся всеми силами слова и убеждения противодействовать бессмысленным порываниям. Мы думаем, что крайне красные не имеют права подвергать опасности весь университет. Мы согласны с ними только в одном: положение народа скверное, страна в критическом положении, и лучшие, честнейшие члены общества должны обратить на это свое внимание. Но мы думаем, что нам следует вести себя сдержанно, с достоинством и спокойно вглядываться в события. Нам кажется — теперь самое удобное время обратиться, отстраняя всякое посредничество, к самому Государю Императору и во всеподданнейшей петиции просить Его расширить свободу слова и печати, с тем чтобы лучшие умственные силы народа помогли стране оправиться и выйти из трудного положения, в которое она поставлена ходом исторических событий. Мы убеждены, что студенты будут вести себя как честные и умные члены общества и тем докажут, что студенчество есть лучшая часть общества, способная прислушиваться к его пульсу, понимать его нелуги и помогать им».

Он усмехнулся почти злобно. «Ход исторических событий?» Шаманская формула: все включает и ничего не объясняет. «Вести себя сдержанно...» — вечные заклинания: сидите смирно под своими смоковницами. «Всеподданнейше просить...» Помилуйте, милостивые государи, ведь вашу челобитную могут расценить дерзостью! Не просить — молить. «Война грозит разорить народ?..» Опоздали, господа: уже разорила. Но вот тут-то вы правы, решительно правы: минута критическая. Еще старик Бакунин отметил: война — самый удобный момент для восстания. Вам следовало бы уяснить, что народ наш, проливая кровь за свободу болгар, все круче сознает собственное рабство. Убедиться, право, не так уж и трудно: по Безаковской к вокзалу, от вокзала до товарной, где на две-три версты стон и карболка. Вы же знаете: через Киев следуют эшелоны с больными и ранеными солдатами; сестры милосердия говорят: «Они не только страдают — они проклинают». Из-за Дуная, с театра военных действий, возвращаются в свои деревни тысячи бунтарей. И она наступит, критическая минута, когда сбудется давнее, еще севастопольских времен пророчество Герцена: средь бедствий одной войны вспыхнет другая домашняя расправа неимущих с имущими. Вот о чем стоит поразмыслить, господа... Кто-то тронул Лизогуба за рукав, он отдал благонамеренный листок и вышел на улицу.

Минуту спустя он опять был у Грибенючки, но не в шумной столовой, а в небольшой уединенной комнате, похожей на кладовку, с отдельным ходом со двора.

Осинский и Гриша Попко ждали Лизогуба, и, увидев их, он, по обыкновению, ощутил прилив той особенной бодрости и готовности, в которой не было места отождествлению своего «я» с этим прокурором и этим жандармским штаб-офицером, пока еще живыми, но уже приговоренными.

Лизогуб знал Гришу Попко: в Петербурге встречались, в семьдесят шестом. Попко уже и тогда был известен своей деятельностью в «Южнороссийском союзе рабочих». Союз разгромили, но Гриша ускользнул от полковника Кнопа, офицеров его и филеров. И это там, в Одессе, теплым темным летним вечером из распахнутых и освещенных окон ресторана Мартина лились в густой темный сад звуки еврейского квартета, исполнявшего «Их бин шнейдер». И это там, в Одессе, в ресторане, в условную минуту грянула, все заглушив, хоровая «Дубинушка». И тогда в саду, в сумрачной гуще акаций, словно бы переломилась ветка треснул револьверный выстрел, и тотчас опять затрещало, но уже тяжело, всей массой куста: он рухнул навзничь, в акацию рухнул, этот иуда, продавший за полсотни своих товарищей-рабочих, этот мозгляк Тавлеев, платный агент полковника Кнопа.

Там, в Одессе, Григорий Попко переступил черту. (Теперь, в Киеве, очередь была за Валерианом Осинским. Осинский сказал: «Прокурор — мой!») Лизогуб будто прислушивался к Попко, стараясь угадать что-то особенное и важное в человеке, решившемся и сумевшем переступить черту. Видел лицо его — худое, умное, спокойно-печальное, видел узкие плечи, впалую грудь, руки, скупые на жест. Но... не угадывал то, что угадать было важно и нужно.

Сейчас, впрочем, не присматривался и не прислушивался. Осинский, конечно, неспроста позвал в эту комнатку при кухне, всегдашнее прибежище летучих конспиративных совещаний. И точно, неспроста: Осинский принес письмо Лейча.

Как и другие политические киевской тюрьмы, Дейч держал постоянную связь с Осинским: в глухой, едва застроенный проулок прилетал к Валериану «голубь», тюремщик, получавший за свои услуги денежную мзду, а сверх того и выпивку с закуской.

«Голубь» был толст и прожорлив. Навещая Осинского, он деловито убирал все, что тот успел припасти, заваливал-

ся, не снимая сапог, на постель и сразу засыпал накрепко, как это свойственно тюремным служителям, сменившимся с дежурства, а равно и пожарным сторожам, еще не сменившимся. Осинский тем временем строчил ответные письма, покрывая тонюсенькие полоски бумаги мелкими, тесными, округло-изящными буквочками.

Обстоятельнее, чем другим, писал он Дейчу и двум его товарищам, потому что им грозила наибольшая кара и по тому что именно ради этих троих заключенных уже осуществлялось опасное предприятие, продвигавшееся, к сожалению, медленно.

Но сегодня, получив очередную почту, Осинский спешно вызвал Попко и Лизогуба совсем не по этой причине.

Еще на прошлой неделе студент, тоже сидевший в городской тюрьме, сообщил: товарищ губернского прокурора Котляревский, наблюдающий за производством дознаний о государственных преступлениях, приказал в своем присутствии раздеть донага девушек-курсисток. То было не просто очередной мерзостью Котляревского. Нет, сообщение подвело красную черту, тогда-то Валериан как отрезал: «Прокурор — мой!»

Участники предрешенного покушения уже не раз видели Котляревского, тот почти каждый четверг ходил в театр, на это и поставили ставку: спектакли заканчивались около полуночи, Котляревский, моциона ради, возвращался домой пешком.

Нынче был четверг. Осинский не намеревался засветло показываться на улицах и не показался бы, когда бы не письмо Дейча: сведения, переданные на волю студентом, неверны — за дознанием по делу курсисток наблюдает вовсе не Котляревский, а некто Васильев.

Лизогуб хотел было тотчас заметить, что письмо Дейча виновность Котляревского не уменьшает ни на гран, но, взглянув на Попко, промолчал. В молчании Лизогуба, не до конца осознанном им самим, было желание услышать, что же теперь скажет человек, уже совершивший террорное действие.

А Попко сумрачно ерошил волосы. Валериан, бледный, как при очередной, у него нередкой, мигрени, скручивал и распускал черную тесьму своего пенсне.

Осинский немедленно согласился бы с Лизогубом, выскажись Митя в том смысле, что покушение на Котляревского должно состояться без проволочек. Несомненно, мерзавец выкинул эту штуку: приказал оголить девушек. Вполне в его духе — из молодых, да ранних, спит и видит

департаментское кресло. И если надругательство не совершилось, то уж конечно по какой-то причине, от Котляревского не зависящей. Нет, покушение должно состояться нынче, в этот четверг, без отлагательств. И все же уточнение — не Котляревский допрашивает курсисток — было Осинскому как барьер. Ему нужна была, необходима была новая, нынешняя, сиюминутная санкция товарищей.

— Дейч не ошибается, — проговорил наконец Попко. — Я полагаю, Дейч прав.

Пронзительно-ясно Попко понимал Дейча! Они оба переступили черту, оба пролили кровь — в Одессе, в семьдесят шестом — один убил шпиона Тавлеева, другой участвовал в расправе над предателем Гориновичем. И теперь оба, Дейч, сидевший в тюрьме, и Попко, сидевший в этой укромной комнатке при кухне, испытывали суровую, неотступную потребность в беспристрастии. В беспристрастии к Котляревскому, над которым свершился суд, но суд заочный. И потому Попко дважды повторил, что Дейч, очевидно, прав: не Котляревский, а некто Васильев наблюдает за делом курсисток.

И опять наступило тягостное молчание. Все трое мысленно были согласны, что письмо Дейча нисколько, ни на йоту, не умаляет виновность прокурора, согласны были, да, но молчали. Не Осинский и не Попко, а Лизогуб как разрубил это молчание.

7

К ночи сильно похолодало. Припрыгивая, тычась носом в шерстяной шарф, видом и походкой напоминая голенастую птицу, Лизогуб спешил, торопился к Афанасьевскому Яру. Никто его не ждал. Он не должен был там появляться. Но он словно бежал от самого себя. Ему было невмоготу в номере гостиницы

В его давешнем (там, у Грибенючки, при кухне), кратком и твердом: «Да, подлежит!» — было что-то внезапное ему неожиданное, совершенно не вяжущееся с отождествлением своего «я» и живых мишеней. Высказавшись о Котляревском — да, подлежит возмездию — и поставив точку, Лизогуб испытал чувство удовлетворения. Он ощутил свою значительность, то есть то, что не было ему ни знакомо, ни свойственно ощущать.

Но потом, поздним вечером, в номере захудалой гостиницы, ужаснулся. Угнетало и мучило именно то мгновен-

ное чувство своей значительности. Но не только оно. Лизогуб сознавал, что снял с Валериана бремя, Валериан ведь ждал и желал этого: «Да, подлежит». Однако Попко не вымолвил ни слова. И теперь Лизогуб догадывался, почему медлил Гриша: непосредственный участник покушения должен сам все определять. Без поводыря! И как бы ты ни был близок с ним, ты не вправе подсказывать и указывать.

И словно убегая от себя, Лизогуб торопился в Афанасьевский Яр, припрыгивая, согреваясь на ходу, тыча нос в замокревший шарф.

Прохожие попадались редко, он их не замечал, пока впереди не замаячила грузная фигура в высокой меховой шапке, и Лизогубу вообразилось, что это не кто иной, как обреченный прокурор, возвращающийся из театра, и тотчас ощутилась тяжесть кольта. О-о, Лизогуб сознавал, что видит отнюдь не Котляревского, но вот если бы то был действительно Котляревский... И Лизогуб прибавил шагу. Это было нелепо, никчемно, а он все прибавлял и прибавлял шаг, словно бы мстил себе за ту легкость, с какой выговорил: «Да, подлежит»...

Грузный человек сперва озирался, даже и кулаком постращал, но потом ударился трусцой, мотая руками и почему-то приседая. Лизогуба несло вдогонку. И вдруг он остановился, как перед обрывом: на снегу валялась меховая шапка. Задыхаясь, Лизогуб смотрел на нее. Потом обошел, далеко обошел, точно хищного зверька, точно капкан.

Он не приметил, как очутился на краю Афанасьевского Яра. Дальше, в глубину оврага, поросшего боярышником, змеилась стежка. Тропка была узенькая. След в след кодить, легко и неслышно. И как бы без связи мелькнуло Лизогубу из той питерской ночи, из той меблирашки на Невском, из давних мыслей об Анне Ардашевой: «Эх ты, Лассаль...» Он огляделся, увидел редкие строения, увидел темное мглистое небо и пожалел, что нет звезд.

В доме Бондаренки жил Валериан. Его окно было слепо. После покушения Осинский с двумя помощниками должен был укрыться в соседнем доме, и Лизогуб это
знал, но слепое окно показалось ему зловещим признаком. А тут еще послышался отдаленный шум: то ли бил
барабан, то ли мчал экипаж. Все вместе — темнота в
комнате Валериана и этот отдаленный шум — бурно отозвались в душе Лизогуба. Их ловят, за ними гонятся,
тревога и погоня, жандармы, солдаты, верховые... И привставая на цыпочки, Лизогуб ринулся к дверям полуподвального помещения.

Ни Осинского, ни его помощников там не было. Хозяин поднял голову с подушки, ничего не сказал и опять зарылся под одеяло. Не снимая пальто, Лизогуб сел на стул. Сердце билось, как загнанное. Он спросил хозяина, не слыхал ли тот, как только что где-то вдалеке ударили армейские барабаны?

 – Какие еще барабаны? Экипаж. Это экипаж на Владимирской.

Хозяин стал курить. Лизогуб машинально следил за рубиновой точкой, она разгоралась и меркла, разгоралась и меркла.

Валериан вошел первым. Лизогуб, вскочив, бросил руки ему на плечи и увидел не глаза, нет, матовые, овальные бельма — пенсне Осинского мгновенно запотело в комнате.

Валериан снял пенсне.

Котляревский убит.

Лизогуб отозвался медленным, чужим голосом:

— Собаке собачья смерть.

Кто-то из пришедших сказал:

- Поскорее бы сообщить в тюрьму.
- Утро ночи мудренее. Ложитесь-ка, братцы. Хозяин стал сбрасывать на пол тюфяк, одеяло, пальто, какуюто рвань.
- В тюрьму прежде всего. И прокламацией. Повсеместно. Лизогуб зябко скрещивал на груди руки, совал ладони под мышки.
- Да, объяснить причины, согласился Осинский. Широко, всем.
- Ложитесь, повторил хозяин. Гасите лампу. И сам погасил ее.

Лизогуб не мог согреться. Осинский ворочался и покашливал. В комнате было темно и тихо.

- Они, кажется, уснули? шепнул Лизогуб.
- Нас, наверное, уже ищут, невпопад отозвался Валериан.

Они лежали рядом, тесно лежали, плечом к плечу. Каждый был уверен в том, что знает мысли другого. И не ошибался.

И в Чернигове, и в Городище, в доме Симиренко, и здесь, в Киеве, разлучаясь и встречаясь вновь, говорили они о необходимости борьбы за гражданские права. Не ради выгод привилегированных сословий, нет, добившись политических свобод, народ свершит революцию экономическую. Говорили о боевом направлении — рычаг и средство устрашения властей, страшный рычаг, тяжелый, но

вынужденный, неизбежный. И не фракцией «Земли и Воли», а своей, отдельной, самостоятельной группой было то, что они называли Исполнительным комитетом. Отдельной группой, даже, можно сказать, и противостоящей «Земле и Воле» с ее отрицанием политической борьбы и террорной дезорганизации. И они должны начать практическое дело, должны и начнут во что бы то ни стало. Обо всем этом говорили не однажды, однако до сего дня, до нынешней ночи не возникало уверенности, что вот наконец спущен корабль на воду, пошел, двинулся и рассекает волны. А сейчас, лежа рядом, бок о бок, тесно и молча, Лизогуб и Осинский уже знали: да, пошел и двинулся, по... но при этом им не хотелось думать о Котляревском, а хотелось думать, что прокурор совсем не занимает их мысли.

В их террорной доктрине, в этом принципе индивидуального устрашения, была известная последовательность, продиктованная практикой, но не было стратегической перспективы. Была алхимия и астрология — не было химии и астрономии. Была ясность помыслов — не было ясной мысли, обнажающей тщетность заговоров...

Утром они узнали, что Котляревский даже и не ранен. Просто-напросто у мерзавца со страху ноженьки подкосились. Осинский рассмеялся отрывисто и кратко. И махнул рукой:

— Э, черт с ним!

8

Барон Гейкинг — адъютант начальника Киевского губернского жандармского управления, но в силу удивительной умственной скромности генерала Павлова фактический глава означенного управления — барон Гейкинг составлял депеши в Петербург, управляющему Третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии.

Первая, меченная номером сто один, гласила:

«Сегодня около часу после полуночи наблюдающий за производством дознаний о государственных преступлениях товарищ здешнего губернского прокурора Котляревский вместе с женою и своим братом, возвращаясь из театра домой, встретил трех молодых людей, которые, опередив его, пристально всматривались в его наружность; когда же Котляревский, поравнявшись с воротами своего дома, стал звонить, те же самые люди, повернув назад, вторично по-

дошли к нему, и один из них, взглянувши еще раз в лицо Котляревского, прицелился в него из револьвера и произвел в свою жертву последовательно два выстрела, из коих один пролетел над головою жены Котляревского, а второй пробил ему пальто, не причинив, впрочем, никакого вреда. На крик жены и брата Котляревского выбежали из соседних домов люди, а вслед за тем прибыл и городовой, но злоумышленники, пользуясь темнотою ночи, успели скрыться».

Вторая депеша была неофициальная — письмо по тому же адресу от имени того же слабого разумом генерала Павлова:

«Милостивый государь Александр Францевич!

Энергическая деятельность лиц, производящих дознания о государственных преступлениях, заронила в умах наших пропагандистов желание охладить, путем террора, столь вредное и опасное для них усердие агентов правительства и людей ему преданных. История злополучного Гориновича, убийство Тавлеева, покушение на жизнь генерала Трепова, наконец, покушение на жизнь Котляревского указывают ясно на зарождающееся господство террора в самых грубых и возмутительных формах.

При таких условиях весьма естественно, что производство дознаний о государственных преступлениях становится делом весьма опасным для жизни людей, преследующих пропагандистов, или, как их называют, башибузуков Русской земли, для которых нет ничего священного и заветного, и что при недостатке охранительных средств, по случаю ограниченности полицейского персонала, цель пропагандистов касательно охлаждения усердия людей, их преследующих, может осуществиться.

Насколько деятельность Киевского жандармского управления признается пропагандистами для них опасною и вредною, удостоверяет следующее: письмо к барону Гейкингу, в котором заявляется о намерении убить его; показания киевского мещанина Сикорского о том, что на сборищах студенты уговаривают мещан и мастеровых застрелить Гейкинга как весьма вредного и опасного для пропагандистов человека; ожесточенные нападки и ругательные статьи против Гейкинга в разных периодических изданиях заграничной революционной прессы.

Но озлобление пропагандистов не ограничивается особою одного Гейкинга. Оно распространяется в такой же, если не в большей еще степени и на Котляревского, который системою вопросов, предлагаемых привлеченным к дознаниям, неумолимою логикою выводов и замечательною памятью, дающею ему возможность на каждом шагу уличать допрашиваемых во лжи и противоречиях, приводит пропагандистов в отчаяние. Они считают его вдвойне опасным, а именно: как ловкого и опытного следователя и как обвинительную власть на суде...»

Барон Гейкинг оторвал перо от бумаги. Гм, разумеется, Котляревский — прекрасный юрист, делающий честь училищу правоведения. Однако... Барон задумчиво трогал мизинцем русый ус... Однако, воздав должное Котляревскому, он, Гейкинг, несколько затушевал свое подвижничество. Сей мотив требуется усилить. В конце концов Котляревский молод, на десять лет моложе его, Гейкинга, коему уже, слава Богу, пятый десяток... И барон счел за благо присовокупить к неофициальному письму еще более неофициальное. То, о котором упоминалось в пункте первом. Обмакнув перо, он стал снимать копию.

«В той беспощадной войне, которую я объявил нынешнему социальному строю во главе с царем-эксплуататором, я признаю необходимым бороться с врагами их же средствами.

Правительство поступает с нами бесчеловечно: громадный процент оно замаривает в тюрьмах, еще больший оно, наделивши чахоткой или какой-нибудь другой подобной прелестью, выпускает умирать на свободе.

Я знаю, что как только попадусь в ваши ручки или кого-нибудь из ваших благоприятелей, то я сгнию в каземате, в одиночном заключении. Я же не мальчишка, который, нашаливши и чувствуя за собою вину, безропотно сносит заслуженное наказание; я человек, глубоко убежденный в том учении, проповедь которого я сделал задачей моей жизни.

Сдаваться вашему брату в руки без сопротивления — это значит развивать страсть к охоте за нами — награды, крестики, повышения по службе, а вместе с тем неразлучно следующее увеличение материальных средств к жизни; с другой стороны, в некоторых из вас личное озлобление против тех «мерзавцев», которые хотят лишить вас вышеназванных прелестей и заставить работать так же, как и всех, — вот причины, которые поддерживают в вас эту страсть. Сопротивляясь при заарестовании вооруженною силою, мы, я говорю о тех, которым грозит за их «прегрешения» каторга или несколько лет одиночного заключения (что равносильно первому, так как за эти несколько лет вы всегда успеете заморить человека), не теряем ничего, вы-

игрываем же несколько шансов бежать да кроме того делаем вас менее энергичными в ваших преследованиях, так как кому же охота (особенно вам, служащим из-за денег) находиться постоянно в страхе, ожидая, что вот-вот пустят тебе пулю в лоб. Вполне согласен с вами, неприятная перспектива! Кроме того, убивая ищеек, шпионов, мы здорово уменьшаем число тех, которые, позарившись на такой легкий хлеб, будут браться за это дело. Еще несколько слов. При заарестованиях мы будем давать предпочтение высшим чинам перед низшими.

Надеюсь, несмотря на то что я пренебрег литературной формой изложения, вы вполне поймете меня.

Затем прощайте и желаю вам не встречаться со мною». Хотя барон Гейкинг давно и хорошо знал содержание этого письма, столь же откровенного, сколь и наглого, но сейчас, снимая копию, опять испытывал смешанное чувство грусти, жалости, гордости. Печалило упорное непонимание радикалов — ведь он, Гейкинг, не крушит без разбора, а, видит Бог, старается отделять овец от козлищ. Жаль же было себя той жалостью, когда вдруг сознаешь хрупкость своего бытия. И все ж, честное слово, он имел право на скромную гордость: его хлеб не из легких, он служит не ради крестика, а из убеждения, не уступающего твердостью убеждениям противной стороны. И вот merci: «пустят пулю в лоб».

Густав Эдуардович позвонил и велел пригласить чинов управления. К обеду, когда его превосходительство ненадолго заглянет в служебный свой кабинет, там, на генеральском столе, будут уже не только депеши в Третье отделение, но и перечень мер еще более энергичного искоренения врагов всего священного и неприкосновенного. И начать следует университетом. Ах, господа студенты, не туда, не в ту сторону направлено кипение ваших свежих, юных сил.

Неделю-полторы спустя и на генеральском столе, и на баронском, как и на многих прочих, и не только в губернском городе Киеве лежали прокламации типографского изготовления.

Чуть ли не каждодневно их доставляли однообразноразнообразные люди: городовые и филеры, жандармы и дворники, посыльные из редакций, пономари, лавочные сидельцы, сторожа при гимназиях, половые, маркеры, оберкондукторы, а случалось, и содержательницы веселых домов... Прокламации были мятые, рваные, как обгрызенные: попробуй-ка отдери такую, наглухо прилепленную к дверям, заборам, фонарям, афишным тумбам, к стенам портерных, вокзала и театра, лавок, нотариальных контор и даже полицейских участков. И на каждой — красный овальный штемпель с надписью: «Исполнительный комитет Русской социально-революционной партии», а посередке — изображение револьвера, топора, кинжала. Чтоб, значит, и неграмотный смекнул, об чем речь.

Прокламация гласила:

«В ночь на 23 февраля в Киеве было сделано покушение на жизнь товар. прок. Котляревского. Считаем своею обязанностью выяснить перед русским обществом мотивы этого покушения.

Последние годы с очевидною ясностью показали нам, что всякая деятельность, прямо или косвенно имеющая в виду интересы нашего обобранного и забитого народа, преследуется самым бесчеловечным образом, деятели подвергаются невиданному с апостольских времен гонению. Эта гнусная травля, опозорившая наше правительство, продолжается уже несколько лет. Сотни людей часто только за мирные речи, обращенные к народу, за книжки, вся преступность которых нередко заключалась только в том, что в них объяснялось народу его бедственное положение, — сотни людей только за это бросались в тюрьмы, шли в ссылки, на каторгу, замуравливались в центральные тюрьмы — эти новейшие варварские изобретения полицейскочиновного государства.

Что оставалось делать нам, социалистам-революционерам, горячо желающим народного блага и решительно не имеющих никакой надежды на возможность мирного ведения дела в таком государстве, где все придавлено, принижено, где торжествует эло и надменно господствует плеть и тюрьма в лице своих представителей — полицейских, гражданских и иных чиновников, в лице всяких народных обирал и пиявок? Скрепя сердце мы решились прибегнуть к средству, против которого во всякое другое время протестовали бы всеми силами души.

Случай помешал гибели Котляревского. Но пусть помнит этот негодяй, что каждую минуту его ждет смерть, если он не оставит своей мерзкой деятельности.

Вот его вины:

Котляревский, во-первых, из своекорыстного расчета, из чиновничьего честолюбия, стремясь создать грандиозные политические дела, столь любезные прокурорскому самолюбию, с особым рвением раздувал всякое дело и привлекал к нему массу совершенно невинных людей;

2) запрятывая в тюрьму предполагаемых преступников, он издевался над ними, всячески отравлял их существование и подвергал позору; так, напр., двух арестованных девушек велел тюремным сторожам во время обыска раздеть донага, чем довел их до истерики; 3) всеми мерами, несмотря на желание своих товарищей по преследованию, противодействовал выпуску арестованных на поруки даже в случаях крайнего расстройства их здоровья; наконец, 4) взводил на арестованных небывалые преступления и угрозами смертной казни вымогал делаемые показания.

Всего этого за глаза достаточно было, чтобы мы произнесли над ним свой приговор. В заключение скажем, что по поводу этого покушения двое суток шли без перерыва обыски и брошены в тюрьму многие лица, совершенно непричастные к делу покушения. Этот новый ряд травли и мучений неповинных жертв заставляет нас сделать новое предостережение Котляревскому, руководящему расследованием этого дела.

И надеемся, что вторая попытка окажется удачнее первой.

Не мешает все это принять во внимание и жандармскому офицеру — барону *Гейкингу*».

9

Попечителю учебного округа страсть не хотелось выслушивать депутацию студентов. Не то чтобы старик боялся... Помилуйте, он не какой-нибудь барончик, а кавказский солдат. Нет, старик Антонович не боялся депутации. А выслушивать не хотел потому, что по нынешним временам, особливо после нападения на Котляревского (прыткий, из правоведов с Фонтанки, «чижик-пыжик, где ты был»...), да-с, по нынешним временам ничего не попишешь, господа универсанты. Сам губернатор на вашу претензию по поводу необоснованных арестов как ответил? Очень дельно ответил, господа: «Я был наказным атаманом войска Донского, теперь начальствую в здешнем обширном крае и командую войсками, а жандармы и меня могут арестовать!» И верно, они все могут, да-с.

Генерал Антонович, попечитель учебного округа, не хотел видеть депутацию, но студенты, можно сказать, почти вломились, и он вышел к ним в залу попечительного совета, спросил устало и вежливо: «Чего вы желаете, господа?» Один из юнцов, свеженький, точно из молочной ванны...

Ну-ну, старик Антонович наперед знал, что ему объявит этот славный выонош от имени своих коллег... Милый мой, пумал старик, прикрыв глаза, милый мой, ты тоже стремишься на ристалище, на этот извечный гипподром? Тебя манят топот и хрип и фырканье коней, несущихся взапуски? А гипподром-ристалище все так же замкнут, как и в «Описании Эллады» простодушного Павсания. Несутся кони, скачут кони... Юстицию пришпоривает мальчик с Фонтанки: пылкие мальчики палят из револьвера. (Пистолетик-то, надо полагать, «Джон Адамс», дрянь пистолетик, но штатским почему-то по вкусу.) Несутся и скачут. Остзейский барон срывается вдогонку, за ним — казаки... Бешеная скачка, топот и хрип взмыленных коней. На гипподромах-ристалищах пылали жертвенники античным богам. Теперь тоже пылают, но иным богам. А гипподром все так же замкнут. Сказано: «Ристаху около жертвенника, его же сотвориша». Да-да, его же сотвориша... Итак, о чем ты, славный выонош?.. О-о, прекрасно формулировано: Киев напоминает театр военных действий! Прекрасно сказано. Повальные ночные обыски? Вот именно ночные, хотя днем-то вроде бы виднее. Такова традиция! Как полвека тому, так и нынче, да-с... Аресты невинных, непричастных к покушению? Посудите: что есть обыск? Обыск есть мера с целью обнаружения предметов, могущих служить средством к выяснению... ну и так далее; вместо предметов обнаруживаетесь вы, господа, и вас волокут в кутузку — в Лыбедскую часть, благо на краткой дистанции от университета, не в Лыбедскую, так в Старокиевскую или без пересадки в тюремный замок... Ага, вы желаете избавиться от административного произвола? Вы хотите, чтобы жандармы не смели хватать, кого им вздумается? Детушки, мы родились и живем в России.

Но вслух он сказал, этот генерал-лейтенант, ослепительно седой, а брови смоляные, как в молодости, вслух он сказал устало, рассудительно, сердечно:

— Послушайте, господа, и прошу, передайте коллегам. Вот на этих плечах я долго носил солдатские погоны. Я тоже был студентом, а потом тянул солдатскую лямку. За проступки, подобные вашим... — Он помолчал, кажется, котел что-то прибавить (не о бесконечном ли ожидании виселицы?), но только развел руками: — Поверьте, вы сами себя губите. России нужны полезные, практические, честные деятели, а вы себя губите.

Депутаты, словно обмякнув, удалились. Их, должно быть, тронула его усталая сердечность, а может, слышали

они краем уха сунгуровскую историю, давно поросшую травой забвения, очень может быть, что и слышали, потому что в киевских семействах иной раз судачили о попечителе, за которым в молодости водились грешки.

Правду сказать, он и сам-то с годами почти не вспоминал эту историю, но совсем недавно был мимоездом в Киеве генерал Кноблох, плотный, с бурым лицом и бычьей шеей. И они встретились после почти полувекового перерыва: расстались в Москве, в начале тридцатых — оба были студентами университета, обоих осудили на виселицу за принадлежность к тайному обществу. Под сенью виселицы выдержали их — о, неудобозабываемый государь император Николай Павлович! — не дни, не недели, нет, полгода. А потом помиловали солдатчиной. Встретившись, старики прослезились. Слезы были как линзы: крупно и ярко увидели они пережитое. Но не припали к воспоминаниям, не ударил тот ключ, что «волною вдохновенья в степи мирской изгнанников поит».

О чем беседовали за ужином? Конечно, о последней войне с турками, Кноблох командовал бригадой, о войне, конечно, — победим-то победим, да хребтом, мясом; о бывшей службе — Антонович толковал про черноморские десанты и укрепления, а Кноблох, как ему в Сибири, уже полковнику, вверили Александровский завод, комендантом назначили, и как он, Кноблох, пытался облегчить участь известного государственного преступника Чернышевского; про нынешние времена тоже беседовали, и Антонович показал Кноблоху бумагу о покушении на Котляревского. Кноблох упер палец в красный овальный штемпель с изображением кинжала, топора, револьвера, и они переглянулись. Э нет, они не имели в виду Нечаева, на ум пришел другой, давний заговорщик, Сунгуров, это было тогда, в тридцать первом году. Платон Александрович вскользь заметил: «А здесь переполох, полагают... Ты понимаешь?» Кноблох кивнул, и они опять стали говорить не о том, что должны были сказать друг другу, — с кем же еще у края могилы определять summa summarum¹, как не с камрадом одной с тобою судьбы? На другой день Антонович проводил Кноблоха. Падал мокрый снег, ударил вокзальный колокол, набежала слеза. «Последний ключ — холодный ключ Забвенья, он слаще всех жар сердца утолит».

Утолит? И сейчас, отпустив депутацию студентов, не слушая ни чиновника особых поручений, ни окружного

¹ Итог (лат)

инспектора, призванных, как и он, «печись о распространении и успехах народного просвещения», сейчас старик Антонович думал, что вот и нынче, только что, он не сказал главного, хотя и сказал то, что думал, и то, что мог сказать. Больше того, он намерен ходатайствовать об освобождении арестованных студентов. Да, так, но опаздывает — опаздывает непоправимо с изложением своего окончательного итога. Не ради подачи по начальству, а ради всех сверстников давешнего славного выоноши. Увы, отмахнутся — вечно, мол, старики допекают нотациями. Отцы и дети! Отцам в отраду «холодный ключ Забвенья», детям — «ключ юности, ключ быстрый и мятежный...»

Вечером, уже не мундирный, по-домашнему, в халате и шароварах, заправленных в белые носки толстой вязки, в чувяках и старенькой, войлочной горской шапочке, которую он, как и чувяки, вечерами надевал еще на сырых биваках, Платон Александрович подошел к книжным полкам. В молодости, на словесном факультете, он пристрастился к античным классикам. Грешным делом любил полакомиться и французским романчиком, да нынче-то влекла латинская чеканность, и, бурча себе под нос: «Sub specie aeternitatis»¹, он снял с полки толстенькую книжицу в сафьянном переплете.

Наугад раскрыв ее, он наткнулся на строки, которые впору было бы твердить всем гейкингам на свете: снисходительность только усиливает дерзость мятежников; мятежники распространяют ужас, когда сами не подвержены страху, но, пораженные страхом, презренны.

Антонович, вероятно, оставил бы без внимания сию банальную мысль, если б не недавняя встреча с Кноблохом, встреча, живо и больно воскресившая былое. И Платон Александрович подумал о себе, как о бывшем мятежнике, осужденном на пожизненный трепет. Он вильнул: какой ты, прости Господи, мятежник? В незапамятные времена роились туманные мечты о республике, прекраснодушие, и ничего больше. Вильнул, но не отбился, не избавился от горечи. Однажды и навсегда угнездился в душе трепет. Не этот ли трепет воспламенял твою отвагу на Кавказе? Вот, дескать, какой я, отнюдь не тот, каким выставили меня господа жандармы и господа аудиторы. Не кутался ли ты от этого трепета в плащ храбрости и не от него ли скрывался под градом черкесского свинца?

¹ С точки зрения вечности (лат)

Ах, Боже мой, невмоготу признавать, что нет у тебя за душой ничего, кроме опытов жизни, внушенных страхом. И ощутив повелительную потребность в размене чувств и мыслей, Платон Александрович подумал, что надо бы сейчас же призвать Ваву или сейчас же пойти к Ваве.

Деньгами и советом помогал он племяннику, когда тот был бедным черниговским гимназистом. Помог бы и студенту, но племянник сперва определился народным учителем, а потом — управляющим имениями богатого помещика. К Вавиной службе у землевладельца, носившего известную в Малороссии фамилию, генерал претензий, собственно, не имел, однако племянник попечителя учебного округа, право, достоин был лучшего поприща.

Наезжая в Киев, Вава останавливался у дядюшки. Платон Александрович трунил: экий ты, брат, спекулятор — борода окладистая, портфель под мышкой. Нынешний год племянник припозднился. Сретенская ярмарка со своими крупными сделками отошла, Контрактовый дом на Александровской площади опустел, а Вава только теперь явился. И надо сказать, в самое заполошное время: прокламации, аресты, обыски, депутации. Впрочем, Вава, конечно, в стороне от глупого водоворота, и намеки фон Мерклина не стоят выеденного яйца...

Положение о попечительстве обязывало Платона Александровича раз в два года инспектировать учебные заведения, числящиеся во вверенном округе. Черниговщину Платон Александрович посещал чаще: старея, тосковал по родному уездному Кролевцу. Так вот, недавно, в Чернигове, за ужином у губернатора, сподобил Господь соседа полковника фон Мерклина, начальника губернских жандармов. (Беда: в Киеве — фон Гейкинг, в Чернигове — фон Мерклин, в Петербурге — Шмидт, а в прежние времена бенкендорфы, дубельты. Ахти нам, куда от тевтонца денешься?) Улучив минуту, фон Мерклин с любезной доверительностью, но и как бы между прочим высказал сожаление о том, что племянник его превосходительства служит у лица весьма неблагонадежного, состоящего под надзором; полковник дал понять, что таковая служба бросает тень на молодого человека; он, Мерклин, не хочет предрекать ничего худого, но, как говорится, береженого Бог бережет, было бы хорошо, своевременно, ежели б Платон Александрович родственно потолковал с племянником. И прибавил с улыбкой, которую, очевидно, считал тонкой: «Мы с вами, генерал, в одной команде — и вы, и мы озабочены душой человеческой. Чтоб не была потемкой». Так и сказал — «потемкой».

Ни тогда, ни позже Платон Александрович не воспользовался жандармским советом — и значения не придал, и случай не подвернулся, да как-то и затерялось все это в ворохе забот. Направляясь в дальний конец дома, в комнату, отведенную Ваве, Платон Александрович отнюдь не собирался выполнить рекомендацию полковника. Нет. нет! Есть порох в пороховницах, о котором эти выоноши и не догадываются. Надо высказать окончательный итог, высказать Ваве — и потому, что племянник здесь, и потому, что племянник — родной человечек, и потому, что молод, и, наконец, потому, что служит у поднадзорного, неблагонадежного, а значит, не то чтобы причастен, да вот дышит-то, так сказать, одним воздухом с причастными, пусть они знают, пусть знают... И возбужденный Платон Александрович, не умерив шага, толкнул дверь Вавиной комнаты.

Племянник был не один. Худой бледный человек лежал одетый на постели, положив голенастые ноги на спинку, руки закинув за голову. Он тотчас поднялся, одернул жилетку и поклонился.

Какой-то Вавин подручный, подумалось Антоновичу с неудовольствием, но не очень уверенно, потому что и в поклоне незнакомца, и в том, как он прокатил звук «р», назвавшись Дмитрием Андреевичем, не было мещанского, приказчичьего.

Вава сказал:

— Позвольте рекомендовать, дядюшка, господина Лизогуба. Дмитрий Андреевич Лизогуб.

Антонович, уже ответивший на поклон Лизогуба военным кивком, протянул теперь руку и осведомился:

— А вы что же, не опять ли к Рокотову?

Лизогуб шевельнул бровями — какой-де Рокотов? — но тотчас сообразил: артисты, старушка Керн, «Я помню чудное мгновенье...» — ходил на Левашевскую, где шелковицы растут, к Рокотову ходил, предлагал картины из седневского собрания. А ходил-то по указанию вот этого красивого старика генерала, переданному через Дригу.

— Я чрезвычайно признателен, все устроилось как нельзя лучше, я надеюсь, господин Рокотов и теперь не откажет в любезном содействии:

Пока Лизогуб выстраивал благовоспитанно-плавный период, неудовольствие Платона Александровича присутствием постороннего сменилось почти удовольствием: такой посторонний, неблагонадежный, согласно аттестации черниговского полковника, такой как раз и не помешает. И

сдается, Вавин ровесник, молодое поколение, коть и не вьюнош, но тоже из детушек.

Антоновичу не терпелось взять напролом. Он, однако, пошел околицей. Сел в кресло, жестом пригласил садиться молодых людей, усмехнулся их недоумению, подавленному, как неуместный зевок, и пустился в общедворянский разговор, то есть стал выяснять, не в родстве ли они, Лизогубы, с Галаганами? Получив утвердительный ответ, поинтересовался, давно ль господин Лизогуб видел Григория Павловича Галагана и помнит ли маленького Павлуся, увы, рано умершего, единственного сына Григория Павловича?

Лизогуб отвечал вежливо, но коротко, не желая поддерживать переливание из пустого в порожнее, котя при имени Павлуся вспомнил недружную, серенькую весну, черниговский дом, боковую прискочку воробьев и как маленький Павлусь выводит бодрым дисканточком: «Ой, морозе, морозеньку...» Вежливо, но коротко отвечал Платону Александровичу, а Дриго прибарабанивал пальцами по колену, жестом этим как бы прося Дмитрия Андреевича извинить болтовню старого дядюшки.

— Павлусь, Павлусь, — вздохнул Антонович и долгим взглядом посмотрел на Дригу с Лизогубом. — Нету горше гибели детей, — сказал он значительно и грустно. И помолчав, прибавил: — А Григорий Павлович Галаган воздвиг дитяти памятник.

Антонович не объяснил: кто ж не поймет, о чем он? Вот уж несколько лет, как на Фундуклеевской открылась коллегия имени Павла Галагана — образцовое учебное заведение.

— Подвиг истинно просвещенного человека, — подчеркнуто отметил Платон Александрович. — И подумайте, господа, он сим не ограничился. О нет! Мне, как попечителю, всегда доставляет истинное удовольствие щелкать по носу наших краснобаев — сетуют на всенародное невежество, а и рубля не подарят. Григорий же Павлович щедр. Вот пример недавний. Есть в Полтаве учительская семинария...

Лизогуб вспыхнул:

- Филантропия извините жалкая заплаточка на нашем жалком рубище.
- Ах, вот как! вскинулся Антонович. Оригинально изволите, оригинально. Что ж, брошки с бриллиантиками на бенефисах презентовать?
- Бескорыстие не в пожертвованиях, а в жертве, твердо замкнул Лизогуб.

- Охо-хо-хо... Помилуйте старика, в толк не возьму.
- А это мы тут, дядюшка, беспокойно встрял Дриго, мы тут о войне рассуждали. Я говорил о пожертвованиях на Красный Крест, туго идут, а Дмитрий Андреевич о задунайских жертвах.

Прилгнул Дриго не очень складно, да можно было б и ухватиться. Лизогуб не принял выручки. Вообще-то не стал бы он пикироваться с генералом (на каждый чих не наздравствуешься), если б не почувствовал к нему ту симпатию, какую иногда чувствовал к людям, много пожившим и много пережившим. Дриго однажды выразился в том смысле, что его дядюшка был «эхом декабристов», впрочем, подробностей он не знал, дома у них об этом не толковали. Лизогуб дорого дал бы за беседу с людьми Сенатской площади, но они, как Лизогуб полагал, все уже сошли в могилу, ну, а тут, в креслах. было «эхо», сильно измененное временем, а все-таки «эхо». Вспыхнул же Лизогуб потому, что его всегда коробили подозрения в мотовстве, опровергать которые он и не хотел, и не мог. Не хотел из гордости и самолюбия. Не мог из конспирации.

— Жалкие рубища, — уже без иронии повторил Антонович, пересел с кресла на турецкий диван и, подогнув ноги, умостился азиатским обыкновением. — Да-с, жалкие рубища... Не прикажете ли, Дмитрий Андреевич, заключить, что вам желательна не «штопка», а перемена «гардероба»?

Это он уж брал быка за рога. Дриго кашлянул — не хотелось ни самому дискутировать, ни присутствовать на диспуте. Что за нужда оспаривать старика? Пропагаторство в доме попечителя учебного округа?

Передалось ли Дмитрию Андреевичу беспокойство Дриги, или удерживала, что называется, в границах природная чуткость, но Лизогуб ответил уклончиво:

- Суть, Платон Александрович, не в моих желаниях.
- В чем же? несколько раздраженно спросил Антонович. Веяния времени? Он сердился, заподозрив Лизогуба в снисходительном нежелании связываться со стариком.

А Лизогуб ответил сдержанно: «Если угодно...» — и поймал благодарный взгляд Дриги. Но этот же взгляд не ускользнул и от Антоновича, и тотчас Платон Александрович заподозрил в обидной снисходительности еще и племянничка Ваву. Ах, черт дери, закипел генерал, ну, хорошо-с, оч-чень хорошо-с, судари мои... Сбросив ноги на пол, упершись руками о колена, наклоняясь вперед и вы-

прямляясь, Платон Александрович стал говорить о том, о чем не говорил ни с Кноблохом, ни с депутацией, то есть о том, что сказать, выговорить было потребностью. Он поначалу горячился, чувствуя стариковскую обиду на молодых людей, потом растратил эту обиду, стал говорить покойно, речь его была вдумчивой, плавной, вразумляющей. Смысл окончательного итога сводился вот к чему.

Он, Антонович, познал на веку прекрасные грезы. Грезы — республиканские, эгалитарные — воспаряли из ложного мнения о том, что историческую жизнь народа можно начать сызнова, обрубив все связи с прошлым. Но революции не затрагивают психических основ нации. Он, Антонович, верил в братство и равенство. А истина в том. что никто не похож на другого. Не равенство есть естественное право, а неравенство есть естественное право. Он верил в панацею общего мнения, всеобщего голосования. После тяжких веков развития от дикаря до цивилизованного человека вернуться к решению всего и вся скопом, большинством? Он. Антонович, верил в борьбу за свободу. не понимая, что в перипетиях ее зреет другой деспот и другой деспотизм. Лишь разумные учреждения и законность возвышают государство. Нынешний нигилизм он не равняет с цинизмом. Вещи разные! Не думает, как многие: нигилизм — дрянь и подлость. Нет, моровое поветрие. язва, наваждение. Неверные, неразумные, а подчас и несправедливые меры администрации не исцеляют эту нерусскую болезнь. Именно нерусскую: она выросла не из русского протеста, она - дитя Запада. Не Запада великой мысли и великого духа, а Парижской коммуны. Террорные призраки зловещи, ибо развязывают пагубные страсти. Террорные действия привлекают юные души, ибо тут нет места личным выгодам, а есть — будто бы есть общая польза. И к тому же не где-то за горами, за долами, нет, завтрашняя, непременно завтрашняя, совсем рядышком, стоит только руку протянуть. Вы, конечно, видели прокламации с печатью — кинжал, револьвер, брр-р... Скажу на ушко: переполох — чудо-юдо, ко-митет!.. А вот здесь, в этом, изволите знать, доме, мы давеча со стариннейшим приятелем перемигнулись: Сунгурова вспомнили. Покойный Сунгуров в нашем якобы злонамеренном обществе рекомендовался представителем какой-то могущественной революционной ассоциации. Ни больше, ни меньше. А вы-то небось думали, Нечаев почин сделал? Шалишь! Еще до четырнадцатого декабря был некто... запамятовал имечко... внушал Рылееву: я-де

эмиссар Европейского тайного союза. И тут, судари мои, тут корнем — стариннейшее самозванство. И сильно Хлестаковым припахивает. Ей-Богу, где-то посередке между самозванством и незабвенным Иваном Александрычем! А главная пагуба в том, что из-за кулис валом валит черная масса: велик соблазн — круши и бей. Ну, и выходит, что дело-то прямиком ведет к явлениям Парижской коммуны. А коли так, слуга покорный, учтивость в сторону!.. И вот еще что. Я, господа, помню прошлое царствование, очень хорошо помню, да-с. И поверьте, не печалюсь о нем. Отнюдь! Именно посему и вижу отчетливо благое направление царствования нынешнего. О, частности не в счет, не в счет, общее направление — прекрасно. И, право, сердце в крови, когда правительство понуждают к репрессиям. Кому это нужно? России это нужно? Увольте, разве что честолюбцам. Молодым и слепым честолюбцам, никому больше, господа.

Оробело, во все глаза Дриго смотрел на дядюшку. В дядюшкином монологе все было несозвучно тому, к чему Дрига привык мыслью.

Лизогуб же в рассуждениях Антоновича не нашел ничето, кроме стариковского скепсиса, однако и яду вкусил — яд был в замечании о самозванстве, Хлестакове, слепых честолюбцах. Генеральский скепсис, молодых честолюбцев — это все Лизогуб извинил бы, но не это вот — о самозванстве, о незабвенном Иване Александрыче. И симпатию к человеку, много жившему и много пережившему, как смыло. Лизогуб нанес удар, прямой и грубый: старого, мол, пса новым штукам не выучишь таков был смысл сказанного. И еще, и еще — скулы у Лизогуба выперли, борода выставилась — мужикам земля нужна, а помещики не нужны, даже и те, что учреждают коллегии; все просто, ваше превосходительство, все очень, очень просто: земля.

Антонович встал, губы дрожали от обиды и гнева. Его откровенность, его summa summarum, его искреннее желание удержать и спасти — все оказалось никчемным. Лизогуба он тотчас уподобил молодому поколению, молодое поколение — Лизогубу. И возвращаясь на свою половину, негодовал бурно. На себя самого тоже: напрасно миндальничал с депутацией. Совершенно напрасно! Хирург не спрашивает, больно или не больно. Хирург действует жестоко. Он отсекает. И отсекая, спасает еще не пораженное гангреной.

В прихожей дожидался рослый старик с бурым севастопольским шрамом через всю щеку. Фуражку старик держал в руке, согнутой в локте и приподнятой, как при молитве в строю.

- А-а, это ты, буркнул Платон Александрович. Ну, что там, во святом Володимире?
- Шумят, ваше превосходительство, ответил старик Данила, служивший посыльным в университете святого Владимира и знавший чуть не всех нынешних профессоров еще первокурсными. Шумят, не берет остуда.
- Возьмет, возьмет, пообещал генерал, принимая бумаги.
- Известно, согласился посыльный. Дозвольте идти? Покорнейше благодарим, всегда это вы мне, прямо совестно, проговорил он, пряча монету.

Был уже поздний вечер, когда попечитель Киевского учебного округа написал официальное письмо министру просвещения. Он, генерал Антонович, находил весьма желательным применение административных мер ввиду возбужденного состояния в стенах местного университета.

10

Грачи на грачевники летали прямиком, и старый Данила порывался объяснять, что это и есть первейшая примета дружной весны, однако наводнения все ж таки не будет, как в запрошлый-то год, когда в Киеве и-и-и Боже ж мой, а вниз по течению, Кременчуг взять, там-то и вовсе чуть все не утопли... Данилу не слушали: «Извини, недосуг!»

Вишь, чертяки, недосуг им. Сказано: юнии, повинитеся старцам. Хе-хе, повинитеся! Прощания-проводы у них, в аудиториях гвалт. А кто только не совестил: и сам господин генерал-губернатор, и его превосходительство Платон Александрович ладонью грудь трогал, где сердце, и господин рехтур горло трудил — нет остуды, нет угомону. И вот какая получается свадьба: бряк-бряк шпоры, стук-стук сабли, туп-туп приклады. При дипломе бы — пожалуйте в должность, как ко Христу за пазуху, живи, не тужи, ан нее-ет — дым в глазах, угар в мозгах. Ну, теперь что же? Собирайтесь-ка, соколики, в путь-дорогу.

Они пели: «Спускается солнце за степи». Бодрились: «Везде люди живут!» Похохатывали: «Слыхали, коллега? Светухин-то, а?!» Это вот один из них, назначенных к ссылке, один, уже отправленный под конвоем, исхитрился дать телеграммы в разные редакции: «Сегодня проехал Светухин с войсками». А редакторы, принимая студента-

медика за некоего эполетного от инфантерии, так и печатали. Светухин ехал с войсками, еще бы — с обоих боков конвойные... Передавали друг другу, что этот пшют Гейкинг делал ручкой арестованным, напевая фальшиво: «Прощаюсь, ангел мой, с тобой». И воздух рубили ребром ладони: «Не сносить мерзавцу башки!»

И певали хоровые, и бодрились, и похохатывали — да вдруг как тучу натягивало, грустила душа, будто в таежном сумраке мест отдаленных. Прости-прощай и препараторские, и библиотеки, и папины-мамины упования, и рандеву у Аскольдовой могилы, и этот бессменный Данила со своим севастопольским шрамом, и вешний молодой Днепр.

Ссылали небольшими партиями во избежание недоразумений по маршруту следования. И полицмейстер, поклонник кулис, и барон Гейкинг, коему известная прокламация настоятельно предлагала кое-что принять во внимание, и жандармы с филерами, дежурившие на дебаркадере, и городовые в привокзальной Безаковской улице — все скорбели: эдак-то, по чайной-то ложке, до Троицы, пожалуй, таскать не перетаскать.

Отправляли вечерами. Пролетки ехали гуськом. В каждой, сжатый жандармами, сутулился господин бывший студент со своим узелком и стопкой книжек. Пролетки останавливались посреди громадного двора главного вокзала. И тотчас, невесть откуда, натекала толпа провожающих. Конвоиры, сгрудив ссыльных, крепко держась за руки и выгибая спины, перекатывались к вагону третьего класса. Толпа испускала атакующее «ура», конвоиры, ожидая тычков, напрягались пуще. Кто-то, незримый, надрывался: «Мятежники! Чего власть смотрит?» Мужлан в бараньей шапке, с торбой и корзиной дышал азартно: «Эх, намять бы им холки!» Филер, острым глазом зацепив раненого подпоручика, вертелся волчком, стараясь все расслышать, все запомнить: подпоручик, выставив костыль, рассек оцепление, пожимал студентам руки, что-то говорил, студенты улыбались... Наконец длинный свисток, поезд, лязгая, трогается, толпа, сняв шапки, плотно движется по платформе, крича и барабаня в гулкое вагонное железо.

Все это не нравилось барону Гейкингу. Еще больше не нравилось полицмейстеру Гюббенету. У него были особые счеты с умниками и крикунами. Недавно кто-то тиснул в провинциальных газетах пространную корреспонденцию о смерти и похоронах Гюббенета. Полицмейстер, взбесившись, телеграфировал околпаченным издателям: «Имею

честь сообщить, что я не умирал». И, подозревая в авторстве непременно «хохла» (хотя пользовался союзной ненавистью «хохлов», «кацапов» и «жидов»), Гюббенет в отместку выкинул коленце: городским проституткам носить малороссийское платье. Вот он как подъярил канальскую публику, особенно курсисток, любительниц простонародного костюма. А теперь именно полицмейстер предложил отправлять ссыльных не с главного вокзала, а с товарной станции: «Как скот и поклажу! Крикуны сбегутся на вокзал и — пшик, никого-с!»

Слух о гюббенетовом подвохе выскользнул не то из полицейского управления, не то из железнодорожного, и к товарной станции отправилось провожающих едва ли не с полтысячи, куда больше, чем бывало на вокзале.

Лизогуб тоже пошел, несмотря на уговоры Дриги. Дриго вообще настаивал: «В такое бы времечко сидеть в Седневе». И приставал: «Уезжайте!» Он подозревал, что причиной лизогубовской задержки в Киеве — Исполнительный комитет. Дядюшке вольно было насмешничать по поводу комитета. Дриго не разделял дядюшкиной иронии. Правда, Дриго не знал, что Митя не только состоит в комитете, но и один из главных его учредителей. Не знал и опасался, как бы этот самый таинственный Исполнительный не втянул Митю в какое-либо горячее предприятие. Да. пожалуй. и втягивать-то, думалось Дриге, не требуется: ведь Митя не скрывает своего решительного отказа от былой мирной, словесной пропаганды. Все это очень заботило и тревожило Дригу. Обязательство, принятое добровольно и молча. оставалось в силе: беречь Митю. Дядюшкина проповедь не то чтобы опрокинула то, что Дриго считал своими воззрениями, однако из головы не выходила и ощущалась как бы колебанием почвы. И отзывалась мечтой о коллегии на манер галагановской: ах, как широко и дружно повели бы они с Митей это благое дело.

От участия в проводах высылаемых студентов он удерживал Лизогуба все из тех же соображений его, Митиной, безопасности. Лизогуб недвусмысленно дал понять, что и Дриге следовало бы пойти с ним, потому что судьба студентов решилась не без содействия генерала Антоновича. Дриго под сурдинку обиделся за дядюшку, котя и сознавал Митину правоту. Обиделся, но пошел, как говорили киевские радикалы, выразить общественное сочувствие.

Светил острый месяц, широко раздавалась земля в смутных пятнах последнего снега, пустынно было и свежо, дрожащие огни стрелок приближались и отдалялись, уже

угадывался впереди паровоз с вагоном, темная масса людей.

Они поспели вовремя. Ссыльных вели к вагону, пятна фонарей шатко метили рельсы и шпалы, и тут провожающие, прорвав конвойную цепь, бросились к студентам, обнимали и целовали их, а унтер бессмысленно надсаживался: «Будем стрелять! Будем стрелять!»

Наконец ссыльных кое-как затолкали в вагон. Маневровый локомотив резко вскрикнул, и этот вскрик оборвал шум и движенье.

Бувайтэ здорови, кыевськи люды. Спомынайтэ мэнз, як мэнэ нэ будэ...

Песню начали несколько голосов, мужских и женских. Песню продолжили все, негромко и стройно.

Была черная влажная земля, багровый проблеск паровозной топки, бритвенно-острый месяц в темном, синем, влажном небе. Окна вагона жидко желтели, в окнах означались силуэты ссыльных. Локомотив дернул вагон.

Спомынайтэ мэнэ, як мэнэ нэ будэ. А вжеж нз ходыты, куды я ходыла, А вжеж нэ любыты, кого я любыла...

Высокая стояла ночь.

11

Из Киева Дриго уехал один.

Он думал об этих проводах, чувство сострадания, даже и некоторой зависти к ссыльным уже не возникало. Он думал о Лизогубе, видел лицо его: «Спомынайтэ мэнэ, як мэнэ нэ будэ», и тревога и страх все неотступнее владели Дригой.

А Лизогуб, как и прежде, присылал в черниговский домик, приобретенный Дригой рядом с Вербицкими, разную нелегальную публику. Одному — согласно Митиным запискам — вынь да положь деньги, другого укрой в таком-то или таком-то имении, у третьего прими литературу. Не слишком ли наседают на Митю, не слишком ли эксплуатируют его доброту? О, разумеется, Митя сознательно, на всех парах идет к полному разорению, котя и не терпит этого слова, а говорит: «Ликвидация». Как там ни говори, а разорение — и все тут.

У Дриги было смутное, но настойчивое желание не то чтобы не исполнять Митины приказания, но оттягивать их

исполнение. Иногда казалось, что недалеко время, когда Митя пожалеет об утраченном состоянии. Не потому, что разуверится в идеалах, Дриго дал бы голову на отсечение, что этого никогда не случится, а потому... нет, Дриго не умел определить почему, а думал, хотел думать, что Лизогуб пожалеет не только о распродажах, а в еще большей степени о тех крупных векселях, которые выдает направоналево.

Но ни векселя, ни крупные траты не досаждали Дриге столь занозисто, как бесконечные и, в сущности, незначительные расходы. В их числе один был досадительнее прочих: ежемесячный почтовый перевод в Одессу для передачи в тюрьму какому-то, прах его возьми, Курицыну. На вопрос о Курицыне отвечал Лизогуб без конспиративных междометий: Федора Курицына обязаны поддерживать в первую голову; Курицын из тех, покамест немногих, которых будет много и которые призваны совершить революцию, если ты, друг мой, признаешь, что революция не только для народа, но и посредством народа.

Ладно, посредством народа. Но в Митином объяснении улавливалось, как тень от общего рассуждения, интимное чувство вины перед меньшим братом. Вину эту Дриго, как все радикалы и как многие либералы, не отвергал. Соглашался теоретически, отчасти и практически, но, увольте, не столь уж конкретно. Этот Курицын занимал слишком большое место в душе Лизогуба. И раздражаясь, Дриго прикидывал, что на «курицыны» деньги можно было б чуть не год обучать какого-нибудь хлопчика.

Педагогическая мечта не оставляла Дригу. Он сожалел и грустил о брошенной сельской школе, с умилением думал о деревенских ребятах: «Я детского глаза люблю выраженье...» Там, в Киеве, Дриго ходил на Фундуклеевскую посмотреть на учебное заведение, учрежденное Митиным родственником. Дриго увидел обширный сад с двухэтажным красивым домом, где были спальни и столовая, гимнастическая зала и классные комнаты, кабинет физики и библиотека. Теперь, на Черниговщине, поглощенный хозяйственными заботами и нотариальными сделками, Дриго ловил себя на том, что он исподволь присматривает место для будущей школы. Ему хотелось, чтобы она тоже находилась в обширной усадьбе, но притом еще и над рекой — пусть из классов открываются луга, лес, картины родной природы, всегда желанные детской душе.

Мечта, в которой не крылось тщеславие, и тревога, в которой не было ничего своекорыстного, оставались мечтой

и тревогой. Дриго продолжал исполнять обязанности, принятые по доброй воле. Его манило в Киев, ближе к Мите, а он разъезжал по деревням и хуторам, напрасно ожидая Лизогуба, и однажды в мае повстречался в придорожной корчме с исправником.

Константин Петрович был, можно сказать, первым и прямым Митиным административным начальником. Дриго держался с исправником на дружеской ноге. Тот этим не тяготился. Во-первых, из природного благодушия, во-вторых, он знавал Дригиного дядюшку, а, в-третьих, главноето, поднадзорный Дмитрий Андреевич Лизогуб именно Дриге поручил ссужать исправника теми бумагами, коих не чурается и круглый дурень.

Однако сейчас Константин Петрович нахмурился и, крепко отерев платком полное, лоснящееся лицо, вышел из корчмы, жестом пригласив Дригу выйти следом.

Во дворе, у коновязи, для чего-то сделав курам «кыш», исправник строго вопросил, где в данное время имеет быть господин Лизогуб. Дриго, насторожившись, отвечал неопределенно:

- То есть как это «где», Константин Петрович? У Дмитрия Андреевича есть земля и в Проскуровском уезде, в селе Гречаном...
- В Проскуровском, пробурчал исправник, так нечего было в Полтаву ездить...
 - А что такое, Константин Петрович?
- A вот то и есть, опять пробурчал исправник, исподлобья озираясь.
- Константин Петрович, проникновенно и укоризненно сказал Дриго, мы ж в давнем знакомстве, и я, кажется, никогда не давал повода к вашему неудовольствию. Мне это было бы, поверьте, крайне прискорбно.
- Да ведь как взглянуть, вздохнул исправник, как взглянуть.

Дриго достал папиросницу. Исправник задумчиво поворошил в папироснице толстым пальцем, но закуривать не стал, а снова вздохнул, и очень даже тяжело.

- Я ж, когда он только приехал, я ж его в Седневе-то предупреждал: смотрите, сударь, смотрите! Я ж его покойных родителей, дядюшку его, Илью-то Иваныча...
- Но, ей-Богу, Константин Петрович, ничего, ровно ничего такого... Дриго расслышал в своем голосе школярскую интонацию. Я Дмитрия Андреевича часто вижу, как на духу скажу: он к вам, Константин Петрович, примерное уважение питает.

Это исправник и без Дриги знал. Уважение было достаточно весомым. Без намеков и напоминаний. Но что ж поделаешь, если вышняя власть обнаруживает противозаконные поползновения в Полтаве, к коим предположительно — хорошо еще, что лишь предположительно, — причастен господин Лизогуб. Ну, и понятно, губернатор приказал отобрать подписку о невыезде. Пусть-де Лизогуб живет в любом из своих поместий, однако безвыездно или, по крайности, без спросу никуда не отлучаясь. Единственное, на что мог решиться Константин Петрович, так это просить господина Дригу не мешкая повидаться с Лизогубом и привести ему, исправнику, означенную подписку, выправленную по всей форме.

Дриго, обрадованный и тем, что, кажись, обошлось, и тем, что Митя наконец вынужден будет убраться из Киева, обещал исполнить все в точности. Не дожидаясь медлительного дилижанса, он погнал на почтовых. К дядюшке в Киеве не пошел, остановился в гостинице и тут... тут как опомнился: он не знал, где Лизогуб. Прежде Дриго загодя извещал «до востребования» о своих приездах, а теперь некогда было известить. Он вспомнил о Большой Васильковской. Но и там вышла заминка: по случаю недавних студенческих волнений полиция закрыла общественную столовую.

Дриго растерялся. Не получив обещанного, исправник стукнет повинным лбом о порог жандармского управления, и господа голубые спустят свору — брать след, искать и травить. Натурально, сразу к нему: извольте отвечать, вы — доверенное лицо, должны знать-с... И Дриго вдруг почувствовал не только раздражение на Митю, не только бремя своей вечной тревоги за Митю, но словно бы и веяние беды, подстерегающей его, Владимира Васильевича Дригу. Это было впервые за время знакомства с Лизогубом, но Дриго не устыдился, а почему-то ужасно заспешил, сам еще не сознавая куда, но как будто бы в поисках извозчика.

Увидев извозчика, он понял, что ему нужна не городская коляска, а ямская. Нет, нет, не в Чернигов хотелось вернуться — хотелось укрыться в охотничьем домике, что в тридцати верстах от Чернигова, в охотничьем домике, где тишина, птицы, малинники.

В ту минуту он заметил Лизогуба, пересекавшего Крещатик. Кровь бросилась в голову Дриги, он ощутил на лице своем жалкую улыбку. Лизогуб тоже заметил Дригу, взглянул вопросительно, но продолжал идти как ни в чем не

бывало. На другой стороне улицы он остановился под широким полотняным навесом магазина «Обувь мужская, дамская, детская».

Туда, в эту тень, крепко и приятно пахнущую новеньким товаром, свернул и Дриго. Лизогуб, конспиративно не обращая на него внимания, рассматривал витрину. Дриго, глотая слова, объяснил, в чем дело.

— А-а, — негромко отозвался Лизогуб, — хорошо, я напишу бумагу. Жаль только, приходится трудить вас ездою.

В тот же день Дриго мчал Черниговским шоссе. Ему казалось, нет, он был уверен, что нипочем не уехал бы из Киева, не отыскав Митю. Нипочем не уехал бы, это так, так, так. А теперь все в порядке — в бумажнике спрятан сложенный пополам листок: дворянин Дмитрий Лизогуб давал сие уездному исправнику в том, что он, Лизогуб Дмитрий, проживает в своем имении, из коего обязуется не отлучаться без разрешения.

И только дома, в Чернигове, Дриго ахнул: подписка датировалась двадцать четвертым числом. А календарь по-казывал двадцатое. Двадцатое мая семьдесят восьмого года. Господи, ужаснулся Дриго, ведь это ж неспроста. И опять словно бы проняло предчувствием беды, караулящей не одного лишь Митю. Дриго именно так и подумал: «Не одного лишь...»

12

Надлежало исполнить два дела. Стояла за ними смерть. И стояла за ними жизнь. Но ходит-похаживает монсеньер Случай. Двуликий, двуличный, скользкий и увертливый. И вот исчезает барон Гейкинг.

Нету, как в воду канул. То ли весеннее недомогание с ломотой и насморком, и барон отлеживается дома. То ли пропасть служебных забот, и штаб-офицер корпуса жандармов не выходит из управления. То ли спешно вытребовали в Петербург, и он укатил секретно в невскую столицу.

Изнурительное неведение сшибается с известием оттуда, со Старо-Житомирской дороги, из окраинной Лукьяновской части города Киева: держитесь настороже, приготовьте коня и повозку.

Сыграешь ли обе пьесы в одночасье на разных подмостках? Ведь актеров — горсть, небольшая бродячая труппа, о которой в жандармских — покамест тощих — документах помечено: «Социалистический кружок, именующийся Исполнительным комитетом Русской социально-революционной партии».

Так вот, барон Гейкинг как сквозь землю, а в те самые дни Фроленко преспокойненько: «Просим ежеминутной готовности».

Михайло Фроленко, годами нелегал, бунтарского, крутого замеса, ну до чего ж ты, Михайло, переимчив: и голос, и повадки матерого тюремного надзирателя. Расскажи-ка, брат, каково за дверями за дубовыми, за замками за висячими? И Фроленко, ухмыляясь, делает вид, будто оправляет портупею — портупеи нет, ее нашивают лишь «при исполнении».

Каково в службе? Известно, считается не совсем, что ли, пристойной. А ткни любого, куда, мол, вора иль убивцу девать, не задумается: «В тюрьму его, шельму!» Теперь к примеру, так: приехал ты с хозяином на Сретенскую ярмарку, керосин продали, а хозяин режет: «Я тебе не родной батька, назад езжай на свой счет». А где он, свой-то счет? Стало быть, остаешься в Киеве, искать места. Вот, значит, такая история. Вполне подходящая и вполне правдоподобная.

Перво-наперво раздобылся пачпортом. Потом зашагал вразвалочку на толкучий рынок. И не один, а со спутником, очень милым изящным белокурым господином в пенсне: по имени Валериан, по батюшке Андреевич, по фамилии Осинский. (Но это сугубо между нами, у него тоже пачпорт не того-с...)

Вдвоем, сын солдатский и сын генеральский, приходят в ряды готового платья. Приценяются, торгуются, выбирают. Примеряй, дружок, пальто драповое, поддевку суконную, сапоги яловые, чтоб все справное, солидное, знай, дескать, наших.

Из гама и брани толкучей толпы вынырнули каждый сам по себе, и с той минуты никакого Фроленки, а с головы, прикрытой мерлушковой шапкой, до ног, обутых в крепкие сапоги, — Тихонов, приписанный к мещанскому сословию, не силач, но и не хлюпик, не красавец, но и не урод.

И вскоре этот Тихонов вразвалочку давил каблуками твердый наст Старо-Житомирской дороги, направляясь туда, куда редкий хаживает своей волей.

— Чего заявился? — Старший надзиратель покачивался на носках, сунув прямые ладони в карманы светло-серого пальто военного покроя, покачивался и пытливо оглядывал Тихонова.

Тот отвечал про ярмарку, керосин и хозяина, кончил не слезно-просительно, но с явным огорчением, что вот-де ищет место, да никак не найдет подходящее.

Старший надзиратель взял паспорт и ушел к господину начальнику. Тихонов возликовал, но преждевременно: господин начальник согласился принять всего лишь сторожем. Не надзирателем, который живых сторожит, а сторожем, который за мертвым инвентарем надзирает, не за пятнадцать рублев, а за червонец. Впрочем, сторож так сторож: мал почин, а все ж почин.

Стал Тихонов сторожить амбар, сарай, тепличку. Ночью ходит, в свисток дует: дескать, бодрствую. Утром арестантики дрова колуном колят, он в казарме печи топит. С первого жалованья поднес старшему надзирателю фунт чаю, два рубля живьем. Тот глазами одобрил: молодцом, понимаешь службу.

А тюрьма, вот она, рукой подать: трехэтажная, буквой «покой», за решетками и двойными рамами никого не видать. По весне в тюрьме, как и всюду в домах, первые рамы выставили. Трое политических вдруг зачастили в клозет, а клозет с окном во двор, где сторож, сдвинув на затылок мерлушковую шапку, блестел потным лбом, работая вешнюю работу — слежавшийся снег раскидывал, чтоб скорее таял, канавы рыл, чтоб талой воде журчать веселей, дорожку дресвой равнял. Нет-нет и перемигивался с теми, которые из сортира выглядывали. Но ни звука, ни знака, дисциплинарно держался, в пропорции. Потому в пропорции, что один из унтеров, ключник, главный над сменой, дожидался обещанной тысячи. Прорву деньжищ посулили унтеру.

Выдастся свободное время, Тихонов сейчас в город, конец неблизкий. Нагрянет: где тыща? Сил моих больше нет, я вам так, братцы, скажу, оно, конечно, в тюрьме сидеть не сахар, но и глядеть, как другие сидят, тоже не мед. У него не было сил; у них — тысячи.

Лизогуб ли выручил за картины из родового имения, питерские ли прислали, сторож не дознавался, но заветная тыща наконец объявилась.

Тотчас сообщили унтеру: половина вперед, остальное потом. А унтер... унтер топтался и мямлил. «Не могу-с, — говорит, — несподручно». Почему, не объясняет, рукой безнадежно машет. И от задатка пятится. Случись ушлый малый, слупил бы эти пятьсот рубликов. Как пить дать, цапнул бы, да и отказался ключом действовать: «Не могу, несподручно». И ступай, жалуйся, взятки гладки. А унтер совесть не замарал.

Благородства этого ни Осинский, ни Лизогуб, ни Попко не то чтоб не оценили, а как бы и не приметили. Все были огорчены страшно. Конечно, Михайло Фроленко — калач тертый, не кто иной, как нынешний Тихонов, увез в прошлом году одного политического из жандармских казарм. Было такое, в Одессе было. Увы, много ли проку от сторожа без соучастия унтера? Огорчение страшное, все прахом. Даже «голубя», прилетавшего из тюрьмы в Афанасьевский Яр, неохота было принимать: о чем писать, что сообщать товарищам?

Однако нет худа без добра. Унтер-ключник, то ли с досады на свою совестливость, то ли еще отчего, с цепи сорвался — нагрубил, накричал на самого господина начальника. Унтера в момент рассчитали: катись! И освободилось место, которое пусто не бывает. Сторож Тихонов преданно глядел на старшего надзирателя, тот опять, как при найме, пошел ходатайствовать, и опять — осечка: «Я уже Пантелеева назначил», — сказал начальник. Подумав, прибавил: «А этого твоего... Что ж, давай-ка его к Пантелееву в смену».

Вот оно, сбывалось! Получи казенную шашку и ступай в пантелеевскую смену. Но нету радости без ложки дегтя: амуниция досталась неказистая, ножны облезлые, ремень обтерханный — отставной козы барабанщик. И на радостях... огорчаешься. Но тотчас втихомолку опять светлеешь: право, втянулся в службу, в змеиную-то шкуру влез — вид казенного снаряжения не оставляет тебя равнодушным. А как же? Новичку надзирателю амуниция, что амбиция, а не то арестантики, народец отпетый, на загорбок — и погонять, погонять станут, успевай поворачиваться да от начальства хорониться.

В тюремном коридоре добром помянешь недавнюю сторожбу: там чистый воздух, а здесь дыхнуть нечем. Зато — сбывалось: пантелеевская смена надзирала за политическими. И теперь Тихонов не перемигивался с тремя заключенными, как, бывало, они из клозета, а он со двора. Нет, разговоры с глазу на глаз, особенно ночью, когда ключник Пантелеев отсутствовал.

Впрочем, он частенько и днем отсутствовал. У супружницы — она тоже в тюрьме служила, в женском отделении, — дитя народилось, ключника объял святой пламень чадолюбия. Да так бушевал в душе, так Пантелеев убивался по дитяте, оставленном с бабкой, что на служебные обязанности глядел рассеянно и благодарил судьбу, пославшую ему столь исправного Тихонова.

И все же ключник был помехой. Не объедешь! Ведь только он, ключник, ровно в полночь выводит из тюрьмы своих надзирателей; только ему, ключнику, отворяет внешние ворота караульный унтер-офицер. И Тихонов метил на место Пантелеева.

Надо полагать, долгонько бы, потому что начальник, котя и замечавший нерадение Пантелеева, а равно и усердие Тихонова, начальник словно бы сторонился последнего, словно бы остерегался. Да, Пантелеев еще и поцарствовал бы, не управляя, если б однажды, как предшественник, не начудил. Впрочем, Пантелеевым иная пружина двигала, брали его не тысячной взяткой, а посулом вольготной жизни.

Пантелеев однажды прихвастнул: вот-де, бывало, катался я как сыр в масле, управляя помещичьим имением, души во мне не чаяли, лучшего дельца днем с огнем... Тихонову бы ущипнуть хвастуна, отчего же вы, такой замечательный, прилепились к здешним-то пятнадцати целковым? А Тихонов не съязвил, Тихонов на ус намотал.

Дня два спустя заскакивает к ключнику лакей штиблетах, приглашает господина Пантелеева на Подол, в гостиницу «Дрезден», для очень приятного собеседования с богатым винокуром из Винницы. Ключник не заставил просить дважды, поскорее — в «Дрезден». Молодой пан. стряхивая сигарный пепел на ковер, сказал, что Пантелеев рекомендован ему с самой лучшей стороны, а посему не согласится ль Пантелеев отправиться в Винницу, приказчиком винокуренного завода? Ключник опять-таки не заставил просить себя дважды. Условились так: завтра ж принесет Пантелеев паспорт, подпишет соглашение, получит задаток — и с Богом, приказчиком на винокуренный. Паспорта тюремных служащих держал при себе господин начальник. Ключник, горя нетерпением, не разводил церемонии, а попросту перелобанил господина начальника: не желаю, мол, подыхать в твоей вонючей дыре и так далее. Повторилась история с унтером: ключника в момент рассчитали — проваливай, стерва! Он помчался в «Дрезден», подмахнул контрактец, получил червонец. Винокур-шеголь сказал: «Я съезжу в Нежин, а ты принайми плотников, мне нужда в них, обернусь в неделю, тогда и двинем в Винницу».

Неизвестно, сколько раз совался в «Дрезден» бедный ключник, пока заказное письмо не уведомило, что в его усердии по части винокурения нужды нет; почтовый пере-

вод на три пятишницы несколько подсластил пилюлю. Вот и вся игра.

А должность ключника уже отправлял усердный Тихонов, никогда не грубивший начальству. Развязка близилась. Старенькие шашки при дряхлой амуниции валялись в кладовке, дожидаясь, когда новоиспеченный ключник, удалив под каким-нибудь предлогом коридорного надзирателя, снабдит форменным холодным оружием трех политических да и ровнехонько в полночь, при редких фонариках, поведет к воротам тюремного замка.

В Афанасьевском Яру, у Осинского, что ни день обменивались новостями: лошадь и повозка куплены, паспорта есть, деньги есть (не зря приезжал Дриго), рыбачью лодку спрятали в прибрежных днепровских кустах. Лодку спустят на воду, и трое беглецов, налегая на весла, поплывут вниз по течению до Кременчуга, а там — и железная дорога... Ах, молодец молодцом Михайло Фроленко, крутого бунтарского замеса. И Фроленко-Тихонов, спокойно усмехаясь, делал вид, что оправляет портупею, которую нашивал в стенах тюрьмы.

Но не забыт ли монсеньер Случай? Ходит-похаживает, скользкий и увертливый, самый капризный из команды чертей. И он-таки выкидывает штуку: барона Гейкинга видели на улице!

Обер-шпиона приметили в тот день, когда из Чернигова прилетел на почтовых взволнованный Дриго. Лизогуб никому не сказал ни о настояниях уездного исправника, ни о подписке, выданной этому исправнику. Дмитрий Андреевич знал, что товарищи непременно выживут его из Киева, не отделаешься, как от Дриги. Уехать? Уехать теперь? Ведь на счету каждый день и каждый человек.

А главное было в Грише Попко. Лизогуб понял, какая сила владеет человеком, уже перешагнувшим рубежную черту и уже готовым к повторению этого.

Лизогубу казалось, что Гриша, хотя и примерил все наперед, не думает живо, в подробностях о смерти Гейкинга, а думает пристально и, наверное, с грустным наслаждением о своей гибели. Именно о своей, именно с грустным наслаждением. Тут-то и был корень. Дмитрию Андреевичу в то же время казалось, что он не сам догадался об этом, а читал где-то, но значения не имело, читал ли, догадался ли, потому что главное было понять, в чем она, Гришина сила.

Был поздний майский вечер, холодный, в колких звездах, когда один из наблюдателей сообщил, что Гейкинг с

каким-то чиновником приятельски зашли в кафешантан на Крещатике.

Надевая пальто, Гриша не сразу попал в рукава. Потом надел шляпу, широкополую, черную, студенческую. Выпростал колщовый грубый носовой платок и стал отирать руки. Лизогуб смотрел на его руки, а думал почему-то о крупной Фроленкиной длани, на которой был шрам, давний ножевой рубец.

- Который час? спросил Попко.
- Начало одиннадцатого, ответил Лизогуб, ощущая страшную неловкость оттого, что смотрит на его руки.
- Хорошо, рассеянно отозвался Гриша, эт-то хорошо.

И ушел.

13

Вот они, в бюваре, официальные бумаги, которые так гладко составлял барон Гейкинг для вышней власти в Петербурге, там, у Цепного моста. Да, в бюваре... Последняя двести шестьдесят седьмая? Нет-с, двести шестьдесят восьмая: «По сведениям, добытым негласным путем...» Кажется, последняя? Ну что ж, печально, весьма печально! Однако продолжим...

Начальник Киевского губернского жандармского управления— господину управляющему Третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии:

«Около полуночи с 24 на 25 мая адъютант вверенного мне управления штабс-капитан барон Гейкинг, возвращаясь домой вместе со своим знакомым, служащим в управлении Киево-Брестской железной дороги Вощининым, и повернув с Крещатика на угол Бибиковского бульвара, был ранен неизвестным злоумышленником. Рана колодным оружием, по всей вероятности кинжалом, нанесена в левую сторону нижней части спины, приблизительно на один вершок от поясницы, около самого позвоночного столба. В первый момент после удара барон Гейкинг не мог объяснить себе причину сильной боли, почувствованной им в пояснице, и это обстоятельство дало возможность злоумышленнику отбежать на несколько сажен, но затем, сообразив, в чем дело, Гейкинг подал свисток, а Вошинин стал взывать о помощи. На их крик проходив-

шие по улице люди стали преследовать убегающего. Первым настиг преступника солдатский сын Федор Процкин, мальчик лет 17, и схватил его за левую руку, в которой преследуемый держал носовой платок, но последний сделал выстрел в Процкина из револьвера, не причинивший ему никакого вреда, заставил его отказаться от намерения преследовать дальше, затем проходивший по бульвару крестьянин Черниговской губернии Филипп Виленский, по ремеслу каменщик, услыша выстрел и заметивши какогото человека убегающего, в свою очередь, бросился на него, но в то время, когда он уже схватил преступника, последний выстрелил в него, отчего Виленский тотчас же упал и сего числа скончался в страшных мучениях; вслед за тем в погоню за преступником бросился городовой киевской полиции Антон Чиж, но не успел он перебежать на ту сторону улицы, по которой бежал преступник, как тот двумя выстрелами из револьвера нанес ему две раны, обе неопасные; кроме сего преступника этого преследовали еще проходившие по улице чиновники: Казенной палаты Карпов и Киевской соединенной гражданской и уголовной палаты Жеребцов и Эльснер, но, увидав, что преступник отстреливается от погони, не решились заступить ему дорогу, вследствие чего сей последний, пользуясь ночною темнотою и общим смущением, успел скрыться бесследно».

Телеграмма из Киева в Петербург, в Штаб корпуса жандармов:

«Барон Гейкинг сегодня вечером скончался от раны. Прошу выслать офицера на его место. Генерал Павлов.»

Несколько дней спустя на депеше и телеграмме означилось карандашом: «Доложено Его Величеству в Царском Селе».

И в эти же дни, последние, майские, ходили из рук в руки, наклеивались на стены, доставлялись почтою адресатам Одессы и Харькова, Курска и Екатеринослава, Чернигова, Полтавы, Кишинева маленькие, на тонкой бумаге типографские объявления с зеленовато-лиловой или розовой печатью Исполнительного комитета.

«Считаем долгом известить русское общество, что покушение на убийство киевского жандармского офицера барона Гейкинга, случившееся в ночь на 25 мая, сделано нами, социалистами-революционерами, в наказание за слишком уж усердную службу в должности главного киевского шпиона. Что касается убийства рабочего, то мы глубоко сожалеем о том, что принуждены были сделать это в видах самозащиты. В заключение надеемся, что вся лучшая часть общества порадуется вместе с нами, что после долгих стараний нам удалось освободить из Киевского тюремного замка государственных преступников Стефановича, Дейча и Бохановского».

14

Лизогуб услышал стук копыт и удивился: Скаковое поле? Повозка тряслась и подпрыгивала. Били копыта, Лизогуб слышал храп, видел Фроленку, Фроленко, перегнувшись, лупил кулаком по мокрому крупу. Выноси, милая! Туда, к Днепру, к прибрежным кустам. Лодка спрятана у реки, но Лизогуб застонал: какая река? За Схаковым полем, за бойней, там ведь обрывы к морю! Но если поворотить, если взять в сторону — рядом станция. Да-да, станция, вот же, видите, эта ловкая обезьяна — все так же дерет втридорога за номер газеты, — здешний монополист, у него право торговать газетами на станции и на Скаковом поле, когда скачки, вот он и дерет. Пустяки, не обращайте внимания, остерегайтесь, однако, мазуриков. Сядем в вагон, держитесь за карманы, билетов не спращивают, зато мазурики, набившись в поезд, ох как... Били копыта, лошаль всхрапывала. Лизогуб рассмеялся: Фроленок-Фроленко, «ключник Тихонов», ты отослал за какой-то надобностью надзирателя, бросился в кладовую, где шашки и амуниция, а потом бесшумно отворил камеру. Тсс, надевайте, идите крадучись, не дыша. «Сейчас буду выводить смену», — кричишь ты унтеру. Как медленно отворяются коридорные двери, часовой ходит рядом, совсем рядом. И вот уж лошадь берет с места, повозка подпрыгивает по ухабам Старо-Житомирской дороги... И опять недоумение, опять тревога: какая Старо-Житомирская, здесь же Скаковое поле? А там — станция, паровоз, вагоны, вечером уходит курьерский, за ним уходит почтовый, но можно и к морю, мимо бойни, к морю, к обрывам. Лодка спрятана в кустах, надо плыть вниз по течению, но там море, хорошо, не беда, Днепр впадает в Черное море... Как тяжело лошади, мотает, бедная, головой, а Фроленко дупит кулаком по лошадиному крупу...

Попко не будил Лизогуба. Пусть спит и видит то, что в тюрьме спящий видит, словно наяву, а бодрствующий —

словно во сне. И Гриша Попко, приподнявшись на локте, пристально смотрел на спящего Лизогуба, видел, как по лицу его, изжелта-серому, с выпирающей скулой, скользила переменчивая тень — тень отчаяния и надежды.

15

Били копыта, стучали колеса.

Ну, барин достался, всему краю гроза, всей Одессе спасу нет. Ровно на пожар! А ведь совсем недавно приехали домой. Кажись, какого рожна? Отдыхай, топырь губу над блюдцем с чаем. Так куда-а-а там! Прибегает лакей: «Запрягать велено!» Что такое, а? Лакей себя по ляжкам хлопает, буркалы таращит — как смеешь спрашивать?

Били копыта, стучали колеса, кучер погонял лошадей. Экипаж, сопровождаемый двумя конными агентами, катился пустынной, ночной Одессой. В экипаже покачивался, опустив веки, руки на животе сложив, тайный советник Панютин.

Два часа минуло, как он вернулся домой, не дождавшись парохода «Эриклик», не встретив генерал-губернатора, завершившего инспекционную поездку. Дома, под ласковым присмотром встревоженной жены, Степан Федорович несколько передохнул, но все же не избавился от давешней внезапной слабости и жара. Ему и сейчас было весьма скверно. Однако адъютант Бушен прислал за ним, и тайный советник, всегда почитавший служебный долг превыше собственного здравия, немедленно отправился в генерал-губернаторский дворец.

Дело, ради которого тайный советник ехал к Тотлебену, требовало канцелярского завершения нынче, в среду, восьмого августа. Так телеграфировали в Петербург, к этому взывала пунктуальность. Обстоятельства весомые, важные, но есть и еще одно: это ведь его, Панютина, дело. Его, а не каких-то с бору по сосенке временных военных судей и не военного прокурора, очень картинно бряцавшего саблей, они бы тут развели турусы на колесах, а он, Панютин, взял да и сгреб всех двадцать восемь: нате-ка, судите! И не забывайте, что суд военный, а на войне как на войне. Он сколотил процесс двадцати восьми, определил приговоры, и он не потерпит каких-либо изменений.

Нынче вечером, дожидаясь во главе всех чиновных лиц возвращения генерал-губернатора из крымской инспекционной поездки, Панютин вдруг затревожился. Нет, у него не шевельнулось никаких сомнений в коренной преданности Тотлебена престолу и отечеству. Избави Бог! Но герою Севастополя и Плевны впервые за долгую жизнь надо подписать пять смертных приговоров. А Эдуард Иванович все же не граф Муравьев-Виленский. Не дрогнет ли? Следует удержать от ложного шага. И видит Бог, он, Панютин, озабочен не личным престижем, а престижем начальника, к коему питает высокое уважение.

Били копыта, стучали колеса, кучер погонял лошадей... Вернувшись с борта «Эриклика» в свои апартаменты, Тотлебен разоблачился, выпил, по обыкновению, два стакана свежих сливок и запалил папиросу, толстую, как мортира. Он курил с тем наслаждением, с каким куришь после утомительной дороги. Ни о чем не думалось, он сидел и курил, выкатив живот и опустив жирные, округлые, «эполетные» слечи. И все же он сознавал, что от конфирмации никуда не деться. Не потому лишь, что ждут в Петербурге, ждут в Царском Селе, а и потому, что он никогда не изменял правилу — исполняй сегодня то, что следует исполнять сегодня.

Генерал сказал адъютанту, что тот свободен, но Бушен не уходил — караулил минуту, чтобы честно исполнить просьбу приятеля своего и соперника Сендецкого. Ротмистра отнюдь не волновала судьба какой-то нигилистки, но, будучи адъютантом великого Тотлебена и гордясь этим, он оставался верен офицерскому товариществу, то есть обладал свойством, адъютантам почти несвойственным. Хорошо зная Тотлебена, ротмистр полагал, что Эдуард Иванович как ни устал, как ни разбит, а все же конфирмует приговор. И не ошибся: генерал послал за бумагами.

Бушен принес, раскладывая на столе, словно бы вскользь заметил, что вот-де есть некая Кутитонская, осужденная на пятнадцатилетнюю каторгу.

— И что же? — медленно спросил Тотлебен, поводя рукой с дымящейся «мортирой» и оставляя в воздухе сизую спираль. — Чего ж ты хочешь?

Тотлебен любил ротмистра, как старые генералы иногда любят молодых адъютантов, — любовью отеческой. В то же время матерый служака отлично знал, как иные адъютанты исподволь влияют на своих начальников. Нет, уж он-то в своих поступках совершенно независим. До него доходили пересуды о Панютине: дескать, Панютин всем вертит. Пусть их! Тайный советник избавляет от множества забот, вот и все.

Тотлебен сидел у стола с бумагами, поверх прочих лежала «Записка с изложением мотивов обвинения осужденных к смертной казни». Он уже скользнул по строке:

«Дмитрий Лизогуб имел...», когда Бушен упомянул какуюто Кутитонскую, и Эдуард Иванович вопросительно взглянул на ротмистра: «Чего же ты хочешь?»

А что, собственно, скажешь? Повторишь за Сендецким — Кутитонская, мол, напоминает одну самоотверженную сестру милосердия? Ну и выйдет несуразица. Сказать, что вот-де приятель ходатайствовал, опять-таки чепуха. И ротмистр сказал то, что единственно и сказать мог:

- Ваше высокопревосходительство, уж очень она молода. А ей в каторгу на пятнадцать лет. Эдак и жизнь слизнет. Генерал усмехнулся:
- Послушай, Бушен. Если наказующий руководствуется разумом, он наказывает не за то, что уже совершилось, а предупреждая повторение и удерживая подражателей. И если...

Но тут доложили о приезде тайного советника Панютина. Тотлебен усмехнулся и велел подать мундир.

— А все же совсем ведь молодая бабенка, — проговорил Бушен, помогая старику надеть мундир в рукава. — Слизнет жизнь, жаль.

Вошел Панютин. На его морщинистом, грубом лице было всегдашнее выражение мрачной неумолимости. Бушен подумал, что «бабенке» послабления, увы, не дождаться, поклонился и вышел.

Умащивая свое грузное тело в кресле, Панютин, как и Тотлебен за минуты до его прихода, скользнул взглядом по «Записке», выхватил слова: «Дмитрий Лизогуб имел особенно важное значение...» — и заключил, что подоспел в самый раз.

Именно в этом пункте, как полагал Степан Федорович, генерал-губернатор должен был полной мерой использовать права главнокомандующего военного времени. Отнюдь не потому лишь, что в обвинении против Лизогуба отсутствовало твердое юридическое обоснование. Э нет, не то, не то! На сей случай имелись свежие «Временные правила» и приказы министров. Нет. с Лизогуба следовало взыскать полной мерой еще потому, что во всей сути его лежало глубоко гнусное. Он изменил России. То, что было объяснимо (непростительно, но объяснимо) для какого-нибудь Соломошки Виттенберга, тоже приговоренного к виселице, было непростительно и необъяснимо для Дмитрия Лизогуба. Он предал свое сословие. То, что было объяснимо (непростительно, но объяснимо) для какого-нибудь Логовенки, матроса из мужиков, тоже приговоренного к виселице, было непростительно и необъяснимо для Лизогуба. Он поступил подло, осквернив самое священное — семейное благосостояние. И суть не

только в растрате средств, а в том, как он ими распоряжался. В Лизогубе сосредоточивалось для Панютина самое страшное: заражение крови. Те, другие, были лазутчиками, пытавшимися пробраться в крепость и взорвать ее, Лизогуб находился в капише крепости. Все это и определяло негодование и омерзение, которое поднималось в душе тайного советника при мысли о Лизогубе.

- Вижу, Эдуард Иванович, сказал Панютин, указывая подбородком на бумаги, вижу, вы не отложили... В его голосе звучало удовлетворение, так сказать, служебно-бюрократическое, всегда почему-то льстившее Тотлебену, но и немножко сердившее его, как похвала, в коей он не нуждался.
- Да, ответил Тотлебен, не оставил. Я сейчас, минуту, вот это. Он надел очки и взял «Записку с изложением мотивов обвинения осужденных к смертной казни».

«Дмитрий Лизогуб имел особенно важное значение в революционном сообществе. Он находился в весьма близких отношениях к Валериану Осинскому и принадлежал к числу 5 лиц, в распоряжении которых был главный денежный фонд общества. Насколько Лизогуб был важен для сообщества, доказывается тем, что все обвиняемые всеми силами старались выгородить его от обвинения».

- «Старались выгородить...» повторил Тотлебен, снимая очки. А сам, сам-то он как?
 - Отказался от защиты. Наглость, хоть и прикрытая.
 - Чем же, Степан Федорович?
- Софизмом. Он заявил, что не ему, ответчику, доказывать, а истцу. То есть нам с вами. Каков, а?!

Тотлебен, помолчав, заметил:

- Я не щадил сотни, тысячи жизней и никогда не задумывался: необходимость, жестокая необходимость.
- Необходимость дает право, твердо объявил тайный советник.

Тотлебен покосился на Панютина.

— Всякая ли необходимость дает право, Степан Федорович? — Панютин не понял. Тотлебен объяснил: — Ну вот, скажем, у голодного есть необходимость в хлебе насущном. Дает ли это право на воровство?

Панютин не любил, когда сближают неблизкое.

- Я имею в виду необходимость высшую. Необходимость и пользу.
- О, польза... Что нынче польза, то завтра вред. Он окутался дымом. Впрочем, я вот о чем: для меча карающего нужен веский критерий.

Панютин нагнул массивную голову с колким ежиком седых волос, подумал брюзгливо: «Экие бирюльки» — и напрямик заговорил о том, о чем, как он полагал, Тотлебен говорил обиняками.

— Помилования, Эдуард Иванович, недопустимы. От них слабеет устрашение смертной казнью. Во Франции помилования сделались правилом еще до войны с немцами, результат известен: Париж Коммуны. Смертная казнь вполне законна, коль скоро доказана невозможность сосуществования двух сторон. А доказательства нам даны чудовищные — нынче весною, на Дворцовой площади... — Оп ударил метко, упомянув соловьевское покушение на государя. И, подняв голову, глядя на Тотлебена мутными, в склеротических прожилках глазами, прибавил деревянно: — С другой же стороны, Эдуард Иванович, сами эти робеспьеры начинают обличениями смертной казни, а засим купаются в крови.

Тотлебен не спорил. Он был совершенно согласен с Панютиным. И все же, черт возьми, горчил, горчил привкус подчинения чужому голосу. Эдуард Иванович смотрел на бумагу с приговором. Нельзя поддаваться сантиментам, ибо сантименты — признак дряхлости. Ты знавал когда-то милую чету Лизогубов, они тебя привечали. Теперь надобно решить судьбу их племянника, государственного преступника. И ты медлишь. Твоя медлительность несправедлива, ибо снисхождение к одному Лизогубу означает несправедливость к остальным четверым. И Тотлебен остался верен принципу справедливости... Он смотрел на бумагу с приговором. Папироса дымилась. Тотлебен увидел имя Кутитонской. Мария Кутитонская, пятнадцать лет каторжных работ. И верно, почти сорокалетней выйдет из каторги. Бушен прав: «Слизнет жизнь...» Справедливость прежде всего. Но справедливость — родная сестра милосердия. Явить милосердие не значит попрать справедливость. И Тотлебен уменьшил срок каторги Кутитонской до четырех лет.

Он доказал свою независимость и себе, и старому мрачному волкодаву. Панютин это понял. Он пожелал покойной ночи и удалился, грузно ступая. Тотлебен исподлобья глядел в его широкую, сутулую спину. Потом расстегнул ворот мундира и долго оглаживал ладонью горло.

За полночь, отослав ротмистра, денщиков, прислугу, Тотлебен, опять разоблачившись, сидел в диванной. В руках у него была гитара. Он играл то, что только и умел играть на гитаре, — отрывок из «Жизни за царя». Давно выучил, в молодости, еще кондуктором, а потом играл редко, лишь в очень скверные минуты.

«Славься, славься» играл старик Тотлебен и, пристукивая костяшками пальцев о резонансовый ящик, очень похоже изображал шум несметной толпы, гул колоколов. Лицо его с сивыми толстыми усами было сумрачно-багровым.

На дворе перекликались часовые:

— Слу-у-уша-а-ай...

Девятое августа, четверг

T

- Слу у-ша-ай, перекликались часовые и здесь, на окраине Одессы, близ станции железной дороги и Скакового поля.
- О, всероссийский распев от края до края бескрайней империи на бастионах у державной Невы; подле мшистых бутырских башен и за Яузой, в Лефортове, где в Анненгофской роще затаилась военная тюрьма; на плацу Новоборисоглебского централа; в губернских острогах; меж сопок, где бежит Кара, где Акатуй, где кандальный Нерчинский завод. И здесь на окраине Одессы.

— Слу-у-ша-ай...

Протяжный оклик, проникая в сознание, истончил сновидение, оно поблекло; еще не проснувшись, Лизогуб пошарил под головой, но, увы, не нашел, как бывало в детстве, лиловенькой травки, навевающей сбыточные сны. Не нашел и, еще не проснувшись, сознал, что и взмыленная лошадь, и Фроленко, и тряская повозка — все это было, было, но не в Одессе, а в Киеве, когда трое товарищей бежали из тюрьмы.

И тогда же, прошлой весною, в утренний час, невнятная и вместе властная сила привела Лизогуба на Бибиковский бульвар. Он подумал: «Какое гимназическое утро» — и позавидовал стайке школяров, их весеннему предвкушению близких каникул.

Он стоял под тополем и смотрел на панель, на кирпичи, огораживающие небольшой квадрат. В квадрате, на панели, рыжели пятна. Полицейский, заложив руки за спину, прохаживался рядом. Лизогуб смотрел туда, где ночью закололи Гейкинга. На сторонний взгляд Лизогуб показался бы равнодушным или тупо-недоумевающим. А ему в эти мгновения с необыкновенной живостью вообразилось покушение. Он испытал странно-слитное ощуще-

ние: будто и ударил кинжалом и сам получил кинжальный удар.

Неверной походкой пошел он прочь. Ему примерещилась вдруг зимняя меховая шапка. Шапка валялась на снегу, она была похожа на хищного зверька. Лизогубу не то чтобы вспомнилась студено-мглистая февральская ночь, одинокий прохожий, которого он принял за прокурора Котляревского и, не веря в то, что это Котляревский, ускорил шаг, как бы испытывал себя, а прохожий побежал, приседая и размахивая руками, и потерял шапку, — нет, это, пожалуй, и не вспомнилось, а был лишь промельк хищного зверька.

Блуждал Лизогуб долго, не разбирая дороги, не замечая ни улиц, ни людей, ни экипажей, но в то же время с глухим удивлением чувствуя всю эту уличную жизнь, ни на йоту не изменившуюся.

Лизогуб думал о том, что никогда не пересечет рубежную черту, дважды пересеченную Гришей Попко, однажды — Валерианом Осинским. А он... он сознал невозможность лично для него, Дмитрия Лизогуба. И все его логические построения рушились.

Он не воображал революцию дамой-патронессой с розанчиками для голодных и сирых. Он не забыл, как Гриць Золотой затаенно-восторженно живописал огнепальную черниговскую ночь, когда ловили и пороли панов. Он не забыл, что петры-онуфрии, остервенясь, пойдут «пхать вылами». Но, думая о грядущей революции, о всероссийском восстании, Лизогуб не пятился, как при виде рыжих пятен там, на панели.

Полное, решительное, телом и разумом уяснение невозможности свершить террорное действие смешивалось с облегчением и радостью, стыдящихся самих себя и точно бы играющих с ним в прятки. Однако, признав личную непригодность к террору, он очутился в глухом тупике. Сторонник бунтарства, сторонник боевого направления, он оказывался лишь словесным адептом того, что требовало дел, а если и слов, то из уст того, кто делал дело.

После покушения на Гейкинга и побега трех узников закружилась в Киеве полицейско-жандармская кутерьма. Дмитрий Андреевич вернулся на Черниговщину, и добродушный исправник, старый друг дома, заверил власть предержащую: поднадзорный — под надзором.

А вскоре и в Чернигове, и в уездных городах власть предержащая, исправник тож, имела честь ознакомиться с «Объявлением от Исполнительного комитета»:

«Новый путь, принятый в последнее время русской социально-революционной партией и выразившийся в убийствах: барона фон Гейкинга, ростовского шпиона Никонова и других аналогичных фактах, подал повод к появлению значительного количества подметных писем, угрожающего содержания, как должностным, так и частным лицам, нередко под фирмою Исполнительного комитета.

Нравственная ответственность, принятая нами за наши действия, заставляет нас заявить публике, что авторы этих угрожающих писем не имеют с Исполнительным комитетом, а часто и с революционной партией ничего общего. Самим же авторам считаем нужным объяснить, что мы будем преследовать их, как своих злейших врагов.

Во избежание дальнейших недоразумений, все исходящие от нас заявления будут на бланках Исполнительного комитета и за его печатью».

Толки начались и пересуды, возмущенные и смущенные. И тренькала скрытая, тайная нотка, Лизогуб уловил ее при очередном визите исправника.

Константин Петрович, по обыкновению, сетовал на хлопоты, жару, одышку, преклонный возраст и — не изменяя обыкновению — не отказался ни от рюмашечки, ни от яишенки с коробовским салом, прибавив патриотически, что такого, мол, ни в каких европах нет-с и быть не может. А потом, отерев рот и усы большим белым платком, посмеиваясь и прищуриваясь, предложил ознакомиться, как он выразился, с цидулечкой.

Разумеется, «Объявление Исполнительного комитета» Лизогубу было очень хорошо известно, и, разумеется, Лизогуб очень старательно изобразил заинтригованного читателя. Пока он читал, исправник пытливо всматривался в лицо Дмитрия Андреевича. Тот прочел, сказал вдумчиво:

— Все-таки до некоторой степени гарантия.

Исправник стукнул кулаком по колену:

— Вот и я говорю! А то как же-с всех-то без разбору? Тренькала тайная нотка: страх перед возмездием. И потому объявление Исполнительного комитета принималось провинциальной сошкой как некое успокоение — все ж таки на бланке и при печати, стало быть, в некотором роде делопроизводство; выходит, малых сих, которые, что называется, при исполнении, таких, выходит, не тронут... Суетливая опаска константинов петровичей, пошлый рефрен: нам велят. Усмехнешься, и только.

Не усмехнешься, учуяв едкий дымок, струящийся из «Объявления Исполнительного комитета»: на святом деле

революции кто-то уже греет руки. Террорный принцип, временный, тяжко-вынужденный, не подхватывается ли он грязными честолюбцами или попросту уголовными? Однако сам принцип представлялся Лизогубу незыблемым. Опровергнуть могло время, но времени не дано было Лизогубу. Доказать ошибку могла алгебра революции, Лизогуб ее не знал...

Наезжая в Седнев, Дриго пугался Митиной мрачности: он видел в том дурной признак — Митя, наверное, решается на что-то ужасное и непоправимое, может быть и на прямое участие в делах, за которые полагается веревка. И пугаясь за Лизогуба, думая об этом прямом участии, Дриго пугался и думал о соучастии, о своей ответственности перед законом, а вернее, перед администрацией, не считающейся с законом.

Двойственность, возникшая в Дригином отношении к Лизогубу, трещина, стрельнувшая в тот день, когда он едва не бросился вон из Киева, двойственность эта и трещина не исчезли.

Дриге, правда, случалось вообразить, как Митя попадает в Сибирь, гибнет в остроге, а он, Дриго, обладая большими денежными средствами, спасает друга, и тот бежит, как некогда Бакунин, бежит из Сибири в Новый Свет. Бегут же каторжные через леса и тундры, бегут аж к Берингову проливу, попадают к американским китобоям. Гдето там, в Новом Свете, в прериях, что ли, русские беглецы промышляют извозом, пользуясь уважением за свою честность, прекрасно ладят с индейцами и все такое прочее. А при Митиных средствах, сохраненных им, Дригой, они тамто, за океаном, Господи Боже ты мой, как бы хорошо, чисто и вольно зажили.

Да, случалось такое вообразить. И хотелось верить, что он, Дриго, все устроит как нельзя лучше, очутись они с Митей вне досягаемости полковников. Но все же в глубоком закоулке души своей Дриго, поеживаясь, признавал, что сама-то по себе игра его воображения объяснялась все тем же страхом соучастия. Доверенное лицо! Пойди-ка потом объясни, попробуй убеди, что Лизогуб открывал тебе немногие карты, попробуй-ка, да тебя и слушать но захотят.

И втайне Дриго обрадовался, когда Митя сказал, что кочет кончить курс наук. Это было бы прекрасно, твердил Дриго, это было бы самое лучшее. Он горячо желал, чтобы Лизогуб уехал, чтобы его не было на Черниговщине, то есть там, где жил он, Дриго.

Лизогуб действительно послал прошение. Ему ответили, что лицам, находящимся под надзором полиции, запрещено жительство в столицах, однако господину Лизогубу не возбраняется поступить в любой провинциальный университет.

Лизогуб выбрал Одессу. Не потому, что юридический факультет тамошнего Новороссийского университета располагал лучшей профессурой, чем, скажем, университет св. Владимира. Лизогуб не сравнивал, не сопоставлял. Совсем иной курс наук заботил Дмитрия Андреевича.

Он приехал в Одессу летом семьдесят восьмого, сошел с поезда, на флагштоке станции вяло всплескивал флаг с городским гербом — корона и якорь. Было жарко и пыльно, тарахтели телеги.

День иль два спустя он подошел к тюремному замку. Смеркалось, тянуло полынью и угольным дымом, дышали звезды, и уже заводили часовые свой всерхссийский распев, выкликая то, что теперь, год спустя, на августовском рассвете, доносилось и сюда, в секретный каземат Лизогуба:

— Слу-у-ша-ай...

Они умолкли, тюремные часовые: наступило утро.

2

В то утро от жены пахнуло мятными облатками, и смотритель тюрьмы Зубачевский был сражен: жена и этот подлец, градоначальник Гейнс...

Накануне коллежского асессора известили, что генерал Гейнс ждет его завтра у себя к началу служебного дня. И вот: «Здравствуйте, ваше превосходительство». — «А-а, Зубачевский...» Грянул выстрел, подлец Гейнс упал головой на стол, коллежский асессор небрежно бросил дымящийся пистолет. В кабинет сбегались обомлевшие чиновники. «Господа, — сказал коллежский асессор, бледный и улыбающийся, — я отдаюсь в руки правосудия».

— Пожалуйте, — повторил дежурный чиновник, удивленный рассеянностью смотрителя тюрьмы. — Их превосходительство ждет.

Зубачевский встал и пошел в кабинет градоначальника.

- А-а, протянул генерал в ответ на поклон коллежского асессора, прошу, прошу. И спросил: Как поживает мадам?
 - Наказала кланяться.

Его превосходительство взглянул на часы. Коллежский асессор, только что прикончивший его превосходительство,

тоже взглянул на часы. Генерал изъяснялся кратко, как полководец в канун сражения. Смотритель изъяснялся лапидарно, как комендант стратегического пункта.

Отпуская Зубачевского, градоначальник понизил голос:

— A этот?

Они понимали друг друга.

— Всем доволен, но кряхтит: заждался, мол.

Гейнс подергал щекой:

— Вы вот что... Вы уж там... э-э-э... побалуйте его. Зубачевский поклонился.

Было еще рано. Небо голубело робко, словно опасаясь нового нашествия погодливых туч. Рядом с канцелярией градоначальства, в доме Рафаловича, где жил Гейнс, высокие окна были зашторены, и Зубачевский, с возвратившейся ненавистью к негодяю и вонючке, подумал, что в одной из этих комнат старый бонвиван лакомится его супругой, однако тотчас сообразил, что рандеву происходят, конечно, где-то в другом месте, совершенно укромном, и оттого, что это место было ему неизвестно, Зубачевский почувствовал еще большую ненависть и опять застрелил Гейнса. В лоб, прямиком в лоб, череп треснул, как глиняный горшок: мальчишка-рассыльный поднимал жалюзи в цветочном магазине.

Коляска свернула в переулок. Зубачевский, сняв фуражку, почувствовал дуновение бриза. Это было приятно. К тому же вообразилось, как мрачный боров Панютин распушит Гейнса. Это тоже было приятно. А распушит-то непременно! За всем не доглядишь, все не упредишь, где-нибудь да в чем-нибудь обнаружится проруха. А кто в ответе? Градоначальник! А боров Панютин, тот и самому Тотлебену потачки не дает. И злорадно повеселев, Зубачевский подкатил к мастерской гробовщика.

Позавчера, во вторник, гробовщик с похмелья долго торговался. Объяснял, каналья: «Призма! Призма, а не ящик!» Потом спросил «мерочку». Пришлось на глаз определять, кто самый длинный, прикинул на Лизогуба — вот тебе и ранжир, валяй все на один манер. Нынче гробовщик был трезв, усы торчали в стороны, а не загибались, как кран рукомойника.

— Готовы, вашескородь, — пробасил он угрюмо.

Черные гробы были сложены у стены, а рядом, вприслон к стене, — черные крышки. Призма не призма, но вроде и не ящики.

— Так, так, — буркнул Зубачевский, тыкая носком сапога гробовые крышки. — Аккуратно угадал, мастер. Нынче пришлю — заберут. Сверх условленного он прибавил полтинник, как бы ради скорейшего завершения всех своих хлопот. Гробовщик удержал полтинник на ладони.

— Мало, что ли? — усмехнулся коллежский асессор.

Гробовщик вздохнул и спрятал деньги. Черт его разберет, чего он вздохнул, но показалось Зубачевскому, не в полтиннике была суть.

От гробовщика поехал смотритель на Скаковое поле. Ехал мимо садов Большой Арнаутской. Кусты сирени хранили сумрак минувшего ненастья. Потом ехал худо мощенным проулком, потом пересек Старопортофранковскую с ее запахом влажной акации и выехал в негородской простор, под большое небо уже осмелевшей, но еще не торжествующей голубизны.

Плотничья артель, сколотив помост, воздвигала виселичные столбы, тоже черные, как и помост. Издали все глянуло пожарищем, на котором случайно уцелели стропила.

Десятник, в синей рубахе, стриженный в кружок, с карандашом за ухом, шуганул стайку мальчишек и, сняв картуз, блеснул улыбкой:

— Шумишь на робят, а все балуют.

Зубачевский вылез из коляски:

- Успеете?
- Рука не дрожит, ответил десятник.

Зубачевский прихмурился на ребятишек. Ребятишки были ему неприятны, как и давешний вздох гробовщика. Сказал сухо:

— Смотри, чтоб накрепко, без обману, знаем вас.

Десятник притворно удивился:

- Чего беспокоитесь, барин? Не заговорим избу.
- Как так?
- А слово такое есть. Ежели, к примеру, козяева поперек, то и мы, сталоть, та-акую избу срубим, не обрадуются. — И опять блеснул ясной улыбкой: — Эту-то, вашу-то, не заговорим, барин.

Зубачевский поморщился:

— Ладно, ладно, шутки-то шути, да гляди-ка в оба.

Поодаль, к той стороне, где бойня, четверо могильщиков, нанятые на Христианском кладбище, рыли ямину. Махали, как заведенные, сгибались и разгибались.

Идти к могиле не хотелось. Не то чтобы подумалось о молодых, здоровых людях, которым предназначалась и эта ямина, и другая, на недальнем кладбище, в случае похорон по церковному обряду, нет, не смутился коллежский асессор, а... как бы сказать?.. ну, не хотелось, и баста. Десятник сплюнул:

Пустое, ваше благородие. Без догляду справятся. Рази там работа?

Но смотритель все же пошел к могильщикам.

Полуголые, они обливались потом и, как все могильщики, перво-наперво пожаловались на грунт: долбишь, ковыряешь, мука мученическая, ей-Богу.

- Беда барин. Струмент не берет.
- Возьмет! вдруг озлобясь, рявкнул Зубачевский.

И они сразу согласились:

— Возьмет, гроб-травка вырастет.

Зубачевский не ответил. Нашла и печаль, и усталость, и обида. В этом, неожиданном, смешались и супружеская измена, и генеральские мятные облатки, и плотницкая бойкость, и эти потные могильщики со своей гроб-травкой, и еще что-то, совершенно необъяснимое. И, ничего не сказав, он пошел к коляске.

3

Сендецкий готовил батальон к инспекторскому смотру. Когда-то, молодым офицером, он страшно нервничал, но, услышав начальственный рокот: «Вид у людей хор-рош, стойка хор-роша», воспарял во блаженстве и, делая саблей «на караул», почтительно ронял голову, прижимая подбородок к мундиру. Теперь он тоже брал саблю «на караул» и, наклоняя голову, прикладывал бороду к мундиру, но во блаженстве не таял.

Как многие офицеры, вернувшиеся с Балканского театра военных действий, подполковник презирал плац-парадные упражнения: в огне, на позициях, ни хрена они не стоили. Он знал многое, чего не знал прежде. И то, что внешняя картинность не равнозначна тактической сообразительности; и то, что на людях с душонкой штабного писаря подчас красуются густые эполеты; и то, что отнюдь не под каждой орденской колодкой бъется военная жилка.

Ему смерть как надоело переодеваться: форма парадная, форма праздничная, воскресная, обыкновенная, походная; одна — в дни рождения высочайших особ, в двунадесятые праздники, эта — для дежурств и караулов, та — при личных представлениях, сия — при встречах и провожаниях, а эта — для публичных торжеств и официальных обедов, а та — при погребениях и брачных церемониях. Говорили, что несколько боевых генералов сошли с ума от таких

сложностей, а двое застрелились вследствие постоянного застегивания и расстегивания.

Его угнетал ясак: букеты бригадным дамам, подписки на какие-то юбилейные альбомы, дерьмовое шампанское втридорога из благотворительного буфета, театральные бенефисы, загородные пикники в наемных фаэтонах. И все это, когда денежное довольствие не сравнишь с жалованьем в европейских армиях! И все это, когда солдаты спят вповалку на сплошных нарах, под шинелькой, шибающей прелой шерстью, и восемнадцать часов кряду — с шести вечера до следующего полдня — не получают горячей пищи.

Но как бы там ни было, а батальон Сендецкий готовил к смотру тщательно, то есть подчинялся давно заведенному порядку, который не только не дозволял упустить что-либо из виду, но и исключал всяческие рассуждения. В этот порядок входило множество разнообразных действий: и осаливание, смазка винтовок системы Бердана № 2; и чистка пуговиц толченым кирпичом; и репетиции дружного ответа: «Здравия желаем, ваше превосходительство»; и «освидетельствование ног», для чего солдаты разувались на один правый сапог; и прилаживание нательных крестов так, чтобы висели на груди, а не болтались за спиною, что всегда вызывало нарекания инспектирующих; и шереножные учения по капральствам, которыми командовали унтеры, добиваясь удара всей ступней или, как они грозно выкрикивали: «На весь свет! На весь свет!»; и, наконец, еще одно — бритье и стрижка у ротных цирюльников, нерегламентированные манипуляции, доставлявшие отдельным начальникам душевные страдания: Главный штаб не делал никаких указаний относительно формы и длины бороды, отчего нарушалось строевое благообразие.

Итак, Сендецкий наблюдал за подготовкой к инспекционному смотру, имеющему быть послезавтра, в субботу. Однако закончить все следовало нынче же: завтра времени не будет — к десяти часам в числе других надлежало ему вывести батальон на Скаковое поле.

И участие в суде над штатскими, и предстоящее участие в свершении обряда смертной казни были Сендецкому неприятны. Не потому, конечно, что он питал мало-мальское сочувствие к нигилистам (исключением, да и то не очень-то объяснимым, была Мария Кутитонская), и не потому, что в судебном процессе видел он несправедливость, а в смертной казни — варварство. Нет, неприятно было оттого, что все это представлялось подполковнику несвойственным офицерскому реноме. Тут возникала брезгливость, похожая на брезгливость к ябедничеству и

лизоблюдству, претившим ему еще в кадетском корпусе. Кроме того, марш на Скаковое поле воспринимал он как участие в карательном действии. Пусть и не совсем прямое, не то, когда штыком и картечью супротив деревенских мужиков и баб, но все же участие. А это опять-таки представлялось несоответствующим престижу армейского офицера.

Чувство душевной и даже, казалось, телесной неопрятности, возникшее на суде, подполковник не избыл за те дни, что минули после заседания в совещательной комнате, а сегодня надо было присутствовать при объявлении конфирмованного приговора, то есть опять словно бы марать руки.

Еще не зная, как решилась участь этой барышни Марии Кутитонской, Бог весть почему напоминавшей ему сестру милосердия Ардашеву, Сендецкий, хотя и считавший, что он сделал для нее все возможное, корил себя за ту одурелость, какая владела им в совещательной комнате. Все-таки думал он, следовало подать особое мнение. Подполковник прекрасно знал, что особое мнение ни на йоту не повлияло бы на резолюцию и что эти особые мнения имеют «значение только нравственное для подателей оного». Да, знал, а вот, оказывается, нуждался в такой туманной штуке, как нравственное значение. Вообще все эти дни им владело ощущение тягостной путаницы.

Известий от Бушена Сендецкий не ждал, об этом они не уславливались. Да и каких известий ждать? Чем ближе был час объявления приговора, тем меньше верилось в успех. Не потому, что Сендецкий считал Тотлебена задубелым извергом. О, напротив, напротив! Очень и очень высоко стоял Тотлебен в глазах подполковника. Звук «Тотлебен» входил в понятие «Севастополь», и этим все было сказано. Да и лаврами последней турецкой кампании венчал Сендецкий отнюдь не великого князя Николая Николаевича, получившего фельдмаршала, а все того же Тотлебена. Но именно потому, что Эдуард Иванович высоко стоял в глазах Сендецкого, именно поэтому теперь-то и не верилось в то, что слабый голос адъютанта-ротмистра дойдет до таких вершин. Впрочем, ведь Бушен и обещал-то нетвердо, с экивоками. А мысль что Тотлебен может и сам, без всяких ходатайств, изменить приговор, мысль эта вовсе не возникала.

Между тем надо было ехать в суд. Сендецкий медлил. Впервые после войны он так явственно ощутил свою слитность с массой, ему подчиненной. Он знал свое место и свое дело в том огромном, громоздком механизме, который назывался войском. Оттягивая поездку в суд, Сендецкий вглядывался в офицеров и солдат, и все они нынче казались ему славными. Даже нижние чины с желтым жгутом по кромке

погон, даже эти, из студентов которые, вольноопределяющиеся, со своим гонором и воробьиным сроком службы. Господи, с каким наслаждением он остался бы на плацу.

Полчаса спустя Сендецкий подъезжал к Ямской улице, к казармам № 5. Городовые стояли шпалерами, через тричетыре шага. Высились конные жандармы. Подполковник мрачно усмехнулся: ходил в атаки на турецкую гвардию, а сейчас едет под охраной каких-то будочников.

Публика в зале была вся мундирная. Сендецкий, едва удерживая раздражение, поздоровался с членами суда и опять, как в день завершения процесса, переглянувшись с временными судьями, штаб-офицерами Виланского, Керчь-Еникальского и гусарского Белорусского, понял, что и они, как говорится, не в своей тарелке. А эти постоянные судьи и фат прокурор, эти раскланивались, как на променаде в Дерибасовском саду, где заведение минеральных вод и струнный оркестр.

Секретарь суда шуршал бумагами и покашливал, прочищая горло. Ввели осужденных. Все встали, кроме судей. Началось чтение конфирмованного приговора. Сендецкий сидел прямой, напряженный, опустив глаза на зеленое настольное сукно.

Услышав имя Лизогуба («смертная казнь чрез повещение»), он не ощутил ничего, кроме безотчетной суровости. Потом назвали Марию Кутитонскую, объявили четыре года вместо пятнадцати, и Сендецкий, радостно вскинув глаза, едва не отшатнулся: лицо ее было словно оледенелым, в какую-то долю секунды Сендецкому привиделся молоденький солдатик, замерзший до смерти на Шипкинском перевале. Ошеломленный, он не то чтобы перехватил ее взгляд, вперенный в Лизогуба, а как бы почувствовал этот взгляд.

Чтение приговора продолжалось.

Сендецкому очень хотелось курить. Курить, и ничего больше. Провались-ка все к чертовой матери, подумал он, опустошенный, то ли кем-то обманутый, то ли в чем-то обманувшийся, а кем и в чем, не разберешь.

4

Громоздкие, безрессорные кареты воротились с Ямской улицы. Тюремные щеколды и замки отстучали, отлязгали, и тюрьма угрюмо затихла.

На оглашении приговора Зубачевский присутствовал мундирным, при сабле и портупее, струящейся серебром.

Ему нравилось надевать парадное, но сейчас и эта сабля мешала, и фуражка с белым кантом и лаковым козырьком резала лоб. Он прошел в канцелярию, в кабинет, отстегнул саблю, бросил на подоконник фуражку, лайковые перчатки.

Все, что требовалось, было готово: и черные гробы, и серые саваны из мешковины, и доски с надписью: «Государственный преступник», и свежая, не траченная смолою пеньковая веревка, и сооружения на Скаковом поле, и бурая ямина там же, и могила на кладбище. Да, все он приготовил, но призадумался-то о другом: ему жизнь своя очертилась общим кругом — и нудная гимназия, и женитьба, и форменное платье, и Пиф-Паф, и мятные облатки градоначальника, и день-деньской с арестантами. Все в отдельности могло быть, а могло и не быть. Но если б не было, то что же было бы?...

Прозаический голод избавил его от меланхолической задумчивости. Зубачевский встал, потянулся к подоконнику за перчатками и фуражкой, увидел на дворе арестантов, они тащили бадью с водой, и, увидев, подумал: «В баню его, в баню...» Утром генерал Гейнс посоветовал: «Побалуйте». И дурак сообразил бы — не одной водочкой, но и бабенкой: плоть ведь и у арестанта бунтует.

Зубачевский велел позвать Журавского. Помощник явился, и коллежский асессор стал толковать о том, о чем никогда не толковал с помощником: и чтоб дров не жалели, и чтоб воды вдоволь, а не по-всегдашнему, когда арестанты едва взбрызнутся, и чтоб веник, а не обитый голик, и чтоб угаром не пахло... Журавский понимающе шевелил бровями, но, когда смотритель намекнул о «баловстве», егозливо обеспокоился: какую-де прикажете командировать в баню? Коллежский асессор почему-то поморщился:

— Без меня, без меня...

И ушел, брякнув саблей о дверной косяк.

А Журавский заскреб в затылке. Этот, из «дворянской», похороводится и укатит восвояси в Москву, а бабенка, глядь-поглядь, брюхатая — с кого, скажите, спрос за упущение? Теперь второе. Касаток полный садок, разной масти, разной снасти, от молодухи до старухи. Тонкость-то в том, чтоб в женском отделении не расчухали, куда, по какой надобности выдернули из камеры товарку? А потом как еще она-то, мармотка, эдакого гостя примет? (В слове «мармотка» слышал он едкую пикантность, ничуть не подозревая, что мармотки — всего-навсего оборки дамских шляпок). Самая что ни на есть подзаборная скорее ублаготворит тряпичника с городской свалки на Чумной горе,

нежели ката... Эх-хе-хе, господин смотритель изволят суп с фрикадельками, жаркое с черносливцем, у них стакан без трещины, а ты, брат, изслужись в нитку, а готовую ко услугам устрой. И помощник смотрителя пошел отдавать банные приказания.

А заплечных дел мастер уже не хандрил, как намедни, когда вечерний зов локомотива будил тоску по Аграфенушке, по сопливеньким Петеньке и Васеньке. Нет, он нетерпеливо прикидывал, сколь ден до Москвы оставалось.

Значит, так: завтрева здесь, в Одессе, а послезавтрева там, в Николаеве; Трюхлый говорил, морем туда ехать; морем ли, сушею — абы ехать. А потом застучат колеса — ту-ту-ту, — поехали на Москву: «Здравствуйте, милые! Как живете-можете?!» Эх, Трюхлый, завтрева, после Скакового, получишь, брат, знатную отвальную. А впрочем, подумал Фролов, кой ляд завтрева?

- Хры-ыч, позвал палач. Он, кажется, привязался к этому надзирателю, бывшему служителю скотобойни, к этому Ваське Трюхлому, ничо мужик, сердечный. Хры-ыч!
- Аюшки, отозвался надзиратель, догадываясь, зачем его кличет Ванька Фролов, ничо мужик, бывают хуже. Аюшки?

Возникла немая сцена с прищелкиваниями-перемигиваниями, однако оборвалась, — сглотнув слюну, Трюхлый отказался. И объяснил:

- А посля, баню тебе ладят.
- Ага! произнес Фролов, прихмуриваясь. Стало быть, баню, это мы понимаем. Тогда вот что: глаже чтоб гладкого, ни пылинки, я этого не люблю. Он достал из сундучка переливчатую рубаху алого шелка, плисовый черный жилет с перламутровыми, как на гармонике, пуговичками. Вот, хрыч, пусть выгладят. А сапоги, чтоб не тьфу-тьфу и щеткой шмыг, нет, ваксой, ваксой. Понял?
- Не моя докука, буркнул Трюхлый, начальство само знает.
- На петра не кивай, строго заметил Фролов. Обыкли тут спустя рукава. Я те дело говорю. Понял?

Трюхлый не успел ответить — пришел ключник, пригласил Фролова в баню.

Баня была на внешнем дворе, рядом с кухней. Банное действо происходило дважды в месяц. Платили арестанты по копейке с души. Шабаш кипел вкруг веника и шаек, в драчке за воду, которой вечно недохват был, не мылись арестанты, а прели в бурной тесноте.

Не то ждало Фролова. Чинно он шествовал. Сопровождали его ключник и надзиратель. Тюрьма прильнула к окнам. Не оборачиваясь, не зыркая по сторонам, знал Фролов, чувствовал, что все на него смотрят не только со страхом и оторопью, но и с болезненным, почти жутким восторгом.

И точно, тюрьма смотрела, как он шествует, покачивая плечами, молча смотрела тюрьма, и только один разотчаянный бродяга, дожидавшийся отправки на Сахалин, пустил ему вслед петушиной фистулой:

Эх, бечевочка, бечевка, Эх, ты, петелька моя, Ты люби, люби ворочка, Паренька, меня

Фролову и это польстило. Не убыстряя и не замедляя шага, он вышел через ворота во внешний двор. Едва показался, из кухни высыпали кухари, из канцелярии — канцеляристы, из караульной — караульная смена, а из окна казенной квартиры господина Зубачевского выглянула малам в папильотках.

Никого и взглядом не удостоив, но все приметив, царственно вступил палач в банное влажное царство. Востролицый мужичонка, из тех, что на воровском жаргоне именуются банюшниками — не потому, что прислуживают моющимся, а потому, что обирают моющихся, — этот востролицый шатнулся в сторону, точно ему над ухом грянуло: «Стрема!» Но сейчас, арестантом, он не был банюшником, а вправду был банщиком и восклик «Стрема!», означающий «Берегись!», прозвучал ему не сигналом появления полицейского, а грозным предупреждением: вот, мол, кто припожаловал.

- Пар у тебя как? солидно осведомился Фролов. Богатый?
- Дюже, дюже, закивал банщик. Огонь стушил вовремя, печь здеся чугунка, с чугунным, значится, боем, жар до-о-олго держит...

Фролов сел на лавку и стал раздеваться. Ключника и надзирателя не было. Должно быть, у дверей, на вольном воздухе околачиваются, решил палач, стаскивая сапоги. Пока он разоблачался, банщик тоже куда-то удалился. Почесывая грудь, Фролов помедлил, словно привыкая к себе, голому, и наконец двинулся к парильной, нарочито косолапя в предвкушении удовольствия.

Мармотка, готовая ко услугам, дожидалась в парильной. Помощник смотрителя посулил: ты потрафь, не будь дурой, он при деньгах, фартовый малый. И невдомек глупой, кто он такой, за что и почему жалуют его.

Арестантка была из новеньких, еще не отощала и не увяла. Служила недавно в номерах на Княжеской, видывала всякое, под замок угодила за пустяковое присвоение чужой собственности.

Дожидалась она простоволосая, но еще не в чем мать родила, а в расстегнутой блузочке и исподней юбке. Было ей жарко, она языком с губы пот слизывала и думала, скоро ли набежит этот фартовый кавалер и сколь она с него слупит, даже интересно.

Фролов толкнул разбухшую дверь, вошел в парильную, ужаснулся и мгновенным движением прикрыл срам. Мармотка прыснула в ладони. Фролов в ту же минуту нашелся: окатил чугунку водою — помещение наполнилось клубами пара. Но бабенка была не промах, одно слово из номеров, она что-то, невидимая, заворковала, засмеялась, приманивая.

— Женатый я! — диким голосом гаркнул Фролов, наддал еще пару и, скорчившись, махом взлетел по склизким приступкам на полок.

На воле Фролов не норовил в сторону, он и на королевну не променял бы Аграфену. Однако на воле верность Аграфене была безотчетной, а в тюрьме-то иное возникло. Как ни бойчился Фролов, а змея подколодная нет-нет и посасывала, с протяжечкой и холодно посасывала. И рогатиной против нее было: эх, не Аграфена бы с детушками, нипочем бы палачества на душу не взял, а загремел бы по каторжной Владимирке, и вся недолга. Аграфена была ему оправданием. А тут, сейчас, в бане, вроде бы подкараулили и рогатину эту отымали. Не силком, а хитростью.

Переведя дыхание, обронил он с полка, в клубы пара:

— Ты кто будешь?

И оттуда, снизу, вознеслось голубиное:

Лександра... женчина...

 Сучка ты, а не женчина, — укоризненно гавкнул Фролов.

Она мелко рассмеялась:

Я к тебе с лаской.

— А я к тебе с таской, — огрызнулся Фролов.

Но Лександра уже решилась на приступ. Ей вспомнился конопатенький студентик, горел и робел, она его в две встречи обратила в неутомимого, ах, благодарен-то был, ах, благодарен. А этот как вошел, так и осалдател, глупый. И Лександра, уже нагишом, белая, ворочая бедрами, полезла на банный полок, где хоронился, обнимая шайку, фартовый кавалер.

В тот самый миг глянул на него из клубов пара питерский большой барин, морда как фаянсовая тарелка, а зенки как у снулого сома, тот самый барин глянул, который ногой подрагивал и стращал: по закону-то понудим тебя, Фролов, и без твоего согласия. Все они могут, как обжегся яростью Фролов, все могут, сволочи, а вот этого, чтобы я сейчас... И, метнув нательным крестиком, резко накренился с полка, но уже не крикнул, нет, спросил страдальчески и вместе грозно:

— А знаешь, кто я? Знаешь?

Лександра не отвечала. Фролов, услышав ее дыхание, на мгновение вроде бы затосковал. Но едва ее рука потянулась к нему, как он грубо пхнул упруго-мягкое, и она, ойкнув, сорвалась со склизких ступенек. А он грохнул шайкой о полок, заорал:

— Зверь я! Душегуб!

5

В казарме № 5 при оглашении окончательного смертного приговора Лизогубу Гриша Попко тихонько и как бы отвлекающе пожимал Митину руку. Но потом, едва секретарь умолк, длинная, волною, судорога Митиного тела передалась Попко, и он что было силы стиснул его руку в машинальном и бурном порыве — удержать, не позволить, спасти. А Лизогуб, изогнувшись, смотрел на Марию, рухнувшую на скамью, согбенную, лицом в ладонях.

Потом, в громоздкой, безрессорной карете, гремевшей в череде таких же колымаг, возвращавшихся с Ямской в тюремный замок, Гриша Попко, как душную тяжесть, сознал свое нежелание делить с Митей последние часы. В этом нежелании крылось что-то инстинктивное, самоохранительное, и, защищаясь от себя, Попко твердил беззвучно, что причиною тому — отсутствие слов, необходимых в подобных случаях.

В тюрьме, угрюмо затихшей, в секретном каземате, Попко подумал, что самое-то страшное, самое непереносимое
вовсе не в отсутствии необходимых слов, а в том, что вот
сейчас он станет свидетелем Митиного душевного ослабления, Митиных интимных излияний — о, этот неистово-напряженный взгляд, устремленный на Марию Кутитонскую... И опять, опять владело Гришей нехорошее, самоохранительное чувство. Он ощутил, как отчужденно твердеет
его лицо. И вдруг встрепенулся, обрывая дыхание: осторож-

ненько шурхнула дверная форточка, надзиратель поспешно передал бумажный жгутик.

Записка была от Курицына.

Второй уж год сидел Курицын в здешней тюрьме.

6

Прошлым летом, в семьдесят восьмом, едва приехав в Одессу, на другой иль третий день, Лизогуб подался к тюремному замку. Уже смеркалось, дышали звезды. Пахло стародавней полынью и новиной угольного дыма. Слышно было, как на путях полязгивают вагонные цепи. Потом донеслись мычание, резкий бич, грубые окрики — в сумраке гуртили гурт, и сквозь эти сельские звуки пробрезжила Лизогубу сонная Сновь, заречные седневские пастбища.

Тяжело топоча, стадо двинулось, взметывая пыль. Лизогуб не знал, куда ведет эта смутно белеющая дорога, а стадо еще не чуяло бойни с ее кровью и сизым паром, стадо двигалось, сопя и всхрапывая, в ожидании пойла и корма.

Оно двигалось мимо тюремного замка, в тюремном замке сидел Федор Егорович (Лизогуб и мысленно называл Курицына именем-отчеством), а Федор Егорович когда-то, не так уж и давно, учился на ветеринара, но отложил ветеринарные книжки, взял другие и ходил, как офеня-коробейник, распространяя нелегальное. По Киевщине ходил, по губерниям Полтавской и Херсонской, был окрест Елизаветграда, потом на Одесщине, а схватили Федора Егоровича в Николаеве. Навели справки, выяснили: привлекался по делу харьковских и елизаветградских кружков. Ну, все харьковское-то было известно. Сие в сторону, а вот елизаветгралское... Из Елизаветграда нить прямиком в Одессу протянулась — сюда, на эту окраину. Тело нашли поздним вечером: кистенем пробитый череп, лицо, залитое кислотою. И клочок бумаги: «Такова участь шпиона». В покушении на Гориновича Федор Егорович не участвовал, знать не знал, его взяли как подозреваемого, и вот он теперь в этой тюрьме, мимо которой движется большое стадо, топоча и всхрапывая, поднимая тонкую пыль, а Лизогуб, да-да, тот самый, из Седнева, стоит и думает о Федоре Егоровиче Курицыне.

Многое тут натуго сошлось. И утренний час на Бибиковском бульваре, когда Лизогуб сознал свою телесную, что ли, непригодность к террорным действиям. И мысль о том, что троих интеллигентов вызволили из киевской тюрьмы, а крестьянин Федор Курицын изнывает вон там, в той, наверное,

башне. И уверенность в краткости своей жизни, уверенность, которая не позволяла пребывать лишь поставщиком ее величества Революции. Он знал, что ему делать: спасать собратьев из узилищ и принять, коли судьба, пулю стражника, оглашающего тишину своим протяжным «Слу-у-ша-ай...»

Полынью пахло, стадом, паровозной гарью. Лизогуб стоял неподалеку от тюрьмы и думал о крестьянском сыне, выпрямленном и озаренном социалистическим идеалом. Но, думая о Курицыне, Лизогуб сознавал, что его отношение к нему не исчерпывается ни искренним умилением, ни планами спасения. Нет, был еще и седневский душный день, когда Лизогуба обжег огненный язычок негасимой сословной ненависти: «Как пить дать, дом-то ваш спалят, — хрипло сказал Курицын. — Небось жалко? — И рассмеялся: — Еще бы не жалко...»

Лизогуб любил в нем всех курицыных, украинских, русских, всех прочих. Курицын ненавидел в нем всех лизогубов, украинских, русских, всех прочих. Лизогуб не осуждал Курицына. Ненависть была свята, как и социалистический идеал. В этой ненависти запеклась вековая мука ограбленных поколений. Не осуждал, но втайне чаял исключения некоторых лизогубов из общего правила. Требовалась искупительная жертва, и он жаждал ее.

Отправляясь в Одессу, Лизогуб думал не только о тюремном замке, где томился Курицын. Лизогуб избрал Одессу потому, что здесь была гуща бунтарей, здесь подходило, как на дрожжах, то, о чем они помышляли в Киеве с Осинским и Гришей Попко, — сплочение под главенством конспиративного центра. Но определишь ли, в чем главное, в чем неглавное? И Лизогуб не определял, это ведь кипело в душе, как в тигле.

Его ждали на приморском бульваре, а он все еще бродил на окраине, близ тюремного замка, прислушиваясь, присматриваясь, думая о Федоре Егоровиче Курицыне.

7

На встречу, письмом условленную, Лизогуб сильно опаздывал. Спохватившись, стал искать извозчика, нашел прикорнувшего на козлах. Тот чутьем взял нетерпение Лизогуба и заломил-таки. Пришлось согласиться, кляня свою расточительность. Поехали.

И вот уже натекал смрад большого города, распаренного дневной жарой, — известняк, пропитанный нечистотами,

помои водосточных канав, выгребные ямы, ночлежки, трущобы. Но смрад прореживала и томность усталых акаций, и домовитое веяние погребов, и запах колониальных специй, напоминающий об уроках географии, каравеллах и тропиках, романтический запах, вдруг перебивавшийся старушечьим запахом камфары, в которую мнительные одесситки веровали, как в панацею от всех болезней.

Улицы освещали не только фонари, газовые и керосиновые, но и огни домашние: тут все было в открытую, нараспашку, настежь — и двери, и балконы, и окна, и это обнимало мирной обыденностью, однако особенной, приезжему казавшейся праздничной, потому что из бельэтажей выплескивали фортепианные мелодии, вдруг где-то возникал скрипичный дуэт, а из винных погребков доносилось пение.

О, если б наш ригорист утолял жажду не одной водой или спитым чаем! О, если б он заглянул в эти погребки с их глухим, без звона, стуком полных стаканов и слоистой радугой табачного дыма под висячей мигающей лампой! Он бы услышал, как захмелевшие грузчики, уложив пудовые ладони на коленях и столиках, негромко поют «Пошли наши чумаченьки v Одест гуляти» или по-солдатски усмешливую «Эх, поехал ампиратор свою армию смотреть...». А неподалеку, в погребке пузатого француза, земляки его, сапожники и портные, осевшие в Одессе, стройно и горячо пели про Жанну, убившую сборщика налогов, о полевых жандармах, преследующих голодных браконьеров. Он увидел бы, как матросы с какого-нибудь черноморского «Аргонавта» братским кругом с матросами какого-либо марсельского «Дельфина» отдирают джигу. Он мог бы спуститься и в погребок, где пели соло из Верди или Россини, но, случалось, пламя сальных свечей взметывалось от хорового припева: «Eviva Garibaldi!» — тут сходились боевые соратники героя Италии, невесть каким случаем бросившие якорь в нашем приморском городе. «Да здравствует Гарибальди!» — шелест знамен на ветру, красные рубахи, верность и храбрость. И не от них ли и не от итальянских ли шарманщиков, с весны до глубокой осени бродивших по улочкам, предместьям и дачам, знали о Гарибальди и портовые грузчики, и ремесленники, и те загорелые, степенные усачи, что медлительно сворачивали свои тяжелые возы в подворья? Далеко и широко по степному югу разносилась слава великого воина Свободы. Только уж там. в степи, называли его не Гарибальди, а Загребайло, уверяя, что вовсе он не итальянец, а природный казак. И гутарили в придорожной корчме, у костров вечеряя: «Ужо объявится Загребайло, тогда и возьмем настоящую волю...»

Не пожалел бы наш ригорист, загляни он на часок-другой в здешние погребки, но нет, мимо, мимо, и вот уж над черной Петербургской гостиницей встала яркая луна, а длинная узкая тень от памятника герцогу Ришелье стрельнула к морю.

Море простиралось непроницаемое, темное, гладкое. На прибрежной воде колыхались сотни рубиновых огоньков, и Лизогуб, еще не поняв, что это, овеялся какой-то тихой радостью, похожей на рождественскую. Потом на ступенях широкой каменной лестницы, ниспадавшей к морю, он разглядел множество людей. Они казались пилигримами, пришедшими издалека, — омыли ноги, сели и погрузились в созерцание. В аллее с листвой, освещенной неравномерно и потому то угольно-черной, то ярко изумрудной, слышались говор, смех, неспешное движение. В иллюминованном саду Форхати пел цыганский хор. Все это вместе стеснилось в душе Лизогуба ощушением счастья.

В ту самую минуту под фонарем, несильно светившим сквозь листву, появилась барышня, вопросительно взглянувшая на Лизогуба. Господи, подумал он радостно, какое невыразимо милое лицо. Милое и вместе что-то от мученицы, но не исступленной, а готовой всех обнять своей нежностью и состраданием... А кто-то, подкравшийся сзади, быстро и крепко подхватил его под локти и легко оторвал от земли. Лизогуб взболтнул ногами, засмеялся принужденно. Ему было неловко и досадно оттого, что Симиренко столь нецеремонно-гимназически обошелся с ним в такую минуту, да еще на глазах у этой барышни.

И точно, Симиренко! По-домашнему, по-семейному, как в Городище, как в доме, где музицировали Желябовы, — не Лев и не Левушка, а Льоня; протяжно и ласково выговаривала «Льоня» старая нянька и, качая головой, прятала нелегальщину... Плечистый, широкогрудый представитель династии Яхненков-Симиренков улыбался, и барышня — Симиренко назвал ее Марией, Марией Кутитонской — тоже улыбалась, а Лизогуб подумал, как тождественны ее имя и ее облик, и ему захотелось пойти с ними туда, где близ мраморных ступеней колыхались бессчетные огоньки. И он уже сделал приглашающий жест, но они перестали улыбаться.

— Идиллия, а? — Льоня сумрачно кивнул в сторону лестницы. — Этим все нипочем, хоть кол на голове теши. Снаряжаются закусочкой, арбузами и дыньками — и вот, извольте-ка, глазеют, дышат. Прилепят к арбузным коркам свечные огарки, пустят эдакую гондолу на воду, жуют и глазеют, филистеры чертовы.

Мария молчала. В ее молчании была солидарность с Симиренкой. Мария понимала Льоню. Как! Жевать котлетку, а до расстрела считанные часы! Считанные часы, а эти бездумно двигают челюстями. Господи, как всесильна обыденность. Будто и не было Гулевой улицы. Будто и не было — совсем, совсем недавно! — толпы, цепеневшей у здания суда. Будто и не осудили Ивана Ковальского с товарищами. Ковальского и его товарищей, оказавших яростное вооруженное сопротивление полиции при ее нападении на тайную типографию... Сидят и жуют, и бездумно двигают челюстями, и котлетка не застревает в горле, и огоньки, огоньки, как в прошлое лето, как в позапрошлое, как всегда.

А в тот вечер, вот такой же, точь-в-точь такой же, теплый, ни ветерка, в совсем-совсем недавний вечер, громадная толпа цепенела и колыхалась на Гулевой улице. Мария была там, там была и Вика, они цепенели и колыхались вместе с толпой, и они тоже, как все, или почти все, они тоже верили: не посмеют. Странная уверенность в том, что Ковальского не посмеют приговорить к смерти, владела толпой. Двенадцать лет страна не знала смертных приговоров за государственные преступления. Двенадцать лет минуло после казни Каракозова, стрелявшего в царя. И этот перерыв казался гарантией: не посмеют... К толпе подъезжали верховые жандармы и полицейские, подъезжали стражники-башкиры с пиками, но не кричали, не замахивались, не разгоняли, а лишь предлагали не скопляться, и то, что они были вялы и нерешительны, в этом тоже чудилось: не посмеют. А потом хлестнул, как бич, резкий вскрик: «Ковальскому смерть!» Была секундная тишина и взрыв, взрыд, стон: «Палачи! Мерзавцы! Убийцы!» Треснул рваный выстрел, другой, третий, следом грянул слитный залп, толпа шарахнулась, огромная птица, оглушенная палкой, шарахнулась и, мгновенно разваливаясь и дробясь, побежала, не разбирая дороги, побежала незряче и вместе с той цепкой звериной зоркостью, когда ничего нет, только ты, твоя жизнь и твоя смерть... Мария и Вика тоже бежали, держась за руки, втягивая головы, убитые и раненые остались на мостовой, Мария и Вика бежали, бежали и, задыхаясь, обессиленные, прибежали сюда на Приморский бульвар, к этим ступенькам, к этим горожанам с их закусочкой и арбузами, к этим огонькам на гладкой, черной воде, в эту аллею с листвой то угольно-черной, то яркоизумрудной... У Марии брызнули слезы, а Вика вскочила на скамью. Вика вся была на виду. Вика Гуковская, четырнадцатилетняя девочка, высокая, тоненькая, в клеенчатой

черной шляпе, девочка с искаженным от боли лицом, и оттуда, со скамьи, — отчаянным, рвущимся, звенящим голосом: «Стыдитесь! Братьев приговаривают к смерти, а вы...» Произошло замешательство. Кто-то заорал: «Полиция! Полиция!» Саженный городовой обхватил Викины ноги, потащил, Мария кинулась на городового, мундир затрещал, кто-то подоспел на помощь, Вика вырвалась, ринулась в сторону, какой-то офицер сграбастал ее, но она отвесила ему затрещину, и тот ее выпустил...

Все это встало сейчас перед Марией, и она больше не улыбалась Лизогубу, он почувствовал ее молчаливую солидарность с Льоней.

- Что? Что такое? упавшим голосом спросил Лизогуб.
- Ковальский, угрюмо ответил Симиренко. В среду. На Скаковом поле.

О Ковальском, о вооруженном сопротивлении здесь, в Одессе, Лизогуб услышал в те выожные дни, когда готовилось покушение на прокурора и барона-жандарма. Ковальский был примером и образцом, ибо первым практически осуществил принцип нового, боевого направления. О начале судебного процесса над группой Ковальского Лизогуб узнал из газет, собираясь в Одессу, но он не предполагал, что процесс завершится столь скоро, и, так же как толпа, колыхавшаяся недавно у казенного здания на Гулевой, как Мария и Льоня, думал: «Не посмеют». И теперь, когда они втроем уходили с Приморского бульвара, он не услышал, как прощалась Мария, не слышал, что говорил ему Симиренко. Потом спросил: «Все ли готово к побегу?» Симиренко сжал его плечо: «Митя, очнись!»

Льоня повторил, что в Одессе после столкновения на Гулевой — аресты, аресты, аресты, со дня на день ожидают государя проездом в Крым, и вот полковник Кноп рыщет со своими башибузуками. Он, Симиренко, завтра же отправляется в Городище, Мария Игнатьевна укажет Мите явки, а сейчас они пойдут на Херсонскую.

8

Дом на Херсонской имел необщую физиономию. Состоятельные горожане обитали в веселеньких монрепо, а этот мрачно супился: тяжелый винно-красный колер, стрельчатые окна, зубчатые стены.

Дмитрий Андреевич не питал вражды к тестю Желябова. Напротив, Яхненко, помнилось, сделал впечатление своей дантоновской внешностью и энергией. Но готический особняк, густо кровянившийся под луной, вызвал усмешку: прихоть толстосума.

Лизогуб ошибался: просто-напросто Яхненко в былые годы приобрел сию недвижимость у какого-то остзейского барона, а рядом, по левую руку, поставил огромную паровую мельницу.

Льоня, племянник хозяина, вел Лизогуба по комнатам и переходам. Должно быть, недавно были гости, слышались звон посуды, стук щеток, шаги. Лизогуб, не вглядываясь, видел богатую мебель, наборные паркеты, люстры. Наполеон галопировал в клубах аустерлицкого дыма, дрезденская Мадонна противостояла императору французов, как свет — тьме... Многое в особняке напоминало седневские интерьеры, но, как ни был Лизогуб удручен и рассеян, он почувствовал, что нежитью тут не пахнет, а пахнет крепкой и деятельной жизнью.

И точно, жизнью хозяина, его многочисленных друзей, собиравшихся в большом овальном зале с блистающими окнами на дальнюю Пересыпь. Собрания в бело-золотом зале не походили ни на светские рауты, хотя здесь шелестели фраки титулованных особ и консулов иностранных держав, ни на купеческие разгульные пиршества, хотя здесь и пушили бороды, играя брелками, коммерсанты с большими тысячами, ни на квазиученые заседания, хотя здесь и дымили сигарами профессора с приват-доцентами, ни на музыкальные вечера, хотя здесь и звучали квартеты. Собрания эти служили домашним клубом, деловым и политическим, где высказывались мнения и произносились речи, быть может и занозистые уху ретрограда, однако и не нарушавшие основные законоположения империи.

Публику соединял Яхненко. Красноречивый до пылкости, напористый до самоуправства, увлекающийся до забвения собственного гроссбуха, Семен Степанович был патриотом Одессы не потому лишь, что заседал в городской думе, а потому, что мечтал превратить Одессу в благоустроенный и просвещенный торгово-промышленный центр юга России. Яхненку с его энергией, упорством и упрямством доставало и на устройство одесско-днестровского водопровода, и на подписку в пользу фонда начального народного образования, и на создание филармонического общества, и даже на то, чтобы из своего имения возить корзины с лягушками: в земноводных мученицах науки нуждался его друг — Иван

Михайлович Сеченов, преподававший в Новороссийском университете. Впрочем, не только в университете, но и на вечерних курсах, открытых для всех желающих. Впрочем, читал там не один Сеченов, а и другой близкий Яхненке человек — сердечно любимый Илья Ильич Мечников. В аудитории на Преображенской царила живая тишина, и среди юношей и девиц, очарованных достижениями естественных наук, был и Семен Степанович, большой, грузный, гривастый, с мощным подбородком, стиснутым концами жесткого воротничка.

Истинный Господь, ничего бы не пожалел для племени молодого! Учись и выучись, спасибо скажет народ. Но путает бес, сбивает с дороги. Зять уже и тюрьму отведал. Потом сел в каком-то хуторе. Светлая голова, широко бы летать, а он капусту растит да сказки мужикам сказывает про будущий социальный рай. И Льоня, кажись, сбивается с пути. Но племянник, слава Богу, перевелся из Киевского в Новороссийский, курс кончил, пусть теперь в Городище укатывает, авось за настоящий гуж возьмется. А зять, Андрей Иванович Желябов, тут разве что руками разведешь.

Кручину свою Яхненко скрывал от недомашних, кроме древнего старика Лашина, и, нынче проводив всех, ласково удержал Михайлу Петровича. Оно, конечно, и столетнему Лашиу не склеить разбитую крынку, не примирить зятя с дочкой. А надо бы, ой надо бы. Ведь внучек есть, внучек... Нет, не даст совета Михайла Петрович. Ни к чему тут ни лашинское чудо-умение выделывать отменную крупчатку, ни лашинский миллион, набрякший в оптовой хлебной торговле. От беспомощности, от какой-то глупой конфузливости лепишься к Михайле Петровичу. А много ль разумеет в нынешних молодых людях тот, кто, поди, уже в длинных портках щеголял, когда Боунапартий галопировал под Аустерлицем?

Не расслышав голосов, Льоня не взял в обход, и они с Лизогубом вошли в диванную. Семен Степанович узнал городищенского знакомого, но сейчас задерживать бы не стал, однако старик Лашин, туговатый на ухо, разобрав фамилию «Лизогуб», оживился, потер зябкие руки, молвил, ухмыляясь беззубо:

- A еще членом таможни служил тогда Лев Сергеевич. Преобходительный господин Пушкин-то Лев Сергеевич, да-с.
- Зато Педашенка-то, а? усмехнулся Семен Степанович.

Старик рассмеялся, как сухой горох просыпал, сказал, очевидно подражая этому самому Педашенке:

- «А ще сие у вас натуралнэ чи фалшивэ?»

— Эге, да ты помнишь, — сказал Яхненко и махнул рукой племяннику с Лизогубом: — Дела давно минувших дней. Ступайте, господа. Покойной ночи.

Они откланялись с поспешностью, какая старикам немножко в обиду даже тогда, когда старики сами отсылают молодых людей. Ладно, Бог с ними, пускай уходят. А Михайла Петрович, должно быть, вообразил, что перед ним тот самый Лизогуб, что служил некогда в одесской таможне. Служил, было такое. Да только не этот Лизогуб, а его батюшка. И братец Пушкина, поэта, тоже служил. Кажется, отставным майором был Лев-то Сергеевич. Вот так-то. А таможен было две: портовая и сухопутная. Но самой придирчивой, самой дотошной считалась Херсонская, где Педашенко правил. Какая-то дебелая дама, скупясь на пошлину, спрятала под корсетом золотые часы, а часы при досмотре возьми да и начни отбивать. Пассаж! Педашенко облапил барыню, барыня фырчит и вывертывается, а Педашенко, знай, щупает: «Ще сие у вас натуралнэ чи фалшивэ?..» Дела давно минувших дней, молодым людям ни к чему, пускай уходят, покойной ночи, господа.

Покойной ночи не было. Лизогуб проваливался в сон, опять лежал без сна. «В среду, на Скаковом поле»... Не устроили, не подготовили побег. Много месяцев минуло с январской ночи, когда Ковальский с товарищами отражал нападение жандармско-полицейского отряда, а побег не подготовили, не устроили. «В среду, на Скаковом поле»... Большое стадо поднимало тонкую пыль, светили звезды, пахло полынью, в тюрьме, в башне, — Федор Егорович. А на черной воде колыхаются бессчетные огоньки, и невозможно понять это ужасное равнодушие, эту нравственную грубость, Мария права, невозможно понять.

9

Симиренко злился: Митеньке претят особняки, Митенька, видите ли, не может дышать воздухом собственников и собственности. Принципы принципами, но есть и соображения безопасности! Глупейшее, ослиное упрямство! И это в такое время, когда полковник Кноп со своими башибузуками рыщет по городу, обеспечивая благонадежный проезд государя в Ливадию.

Лизогуб стеснялся открыть причину, запрещавшую ему пользоваться гостеприимством почетного гражданина Семена Степановича Яхненки. Льоня, кажется, позабыл, как еще там, в Городище, посмеиваясь, передал Лизогубу и Осинсому, что оба они не особенно пришлись по вкусу Андрею Желябову: «Не люблю этих аристократов...» Валериан отмахнулся, как от пустяка, Лизогуб же не то чтобы обиделся, но была все та же печаль и чувство вины, как и перед Федором Курицыным, — Желябов-то ведь тоже происходил из мужиков. А нынче Льоня, между прочим, успел сообщить, что Желябов намерен со своего баштана осенью перебраться в Одессу, однако не к тестю, нет, а будет жить, как Диоген в бочке. И Лизогуб тотчас вообразил, сколь саркастически отнесется яхненковский зять к его житью в особняке на Херсонской. Нет, нет, ни за что! А Льоня горячился, попрекая любезного Митеньку глупейшим, ослиным упрямством.

Симиренко отправлялся в Городище, увещевать времени не было, он косил на Лизогуба сердитым карим глазом, вопросительно взглядывал на Марию.

Мария примиряюще улыбнулась:

— А если в Хрустальный дворец?

Лизогуб понятия не имел, что такое Хрустальный дворец, однако тоже улыбнулся: опять, как и вчерашним вечером на Приморском бульваре, с внезапной нежностью подумал он, какое у нее невыразимо милое лицо.

— Вы умница, Мария, — буркнул Симиренко, — туда ему и дорога, там эдаких... — Он покрутил пальцем около лба. И смягчился: — А впрочем, что ж, местечко укромное.

Хрустальный дворец лепился над обрывом к морю. Фасад, обращенный к городу, во всех трех этажах имел галереи. Некогда, еще застекленные, они переливались в лучах закатного солнца, и потому, должно быть, дом в конце Польского спуска получил это тихо звенящее прозвище. Но галереи, все три яруса, давно уж не сияли, а зияли — без стекол, скрипучие и ветхие, они служили прибежищем голубям и ласточкам, кошкам, собакам.

Судьбу Хрустального дворца определили — хозяин, память о котором давно стерлась, дворник, несмотря на бирючью внешность, субъект добродушнейший, а главное, старый, хромоногий Мойша, надо полагать, единственный в Одессе ростовщик-бессребреник. Хозяин бросил обветшалый дом на произвол стихий. Дворник-бирюк пускал квартирантов, не требуя прописки. А Мойша спас дом от сноса.

Незадолго до того, как Мария привела сюда Лизогуба, градская комиссия нашла постройку совершенно безнадежной. Жильцам грозила катастрофа. Комиссия понимала под катастрофой обвал потолков и стен, жильцы — выселение под открытое небо. Со дня на день ожидалась полиция — выбрасывать на улицу обитателей Хрустального дворца: портовых грузчиков и отставных моряков, швеек, бродяг, шарманщиков, студентов, проституток.

Мужчины мрачно ругались, женщины плакали, дети кричали, размазывая сопли и цепляясь за мамкины юбки. И тогда старый Мойша пригласил всех в свою большую комнату, где громоздилась заложенная-перезаложенная рухлядь, за которую он никогда не требовал и копейки. «Ша!» — сказал Мойша посреди воцарившейся тишины; у него был вид пророка, знающего, как вывести соплеменников из плена египетского.

— Надо послать, куда надо, — сказал он. — Но вы можете не говорить, что у вас нет живейного рубля. Сколько надо и куда надо, отнесет Мойша. А вы будете должны ему по полтиннику с души. С христианской души или иудейской, значения не играет. Вы можете не говорить, что и живейного полтинника у вас тоже нет. Отдадите, когда будет.

«Ой, мамочка!» — постанывал он в объятиях грузчиков и матросов. «Ой, мамочка!» — постанывал он, получая лобзания швеек и шлюх. На глазах у него стояли слезы.

И полиция словно забыла о Хрустальном дворце, никто не турнул квартирантов — ни людей, ни голубей, ни кошек, ни собак. Ветры Черного моря сотрясали Хрустальный дворец, он стонал и скрипел, как старый фрегат. Солнце Черного моря накаляло Хрустальный дворец, он благоухал ржавчиной и сухим деревом, как рассохлая бочка. Ливни клестали по ветхой крыше и зияющим галереям, он хрипел, как музыкальная шкатулка времен очаковских.

И он жил, этот дом в конце Польского спуска, над обрывом к Черному морю. На галереях мычали голуби; в коридорах копошились дети; стрекотали «зингеры», мелькали руки, паявшие и лудившие, в комнатенках любили и пили, прятали контрабанду и рассказывали истории, не снившиеся даже Правдину, сочинителю записок одесского полицейского агента... Сморщенный чернявый человечек, распевая оперные партии, мастерил на продажу проволочные безделушки — «Дамский каприз», «Тайна сердца», «Крест и могила», а вечером, сунув под мышку подзорную трубу, ковылял на Приморский бульвар и там, с

Воронцовской площадки, прельщал публику лунным пейзажем... Некто, небритый, в фетровой шляпенке, раздавал детишкам грошовые, липкие конфетки или, ухватив рукав первого встречного, восторженно рассуждал о революции сорок восьмого года, а когда слушатель, изловчившись, исчезал, произносил печально: «Извините, но лучше жить хорошим прошлым, нежели плохим настоящим...» За дощатой стеной, соседом Лизогубу, обитал журналист, страдавший пороком честных литераторов: он любил кабак. На углу Тираспольской, в «Золотом якоре», Сергей Иванович, восприняв четвертую рюмку, громогласным глаголом жег маклеров, шулеров и законных мужей содержательниц законных борделей, а восприняв шестую, утихал и строчил на заказ какие-то докладные, какие-то либретто, какую-то речь о пагубности всероссийского пьянства. Последний сюжет выходил у него особенно проникновенным.

И тщедушный тосканец, мастеривший проволочные безделушки, и еврей Мойша, и «чистый республиканец», давно нищенствующий помещик; и литератор Сергей Иванович, и белокурая швея, которую никто не называл ни Пиф, ни Паф, а называли Лизой, — все эти люди были соседями Дмитрия Андреевича.

А внизу, в первом этаже, над самым обрывом, была комната с окнами, распахнутыми на море, комната, где ощущал он отблеск того счастья, которым проникся на мгновение у приморской лестницы.

Комната в первом этаже служила явкой, конспиративным убежищем. После происшествия на Гулевой улице в ней поселилась Мария. Друзья настояли, чтобы она, сказавшись на службе, в канцелярии городской управы, больной, переждала в Хрустальном дворце вихрь арестов. Поначалу вместе с Кутитонской пряталась здесь и девочкаподросток с голубыми глазами — Вика Гуковская, та самая, что стыдила праздную, бульварную публику, четырнадцатилетняя Вика, за которой гонялось теперь жандармское управление, взывая о подмоге к благонамеренным обывателям города Одессы. Но вскоре товарищи увезли Вику, увезли, кажется, на какой-то хутор. Мария осталась.

Лизогуб приходил к ней. Было слышно море, бодрящий, йодистый запах, при перемене ветра различалось дыхание степи, нагретой полуденным солнцем.

Лизогуб, право, растерялся бы, укажи ему кто-нибудь на сходство Марии Кутитонской и Анны Ардашевой. Поми-

луйте, он не то чтобы не улавливал сходства, а попросту не вспоминал ни Анну Илларионовну, ни питерскую меблирашку, где горько усмехался: «Эх ты, Лассаль».

Лизогуб приходил к Марии. Они не тяготились молчанием, напротив, им, кажется, нужны были эти длинные паузы. Шум моря, широкий и мерный, приближаясь, накрывал Хрустальный дворец. За окнами сиял звездный Лебедь, большая птица, простертая в ночном августовском небе. И шум ночного моря, и сияющее созвездие сливались с чувством необыкновенной освобожденности, с чувством, в котором исчезло прежнее ощущение краткости своего земного бытия...

В те же августовские дни почти все состояние усилиями милого ворчуна Дриги обратилось в деньги, и, какое бы лихо теперь ни приключилось, Дриго, доверенное лицо, непременно вручит товарищам крупные, очень крупные суммы. А время приспело, время не ждет! Нет-с, милостивые государи, Дмитрий Лизогуб не промахнулся, избрав именно Одессу для окончания курса наук! Не извольте беспекоиться, не промахнулся: есть в Одессе заветный дом на Мастерской улице.

В доме на Мастерской, в квартире Чубарова, никто не спал в тот рассветный час, когда на влажном от росы Скаковом поле привязывали к столбу Ивана Ковальского. В доме на Мастерской, в квартире Чубарова, никто не спал в час тихий и звонкий, когда пятнадцать нижних чинов с пятнадцати шагов прицельным залпом всадили раскаленный свинец в грудь человека, привязанного к столбу. Никто не спал, и никто не проронил ни слова. Вооруженные огнестрельным и холодным, они хранили угрюмое молчание, сознавая свое бессилие, но в их молчании была и сосредоточенная решимость, как некогда у гайдамаков, «святивших» в лесу свои ножи перед походом на Умань.

Два дня спустя в том же доме, в той же квартире, они обнимались, стискивали друг другу руки: «Затравили крупного зверя!» И точно, крупного. И точно, зверя. В Петербурге, будто в отместку именно за Ковальского, в Петербурге, на Михайловской площади, карающий кинжал сразил шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцева. И они обнимались, светло завидуя питерским удальцам. И Лизогуб обнимал Гришу Попко, обнимал щуплого веснушчатого Малого, как окрестили еще в Киеве Осю Давиденко, славного парня, мечтавшего извести на корню всех гейкингов и кнопов, всю свору хватающих, расстреливающих, ве-

шающих. А Чубаров, тоже знакомый по киевскому житьюбытью, Чубаров, обычно невозмутимо хладнокровный, был возбужден, весел, остроумен, глаза блестели, он встречал не гостей: здесь ведь не просто квартира, а штаб-квартира. И это так, это действительно так, потому что вот же намечалось сплочение сторонников боевых действий. И довольно слушать тех, кто кивает, намекает, обвиняет: ваше-де боевое направление есть отход от землевольчества, есть сползание в политику. Да, в политику, да, в борьбу за политические права, хотя многие пока еще видят в терроре лишь самозащиту, месть, дезорганизацию правительственной махины.

На Мастерской, в малоприметном доме какого-то Косифи, возник центр. Разумеется, Осинский был признанным главой южных бунтарей, всего боевого направления, но и тот, кого называли Капитаном, то есть Чубаров, пользовался репутацией горячего революционера. И заслуженно! Еще в шестьдесят девятом Сергея выключили из студентов. Случалось ему эмигрировать за океан, в северные американские штаты, где бывший пензенский помещик воочию убедился, что оно такое, наемное рабство в стране цветущей промышленности. Ходил Чубаров и в народ, живал в приволжских деревнях, а главное и определяющее — был теперь пылким сторонником политической борьбы. И Лизогуб, не колеблясь, признал Капитана тем, кому готов был подчиниться.

Похоже было, что и здесь, у Черного моря, боевое дело сладилось. И кто знает, не чревато ли оно громовым ударом? Не потому только, что на Мастерской сходятся весьма решительные люди. И не потому лишь, что Чубаров поддержал лизогубовское предложение учредить планомерное освобождение политических заключенных, непременно начав освобождением Федора Курицына. Нет, не только поэтому.

В одной из комнат штаб-квартиры был упрятан аккуратный сундучок. Точь-в-точь такой, какие бойко распродавались на Макарьевских ярмарках, — окованный скобами, замок надежен и певуч. «Сундук с приданым, — сказал Чубаров. — А приданое готовят, пока девка подрастает». Такого Лизогуб не видывал, о таком и не помышлял, да навряд ли и питерские, сразившие шефа жандармов, помышляли: особенное, грозное, хоть и буднично обернутое в одесские газеты, хоть и на вид невзрачное, — шестигранные плитки общим весом в пудик с

гаком, а если с силой пороха сопоставить, то и все тринадцать пудов, не меньше.

«Из пушек по воробьям не палят», — намекающе прибавил Капитан. Лизогуб боялся поверить и боялся не поверить. Он сообразил, что пироксилин требуется для изготовления снаряда, адской машины, но поразило другое — дерзость замысла. И одновременно подумалось, что снаряд пустить в ход легче, чем револьвер или кинжал: «Дистанция, — подумал Дмитрий Андреевич, — расстояние...» И огладил ладонью сундучок.

Как изготовить снаряд, начиненный пироксилином, гуманитарий Лизогуб не представлял, да и Чубаров, учившийся когда-то в Земледельческой академии, догадывался смутно. Но были люди, понимающие в этом толк. И один из них, моряк-геркулес, осторожно ступая, точно боясь проломить пол, вошел в комнату. Лизогуб тотчас узнал его.

Так точно, он самый, Иван Логовенко, выдубленный флотской службой. Так точно, годка четыре минуло, как виделись в Лондоне, на окраине, где печатался хор-роший журнальчик «Вперед!». Боцман Логовенко пожимал и потряхивал руку Лизогуба.

Логовенку, оказывается, в семьдесят шестом с посудины Русского общества пароходства и торговли сняли, осенили его, запасного, Андреевским военным флагом, а вскоре и война с турками развязалась. Вот уж когда Иван-то Иванович поворочал мины гальванические и мины ударные. Где заграждения ставить, это старик Тотлебен расчислял, а как их ставить, это мичманы из минных классов и матросы определяли.

Ладно, отвоевались. Теперь служил Логовенко в Николаеве унтер-офицером второго черноморского экипажа, где трубят сигнальные трубы, — Георгиевские, серебряные, с надписью: «За действия на Дунае в Турецкую войну». Но Логовенке трубила иная труба, звала действовать по сю сторону Дуная.

— Вот у нас, в Николаеве, — говорил он Лизогубу, сидя на стуле, расставив массивные ноги и опираясь о колени громадными руками, — у нас там, Дмитрий Андреевич, возьмешь за душу матроса, спросишь, каково брат, то есть в том смысле... ну, ясно, в каком смысле... И что же? А то, что редкий не ответит: царь-де хоть сей секунд всю бы землю мужикам роздал, если б дворяне-помещики в ногах не путались. Темнота-темнотища! А ведь как день Божий: царь же и есть главный препон. Это ж навроде броненосца. — Боцман надвинулся на Лизогуба широчен-

ной своей грудью, проговорил с какой-то стальной пружинностью в голосе: — Дак и на броненосцы управа есть: малые катера с шестовыми минами. Или вот еще адская машина придумана, слыхали, думаю.

И опять поразила Лизогуба дерзость замысла. Он понимал, о чем речь. Но, как ни странно, не было гнетущего киевского отождествления своего «я» с живой мишенью. Не потому ли, что монарх не представлялся ему личностью во плоти. как какой-нибудь барон Гейкинг или прокурор Котляревский? И еще казалось, что сама по себе дистанция, на которой взрывают мину, сама по себе удаленность от цели облегчает нравственные тяготы пересечения рубежной черты. Наконец, вот такой славный мужичина, такой вот боцунтер-офицер флота, он же человек военный, мундирный, — тут тоже усматривал Лизогуб как бы ослабление бремени, лежащего на душе того, кто вершит практическое боевое дело. Однако Логовенко-то ведь не один, поправил себя Лизогуб, прислушиваясь к боцману и удавливая в его голосе совсем уж другие ноты, не пружинные, не стальные, а задушевные, даже мечтательные, и, пожалуй, затаенно-восторженные — он говорил о некоем Виттенберге.

— Мы с Соломоном Яковлевичем перемигнулись еще в начале прошлого года. Вы б на него посмотрели! Химиюфизику назубок, коэффициенты-проценты, нам без этого нельзя, у нас не ать-два, не пехота, формулы эти, говорю, щелкает. А рука к инструменту привычна, не левшой сморкается: и с вольтовым столбом, и с запалами, и с гальванической батареей. Крепкая рука, что с инструментом, что с огнестрельным, он же тут, в Одессе, когда на Гулевой судили и эти собаки стрелять стали, он же ответил.

Логовенко помолчал, глядя мимо Лизогуба, словно бы издали погордился другом-товарищем. Потом оправил усы:

— Ну, бывайте здоровы, в Николаев спешу, времени в обрез.

Лизогуб хотел удержать боцмана, еще расспросить, еще поговорить, но боцман повел богатырским плечом:

— «Голубчик» под парами, не ровен час, снимется с якоря, как тогда добираться? — И вдруг спросил: — А ваш-то где?

Подумав о своем друге-товарище, который ждет его в Николаеве, на Инженерной улице, Логовенко тотчас припомнил, что ведь и у Лизогуба был друг-товарищ: на лондонской окраине виделся с ним боцман, в ту пору судовой кочегар.

— Жив ваш тезка, — улыбнулся Лизогуб, — здравствует. Здесь он, недалеко.

Логовенко надел фуражку и тоже улыбнулся:

— Вот и добре. Кланяйтесь ему, Дмитрий Андреевич.

10

Фесенко жил в Одессе.

Льоня, отправляясь в Городище, сообщил Лизогубу адрес — Сиротский дом, в конце Преображенской. И воздел указательный палец: «Дядюшка мой, буржуа Семен Степанович, на что-нибудь да годится». И верно, яхненковской протекцией в Сиротском доме, находившемся в ведении городской думы, время от времени подвизалась публика радикальная. Желябов там служил, Желтоновский и Франжоли, а нынче вот — смотрителем Иван Федорович Фесенко.

О встрече с ним Лизогуб помышлял нетерпеливо. Но медлил, желая явиться с козырными картами. И лишь убедившись, что дело в Одессе сладилось, пришел на Преображенскую.

Здороваясь, Лизогуб почувствовал, какая у Фесенки горячая и влажная рука. Они сели на лавку, в тени, под сиренью. В тесном дворике сохло белье. Босоногая прачка, сгибаясь над корытом, мощно и мерно двигала голыми локтями, хлопья грязной пены опадали на сухую, убитую землю.

Разговор двинулся неровно и нервно. Следствие долгой разлуки? Волнение, вполне естественное? Да, так. Но была и еще причина: Лизогуб уже сознавал, как непоправимо болен Иван.

Давно не пересекались их дороги. Впрочем, нет, пересекались — в губернских жандармских управлениях после доноса питерского студента: в киевском управлении допрашивал Фесенку штабс-капитан Гейкинг, в черниговском допрашивал Лизогуба штабс-капитан Шулькевич. Ни Фесенко, ни Лизогуб от знакомства не отпирались, глупо было бы — ведь и учились на одном факультете, и жили в одной квартире, и за границу вдвоем ездили. Что ж до прочего, то это уж по формуле, принятой на Руси людьми порядочными: «Не знаю — не видел — не слышал».

Лизогуб не упускал случая осведомиться о Фесенке: где, что, как? Лизогуб всегда помнил, кому он обязан спасением. Чем иным, если не спасением, назовешь переход свой в «стан погибающих за великое дело любви»? Осведомляясь,

таил надежду, хоть и зыбкую, но таил, что Фесенко, пусть и яростный отрицатель Бакунина и бакунизма, все же склонен признать: в нынешних российских обстоятельствах нет иного рычага, кроме боевого. Однако вновь и вновь подтверждалось: Фесенко твой, он, братец, все тот же безоговорочный марксид. Разочаровываясь, Лизогуб ловил в себе и горделивое чувство: его старый товарищ — человек редчайшей независимости мысли! И все же огорчался: серая книжность заслоняет от Фесенки кровоточащую жизнь, призвание и назначение русского революционера. Не германского социал-демократа, а русского социалиста.

И встрепенулся, возликовал, услыхав стороною, что Фесенко оставил киевских и харьковских профессоров-политэкономов, этих достопочтеннейших, высоколобых Зибера, Гаттенбергера, Цехановецкого, долбящих, как дятлы: «Das Kapital». Оставил! И ушел на Екатеринославщину, к сектантам. Не боевое, конечно, направление, но все и не кабинетные, отвлеченные выкладки. Российские условия гнут свое, и Фесенко на полпути не остановится. Почему, по какой причине подался к сектантам? Старик Бакунин уповал на мужика-разбойника, а бакунинский антипод вознамерился поднять мужиков-молокан. Тех же щей, да пожиже влей! И Лизогуб обрадовался: Фесенко, разуверившись в раскольниках, непременно примкнет к бунтарям.

А там, в сельских палестинах, грянул гром: «Вы-с господин Фесенко? Пожалуйте с нами!» Ничего незаконного не изъяли: все тот же «Капитал», немецкое издание и русское, два тома Спенсера, сочинения Рикардо... Помилуйте, цензурой дозволено! Но так уж ведется, что и сам по себе круг чтения служит, пардон, важной уликой, когда приходят голубые господа, проницающие сердца человеческие. И они пришли и увезли Фесенку в Ростовскую тюрьму. Он уперся: я-де преследовал чисто научные цели. Проницающие тоже уперлись: распрекрасно понимаем-с, чего вы там преследуете, вы и барона Гейкинга уверяли, что в европах бывали с научными целями, разные, пардон, рабочие ассоциации... Перекорялись долго. А чахотка, тлевшая в груди, разгоралась на тюремном гнилом сквозняке. Не было счастья, да несчастье помогло: совсем хворого на поруки выпустили. Фесенке бы куда-нибудь на кумыс, на виноград, а он — в Петербург.

Говорили, чахоточный градус поначалу замер, не повышался, за Фесенкой рачительно присматривала жена, слушательница медицинских курсов Мария Дейч, сестра

революционера. Это радовало Лизогуба личной, братской радостью. Да вот сызнова воспряла независимость фесенковской мысли: отказавшись от раскольников-молокан, Фесенко прилепился к предместьям, к работникам. Стало быть, не на стрежне Революции, не в деревне с ее свежими, как воздух лугов, социалистическими началами, а в копоти индустрии, в миазмах буржуазности. И Лизогуб пожимал плечами, когда Осинский рассказывал (и Гриша Попко поддакивал), что Фесенко излагает «марксов предмет» увлекательно и талантливо, пробуждая живейший интерес, и что весьма язвительный Жорж Плеханов души в Фесенке не чает.

А проклятый город тишком, исподволь разжигал его болезнь. Жена молила о теплых краях. Фесенко соглашался, но не прежде окончания университетского курса. Господин ректор испросил полицию, благонадежен ли бывший студент Фесенко? Ответом была кислая мина. Когда-то профессора с Васильевского острова прочили Фесенке зачисление в кандидаты университета с последующей заграничной командировкой. На Васином острове предполагали, а на Фонтанке располагали. Там ему тоже прочили командирование на казенный счет, но не по ту сторону от Вержболова, а по ту сторону от Оби или Енисея.

О, великие экономы Третьего отделения, они смекали, чем «государство богатеет»: чахотка свое возьмет. И расчетливо пережидали. Фесенко тем временем свалил экзамены. Однако и чахотка, не промешкав, свалила Фесенку. Он погибал в погибельном городе, но и теперь не алкал ни оренбургского кумыса, ни виноградников крымских, единственно, куда согласился переехать, так это в Одессу.

В тесном дворике с каменной оградой, повитой плющом, сидели они на скамье, под сиренью. Пахло свежей, только с привоза рыбой, пахло баклажанами. Фесенко уже не хмурился, отстраняя сочувствие. Большой, широкой кости, в мешковатом парусиновом костюме, в соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, он шурил близорукие глаза, осторожным баском покашливал — слушал. Потом сказал:

- Эх, Митя-Митенька, все тот же: пылкость сердца.

В глуховатом голосе не было насмешки — грустное сожаление было. Как у старшего к младшему. Оно так, Митя-Митенька годами уступал Фесенке, немного, но уступал, да сожаление-то, да грусть эта определялись как будто не разницей возраста.

Лизогуб словно на исповеди выложил: и неизбывность вины своей за грехи отцов, и освобождение от наследственных имений, и заговорщицкий план, вызревший в киевском

единомыслии с Осинским и Попко, и недавно блеснувшую идею спасать товарищей из тюрем, идею, осуществление которой он намерен начать здесь, в Одессе, потому что Федор Курицын... Как на духу! И хотя не ждал немедленного, без возражений согласия, нет, не ждал, однако не ждал и этого грудного сожаления.

Фесенко встал:

Подожди, я сейчас.

В доме побыл минуту, вышел с книжками. Лизогуб, сидя на скамье, смотрел чуть исподлобья, как Фесенко пересекает двор, рядом движется громадная тень.

Фесенко сел, книжки положил на край скамьи. Покашливая, отер лоб. Потом стал говорить. Говорил неспешно, щурился и брал Лизогуба за локоть, в щепоть брал, прежним своим доверительным жестом. Но теперь в его басовитом, с влажными хрипами голосе не звучало грустное сожаление, а было то, что музыканты называют обратимым контрапунктом, — две мелодии в противодвижении. И одно из них Лизогубу слышалась очень интимной, подобно жесту, каким Фесенко брал его локоть, а другая... почти грозной, пророческой.

- «Грехи отцов», - начал Иван Федорович, как бы и кивнув, но не вполне серьезно. — Нужды нет, кому и какая дверь отворяется в революцию. Это раз. Говоришь: дисциплина, центр. Отменно. Но — вопрос вопросов ради чего? Погоди, я не намерен морализировать — дозволена кровь, не дозволена кровь. И не оттого, что кровопускание — одно из средств социальной медицины. Чего ж тут лясы точить? При наших обстоятельствах все равно, что рассуждать, дозволено иль не дозволено извержение вулкана. И все же повторяю: ради чего? Сокрушение столпов а ля барон Гейкинг? Поверь, твой покорный слуга не питает к покойному ни малейших симпатий, однако... ты извини, пожалуйста... Глупости, Митя! Э-э, не горячись! Горячность, как и невежество, не советчик. Избави Бог хулить геройский накал, я не сухарь, не педант, не хулю. Я вот о чем: не окунуть ли громокипящую душу в холодный разум? Те-те-те, знаем, знаем, знаем: Россия и Запад несовместны, следовательно гениальный анализ Маркса... Да, да, знаем: у России особенная стать и так далее, слыхали. — Он нашарил свои книжки, но не взял, а убрал руку и описал полукруг, возвращаясь к упущенному. — Ты говоришь: боевые действия. Не ты один. Хорошо. Опять-таки не фарисей я, чтоб зажмуриться при виде цареубийственного кинжала. Отвага, самоот-

речение — признаю, голову склоняю, а ведь пойми, какая отвага, какое самоотречение? Отчаяния! Вот она, где горечь моя. Дезорганизация правительства? Возможно, вероятно. А засим? Пойми, революции не спрыгивают с кончика кинжала. Надо вот... — Он подергал ушную мочку. — Вот: слушать, слушать. И вовсе не там, где ты и твои друзья. Погоди! Ты знаещь - я корнями в деревне, из сельского навозного духовенства, я мужика насквозь вижу. Помнишь, в Цюрихе? Я ж тогда не в запальчивости. Откуда у мужика социалистические инстинкты? Из холопьей вековой недоли? Из панской прихожей? А ты, ты, Митя, каким его видишь? Я тебе скажу, каким: сахарный рожок! Здешним ребятишкам первое лакомство — стручки такие, поджаренные с сахаром. Сладенько-о, аж слюнки текут, вот он какой для тебя мужик-то. А у него что? Лавочку бы спроворить, вот что. — Он опять потянулся к своим книжкам: — Ты загляни, загляни.

Лизогуб перелистнул «Статистический Временник» и «Обзор различных отраслей...», перелистнул «Ежегодник министерства финансов» и какие-то «Труды» о положении одесского рабочего класса. Отложил книги, усмехнулся вяло:

Бухгалтерия... Работников не отрицаю. Да ведь они — мужики. Мужики вчерашние и мужики завтрашние.

— Вот тут-то и ошибка! — воскликнул Фесенко. — Громаднейшая ошибка! — Он сорвал с головы соломенную шляпу, ему было жарко. Перевел дыхание, продолжил: — Конечно, фабричный спит и видит, как бы ему поскорее унести ноги восвояси, в деревню. А город-то, а фабрика-то, а завод-то, они загребущие, у них хватка железная. У тебя вот страх, глаза на лоб лезут: «Язва пролетариатства!» Поверь, я не плящу от радости — эксплуатация дикая, грубая, чудовищная. Да вот ведь что: славно роет крот. У принца Датского, у Гамлета, ты помнишь, это дух отца. Гегель иное: крот хорошо роет — сокрытое движение, там, в глубине движение, в недрах. И Маркс помянул этого крота, но, право, лучше и сильнее: революция наемных рабов. Нет, Митя, тыщу раз нет: не заговор, не горсть, не шепоть с револьвером, на убиенный раб Божий имярек пустое! Революция, милый ты мой, дело-то свое вершит основательно! Да-да, основательно и методически...

Фесенко нашарил книжки, сровнял края и, налегая ладонью, словно опираясь на нечто фундаментальное, стал говорить о «Южнороссийском союзе рабочих», недавно разгромленном в Одессе, о том, что союз непременно возродится, и такие возникнут повсеместно, и это неизбежно, как восход солнца. Он говорил о питерских металлистах и московских ткачах, об уральских заводах и донецких рудниках, о железнодорожных механических мастерских и паровых мельницах-гигантах, подобных яхненковской. И смысл его речи, вдохновения его и волнения был в том, что именно в городских предместьях, в машинном ровном гуле, в тугом беге ременных трансмиссий, в клубах мятого пара и багровых отблесках негасимых топок, именно там и пробьет час подлинного освобождения, пробьет и отзовется по всей Руси великой...

Лизогуб слушал, не перебивая. Но внятен ли был ему полный и целокупный смысл того, что он слышал?

Задумавшись, он вздрогнул: близко — на Преображенской — ударили копыта. Немирно ударили, небуднично: летел на рысях жандармский полуэскадрон, поднятый по тревоге.

11

О, какая была тревога, трепет какой и томление. А потом счастливая слеза на щеке полковника: исполнен долг... Теперь, ровно год спустя, лежит на столе дознание в тысячу с лишним листов большого формата, а на конторке громоздятся серо-голубые папки с типографскими грифами, с заголовками от руки.

Во вторник Вилье де Лиль-Адан посетил священника, назначенного сопровождать преступников на эшафот. Надо полагать, почтенный иерей не возгласит вечной памяти. В таком смысле и резюмировал свой визит Эмилий Самойлович. И со вчерашнего дня полковник Кноп, освободив Адана от прочих забот, поручил ему разбор громоздкого делопроизводства — надо подготовить экстракты для обширного доклада управляющему Третьим отделением.

Затворившись в служебном кабинете, Адан приступил к занятиям. Он читал, выписывал, закладывал нужные страницы — и возникали перед ним августовские дни прошлого года, семьдесят восьмого, дни тревог, трепета и томления.

«Ввиду приезда в Одессу 15-го августа государя императора считаю священным долгом заявить, что при настоящем положении дел следовало бы принять, по крайнему моему разумению, экстренные меры к обеспечению совершенного спокойствия его величества».

Полковник был прав. Начать с того, что в городских гостиницах гнездилось сотни полторы подозрительных личностей. От своих деваться некуда, так еще, извольте, приезжие. (Кажется, даже из Москвы припожаловали студенты технического училища.) Потом беспорядок, стрельба в день приговора Ковальскому. Дерзкая девчонка вопила на бульваре. Граф Сиверс схватил ее было за шиворот, а эта провизорская дочка влепила ему — офицеру! — пощечину; адъютант генерал-губернатора, ротмистр Бушен, ветвившийся на бульваре, вместо того чтобы ликвидировать инцидент, побежал за казаками.

Секретные источники подтверждали наличие в городе серьезных кинжальщиков. Петербург прислал бы подмогу. если б не ужасное злодеяние в самой столице: жертвой террористов пал шеф жандармов. Впечатление жуткое, ибо фанатики исчезли как дым. А государь собирался в Ливадию. Разумеется, можно было бы отложить путешествие или изменить маршрут: минуя Одессу, следовать в Николаев, а оттуда уж пароходом в Ялту. Однако и в Николаеве... Капитан Чуйков, офицер дельный и опытный, не гарантировал благонадежность, хотя тогда никто еще и в кошмарвидел смертоносной мины. ном-то сне не нигилизма хоронились во всех щелях! Отложить путеществие, изменить маршрут? Да ведь надо вообразить, каково было б государю предпринять такой шаг и произвести столь дурное впечатление. И вот — тревога, трепет, томление. А в глубине души теплилось: не поднимется святотатственная рука на того, кто озарил Россию великими реформами, на того, кто совсем недавно бестрепетно посещал театр военных действий... Чего им нужно, чего ни жаждут? Полковник прав: «Будьте уверены, если бы государь убедился, что общество созрело для конституции, он даровал бы ее без всяких колебаний».

Но общество, не дозревшее до конституции, не дозрело и до осознания вот этой тревоги, трепета и томления: жило живет банальной обыденностью — беспечно ездят на дачи, нагрузив извозчика свертками и корзиночками; ранним утром, когда ты, истомленный донельзя, возвращаешься с обысков, завсегдатаи расхаживают у заведения минеральных вод и музыканты, еще сонные, нестройно выдувают первый вальс; пустельги обсуживают новости — вот-де появился какой-то янки, ловко танцует на колесных коньках, а комик Мазерано задал вчера такую потеху в саду Благородного собрания, что все, ей-ей, надорвали животики...

Чудовищное равнодушие, лишний раз подтверждающее незрелость общества.

Но кто стучит, тому и отверзится; кто ищет, тот и обрящет. Грянули дни — выслежена шайка в доме на Мастерской улице, выслежен и арестован Капитан, он же Чубаров, не успевший оказать сопротивление своим кинжалом и своим бульдогом, не успевший уничтожить ни расчеты потребности пироксилина, ни лизогубовский вексель на несколько тысяч... Вот он, кончик, вот она, нить, а вот и первые откровенные показания. Разумеется, не Чубарова — Капитана, а бедных мальчиков, не очень-то и причастных, но оглушенных, отравленных нигилистской пагубой... Ах, августовские недели, лихорадочные, бессонные, в дробном цокоте летучего полуэскадрона!

И клубок, покатившись, быстро разматывался: схвачены, пойманы, доставлены — Иосиф Давиденко, Григорий Попко, Виктория Гуковская, Мария Кутитонская, Дмитрий Лизогуб... еще... еще... клубок катился в Николаев... Чернопишущий аппарат военного телеграфа отвечал: согласно требованию полковника Кнопа, арестован Соломон Виттенберг, обыск на Инженерной увенчался полным успехом; согласно требованию полковника Кнопа, Логовенко отправлен в распоряжение Одесского жандармского управления.

А далеко, на севере, в лесах и полях, уже клокотал курьерский. С некоторой задержкой, быть может, для того, чтобы здесь, в Одессе, окончательно управились с подозрительными и полуподозрительными, императорский поезд вышел из Царского. В Киверцах и Дерожне он стоял, отдуваясь, а государь, сопровождаемый свитскими, производил смотры армейским дивизиям и казачьим полкам. И дальше, дальше, дальше, сверкая зеркальными окнами, медными поручнями, бронзовыми двуглавыми орлами на стенах синих вагонов, дальше, дальше — и вот прибыл в Одессу вылощенную, украшенную флагами, притихшую.

В государев вагон потребовали полковника Кнопа. Император расспросил подробности, улыбнулся милостиво: «Я знаю, тебе было чем расстроить здоровье, поезжай лечиться. Я тобою очень доволен, благодарю за службу.» И пожал полковнику руку. Сходя по вагонным ступеням, Кноп держал ее осторожно, как подарок. На щеке блестела счастливая слеза. Незабываемое мгновение: исполнен долг!

Полковник Кноп ослушался государя: отложил лечение, не взял отпуск, ибо слежка и аресты — полдела, за ними — следственные разыскания, которые, как и живопись, требуют вдохновения. Допросные листы могут быть грудой

бумаг, ничего не объясняющих, а могут образовать нечто стройное и гармоническое. Но путь к тому, опять же как в живописи, лежит через «сопротивление материала». Скажем, этот Давиденко дал подробные разъяснения, однако какие? Такие, которые не могли повредить другим лицам. Или молодые люди, мало причастные, но кое в чем осведомленные, они же быстро язык прикусили: страх жестокой мести, памятен Горинович, искалеченный кастетом, обезображенный кислотой. Вот уж кого было бы весьма педагогически показать в судебном зале.

«Появление такого несчастного человека, как Горинович, без сомнения, произведет самое тяжелое впечатление и, надо надеяться, заставит с омерзением отшатнуться от дела преступной пропаганды ту часть молодежи, которая не принимала еще в ней активного участия, но, поддаваясь увлечениям молодости, быть может, сочувственно относится к деятелям революционной агитации».

Полковник был положительно прав, но Горинович не втискивался в дело Чубарова — Лизогуба и компании, и пример несчастного «сказывался» лишь в том смысле, что костерил молодых людей, и они отказались от своих же слов.

Вот вам одна сторона — зыбкая, ускользающая, неверная, ненадежная. А вот и другая, доводившая до приступов отчаяния. Чубаров и Попко, эти, конечно, упорно запирались. Лизогуба можно было вызвать на откровенность. О да, можно! И он развивал общую идею революции, социалистические принципы. Впрочем, случился однажды и неслужебный разговор: «Колокола звонили в Монпелье», монпельевский музей и прелестная Флоренция, где парят простодушные ангелы фра Анджелико, шествуют волхвы на фресках палаццо Риккарди, — подумать только, фанатик и аскет, он же мог там жизнь отжить... О, эти чубаровы, попко, лизогубы, эти были способны вывести из равновесия даже князя Шаховского, быть может самого корректного офицера корпуса жандармов. Да и Виттенберг оказался им под стать.

«Личность крайне испорченная, твердая, способная увлекаться и подчинять своему влиянию молодежь, не подающая никакой надежды, вследствие своих закоренелых убеждений, на исправление и потому представляющаяся весьма опасной для общества в будущем».

Справедливая аттестация. И опасность для общества устранят послезавтра — этого немудрого Соломона отвезут в Николаев. Отвезут вместе с Логовенкой. Вот дружба странная: еврей из ремесленников и боцман из мужиков.

«Я лично отправился в тюремный замок и в разговоре с Логовенко глаз на глаз старался склонить его к даче откровенных показаний, представляя ему дело в таком виде, что за участие его в заговоре и приготовлениях к покушению на жизнь государя императора, существование которых дознанием установлено, он будет подлежать смертной казни, а потому обещал ему ходатайствовать о смягчении его участи. Все мои убеждения разбились о твердую волю, сдержанность и осторожность Логовенко, которые ему не изменили во все время содержания его под стражею».

Из тюремного замка полковник вернулся обескураженным, пожал плечами: «Ей-Богу, господа, не ожидал!» И не обинуясь, признал свою неудачу в секретном письме шефу жандармов. Разительный пример честного исполнения служебных обязанностей.

Вот оно каково, сопротивление! А педанты из судебного ведомства, законники из прокурорского надзора, обложившись уставами, не сознавали всей меры государственной опасности. И отвергали улики, добытые негласным путем. И требовали свидетелей. И грозились не принять дело к производству. Закон законом, но ведь поистине война внутренняя, и тут уж не до формальностей. Слава Богу, в Петербурге это хорошо понимали, очень хорошо.

«Против террора, при помощи коего злоумышленники предположили обессилить правительство, необходимо сугубое воздействие, которым было бы доказано, что правительство обладает достаточною силою, чтоб остановить развитие тлетворных начал, охвативших известную среду общества. Против лиц, попирающих все священное для каждого верноподданного и доброго гражданина, попирающих закон, не может и не должно быть речи о силе действующего закона».

А вот и достохвальный пример единения сил — депеша из Чернигова.

«Состоя под присмотром полиции и на самом дурном счету в политическом отношении, дворянин Владимир Ва-

сильевич Дриго заявил мне, что, не сочувствуя больше тому кружку, к которому до сих пор принадлежал, он приносит полное раскаяние в прежних своих преступных действиях и готов обнаружить злодеев, их действия и планы. Раскрытия его поразительны и по моему мнению достойны доверия... Состоя поверенным и тайным корреспондентом заключенного в Одессе Димитрия Лизогуба, Дриго до сих пор отпускает по приказанию Лизогуба на приготовление к преступлениям деньги и в настоящее время, при новом требовании революционеров, не желая отдавать последних средств, боится столько же мести своих единомышленников, как и правительственной кары...»

В Чернигов срочно командировали Вилье де Лиль-Адана. Появление штабс-капитана предварили телеграфом: Кноп просил черниговского коллегу всемерно пособить в том, что именовалось отдельным действием.

Одесского гостя приняли учтиво.

Белобрысый, худощавый, сутуловатый, с поджатыми губами, фон Мерклин пребывал в азарте. Давно уж косился он на Дригу от которого вечно несло конюшней и псарней, и даже намекал его дядюшке: приструните-ка, генерал, племянничка, уж больно льнет к поднадзорному Лизогубу. Давно! И все ж не думал, не предполагал, сколь важными окажутся раскрытия. К великому сожалению... Бог мой, как обманчива внешность!.. к великому сожалению, преступник Лизогуб был осторожен и осмотрителен. Деньги бросал, каналья, пригоршнями, а на слова-то скупее скупого, и вот, понимаете ли, капитан, этот Дриго, сколь он... ха-ха... ни дрыгайся, подлинных имен знает негусто.

Но ему можно доверять? — спросил Адан.
 Фон Мерклин ответил менторски:

— Никогда никому не доверяйте, — и продолжил весело: — Однако наш Дригунчик есть сюрприз фортуны. Натурально, проверка не помешает, но — сюрприз! Убийство в Харькове... Да-да, губернатора князя Кропоткина, ужасно... Епtrе nous¹, первое подозрение пало на одного инженера. Тот, видите ли, имел счастье или имел несчастье застать князя и свою драгоценнейшую половину в совершенно недвусмысленной позе. Инженер не потерялся: изъял штаны его превосходительства, изъял прочее, и бедный князь... ха-ха-ха... ретировался в одном исподнем. Но, капитан, это а рагt², вы понимаете. Ну-с, а указания Дри-

¹ Между нами (фр)

² В сторону (фр) — реплика про себя или вполголоса

ги — верный путь к обнаружению истинного убийцы. Вот именно-с, да-с! А ежели коснуться губернии, мне вверенной, то уж здесь, капитан, та-акие осиные гнезда, та-акие личности указаны... — И фон Мерклин помахал кистью руки.

Адана заботили не черниговские или харьковские разыскания — его ждали на Кузнечной, и он выспрашивал все, что касалось Лизогуба.

- Видите ли, призадумался фон Мерклин, не скрою: есть известное затруднение. Дриго, разумеется, признает тесную связь с Лизогубом. Но притом упорно твердит о необыкновенной нравственности своего патрона. Заявляет: любил и люблю Дмитрия Андреевича. Настаивает: революционеры доили его, как дойную корову, он не умел отказать, вот, мол, и все.
- Простите, господин полковник, а не кажется ли вам... Я вот о чем: выгораживая Лизогуба, скрывая что-либо о Лизогубе, не выгораживает ли этот Дриго самого себя? То есть так: я, мол, любил его и честно исполнял денежные поручения, а сверх того ничего не было и быть-то не могло, ибо мой доверитель просто слаб характером, и только.

Фон Мерклин кивнул:

- Вам не откажешь в проницательности, Эмилий Самойлович. Он ужасно трусит, у него поджилки трясутся, с революционной точки зрения Дриго, конечно, предатель. Простоватость Лизогуба как раз и доказывается именно тем, что он выбрал доверенным лицом такого труса. Впрочем, что ж, Лизогуб ему не так уж и много доверял. Вы правы: выгораживая Лизогуба, Дриго прежде всего думает выгородить себя. Ну-с, я не мешаю. Нам необходима его разговорчивость, лишь бы не отчаялся, не замкнулся. А если верю до конца, так это в то, что подлинными революционными убеждениями он не заразился. Все, говорит, было у меня напускное, не выработанное внутрение. Это так, так. Он даже, представьте, на дознании едва ли не реферат прочитал нам — о тщетности революционных потуг, о Хлестаковых от революции, о самозванстве, заключив проповедью постепенного совершенствования государственных установлений. Однако все это в корзинку, не до теорий.
- Вы правы, согласился Адан. Но не уколоть ли этого субъекта именно тем, что он положил в свой карман денежки человека, в любви к которому признается!

Фон Мерклин окутался сигарным дымом:

— Видите ли, тут вот что. В кругу его знакомых поговаривают: если Дриго и удержал какой-то капитал, то с

единственной целью раньше-позже устроить своему доверителю побег. Я наклонен к мысли, что это он сам, наш Дригунчик, подпустил сию мыслишку.

- Шельма однако, поморщился Адан. В таком случае ничего не остается, как только определить общую сумму, издержанную Лизогубом на разные конспирации. У нас полагают, тысяч сто.
- Больше, гораздо больше, фон Мерклин вздохнул мечтательно, глаза его повлажнели. И как спохватился: Я распоряжусь, нотариусы не замедлят справками.

Вскоре Адан получил необходимые сведения, перечислявшие лесные дачи, сенокосы и мельницы, черепичный завод, усадьбы, дома и строения. В денежном измерении наследство Лизогуба равнялось двумстам девяти тысячам тремстам тридцати рублям. А остаток равнялся... шестидесяти девяти рублям пятидесяти восьми копейкам.

Вернувшись в Одессу, Адан держал совет с полковником Кнопом и князем Шаховским. Решено было разоблачения Дриги не предъявлять Лизогубу: пусть Лизогуб и впредь корреспондирует шифром, известным Одесскому жандармскому управлению.

«Теперь я сообщу все шифры, которыми велась переписка и на воле, и в тюрьме, некоторыми из этих шифров на воле переписываются до сих пор. Шифр № 1:1. Шпионы; 2. суть; 3. безхвостые; 4. собаки; 5. имеющие; 6. людскую; 7. фигуру; 8. живут; 9. царской; 10. подачкой. Шифр № 2, сочиненный Лизогубом в тюрьме после рождественских праздников:1. Месть; 2. фарисеям; 3. голос; 4. страшный; 5. прокричал; 6. жаждущих; 7. свободы; 8. толпу; 9. целую; 10. созвал. Нужно сначала отбросить иногда две, иногда три, а иногда и более цифр, поставленных для конспирации. Вообще же каждая буква состоит из двух цифр: первая означает слово, из которого взята буква, а второе — букву».

Правила шифрования открыл жандармам не Дриго, а политический заключенный, второй уж год находившийся под стражей в Одесском тюремном замке. Как и Дриго, он не привлекался по делу двадцати восьми, но дал множество ценных сведений. Правда, выставить осведомителя в качестве свидетеля нельзя было, сохраняя и оберегая негласный источник, но услугами его пользовались широко, и, не забей сей источник щедро, даже и военному суду было бы, пожалуй, нелегко подвести Лизогуба под петлю-удавку.

Лизогуб, не ведая о том, сообщал на волю:

«Меня, наверное, заточат до конца жизни в центрально-каторжную тюрьму... Я не сожалею о своей участи; я знаю, за что я погибаю, я знаю, сколько еще осталось моих товарищей, я знаю, что, несмотря на все преследования, число их увеличивается с каждым днем, наконец, я знаю, что самая правота дела говорит за его успех, — зная все это, я спокойно жду своего конца и предпочитаю быть заживо погребенным, чем спокойно жить в коже грабителя и угнетателя».

Не совсем так, не совсем так: он очень беспокоился, Лизогуб. Он тревожился, недоумевал, и причиною тому был «милый Дед», поверенный и доверенный Дриго, который увиливал от исполнения ясных и явных сигналов, поданных из стен Одесского тюремного замка.

«Милый Дел! Хотя я и писал Вам о своих желаниях, но так как Вы могли не получить письма, то считаю нужным написать еще. Податель сей записки... представляет меня даже перед моими друзьями, «аз в нем и он во мне», а потому буду Вас просить передать ему все мои деньги, которые у Вас есть, и вообще все, что мне принадлежит, а также говорить с ним о моих делах, как со мною; он есть я, а потому, если Вы ему не передадите моих денег, значит Вы не передали их мне и значит злоупотребили моим доверием и зажилили себе мои деньги... Итак, вот мое последнее желание, которое я вам выражал и ранее, но не знаю, получили ли вы то письмо (я его отправил 20 июня). Не знаю, придется ли вам еще писать, или же придется попрощаться с вами со всеми навсегда. Мой привет передайте моим хорошим знакомым и вообще всем, кто меня помнит и не поминает меня лихом...»

Спина затекла, Адан поднялся, прошелся по кабинету, хрустя пальцами и разминаясь. Потом встал у раскрытого окна и бездумно наблюдал, как у бочки с водой курили унтеры и нижние чины дивизиона, как полковник Кноп, садясь в экипаж, о чем-то говорил с Шаховским, а князенька нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Наверное, его ждала госпожа Келлер: завтра она не сможет любить своего князеньку, завтра примадонна занята — премьера «Званого вечера с итальянцами».

Размявшись, Адан вернулся к бумагам. Всю эту шифрованную корреспонденцию, подумал он, мы, пожалуй, и не сразу бы заполучили и не сразу бы прочли, когда бы не добрый молодец, крестьянский сын. А все-таки странно, думал Адан, что ни говори, а странно: социалисты фанати-

ки, такие, скажем, как Лизогуб, идут в каторгу, идут на плаху ради таких вот федоров курицыных, а федоры курипыны...

Несколько месяцев держали доброго молодца в одной камере с Лизогубом, потом — в камерах других политических. И еженедельно в течение целого года, с августа прошлого, семьдесят восьмого, по август нынешнего, он аккуратно передавал все, что слышал, все, что узнавал.

Адан вспомнил, как послал ему «Бесов», сочинение бывшего государственного преступника. Послал: читай и думай. И еще вспомнилось штабс-капитану, с какой плебейской ненавистью говорил этот Курицын о седневском дворце Лизогубов.

«По словам Курицына, Лизогуб был руководителем еще не вполне сформировавшегося кружка, имевшего строго опрелеленную организацию с характером централизации и большие денежные средства. Кружок этот готовился осуществить грандиозные революционные планы, которые, как из показания Курицына можно отчасти заключить, выразились впоследствии в целом ряде политических убийств и покушений. Лизогуб был большим поклонником системы партии «народников бунтарей». Вообще говоря о русских революционерах. Лизогуб, по словам Курицына, постоянно жаловался на отсутствие единства действий между различными революционными кружками, хотя и идущими к одной цели, но, к сожалению, разными путями, на отсутствие необходимой энергии, а главное, на отсутствие централизации, то есть такого распорядительного органа, который управлял бы действиями всех революционных партий. Доказательством тому, какое важное значение придавал Лизогуб центральной, так сказать, власти в революционном деле, служит отчасти его образ действия даже во время содержания его в тюрьме. Так из показания Курицына видно, что по поводу строгости содержания в одесской тюрьме политических преступников Лизогуб сделал к ним воззвание, предлагая выбрать из своей среды одно лицо с правами диктатора, приказания которого во всех случаях были бы безусловно обязательны для всех остальных. Эта мысль. по-видимому, получила осуществление, так как и в показаниях других сознавшихся лиц делается указание на сукакого-то киевского шествование тюремного исполнительного комитета, но где помещается этот комитет, из скольких лиц он состоит и какая вообще его организация, в означенных указаниях не упоминается.

Далее Курицын, со слов самого Лизогуба, объясняет, что кружок последнего располагал наличными денежными средствами более чем в сто тысяч рублей. Кроме сего, Лизогуб обладал большим количеством земли и другою недвижимою собственностью, преимущественно в Черниговской губернии, а также векселями на большую сумму, которые во всякое время могут быть обращены в деньги. Из лиц, участвовавших в кружке Лизогуба, Курицын не указывает ни на одного, ссылаясь на то, что Лизогуб никого не называл ни по фамилиям, ни по именам и даже клички употреблял в весьма редких случаях...»

Уже при зажженной лампе Вилье де Лиль-Адан закончил длинную сводку показаний и указаний, сделанных Федором Егоровичем Курицыным, происходившим из крепостных крестьян Московской губернии, Рузского уезда, деревни Шибаново. И закончив, подготовил отношение на имя генерал-губернатора Тотлебена: ввиду услуг, оказанных правительству Курицыным, не признается ли возможным прекратить возбужденное против него преследование?

Штабс-капитан был уверен, что Курицына освободят. Париж стоил обедни. Один такой осведомитель стоил одного такого висельника. К тому же малый, в сущности, заблудшая овца, а сверх того, и в совершенно искреннем раскаянии и, пожалуй, ненавидит всех лизогубов сильнее, чем все офицеры корпуса жандармов. Курицына освободят, непременно освободят, подумал штабс-капитан. И он не ошибался.

Домой, в свой бельэтаж, Адан, несмотря на сильную усталость, отправился пешком. Наконец-то распогодилось, небо в звездах, город еще не уснул, но уже засыпает. Славно! А завтра, в пятницу, Адан свободен, спасибо полковнику, избавил от присутствия на Скаковом поле, завтра Адан отправится к морю, ему необходимо потрудиться вдохновенно, ведь обещано место на выставке передвижников. Славно!

И Вилье де Лиль-Адан, усталый человек, исполнивший служебный долг и предвкушавший работу на пленэре, у моря, где шаланды и чайки, Вилье де Лиль-Адан неспешно и задумчиво шел под чистыми звездами, мимо освещенных и неосвещенных окон, мимо заборов и стен, на которых смутно белели типографские объявления.

«Приговором одесского военно-окружного суда от 5 августа 1879, утвержденным г. временным одесским генералгубернатором, дворяне Сергей Чубаров, Дмитрий Лизогуб и

сын чиновника Иосиф Давиденко, обвиненные в государственном преступлении, присуждены к смертной казни, через повещение.

Совершение казни назначено 10 августа 1879 в 10 часов утра, на Скаковом поле, около скотобойни».

12

На венском стуле лежала выстиранная и выглаженная рубаха алого, переливчатого шелку, лежала и черная жилетка с перламутровыми пуговичками, вычищенная тщательно, ни пылинки. А под венским стулом мягко переламывались в голенищах отменно блескучие сапоги.

Палач отбанился и теперь, в «дворянском» своем номере, полуразвалясь на постели, пригубливал кувшин с убродившим, колодным квасом. Да, от бесстыжей бабенки он отбился, и это придало ему независимости. Вот, думал, все делаю, как хочу, а не как вам, сукиным начальникам, желательно. Фролов никогда своей верностью Аграфене не гордился, потому что никогда неверностью не соблазнялся, а сейчас, после банного происшествия, чувствовал удовлетворение, мужчине редкостное, — удовлетворение победителя над своей же плотью. И то еще тешило, что Трюхлый был свидетелем его стойкости: видал, хрыч, какой я примерный семьянин, видал, а?

Когда Фролов заблажил в парильной и ну колошматить шайкой, Трюхлый с ключником здорово напугались. А как поняли, какое такое приключение, смех разобрал. Но притом Трюхлый малость и покичился своим поднадзорным: стро-о-огих правил-то Ваня Фролов! Взять, к примеру, помощника смотрителя — чистый кобель. А Ваня не-ет, супружнице Аграфене не изменщик.

Нынче был последний у них вечер. Трюхлый то и дело заглядывал в камеру, по махонькой пил от Ваниных щедрот, отхлебывал из кувшина квасок — и опять к дверям. Большое Трюхлому уважение оказано: не у ключника, как по правилам, нет, у него, надзирателя, ключ, чтоб особенному арестанту чуть что — изволь без задержки. И все у них с Ваней в лучшем виде. Еще не весь табак изошел душистыми кольцами, а господин смотритель уже свежего прислал. И чайное довольствие тоже, кантонская заварочка, да.

Ладно коротали они этот последний совместный вечер. Но после поверки, ах ты Господи, незаметно-неприметно все словно бы переменилось. Трюхлый навострил уши, однако где ему было понять, какой звук прозвучал в голове у Вани Фролова.

Фролов вроде бы и сам не поверил, головой мотнул, как мерин от слепня. Но звук этот, слово это повторилось: «Душегуб...» И глянула на Ваню своими карими глазками Аграфена. Точь-в-точь как в Бутырской. Фролов тяжело опустился на постель, лег и онемел в тоске. Долгое молчание беспокоило Трюхлого, но нарушить тишину он не решался, перебирал ногами и вздыхал. Да вдруг и услышал: «Дедушка, а дедушка...» Сердце екнуло: всегда «хрыч», а тут на-ко — «дедушка».

— Слышь, — попросил палач, — ты бы мне это... ну, как там у вас...

Трюхлый понял и опять удивился. Было уже и про шпарню, и про костяные ножи, которыми кишки очень способно скоблить, было и про салотопню, где от пара сдохнешь, и про то, что скотскую кровь частью спускают в море, аж вода у берега рудая. Но Фролов-то, видишь, сызнова интерес имел к тому, как разная животина на убое держится. Да ведь и про то тоже обсказывал Трюхлый. Чудно.

Фролов поднялся, сел на постели, подогнув ноги, смотрел на Трюхлого, так-то смотрел, что Трюхлый и впрямь себя дедушкой при внучке почувствовал, вроде бы сказок от него просили. Ну что ж, сказки-побасенки призабыл, а как животина держится — это пожалуйста.

— Бывает, знаешь, — начал Трюхлый, — пригонят скот ровно дикий, никого не признает. Что он, брат ты мой, вытворяет! Рев, упираются, но вот, гляди, затянули в бойню и враз никакой гордости, трясутся, как в лихоманке, человеку мясо подавай, и минута-другая — течет горячая, парная кровь. Поверишь ли, по колено в ней бродишь... Ну, теперь давай по порядку. Вот взять бараны. Ну, эта худобина до дверей дойдет, а дальше — не сдвинешь. Одно знает: новое помещение. Надо, значит, на руках таскать. Хорошо — десять, хорошо — двадцать, а ежли сотни? Затащили в бойню — ни хрена не понимают, бьют их, бьют, а они в кучу жмутся. Теперь возьмем свиней. Это правильно говорят: одно слово — свинья. Вот еще бойню не прибрали, везде отходы, потроха, а они не то сопротивляться, ка-а-акое! Они, брат, друг дружку перегоняют, отпихивают, урчат и немедленно все поедают, а тут их по башке, по башке молотом, другой режет, кровь и пена, а они, знай, жрут, сволочи, одна свинья глотает кусок мяса, ее тут молотом, в хайле кус застрял, а другая

уже хвать... Словом, одни умирают, а другие этой же кровью, что сейчас пущена, услаждаются... А еще забыл, это как старая матка последней остается. Она ж во время забоя все это свой лоб нагибает, прячет, так, будто прежде бойню видела. А как останется последней, как до нее очередь — сейчас звереет, во все углы бросается, на бойца норовит тоже броситься... У меня, знаешь, была история: вот рука, видишь, долго болела, опух был здоровенный, с гноем... А то еще про свиней, тоже забыл. Хоть и говорил тебе, свинья свиньей, а и так случается, что соображает. Меня аккурат под Рождество позвала соседка забить свинью. Дело известное, взял струмент. Иду. Пришел. Что ж думаешь? Струмент учуяла, весь пол в свинарнике разломала. Вот, брат, какие у них чувствия перед смертью...

Фролов слушал, не шевелясь, а лицо его, обычно невозмутимо-туповатое, все лицевые мускулы, брови, губы, даже и крылья ноздрей находились в непрестанном движении, как бывает у грамотея, напряженно читающего по складам, и это движение, эта сосредоточенность выражали, как понимал Трюхлый, что Фролов Ваня всем своим нутром забирает всякую животину с ее чувствиями.

И воодушевясь пуще, очень собою довольный и вместе чем-то растроганный, Трюхлый стал говорить о лошадях, как они на бойне-салгане фыркают и задом бросают, и на дыбы, на дыбы, а потом враз примут неминучее и такие смирняги, только мелкая дрожь бегает, а из глаз выкатывает горючая горошина, плачет лошадь, это ж соображать надо, потому она век цельный и на мужика, и в войске, на державу, а ее, бедную...

Незряче, невидяще вперился Фролов в затененный дальний угол камеры и поводил, поводил руками, будто отстраняя что-то беззвучное и грозное.

А тут и послышался сильный стук в коридоре, где печь: снизу подавали условный сигнал — пришел господин смотритель.

Трюхлый, выскочив из камеры, захлопнул дверь.

13

Не пришел, а приехал господин смотритель. Помощник отыскал Зубачевского на Малой Арнаутской, у мадам Ложечкиной, и он поспешно приехал в тюремный замок. Господи, нет покоя, а ведь так хотелось хоть немного рассеяться после столь тяжелого дня.

День начался сокрушительным доказательством супружеской измены. Измена пахла мятными облатками. Потом был разговор с Гейнсом, градоначальником, потом этот вздохнувший гробовщик, черные гробы, потом плотники на Скаковом поле, неприятное ощущение у бурой ямины, вырытой могильщиками, и, наконец, меланхолия, когда все прожитое представилось удручающей нелепицей.

Вечером, несколько поколебавшись, накануне казни не следовало бы отлучаться, да уж больно тяжелый выдался день, поколебавшись, коллежский асессор улизнул на Малую Арнаутскую.

У мадам Ложечкиной все было, как всегда: и легкая фамильярность в поклоне швейцара, и душный запах пудры, тапер в голубой жилетке и скрипач, похожий на свою скрипку.

Настоящий, всеобщий канкан еще не вихрился Солистки, брюнетка и блондинка, еще вполне пристойно пританцовывали, весьма даже мелодически напевая о том, что «жизнь наша — это скачка». где каждый может сломать себе шею.

Мосье Филипп и Пиф-Паф, светленькая, вся в кудряшках обитательница Хрустального дворца, проходя в буфетную, едва не столкнулись с марсельским штурманом, иногда появлявшимся в заведении на Малой Арнаутской. Штурман был в изрядном подпитии, но вежливо посторонился, пропуская мадемуазель и мосье. Однако тотчас и заговорил с Зубачевским.

— Я видел в городе афиш, я хочу смотреть. Эшафот — канкан! — Он поднял кверху палец, украшенный крупным перстнем. — Человек на эшафот и канкан. Я хочу идти.

Зубачевский ответил высокомерно и неприязненно, что в России так не бывает.

Из буфетной они спустились в первый этаж. Там были комнаты с альковами, окнами в сад, предназначавшиеся избранным. Мосье Филипп всегда занимал одну и ту же, угловую, — и ему, и Пиф это давало иллюзию своего гнездышка.

Мосье Филипп сел в кресло, Пиф — на кровать. Он любил смотреть, как она, гибко окунувшись в сумрак, расшнуровывает высокие ботинки, а потом, поднимая и опуская руки, повертываясь, избочась, раздевается, и его всякий раз волновала и трогала та торопливая застенчивость, с какой она зарывалась под одеяло...

Мосье Филипп сел в кресло и откинулся. Пиф села на кровать, нагнулась, тронула шнурки и, головы не поднимая, сказала:

 — А знаете, мосье Филипп, один-то у нас жил, в Хрустальном.

Она словно продолжила прерванный разговор или высказала вслух то, что не требовало пояснений.

Кто же? — спросил он, слегка нахмурясь.

Она выпрямилась и положила руки на колени. Лицо и торс ее затенялись ширмой, а руки, колени и кончики ботинок были освещены настольной лампой, освещавшей и мосье Филиппа.

- Кто же это, Пиф?
- Такой... Очень добрый, как апостол. Подумала и повторила: Очень добрый.
 - Ты ошибаешься, милая, сказал он строго.
 - О-о, протянула она недоверчиво.
 - Это очень дурной господин, Пиф.
 - С такими глазами?
 - Глаза лгут, как лжет и язык.

Она молчала.

- Ты ничего не понимаешь, буркнул он с досадой.
- Не понимаю, мосье Филипп, тотчас согласилась она, уловив его раздражение.
- Да нет, Пиф, ты не о том. Знаешь ли, доброта бывает хуже воровства.

Она изумилась:

— Bop?

Напротив, богат был и знатен — ничего не осталось.

— Â, — воскликнула Пиф, — он промотался! Вот и выходит: добрый.

Мосье Филипп махнул рукой.

Но от странной, вдруг возникшей потребности «определить» Лизогуба Зубачевский почему-то не смог отмахнуться. Быть может, смутно расслышал отзвук дневной угнетенности, когда мелькнуло, что в его собственной жизни нет определяющего направления.

Все затверженное — преступник, социалист, враг престола — все это сейчас, котя и соответствовало и годилось, однако как бы не устраивало, не удовлетворяло коллежского асессора. Бедняжка Пиф слишком простодушна: «Апостол», «Добрый»... Нет, доброта бывает хуже воровства. Вот оно где: именно так — хуже воровства! Тут юродство и блажь самого страшного разбора: отказ, отречение от того, на чем испокон все держится.

— A француз этот? — спросила Пиф, взглядывая на потолок, заходивший ходуном: наверху, в душном зале, уже вихрился канкан.

Да он, каналья... — рассеянно проговорил мосье Филипп. — Я слыхал об этом...

Но мосье Филипп не успел рассказать, как во Франции двое осужденных сплясали на эшафоте канкан. То ли издевались над толпой и палачом, то ли бросали жуткий вызов силам небесным. Нет, не успел рассказать: в дверь стучали осторожно и настойчиво.

Они переглянулись. Никто и никогда не нарушал их уединения. Зубачевский испугался, уж не стряслось ли чего? Пиф, проворно подобрав ноги, придвинула к постели ширму. Упаси Бог, не принесла ли нелегкая препротивную особу? Пиф и ненавидела ее и побаивалась, и все это смешивалось с чувством вины перед законной супругой мосье Филиппа.

Вкрадчивость стука придала смелости коллежскому асессору. Он приотворил дверь, но все ж защитно придерживал на случай внезапного прорыва неприятельских сил. В дверях бурно вздымался бюст мадам Ложечкиной, а позади, в сумраке, смущенно маячил Журавский, помощник Зубачевского.

— Что? — вскрикнул коллежский асессор. — Что такое?!

Минуту спустя он выбежал в швейцарскую.

С верхнего этажа катились по ковровой лестнице звуки нахального фортепиано.

На дворе тепло было и звездно.

В Малой Арнаутской загремел казенный экипаж.

14

Часа за три до того, как мосье Филипп стремглав покинул салон, в секретный каземат подведомственной ему тюрьмы скользнула прощальная записка, адресованная Лизогубу.

Идея не погибнет, писал Курицын, образ мучеников будет сиять победившему народу, в сиянье этом, писал он, сгорят зло и пошлость мира, а пример Лизогуба всегда будет отвращать людей от стяжательства и кривды.

У Лизогуба навернулись слезы.

Лизогуб, к счастью, не догадывался, что Федор Егорович давно уж строчил еженедельные доносы полковнику Кнопу. И объяснял жандармам свое рвение не только желанием выйти за ворота одесской тюрьмы, хотя и не скрывал этого желания. Тюрьма-матушка, твердил Курицын,

избавляет от угара, здесь он, Курицын, все обдумал и теперь ненавидит социалистов, как чумное поветрие. Мужики в деревнях, говорил он, мажут на воротах дегтем крест. — от падежа скота, а бабы быют земные поклоны: «Не спасет дегтярный крест, а спасет животворящий». Спасать надо крестьянский мир от чумного поветрия, говорит Федор Егорович, объясняя жандармам свое рвение. Лизогуб? Рехнувшийся барин! Таким свое добро не жалко (вольному воля, не ими нажито), а чужое добро, горбом и потом обретенное, такие и подавно не пошадят. Ему помнился вдохновенный Лизогуб — там, в роскошном Седневе, летней соловьиной ночью, при чтении Буонарроти: собственность — бич и преступление; пусть не утверждают, что источник богатства — бережливость и трудолюбие... И Федор Курицын говорил жандармам о непрошеных благодетелях крестьянского мира. Не-ет, мать вашу, вы с прадедов обожравшись, так дайте и нашему брату насытиться, и детям нашим, и внукам... Жандармские офицеры не перечили Федору Курицыну: смылиленый и ловкий малый, да к тому же и проницателен мужицким разумением — издалека беду чует. И они обещали Курицыну ходатайствовать перед вышней властью о прекращении уголовного преследования. Курицын томился ожиданием. В ожидании надежда перемежалась страхом. Курицын действительно не был причастен к покушению на Гориновича, случившемуся вот здесь, неподалеку, у Скакового поля, и Курицын сделал все, что мог, для изобличения покушавшихся, но дело-то не в этом: он, как и Горинович, сотрудничал с голубыми, а Гориновича заклеймили: «Такова участь шпиона». И Курицын, ожидая помилования, страшился возмездия... Он не ошибался в исполнении надежд своих, но это потом, полгода спустя; и не ошибался в страхах своих, но это потом, четверть века спустя... А покамест из башни Одесского тюремного замка Федор Егорович Курицын послал прощальный привет рехнувшемуся барину, непрошеному благодетелю крестьянского мира.

И на глазах Лизогуба навернулись слезы.

Они долго сидели в одной камере.

Среди политических заключенных Федор Егорович по праву считался тюремным старожилом. Ему сострадали, о нем пеклись. Лизогуб беседовал с ним откровенно, избегая, однако, называть подлинные имена, даже клички товарищей, оставшихся на воле. Зачем? Суть не в именах, не в фамилиях.

И это с ним, с Федором Егоровичем, разделил Лизогуб свое горе, когда достигла одесского замка шифрованная записочка Валериана Осинского: «Меня скоро казнят, но я пойду на смерть с отрадным чувством, что есть кому продолжать...» Федор Егорович обнимал Лизогуба, шептал, что за Осинского отомстят, непременно отомстят, и читал стихи Рылеева: «Известно мне: погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа»

Еще в седневские летние дни Лизогуб увидел в Курицыне крестьянского сына, разинца, гайдамака, одухотворенного социалистическим идеалом, а здесь, в замке, проникся чувством горемычного тюремного братства.

И прощальный привет тронул Лизогуба.

Тронул и вместе обрадовал: с таким трудом наладили почту, и вот она действует. И верно, действовала: из камеры в камеру передавали письмо Виттенберга.

До ареста Лизогуб слышал о Виттенберге, а познакомились они в тюрьме. Умница! Как блистательно-корректно отхлестал и жандармов, и прокурора, и военных судей. В небольшом зале, в казарме № 5, сказано было: «Когда ждешь «быть или не быть?», то, понятно, не до шуток. Но знаете ли, господа, мне приходит на ум анекдот про одного свата. Расхваливая невесту, сват объявил: у нее на пятьсот рублей приданого. Жених поинтересовался, в чем же состоит приданое? Сват ответил: «Сто рублей наличными, на сто рублей вещами, сто рублей может занять, сто рублей ей должны, ну, а если сотни не достает, так это ж, Боже ж мой, такие пустяки...» И невозмутимо дождавшись, пока председательствующий, тряся колокольчиком, уймет хохот подсудимых, закончил: «Так вот, господа, невеста по крайней мере имела сто рублей, а у вас лишь слова полицейского агента, за которым никто и гроша не даст!»

Позавчера, еще до конфирмации приговора, к Виттенбергу приезжали из Николаева родители. Сына вывели в кандалах. Старик заплакал. Не потому, что увидел кандалы, а потому, что подумал, как эти кандалы собьют и наденут на сына саван. Ой, если бы кандалы оставили, сынок бы пошел в каторгу. Нет, собьют и наденут саван. Не завернут в саван, как того, кто умер и приложился к народу своему, а наденут, как на того, кого ставят под петлей. И старик заплакал. Его руки, темные от наждака и кварца, руки ремесленника-зеркальщика, ошаривали ветхий лапсердак. И старик прошелестел сквозь слезы: «Нельзя ли тебе подать прошение о помиловании?»

Виттенберг растерялся. Он ждал этого вопроса. Но ждал от матери. А вопрос задал отец, всегда неунывающий и бодрый, отец, твердивший, что когда-нибудь бедняки добьются своего счастья.

Ласковые слова, наперед приготовленные для мамы, Виттенберг не мог произнести отцу, а мама молчала, и тогда он пробормотал, что вот, мол, если принять православие, то наказание смягчают на одну ступень. Он рассчитывал на неколебимую ветхозаветность своих стариков: конечно, они ужаснутся сыну-выкресту. Но тотчас и похолодел: а вдруг согласятся? И тогда надо будет объяснять, что дело вовсе не в православии или иудействе, а в том, что он вообще ни о чем не намерен просить врагов своих. А к тому ж еще: есть у него друг, ближайший и дорогой товарищ Ваня Логовенко, тоже смертник, так вот Ивану-то Ивановичу Логовенке, православному, в какую веру подаваться, чтоб снизить приговор на одну ступень?

Но он ничего не успел сказать, он услышал мамин голос, тот голос, который рассказывал ему в детстве печальные и смешные истории из жизни местечковых голодранцев, мягкий и грустный голос, сейчас напряженно звенящий: «Умри такой, какой ты есть». И оторопев на мгновение, словно бы ударил ему в лицо ветер пустыни, древний, беспощадный и грозный, он поклонился матери земным поклоном.

И они ушли. Часовые у ворот, опершись на ружья, лениво свесив головы, глядели исподлобья, как шел старик в лапсердаке, шатаясь и воздевая руки к небу, а старушенция, поддерживая старика, шла мелким, твердым шажком.

Они вернулись в Николаев. Широкие, в прошлом году вымощенные улицы были запружены подводами. Подводы медленно, с частыми остановками двигались к порту. А те, кто уж очень торопился зашибить деньгу на отгрузке зерна, те, согнувшись под мешком, прыгали с повозки на повозку, обгоняя возчиков... Они вернулись в Николаев, в свою хибару. Неподалеку, на бульваре, играл духовой оркестр Второго флотского экипажа, в котором всю минувшую войну служил побратим Соломона — боцман Ваня Логовенко... Они вернулись в Николаев, и они знали, что остается лишь несколько дней до того утреннего часа, когда казенный пароход «Голубчик», дымя высокой трубой, доставит в Николаев сына и друга его. И палача доставит тоже.

А здесь, в Одессе, генерал-губернатор уже утвердил приговор. И нынче, в четверг, августовским вечером, заключенный секретного каземата Виттенберг писал письмо товарищам. Писал и видел перед собою Христа — фотографический снимок с картины русского художника, когда-то выставленной в Мюнхене, фотографический снимок, когдато подаренный Виттенбергу коллегой, студентом политехникума. Писал и видел лик человека, смертью поправшего смерть.

«Мои друзья. Мне, конечно, не хочется умереть, и сказать, что я умираю охотно, было бы с моей стороны ложью: но это последнее обстоятельство пусть не бросает тени на мою веру и стойкость моих убеждений: вспомните, что самым высшим примером человеколюбия и самопожертвования был, без сомнения, Спаситель; однако и он молился: «И да минет меня чаша сия». Следовательно, как могу и я не молиться о том же? Тем не менее я, подобно ему, говорю себе: «Если иначе нельзя, если для того, чтобы восторжествовал социализм, необходимо, чтобы пролилась кровь моя, если переход из настоящего строя в лучший невозможен иначе, как только перешагнув через наши трупы, то пусть наша кровь проливается; пусть она падает искуплением на пользу человечества; а что наша кровь послужит удобрением для той почвы, на которой взойдет семя социализма, что социализм восторжествует, и восторжествует скоро, — это моя вера. Тут опять вспоминаю слова Спасителя: «Истинно говорю вам, что многие из находящихся здесь не вкусят смерти, как настанет царствие небесное». — я в этом убежден, как убежден в том, что земля движется. И когда я взойду на эщафот и веревка коснется моей шеи, то последняя моя мысль будет: «Всетаки она движется, и никому в мире не остановить ее движения».

Тюремная почта, с трудом налаженная, оплаченная и деньгами, и харчем, действовала — карман солдатской шинели, портки парашника, сжатый кулак надзирателя, — и письмо Виттенберга прочли каторжане. И ответно, без почтарей, стуком бестужевской азбуки: «Пусть простятся... Пусть простятся...» Кандальным железом, каблуками, лавками, табуретками — в двери, в двери, в двери; «Дайте проститься смертникам!» В этажах и башнях ключники и надзиратели метнулись, как подстреленные, заорали, загрозились, пытаясь смирить, сшибить, затыркать, но тюрьма гремела, уже не только камеры политических, но и уголовные, и женское отделение тоже.

Не застав Зубачевского дома, помощник его полетел на Малую Арнаутскую. Доложив обстоятельства, Журавский почувствовал то облегчение злорадного свойства, какое испытывает даже преданный подчиненный, когда начальство попадает в затруднительное положение. Коллежский асессор, в свою очередь, испытал бы то же самое, правда в более сильной степени, если бы поставил в затруднительное положение подлеца Гейнса. Но мчаться на Дерибасовскую, к градоначальнику, времени не было — пока туда-сюда, они там, мерзавцы, разнесут замок.

Приходилось самому принимать решение, инструкциями не предусмотренное. И подумалось: не ровен час, распестрит тебя боров Панютин. При мысли о тайном советнике, правой руке генерал-губернатора, коллежский асессор поелозил ногами. «И когда это кончится», — подумал он злобно и вместе просительно; помощник, угадав, вздохнул участливо: «Вам бы только до утречка дотянуть». — «И дотянем, и подтянем», — буркнул Зубачевский.

Он знал: бывают минуты, когда следует потрафить заключенным. И он уже знал, что делать: поднять караульную смену, всех до единого, утроить бдительность, ружья на изготовку, сабли вон, глядеть в оба. Бог не выдаст, свинья не съест.

И они вышли из каземата в сумрачный коридор полуподвала: Чубаров, Давиденко, Лизогуб. Прямой, в струну,
с окаменевшим разбойничьим лицом, Зубачевский подал
знак, и трое смертников, окруженные стражей, двинулись
в каземат Виттенберга.

Вскинув голову, он шагнул к ним навстречу.

— Ну вот, пришли прощаться, — сказал Лизогуб и улыбнулся. — Нас ведь, знаете ли, завтра, в десять утра... — Он говорил не то чтобы спокойно, нет, обыденно, как-то очень-очень по-домашнему, словно бы завтра кудато уезжал с друзьями, пожалуй, и далеко уезжал, и надолго, но и только-то.

Сказал: «Нас ведь, знаете ли, завтра, в десять утра» — и обнял, притянул Виттенберга к себе. Подошел Чубаров — Капитан, подошел Ося Давиденко, Чубаров был бледен, у Давиденки, напротив, лицо пылало, подошли и тоже обняли Виттенберга. Не дожидаясь напоминания, повернули и — гуськом, гуськом — к двери.

Зубачевский, напряженный, в испарине, сторонясь, подумал, что вот он, смотритель, вроде бы и не существует для этих троих — идут, будто и нету его. И коллежский асессор беспомощно приобиделся: делаешь, делаешь добро, а никакой тебе благодарности.

Логовенко, огромный и сумрачный, высился посреди каземата, скрестив на груди руки. Увидев своих, боцман распахнул объятья, как ворота, да и забрал всех разом, не поймешь, твое ли сердце стучит или боцмана Ивана Логовенко.

— Ну, братцы, бывайте, — пробасил боцман, теснее стискивая и Лизогуба, и Чубарова, и маленького Осю Давиденко и целуя каждого, куда ни попадя, в голову, в щеку, в подбородок. И, отпустив, прибавил, кивнув на смотрителя: — Видать, брюхом мается, того и гляди до гальюна не донесет.

Но сейчас коллежский асессор даже и не обиделся. Странная кротость владела им. Только бы сошло все гладко, только бы сошло, думал он, до утра бы протянуть, а там с Богом, с Богом. А в понедельник и каторжные адье, через Москву в края отдаленные.

В каземат свой Лизогуб вернулся около полуночи. Попко сразу заметил, как устал и осунулся Митя. Но и то заметил, что в усталости нет изнеможения, а есть тихая удовлетворенность.

Во весь день — после возвращения из казармы № 5 — говорили они мало и словно бы нехотя. Попко все ждал интимных откровений, связанных с Марией, ждал и боялся Митиного душевного ослабления и потому держался настороже, застегнуто, холодно, сам этим мучаясь, но твердо полагая, что это необходимо.

Впрочем, нет, выдался час оживленный, даже и деловито-оживленный, когда Лизогуб завел речь о процессе двадцати восьми. Надо было бы, наказывал он Попко, чтобы товарищи на воле опубликовали подробный отчет. И хорошо бы снабдить материал ясными юридическими комментариями, да и выставить гольем всероссийское бесправие: с высоты трона возвещена законность, а лихая администрация всем вершит беззаконно. И пусть эта брошюра, расходясь в публике, служит еще одним призывом к борьбе за политические свободы.

Очень они спокойно и толково все обсудили, Лизогуб пошутил, какой-де в Лизогубе Дмитрии великий юрист пропадает. Хорошо обсудили, толково и согласно, да вот потом опять отмалчивались, и Попко опять мучился и своей нарочитой холодностью, и Митиной, как думал Попко, принужденной, тяжкой немотою. Мучился, все еще полагая, что так необходимо, так должно.

Но сейчас, когда Митя располагался на последний ночлег, Попко чувствовал, что теряет опору, жестокая приструнка дрожит и вот-вот лопнет.

И когда Митя лег, накрылся, сложил поверх одеяла руки и, вздохнув, вытянулся в рост, Попко присел на край его койки, тронул ладонью Митино плечо. И Лизогуб, не шевельнувшись, всем своим существом подался к Грише.

— Если встретишь ее там где-нибудь, помоги... — Он котел еще что-то прибавить, но не прибавил, а поднял руку, как бы упреждая обещания. И опять вздохнул, но уже облегченно. — Спать, — сказал он, — надо выспаться.

Попко ничего не обещал. Не потому, что Митя запрещающе поднял руку, а потому, что не умел найти нужные слова. Он проклял свою давешнюю колодность и застегнутость, склонившись, положил голову на Митину грудь, и они помолчали слитным молчанием, в которое и облеклись все слова.

А теперь они лежали каждый на своей койке.

Лизогуб уснул почти мгновенно. Попко слышал его дыхание, оно всплескивало и опадало, и Гриша молил кого-то или что-то, чтобы не нарушился Митин сон.

Лизогубу, должно быть, ничего не снилось. Лишь один раз, уже на переломе к рассвету, он заворочался и простонал, но тотчас затих, успокоился, и опять дыхание его всплескивало и опадало, опадало и всплескивало.

Он спал, не переменяя положения, до той...

Десятое августа, пятница

1

...минуты, когда каземат торопливо, с толкотней и стукотней, наполнился мундирами, фуражками, портупеями — смотритель, караульный офицер, солдаты: все испуганные, бледные, будто застигнутые врасплох.

- Вставайте.
- Встаю, сразу же отозвался Лизогуб и выпростал из-под одеяла бороду тем машинальным, привычным движением, каким люди, проснувшись, вооружаются очками... Тем машинальным движением, каким немного

спустя он высвободит бороду, неловко прижатую шершавой петлей.

Оделся, взял шапку.

Он не видел ни смотрителя, ни военных, ни Гриши Попко, а поводил глазами по каземату: «Хоть бы полчасика, хоть бы четверть часика...»

— Пора, — молвил Зубачевский.

«Не мешкай», — приказал себе Лизогуб...

Вот так и на эшафоте, в саване, с петлей, на скамье, ничего уже не думая и не желая, кроме одного — опередить толчок палача, вышибающего скамью, вот так же он скажет себе: «Не мешкай» — и таинственной памятью мускулов ощутит гладкую доску седневской купальни, доску, с которой прыгал в холодную, утреннюю Сновь.

— Я готов.

2

Прекрасный выдался день после обложного ненастья. На Скаковом поле стояло каре — четыре батальона пехоты, две сотни донских казаков.

Знатно распогодилось, ни облачка. Тысячи зрителей теснились вокруг каре, по всему Скаковому полю. Кто пешком пришел, кто в колясках приехал, дамы, подбирая юбки, лезли на козлы, лорнировали помост с виселицами.

«А вот, господа, в цивилизованных странах, там после каждой казни непременно палача приводят в суд». — «Это зачем?» — «Палач должен отчитаться в содеянном». — «Глупо-с». — «Напротив, оправдание: ведь палачу было велено, он исполнил приказ».

«Ну, хлопцы, дожили: дворян вешают». — «Один-то мильонщик!» — «Полно брехать!» — «Истинный Господь, мильонщик!» — «Дак чего ж он, припадочный, что ли?»

«Эй, куда руку-то пхаешь? Карманом ошибся?!» — «Тут рот не разевай!» — «Держи-и-и... Шо ж это, братцы? Едва у бабы полтину отломал, апосля этого очень надо бы...»

Людей не было — была толпа.

И четыре пехотных батальона, две сотни донских казаков. Ударили барабаны.

Показалась телега со связанными смертниками.

Показался рослый, плечами враскачку, мужик: алая шелковая рубаха, черный жилет с пуговичками, как на гармонике.

Два часа спустя полетела в Санкт-Петербург секретная жандармская депеша:

«Преступники шли на смерть с замечательным спокойствием, не проронив ни слова, не произнося ни единого возгласа. Лизогуб осматривал всю окружающую толпу с полным кладнокровием. Все трое поцеловали друг друга и твердою походкою взошли на эшафот».

СОДЕРЖАНИЕ

завещаю вам, братья...

3

НА СКАКОВОМ ПОЛЕ

269

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДАВЫДОВ ЗАВЕЩАЮ ВАМ, БРАТЬЯ... НА СКАКОВОМ ПОЛЕ

Редактор И. Шурыгина

Художественный редактор И. Сайко

Технический редактор Г. Шипоева

Корректор В. Антонова

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 22.04.96. Уч.-изд. л. 31,24. Цена 21 900 р. Издательский центр «ТЕРРА». 113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27. Оригинал-макет подготовлен ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

TAHHI

Юрий Давыдов известен читателю как автор романов и повестей, посвященных трагическим страницам отечественной истории. Его произведения отличает достоверность и документальная точность, талантливое использование архивных материалов, искренность, увлекательность и драматизм повествования.

В центре повести «Завещаю вам, братья...» — судьба выдающегося организатора, мастера конспирации, стража подполья народовольца Александра Михайлова. Интересно, что один из героев произведения — писатель Рафаил Зотов, хранитель секретных портфелей «Народной воли».

Повесть «На Скаковом поле» посвящена Дмитрию Лизогубу, чья жизнь восхищала Л. Н. Толстого. Он был человеком удивительной нравственной чистоты, представителем блестящей плеяды революционеров 70-х годов XIX века, товарищи называли Лизогуба «святой революции».

HCTOPHH

в романах, повестях и документах